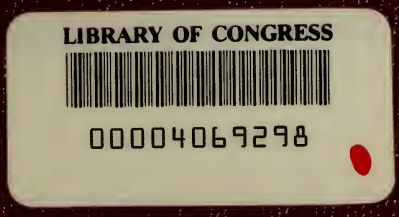

LIBRARY OF CONGRESS
00004069298

THE LIBRARY OF CONGRESS

ТРИ ПОРЫ ЖИЗНИ.

ТРИ ПОРЫ ЖИЗНИ,

РОМАНЪ

Евгеніи Туръ.

Надъ нимъ лучъ солнца золотой,
А онъ мятежной ищетъ бури,
Какъ будто въ буряхъ есть покой!

Лермонтовъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

МОСКВА.
ВЪ ТИПОГРАФІИ В. ГОТЬЕ.
1854.

PG3418
T75T2

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи, до выпуска изъ типографіи, представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, Октября 30 дня, 1853 года.

Цензоръ Д. С. С. и К. И. Снегиревъ.

СОФЬИ ВАСИЛЬЕВНѢ СУХОВО-КАБЫЛИНОЙ.

Чье имя, какъ не твое, поставить мнѣ на главномъ листѣ этой книги? Связанныя тѣсными узами привязанности и крови, не связаны ли мы еще тѣснѣе общими трудами и любовію къ искусству? Книга эта была писана подъ тебя, подъ благотворнымъ вліяніемъ твоего безустаннаго и упорнаго труда, который возбуждалъ и укрѣплялъ мой собственный. Общія были наши стремленія, наши надежды, и необходимый спутникъ ихъ: мучительное сомнѣніе въ собственныхъ силахъ. Ты частію до-

стигла предположенной цѣли, и я достигну своей, если вызову въ моихъ читателяхъ хотя малую часть того вниманія и участія къ труду моему, которыя ты не разъ мнѣ высказывала. Искусства родственны, и мнѣ отрадно выразить наше двоякое съ тобою родство, посвящая тебѣ мою книгу.

ЕВГЕНІЯ ТУРЪ.

Кучукъ-Ламбатъ,
27 Іюля, 1853.

ТРИ ПОРЫ ЖИЗНИ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВА I.

Всѣмъ въ околодкѣ было извѣстно село Михайловское; оно славилось большими садами, оранжереями и огромнымъ каменнымъ домомъ, съ флигелями и террасами, спускавшимися въ пышные цвѣтники, гдѣ рѣдкія растенія, привезенныя издалека, цвѣли съ начала мая до самой осени. Кромѣ барской усадьбы, самое село Михайловское было село богатое, многолюдное; крестьяне его были зажиточны, а на его ежегодную ярмарку, къ Спасу Преображенія, съѣзжалась тма народа изъ всѣхъ окрестностей.

Михайловское принадлежало семейству Огинскихъ, съ которымъ я желаю познакомить читателя. Оно состояло изъ молодой вдовы, Александры Николаевны Огинской, трехъ дѣтей ея и невѣстки. Александра Николаевна вышла за мужъ по 18 году, и, проживъ согласно съ

мужемъ, осталась вдовою послѣ семи лѣтъ супружества. Мужъ ея былъ человѣкъ добрый, но степенный, то есть, пожилой. Женившись сорока пяти лѣтъ на небогатой сосѣдкѣ, чрезвычайно кроткой и застѣнчивой, онъ обращался съ нею снисходительно и ласково, но до самой смерти своей считалъ жену ребенкомъ, что было впрочемъ очень естественно. Видя, какъ она дичится новыхъ лицъ, избѣгаетъ знакомствъ, и безъ румянца не можетъ сказать своего мнѣнія, безъ просьбы не можетъ отдать приказанія — не только мужъ ея, опытный и много видѣвшій на вѣку своемъ, но и всякій посторонній человѣкъ могъ бы заключить, что она или запугана, или несчастлива, или, наконецъ, не довольно умна. Поэтому многіе, въ особенности сосѣди, были увѣрены, что Александра Николаевна женщина не дальняя, и выражались о ней такъ: «Она очень добрая дама, — что за нужда, что съ неба звѣздъ не хватаетъ». Сама Александра Николаевна знала общее о себѣ мнѣніе, и нисколько не огорчалась имъ. Умъ ея былъ, конечно, вѣрный, но далеко не блестящій, пониманіе простое, не искаженное умствованіями, а простота ея сердца была еще замѣчательнѣе. Инстинктъ сердца, если можно такъ выразиться, былъ ея отличительнымъ качествомъ; руководимая имъ, она никогда никого не оскорбляла, никогда не проходила мимо печали, не замѣтивъ ея, и не пытаясь утѣшить скорбящаго. Одно слово ея (но какое слово!), сказанное ея мелодическимъ голосомъ, одинъ взглядъ ея свѣтлыхъ, глубокихъ глазъ вливалъ отраду въ оскорбленное или задавленное горемъ сердце. Правдивость этой женщины была неподкупна и доходила иногда, при всей мяг-

кости ея характера, до какой-то несвойственной ему суровости. Сталкиваясь съ ложью и экзальтаціей, она становилась неумолима и холодна, сама не отдавая себѣ отчета, почему это и за чѣмъ. Не могу быть иначе, говорила она близкимъ, и хотѣла бы, да не могу; знаю, что это не хорошо: но что же мнѣ дѣлать? не умѣю сказать слова противъ себя. Александра Николаевна не могла похвалиться красотой лица. Черты ея были крупны, и всѣ тѣ, которые не любятъ или не понимаютъ красоты, такъ сказать, внутренней, проявляющейся въ выраженіи, конечно, могли бы справедливо назвать ее дурною; но если бы имъ случилось вглядѣться въ ея глубокіе, сѣрые глаза, сколько привлекательнаго нашли бы они въ нихъ! Она была бѣлокура, волосы ея вились отъ природы, а потому она никогда не могла овладѣть ими; выбиваясь изъ-подъ гребня и щетки, ложились они причудливыми волнами, образуя вокругъ всей головы легкую, едва замѣтную паутинную ткань, блѣдно-золотистый цвѣтъ которой при свѣтѣ лампы, казалось, окружалъ ее какимъ-то фантастическимъ сіяніемъ. Роста она была высокаго, но казалась еще выше отъ гибкости таліи и нѣкоторой худобы, не лишенной впрочемъ прелести. Грація ея движеній, медленность и неопредѣленность поступи, наводили на мысль чистоты и невинности; вся она была спокойствіе, кротость, любовь. Въ то время, когда начинается наше повѣствованіе, Александрѣ Николаевнѣ было 30 лѣтъ, старшей дочери ея, Катѣ, 10, а меньшія дѣти ея, Валентинъ и Анюта, едва выходили изъ младенчества. Катя, какъ говорили всѣ домашніе и сосѣди,

была живой портретъ покойнаго отца; она была не по лѣтамъ высока ростомъ, хорошо сложена, очень красива собою: еще 10 лѣтъ отъ роду она обѣщала сдѣлаться впослѣдствіи красивою и видною женщиной. Черные глаза ея, черные густые волосы, составляли предметъ удивленія всѣхъ домашнихъ и особенно тетки, сестры покойнаго ея отца, Степаниды Петровны Огинской, которой она была любимица и воспитанница. Степанида Петровна, проведя всю молодость свою въ Москвѣ, гдѣ когда-то блистала на свѣтскомъ горизонтѣ, осталась, не смотря на это, въ дѣвицахъ, и когда братъ ея, знатный богачъ, женился по любви на бѣдной сосѣдкѣ, и поселился въ деревнѣ, она переѣхала къ нему въ домъ, съ перваго же дня стала завѣдывать всѣмъ хозяйствомъ, и, по смерти его, удержала бразды домашняго управленія. Степанида Петровна, выпросивъ у брата позволеніе исключительно заняться воспитаніемъ Кати, не иначе смотрѣла на нее, какъ на собственную дочь, и заботилась о ней неусыпно. Не терпя чужаго вліянія, она не согласилась на желаніе брата имѣть гувернантку, и учила Катю сама по-нѣмецки, по-англійски и музыкѣ. Александра Николаевна, отказавшись отъ воспитанія старшей дочери, по волѣ мужа, тѣмъ сильнѣе привязалась къ меньшимъ дѣтямъ; Анюта и Валентинъ росли вмѣстѣ, будто близнецы; ихъ кроватки стояли въ спальнѣ матери, которая почти никогда не оставляла ихъ. Валентинъ родился три мѣсяца послѣ смерти отца, и мать его, пользуясь впервые совершенною независимостію, принялась сама кормить его, чего не позволялъ ей мужъ, приговаривая: «Жена моя родилась не для того, чтобъ

быть кормилицей : она слишкомъ знатна для этого ; все это пустяки , нововведенія и бредни Руссо ». Александра Николаевна , которой воспитаніе было весьма ограничено , не имѣла понятія о Руссо , но мнѣніе Руссо, что мать должна сама кормить дѣтей своихъ , подало ей мысль узнать, что говоритъ о воспитаніи этотъ великій энтузіастъ прошлаго столѣтія. Не смотря на это, « Эмиль » не имѣлъ никакого вліянія на воспитаніе Анюты и Валентина ; суровость ментора въ обращеніи съ Эмилемъ пришлась далеко не по сердцу нѣжной матери, и она принялась, какъ умѣла, воспитывать сына и дочь, любя ихъ обоихъ безумно. Когда она стала сама кормить сына, ходить за нимъ какъ няня; когда онъ, 3-мѣсячный ребенокъ, впервые протянулъ ей руки , любя въ ней еще не мать, а только кормилицу, материнское чувство охватило все существо ея , и она , не знавшая до тѣхъ поръ ни любви, ни страсти, предалась вся этому чувству. Сынъ, сдѣлавшись идоломъ души ея, не только не отдѣлилъ ея отъ другихъ дѣтей, но заставилъ ее любить ихъ нѣжнѣе и крѣпче. Анюта играла съ Валентиномъ , когда еще оба они не умѣли ходить ; няня Игнатьевна , помогавшая матери нянчить обоихъ дѣтей , любила ихъ равно, и если между нею и Александрой Николаевной возникали споры, то они были, конечно, больше забавны , чѣмъ серьезны. Эти двѣ женщины упрекали другъ друга въ излишней заботливости, спорили , кому изъ нихъ достанется ребенокъ на руки , кто изъ нихъ скорѣе можетъ развеселить его поутру или убаюкать вечеромъ, кто изъ нихъ прежде замѣтитъ въ немъ первое пробужденіе смысла и понятія. А между тѣмъ время

текло, дѣти подростали; Валентинъ былъ прекрасный, здоровый мальчикъ; розовая кровь струилась подъ тонкою кожей и нѣжнымъ румянцемъ, и окрашивала его полныя щечки. Каштановые, шелковистые волосы вились кудрями на его головкѣ; а темно-зеленые глаза, опушенные темными рѣсницами, блистали веселостью. Идолъ матери, кумиръ нянюшекъ, экономокъ, дворовыхъ, наполнявшихъ домъ, онъ могъ бы быть совершенно испорченъ, если бы природный характеръ его не былъ нѣженъ и мягокъ. Окруженный любовію, онъ безмятежно росъ и развивался; никто изъ домашнихъ не слыхалъ грубаго слова отъ этого кроткаго мальчика; ласка и довѣрчивость его встрѣчали отвсюду привѣтъ и ласку, и никогда не употреблялъ онъ во зло общей любви и снисходительности. Воспитанный матерью, окруженный женщинами, онъ росъ, какъ дѣвочка; былъ не рѣзовъ, не шаловливъ, не требователенъ, застѣнчивъ и чувствителенъ, обожалъ мать, любилъ сестру безъ памяти. Да и какъ было не любить Анюты? Она была такая бѣленькая, маленькая, бѣлокуренькая, хорошенькая. Черты лица ея были тонки, кожа бѣлизны удивительной, безъ малѣйшаго румянца на щекахъ, что придавало лицу ея видъ нѣсколько болѣзненный. Правда, она никогда не бывала больна, но создана была крайне деликатно. За нее всѣ боялись, и по этому всѣ ухаживали за ней. «Не долговѣчна она, наша голубушка!» говорили няня и барскія-барыни, качая головами, и эти часто повторяемыя слова съ дѣтства внушили Валентину мысль о какомъ-то безсознательномъ покровительствѣ въ отношеніи къ сестрѣ.

Вообще домъ Огинскихъ походилъ на какую-то счастливую Аркадію, гдѣ цѣлыя поколѣнія дворовыхъ безмятежно росли, женились, множились, пили и ѣли, ничего не дѣлая. Подлѣ спальни Александры Николаевны двадцать швей постоянно шили въ пяльцахъ какія-то безконечныя рукодѣлія, болтали и сплетничали въ-волю. Бывало, только-что войдутъ дѣти въ комнату, какъ швеи выскочатъ изъ-за пялецъ, рады случаю: «Пожалуйте ручку, ангелъ вы мой! красавчикъ! красное солнышко!» — и пошелъ Валентинъ изъ рукъ въ руки, съ колѣнъ на колѣна. Тутъ изрѣжетъ онъ бумагу въ пяльцахъ, тамъ изломаетъ иголку, здѣсь оборветъ нитки. А горничныя хохочутъ и цѣлуютъ его, и рвутъ изъ рукъ въ руки, пока изъ сосѣдней комнаты не раздастся голосъ ихъ повелительницы, Анны Перфильевны: «Ну что? что лѣнтяйки? рады балы точить! Пустите барина! полно вамъ егозить-то?» — «Идите, идите!» говорятъ они Валентину, «вишь, зазорала, вѣдьма Кіевская — вздохнуть не дастъ!» Сосѣдняя комната была нѣчто въ родѣ залы, заставленной шкафами; внутренняя лѣстница, построенная около одной стѣны ея, вела на небольшую площадку, находившуюся почти подъ потолкомъ, у самаго входа въ запертую большимъ замкомъ дверь. Дверь эта вела въ кладовую, устроенную подъ самою крышей, въ которой хранились дорогія, доставшіяся по наслѣдству, вещи. Хранительница ихъ, Анна Перфильевна, прозванная горничными дѣвушками «мадамою», быть можетъ потому, что присматривала за швеями, всегда возсѣдала на этой площадкѣ, на огромной пышной перинѣ, и только по настоятельному требованію госпожъ, или по должности,

изрѣдка спускалась внизъ. Она особенно врѣзалась въ памяти дѣтей потому, что постоянно курила трубку, рѣдко выпуская изъ рукъ длинный чубукъ свой. Маленькая болонка, злобное животное съ заплаканными глазами и полинялою бѣлою шерстью, лежала на ея колѣняхъ. Проводя жизнь свою на площадкѣ въ уединеніи отъ другихъ, Анна Перфильевна привыкла говорить съ Нарциской (такъ звалась собаченка), и говорила только съ ней одною, чуждаясь всѣхъ въ домѣ, кромѣ госпожъ, къ которымъ питала любовь и глубокое почтеніе. Вообще Анна Перфильевна была, что̀ называется, мизантропъ, хотя въ дѣвичьей, по незнанію такого иностраннаго слова, не могли приложить его къ ней, что не мѣшало однако прозвать ее нелюдимкой. Кромѣ Анны Перфильевны, вѣчно угрюмой, молчаливой и возсѣдающей на площадкѣ съ длинною трубкой въ зубахъ, было еще много почетныхъ лицъ въ домѣ. Была и Ѳеня, почти карлица, доброе созданіе, лѣтъ пятидесяти; вѣчно она ходила, бѣгала, суетилась и подавала чай; была и Дарья, калмычка, купленная въ Астрахани еще отцемъ покойнаго Огинскаго, и проживавшая безъ опредѣленной должности—не то компаньонкой, не то домоправительницей; была и Варя, дочь управителя, красавица и баловень госпожъ; была и Петровна—экономка; была Агаша—ключница, начальница ткацкихъ подклѣтей, гдѣ росли и множились, посреди ткачей и ткачихъ, журавли, павлины и цецарки. Да и мало ли было еще нянь, старыхъ и престарыхъ, дѣвушекъ, швей, приживалокъ и барскихъ-барынь, всѣхъ не перечтешь. Утромъ, часовъ въ девять, выходила Александра Николаевна изъ

своей спальни, цѣловала Степаниду Петровну въ обѣ щеки, и садились онѣ обѣ въ гостиной, каждая на диванѣ, другъ противъ друга. Александра Николаевна на диванѣ правой стѣны, а Степанида Петровна на диванѣ лѣвой стѣны, каждая у окна, чтобы виднѣе было первой вязать бисерные кошельки, а второй низать бисеръ для невѣстки.

Лишь только сядутъ онѣ, какъ ужъ Варя несетъ на маленькомъ подносѣ чай и грѣтые сливки съ жирными пѣнками. Варя одѣта чисто, волосы ея приглажены. Варя большая кокетка, не похожа она на дворовую — точно барышня, и стоитъ она передъ Александрой Николаевной почтительно-фамильярно, и улыбается ей Александра Николаевна.

— А что дѣти? спрашиваетъ она; скажи имъ, что чай готовъ.

Вотъ входитъ Катя.

— Bon jour, ma tante! Bon jour, maman! говоритъ она, цѣлуя ихъ руки, и садится чинно подлѣ тёти Стени, какъ она называетъ ее.

А вдали слышенъ шумъ, смѣхъ и звонкіе голоса, и сердитые возгласы. Валентинъ и Анюта поднимаются по лѣстницѣ на площадку.

— Анна Перфильевна! Анна Перфильевна! баранокъ! баранокъ!

— Куда лѣзете! Что шалите! говоритъ Анна Перфильевна, подымаясь съ пуховика, и бережно ставя чубукъ свой въ уголъ. Вотъ сойду — вотъ дамъ!

— Нарциску! Нарциску! шепчетъ Анюта брату.

— Погоди, сей часъ! — отвѣчаетъ онъ ей также тихо и пропускаетъ впередъ Анну Перфильевну, за которою вслѣдъ плетется престарѣлый и беззубый Нарциска.

Тогда дѣти нападаютъ на Нарциску; они наставляютъ на него указательный палецъ, и рычатъ потихоньку. Яростно бросается Нарциска, и обращаетъ въ бѣгство заклятыхъ враговъ своихъ, и преслѣдуетъ ихъ до гостиной, стараясь вцѣпиться въ ихъ платья.

— Шалуны! Шалуны! Не дамъ баранокъ! Маменькѣ скажу! — сердито произноситъ Анна Перфильевна. Дѣти возвращаются къ старой нелюдимкѣ.

— Не будемъ, не будемъ! говорятъ они, дайте только баранокъ.

Ворчитъ и идетъ Анна Перфильевна къ шкафу, изъ бездоннаго кармана вынимаетъ связку ключей, и, бормоча про себя, отпираетъ шкафъ. Дѣти бросаются туда, входятъ, влѣзаютъ въ него совсѣмъ, и тащатъ цѣлыя связки баранокъ.

— Не ломайте, за чѣмъ ломать! берите бережненько, говоритъ Анна Перфильевна, ловя Нарциску, который, искоса поглядывая на дѣтей, ворчитъ и рычитъ. Легонько бьетъ его Анна Перфильевна по спинѣ, и приговариваетъ: Вишь, вишь, озорникъ какой! Молчи, молчи! говоритъ. Вѣдь они тебя не трогаютъ: вишь, вишь какой!

Дѣти съ баранками, продѣтыми на руки, убѣгая опять, рычатъ на Нарциску, а онъ вырывается опять изъ рукъ Анны Перфильевны, и преслѣдуетъ ихъ до гостиной. Шумно врываются дѣти въ гостиную, и летятъ, сломя

голову, къ матери, кидаются ей на шею, а она цѣлуетъ ихъ, приговаривая:

— Опять вы за Нарциской? Зачѣмъ сердить Анну Перфильевну? она старуха — не хорошо, друзья мои.

— Это я, мама, говоритъ Анюта: весело, мама; Нарциска злой — весело!

— Это мы оба, мама, говоритъ Валентинъ: Милая мама, не будемъ больше дразнить его, только поутру позвольте, поутру.

— Поутру, за баранками, подхватываетъ Анюта. — Смѣется Александра Николаевна и не рѣшается запрещать имъ, тѣмъ болѣе, что тётя Стеня съ серьезнымъ видомъ выговариваетъ дѣтямъ.

— Варя, чаю! — говоритъ Анюта, и отправляется съ братомъ пить чай на лежанку, гдѣ по вечерамъ въ уголку играютъ они. — Варя, да съ пѣнками чаю!

— Сейчасъ, сейчасъ! слышится изъ швейной, и въ этотъ разъ сама Ѳеня является къ дѣтямъ, неся пѣнки, чай и свѣжій, теплый, мягкій хлѣбъ.

— Кушайте на здоровье, голубчики, отцы родные! приговариваетъ она, подавая подносъ дѣтямъ. И не надо ей нагибаться: она почти равна съ ними.

— Ѳеня, милая! когда буду я съ тебя? говоритъ Анюта съ завистью.

— А я Ѳенѣ ужъ по плечо, возражаетъ Валентинъ съ гордостью. Онъ давно переросъ сестру, хотя она и старше его.

— Все же по плечо; а вотъ, когда будешь съ нее?

— Мама, когда буду я съ Ѳеню? твердитъ Валентинъ.

— Когда выростешь, мой другъ.

— А главное, когда поумнѣешь, не будешь шалить и дразнить Нарциску, приговариваетъ тётя Стеня, у которой еще на сердцѣ осталась травля Нарциса. Пей чай, а тамъ пора учиться, и Катѣ пора.

Дѣти пьютъ чай, и часто хохочутъ; долго, многіе годы еще служитъ имъ Ѳеня мѣркой роста, и разъ въ мѣсяцъ, по крайней мѣрѣ, и всегда за чаемъ, возобновляется подобный разговоръ. Послѣ чая сама Александра Николаевна садится съ дѣтьми, и учитъ ихъ читать и писать въ то время, когда въ сосѣдней комнатѣ тётя Стеня занимается съ Катей. А тамъ дѣти бѣгутъ въ садъ, зимою катаются въ санкахъ, и только къ обѣду возвращаются домой.

Вечеромъ они смотрятъ картинки большой книги, подъ заглавіемъ *Музеумъ*, написанномъ золотыми буквами на богатомъ переплетѣ, и съ ужасомъ слушаютъ разсказы матери о львахъ, тиграхъ и страшныхъ змѣяхъ. Иногда, въ долгій зимній вечеръ, когда дѣти были особенно умны и послушны, Александра Николаевна вставала съ своего мѣста, и отправлялась въ спальню. Дѣти знали уже, что это значитъ: они бѣжали за нею, цѣпляясь за ея платье, и приговаривая: «Ахъ, милая, добрая мама!» Александра Николаевна подходила къ кіоту, передъ которымъ неугасимо горѣла лампада, висѣвшая на серебряныхъ цѣпочкахъ, отпирала его, брала у образовъ книжку, возвращалась въ гостиную, и принималась тихо и просто разсказывать дѣтямъ земную жизнь Спасителя.

Благоговѣйно слушали ее дѣти, не переводя духу, слѣдили за разсказомъ ея, и горько плакали, когда она, сама умиляясь, доходила до страстей и распятія Христа. Тогда она брала ихъ на колѣна, и осыпала поцѣлуями, всегда прибавляя не сухое правоученіе, конечно, но полное любви слово или напоминаніе о томъ, что̀ есть обязанности истиннаго христіанина. Проходила зима непримѣтно, наставала потомъ опять зима, и счастливая мать не замѣчала времени, и быстро летѣло оно для счастливыхъ дѣтей. Рѣдко домъ Огинскихъ наполнялся гостями: это случалось въ имянины хозяйки, да въ годовые праздники. Тогда съ утра начинался пріѣздъ, дворовые приходили на поклонъ, и приносили множество круглыхъ, продолговатыхъ пироговъ, которые съѣдались за завтракомъ. Изъ кладовыхъ вынимался дорогой фарфоръ и старинное серебро; цѣлый день сосѣди пили и ѣли; многіе, оставаясь ночевать, разъѣзжались уже на другой день. Александра Николаевна не очень любила шумные съѣзды, но радушно принимала гостей, и добродушно исполняла всѣ обязанности хозяйки, которыя, впрочемъ, раздѣляла съ нею Степанида Николаевна, въ эти дни особенно игравшая важную роль въ домѣ. Послѣ этихъ торжественныхъ сборищъ, къ немалому удовольствію Александры Николаевны, семейство Огинскихъ возвращалось къ своей обыкновенной тихой жизни. Развѣ по случаю болѣзни кого-нибудь изъ домашнихъ, или такъ, проѣзжая къ сосѣдямъ, заѣдетъ, бывало, въ Михайловское, докторъ, родомъ Еврей, въ черномъ парикѣ и съ огромною тростью въ рукахъ. Его строгій видъ, каблуки, стучавшіе громко по

паркету, особенно въ сумерки, и длинная, испитая, одѣтая въ черный длинный сертукъ, фигура, вдругъ, какъ видѣніе, являвшаяся въ дверяхъ, наводила на дѣтей какой-то непреодолимый страхъ, смѣшанный съ любопытствомъ; къ этому чувству расположили ихъ еще болѣе разсказы няни, которая, завидя доктора, махала рукой, и говорила всякій разъ съ ожесточеніемъ: «Злодѣй! Христа распялъ!», и сверхъ того, такъ странно въ дѣтскихъ ушахъ звучавшее имя: Авраамъ Исааковичъ! Лишь только являлся докторъ, дѣти выбѣгали изъ комнаты, а потомъ, не смотря на знаки матери и значительное покачиваніе головою тетки, выглядывали изъ дверей, и тотчасъ опять прятались другъ за другомъ, смѣясь и сильно побаиваясь. У счастливыхъ дѣдей какъ-то странно все граничитъ со смѣхомъ. Взгляните на нихъ: и слезы и страхъ звучатъ у нихъ пополамъ съ смѣхомъ. Докторъ-Еврей и стряпчій, о которомъ будетъ сейчасъ рѣчь, первые произвели перемѣну въ образѣ жизни маленькихъ Огинскихъ. Стряпчій по дѣламъ Огинской былъ старичекъ съ огромными круглыми очками на маленькомъ кверху вздернутомъ носикѣ, съ лысою головой, едва прикрытой волосами. Съ затылка его длинные волосы рѣдкими прядями покрывали черепъ, были зачесаны вверхъ, и на лбу хитро закручены въ узелокъ; этотъ узелокъ возбуждалъ давно дѣтское любопытство.

— Мамà, какъ это онъ завязываетъ волосы? твердили дѣти неотступно, послѣ каждаго его посѣщенія.

— Что жъ дѣлать? у него мало волосъ — говорила

мать. Вотъ и я буду стара, и у меня посѣдѣютъ или выпадутъ волосы.

— Не можетъ быть, не можетъ быть! твердили дѣти. Мама, какъ Иванъ Прохоровичъ! Этого не можетъ быть! этому не бывать!

И дѣти разражались смѣхомъ.

— Надъ старикомъ стыдно смѣяться, говорила тетка: это не хорошо.

Но такая сентенція не удовлетворяла дѣтей, и они рѣшились на важный шагъ. Однажды пріѣхалъ Иванъ Прохоровичъ, придвинулъ себѣ стулъ по приглашенію хозяекъ, и, степенно усѣвшись, началъ длинное предлинное повѣствованіе о томъ, какъ былъ онъ у секретаря и предсѣдателя, и объяснялъ имъ дѣло, по которому скоро послѣдуетъ рѣшеніе.

Александра Николаевна и Степанида Петровна слушали внимательно Ивана Прохоровича, и не замѣчали, что дѣти втихомолку, поставивъ за стуломъ Ивана Прохоровича скамѣйку, взгромоздились на нее, уцѣпились ручонками за спинку стула, и, подымаясь на цыпочки, старались разглядѣть лысую голову и заадочный узелокъ изъ волосъ. Степанида Петровна первая обратила вниманіе на племянниковъ, взглянувъ нечаянно на Катю, которая сидѣла противъ нея, и серьезно качала головой: она оглянулась и обомлѣла, увидѣвъ проказы маленькихъ шалуновъ. Не говоря ни слова, она встала; дѣти, при ея движеніи, поспѣшно хотѣли слѣзть, но Валентинъ нечаянно толкнулъ Анюту, которая сорвалась со скамѣйки, и упала на полъ. Она

ушиблась, но не заплакала. Тетка, не обращая вниманія на это паденіе и на восклицаніе Александры Николаевны, взяла обоихъ дѣтей за руку, и вывела изъ гостиной въ спальню, откуда не приказала выходить до позволенія. Къ счастію, какъ сказала послѣ Степанида Петровна, добрѣйшій Иванъ Прохоровичъ ничего не замѣтилъ, и, освѣдомившись, не ушиблась ли маленькая барышня, продолжалъ свое длинное повѣствованіе. По его отъѣздѣ, Александра Николаевна, не совсѣмъ спокойная на счетъ дѣтей и въ особенности ушиба Анюты, обратилась къ невѣсткѣ.

— Что такое случилось, и отъ чего Анюта упала?

— Развѣ вы не видали?—сказала Степанида Петровна. Эти шалуны притащили скамѣйку, и втихомолку разсматривали лысую голову Ивана Прохоровича.

Александра Николаевна разсмѣялась.

— Что васъ такъ забавляетъ?—спросила невѣстка. По моему, надо печалиться, видя, что дѣвочка ростетъ безъ пріемовъ, безъ приличій.

— И, полноте,—сказала Александра Николаевна: ей только 10 лѣтъ, она дитя. Не ушиблась ли она? Я пойду, взгляну на нее, и, будьте спокойны, прибраню ихъ.

— Знаю я, какъ вы ихъ браните; лучше останьтесь, ma sœur: она вовсе не ушиблась, и, вѣроятно, играетъ съ братомъ. А я уже давно сбиралась говорить съ вами—теперь прекрасный случай. Скажите, вы рѣшительно не хотите брать къ нимъ никого?

— Да, конечно, я объ этомъ подумаю, но позднѣе.

— Пора, однако, рѣшиться; говорю вамъ, дѣвочка эта ростетъ, какъ крестьянка.

— Катя росла же, и вотъ почти выросла, не имѣя никого.

— Катя дѣло другое, возразила Степанида Петровна: съ Катей занималась я, Катю учила я; взгляните на Катю: развѣ она похожа на Анюту?

— Анюта — дитя, сказала Александра Николаевна, довольно рѣшительно; пока я сама учу ее, пока я сама присматриваю за ней...

— И балую ее безъ памяти, проговорила невѣстка.

— Быть можетъ. Но теперь не могу еще рѣшиться.

Александра Николаевна встала и вышла изъ комнаты.

— Ее не уговоришь, сказала тетка, обращаясь къ племянницѣ, которая вязала филе.

— Maman боится чужаго вліянія, сказала 14-лѣтняя Катя, стараясь казаться большою, и повторяя слова, два дня назадъ сказанныя при ней теткой; къ тому же maman такъ страстно любитъ меньшихъ, что не видитъ, какіе они стали шалуны. На прошлой недѣлѣ, дочь Анфисы Артемьевны говорила мнѣ: C'est étonnant que votre sœur parle si mal français. И правда, тётя: она ужасно дурно говоритъ по-французски.

— Что̀ дѣлать! дитя мое; она не моя дочь. Ты, другое дѣло — ты моя; ну, и я надѣюсь, что буду гордиться, когда представлю тебя въ свѣтъ. Пойдемъ учиться теперь на фортепіано. Ты повторила урокъ?

— Конечно, ma tante.

— Учись, у тебя превосходныя способности; помни, что дѣвушка музыкантша бываетъ въ свѣтѣ замѣчена. Талантъ при умѣ и красотѣ — это успѣхъ и богатая партія, словомъ, всѣ преимущества, даже счастіе. Но ты послѣ сама убѣдишься въ этомъ, такъ же какъ и въ томъ, что твоя старая тетка жила только тобою. Боже мой! какъ велико будетъ мое счастіе, когда я выдамъ тебя за-мужъ за знатнаго, умнаго, богатаго молодаго человѣка!

Переставъ мечтать о себѣ, Степанида Петровна мечтала о племянницѣ, и воображала ее за-мужемъ, только что не за принцемъ крови. Сказавъ эти слова, заставившія Катю вспыхнуть отъ надежды или самодовольства, она поцѣловала ее, и вышла съ ней въ залу, гдѣ скоро раздались блестящіе звуки рояля. Между тѣмъ Александра Николаевна, принявшись строго выговаривать дѣтямъ, вскорѣ должна была сама утѣшать ихъ; увидя ихъ слезы, она поспѣшно усадила ихъ на своихъ колѣняхъ. Анюта обхватила ручонками шею матери, и прильнула щечкой къ груди ея, а Валентинъ лежалъ ничкомъ въ ея колѣняхъ; она что-то говорила имъ тихо, и голосъ ея все становился нѣжнѣе и нѣжнѣе. Они тоже подняли головы, и что-то шептали ей; наконецъ, общіе звонкіе поцѣлуи соединили вмѣстѣ эти головы.

Перемѣны въ образѣ жизни и воспитаніи, какъ и должно было ожидать, не послѣдовало. Но скоро новая выходка дѣтей заставила призадуматься и мать, во многомъ не довѣрявшую себѣ и своему внутреннему чувству.

Это было на праздникѣ Пасхи. Первые дни прошли по обыкновенію. Дѣтей, къ ихъ несказанной радости, взяли впервые къ заутрени; они разгавливались вмѣстѣ съ большими, и потомъ непробудно спали до поздняго вечера. Гостей было много. Во вторникъ пріѣхалъ и загадочный, фантастическій докторъ. По этому поводу, много было говорено между дѣтьми.

— Каково! сказалъ важно Валентинъ: Свѣтлое Воскресенье—пойми это, Анюта, Свѣтлое—а онъ явился! Какъ ему не совѣстно!

— Что̀жъ, Валя, сказала Анюта, вѣдь не онъ Христа распялъ. Онъ, говоритъ Ѳедосья, вылечилъ ее отъ лихорадки; стало быть, онъ не совсѣмъ злой.

— Лихорадка сама по себѣ, а все таки его проучить нужно, возразилъ Валентинъ; только что̀ скажетъ тетя Стеня?

— Мы безъ нея. Знаешь что̀, спрячемся на хорахъ, и какъ только онъ пройдетъ, мы начнемъ пѣть хоромъ или кричать.

— Съ кѣмъ же? Насъ только двое.

— Вотъ прекрасно! возьмемъ съ собой Васю, да Дуню, да пожалуй Платошу, Игнатова сына.

— Ну хорошо! славно! я сей часъ пойду за ними, и приведу ихъ сюда. Не говори нянѣ.

— Няня богомольная, няня ничего не скажетъ; она же его терпѣть не можетъ, этого злодѣя.

Сказано—сдѣлано. Крики дѣтей, визгливые и задорные, раздались съ хоръ при первомъ появленіи Авраама Исааковича, который, казалось, нѣсколько удивился и,

щурясь, принялся смотрѣть на высокіе хоры залы. Дѣти испугались и смолкли, но скоро, ободряемые Васей и Платошей, затянули опять хоръ, не смотря на просьбы Анюты, которая твердила съ ужасомъ:

— Будетъ! будетъ! сюда придетъ, ей Богу, сюда. Глядитъ, смотрите — глядитъ!

Авраамъ Исааковичъ прошелъ, но дверь на хоры отворилась съ шумомъ. Дѣти разбѣжались въ разныя стороны, и, не помня себя отъ страха, прятали головы въ темные углы. Ихъ настроенное воображеніе живо рисовало имъ худую, длинную, одѣтую въ черное, фигуру Еврея, которая протягиваетъ къ нимъ длинную костлявую руку, схожую съ рукою знаменитой въ дѣтскихъ лѣтописяхъ Бабы-Яги. Но вдругъ всѣ они были выведены изъ оцѣпенѣнія строгимъ голосомъ Игнатьевны.

— Что вы тутъ дѣлаете? Что блажите? Погодите, я васъ къ тетушкѣ сведу, говорила она, обращаясь къ Валентину и Анютѣ. А вы что? кричала она на другихъ дѣтей, пострѣлы! ужъ оттаскаю я васъ. Вишь что выдумали! баловать съ барскими дѣтьми! Добро́ они, они на то барскія дѣти; а вы что за птицы? вотъ я васъ, бѣсенята!

Игнатьевна, послѣ такого монолога, взяла за руку своихъ питомцевъ и свела ихъ внизъ, гдѣ съ-горяча, встрѣтивъ Степаниду Петровну, все ей разсказала. Надо замѣтить, что Игнатьевна въ важныхъ случаяхъ жаловалась всегда тетушкѣ, зная, что Александра Николаевна внушала дѣтямъ не слишкомъ много страха, и что дѣти отвѣчали обыкновенно, когда она вела ихъ къ матери: « Веди, веди, мама́ сама расхохочется »!

— Совсѣмъ-то вы ихъ избаловали, говорила Игнатьевна, когда, по отъѣздѣ доктора, начался фамильный судъ надъ провинившимися. Долго ли до бѣды — залѣзли на хоры! Валентинъ Михайловичъ просунули головку между перилецъ, того и гляди шейку повредятъ. Слыханное ли это дѣло!

— Ну! это еще не бѣда, сказала Степанида Петровна, а главное то, что шалятъ они безпрестанно. Выдумываютъ глупости, и никакого чувства у нихъ нѣтъ.

Валентинъ взглянулъ на тетку.

— Да, и мать не любятъ.

— Не правда, тетя, сказалъ онъ дрожавшимъ голосомъ.

— Ну, полно, полно, Валя; я знаю, что ты меня любишь; но это правда, что ты сталъ шалить не въ мѣру. Дѣтей отослали въ спальню, и обѣ невѣстки, оставшись однѣ, долго разсуждали. Было рѣшено немедленно написать въ Москву къ одной кузинѣ, и просить ее найти для Вали наставника, не жалѣть денегъ, но сыскать человѣка умнаго и знающаго языки. Степанида Петровна настаивала, чтобы съ нимъ вмѣстѣ выписать гувернантку, но Александра Николаевна отклонила такое предложеніе, говоря, что Анюта можетъ учиться съ братомъ, а потомъ, потомъ—онѣ обѣ увидятъ.

Это обыкновенное «увидимъ» привело Степаниду Петровну въ раздражительное состояніе духа, и она много и долго доказывала невѣсткѣ, что она погубитъ дѣтей своихъ.

Прошелъ мѣсяцъ, прошелъ другой; весна смѣнялась лѣтомъ: дѣти блаженствовали. У нихъ явились зайчики,

кролики, птички, за которыми они ухаживали съ особенною любовію. Домъ Огинскихъ стоялъ на горѣ, рѣчка вилась за садомъ, ярко орошая зеленые заливные луга; березовыя рощи темнѣли вдали, по ту сторону рѣки. Дѣти цѣлый день бѣгали въ саду, но далекія рощи манили ихъ неодолимо; иногда, не смотря на тайное безпокойство матери, на кропотанье тетки и ворчанье Игнатьевны, старыя ноги которой отказывались слѣдовать за рѣзвыми дѣтьми, имъ удавалось выпросить позволеніе идти за рѣку; тогда домъ оглашался криками радости, звонкимъ смѣхомъ; дѣти суетились и бѣгали, собирали людей, горничныхъ, дѣтей, и отправлялись всѣ вмѣстѣ за грибами.

Бывало, поздно вечеромъ, сидитъ, не сводитъ глазъ съ окна ихъ робкая мать; но вотъ крики, вотъ шумъ — что такое? «Они прошли по задней лѣстницѣ», скажетъ мать, и спѣшитъ имъ на встрѣчу; а дѣти - близнецы бѣгутъ, прыгаютъ, кидаются ей на шею; она садится на первый попавшійся стулъ, и съ тріумфомъ высыпаютъ они ей на колѣна, кто грибы, а кто ягоды.

— Смотри, смотри! это бѣлый, боровикъ! говоритъ Валентинъ.

— Земляника тебѣ, говоритъ Анюта, одной тебѣ; чудесныя ягоды! И она беретъ одну изъ нихъ, и сама кладетъ ее въ ротъ матери, приговаривая: ну, кушай!

На колѣняхъ грибы, на полу грибы, и цвѣты, и ягоды, все вмѣстѣ, подлѣ, около и на самой Александрѣ Николаевнѣ. Платье ея испачкано, но она сидитъ, улыбается, пересматриваетъ грибы, хвалитъ ягоды, разби-

раетъ цвѣты, а тутъ безчисленные, горячіе поцѣлуи сыплются на ея шею, руки, голову, лице. Счастливая мать! радуйся на нихъ: дѣти твои счастливы теперь ! но что будетъ послѣ? Послѣ — они будутъ не твои, и не отъ тебя будетъ зависѣть ихъ горе или радость , и не ты будешь господствовать въ сердцѣ, душѣ и думахъ ихъ. Теперь они твои!

Однажды Валентинъ и Анюта отправились внизъ, и, забравшись въ каморку , устроенную подъ лѣстницей , гдѣ они воспитывали кроликовъ , принесли цѣлую корзину саладу, и принялись кормить своихъ любимцевъ. Вдругъ дверь отворилась, и передъ ними явилась мать, рѣдко сходившая внизъ. Ея воздушная фигура обрисовывалась на свѣтѣ, проникавшемъ въ дверь, и не совсѣмъ твердо прозвучалъ дѣтямъ голосъ ея, звавшій ихъ по имени.

— Что тебѣ? сказала Анюта , не замѣчая ея выраженія, и занимаясь кроликомъ, который робко подходилъ къ саладу. Не мѣшай , мама , прибавила она ; стой смирно, Валя: онъ идетъ, идетъ.

Но Валентинъ, замѣтивъ , какъ много грусти было въ лицѣ матери, бросилъ корзину, и былъ уже подлѣ нея. Она взяла его за руку, и , не говоря ни слова, привела въ свою спальню. Тамъ сѣла она на кресло, и, посадивъ его къ себѣ на колѣна, сказала голосомъ особенно свойственнымъ ей въ минуты беззавѣтной нѣжности.

— Валя! Богъ лишилъ тебя отца; я сколько умѣла, помни это, старалась замѣнить его тебѣ. Но вотъ ты

выросъ, ты уже большой, надо учиться, надо оставить тебѣ крыло мое, и я довѣряю тебя одному почтенному человѣку. Обѣщай мнѣ, дитя мое, любить меня по прежнему, по прежнему ничего не скрывать отъ меня.

Мальчикъ крѣпко обнялъ ее, и молчалъ.

— Обѣщаешь?

— Мама, сказалъ онъ, я хочу всегда быть съ тобой, я не хочу отъ тебя.

— Сохрани меня Богъ разлучиться съ тобой! сказала она: ты одна любовь моя, одно мое счастіе; мы всегда будемъ вмѣстѣ, только я поручаю тебя другому; его надо почитать и слушаться. Надѣюсь, что ты самъ въ послѣдствіи полюбишь его, и самъ заслужишь любовь его.

Онъ прильнулъ къ ней; она ласкала его, отирая слезы его своими поцѣлуями; потомъ встала, говоря:

— Онъ пріѣхалъ; пойдемъ въ гостиную, я тебя познакомлю съ нимъ.

Когда они вошли туда, Валентинъ робко, а мать его спокойно, какъ будто не испытавъ никакого волненія, человѣкъ лѣтъ 50 сидѣлъ подлѣ Степаниды Петровны, и живо съ нею разговаривалъ. Его густые, почти сѣдые волосы были острижены очень коротко, отъ чего торчали кверху, такъ что вся голова его принимала видъ щетки огромныхъ размѣровъ. Густыя, нѣсколько посѣдѣвшія брови почти нависли надъ маленькими глазами, и это съ перваго взгляду придавало ему сердитый видъ, хотя очертаніе губъ и противорѣчило такому впечатлѣнію. Нависшія брови и серьезное лицо незнакомца

испугали Валентина. Онъ съ ужасомъ схватился за платье матери, и спряталъ лице свое въ его складкахъ.

— Валентинъ ! сказала Александра Николаевна, освобождаясь отъ сына : перестань. Ипполитъ Андреевичъ! вотъ сынъ мой.

Онъ всталъ, взялъ ребенка на руки , поднялъ его, и посадилъ на свои широкія колѣна.

— Надѣюсь, что мы будемъ жить дружно , сказалъ онъ ему.

За тѣмъ онъ продолжалъ разговоръ съ хозяйкою , разсказывая имъ свое путешествіе , а Валентинъ, пользуясь этимъ случаемъ , мало по малу ускользнулъ изъ рукъ его, и возвратился на свое обыкновенное мѣсто, на скамѣйку, у ногъ матери, гдѣ Анюта давно сидѣла, дичась и посматривая искоса на новое лице.

— Кажется, я вамъ не нравлюсь, сказалъ Ипполитъ Андреевичъ, подходя къ дѣтямъ, и наклоняя надъ ними свою большую голову и широкія плечи.

Дѣти молчали.

— Говорите правду , сказалъ онъ ласково. Въ его голосѣ было столько мягкаго , что дѣти посмотрѣли ему прямо въ глаза.

— Говорите правду , повторила Александра Николаевна.

— У него страшныя брови , прошепталъ Валентинъ матери.

Она засмѣялась и повторила вслухъ это замѣчаніе. Ипполитъ Андреевичъ также засмѣялся.

— Очень сожалѣю, сказалъ онъ, что не могу перемѣнить брови, но вы привыкнете къ нимъ. Согласитесь, что лучше имѣть густыя брови, чѣмъ не имѣть ихъ вовсе.

Дѣти улыбнулись.

Вечеромъ Валентинъ, все не отходя отъ матери, занялся игрушками. Между ними была лошадка и телѣжка. Ипполитъ Андреевичъ предложилъ ребенку сдѣлать хомутъ, и тотчасъ принесъ множество ремешковъ, которые сталъ кроить и связывать. Сперва дѣти смотрѣли на него издали, совершенными дикарями, потомъ подошли и приняли сами участіе въ работѣ, стараясь помочь ему. Скоро маленькій хомутъ былъ готовъ. Вечеромъ Ипполитъ Андреевичъ явился съ огромною книгой въ рукахъ: она едва не испугала дѣтей своимъ объемомъ и тою премудростію, которая, по ихъ понятіямъ, должна была заключаться въ ней. Однако они скоро успокоились, когда увидѣли чудесные, великолѣпные рисунки. То были виды далекихъ странъ и городовъ, съ описаніемъ народовъ и ихъ обычаевъ. Ипполитъ Андреевичъ принялся читать и разсказывать; дѣти жадно слушали, но пробило 9 часовъ, и онъ закрылъ книгу.

— Пора спать, сказалъ онъ.

Александра Николаевна встала.

— Я провожу его, сказала она, обращаясь къ Ипполиту Андреевичу. Тогда она подвела сына къ Степанидѣ Петровнѣ, которая перекрестила его и поцѣловала, потомъ къ Анютѣ и, наконецъ, къ Катѣ. Все это было новость. Валентинъ молчалъ и смирно шелъ за матерью; сестра его хотѣла идти за нимъ, но ей приказали остаться; она удивилась и сѣла печально на софу.

Валентинъ и мать его прошли всѣ комнаты, и вошли на другую половину дома, запертую со времени кончины покойнаго Огинскаго. Его кабинетъ былъ отдѣланъ вновь, и въ немъ было устроено нѣчто въ родѣ учебной комнаты; за этою комнатой была спальня Валентина и Ипполита Андреевича.

— Вотъ новая комната, сказала Александра Николаевна сыну, ты будешь здѣсь жить съ Ипполитомъ Андреевичемъ.

Валентинъ залился слезами.

— Гдѣ няня? спросилъ онъ сквозь слезы.

Молодой чедовѣкъ, сынъ няни, вошелъ въ комнату.

— Игнатъ! сказала ему Александра Николаевна, поручаю тебѣ Валентина, ходи за нимъ хорошенько, а я, ты знаешь, забочусь о всей семьѣ твоей. А теперь поди, я сама раздѣну и уложу маленькаго.

И Александра Николаевна стала на колѣна, разула сына, положила его въ постель, перекрестила и нѣжно разцѣловала. Ипполитъ Андреевичъ стоялъ въ сторонѣ, и пристально смотрѣлъ на нее.

— Ты приди ко мнѣ пораньше, и скажи, какъ спалъ, сказала Александра Николаевна сыну, все еще плакавшему въ подушкахъ. Потомъ она грустно улыбнулась Ипполиту Андреевичу, и вышла; ребенку показалось, что онъ одинъ въ цѣломъ мірѣ: онъ зарыдалъ.

Ипполитъ Андреевичъ подошелъ къ нему.

— Дитя мое, сказалъ онъ, у васъ рѣдкая мать. Надо любить ее, а плакать не годится; вы не дѣвочка.

Засыпайте скорѣе, завтра пойдемъ гулять. Скажите, маменька ваша любитъ цвѣты?

Валентинъ молчалъ. Старикъ кротко повторилъ вопросъ.

— Любитъ, сказалъ наконецъ Валентинъ сквозь слезы.

— Мы нарвемъ ей букетъ; пойдемъ въ поле, далеко; вы вѣрно любите ходить далеко?

— Да, и съ Анютой?

— Конечно, съ Анютой.

Казалось, это утѣшило ребенка, потому что онъ скоро пересталъ плакать, и глубоко заснулъ.

Ипполитъ Андреевичъ въ молодости служилъ въ морской службѣ, и, оставивъ ее, поселился у сестры, чтобы заняться воспитаніемъ племянника. Онъ уже почти оканчивалъ его воспитаніе, когда несчастіе постигло ихъ семейство: сперва умеръ его молодой племянникъ, а потомъ и сестра его, состояніе которой принадлежало мужу, и потому перешло въ родъ его. Почти на старости лѣтъ, Ипполиту Андреевичу пришлось искать мѣста, и тогда-то ему предложили ѣхать къ Огинскимъ. Онъ отлично зналъ языки, математику и естественныя науки, много видѣлъ, объѣхалъ вокругъ свѣта и пріобрѣлъ много свѣдѣній; къ тому же, онъ любилъ дѣтей, и охотно принялъ должность воспитателя. Съ первыхъ дней своего пріѣзда къ Огинскимъ, онъ понялъ, что надо многое передѣлать и измѣнить въ образѣ жизни маленькаго воспитанника, но чѣмъ больше онъ всматривался въ бытъ семейства Огинскихъ, тѣмъ болѣе сознавалъ внутри себя что сдѣлать это труднѣе, чѣмъ онъ полагалъ сначала. Тѣсная связь,

соединявшая нѣжную, робкую мать съ дѣтьми, была такъ трогательна и такъ сильна, что разорвать ее не было возможности; да и чья бы дерзкая рука посягнула на это, видя чистоту, спокойствіе, согласіе мирнаго домашняго круга? Александра Николаевна была, сама того не подозрѣвая, такъ симпатична, что лица, близко къ ней поставленныя, не могли освободиться отъ ея чарующаго обаянія. Полугода не провелъ у нихъ Ипполитъ Андреевичъ, а уже чувствовалъ, что привязался къ ней всѣмъ сердцемъ, и часто не имѣлъ духу противорѣчить ей, тѣмъ болѣе, что, по первому его требованію, она тотчасъ уступала ему, или старалась уступить, хотя на другой же день уступка эта оказывалась безполезною или невозможною: такъ сильно привычка и обычаи дома срослись съ этимъ семействомъ. Ипполиту Андреевичу въ началѣ хотѣлось освободить Валентина отъ вліянія женщинъ; но, вмѣсто того, онъ самъ мало по малу увлеченъ былъ въ этотъ магическій кругъ, и вскорѣ вошелъ въ него совершенно, и составилъ съ нимъ одно нераздѣльное цѣлое. Въ послѣдствіи, онъ часто говаривалъ, что не видитъ въ этомъ большаго вреда; пожилой человѣкъ былъ самъ дитя сердцемъ, былъ самъ жизни чистой, и съ молоду не познакомившись съ страстями или заблужденіями, сочувствовалъ, какъ нельзя больше, истинно патріархальнымъ нравамъ той счастливой Аркадіи, куда случайно завела его судьба, и гдѣ ему такъ привольно и радостно показалось жить и доканчивать свое земное поприще. Предупрежденный еще въ Москвѣ объ образѣ жизни и воспитаніи будущаго своего воспитанника, онъ думалъ явиться преобразователемъ

въ этотъ маленькій міръ, но, пріѣхавъ, незамѣтно уступилъ обаянію той атмосферы, которую разливала вокругъ себя еще молодая, привлекательная, нѣжная мать Валентина. Кроткій нравъ его, любящее сердце, простое пониманіе, нехитростная натура, не слишкомъ большой умъ, нашли въ семействѣ Огинскихъ и пищу, и просторъ; онъ гармонически заключилъ собою этотъ женскій міръ, и всѣ его преобразованія окончились тѣмъ, что онъ, сверхъ другихъ уроковъ, принялся учить Валентина ѣздить верхомъ и лазить по веревкамъ и столбамъ, да и то, надо признаться, было предпринято и сдѣлано съ грѣхомъ пополамъ. Однажды Валентинъ упалъ съ лошади. Съ балкона послышался слабый крикъ. Ипполитъ Андреевичъ взглянулъ вверхъ: тамъ стояла Александра Николаевна, свѣсившись съ перилъ, и будто невольно стремилась внизъ. Она была такъ трогательна, что, собравъ силы, Ипполитъ Андреевичъ закричалъ: «Ничего! Это ничего, не бойтесь!» и, взявъ Валентина на руки, тотчасъ опять посадилъ его на лошадь, хотя руки его и тряслись отъ волненія. «Вы трусите, какой стыдъ!» сказалъ онъ Валентину, собравшись съ духомъ. Задѣтое самолюбіе дало силу Валентину проѣхать гордо вокругъ двора, и даже взглянуть на балконъ, гдѣ стояла мать его, блѣдная и дрожащая. Она однако улыбнулась ему, и, чуть слышно, сказала:

— Хорошо, Валя, хорошо, не надо бояться!

— Я не боюсь, отвѣчалъ мальчикъ, храбрясь.

Когда урокъ верховой ѣзды кончился, Ипполитъ Андреевичъ пришелъ къ Александрѣ Николаевнѣ, и про-

силъ ее не пбнять на него за его поступокъ. — Нельзя иначе, говорилъ онъ: иначе мы сдѣлаемъ женщину изъ этого мальчика.

— Я ничего не говорю, сказала Александра Николаевна: дѣлайте, какъ знаете, какъ хотите.

— Однако вы блѣдны, руки ваши холодны и дрожатъ до сихъ поръ.

— Это ничего, возразила она, улыбаясь: этого я перемѣнить не въ силахъ; довольно и того, что я не противорѣчу вамъ ни въ чемъ.

Эта покорность и смиреніе, соединенныя съ внутреннимъ страданіемъ, всегда задавленнымъ во имя пользы сына, такъ трогали Ипполита Андреевича, что, не отдавая себѣ отчета, онъ старался не пугать болѣе матери Валентина, а это, разумѣется, измѣнило воспитаніе мальчика. Начались серьезныя занятія съ Валентиномъ. Но и тутъ оказались недочеты. Анюта училась вмѣстѣ съ братомъ, и разлучить ихъ было почти невозможно. Вмѣстѣ они занимались охотнѣе и живѣе; Анюта была понятлива и вообще лучше и скорѣе брата все усвоивала; она повторяла съ нимъ уроки, и не рѣдко многое объясняла ему. Отношенія брата къ сестрѣ были трогательны. Онъ слушалъ ее внимательно, когда приготовлялъ вмѣстѣ съ ней уроки, но внѣ класса былъ ея покровителемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ покорялся ей во многомъ. Въ этомъ, какъ и во всемъ, было замѣтно прямое вліяніе матери на сына. Всякій разъ, когда Анюта была не права, она слегка ей выговаривала, а потомъ,

подозвавъ сына, ласкала его, и шептала ему: «Она твоя сестра, маленькая сестра; уступай ей всегда, а я буду любить тебя за твою любовь къ ней.»

Почти около того же времени, или лучше, спустя годъ послѣ пріѣзда Ипполита Андреевича, въ сосѣдство Огинскихъ пріѣхало семейство Ниловыхъ. Говорили, будто г. Ниловъ пріѣхалъ поправить дѣла свои, разстроенныя городскою жизнію. Онъ былъ женатъ на знатной и красивой женщинѣ, никогда до тѣхъ поръ не покидавшей столицы, и съ ужасомъ покорившейся необходимости жить въ деревнѣ. Ей нужно было разсѣяніе, и потому, тотчасъ по пріѣздѣ, она начала знакомиться съ сосѣдями. Однажды, когда Валентинъ оканчивалъ латинскій урокъ, сестра его Анюта влетѣла въ классную, запыхавшись, и проговорила, не переводя духу:

— Валя! ступай сейчасъ въ гостиную: мама̀ приказала. Тамъ у ней гостья, такая нарядная и важная; она привезла своего сына, и просила маму познакомить тебя съ нимъ. А какой онъ славный, такой хорошенькій, такой нарядный, съ завитыми кудряшками, въ бархатной курточкѣ съ золотыми пуговками. Поди, поди скорѣе! скорѣе!

— Ну, а что̀ еще новаго? спросилъ Ипполитъ Андреевичъ у Анюты, улыбаясь насмѣшливо.

— Больше ничего, отвѣчала она простодушно.

— А я думалъ, есть еще что нибудь, возразилъ онъ. Вы такъ спѣшите болтать; отдохните, по крайней мѣрѣ.

Анюта покраснѣла и вытянула губку въ знакъ досады.

— Злой! сказала она; развѣ я вамъ мѣшаю?

— Разумѣется, мѣшаете, и не въ первый разъ. Урокъ теперь пропалъ, какъ вчера, какъ недѣлю назадъ.

— Ну что жъ, пожалуйтесь мамѣ, сказала Анюта. Это не мое дѣло: мама зоветъ Валю.

Ипполитъ Андреевичъ вздохнулъ и закрылъ книгу. Анюта бѣгомъ вылетѣла изъ комнаты, приговаривая: «Идите же!»—

Валентинъ и Ипполитъ Андреевичъ скоро явились въ гостиную. На диванѣ, подлѣ Александры Николаевны, сидѣла прямо и гордо женщина лѣтъ тридцати, съ черными живыми глазами. Высоко взбитыя букли ея торчали на вискахъ, а такъ называемый *аполлоновъ узелъ* возвышался на макушкѣ; слишкомъ вырѣзанный лифъ полуоткрывалъ часть шеи и обрисовывалъ пышныя плечи и грудь. Черная мантилья на розовой подкладкѣ была накинута на талію. Скромная одежда Александры Николаевны, никогда не жившей въ городѣ, казалась еще скромнѣе подлѣ этого наряда. Сама гостья была такъ озадачена этою простотой въ домѣ и нарядомъ богатой сосѣдки, что почти не обращала на нее вниманія, и говорила большею частію съ Степанидой Петровной, которая, съ своей стороны, старалась поддержать разговоръ на столичный ладъ, припоминая старыхъ знакомыхъ, пріемы и балы, гдѣ нѣкогда блистала и она. Подлѣ Ниловой (потому что это была она) стоялъ мальчикъ лѣтъ 12, бѣлокурые волосы котораго вились около прелестнаго личика; большіе голубые глаза его

блистали умомъ и веселостію. Валентина представили гостьѣ, Сперва онъ смирно сидѣлъ около новаго знакомаго и съ любопытствомъ огдядывалъ его, не говоря ни слова, и только изрѣдка и кратко отвѣчая на его вопросы, сдѣланные твердо и рѣзко. Не отходя ни шагу отъ Павла Нилова, сидѣлъ его гувернеръ, французъ, chevalier de Blanval, какъ самъ онъ подписывался въ письмахъ и самъ называлъ себя. Манеры его были изысканы, одежда щегольская, учтивость отмѣнная, тонъ рѣзкій, что, повидимому, отчасти перешло и къ его воспитаннику. Когда Ипполитъ Андреевичъ предложилъ дѣтямъ итти гулять, Анюта и Валентинъ бросились въ садъ; Павлуша тоже бросился было за нимъ; но chevalier de Blanval схватилъ его за руку, и, сказавъ: «Cela ne convient pas», сошелъ съ нимъ внизъ съ подобающею важностію. Увидѣвъ въ одной изъ куртинъ лѣстницы, ходули, канаты и развѣшанныя веревки, французъ вопросительно взглянулъ на русскаго учителя, и, не безъ нѣкотораго чувства собственнаго превосходства, спросилъ у него, къ чему все это? Надо замѣтить, что въ то время, лѣтъ 30 тому назадъ, нынѣшняя новомодная гимнастика была вовсе не въ ходу, и если она входила въ воспитаніе маленькаго Огинскаго, то, конечно, потому только, что Ипполитъ Андреевичъ любилъ ее, какъ воспоминаніе о своей молодости, кораблѣ и морской службѣ. Вмѣсто ожидаемаго отвѣта, французъ увидѣлъ, какъ Валентинъ ловко лазилъ по канатамъ и по лѣстницамъ. Посмотрѣвъ съ презрительнымъ видомъ на эти упражненія, онъ обратился къ Ипполиту Андреевичу.

— Скажите, для чего дворянину нужно знать подобныя tours de passe-passe? Развѣ онъ готовится въ акробаты?

Ипполитъ Андреевичъ не ожидалъ подобнаго вопроса. Онъ наивно призадумался, а потомъ сказалъ:

— Конечно. Но это развиваетъ ловкость и физическую силу.

— Да, и портитъ кожу рукъ, возразилъ французъ, схватывая Павла, который хотѣлъ также полазить и успѣлъ уже во время разговора двухъ наставниковъ сорваться съ веревки къ совершенному удовольствію Анюты и Валентина, разразившихся вольнымъ дѣтскимъ смѣхомъ. Лакей пришелъ звать дѣтей назадъ: Пилова ѣхала домой, считая свой визитъ оконченнымъ. Черезъ недѣлю Степанида Петровна съ Катей и Валентиномъ отдала визитъ Пиловой, и извинилась за невѣстку, которая не могла выѣзжать, не пользуясь хорошимъ здоровьемъ. Вѣроятно, сношенія двухъ семействъ и кончились бы этими церемонными визитами, если бы самъ Пиловъ, вскорѣ послѣ этого возвратившійся изъ дальней деревни, не пріѣхалъ въ Михайловское. Онъ былъ совершенный контрастъ жены; Богъ вѣсть, какъ такіе люди могли вступить въ бракъ между собою. Говорили, будто Пиловъ познакомился съ своею женой какъ-то случайно на дачѣ, влюбился въ нее, и женился; она была бѣдна и знатна, а онъ былъ богатъ и незнатенъ, почему она тотчасъ согласилась быть его женой; говорили также, что послѣ первыхъ двухъ лѣтъ супружества, онъ проводилъ зимы въ деревнѣ, около Петер-

бурга, гдѣ постоянно охотился за медвѣдями, между тѣмъ какъ жена его проживала его деньги въ Петербургѣ, и только на лѣто являлась къ нему. Разстроенныя дѣла принудили наконецъ ихъ обоихъ выѣхать изъ столицы и поселиться въ одномъ дальнемъ имѣніи. Ниловъ былъ мужчина огромнаго роста, съ рѣзкими чертами лица и довольно грубыми пріемами. Узнавъ, что Валентинъ очень изрядно ѣздитъ верхомъ и лихо (такъ выражался Ниловъ) лазитъ по канатамъ, онъ черезъ два мѣсяца пріѣхалъ къ Александрѣ Николаевнѣ съ предложеніемъ позволить сыну его учиться по-русски съ Валентиномъ, вмѣстѣ ѣздить верхомъ и лазить, съ тѣмъ, чтобы и Валентинъ пріѣзжалъ къ нимъ брать уроки фехтованія и французскаго языка у chevalier de Blanval. Александра Николаевна просила дня два на размышленіе, въ сущности для того только, чтобъ узнать на этотъ счетъ мнѣніе Ипполита Андреевича. Онъ принялъ это предложеніе съ радостію, говоря, что Валентину необходимъ товарищъ; что, къ тому же, учиться по-французски у Парижанина очень полезно, а фехтованье вещь капитальная. Уговоръ былъ сдѣланъ; два раза въ недѣлю Валентинъ ѣздилъ къ Ниловымъ (что было незатруднительно, потому что деревня ихъ находилась лишь въ 5 верстахъ отъ Михайловскаго), и скучалъ тамъ страшно. Мать Павлуши была такъ высокомѣрна, холодна, неприступна, что Валентина, который не имѣлъ и понятія о подобномъ обращеніи, обдавало холодомъ, и слова замирали на языкѣ его въ ея присутствіи. По окончаніи урока, дѣти обыкновенно получали позволеніе играть передъ окнами въ цвѣтникѣ,

но никакъ не лальше, между тѣмъ какъ chevalier de Blanval и компаніонка Пиловой садились играть à la mouche, что и продолжалось до обѣда. Дома она была постоянно разряжена, будто сбиралась ѣхать на балъ; ея помѣшательство на этикетѣ доходило до того, что она у себя въ деревнѣ ввела обычай, чтобы ея компаньонка, двѣ племянницы, ихъ гувернантка и приживалка должны были ожидать ее въ гостиной, одѣтыя нарядно! Лишь только она входила, дѣти, приживалки, компаньонки, гувернантки, chevalier de Blanval, игравшій важную роль въ этомъ домѣ, обступали ее, и разсказывали ей домашніе дрязги, сплетни или новости по сосѣдству. Г-нъ де-Бланваль, съ своей стороны вмѣшивался въ разговоръ съ словоохотливостію француза. Все это до такой степени было ново и казалось такъ скучно Валентину, что онъ весьма часто просилъ позволенія у матери не ѣздить къ Пиловымъ, а Павлуша, на оборотъ, выманивалъ у своего отца позволеніе не только поѣхать, но и ночевать у Огинскихъ. Можно позволить себѣ предположеніе, что сама Пилова и особенно Бланваль вовсе не были недовольны тѣмъ, что Павлуша учится и проводитъ почти цѣлый день у сосѣдей; оба они любили играть въ карты, читать романы, вспоминать Петербургскую жизнь; занятія же гувернера съ Павлушей, какъ бы поверхностны ни были, все же мѣшали его удовольствіямъ и стѣсняли его свободу. Что касается до Пиловой, то рѣзвость Павлуши была ей невыносима и раздражала ея нервы. Скоро Павлуша сдѣлался какъ бы членомъ семьи Огинскихъ, роднымъ братомъ Валентина, баловнемъ тетушки Стени. Характеръ его из-

мѣнился. Сперва, входя въ гостиную, онъ былъ чиненъ, степененъ, какъ молоденькій старичекъ, а выходя изъ нея, становился буенъ и шаловливъ до крайности. Въ послѣдствіи, непринужденное обращеніе, ласковыя замѣчанія измѣнили его; онъ остался рѣзовъ, но сдѣлался откровененъ, болталъ безъ умолку, и не рѣдко смѣшилъ всѣхъ своими неожиданными выходками и вспышками остроумія. Онъ былъ вспыльчивъ до крайности, и, подружившись съ Валентиномъ, не могъ однако поладить съ Анютой; ознакомившись съ нею короче, онъ никогда не поддавался ей, и ихъ безпрестанныя ссоры нарушали общее спокойствіе. Избалованная матерью и братомъ, Анюта поступала иногда деспотически, и не могла примириться съ мыслію, что одинъ Павелъ всегда противъ нея. Иногда онъ былъ даже грубъ съ нею. Не странно ли было видѣть, что этотъ мальчикъ, недавно воспитывавшійся по всѣмъ правиламъ утонченной вѣжливости, сбрасывалъ ее на свободѣ, какъ ненужное бремя? Не замѣтить ли кстати, что если на Валентинѣ, во вредъ ему, быть можетъ, отражалось излишество женскаго вліянія, то въ его маленькомъ товарищѣ, на оборотъ, чувствовалось совершенное его отсутствіе? Обыкновенно послѣ классовъ, пообѣдавъ наскоро, дѣти собирались гулять подъ предводительствомъ Ипполита Андреевича, и дорогою увлекали за собою всѣхъ дворовыхъ дѣтей, которыя, поджидая ихъ, непремѣнно попадались на встрѣчу. Въ одну изъ такихъ прогулокъ, въ прекрасный лѣтній день, всѣ они отправились въ дальнюю рощу, и шли по краю обрывистаго живописнаго оврага. Зеленая трава, пышно украшенная яркими полевыми

цвѣтами и кой-гдѣ мхомъ, покрывая дно его, разстилалась до самаго ручейка, бѣжавшаго тамъ между камнями; надо было перейти оврагъ и ручей, чтобы войти въ рощу. Переправа началась. Анюта стояла на берегу ручья.

— Иди же! закричалъ ей Павлуша, опережая вереницу дѣтей, спускавшихся въ оврагъ, и нетерпѣливо спѣша къ темнѣвшему вдали лѣсу.

— Братецъ! сказала Анюта, перенеси меня!

— Что пейдешь сама, прыгай, сказалъ ей Павлуша не совсѣмъ ласково: есть ему время съ тобою нянчиться.

Валентинъ былъ сзади, серьезно занятый разсужденіемъ о томъ, кто будетъ нести самый большой кузовъ, назначенный для складки лучшихъ грибовъ. Услышавъ голосъ сестры, онъ подошелъ къ ней.

— Перенеси меня! сказала она, настаивая.

Онъ хотѣлъ взять ее на руки, но Павелъ кричалъ ему:

— Валентинъ, сюда, скорѣе! Попробуемъ, кто первый добѣжитъ до лѣса.

— Сейчасъ! отвѣчалъ онъ.

— Я бѣгу! возразилъ Павлуша.

Услышавъ вызовъ, Валентинъ оставилъ сестру, говоря:

— Ѳедя перенесетъ тебя! и пустился бѣжать за Павлушей, котораго скоро обогналъ. Измученные и усталые, они добѣжали до дерева, и легли подъ его тѣнью.

— Зачѣмъ сестра твоя всегда увяжется за нами? сказалъ Павель Валентину. Гдѣ намъ ходить съ дѣвочками! Мы мальчики, ей не поспѣть за нами.

— А что жъ ей одной дѣлать дома? спросилъ Валентинъ.

— Пусть вяжетъ, нижетъ бисеръ; твоя сестра Катя не бѣгаетъ же за нами.

— Катя большая, и тетя ее не пуститъ; а Анюта маленькая, Анюта любитъ быть со мной, и мнѣ съ нею весело.

—Дивлюсь я тебѣ, сказалъ Павелъ: Ну что тутъ веселаго? «Братецъ, перенеси! Братецъ, нарви цвѣтовъ! Валя, сядь, я устала!» пищалъ Павлуша, передразнивая Анюту. А ты, дамскій угодникъ, у ней на посылкахъ. Ты—братъ, по настоящему, она должна бы тебя слушаться.

— Да! послышался сзади голосъ Анюты: спросите у него, что говоритъ мама, и похвалитъ ли она его за то, что онъ броситъ меня одну, по вашему совѣту. Подите, вы злой мальчикъ!

— Въ самомъ дѣлѣ! сказалъ Павелъ вставая: если бы ты была моя сестра, я бы научилъ тебя разуму.

— Сохрани меня Богъ отъ такого брата, сказала Анюта; вы гордый, злой, задорный—всѣ говорятъ это.

— Кто говоритъ? спросилъ Павелъ, всыхнувъ.

— Всѣ: и Лиза, и Ѳедя, и Валл, всѣ, всѣ.

— Полно, Анюта, сказалъ Валентинъ: за чѣмъ ты съ нимъ ссоришься?

— Я говорю правду, отвѣчала она: его никто не любитъ, кромѣ тебя.

— И не нуждаюсь! сказалъ Павелъ: я сдѣлалъ по своему и доволенъ. Кто васъ перетащилъ черезъ ручей? Осталась одна, что?

— Меня перенесъ Ѳедя, сказала Анюта гордо, и я столько же благодарна ему за это, какъ и за совѣтъ. Онъ сказалъ мнѣ: Охота вамъ ходить съ ними, барышня! Павелъ Ивановичъ баринъ гордый.

— Ахъ, вы! сволочь этакая! сказалъ Павелъ, выходя изъ себя и дѣлая два шага впередъ къ дѣтской фалангѣ, которая попятилась и разступилась.

— Дрянь! Трусы! произнесъ Павелъ, и сѣлъ опять на траву.

Ипполитъ Андреевичъ подошелъ въ это время, и строгій выговоръ его смутилъ Павла, тѣмъ болѣе, что его принудили просить прощенія у Анюты и у Ѳеди за грубыя слова свои.

Павелъ вскочилъ и быстро пошелъ домой. Валентинъ бросился за нимъ.

— Помирись! говорилъ онъ ему, хоть для меня.

— Не хочу! сказалъ Павлуша: стану я просить прощенія у мальчишекъ!

— Баринъ! говорилъ, подходя, Ѳедя: Ну что за гулянье? всѣ перессорились, барышня чуть не плачетъ. Ну, баринъ, простите меня, что я не такъ сказалъ о васъ!

— Павлуша! сказалъ Валентинъ по-французски: посмотри, ты обидѣлъ Ѳедю, а онъ у тебя же проситъ прощенія. Стыдись, перестань, не упрямься!

Павелъ колебался; наконецъ обратился къ Ѳедѣ и сказалъ ему:

— Ну, хорошо! помиримся!

Всѣ они возвратились къ Ипполиту Андреевичу, который спокойно ожидалъ ихъ; прочитавъ еще наставленіе Павлу, онъ пошелъ далѣе, ведя Анюту за руку; она дулась и молчала.

— Анюта! сказалъ Валентинъ: за что ты сердишься?

Она молчала.

— Полно капризничать, скажи!

— Я не капризничаю, а Павлуша дурной мальчикъ.

— Отъ чего? онъ помирился съ Ѳедей.

— Стыдись, Валя! сказала она вдругъ, краснѣя: развѣ я не видѣла, что Ѳедя первый просилъ у него прощенія? Я не люблю твоего Павлуши.

Прогулка не удавалась и становилась для дѣтей несносною; гордость Павла страдала, Валентинъ былъ озабоченъ, Анюта не въ духѣ. Когда братъ и сестра помирились, Анюта сказала ему сквозь слезы:

— Если ты будешь его слушаться, то сдѣлаешься дурнымъ братомъ.

Это слово запало Валентину въ сердце, и послѣ того онъ употреблялъ всѣ способы, чтобы мирить безпрестанно Анюту и Павлушу, но это не всегда удавалось ему. Эти двое дѣтей были почти постоянно въ ссорѣ.

Въ другой разъ размолвка вышла еще серьезнѣе. Это было годъ спустя: зимою, на святкахъ, затѣялся домашній маскарадъ. Всѣ швеи, горничныя дѣвушки и дѣти собрались въ одну комнату для переодѣванія; весь гардеробъ бабушекъ и прабабушекъ Огинскихъ, всѣ платья Степаниды Петровны, даже тѣ, которыя она когда-то сама надѣвала въ Москвѣ на маскарадахъ, были вынуты изъ сундуковъ, и лежали разноцвѣтною пестрою грудой въ углу комнаты, будучи отданы въ полное распоряженіе дѣтей. Радость была всеобщая; домашнія маски, наскоро сдѣланныя изъ картона и тафты, переходя изъ рукъ въ руки, разсматривались завистливо тѣми, кто не успѣлъ или не умѣлъ заготовить такихъ же. Катя, въ первый разъ принимая участіе въ общихъ увеселеніяхъ, выбрала для себя богатый нарядъ, шитый серебромъ и золотомъ. Анюта, доставъ изъ сундука головной уборъ, передникъ и платье, любовалась ими, и примѣривала ихъ на себя. Валентинъ стоялъ назади, и обглядывалъ съ любопытствомъ всякій новый уборъ, выхваченный изъ неисчерпаемаго рога изобилія, и послѣ многихъ лѣтъ появившійся снова на свѣтъ Божій въ рукахъ горничной.

— Тётя! сказала Анюта, что это за уборъ? я никакъ не пойму, а прелестный уборъ.

— Это нарядъ Мордовки, отвѣчала тетка: я была въ немъ на балѣ у графини Зотовой.

— Я надѣну его, сказала Анюта; только юбка длинна; прикажите подшить ее.

— Изволь; но сперва спроси у Кати, не возьметъ ли она его?

— Катя взяла другой.

— Въ такомъ случаѣ надѣвай, мой дружечекъ.

Анюта бросилась въ швейную.

— Варя, Варя! сказала она: подшей мнѣ эту юбку, я надѣну вотъ что.

Варя стала подшивать, а Анюта стояла подлѣ, не спуская глазъ съ каждаго стежка иголки.

— А ты что надѣнешь, Варя? спросила она у любимицы всего дома.

Лукавицѣ нравился принесенный Анютой нарядъ.

— Въ томъ-то и бѣда, сказала она, что надѣть-то мнѣ нечего. Все ужъ повытаскали у барышни, поздно пришла.

— Какъ же это, Варя? надо бы найти. Тамъ еще много.

— Все дрянь осталась, возразила Варя: гдѣ ужъ мнѣ найти. Они, вотъ видите ли, не хорошо наровятъ. Агашина тетка-то за барыней ходить, такъ и припасла племянницѣ наряжанье; у Саши и у Матреши—матери экономки, такъ онѣ тоже похватали; у Насти—сестра горничная Катерины Михайловны: вѣстимо, что и себѣ и ей платьевъ выпросила, а о Катѣ и говорить нечего — Ѳедосьи Петровны крестница: ей всего вдоволь натаскали.

— Да вѣдь тамъ много, сказала Анюта.

— Вѣстимо много, да и дворни-то много; видимо не видимо; у всѣхъ родство, сватовство да кумовство.

Голько у меня никого-то нѣтъ: одинъ тятенька, да ему не о нарядахъ моихъ думать-стать, его дѣло мужское; ну, и пойдешь позади всѣхъ въ тряпьѣ.

— Нѣтъ, Варя, это мое дѣло; ты фаворитка мамы, бери этотъ нарядъ, я себѣ другой найду.

— Что вы это, матушка-барышня? да меня засмѣютъ, забранятъ.

— Бранить тебя не посмѣютъ, сказала Анюта, и смѣяться нечему. Катенькина Дуняша также будетъ разодѣта.

— Оно конечно, да какъ же вы-то, барышня?

Споръ длился не долго; Анюта безъ труда убѣдила Варю взять нарядъ, который именно былъ предметомъ всѣхъ ея мечтаній, и принялась искать себѣ другой; къ несчастію, ничего не оставалось хорошенькаго: все было разобрано или неполно. Очень сожалѣя о своемъ минутномъ великодушіи, она пришла въ комнату брата въ то самое время, когда Павелъ, готовясь играть съ Валентиномъ роль медвѣдя, примѣривалъ на-выворотъ какую-то шкуру, нарочно для этого приготовленную. Валентинъ долженъ былъ при медвѣдѣ играть роль мужика, вертѣлъ въ рукахъ огромный рыжій парикъ и большую бороду.

— Валя! сказала Анюта ласково, я къ тебѣ съ просьбой, голубчикъ!

— Что тебѣ? спросилъ онъ.

— У меня нѣтъ никакого наряда, но Ипполитъ Андреевичъ помогъ моему горю: онъ говоритъ, что меня

можно покрыть простыней, какъ женщины закрываются въ Турціи, а Павелъ и ты, вы понесете меня въ палапкинѣ, одѣтые неграми; онъ взялся тотчасъ уладить и палапкинъ. Хочешь?

— Ну что жь, хорошо! вели приготовить женыхъ пробокъ, я приду сейчасъ.

— Милый мой, сказала Анюта, какъ я рада! бѣгу одѣться какъ нибудь... Ипполитъ Андреевичъ ужъ хлопочетъ; черезъ часъ все будетъ готово.

— Ладно ! сказалъ Валентинъ , цѣлуя ея пальчики , и , обращаясь къ Павлу, прибавилъ: Ну ! ужъ мужикомъ-то я видно не буду; жаль! останется до другаго раза.

— Какъ? сказалъ Павелъ, обращаясь къ нимъ: кто же будетъ водить медвѣдя?

— Охотники найдутся, сказалъ Валентинъ.

— Позвольте, баринъ, мнѣ , сказалъ Яковъ, мальчикъ изъ буфета, подходя съ любовію къ парику и бородѣ.

— Отвяжись, возразилъ Павелъ, разсердясь. Потомъ, обратившись опять къ Валентину и сестрѣ его, началъ говорить горячо и громко; совершенно забывъ, что на немъ была надѣта шкура, онъ размахивалъ руками, продѣтыми въ лапы медвѣдя. Мохнатая морда ходила во всѣ стороны, и торчавшія вверхъ уши этого искусственнаго звѣря производили такія смѣшныя эволюціи на макушкѣ Павла, что братъ, сестра и всѣ присутствующіе разразились неумолкаемымъ хохотомъ. Павелъ

кричалъ и, наконецъ, вышелъ изъ себя; онъ бросился на Анюту и закричалъ какъ съумасшедшій:

— Поди вонъ, или я тебя вытолкаю!

Анюта продолжала смѣяться.

Тогда онъ сбросилъ съ себя шкуру, взялъ Анюту за плечи, и вытолкнулъ изъ комнаты. Валентинъ бросился за Павломъ; Анюта плакала, а Павелъ продолжалъ выгонять ее и изъ другой комнаты. Тогда Валентинъ вдругъ, съ несвойственною ему яростію, бросился на своего товарища, и страшная драка завязалась между ними. Анюта мгновенно отерла слезы, и пристала къ брату, защищая его отъ сыпавшихся на него ударовъ. Онъ былъ слабѣе Павла, но не жалѣлъ себя, и дрался храбро. Это отчаянное побоище было прекращено приходомъ Ипполита Андреевича, за которымъ бросились присутствовавшіе. Не говоря ни слова, онъ рознялъ дѣтей, и посадилъ ихъ всѣхъ порознь въ углы. Съ тѣхъ поръ Анюта и Павелъ еще болѣе не взлюбили другъ друга. Лѣта проносились надъ головами ихъ, они росли, дѣлались разумнѣе, постепенно отношенія ихъ мѣнялись, но въ сущности не было замѣтно между ними никакого сближенія. Они стали только вѣжливѣе, не ссорились болѣе, какъ бывало прежде, но и не дружились. Звѣно, соединявшее ихъ, былъ Валентинъ, который все больше и больше привязываясь къ сестрѣ, сосредоточилъ на ней и на матери всю любовь своего сердца. Отношенія его къ Павлу были не больше, какъ товарищескія. Дни текли, годы уходили; Валентинъ былъ свѣжій, здоровый юноша; Анюта пре-

лестная дѣвочка; Павелъ, кипѣвшій молодостію, казался старше, чѣмъ былъ въ самомъ дѣлѣ. Александра Николаевна, по прежнему, не участвовала ни въ дальнихъ прогулкахъ дѣтей, ни въ шумныхъ кавалькадахъ ихъ; лишь иногда вечеромъ, опираясь на руку сына, она уходила въ цвѣтникъ, и раза два-три обходила его по дорожкамъ, густо заросшимъ благоухающимъ кустарникомъ шиповника, розъ и жасмина. По какому-то тайному чувству, никто изъ семьи, кромѣ Анюты, не ходилъ съ ними; разговоры ея съ дѣтьми не были ни замысловаты, ни таинственны, и однако (странное дѣло!) эти минуты были проникнуты такою обоюдною любовію, что долго потомъ, даже въ глубокой старости, Валентинъ вспоминалъ о нихъ съ умиленіемъ, и чтилъ память о нихъ, какъ святыню. Какъ была чиста и прекрасна она, незлобивая и простодушная, какъ голубица! Сколько безсознательной поэзіи разлито было вокругъ нея! Какъ были просты и благородны всѣ высказанныя ею мысли, какъ миролюбивы правила! Внимательно, бывало, слушали ее дѣти, а бывало и такъ, что ходили они молча, счастливые и довольные. Однажды, заря догорала; пурпуромъ окрасились серебряныя облака; вечеръ былъ благоуханный и тихій, глубокое молчаніе изрѣдка прерывалось чириканьемъ сверчка; они молча шли рядомъ, взявшись за руки. Она глядѣла вдаль, вдругъ остановилась и сказала тихо, взглянувъ на дѣтей:

— Скоро вы будете далеко, дѣти; я очень счастлива была здѣсь съ вами.

Слезы блестѣли въ глазахъ ея; видно было, что жен-

щина эта, не знавъ никогда любви, всю душу положила въ дѣтяхъ, въ нихъ однихъ.

— Гдѣ же мы будемъ? сказалъ Валентинъ.

— Мы ѣдемъ въ Москву, другъ мой. Тебѣ надо имѣть другихъ учителей, Катѣ пора выѣзжать. Меня давно сестрица просила ѣхать; я не рѣшалась: я здѣсь такъ счастлива; но что жъ дѣлать? Я дала слово, въ началѣ осени мы уѣдемъ въ Москву.

Такъ и случилось. Черезъ три мѣсяца, двѣ четвероместныя кареты и нѣсколько кибитокъ въѣзжали на широкій дворъ, въ глубинѣ котораго, прислонясь къ саду, стоялъ огромный старинный домъ Огинскихъ, глядѣвшій на одну изъ главныхъ улицъ огромнымъ рядомъ длинныхъ оконъ своихъ.

ГЛАВА II.

Лишь только Огинскіе поселились въ Москвѣ, какъ семейство ихъ совершенно раздвоилось. Наклонность къ тому уже замѣтна была и въ деревнѣ, въ городѣ же она еще рѣзче вышла наружу. Степанида Петровна съ упоеніемъ увидѣла себя въ своей сферѣ, увидѣла осуществленіе своихъ мечтаній, когда представила всѣмъ знатнымъ родственникамъ свою Катю, красивую, хотя нѣсколько и застѣнчивую. Многочисленная родня Огинскихъ не замедлила отдать визитъ и Александрѣ Николаевнѣ, явившейся въ кругу ея съ двумя меньшими дѣтьми; но послѣ этихъ первыхъ необходимыхъ свиданій жизнь ея потекла опять довольно однообразно. Выѣзды утомляли Александру Николаевну; каждый вечеръ, каждое новое знакомство пугали ее, и она отказывалась отъ нихъ по поводу слабаго здоровья. Дѣти продолжали учиться, между тѣмъ какъ Катя и Степанида Петровна не пропускали ни одного удобнаго случая поѣхать на вечеръ, въ концертъ, въ театръ, и нерѣдко принимали у себя, помѣстясь въ огромномъ

домѣ такъ, что ихъ комнаты были отдѣльныя. По этому поводу возникало даже нѣсколько маленькихъ непріятностей: Степанида Петровна требовала, чтобы Анюта присутствовала на нѣкоторыхъ вечеринкахъ, и при всякомъ отказѣ принималась ворчать.

— Ужъ она большая дѣвушка, говорила она невѣсткѣ: пора бы ей перестать учиться съ мальчикомъ; пора бы ей кой-куда ѣздить, тѣмъ болѣе, что старшая сестра могла бы быть ей полезна, и присмотрѣла бы за ней, и познакомила бы ее.

— Ей только 15 лѣтъ. Время не ушло; къ тому же она многаго не знаетъ, и съ удовольствіемъ оканчиваетъ свое воспитаніе.

— Да что вы ее въ гимназію что ли готовите? спросила съ сердцемъ Степанида Петровна.

Александра Николаевна молчала.

— Весь этотъ вздоръ набилъ ей въ голову Ипполитъ Андреевичъ! Ахъ, ахъ! продолжала она, все-то по новому! Дѣвочку учить какъ мальчика! Что бы сказалъ братъ покойникъ, если бъ увидалъ наше житье бытье? Не похвалилъ бы онъ. Умеръ ранешько, голубчикъ!

Такіе или подобные этому разговоры повторялись часто. Для прерыванія ихъ, Александра Николаевна или молчала или уходила въ свою комнату, и, встрѣтясь потомъ съ невѣсткой, не показывала и виду, что сердита или недовольна, или даже помнитъ прошедшій споръ. Между тѣмъ дни шли за днями, не внося разнообразія въ семейную жизнь Огинскихъ. Часто, во время длинныхъ зимнихъ вечеровъ, дѣти, оставляя обычныя занятія, приходили къ матери, и, помѣща-

ясь подлѣ нея, съ наслажденіемъ принимались читать какой нибудь романъ Августа Лафонтена, или идилліи и элегіи, которыя тогда только что появились, отвѣчая потребностямъ времени. Съ какимъ вниманіемъ и почти дѣтскимъ участіемъ сама мать слушала длинныя повѣсти наивнаго Лафонтена; съ какимъ добродушно-серьезнымъ видомъ слѣдилъ за чтеніемъ самъ Ипполитъ Андреевичъ, сочувствуя своимъ воспитанникамъ! Къ концу вечера, въ далекой передней хлопали двери, вдоль по длинной амфиладѣ комнатъ шумѣло нарядное платье, и Катя входила съ теткой, возвращаясь съ какого-нибудь вечера. Тогда чтеніе прерывалось; она разсказывала, что̀ дѣлала, что̀ говорила, что̀ видѣла. Братъ и сестра слушали ее съ удивленіемъ, а мать не могла налюбоваться еще недавно, по такъ пышно развившейся красотой старшей дочери. Къ концу зимы, уступая настоятельнымъ просьбамъ двухъ старыхъ тетокъ и невѣстки, Александра Николаевна стала выѣзжать съ дѣтьми на такъ называемые уроки танцованья, которые въ сущности были маленькими вечеринками. Но надо признаться, что появленіе въ свѣтъ этой робкой молодой матери съ двумя дѣтьми, краснѣвшими при всякомъ вопросѣ, сопровождалось, тотчасъ по возвращеніи ихъ домой, непріятной домашней сценою, такъ что Александра Николаевна усомнилась въ своихъ мнѣніяхъ относительно воспитанія.

— Ну! скажите мнѣ теперь, говорила ей Степанида Петровна съ запальчивостію: скажите, уже ли вамъ было весело глядѣть на Валентина и Анюту? Валентинъ заикается и краснѣетъ, когда съ нимъ говорятъ старшіе;

молчитъ какъ убитый, танцуя съ дѣвушками; а Анюта — Господи! стыдно вымолвить — едва не спряталась за занавѣски, когда княжна Алина подошла говорить съ нею.

— Сама вижу, что они застѣнчивы, сказала Александра Николаевна смиренно.

— Дики, дики и невоспитаны, какъ медвѣжата, возразила невѣстка.

— Что жъ мнѣ дѣлать? спросила Александра Николаевна.

— То-то и есть. Если бъ прежде слушались.

Вслѣдъ за этимъ разговоромъ было положено, что всякую субботу Валентинъ и Анюта будутъ ѣздить брать уроки танцованія у Бронской, двоюродной тетки покойнаго Огинскаго. Домъ ея бытъ огромный, устроенный и отдѣланный по старинному, то есть, безъ пышной новой мебели, съ многочисленною, но весьма нечисто одѣтою прислугой. Эти вечера по субботамъ были наказаніемъ для двухъ дѣтей. Неловко, дико, тяжело имъ было танцовать въ огромной гостиной, когда они чувствовали на себѣ каждую минуту пристально слѣдящіе взоры встревоженной тетки. Тутъ-то Валентинъ познакомился впервые съ молодымъ красивымъ человѣкомъ, лѣтъ 16, съ которымъ въ послѣдствіи соединила его довольно тѣсная связь. Вотъ какимъ образомъ это случилось.

Однажды, между двухъ танцевъ, Валентинъ сидѣлъ поодаль отъ другихъ, когда увидѣлъ, что на сосѣдніе стулья сѣли щеголки одѣтые мальчики. Скоро онъ услышалъ, что говорили о немъ.

— Что это за птенецъ? спросилъ тотъ, который былъ постарше.

— Не знаю, я здѣсь въ первый разъ, какъ и ты; вѣрно маменькинъ сынокъ: сидитъ поодаль и поминутно краснѣетъ.

— А все же онъ очень красивъ собою, сказалъ старшій. Онъ мнѣ нравится. Пойду, познакомлюсь съ нимъ, и возьму его подъ свою протекцію.

— Вотъ какъ! Вѣдь ты здѣсь въ первый разъ.

— И не въ послѣдній, потому что Магіе Воховская бываетъ здѣсь по субботамъ; а я въ нее влюбленъ безъ памяти.

Заиграли французскую кадриль. Пары становились сами или устанавливались по распоряженію учителя, завѣдывавшаго вечеромъ. Вообще, онъ питалъ глубокое презрѣніе къ обоимъ Огинскимъ, считая ихъ, по ихъ застѣнчивости и неловкости, какими-то паріями въ числѣ своихъ учениковъ. Нашедъ одну изъ самыхъ дурныхъ дѣвочекъ, ни кѣмъ не приглашенную на танецъ, онъ поставилъ ее съ Валентиномъ, и довольно развязно поправлялъ имъ ноги, что окончательно сконфузило Валентина.

— Tenez-vous droit! кричалъ онъ, захлопавъ въ ладони, и тотчасъ далъ знакъ играть кадриль. Allons, en avant!

Ни живъ, ни мертвъ, проклиная учителя, обратившаго на него общее вниманіе, Валентинъ началъ фигуру. Проходя мимо гордаго юноши, онъ услышалъ ободрительное слово.

— Смѣлѣе! говорилъ онъ ему. Вы очень хорошо танцуете.

Валентинъ обернулся. Въ теченіи мѣсяца это было первое ободрительное слово, которое онъ услышалъ. По окончаніи танца, его молодой покровитель началъ разговоръ. Оказалось, что у нихъ были общіе знакомые, общіе учители. И самъ того не замѣчая, Валентинъ разговорился, и остальная часть вечера показалась ему менѣе мучительною. За ужиномъ новый знакомый просилъ Валентина познакомить его съ сестрою.

— Я не знаю вашего имени, сказалъ Валентинъ не смѣло.

— Мишель Армалевъ, отвѣчалъ гордо юноша, будто бы имя его было имя принца крови.

— Ваша сестра очень, очень мила, хотя застѣнчива, сказалъ ему Армалевъ; клянусь, если бъ не моя любовь къ Магіе Ваховской, я бы ухаживалъ за нею.

Валентинъ слушалъ эти новыя для него рѣчи, и краснѣлъ до ушей.

— Дитя! сказалъ дружески юноша, съ видомъ покровительства потрепавъ его по плечу.

Когда сѣли въ карету, Анюта спросила у брата:

— Ну, что?

— Нынче было сноснѣе, сказалъ Валентинъ. Армалевъ очень любезенъ. Какой онъ развязный, какой ловкій, какой умный!

— Да ужъ не тебѣ чета, прибавила Степанида Петровна, а пяти тысячъ душъ у него нѣтъ, какъ у насъ

Вотъ что значитъ воспитаніе! Впрочемъ онъ, хотя и не богатъ, но принятъ во всѣхъ домахъ, и я очень рада, что вы познакомились. А ты, Анюта?

— Я тоже, ma tante, провела вечеръ довольно пріятно. Нина Маслова и Вѣра Павлонская очень полюбили меня.

— Будто бы? Ну, я очень рада. Тебя звали танцовать, или учитель искалъ тебѣ кавалеровъ?

— Иногда меня приглашали, а иногда.....

Анюта покраснѣла.

— И то хорошо. Вы нынче вообще лучше вели себя. Надѣюсь, что со временемъ....

Карета подкатила къ подѣзду. Дѣти выскочили и побѣжали по лѣстницѣ. На широкой площадкѣ мать вышла встрѣтить ихъ, по обыкновенію.

— Ну что? былъ первый вопросъ ея, какъ всегда.

— Нынче было весело, мама, сказала Анюта.

Валентинъ схватилъ сестру на руки, и понесъ ее по лѣстницѣ.

— Не урони сестры! закричала мать.

— Не бойтесь! отвѣчалъ онъ: будто я дитя! Про себя же онъ подумалъ: Со мной большіе знакомятся — какой я дитя!

На другой день утромъ въ комнату Валентина вошелъ Армалевъ. Сначала Валентинъ смутился и не зналъ, какъ принять его; но увидя его совершенную безцеремонность, развязность и веселость, онъ оправился и

принялся болтать. Два часа прошли незамѣтно. Армалевъ просилъ Валентина представить его матери, остался съ полчаса у Александры Николаевны, и распростился съ своимъ новымъ пріятелемъ.

Черезъ нѣсколько дней, Валентинъ просилъ мать отпустить его въ гости къ новому знакомому, и очень удивился, когда она стала упрашивать его не ѣздить къ нему.

— Ты молодъ, Валя, говорила она: боюсь за тебя. Принимай у себя, ѣзди на вечера; но боюсь за тебя, когда ты будешь ѣздить къ людямъ, которыхъ я не знаю.

Валентинъ спорилъ; но видя, что мать огорчена и взволнована, уступилъ ей.

— Богъ знаетъ, кто этотъ Армалевъ, говорила Александра Николаевна Ипполиту Андреевичу. Онъ такой бойкой—даже меня смутилъ. Пожалуй этакъ мой сынъ Богъ вѣсть съ кѣмъ познакомится. Я боюсь.

— Нельзя же его держать дома.

— Ну, да и пускать всюду нельзя.

— Конечно. Развѣ не зайти ли мнѣ къ Армалеву вмѣстѣ съ Валентиномъ?

— Прекрасно! Вотъ это всего лучше!

— Не обидѣлся бы Валентинъ.

— Чѣмъ же? я предложу ему зайти къ Армалеву, когда мы пойдемъ гулять.

Такъ и было. Но, казалось, Армалеву не пришелся по сердцу визитъ стараго гувернера, потому что съ тѣхъ поръ не звалъ онъ къ себѣ Валентина, а приходя

къ нему, почти всегда былъ приглашаемъ въ гостиную, гдѣ находилъ все семейство Огинскихъ. Хотя Александра Николаевна не мѣшала дѣтямъ говорить, смѣяться и шутить, но, вѣроятно, ея постоянное присутствіе не было пріятно Армалеву, потому что онъ являлся уже не слишкомъ часто, и оставался не слишкомъ долго.

Прошла зима, прошла другая, и для Валентина открывался новый міръ, новое существованіе. Онъ много занимался; цѣлый полкъ учителей ходилъ къ нему, но не они и не ихъ уроки имѣли на него то прямое и важное вліяніе, которое должно было отозваться въ цѣлой его жизни. Книги и чтеніе произвели на него сильное впечатлѣніе, равно какъ и самое время, въ которое онъ начиналъ самостоятельно мыслить. Въ ту пору все было заражено романтизмомъ, и вся наша рождающаяся литература была наводнена стихами. Никто болѣе Валентина не былъ подготовленъ къ жаркому воспріятію тѣхъ идей романтизма, которыя тогда носились какъ бы въ самомъ воздухѣ. Тихая и мирная жизнь въ деревнѣ, патріархальный бытъ Огинскихъ, самое его первоначальное воспитаніе развили въ немъ чувствительность и мягкость, доходившія до болѣзненности; а совершенное отчужденіе отъ всякаго общества заразило его мечтательностію, и всѣ элегіи тогдашняго времени пришлись ему, какъ нельзя больше, по вкусу и сердцу. Жадно бросился Валентинъ на книги; зная отлично нѣмецкій языкъ, онъ въ самомъ источникѣ упивался романтизмомъ, и его склонность къ мечтательности, задумчивымъ грезамъ и туманно-легкой печали развилась еще сильнѣе. Какъ многіе другіе молодые люди того

времени, онъ, если и не говорилъ, то находилъ невыразимую прелесть въ тихой грусти, хотя грустить ему въ сущности было не о чемъ. Грусть была тогда поэтическимъ элементомъ, безъ котораго мыслящему и образованному юношѣ не возможно было жить. Дѣйствительная жизнь, почва дѣйствительности, если такъ можно выразиться, исчезала изъ-подъ ногъ Валентина, и онъ парилъ *гдѣ-то тамъ*, въ очарованныхъ пространствахъ, наполненныхъ призраками Альбано, маркизъ Позъ, Луизъ и Вертеровъ. Самая мысль поэта, передававшаго въ лицѣ своего героя или героини заблужденія страсти или горькій опытъ жизни, мало внушали сочувствія Валентину. Глубокое паденіе нѣкоторыхъ героинь Шиллера, не лишенное однако ни величія, ни благородства, оставалось ему непонятнымъ; онъ видѣлъ въ немъ одинъ позоръ и только позоръ. Если бы Валентинъ не былъ отъ природы надѣленъ мягкимъ сердцемъ и добротою, быть можетъ, онъ сталъ бы нетерпимъ и суровъ въ своихъ приговорахъ, какъ всѣ тѣ, которые дѣлятъ людей на два разряда, на злыхъ и добрыхъ, на благородныхъ и низкихъ. Хотя онъ глядѣлъ на людей именно съ этой точки зрѣнія, однако не дошелъ до крайнихъ результатовъ нетерпимости: природная мягкость сердца спасала его отъ фанатизма осужденій. Преисполненный благоговѣнія къ безукоризненнымъ героямъ, созданнымъ воображеніемъ поэтовъ, Валентинъ мечталъ найти такихъ же людей и въ дѣйствительномъ мірѣ, и съ затаеннымъ безпокойствомъ ждалъ любви, одной любви. Дружбу онъ нашелъ давно, и вполнѣ предался ей; онъ видѣлъ въ ней

нѣчто святое и высокое, и страстно любилъ въ сестрѣ свой возвышенный идеалъ. Съ этой стороны онъ былъ спокоенъ и не желалъ ничего болѣе, полагая, что другъ въ жизни можетъ и долженъ быть одинъ съ колыбели до могилы. Что же касается до любви, то онъ вѣрилъ, какъ Ленскій,

Что душа родная
Соединиться съ нимъ должна,

и во всемъ Евгеніи Онѣгинѣ ему нравилось только одно лице Ленскаго, да еще, можетъ быть, поэтическій образъ Татьяны любилъ онъ представлять въ своихъ мечтаніяхъ. Что касается до Евгенія и Ольги, онъ громилъ ихъ съ высоты своего высокомѣрнаго чувства, и былъ бы крайне доволенъ, если бъ Ольга умерла съ горя на могилѣ Ленскаго, при свѣтѣ

блѣдныя луны,

какъ выражались тогда въ стихахъ.

Наше здоровое молодое поколѣніе не читаетъ уже эпическихъ поэмъ новаго времени; но тогда Валентинъ около году былъ въ восторгѣ отъ Мессіады Клопштока, и къ совершенному удовольствію и гордости матери, переводилъ ей стихами цѣлыя страницы этой мистической, хотя и прекрасной въ своемъ родѣ книги. Валентинъ читалъ много, читалъ безпрестанно, но безъ выбора и безъ порядка. Подлѣ Мессіады лежалъ у него чувствительно-сладкій Геснеръ и приторно-пастушескіе романы Флоріана, но и въ нихъ онъ умѣлъ найти симпатичную себѣ сторону. Ипполитъ Андреевичъ очень радо-

вался страсти своего воспитанника къ чтенію, и, видя въ его рукахъ одне нравственныя книги, только изрѣдка замѣчалъ ему, что одна литература недостаточна, что можно бы почитать Исторію. Валентинъ, желая сдѣлать удовольствіе старику, одолѣлъ Гиббона, Юма, Сисмонди; но тѣмъ дѣло и кончилось, послѣ чего онъ успокоился на лаврахъ. Такъ какъ уроки занимали у Валентина много времени, и шли довольно успѣшно, то онъ, въ досужное время, обращался съ жадностію, и уже безъ всякой помѣхи, къ своимъ прежнимъ любимымъ книгамъ, и пилъ въ нихъ медленно, но страстно, ядъ будущаго разлада съ дѣйствительностію. Знакомство съ балладами и элегіями Жуковскаго было для него праздникомъ; Гёте, мрачный Байронъ, колоссальный Шекспиръ, далеко не говорили такъ много его душѣ, какъ Шиллеръ, Титаны Жанъ Поля, Жуковскій и Дельвигъ.

Чѣмъ болѣе читалъ Валентинъ, тѣмъ становился сосредоточеннѣе и молчаливѣе, и, познакомясь съ нѣкоторыми свѣтскими молодыми людьми, онъ не повѣрялъ имъ еще ни мечтаній своихъ, ни задушевныхъ думъ, чувствуя, что будетъ не понятъ, а быть можетъ, и осмѣянъ. Все это таилъ онъ въ себѣ, и дѣлился мыслями только съ сестрою, матерью и старикомъ — наставникомъ; первая ему сочувствовала, а двое послѣднихъ, видя благородство его понятій и сужденій, не могли довольно на него нарадоваться, и при своемъ совершенномъ невѣдѣніи жизни, не могли замѣтить темной стороны такого развитія, ни понять, сколько неестественной и нездоровой для молодой натуры пищи было въ томъ

матеріалъ, который съ избыткомъ предлагала ему тогдашняя туманная литература. Въ это же самое время Валентинъ занялся музыкой; цѣлые вечера проводилъ онъ за фортепьянами въ большой, едва освѣщенной двумя свѣчами гостиной. Сестра сидѣла подлѣ него. Часто они долго молчали послѣ какой-нибудь пьесы, невольно предаваясь смутному чувству, уносившему ихъ въ какой-то невѣдомый міръ, полный волшебства и сладостной грусти. Иногда Анюта пѣла. Ея голосъ былъ пріятенъ, хотя и не обширенъ, и гармонически сливался съ сильнымъ теноромъ Валентина. Порою поздно вечеромъ, они вдвоемъ катались въ санкахъ, и восхищались сіяніемъ луны на снѣжныхъ полянахъ. Время проходило, и всѣ они, счастливые и спокойные, не замѣчали его теченія.

Валентинъ былъ уже 18-лѣтній юноша, и готовился держать экзаменъ , послѣ котораго долженъ былъ вступить въ службу. Къ этому времени и семейство Павла Ипова, заплативъ часть долговъ, пріѣхало въ Москву, и жарко обнялъ Валентинъ друга дѣтскихъ лѣтъ. Анюта, забывъ прошлое, тоже ему обрадовалась. Онъ сдѣлался постояннымъ посѣтителемъ Огинскихъ, и нерѣдко проводилъ у нихъ цѣлый день, часто занимаясь вмѣстѣ съ Валентиномъ. Въ эти три года Валентинъ сталъ развязнѣе, говорливѣе, прежняя робость его исчезла. При независимомъ положеніи, онъ принималъ мало, не имѣлъ большаго знакомства и рѣдко ѣздилъ въ гости. Короткихъ знакомыхъ у него не было. Онъ имѣлъ уже свои комнаты, по желанію Ипполита Андреевича, который объявилъ , что ему пора жить одному.

— Товарищи будутъ смѣяться надъ нимъ, говорилъ онъ Александрѣ Николаевнѣ.

— Какъ же это? возражала она.

— Будьте покойны, продолжалъ старикъ: Валентинъ такъ чистъ, простодушенъ, такъ тихъ, что за него бояться нечего. Я ему не нуженъ, и теперь я могу, я долженъ, я рѣшился оставить васъ.

Эти слова Ипполита Андреевича произвели тревогу въ домѣ. Анюта расплакалась, Александра Николаевна едва могла говорить отъ внутренняго волненія, и самъ Валентинъ такъ былъ разстроенъ, что добрый старикъ долженъ былъ уступить общимъ убѣдительнымъ просьбамъ, и, цѣлуя руки Александры Николаевны, далъ слово никогда не оставлять ни ея, ни дѣтей ея. Анюта была постояннымъ собѣсѣдникомъ старика; вмѣстѣ читали они газеты, до которыхъ онъ былъ страстный охотникъ; были у него свои политическія симпатіи и антипатіи; конекъ его была — ненависть къ Англіи и вѣчная о ней забота: все это желалъ онъ передать и своей воспитанницѣ. Когда Анюта рисовала или играла на фортепьянахъ, старикъ глядѣлъ на нее или слушалъ ее по цѣлымъ часамъ, а вечеромъ, съ очками, поднятыми на лобъ, помѣщался по правую руку ея у самаго самовара, когда она разливала чай. Иногда по вечерамъ Павелъ Ниловъ и Мишель Армалевъ приходили къ Валентину, и оставались въ его кабинетѣ довольно поздно, что, не смотря на успокоительныя увѣренія Ипполита Андреевича, волновало нѣсколько Александру Николаевну. Однажды, когда эти молодые люди были у

Валентина, Александра Николаевна не вытерпѣла и послала спросить у сына, хочетъ ли онъ пить чай у себя, или придетъ къ ней съ гостями своими.

— Какъ хотите? спросилъ Валентинъ у друзей своихъ.

— Нельзя ли здѣсь, сказалъ Армалевъ. Признаюсь, я скучаю за твоимъ семейнымъ круглымъ столомъ.

— А я вообще не люблю дамъ, сказалъ одинъ изъ новыхъ знакомыхъ Валентина.

— Женщины—дѣло другое: ихъ любить можно и должно.

— Я люблю дамъ и женщинъ, сказалъ Армалевъ, только не за круглымъ столомъ и не за работой.

— А я ни тѣхъ, ни другихъ, замѣтилъ Павлуша, разваливаясь въ креслахъ. Я люблю товарищей, шумную пирушку (чего, сказать въ скобкахъ, этотъ чудакъ Валентинъ и не подозрѣваетъ), люблю шутки, говоръ при звукѣ чокнутыхъ бокаловъ, люблю шампанское.

— Вкусъ ребяческій! возразилъ Армалевъ смѣясь. Пріятельская пирушка вещь хорошая, кто говоритъ! но хорошенькая женщина имѣетъ тоже свою прелесть.

— Ты, Армалевъ, судья и знатокъ, сказалъ Валентинъ: я самъ люблю женское общество.

— Да ты его не знаешь, отвѣчалъ онъ.

— Я! сказалъ Валентинъ—я выросъ, я живу съ женщинами.

— Семья—дѣло другое, сказалъ кто-то.

— Конечно; но все же я знаю женщинъ.

Всѣ замѣялись.

— Чему вы смѣетесь? сказалъ Валентинъ, вспыхнувъ. Это глупо. Вы говорили о хорошенькихъ женщинахъ. Что жъ? вы скажете, что сестра моя не хороша собою?

— Которая? спросилъ Армалевъ.

— Обѣ, но Анюта лучше, сказалъ Валентинъ.

— Анюта твоя, отвѣчалъ Армалевъ, дитя.

— Да ей 17 лѣтъ.

— Пожалуй, но она мала ростомъ, какъ куколка; краснѣетъ, вышиваетъ и молчитъ; притомъ она нисколько не любезна; развѣ будетъ — но когда? Дѣло закрытое.

— Сестра твоя Катя — дѣло другое. Она очень красива; за то сидитъ, какъ королева, и съ высоты своего величія смотритъ на насъ. Будто мы мальчики! Замѣть, лишь только мы придемъ къ твоей матери, она уходитъ къ себѣ.

— Не всегда, сказалъ Валентинъ, третьяго дня она сидѣла весь вечеръ.

— Да! съ этимъ долговязымъ франтомъ! Кто онъ такой?

— Князь Границкій.

— Онъ за ней волочится?

— Не знаю, не думаю.

— А я не думаю, но знаю. Онъ ей шибко нравится.

— Пустяки, сказалъ Валентинъ, онъ дуракъ набитый.

— Развѣ золотомъ, возразилъ, смѣясь, Армалевъ: ну, такой грузъ пріятенъ! Смотри, не сдѣлался бы онъ скоро твоимъ шуриномъ.

— Полно, Армалевъ, не обижай сестры! сказалъ Валентинъ съ жаромъ. Будто сестра моя можетъ выйти за мужъ за одно состояніе?

— А вотъ, увидишь! возразилъ онъ холодно.

— Молчи! продолжалъ Валентинъ съ жаромъ, не знаю, за что я люблю тебя: всѣ твои мнѣнія мнѣ не по сердцу.

— Правда, подхватилъ Павелъ, что Армалевъ не по лѣтамъ разуменъ.

— Это не разумъ, сказалъ Валентинъ запальчиво, а какое-то низкое понятіе о людяхъ и....

— О, счастливая Аркадія села Михайловскаго! произнесъ Армалевъ, трепля по плечу молодаго пріятеля. Кажется, такъ называется то захолустье, та яма, гдѣ росли вы оба, птенцы мои?

— Я тебѣ ужъ говорилъ, сказалъ Павелъ съ досадой, чтобы ты не смѣлъ такъ называть меня. Тѣшься надъ Валентиномъ, если хочешь, а я не позволю.

— Ну, ну, не пѣтушись! отвѣчалъ Армалевъ — и разговоръ перемѣнился.

Однако разговоръ этотъ запалъ въ умъ Валентина. На другой день утромъ онъ искалъ случая поговорить съ матерью, и, оставшись съ ней съ глазу на глазъ, спросилъ:

— Скажите мнѣ, маменька, для чего вы принимаете князя Границкаго.

— А что? спросила она, удивившись.

— Вѣдь вы никого не принимаете, исключая близкихъ родныхъ — какъ же онъ попалъ къ намъ? Я самъ дивлюсь, какъ я не спросилъ у васъ, какъ не замѣтилъ прежде.

— Сама не знаю, какъ это случилось. Сперва онъ ѣздилъ къ сестрѣ Степанидѣ Петровнѣ, потомъ, недѣли двѣ тому назадъ, она просила меня принять его. Нельзя же обидѣть человѣка безъ причины. Я согласилась, а потомъ онъ ужъ сталъ ѣздить по вечерамъ. Да что ты такъ о немъ заботишься?

— Не влюбленъ ли онъ въ Катю?

— Не знаю, быть можетъ.

— Не уже ли она пойдетъ за него?

— Я никогда объ этомъ не думала, сказала Александра Николаевна, отрывая взоры отъ бисернаго кошелька, который вязала, и устремляя ихъ на сына.

— Но вы не позволите ей выйти за такого дурака, сказалъ онъ.

— Это, мой другъ, не въ моей власти. Я, конечно, могу совѣтовать; но не стану приказывать. Сестра твоя — совершенная дѣвушка; къ тому же я думаю, что она сердца холоднаго, то есть, прибавила добрая мать, поправляя свою фразу, думаю, что она не можетъ любить страстно; да и къ чему это? Если Катя полагаетъ найти свое счастіе съ нимъ, имѣю ли я право мѣшать ей? Онъ человѣкъ хорошій.

— Счастіе? сказала вопросительно Анюта, вошедшая въ комнату въ продолженіе разговора: развѣ есть счастіе безъ любви и уваженія?

— Быть можетъ, онъ ей нравится, произнесла мать.

— Да онъ двухъ словъ сряду не умѣетъ сказать, возразила Анюта.

— Онъ добръ, честенъ, сказала Александра Николаевна.

— Полноте, маменька: вы противъ себя говорите. Можете ли думать, чтобы человѣкъ пошлый, глупый, ничтожный....

— Перестань, Валентинъ, прервала его мать; не должно судить и осуждать другихъ слишкомъ строго. Границкій, повторяю тебѣ, человѣкъ честный; за что же ты такъ нападаешь на него?

— У него и плутовать ума не хватитъ, сказалъ Валентинъ.

— Валентинъ! возразила мать, качая головою: ты что-то нынче на себя не похожъ.

— И въ самомъ дѣлѣ, за что ты такъ горячо нападаешь на этого невиннаго Границкаго, сказала Анюта.

— И ты туда же! Всѣ заразились расположеніемъ къ этому глупцу, возразилъ онъ запальчиво.

— Какъ же! прервала Анюта смѣясь — и я люблю Границкаго. «Здравствуйте! какъ ваше здоровье?» — продолжала она басомъ, гримасничая и передразнивая князя. «А я сей-часъ изъ клуба: вотъ, скажу вамъ, везло, такъ ужъ везло!»

Мать улыбнулась, Валентинъ расхохотался, и разговоръ кончился.

Настала весна. Валентинъ былъ очень занятъ къ экзамену, и выдержалъ его безъ затрудненія. Все семейство Огинскихъ должно было ѣхать на лѣто въ деревню. Александра Николаевна съ невѣсткой и дочерьми уѣхала впередъ, а Валентинъ долженъ былъ

ѣхать за ними, по окончаніи формальностей. Въ первый разъ, не отдавая себѣ въ томъ отчета, Валентинъ былъ полнымъ хозяиномъ въ домѣ, и хотя Ипполитъ Андреевичъ остался съ нимъ, но добрый старикъ былъ въ такихъ дружескихъ отношеніяхъ съ своимъ воспитанникомъ, что нисколько не стѣснялъ его. Въ день своего отъѣзда въ деревню, Валентинъ созвалъ двухъ своихъ пріятелей и новыхъ знакомыхъ на прощальный ужинъ. Ипполитъ Андреевичъ, просидѣвъ съ молодежью часть вечера, не хотѣлъ своимъ присутствіемъ стѣснять за ужиномъ шумную молодую бесѣду, и ушелъ къ себѣ. Описывать ли веселье молодежи, тупыя и острыя шутки, равно возбуждавшія неумолкаемый хохотъ, шумъ, говоръ и крикъ? Всякій помнитъ свою молодость и особенно первую пирушку съ пріятелями. Когда вся толпа молодежи высыпала изъ кабинета Валентина въ залу, большой столъ былъ щегольски убранъ бронзой и цвѣтами, люстра горѣла, и тѣсные кружки бутылокъ, какъ муравейныя кочки, одна подлѣ другой тѣснились на скатерти. Въ срединѣ огромныя серебряныя вазы со льдомъ замораживали шампанское.

— Какая прелесть! сказалъ кто-то изъ молодежи, пока всѣ шумно садились за столъ: цвѣты, бронза, вино. Ну, братъ, ты угощаешь насъ на славу! Уже ли ты самъ все это устроилъ?

— Сказать по правдѣ, нѣтъ, отвѣчалъ Валентинъ: маменька, уѣзжая, позаботилась о многомъ, и приказала управителю, чтобы ужинъ былъ хорошъ. Я мало понимаю все это.

— Это находка, а не мать, сказалъ кто-то.

А вотъ я все устроиваю потихоньку, да на занятыя деньги, сказалъ Армалевъ, садясь. Впрочемъ, надо признаться, что мои родные не очень богаты. Ты—дѣло другое: богатъ, какъ Крезъ.

— Кому принадлежитъ домъ этотъ? спросилъ одинъ изъ знакомыхъ у Валентина.

— Это нашъ домъ, отвѣчалъ онъ.

— Чей нашъ? возразилъ Армалевъ, смѣясь—твой или твоей матери?

— Право не знаю. Погоди ... на воротахъ имя моего отца осталось до сихъ поръ.

— Стало быть, это твой домъ? сказалъ Армалевъ.

— Мы еще не дѣлились, возразилъ Валентинъ. У насъ все общее.

— Все это прекрасно до поры, до времени; да и съ кѣмъ тебѣ дѣлиться—ты одинъ сынъ.

— У меня двѣ сестры.

— Сестеръ не считаютъ, сказалъ одинъ изъ пріятелей: онѣ не наслѣдницы. Развѣ ты уже забылъ права? а кажется, недавно учился.

— Для него сестры все равно, что братья: онъ ихъ любитъ безъ памяти.

— Это не помѣшаетъ ему быть Крезомъ, возразилъ кто-то, если все имѣніе отцевское.

И, полноте! сказалъ Армалевъ: развѣ вы не знаете, что онъ безсребренникъ?

Общій хохотъ, вызванный этими словами, раздражилъ Валентина. Онъ самъ, не зная почему, не прощалъ Ар-

малеву его шутокъ, и сталъ говорить о другомъ. Однако, съ этихъ поръ онъ узналъ, что участь сестеръ зависитъ отъ него, о чемъ прежде ни разу не подумалъ.

Далеко за полночь молодежь разъѣхалась; остались только Армалевъ и Павелъ Пиловъ. Оба они должны были ѣхать служить въ Петербургъ, и стало быть разставались съ Валентиномъ на неопредѣленное время. Грустно было Валентину, слезы готовы были задушить его, однако онъ шутилъ и смѣялся, но и шутки и смѣхъ его были натянуты.

— Кто знаетъ, когда мы теперь увидимся, сказалъ Павелъ, прерывая какой-то посторонній разговоръ.

— Онъ очень глупо дѣлаетъ, что не ѣдетъ съ нами. Петербургъ центръ служебной дѣятельности, сказалъ Армалевъ.

— Заняться дѣломъ можно вездѣ, возразилъ Валентинъ.

— Дѣло дѣлу рознь, подхватилъ Армалевъ: чины, видное мѣсто—вотъ завидное дѣло! Къ тому же я не вѣрю, чтобы можно было постоянно заниматься, когда этого отъ насъ не требуютъ.

— Если бы я былъ богатъ, какъ Валентинъ, я бы не сталъ служить, замѣтилъ Павелъ.

— И сдѣлалъ бы страшную глупость, въ которой бы скоро раскаялся, прервалъ Армалевъ.

— Я не могу оставить матери, сказалъ Валентинъ: что дѣлать! Всякая привязанность влечетъ за собою исполненіе долга и, слѣдовательно, лишенія.

— Мать твоя знаетъ, что ты не ѣдешь въ Петербургъ для ней?

— Нѣтъ, она никогда объ этомъ и не думала; она говоритъ, что я здѣсь вступлю въ службу.

— Если тебѣ хочется ѣхать въ Петербургъ, за чѣмъ же ты не уговоришь мать ѣхать съ тобою?

— Нечего мнѣ ее уговаривать; она бы сама предложила мнѣ ѣхать, если бы это было нужно. Но дѣло въ томъ, что ея слабое здоровье не выдержитъ Петербургской зимы: вы могли сами видѣть, какъ она была слаба всю зиму. Къ тому же чего стану я искать и добиваться? Мнѣ и здѣсь хорошо, я и здѣсь могу служить.

— Дѣятельности надо добиваться, сказалъ Армалевъ, иначе все угаснетъ, все пропадетъ. Я говорю о способностяхъ.

Камердинеръ Валентина вошелъ въ комнату.

— Лошади готовы! сказалъ онъ: Ипполитъ Андреевичъ васъ дожидается.

— Ну, прощайте, друзья! сказалъ Валентинъ, вставая и протягивая имъ руки: желаю вамъ успѣха вездѣ, во всемъ. Возвратясь, вы найдете меня, быть можетъ, зачерствѣлымъ помѣщикомъ, однако любите меня и тогда. Я всегда останусь для васъ товарищемъ дѣтства и молодости—не такъ-ли? Желаю искренно обоимъ вамъ сдѣлать карьеру; быть можетъ, мнѣ придется просить когда-нибудь вашей протекціи.

Онъ улыбнулся добродушно, при всей своей печали.

— Это можетъ оправдаться развѣ въ отношеніи къ Мишелю, сказалъ Павелъ. Я, братъ, слишкомъ лѣнивъ, чтобы сдѣлать карьеру. А дружбѣ твоей вѣрю, какъ и всѣмъ дѣтскимъ привязанностямъ.

— Прощай, Валентинъ! сказалъ Мишель въ свою очередь, крѣпко обнимая пріятеля; прощай, дружекъ, птенецъ мой!

— Обѣщаю любить тебя всегда, сынишко!

— Завтра же напишу къ тебѣ, говорилъ Павелъ, сходя съ лѣстницы, и провожая Валентина.

— Какія нѣжности! говорилъ Армалевъ, смѣясь.

— Нашелъ время смѣяться! прибавилъ Павелъ съ укоризною.

— Смѣяться всегда можно, да и должно, возразилъ Армалевъ, когда мужчины разчувствуются, какъ женщины!

Еще разъ на крыльцѣ обнялись пріятели, еще разъ пожали крѣпко руки другъ другу. Ипполитъ Андреевичъ сѣлъ въ коляску, Валентинъ прыгнулъ за нимъ, и громко закричалъ кучеру: пошелъ!

Лошади лихо подхватили съ мѣста.

— Прощай, Валя! послышался Валентину голосъ Павла, вѣроятно, въ послѣдній разъ называвшаго его дѣтскимъ именемъ. Онъ высунулъ голову изъ коляски, снялъ фуражку, и, кланяясь друзьямъ, отдалъ поклонъ прошлой юношеской жизни, такъ безоблачно-счастливой. Давно лошади миновали заставу; уныло гудѣлъ въ полѣ колокольчикъ, а Валентинъ не смыкалъ глазъ, и глядѣлъ на мелькавшіе лѣса, поля, версты, станціи; глядѣлъ до самаго утра, все думая о пріятеляхъ и о протекшей юношеской жизни.

Лѣто прошло незамѣтно, какъ одинъ день, какъ одинъ прекрасный вечеръ. Если бы Валентинъ и Анюта не видали, какъ скучаетъ старшая сестра, то

они конечно бы уговорили мать остаться въ деревнѣ до глухой осени; но, кромѣ скуки, печаль Кати была такъ замѣтна, что въ первыхъ числахъ сентября Огинскіе были опять въ Москвѣ. Валентинъ искалъ мѣста, но все еще не рѣшался, куда и какъ опредѣлиться на службу, а пока занимался кой-чѣмъ въ своемъ кабинетѣ. Жизнь его текла, какъ и прежде. Катя, со времени своего пріѣзда въ Москву, почти вовсе не жила дома, и безпрестанно выѣзжала. Однажды поутру, пришедши по обыкновенію поздороваться съ матерью, она сѣла подлѣ нея, казалась смущенною, и, наконецъ, сказала:

— Маменька, я къ вамъ съ просьбою. Княгиня Границкая, двоюродная племянница тетушки Границкой, желаетъ познакомиться съ вами, и будетъ у васъ нынче; вы ее примете?

— Такъ это рѣшено? спросила Александра Николаевна.

— Что рѣшено? спросила Катя, смущаясь окончательно.

— Ты идешь за-мужъ за ея сына.

— Если мать его желаетъ съ вами познакомиться, это вѣроятно значитъ, что онъ имѣетъ на меня виды.

— И ты пойдешь, сестра? сказалъ Валентинъ, приближаясь къ нимъ — пойдешь за этого пустомелю, за этого глупца?

— Какой ты странный! сказала Катя: Почему же глупца? развѣ онъ не дворянинъ? развѣ ему надо быть ученымъ? развѣ онъ не сдѣлаетъ карьеры?

— Катя ! сказала Александра Николаевна: дѣлай, какъ знаешь ; не стану противиться твоему желанію; но подумай сперва, можетъ ли князь составить твое счастіе ?

— Я въ этомъ увѣрена, маменька. Онъ знатенъ, богатъ, молодъ, можетъ быть на отличной дорогѣ; онъ ѣдетъ въ Петербургъ; мы будемъ жить въ большомъ свѣтѣ. Не выйти за него было бы глупо.

— Выходить за-мужъ изъ однихъ выгодъ общественнаго положенія — верхъ безумія, сказалъ Валентинъ. Какъ я могу послѣ этого уважать тебя !

— Валентинъ ! сказала Александра Ниволаевна тономъ упрека.

— Ваша вина ! возразила ей невѣстка : Къ чему вы воспитали его такимъ образомъ ? Посмотрите, что изъ него вышло ? Онъ не уважаетъ своихъ знатныхъ родныхъ, почти ни къ кому изъ нихъ не ѣздитъ, да и никуда не ѣздитъ, живетъ чудакомъ, и упрекаетъ сестру за ея благоразуміе.

— И благодаритъ мать за тѣ благородныя чувства, которыя она ему внушила, прибавилъ Валентинъ вспыльчиво, и не желая огорчать мать дальнѣйшимъ споромъ съ сестрою и теткой, вышелъ изъ комнаты.

— Братъ! братецъ ! сказала Катя вслѣдъ за нимъ : зачѣмъ ты уходишь ? я завишу и отъ тебя.

— Дѣлай, что хочешь ! отвѣчалъ онъ изъ другой комнаты. Это ваше дѣло, не мое.

— Вотъ что вы сдѣлали, ma tante , сказала Катя: Онъ разсердился. Къ чему было говорить колкости !

Валентинъ былъ однако тронутъ желаніемъ Кати помириться съ нимъ, и потому въ тотъ же вечеръ встрѣтилъ ее по-прежнему, хотя мысль, что она скоро будетъ женою Границкаго, была ему чрезвычайно тяжела. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого разговора, Валентина позвали къ матери; она сидѣла одна и была печальна.

— Валентинъ! сядь подлѣ меня, и выслушай меня спокойно. Вотъ уже три дня, какъ между нашимъ семействомъ и семействомъ Границкихъ идутъ переговоры. Сей часъ была у меня сестрица Степанида Петровна, и сказала мнѣ, что свадьба не можетъ состояться прежде, чѣмъ мы скажемъ положительно, сколько за Катей приданаго. Ты знаешь, что имѣніе тетки твоей перейдетъ къ Катѣ послѣ ея смерти, а изъ твоего состоянія ей приходится только 14 часть.

— Такъ не довольно того, что она идетъ за него безъ любви и уваженія, сказалъ Валентинъ: еще и онъ самъ женится на ней изъ денегъ—да это чистая сдѣлка съ обѣихъ сторонъ!

— Другъ мой! сказала Александра Николаевна, въ большомъ кругу почти всегда такъ бываетъ, и ты, вѣроятно, увидишь не мало людей подобныхъ князю.

— До сихъ поръ я еще не встрѣчалъ такихъ, отвѣчалъ онъ.

— Но кого же зналъ ты до сихъ поръ? замѣтила она. Меня? А я никогда не жила въ свѣтѣ; мнѣ самой все это и странно и ново. Не зная обычаевъ, правилъ, мнѣній свѣтскихъ, я сама повредила вамъ, и, быть можетъ, очень ошиблась, воспитавъ васъ вдали отъ то-

го круга, гдѣ вамъ назначено жить. Теперь я сама начинаю сожалѣть, что не знакомила тебя раньше со многимъ, что ты долженъ будешь узнать.

— Съ чѣмъ же? спросилъ онъ, услышавъ такое мнѣніе въ первый разъ отъ роду.

— Съ свѣтомъ, мой другъ! Развѣ ты не видишь, что хотя скоро 3 года, какъ мы въ Москвѣ, мы продолжаемъ жить одни, и я сама сознаюсь, что пора и тебѣ и Анютѣ выѣзжать, знакомиться, видѣть свѣтъ. Но не объ этомъ теперь рѣчь. Вотъ что я хочу предложить тебѣ. Мнѣ слѣдуетъ 7 часть изъ имѣнія твоего отца — я отдамъ ее Катѣ, съ тѣмъ, чтобы ты далъ мнѣ слово отдѣлить Анюту тотчасъ по твоемъ совершеннолѣтіи.

— Маменька, зачѣмъ вамъ дѣлиться со мною? что мое, то и ваше. Отдайте сестрамъ половину моего состоянія.

— Я въ тебѣ не сомнѣвалась, но раздѣлить васъ я не въ правѣ. Ты не совершеннолѣтній, и Анюта тоже, а Границкіе не повѣрятъ слову мальчика: имъ надо приданое на-лицо.

— Я вамъ говорю, что они низкіе люди.

— Не будь такъ строгъ, не осуждай слишкомъ поспѣшно. Позволь мнѣ дѣйствовать — я все улажу.

— Какъ вамъ угодно, сказалъ Валентинъ, и ушелъ въ свою комнату, гдѣ усѣлся въ кресло, грустно размышляя о людскихъ разсчетахъ, когда сестра вошла къ нему. Онъ удивился: она почти никогда у него не бывала.

— Братъ! сказала она, взявъ его за руку, и цѣлуя его въ голову: я пришла благодарить тебя. Маменька сказзла мнѣ, что ты согласенъ отдѣлить Анюту, и потому она отдаетъ мнѣ всю часть свою.

Валентинъ всталъ.

— Не выходи за него, Катя, сказалъ онъ вдругъ, обнимая ее : не выходи за него! Онъ человѣкъ низкій, женится на тебѣ изъ денегъ; онъ не стоитъ тебя. Если ты думаешь, что не довольно богата, то это неправда. Я отдамъ тебѣ лучшую часть имѣнія: выбери жениха по сердцу—не выходи за Границкаго !

— Братъ ! сказала Катя , стараясь придать своему голосу нѣжность: благодарю тебя; но подумалъ ли ты о томъ, что сказалъ? Отдать мнѣ лучшую часть имѣнія ты еще не можешь, а кто знаетъ, будешь ли ты думать такъ въ двадцать одинъ годъ.

— Ты сомнѣваешься въ моей любви , въ моей привязанности? сказалъ онъ.

— Нисколько; но я знаю свѣтъ. Люди , говорятъ, очень мѣняются съ лѣтами, а ты, братецъ, не сердись, ты еще дитя — дитя, воспитанное добрѣйшей изъ матерей, и старичкомъ, которые оба ничего житейскаго не знаютъ.

— Кто тебѣ впушилъ такія мысли? спросилъ Валентинъ.

— Тетушка всегда такъ говорила и думала , а теперь и я сама это вижу и знаю, сказала она. Положимъ однако, что все это сбудется, какъ ты говоришь; что жъ изъ этого? Вспомни, что мнѣ 25 лѣтъ — мнѣ

давно пора за-мужъ ; не оставаться же мнѣ дѣвушкой, перестаркомъ, все поджидая жениха. Женіховъ не много. Нѣтъ, надо устроиться—это благоразумно !

— Ужъ слишкомъ! сказалъ Валентинъ.

— Къ тому же Границкій—завидный женихъ.

— Очень завидный! возразилъ онъ иронически.

— Ахъ! Валентинъ, ты ничего не знаешь. Поѣзжай, посмотри, какъ за нимъ гоняются всѣ невѣсты и всѣ ихъ матери, и ты убѣдишься, что я говорю правду.

— Не хочу я ничего видѣть—я знаю одно то, что....

— Братъ! но вѣдь это уже кончено — я дала слово. Уже ли я не могу надѣяться на твою дружбу , уже ли твоя воля станетъ между мною и моей судьбой ?

— Моя воля ! сказалъ Валентинъ. Боже меня сохрани управлять судьбой другаго ! Сохрани меня Боже мѣшать вашему счастію, если вы думаете найти его !

Катя поцѣловала брата, и отправилась къ Ипполиту Андреевичу, которому объявила о своемъ замужствѣ, прося его, между прочимъ, уговорить брата быть ласковымъ съ женихомъ ея и его родней.

— Завтра сговоръ, говорила она: все же онъ одинъ братъ мой, глава семьи.

— Онъ не имѣетъ никакого права быть невѣжливымъ съ вашимъ будущимъ мужемъ, говорилъ Ипполитъ Андреевичъ. Зачѣмъ мнѣ его уговаривать? Онъ самъ знаетъ свои обязанности.

— А посмотрите , какъ раскапризничался утромъ ! Маменька едва могла унять его , и я ходила къ нему мириться. Подите къ нему теперь.

Ипполитъ Андреевичъ пошелъ къ Валентину. Этотъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, и взглянувъ на старика, сказалъ ему отрывисто:

— Катя сейчасъ приходила благодарить меня за деньги, и не видитъ моей привязанности.

— Другъ мой! сказалъ Ипполитъ Андреевичъ, ты уже не дитя — умѣй мириться съ людьми; если ты все будешь принимать такъ близко къ сердцу, ты погубишь себя.

— Не принимать къ сердцу! Но вѣдь она сестра моя!

— Ну, что жъ? Развѣ вы разошлись въ первый разъ? Бывали всегда были разныхъ мнѣній и правилъ. Вотъ, если бы Анюта выходила за-мужъ такимъ образомъ, мнѣ было бы жаль тебя.

— Анюта! сказалъ онъ пылко: да если бы это была Анюта, я былъ бы въ отчаяніи.

— А гдѣ тотъ, продолжалъ старикъ кротко, кто можетъ взять на себя отвѣтственность за цѣлую жизнь другаго? Разсуди самъ — правъ ли я?

— Анюта не выйдетъ за-мужъ, какъ Катя, сказалъ Валентинъ.

— Это другой вопросъ, и съ этимъ я почти согласенъ.

— Почти! сказалъ Валентинъ съ ужасомъ.

— Согласись, что трудно знать будущее.

— Я вѣрю въ него твердо, вѣрю....

— Вѣрь, другъ мой! Сохрани меня Боже отымать у тебя вѣру во что бы то ни было. Вѣра есть счастіе человѣка.

Старикъ глубоко вздохнулъ, и разговоръ прервался.

Черезъ нѣсколько дней сговоръ состоялся ; настали вечера, обѣды, балы по случаю свадьбы. Въ продолженіе всего этого времени, Александра Николаевна и дѣти ея должны были являться въ свѣтъ; Валентинъ тоже участвовалъ въ домашнихъ хлопотахъ и заботахъ по случаю этихъ выѣздовъ. Двоюродная сестра Границкаго давала вечеръ, и пріѣхала сама приглашать Александру Николаевну. Въ назначенный для этого день, Анюта отправилась съ братомъ въ лавки, и заботливо выбрала для матери щегольской головной уборъ. Александра Николаевна давно уже одѣвалась какъ старушка , хотя ей не могло быть больше 45 лѣтъ; но на этотъ разъ она должна была уступить просьбамъ дѣтей , заботившихся о ней съ большимъ кокетствомъ. Когда она вышла изъ спальни, Анюта вскрикнула.

— Какъ ты хороша, маменька !

Дѣйствительно ея свѣтлые волосы упадали мелкими буклями на бѣлый лобъ , а талія, скрытая подъ бѣлой длинной шалью, казалась еще выше и стройнѣе. Вся она полна была спокойной граціи и благородной простоты, и носила нарядъ свой такъ свободно, будто всегда занималась только однимъ этимъ. Въ Анютѣ, во всемъ сходной съ матерью , грація движеній получала оттѣнокъ изнѣженной застѣнчивости ; но и она въ своемъ бѣломъ платьѣ и розовомъ поясѣ была очень привлекательна, и Валентинъ, полюбовавшись обѣими, посадилъ ихъ въ карету, и отправился съ ними на вечеръ. Воротынская была богатая вдова , и жила съ пожилой теткой своей. Домъ ея былъ большой , отлично отдѣ-

ланный. Взойдя по широкой лѣстницѣ, украшенной растеніями, Александра Николаевна достигла до большой гостиной, наполненной гостями. Хозяйка провела ее къ дивану, между тѣмъ какъ Катя знакомила уже Анюту со всѣми дѣвицами, которыхъ давно знала. Валентинъ, оставшись у дверей, ослѣпленный блескомъ свѣчъ, оглушенный шумнымъ говоромъ гостиной, не зналъ, что́ дѣлать и къ кому подойти: онъ никого не зналъ, кромѣ старыхъ родственниковъ, и рѣшился сѣсть подлѣ одного изъ старыхъ своихъ дядей, который игралъ въ бостонъ. Противъ него сидѣла дама, скоро обратившая на себя его вниманіе. Ей было лѣтъ подъ 60, и, не смотря на это, она была одѣта, какъ молодая дѣвица. Бѣлое кисейное платье съ открытымъ воротомъ и розовыми лентами на плечахъ и груди плотно обхватывало затянутую въ корсетъ талію; бѣлая маленькая пелеринка едва прикрывала плечи, сомнительная бѣлизна которыхъ наводила на мысль о притиранiяхъ и другихъ спеціяхъ. Черные, какъ смоль, очень подозрительнаго цвѣта волосы, были едва скрыты подъ украшенной розанами наколкой; на рукахъ было надѣто множество браслетъ, а на пальцахъ до самаго сгиба, одно подлѣ другаго, тѣснились массивные кольца. Эта дама играла ужасно запальчиво, и проигрывала безпрестанно. Валентинъ замѣтилъ, что всѣ входящія дамы подходили къ ней, дѣвицы низко присѣдая, а мужчины кланяясь.

Кто же такая эта чудачка? думалъ онъ, и рѣшился спросить у игравшаго дяди; но этотъ послѣдній былъ очень занятъ и отвѣчалъ лаконически:

— Не мѣшай мнѣ! Ну, что усѣлся тутъ? шелъ бы болтать съ дѣвицами. Охъ вы! молодежь нынѣшняя!

Валентинъ улыбнулся и остался около дяди, глядя пристально на игру, которой не понималъ. Въ это самое время хозяйка подошла къ столу.

— Ну, что, ma tante? сказала она, обращаясь къ разряженной старухѣ, какъ ваша игра?

— Какъ всегда, отвѣчала она, козыряя: я проигрываю игры, которыхъ проиграть не возможно. Удивительное счастіе!

— Однако, если ужъ вы ихъ проигрываете, сказалъ дядя Огинскаго, стало быть проиграть ихъ можно.

— Я знаю, что вы завидуете всякому тузу, возразила разряженная дама.

— А зачѣмъ вы здѣсь остаетесь? сказала, улыбнувшись, хозяйка, обращаясь внезапно къ Валентину: Хотите подать мнѣ руку? пойдемте со мною — je fais le tour du salon.

Валентинъ всталъ, и не безъ робости подалъ ей руку; она оперлась на нее свободно, но безъ вольности; постоявъ нѣсколько, она почувствовала усталость, и пошла въ другую гостиную.

Воротынская была женщина лѣтъ 26, довольно полная, съ удивительно правильными и красивыми очертаніями плечъ и таліи. Черные глаза ея были живы; ихъ разрѣзъ, продолговатый, какъ миндалина, придавалъ какую-то томность ея физіономіи. Маленькій носикъ, нѣсколько вздернутый, черные, глянцовитые волосы, матовой бѣлизны руки, рѣзко отдѣлявшіяся на черномъ

бархатномъ платьѣ — все въ ней было красиво и привлекательно. Она шла, часто останавливаясь и обмѣниваясь любезнымъ словомъ съ нѣкоторыми изъ гостей, и, пройдя залу, усѣлась въ гостиной, указывая Валентину на порожній стулъ подлѣ себя.

— Не забудьте, сказала она любезно, что я обращаюсь съ вами, не какъ съ лицемъ, только что мнѣ представленнымъ, а будто съ человѣкомъ давно мнѣ знакомымъ.

Онъ молча поклонился ей.

— Сестра ваша, съ которой я коротко знакома, а черезъ нѣсколько дней, буду кузина, просила меня представить васъ всѣмъ нашимъ красавицамъ и ихъ матерямъ. Вы волей или неволей будете моимъ protégé.

— Очень благодаренъ сестрѣ, сказалъ Валентинъ, что ея короткость съ вами доставила мнѣ такую любезную путеводительницу.

— Ужъ и комплиментъ! возразила Воротынская: смотрите только, не будьте неблагодарны, и, войдя въ составъ нашей jeunesse dorée, не забудьте меня совсѣмъ.

— Развѣ это возможно? спросилъ Валентинъ, удивляясь самому себѣ и своей рѣшимости говорить безъ большихъ усилій съ женщиной, извѣстной по своему положенію въ обществѣ. Она была такъ непринужденно-болтлива; въ ея разговорѣ просвѣчивало столько добродушія и снисходительности ко всѣмъ; она отзывалась такъ хорошо почти о всѣхъ, что понравилась Валентину. Она сама вызвалась показать и назвать ему

всѣхъ красавицъ большаго свѣта, и такъ мало зависти или лукавства было въ похвалахъ ея, что Валентинъ провелъ съ нею около часа, не замѣчая времени.

— Однако я заболталась съ вами, и забыла обязанность хозяйки, сказала она, вставая. Но вы никого не знаете: хотите, я васъ познакомлю?

— Зачѣмъ вамъ безпокоиться.

— Ну, хорошо, пріѣзжайте ко мнѣ на дняхъ: я познакомлю васъ со всѣми на моихъ домашнихъ вечеринкахъ. Вы знаете тетушку?

— Нѣтъ, не имѣю этой чести, сказалъ Валентинъ, краснѣя.

— Ахъ, Боже мой! Какъ же это? Вотъ что значитъ захлопотаться—я совсѣмъ забыла. Пойдемте. Она опять подала ему руку, и пошла съ нимъ въ ту комнату, гдѣ Валентинъ уже сидѣлъ прежде у карточнаго стола. Завидѣвъ наколку съ розанами и кисейное платье старушки съ розовыми бантами, Валентинъ рѣшился спросить у Воротынской, кто эта странно одѣтая дама. Она взглянула на него, все подходя, и спросила: которая?

— Да вотъ эта, что играетъ съ моимъ дядей и другой пожилой дамой въ темномъ платьѣ, которая впрочемъ моложе, а одѣта приличнѣе и лучше.

Воротынская отвѣчала скоро и живо.

— Не знаю право, о комъ вы говорите; но пойдемте: вотъ тетушка.

Ужасъ, смущеніе, смятеніе Валентина были неописанны: разряженная старуха была тетка хозяйки. Его представили: старуха сухо поклонилась ему, замѣтивъ,

что она съ полчаса имѣла удовольствіе видѣть г. Огинскаго противъ себя. Это замѣчаніе еще болѣе смутило Валентина и саму хозяйку, которая, сказавъ двѣ-три фразы съ теткой, ушла съ одной молодой дѣвицей, проходившей въ то время по комнатѣ. Валентинъ опять остался одинъ, съ сознаніемъ, что сдѣлалъ съ перваго своего шага въ свѣтѣ большой промахъ. Какъ всѣ люди, вовсе не жившіе въ свѣтѣ, и не имѣющіе о немъ понятія, онъ преувеличилъ свою ошибку, и думалъ, что погибъ въ глазахъ хозяйки. Ему тѣмъ болѣе было тяжело, что она ему очень нравилась. Посидѣвъ немного у стола, онъ опять, какъ тѣнь, бродящая безъ цѣли, отправился въ гостиную, и сталъ у двери. Воротынская сидѣла противъ него; къ ней безпрестанно подходили мужчины и женщины, и она занималась всѣми съ одинаковою любезностію. Анюта сидѣла подлѣ нея, и часто говорила съ ней; скоро она сдѣлала знакъ брату—онъ подошелъ къ ней.

— Тебя всѣ замѣтили, прошептала она ему: у меня часто спрашивали твое имя; женщины говорятъ, что ты очень хорошъ.

— Пари держу, что знаю, что̀ сказала вамъ сестра, замѣтила Воротынская.

— Не думаю, сказалъ Валентинъ: впрочемъ, она говоритъ пустяки.

— Нѣтъ, не правда; повѣрьте, что теперь зависитъ отъ васъ заставить всѣхъ утвердиться въ своемъ объ васъ мнѣніи. Вы нравитесь всѣмъ; говорятъ, что вы въ своихъ пріемахъ похожи на Англичанина — и это

правда; ну, а вы знаете, что значитъ быть похожимъ на Англичанина.

— C'est être guindé et raide, si je ne me trompe, madame, сказалъ Валентинъ.

— Ah! vous le prenez ainsi, grand bien vous fasse! — сказала она, смѣясь. Я нахожу, что я и такъ много комплиментовъ сдѣлала вамъ нынче — больше не дождетесь, предупреждаю васъ.

Она шутила, смѣялась; шутки ея были непринужденны, смѣхъ звонокъ, и чѣмъ-то дѣтскимъ вѣяло отъ него. Она умѣла повернуть чужую фразу такъ, что она дѣлалась и умнѣе и замысловатѣе; занимаясь многими, она съ удивительнымъ искусствомъ умѣла не позабыть и Огинскихъ, и, послѣ минутнаго разговора съ подходившими къ ней лицами, обращалась къ Валентину или Анютѣ, ловко вовлекая ихъ въ общій разговоръ. Оба они ободрились и говорили уже съ ней чрезвычайно свободно, очарованные ея красотою и добродушіемъ, не стѣснялись присутствіемъ многочисленнаго общества, почти совершенно имъ незнакомаго. Александра Николаевна принуждена была ужинать, по настоятельнымъ просьбамъ хозяйки, говорившей, что она не можетъ отказаться выпить бокалъ шампанскаго за здоровье жениха и невѣсты.

Ужинъ прошелъ весело, и, уѣзжая домой, Валентинъ совершенно забылъ свой первоначальный промахъ и хвалилъ любезность хозяйки.

— Что я говорила? твердила Катя: сами видите, что бываетъ весело, и что свѣтъ не страшилище и не чудовище.

— Да, но много требованій, этикета, условій, сказалъ Валентинъ.

— Гдѣ это? спросила Катя.

— Въ свѣтѣ, отвѣчалъ онъ.

— Пустяки, другъ мой; въ свѣтѣ много непринужденности, много laisser-aller.

— А требованія есть вездѣ, сказала Степанида Петровна: ихъ избѣжать нельзя.

Обѣды, вечера продолжались. Валентинъ почти всякій день имѣлъ случай видѣть Воротынскую, и все ближе и ближе знакомился съ нею. Пріятное впечатлѣніе, которое она сдѣлала на него сначала, быстро возрасталo. Онъ продолжалъ посѣщать ее, и находилъ у ней немногочисленное, но очень коротко между собой знакомое общество. Тетка Воротынской, Елена Филипповна, играла въ другой комнатѣ въ карты или уѣзжала со двора, и потому никому не мѣшала своимъ присутствіемъ. Воротынская, всегда одѣтая со вкусомъ, принимала въ своемъ кабинетѣ, занимая постоянно одно и то же мѣсто, около котораго составлялся всякій вечеръ маленькій кружекъ. Всѣ ея знакомые, вѣроятно, предупрежденные въ пользу Валентина, обошлись съ нимъ не только вѣжливо, но и привѣтливо, что съ самаго перваго посѣщенія ободрило Валентина. Между молодыми женщинами, посѣщавшими Воротынскую, Валентинъ болѣе всѣхъ замѣтилъ молодую Силкову, отъявленную красавицу, холодную, но ослѣпительную; но и она, какъ всѣ другія, ему не нравилась; онъ глядѣлъ только на хозяйку, только она занимала его.

Недѣли черезъ три послѣ его знакомства съ Воротынской, свадьба Кати состоялась. При этомъ, онъ не мало удивился, открывъ въ себѣ нѣжное чувство къ той изъ сестеръ, съ которой никогда не былъ друженъ. Когда онъ обувалъ ее къ вѣнцу по русскому обычаю, ему стало жаль ея, и онъ нѣжно простился съ ней. Мать его и меньшая сестра много плакали; Катя была довольно спокойна, и, въ слѣдующіе за свадьбой дни, казалась довольной и счастливой. Степанида Петровна, спустя недѣлю послѣ свадьбы, переѣхала жить къ племянницѣ, гдѣ ея честолюбіе, склонность къ шумной жизни, любовь къ выѣздамъ, не только не могли помѣшать молодымъ супругамъ, но даже приходились совершенно имъ по вкусу. Она впрочемъ всякій день ѣздила къ невѣсткѣ, и, разсказавъ тамъ всѣ городскіе успѣхи и вѣсти, успѣхи Кати въ свѣтѣ, ея скорый отъѣздъ въ Петербургъ и всѣ надежды, которыя она питаетъ по поводу службы ея мужа, оставляла домъ, упрашивая Анюту выѣзжать больше. Сама Александра Николаевна была того же мнѣнія, и когда Воротынская обязательно предложила отпускать Анюту къ ней, то Александра Николаевна съ радостію согласилась. Часто Валентинъ ѣздилъ съ сестрою, и, видя внимательную къ ней ласку Воротынской, постоянно поддавался чувству болѣе нѣжному, чѣмъ симпатія или дружба. Онъ умѣлъ уже съ несвойственной ему смѣтливостію сѣсть возлѣ нея на цѣлый вечеръ, и сдѣлать такъ, что какая нибудь новоприбывшая дама не могла занять его скромнаго мѣстечка. Говоря съ ней по цѣлымъ вечерамъ, онъ забывалъ, что эта самая Воротынская — женщина свѣтская, и видѣлъ въ

ней только добрѣйшую изъ женщинъ, которая своими мнѣніями и манерою держать себя привлекала всеобщее къ себѣ расположеніе. Она сама, казалось, не была совершенно къ нему равнодушна, но все ея расположеніе выказывалось въ дружбѣ къ Анютѣ. Она сдѣлалась неразлучна съ ней, и, пріѣзжая навѣщать ее, умѣла обворожать не только Александру Николаевну, но и стараго Ипполита Андреевича, съ которымъ толковала о политикѣ, и даже присылала ему всякій день тѣ изъ журналовъ, которые не получались въ домѣ Огинскихъ. Вообще чрезмѣрная доброта и обязательность, качества, такъ рѣдко сохраняющіяся въ свѣтѣ, были съ ней неразлучны; болѣе всего любили ее мужчины, но и женщины не чуждались ея, и не питали къ ней враждебнаго чувства. Она знала это, и не скрывала, что гордится всеобщей любовію, которую внушала къ себѣ.

— Правда, говорила она часто, улыбаясь добродушно, что меня очень любятъ, что у меня много друзей. Я это цѣню и дорожу этимъ.

Опытъ ли жизни или счастливо созданный характеръ развили въ ней терпимость ко многому, и, вѣроятно, самое это качество и привязывало къ ней какъ глупыхъ, такъ и умныхъ людей, людей благородныхъ и людей эгоистично-сжившихся съ несовсѣмъ строгими правилами чести и поведенія. Воротынская въ совершенствѣ владѣла неоцѣненнымъ даромъ, который нельзя назвать иначе, какъ *благой серединой:* всюду, гдѣ только возможно было отыскать хорошую сторону какого-нибудь поступка — слово примиренія, не по лукавству или видамъ, но по сердечной добротѣ, тотчасъ слетало съ

зыка ея ; она никогда никого не задѣвала , дорожила резвычайно общимъ мнѣніемъ , и, если открыто презирала низость и гнушалась ею, то развѣ въ томъ случаѣ, огда эта низость являлась съ цинически-открытымъ лицемъ, да и тогда не любила она произносить рѣшительаго слова, и одно ея молчаніе было порукой истинныхъ увствъ. Ея любимая поговорка была : кто знаетъ ? И акъ была она счастлива , когда могла сказать ее для ащиты человѣка, всѣми осужденнаго ! Все это не было ъ ней слѣдствіемъ разсчета: она была добра, и доброта составляла основаніе всего существа ея. Того , что азываютъ характеромъ, въ ней не было: она не могла ы выдержать борьбы , но за то умѣла бы искусно бойти ее , хотя никто не могъ бы при этомъ укорить е въ нечистомъ поступкѣ или лживомъ словѣ. Валентинъ , проведя у ней ползимы , и коротко ознакомившись съ нею, не могъ бы однако сообщить никакихъ подробностей объ ея домашней жизни. Онъ видѣлъ , какъ азряженная тетка входила въ комнату, цѣловала племянницу въ лобъ, и уѣзжала въ гости или приказывала аскрыть зеленый столъ въ гостиной , куда вскорѣ и ходила, принимая старухъ, пріѣзжавшихъ играть съ нею ъ карты. Повидимому, Боротынская была независима свободна. Она мало говорила о себѣ , еще менѣе о воей прошлой жизни, да и свѣтскіе слухи, будто ей же ъ угоду, не были щедры на подробности. Всѣ въ городѣ знали, какъ и самъ Валентинъ, что она была очень олода , когда вышла за-мужъ , и послѣ нѣсколькихъ ѣтъ замужства , овдовѣла и жила открыто , посреди довольствій. Когда кому-нибудь въ разговорѣ съ нею

случалось замѣтить, что она женщина счастливая, она тотчасъ соглашалась съ этимъ. Иногда Валентинъ замѣчалъ, что отношенія Воротынской къ теткѣ были холодны и принужденны; но въ нихъ съ одной стороны было такъ много мягкой вѣжливости, а съ другой столько безпритязательности, что можно было принять эту холодность за одну случайность обыкновенныхъ житейскихъ недочетовъ или за выраженія минутнаго неудовольствія. Анюта любила Воротынскую, которая заботилась о ней, какъ о меньшей сестрѣ своей, и, выѣзжая съ нею, не мало способствовала ея счастливому появленію въ свѣтѣ. Валентинъ всякій вечеръ постоянно бывалъ у Воротынской, и хотя разговоръ его не блисталъ остроуміемъ или оригинальностію, однако никто не отказалъ бы ему въ умѣ, образованіи или занимательности. Робость, первоначально губившая его способности, мало по малу исчезала. Сперва онъ молчалъ весь вечеръ, если встрѣчалъ у Воротынской хотя одно новое лице; но скоро сталъ проходить и этотъ послѣдній признакъ самолюбивой недовѣрчивости его къ самому себѣ. Воротынская ему очень нравилась; онъ скучалъ безъ нея, и соглашался съ сестрою, которая не понимала, какъ можно было видѣть такую женщину и не любить ея, не желать жениться на ней; оба они не могли понять, почему Воротынская, находясь со всѣми въ пріятныхъ отношеніяхъ, не была, повидимому, никѣмъ любима настоящею любовію. Имъ казалось, что ея доброта, простота, ровность характера, добродушіе должны были привлекать къ ней неодолимо.

Они были слишкомъ молоды и неопытны, и не могли

онять, что совершенное отсутствіе слабостей, хотя и
естящихъ, отсутствіе всякихъ неожиданныхъ измѣненій
ь характерѣ, отсутствіе вспышекъ въ умѣ, внушаютъ
важеніе, а не любовь. Не родится ли часто любовь изъ
юбопытства? а любопытство поджигается, когда мы не
овсѣмъ можемъ понять или объяснить себѣ то лице,
оторое насъ заинтересовало. Въ Воротынской все было
ишкомъ просто; она не увлекала, не завлекала, не ко-
етствовала ни умомъ, ни сердцемъ, ни даже лицемъ;
на, словомъ, скорѣй была другомъ или сестрой для
ицъ ей близкихъ, и доброжелательною, привѣтливою
ля знакомыхъ, чѣмъ молодой, блестящей, хорошенькой
амой большаго круга. Въ ней самой и вокругъ нея не
ыло ни загадокъ, ни таинственности; жизнь ея была
крыта для всѣхъ, ровна, проста и, къ несчастію,
днообразна. Повидимому, это не тяготило ея, и она
ила спокойно по заданному масштабу.

Однажды вечеромъ, явясь по обыкновенію къ ней,
алентинъ засталъ ее еще одну. Она сидѣла на кушет-
ѣ, въ любимой своей позѣ—скрестивъ руки на подуш-
ѣ, на которую опиралась; задумчивѣе обыкновен-
аго подала она ему руку, и, разсѣянно улыбнувшись,
просила:

— А Анюта?

— Осталась съ маменькой, сказалъ Валентинъ:
ѣдная все не такъ здорова; я не дождусь весны—надо
хать въ деревню.

— Какъ это любезно! отвѣчала она.

— Полноте! возразилъ онъ: вы знаете, вы должны знать,

какъ мнѣ не легко будетъ оставить городъ... но, что жъ дѣлать? здоровье маменьки требуетъ чистаго воздуха.

Она посмотрѣла на него, и легкій румянецъ выступилъ на щекахъ ея, когда она услышала первую половину его фразы.

— Ваша деревня далеко отсюда?

— За триста верстъ. Что бы вамъ побывать у насъ? Вотъ было бы чудесно! Признаюсь, я цѣлое утро говорилъ объ этомъ съ Анютой и маменькой. Онѣ, вѣроятно, сами будутъ приглашать васъ.

— Это не возможно! Къ несчастію, тетушка любитъ городъ, и ее едва можно уговорить ѣхать на дачу.

— Да я и не говорю о ней: пусть тетушка остается на дачѣ, а вы....

— Мнѣ нельзя ее оставить.

— Почему же?

— Она не захочетъ. Къ тому же ѣхать за триста верстъ....

— Извините, сказалъ Валентинъ съ нѣкоторой досадой: я думалъ, что вы довольно любите Анюту и маменьку, чтобы....

— Ахъ! не говорите такъ. Вы сами знаете, какое было бы для меня счастіе провести недѣлю-другую съ вашимъ семействомъ; но я связана.

— Вы меня удивляете, возразилъ онъ: Кто же свободенъ, если вы связаны?

— Не знаю — думаю, что никто не свободенъ, и это въ порядкѣ вещей.

— Знаете ли, что я — простите мнѣ — буду жестоко пенять на вашу тетку, если она причиной, что мы лишимся счастія принять васъ въ Михайловскомъ?

— И напрасно. Если кто можетъ пенять на васъ, то, конечно, тетушка, и я давно хотѣла просить васъ изъ дружбы ко мнѣ быть къ ней внимательнѣе. Вы съ тѣхъ поръ, какъ ѣздите ко мнѣ, никогда не сказали съ ней двухъ словъ, и въ мои имянины забыли пріѣхать поздравить ее. Она старушка, и очень считаетъ визиты.

— Я былъ у васъ, и очень жалѣлъ, что не засталъ васъ дома.

— Да, и оставили карточку одной мнѣ.

— Уже ли я сдѣлалъ это? Извините, ради Бога: это непростительно, я знаю; но я думалъ объ одной васъ, и помню даже, что ужасно жалѣлъ, что не засталъ васъ дома.

— Успокойтесь: я дѣло поправила. Зная, сколько она цѣнитъ должное вниманіе со стороны свѣтскихъ людей, я послала ей на верхъ карточку, которую нашла на столѣ своемъ. Но это не все: вамъ надо быть съ нею по-внимательнѣе, по-любезнѣе.

— Я такъ мало вижу ее — она всегда за картами.

— А вы никогда не подойдете, никогда не скажете ей любезнаго слова.

— Если сказать правду, возразилъ Валентинъ съ нѣкоторымъ смущеніемъ, мнѣ кажется, я ей не совсѣмъ нравлюсь, или лучше, совсѣмъ не нравлюсь. Ужъ мнѣ такое счастіе у всѣхъ старушекъ: онѣ меня не слишкомъ любятъ.

— Ваша вина : вы сами невнимательны , не угождаете, не старастесь имъ нравиться.

— Не умѣю, не могу ухаживать за старушками, особенно за такими....

Онъ вдругъ замолчалъ.

— Какъ моя тетка , хотите вы сказать ? Положимъ такъ. Она имѣетъ свои странности, недостатки; но кто же не имѣетъ ихъ ? Хотя для меня, для моего спокойствія , для моего....

Для моего счастія , хотѣла сказать она , но остановилась и сгорѣла яркимъ румянцемъ. Валентинъ нѣжно взглянулъ на нее , взялъ ея руку, и еще нѣжнѣе поцѣловалъ ее.

— Да, сказалъ онъ , нѣтъ ничего въ мірѣ , чего бы я не сдѣлалъ для васъ; нѣтъ женщины добрѣе , лучше васъ; я счастливъ, что встрѣтилъ, нашелъ, узналъ васъ. Повѣрьте , что вы для меня....

Колокольчикъ раздался въ гостиной ; она поспѣшно и не безъ замѣшательства отняла руку, которую онъ держалъ въ своихъ рукахъ , и проговорила :

— Кто-то пріѣхалъ.... Звонятъ два раза—это женщина.

— Ахъ, Богъ съ ней ! вотъ ужъ некстати... Почти никогда не могу я поговорить съ вами по волѣ.

— Что дѣлать? сказала она, вставая и идя на встрѣчу къ входившей Силковой.

Послѣ первыхъ привѣтствій, Силкова , знавшая всѣ городскіе толки и сплетни, долго разсказывала Воротын-

ской о пріѣздѣ въ городъ какой-то Ельцовой, возвратившейся изъ чужихъ краевъ.

Валентинъ мало слушалъ разговоръ двухъ женщинъ: подвинувшись къ камину, онъ разсѣянно грѣлъ на желѣзной его рѣшеткѣ подошвы тоненькихъ сапоговъ; наконецъ ему стало горячо — онъ отодвинулся и взглянулъ на дамъ. Силкова смотрѣла на него лукаво и насмѣшливо.

— Что вы такъ на меня глядите? спросилъ онъ: чѣмъ я могъ заслужить ваше насмѣшливое вниманіе?

— Сапоги ваши не сгорѣли? спросила она.

Онъ посмотрѣлъ на нихъ, и отвѣчалъ серьезно:

— Пѣтъ еще.

— Пари держу, что вы не слыхали ни слова изъ всего нашего разговора.

Валентинъ смѣшался, но, собравъ мысли, отвѣчалъ довольно развязно:

— А если бъ и не слыхалъ, думаете ли вы, что я много потерялъ отъ этого?

— Какъ вамъ это кажется? спросила Силкова у Воротынской. C'est une insolence ou une naïveté, не знаю, что изъ двухъ.

— Ни то, ни другое, сказала Воротынская. Огинскій нынче очень озабоченъ: его мать не такъ здорова.

— Ah! c'est différent! сказала Силкова: вы были такъ задумчивы, что я подумала, ужъ не влюбился ли нашъ благоразумный, степенный, тихій господинъ Огинскій.

— Все насмѣшки....

Въ это время нѣсколько молодыхъ людей вошли въ кабинетъ, и мало по малу онъ началъ наполняться обычными посѣтителями. Валентинъ сидѣлъ между Силковой и Воротынской, и потому ли, что сосѣдка мѣшала ему, или потому, что не было въ этотъ вечеръ другихъ дамъ, онъ не могъ промолвить слова съ Воротынской, не смотря на все свое желаніе. Разговоръ былъ общій — дѣло шло о какомъ-то бѣгѣ.

— Поѣдемте завтра на бѣгъ, сказала Воротынская Валентину: у васъ есть лошади?

— Есть, сказалъ онъ.

— Ну, прекрасно! пошлите ихъ на бѣгъ, и заѣзжайте за мною: я поѣду кататься по набережной и посмотрю оттуда.

— Какъ зовутъ вашихъ лошадей? спросила Силкова у Валентина. Не смѣйтесь, господа, продолжала она, обращаясь къ молодымъ людямъ: я знаю имена всѣхъ извѣстныхъ лошадей, которыя бѣгали. Мой мужъ страстный охотникъ, и у него заводъ.

Этотъ вопросъ Силковой крайне затруднилъ Валентина; онъ понялъ тогда только, что дѣло шло о рысакахъ, и отвѣчалъ, смущаясь:

— Я мало обзавелся лошадьми; одна изъ моихъ лошадей, говорятъ, извѣстна — это Лебедь.

— Знаю, знаю! сказала Силкова: сперва она принадлежала Границкому, вашему шурину.

— Онъ мнѣ и подарилъ ее, отвѣчалъ Валентинъ.

— И вы не покупаете лошадей? Да при вашемъ состояніи ихъ можно имѣть десятками.

— Я не знатокъ, отвѣчалъ Валентинъ.

— Ну, за этимъ дѣло не станетъ! возразилъ князь Аверкинъ. Хотите, я на чести продамъ вамъ одну изъ лошадей моихъ?

— Пожалуй! сказалъ Валентинъ, я не прочь.

— Такъ вы завтра обѣ, mesdames, поѣдете на бѣгъ? замѣтилъ одинъ молодой человѣкъ, у котораго едва пробивались усы. Завтра будетъ очень интересно.

— Почему же завтра?

— Миняевъ думаетъ, что бѣгъ будетъ крайне интересенъ, потому что завтра его лошади будутъ бѣгать, замѣтилъ Аверкинъ, не безъ насмѣшки.

— Вотъ вздоръ какой! отвѣчалъ Миняевъ. Это можетъ быть крайне интересно для меня — я страстный охотникъ: но Зенаида Львовна и Надежда Дмитріевна не могутъ такъ интересоваться этимъ.

— Ошибаетесь, сказала Силкова, я всегда держу большіе пари: мой мужъ страстный охотникъ, у него свой заводъ. Какъ зовутъ вашу лошадь?

— Ахиллъ, отвѣчалъ Миняевъ: и, вообразите, онъ два раза обогналъ....

— Ахъ! господа, вмѣшалась Воротынская, избавьте васъ отъ спору: онъ мнѣ наскучилъ ужасно, и я давно просила васъ позабыть хотя на время, хотя въ моемъ кабинетѣ, свою страсть къ лошадямъ.

— Сей часъ, сей часъ, одно слово только! возразила Силкова: не будь неумолима! Я, напротивъ, безъ ума отъ лошадей. Ну, что жъ вашъ Ахиллъ?

— Обогналъ два раза Колибри, и если завтра онъ не выиграетъ пари, я велю его зарѣзать.

— Вотъ охотникъ! сказалъ Змѣевъ. Не вѣрю я послѣ этого вашей любви къ лошадямъ.

— Охотникъ, то есть, хвастунъ! сказалъ Аверкинъ, смѣясь. Лошадь его, пожалуй, и проиграетъ, а зарѣзать ее, онъ не зарѣжетъ.

— Но чѣмъ же будетъ особенно замѣчателенъ бѣгъ? спросила Воротынская, мѣшаясь въ разговоръ, котораго остановить она была не въ силахъ.

— Развѣ вы не слыхали? возразилъ Миняевъ, гордо выпрямляя крошечный станъ свой, и еще выше подымая голову. Завтра на бѣгу покажется наша заморская красавица.

— Кто такая? спросилъ Валентинъ.

— Вотъ что значитъ — вставила свое слово Силкова — не слушать, что мы говорили съ Зенаидой. Я именно объ ней разсказывала, пріѣхавъ сюда.

— Виноватъ, сказалъ Валентинъ: въ другой разъ обѣщаю быть внимательнѣе къ такимъ интереснымъ новостямъ.

— Конечно интересная новость: Ельцова удивительно хороша собою, жила съ-дѣтства за границей, воротилась оттуда львицей, и сбирается удивить, затмить, уничтожить женщинъ, и влюбить въ себя всѣхъ мужчинъ, проговорила Силкова не безъ иронiи. Это ли не интересно? Почему вы знаете, прибавила она, обращаясь къ Миняеву, что она будетъ завтра на бѣгу?

— Я былъ вчера у ней, и она при мнѣ сбиралась ѣхать, сказалъ онъ совершенно спокойно, но съ скрытымъ желанiемъ произвести эффектъ.

— Былъ? Ты былъ! спросилъ нетерпѣливо Аверкинъ. Какъ ты познакомился?

— Что жъ тутъ удивительнаго? моя тетка коротко знакома съ матерью Ельцовой.

— Ну скажи, что̀ она—хороша собою, умна, мила?

— Чудо, и какъ много видѣла! ея мужъ былъ очень друженъ со многими знаменитостями; она принимала у себя, была при дворѣ....

— При какомъ?

— Ну! тамъ, за границей—не знаю право, при какомъ; это разсказываетъ ея мать; можетъ быть, хвастаетъ; впрочемъ, мнѣ все равно! Съ нею все забудешь—только смотришь на нее—красавица!

— Я непремѣнно познакомлюсь съ нею, сказалъ Аверкинъ: любопытная женщина!

— Дѣйствительно, замѣтила Воротынская: если она такъ много видѣла, ея разговоръ долженъ быть очень интересенъ.

— Разумѣется. Она можетъ подробно разсказать намъ, что носятъ въ Парижѣ, и ужъ конечно поговоритъ о красотѣ какого-то италіянскаго принца, который, говорятъ, былъ очень друженъ съ нею, прибавила Силкова, улыбаясь насмѣшливо.

— Ну, а всѣ знаменитости, тоже, говорятъ, часто бывали у ней, сказалъ кто-то: быть можетъ, и онѣ всѣ были дружны съ нею? Она разсказываетъ такъ много объ нихъ, что можно съ достовѣрностію подумать....

— Господа! сказалъ до тѣхъ поръ молчавшій Змѣевъ: вы клевещете на Ельцову. Правда, она очень любитъ

свѣтскія удовольствія, но это такъ понятно въ ея лѣта! Она хороша собою, удивительно хороша, и потому — что́ мудренаго, что многіе значительные люди были влюблены въ нее. Но если бъ вы знали ее! Она добра и умна необыкновенно, и въ то же время безпечна, невинна, какъ дитя.

— Ты давно ли въ нее влюбился? спросилъ Аверкинъ.

— Влюбился! будто надо влюбиться, чтобы замолвить за женщину доброе слово!

— Да это извѣстно, что она всѣхъ влюбляетъ въ себя, сказала Силкова. У ней для этого особенный талантъ — я ее знала еще дитятей.

— Когда же? спросила Воротынская.

— Ей было 7 лѣтъ, когда мать ея опять уѣхала съ нею въ чужіе край.

— И она ужъ тогда была кокетка? спросила Воротынская, улыбаясь: Полно, Nadine!

— Конечно! а въ добавокъ — избалована и капризна, comme un petit démon. Она уже тогда танцовала удивительно, и знала это. Бывало, на дѣтскихъ балахъ ее обступаютъ и любуются ею; она была одѣта, какъ принцесса, и выломана, какъ дочь актрисы, будто ее готовили на сцену. Врочемъ, что́ тутъ удивительнаго? До сихъ поръ никто не знаетъ, кто была ея мать.

— Всѣ эти слухи о Ельцовой вѣроятно внушили вамъ желаніе ее видѣть, сказала Воротынская Валентину, глядя на него пристально.

— Нисколько, отвѣчалъ онъ. Изъ всего, что слышу,

я долженъ заключить, что она львица изъ львицъ, а я дичусь такихъ женщинъ.

— Вы, однако, быть можетъ, скоро съ ней встрѣтитесь. Я знаю, что она на дняхъ пріѣдетъ къ намъ съ своей матерью, которая была прежде знакома съ тетушкой.

— Я увѣренъ, сказалъ Змѣевъ, что Ельцова, появившись въ обществѣ, затмитъ всѣхъ женщинъ и красотою и умомъ.

— Какъ это любезно! замѣтилъ Аверкинъ. Хорошо, что вы влюблены, иначе — было бы не совсѣмъ ловко сказать нашей московской феѣ и нашей сѣверной армидѣ, что онѣ должны уступить скипетръ моды новопріѣзжей.

Воротынская, которой въ тѣсномъ кружкѣ давно дали это прозваніе, въ воспоминаніе одного очень удавшагося костюма, однажды надѣтаго ею въ маскарадъ, увидѣвъ, что разговоръ могъ принять несовсѣмъ мирный оборотъ, добродушно засмѣялась, и сказала:

— Ваша фея съ удовольствіемъ отказывается отъ скипетра моды, которымъ никогда не владѣла....

— А сѣверная армида, прибавила Силкова надмѣнно, слишкомъ холодна — вы сами это знаете. У нея нѣтъ, не было и не будетъ Ринальдо, и потому ей бояться нечего.

— Такъ это васъ зовутъ феей? спросилъ Валентинъ у Воротынской. Признаюсь, я не слыхивалъ названія удачнѣе. Вы — добрая, благодѣтельная фея всѣхъ вамъ близкихъ.

— Положимъ такъ! отвѣчала она: помните однако,

что эти прозванія даны въ шутку, и должны остаться въ тѣсномъ кружку, иначе насъ бы осмѣяли.

— Вы во мнѣ не увѣрены — развѣ я болтунъ?

— О нѣтъ, конечно, но вы еще такъ неопытны въ свѣтскихъ условіяхъ — я предупреждаю васъ.

— Вообрази себѣ, Зенаида, сказала Елена Филипповна, входя въ комнату и усаживаясь около племянницы: вообрази, что я весь вечеръ пользовалась удивительнымъ счастіемъ.

— Выиграли? спросила Воротынская.

— Помилуй, милая, въ умѣ ли ты? Проиграла, ужасно проиграла. Ужъ мое счастіе должно быть тебѣ извѣстно. А князь Иванъ еще сердится и уѣхалъ, говоря: «Съ вами играть нельзя.» Каковъ? Ну да добро — я дамъ ему гонку.

— Она воображаетъ, что онъ дитя, сказала Силкова, а князь Иванъ ей ровесникъ. Какъ бы ее опять усадить въ карты, а то она здѣсь будетъ мѣшать, прибавила она потомъ въ полголоса.

Желаніе Силковой скоро исполнилось: Елена Филипповна, поговоривъ съ полчаса, ушла къ себѣ.

— Куда она пошла? спросилъ кто-то.

— Завтра балъ. О завтрешнемъ туалетѣ надо же ей позаботиться, сказалъ Минаевъ, родственникъ Воротынской. Это у ней идетъ вмѣстѣ — или играть, или рядиться.

— Любить игру не мудрено старымъ людямъ — это одинъ интересъ имъ, но рядиться въ ея лѣта — изъ рукъ вонъ! замѣтилъ кто-то.

— Она еще очень моложава для своихъ лѣтъ, отвѣчала Силкова: да и кому мѣшаетъ она? Эти двѣ страсти ея единственный интересъ въ жизни.

— А зачѣмъ нѣтъ у ней другаго? спросилъ Валентинъ.

Воротынская, вслушавшись въ разговоръ, взглянула на Валентина, и сказала въ полголоса:

— Отъ чего? А Богъ знаетъ. Жизнь прошла даромъ, какъ у многихъ. Въ этомъ многое виновато — и воспитаніе, и общество, и пустота. Да вѣдь и мы, осуждающіе, будемъ такіе же, прибавила она вслухъ.

— Сохрани Боже! сказалъ горячо Валентинъ.

Въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ зналъ Воротынскую, она сказала что-то похожее на задушевную мысль, но тотчасъ перемѣнила разговоръ. Было поздно; стали разъѣзжаться, и Валентинъ возвратился къ себѣ еще болѣе занятый этою молодой женщиной.

ГЛАВА III.

На другой день утромъ, Валентинъ, узнавъ отъ домашнихъ, что мать его не очень здорова, отправился къ ней. Онъ нашелъ ее больною и слабою, но успокоился, поговоривъ съ докторомъ, который объявилъ, что ея сложеніе слабое, но болѣзнь сама по себѣ ничего не значитъ. Не смотря на это, Валентинъ отказался ѣхать къ Воротынской, и провелъ весь день дома съ сестрою и матерью. Александра Николаевна очень сожалѣла, что лишила сына и дочь удовольствія выѣзжать, отъ котораго Анюта отказывалась уже больше двухъ недѣль.

— Нѣтъ, сказала она: завтра же отправляйся съ братомъ въ гости; не льзя сидѣть дома.

— Отъ чего же? если мнѣ здѣсь лучше, веселѣе. Или вы хотите, чтобы и я играла роль невѣсты, и выѣзжала для того, чтобы выйти за-мужъ?

— Какіе пустяки! сказалъ Валентинъ.

— Да, замѣтила Анюта: я знаю, что послѣ Катиной

свадьбы, на меня стали глядѣть тоже какъ на богатую невѣсту. Всѣ говорятъ, что если Катѣ дали такое приданое, то что же дадутъ мнѣ, любимой сестрѣ, любимой дочери ?

— Вотъ заключеніе! Мнѣ кажется, любовь дѣло сердечное, а раздѣлъ дѣтей—дѣло справедливости, замѣтилъ Ипполитъ Андреевичъ.

— Да, да! возразила Анюта: но что же дѣлать, если люди мѣряютъ любовь деньгами, а деньги любовью. Сама Катя вчера сказала это.

— Что сказала? спросила Александра Николаевна не безъ внутренняго волненія.

— Ничего особеннаго; она говорила, что мое положеніе завидное, что я должна угождать брату и выбрать жениха знатнаго и богатаго, а за приданымъ дѣло не станетъ.

— Спекуляція ! замѣтилъ Ипполитъ Андреевичъ. Ну, откуда бы ей въ своей семьѣ набраться такихъ правилъ ! Подумаешь и ума не приложишь.

— Такая натура! сказалъ Валентинъ, и замолчалъ, не желая печалить матери, которую разговоръ этотъ видимо взволновалъ. Дня три спустя, Воротынская, узнавъ о болѣзни Огинской, пріѣхала навѣстить ея, и провела у ней все утро. Когда она уѣзжала, Валентинъ проводилъ ее до кареты. Ея посѣщеніе, вниманіе, дружба съ Анютой, и возраставшая короткость съ Валентиномъ начинали тревожить Александру Николаевну. Однажды она рѣшилась высказать часть своихъ опасеній Ипполиту Андреевичу.

— Ужъ не влюбленъ ли онъ? замѣтила она послѣ минутнаго смущенія.

— Богъ знаетъ! А что жъ, если и такъ?

— Сохрани Боже! возразила мать. Онъ молодъ, ему еще рано жениться. Къ тому же она ему не пара. Она вдова, старше его, и съ нами въ родствѣ.

Ипполитъ Андреевичъ успокоивалъ ее, какъ могъ. Но скоро одно обстоятельство совершенно прекратило частыя посѣщенія Валентина къ Воротынской. Однажды, пріѣхавъ къ ней, онъ нашелъ ее одну и въ слезахъ.

— Что съ вами? спросилъ онъ съ тревожнымъ участіемъ.

— Я сейчасъ хотѣла послать за вами. Вообразите, что нынче ночью я должна ѣхать въ деревню, отвѣчала она, протягивая ему руку, которую онъ поцѣловалъ очень нѣжно.

— Возможно ли? сказалъ онъ: въ такіе морозы!

— Судите сами, могу ли я не ѣхать. У меня есть старая тетка, отъ которой я вчера получила нѣсколько строкъ: она опасно больна и пишетъ, что желала бы проститься со мною передъ смертію. Она родная сестра моей покойной матери, и у ней я провела первое дѣтство.

— Вы ее любите?

— Могу ли любить? я видала ее очень рѣдко, и между нею и мною ничего нѣтъ общаго, хотя она всегда была ко мнѣ очень ласкова. Надо ѣхать. Ѣхать! вы не можете представить, какъ мнѣ тяжело и грустно.

— А мнѣ еще тяжеле. Я безъ васъ буду, какъ потерянное дитя въ лѣсу. Я привыкъ къ вамъ....

— Если только привыкли, такъ можете и отвыкнуть, сказала она грустно.

— Зачѣмъ вы не дали мнѣ досказать мысль мою? отвѣчалъ Валентинъ. Вы знаете, что я къ вамъ привязанъ, а говорите такъ, какъ будто сомнѣвастесь въ этомъ.

Она молчала и казалась задумчивою. Онъ сидѣлъ, какъ на угольяхъ: ему было грустно и какъ-то неловко. Чувствовалось имъ обоимъ, что между ними было что-то недосказанное, что-то подавленное, робостью съ одой стороны, смущеніемъ съ другой. Настало молчаніе. Она крутила конецъ своей бахромы на мантиліи, и слезы медленно стекали изъ глазъ ея. Онъ смотрѣлъ упрямо на полъ, и считалъ розасы ковра; наконецъ поднялъ глаза, и схватилъ ея руку.

— Если бъ вы знали, произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ, какъ я....

Елена Филипповна вошла въ комнату, и, не замѣчая смущенія обоихъ, приступила къ племянницѣ съ безконечными вопросами и совѣтами о предстоявшемъ путешествіи. Валентинъ отъ всего сердца проклиналъ старую тетку, пришедшую такъ некстати, да и она, вѣроятно, не была довольна его присутствіемъ, потому, что едва говорила съ нимъ. Вообще, съ самаго перваго знакомства, она никогда не была къ нему благосклонна, да и самъ онъ не любилъ этой суетной старухи.

— Развѣ ты никого не принимаешь нынче? замѣтила она племянницѣ.

— Вы видите, какъ я разстроена.

— По родные, кажется, люди не лишніе; родные не могутъ сравняться съ посторонними, сказала она съ такимъ выраженіемъ, которое ясно говорило Валентину: зачѣмъ вы здѣсь?

Валентину стало крайне неловко. Воротынская молчала; одна Елена Филиповна говорила за всѣхъ; сожалѣла объ отъѣздѣ племянницы; предполагала, отъ чего произошла болѣзнь и вѣроятно смерть ихъ родственницы, и какъ-то странно смѣшивала ее съ неудавшимся вечеромъ, куда она была звана.

— Поѣзжайте, тетушка! сказала Воротынская: вы еще успѣете.

— Помилуй! замѣтила старуха, съ сердцемъ: Какъ ѣхать въ гости? Завтра же узнаютъ, что ты въ ночь уѣхала. Къ тому же теперь 10 часовъ, и всѣ партіи составлены. Ужъ мнѣ всегда какая нибудь помѣха!

— И съ кѣмъ я буду пить кофе безъ тебя? продолжала она: придется сидѣть одной по утрамъ.

Ея жалобамъ не было конца. Валентинъ не имѣлъ надежды остаться вдвоемъ съ Воротынской, и потому всталъ и простился. Лишь только онъ вышелъ изъ комнаты, какъ ему послышался голосъ Воротынской.

— Валентинъ Михайловичъ! говорила она, и вслѣдъ за нимъ вышла въ гостиную.

— Прощайте, прощайте! продолжала она тихо, не забывайте меня!

— Возвращайтесь скорѣе! отвѣчалъ онъ: здѣсь всѣ и я также, будемъ ждать васъ съ нетерпѣніемъ.

Онъ поцѣловалъ ея руку, и вышелъ изъ дому, смущенный, опечаленный, не совсѣмъ отдавая себѣ отчетъ въ собственномъ смущеніи и грусти.

Отъѣздъ Воротынской оставилъ вокругъ него и пустоту и скуку. Онъ не зналъ, что дѣлать вечеромъ, и куда ѣхать. Нѣсколько вечеровъ провелъ онъ дома, но, получая очень часто приглашенія отъ Силковой пріѣхать къ ней, рѣшился наконецъ на этотъ подвигъ. Силкова была одна изъ тѣхъ женщинъ, которымъ природа, давъ надолго красоту, отказываетъ безжалостно въ другихъ дарахъ своихъ. Свѣтской болтовней она не прикрывала ни пустоты своей, ни своего недальняго образованія, ни отсутствія ума. Она была добра тогда только, когда ея самолюбіе было не затронуто, и вся особа ея, вытянутая и разряженная, говорила входящимъ: любуйтесь мною, я красавица. Эта замашка, это вѣчное притязаніе на имя записной красавицы, эта выставка самой себя и злоба, съ которой она нападала на всякую другую хорошенькую женщину, такъ не нравились въ ней Валентину, что онъ никогда не могъ провести съ ней получаса. Въ этотъ самый вечеръ, она объявила Валентину, что на праздникахъ намѣрена дать великолѣпный маскарадъ, и взяла съ него слово непремѣнно быть у ней. Онъ замѣтилъ въ ней явное намѣреніе воспользоваться отсутствіемъ Воротынской, и, если возможно, заставить его влюбиться въ нее, и тѣмъ отбить его у пріятельницы. Она сама выразилась такъ, говоря съ одной изъ своихъ знакомыхъ, которая передала это тотчасъ, смѣясь и злословя, самому Валентину. Напрасно онъ оправдывался, говоря, что не влюбленъ, а

только привязанъ къ Воротынской — но Силкова и ея пріятельница были увѣрены въ противномъ, и давно видѣли въ немъ ея поклонника. Вечеръ тянулся вяло для Валентина; насмѣшки, намеки этихъ женщинъ были ему несносны; общій разговоръ казался ему чрезвычайно пустымъ; возвратясь домой, онъ далъ себѣ слово никогда не ѣздить за-просто къ Силковой.

Прошла еще недѣля, настали святки, и Валентинъ долженъ былъ съ сестрою объѣздить огромное количество своихъ родственниковъ, которыхъ не посѣщалъ въ остальное время года. Лѣтъ 15 тому назадъ родство было не то, что стало нынче. Оно требовало бо́льшаго, авторитетъ его былъ неоспоримъ, а близкія сношенія съ нимъ были невозможны. Огромное количество сплетней и пересудовъ упадало на голову всякаго племянника, внука, или крестника, которые по неосторожности впали въ немилость этого задорнаго полка родственниковъ. Теперь, не въ гнѣвъ будь сказано тѣмъ, кто осуждаетъ наше время, всѣмъ стало меньше дѣла до чужихъ дѣлъ. Къ тому же Валентинъ зналъ, что всѣ его родственники (впрочемъ очень дальніе) осуждаютъ его мать не только за ея уединенную жизнь, но едва ли и не за слабое здоровье. Александра Николаевна не хотѣла подвергать дѣтей своихъ осужденію; и потому просила ихъ являться къ роднымъ въ торжественные дни. Это было для нихъ наказаніемъ, но они покорялись всегда малѣйшему желанію матери, а просьба ея была для нихъ закономъ.

Первые дни масляной были заняты блинами и обѣдами у родныхъ. Насталъ день бала Силковой, а Валентинъ еще не рѣшился, ѣхать ли ему къ ней или нѣтъ? за-

давалъ себѣ все тотъ же вопросъ и въ тоже время задумывался о Воротынской. Гдѣ она? что она? скоро ли воротится?

— О чемъ ты думаешь? спросила у него мать.

— Я? ни о чемъ, отвѣчалъ онъ. Ѣхать мнѣ нынче или нѣтъ?

— На балъ? Разумѣется, ѣхать: ты разсѣешься, будешь танцовать.

— Я не люблю танцовать.

— Какіе пустяки, Валентинъ! Тебя и такъ ужъ многіе честятъ чудакомъ. Тетушка Татьяна Андреевна вчера говорила мнѣ, что я напрасно такъ воспитала тебя. Ну, да Богъ съ ней! Поѣзжай, разскажи намъ, что видѣлъ; сестра не ѣдетъ — ей будетъ любопытно.

— Поѣзжай! сказала Анюта: что сидишь дома, нахмурясь? ты намъ наскучилъ.

— Ахъ, какой онъ хорошенькій нынче! воскликнула Анюта, обнимая брата вечеромъ, когда онъ въ бальномъ костюмѣ, съ кружевнымъ домино на плечъ, пришелъ проститься съ матерью.

Дѣйствительно Валентинъ былъ хорошъ собою. Тонкая кожа его, подъ которой текла молодая кровь, нѣжнымъ румянцемъ покрывала его бѣлыя щеки; темно-каштановые волосы вились мелкими глянцовитыми кудрями; глаза блестѣли; стройная, высокая талія, казалась еще выше отъ несоразмѣрно маленькой головы его, благородными линіями соединенной съ шеей. Пріѣхавъ къ Силковой, Валентинъ очутился въ толпѣ мужчинъ и женщинъ, одѣтыхъ во всевозможные костюмы. Было уже

поздно; балъ кипѣлъ. У входа въ огромную залу, молодой человѣкъ долженъ былъ по-неволѣ остановиться: длинный польскій змѣей обвивалъ залу. Валентинъ смотрѣлъ съ любопытствомъ на эту безконечную нить паръ, одна другой моложе, одна другой нарядиѣе, одна другой пышнѣе. Десятками, сотнями проходили передъ нимъ гречанки, султанши, невольницы, маркизы, пастушки, поселянки, весталки, турчанки. Въ глазахъ его долго пестрѣли всѣ цвѣта, всѣ ткани, всевозможные наряды, и наконецъ начали утомлять его зрѣніе. Но вдругъ вниманіе его приковалось неодолимо къ одной женщинѣ, подходившей ближе и ближе. Она предстала ему какъ видѣніе, какъ чудный, давно знакомый образъ. Обаятельная сила красоты приковала къ себѣ его взоръ, блуждавшій до тѣхъ поръ. Никогда и послѣ не могъ онъ забыть этого прекраснаго образа, и всѣ подробности наряда этой женщины живо врѣзались въ его памяти вмѣстѣ съ ея чертами: объ руку съ мужчиной, въ домино, шла женщина одѣтая вакханкой, но одѣтая такъ граціозно, такъ пристойно, такъ изящно, что никто не могъ бы найти для ней слова порицанія. Бѣлое газовое платье ея было убрано перлами бѣлизны ослѣпительной — будто каплями утренней росы, изобильной и блестящей. Тигровая кожа, скопированная роскошною тканью, была наброшена на одно плечо ея, и спадала съ другаго. Золотыя застежки, представлявшія когти тигра, ее придерживали. Валентинъ замѣтилъ, что когти эти, слишкомъ загнутые, впились въ ея бѣлое матовое плечо и покрывали его легкимъ розовымъ оттѣнкомъ. Спущенная съ одного плеча кожа вполовину открывала талію, удивительно стройную.

Платье имѣло покрой греческой туники; ея грандіозныя складки прикрывали собою полную, но небольшую, антично созданную грудь. Голова ея была изобильно покрыта лѣсомъ темно-каштановыхъ кудрей, между которыми вились виноградные стебли, перемѣшанные съ мелкой зеленью хмѣля, который, будто вырываясь изъ-подъ прически, падалъ до плечей причудливыми изгибами. На груди ея, вмѣсто букета цвѣтовъ, колыхалась огромная кисть винограда, перемѣшанная съ зеленью. Молодая вакханка шла нѣсколько покачиваясь, и ея походка, полная неуловимой прелести и какого-то стыдливаго сладострастія, приковывала взоръ. Голова ея, чудная голова ея, обремененная тяжестію волосъ и убора, по какой-то привычкѣ, полной неизъяснимой граціи, была томно наклонена на сторону, причемъ ея правильный продолговатый профиль обрисовывался во всей своей безукоризненной чистотѣ. Линій лица ея Валентинъ не разсмотрѣлъ —такъ поразилъ его общій видъ ея; онъ только видѣлъ, что глаза ея были огромные, синіе, какъ сапфиры, блестящіе, какъ алмазъ. Она медленно шла мимо его, разсѣянно улыбаясь на рѣчи своего спутника. Невольное, полусдавленное восклицаніе сорвалось съ языка Валентина: она взглянула на него прямо, и ея огненный, острый взоръ пронзилъ его насквозь, какъ жало змѣи. Онъ почувствовалъ дрожь, полную сладости; сердце его забилось и замерло. Онъ все стоялъ неподвижно, и все смотрѣлъ, а ея ужъ не было, и опять пастушки, гречанки, султанши, какъ въ туманѣ, проходили передъ его глазами, но онъ ужъ не глядѣлъ на нихъ: ея образъ такъ врѣзался въ его воображеніе, что онъ будто еще видѣлъ

ее передъ собою, и собою она заслоняла всю эту пеструю фантасмагорію лицъ, содѣлавшихся тѣнями. Но вдругъ кто-то захлопалъ въ ладоши, музыка мигомъ измѣнила темпъ свой, шумный вальсъ мчалъ уже пары мимо него — и вдругъ она, опять она, какъ видѣніе, едва касаясь пола стройными дѣтскими ножками, пронеслась мимо его, почти упавъ на руку своего кавалера, и все такъ же нѣсколько на-бокъ склонивъ свою маленькую головку. За ней, какъ облако, нескромно рисуя станъ, вилось ея легкое платье. Не помня себя, машинально бросился Валентинъ къ танцующимъ, пробился межъ ними, и тотчасъ отыскалъ ее въ этой толпѣ, будто влекла она его къ себѣ непостижимой, тайной силою. Но когда онъ остановился передъ ней, безмолвный и все еще изумленный, когда она вновь взглянула на него, онъ смутился и оробѣлъ. Отступать однако было невозможно — онъ былъ передъ нею; онъ наклонился и, едва слышно, выговорилъ.

— На туръ вальса!

Она опять взглянула на него, улыбнулась, положила дивную руку свою на плечо его, и онъ помчался съ нею, не чувствуя ногъ подъ собою, но чувствуя ея жгучее дыханіе на щекѣ своей, легкое бремя ея таліи на крѣпко державшей ее рукѣ; онъ былъ счастливъ, онъ задыхался, впервые знакомясь съ магическимъ міромъ страсти, такъ внезапно, но такъ беззавѣтно, безразсудно и сладостно охватившемъ все его существо. Кругъ, другой, третій мчался онъ съ нею, безъ устали и безъ мысли: онъ былъ въ такомъ упоеніи, въ такомъ чаду! безконечно хотѣлось ему

чувствовать это дорогое бремя на рукѣ своей, этотъ станъ у своего сердца, въ своихъ объятіяхъ, это дыханіе на щекѣ своей.

— Довольно, я устала! сказала она чуть слышно.

Онъ остановился и посадилъ ее на стулъ. Грудь ея волновалась; маленькія прозрачныя ноздри, будто выточенныя рѣзцемъ скульптора, слегка раздувались; глаза блестѣли еще больше. Валентинъ стоялъ позади нея, будто стерегъ ее.

Какой-то адъютантъ подошелъ къ ней

— Хотите танцовать? спросилъ онъ.

— Да, отвѣчала она отрывисто, да.... сей часъ.. . я отдохну.

Черезъ минуту она кружилась и съ нимъ.

— Ну что? хороша! не правда ли? чудно хороша! сказалъ кто-то позади Валентина, взявъ его за плечо. Онъ обернулся—это былъ Змѣевъ.

— Кто хороша? спросилъ Валентинъ.

Разумѣется, Ельцова! вѣдь ты сей часъ танцовалъ съ нею.

— Ахъ! такъ это она! сказалъ онъ невольно.

— Какой чудакъ! Да какъ же ты танцуешь съ женщиной, когда не былъ ей представленъ и не знаешь ея!

— Что мнѣ до ея имени! думалъ Валентинъ, нетерпѣливо дожидаясь своей очереди, чтобы танцовать съ нею. Но трудно было ему дождаться: она роздала всѣ свои танцы. Толпа поклонниковъ тѣснилась вокругъ нея, окружала ее со всѣхъ сторонъ, хотя постороннему наблюдателю не трудно было замѣтить, что Ельцова не

была коротка ни съ одной женщиной, и съ перваго своего появленія въ свѣтъ стала какъ-то отдѣльно. Валентинъ, исключительно занятый Ельцовой, постоянно слѣдившій за нею глазами, привлекъ на себя общее вниманіе тѣмъ болѣе, что оно было обращено и на нее. Насмѣшки, замѣчанія, намеки посыпались на него. Не слишкомъ знакомый съ свѣтомъ, онъ еще не умѣлъ отражать легкую насмѣшку колкой шуткой, колкость — ироніей, зависть и клевету не жаркимъ протестомъ, часто возбуждающимъ одинъ убійственный для свѣтскаго человѣка смѣхъ, а простымъ, но мѣткимъ намекомъ на какое нибудь обстоятельство жизни, не слишкомъ пріятное для нападающаго. Положеніе Валентина было несовсѣмъ завидно. Каждая ему знакомая дама или дѣвица считала себя въ правѣ замѣтить ему, шутя, что онъ влюбился. Мысль, что всѣ уже поняли чувство, имъ овладѣвшее, когда онъ еще не смѣлъ или не умѣлъ признаться въ немъ самому себѣ, была ему невыносима. Онъ сталъ у дверей, уединяясь отъ общества, но не рѣшаясь уѣхать домой, чтобъ не разстаться съ той, которая сдѣлалась его кумиромъ. Ельцова проходила мимо его, онъ рѣшился напомнить ей объ обѣщанномъ турѣ вальса.

— Я его не забыла, сказала она, улыбаясь: но что же вы не танцуете?

— Я танцовалъ съ вами, и буду опять имѣть это счастіе, сказалъ онъ съ наивною простотой.

— Я говорю не о себѣ, а о другихъ дамахъ, возразила она.

— Я не хочу танцовать, сказалъ онъ: впрочемъ, если вы прикажете....

— Я?... Имѣю ли право располагать вами?... Вы не любите танцевъ?

— Напротивъ, когда танцую съ вами, сказалъ онъ, дивясь самъ своей дерзости, и страстно желая сказать ей, что видитъ, знаетъ, чувствуетъ, принадлежитъ только ей; но, признавъ всю невозможность такого объясненія, взглянулъ только на нее. Вѣроятно, взоръ его былъ очень краснорѣчивъ, потому что она слегка покраснѣла и улыбнулась. Была ли то краска стыдливой радости или гордаго тріумфа, или краска удовлетвореннаго тщеславія, онъ не разобралъ этого — онъ не могъ мыслить, и глядѣлъ на нее съ упоеніемъ.

Вальсъ заиграли опять — онъ живо подошелъ къ ней, и унесъ ее снова въ его упоительный вихорь.

Когда поздно вечеромъ воротился онъ домой, проводивъ ее съ лѣстницы, ему еще слышался голосъ ея, говорившій на-прощанье: Надѣюсь видѣть васъ у себя.

Тысячу разъ повторялъ онъ себѣ слова эти, тысячу разъ прижималъ къ лицу своему собственныя перчатки, сохранившія легкій запахъ духовъ, которыми былъ почти пропитанъ уборъ ея; онъ поцѣловалъ ихъ, стыдясь самого себя, и легъ спать, положивъ ихъ подъ подушку. Такіе восторги были смѣшны; но на какія глупости не бываетъ способенъ 20-лѣтній юноша, вырвавшійся недавно изъ стѣнъ родительскаго дома, юноша, взросшій подъ непосредственнымъ вліяніемъ матери нѣжно любящей, простодушной и невинной, какъ дитя? Влюбившись неожиданно, страстно, онъ почувствовалъ въ себѣ переворотъ; всѣ мысли его, всѣ чувства, всѣ желанія были прикованы къ Ельцовой. Далеко была мысль о

Воротынской, будто она и не существовала, будто онъ и не зналъ ея, будто только вчера еще не жалѣлъ объ ея отсутствіи и не скучалъ о ней, будто никогда она ему и не нравилась. Тихое, кроткое чувство, внушенное ею, погибло мгновенно отъ пламеннаго прикосновенія всепожирающей страсти....

Когда на другой день онъ пришелъ по-утру къ матери, первой его заботой было скрыть отъ всѣхъ домашнихъ свое вчерашнее блаженство, свою нынѣшнюю задумчивость и озабоченность; но это было не совсѣмъ легко. Анюта закидала его тмою вопросовъ, и онъ долженъ былъ почти на-угадъ разсказывать ей то, чего не видалъ или что видѣлъ еще до встрѣчи своей съ Ельцовой. Онъ, само собою разумѣется, не произнесъ ея имени; но Анюта, пересчитавъ всѣхъ извѣстныхъ красавицъ, спросила у него:

— А Ельцова была?

Онъ вспыхнулъ.

— Была, отвѣчалъ онъ, выпивая залпомъ стаканъ горячаго чаю.

— Хороша она?

— Очень.

— Что жъ она, поправилась всѣмъ? Это кажется ея первый выѣздъ.

— Да, конечно.

— Какой ты нынче несносный, Валентинъ! замѣтила Анюта: отъ тебя ничего не льзя узнать порядочно.

— У меня ужасно болитъ голова, отвѣчалъ онъ, а между тѣмъ мнѣ надо ѣхать къ Змѣеву, который дол-

жетъ сдѣлать со мною нѣсколько визитовъ въ тѣ дома, куда меня вчера приглашали.

— Вотъ какъ! сказала Анюта: стало быть ты вчера имѣлъ успѣхъ?

Онъ кой-какъ отдѣлался отъ сестры, ушелъ къ себѣ, заперся въ кабинетѣ, и, сѣвъ у стола, глубоко задумался. Онъ самъ не зналъ, о чемъ думалъ. Кровь его кипѣла, сердце билось, воображеніе живо рисовало ему несравненный ея образъ, а память охотно повторяла малѣйшее изъ словъ ея, и очаровательные переливы ея голоса звучали еще въ ушахъ его. Стѣнные часы пробили два — онъ поспѣшно одѣлся и отправился къ Змѣеву. Тотъ уже ожидалъ его, и тотчасъ повезъ къ Ельцовой. Пройдя рядъ огромныхъ, но едва меблированныхъ гостиныхъ, они очутились у двери маленькаго кабинета. Валентинъ чувствовалъ, что колѣна его дрожатъ и духъ занимается. Змѣевъ осторожно постучался въ дверь.

— Entrez! послышался женскій, уже знакомый Валентину, голосъ.

Они вошли. Это была небольшая четвероугольная уютная комната въ одно окно, совершенно завѣшенное двойными занавѣсами изъ малиновой матеріи. Маленькая кушетка и диванъ стояли въ углу комнаты; на первой лежала Ельцова, прислонивъ голову къ батистовой подушкѣ, и небрежно полу-опустивъ свои маленькія дѣтскія ножки, обутыя въ атласные, обшитые кружевомъ, туфли. На ней былъ бѣлый пеньуаръ на розовой подкладкѣ; его широко-вырѣзанный воротъ и широкіе рукава обнажали часть шеи и руки; мелкія букли, въ безпорядкѣ лежавшія на вискахъ, были прикрыты маленькой кружевной

косынкой, небрежно завязанной подъ подбородкомъ. Увидѣвъ вошедшихъ молодыхъ людей, она спустила ноги, привстала и сѣла небрежно, въ позѣ наивной и вмѣстѣ кокетливой непринужденности. Змѣевъ поцѣловалъ ея руку, и сказалъ:

— Вотъ вамъ новый невольникъ, Клавдія Ѳедоровна, я привелъ его къ вашимъ ногамъ: онъ сказалъ мнѣ, что вы позволили ему быть нынче у васъ.

— Soyez le bien-venu! Мы знакомые незнакомцы, отвѣчала она томно, протягивая къ Валентину прозрачную ручку свою, которую онъ осмѣлился поцѣловать по примѣру Змѣева. Запахъ вчерашняго ея наряда опять проникъ его; онъ сѣлъ на диванчикъ, совершенно потерявшись. Змѣевъ говорилъ между тѣмъ о вчерашнемъ балѣ, о свѣтскихъ толкахъ, о томъ впечатлѣніи, которое произвело ея вчерашнее появленіе. Она слушала его улыбаясь, едва вставляла слово, жаловалась на усталость и, наконецъ, легла опять на кушетку, набросивъ турецкую шаль на свои ножки. Валентинъ не могъ преодолѣть своего смущенія, говорилъ мало, но не отводилъ отъ ней жадныхъ взоровъ. Она казалась ему еще очаровательнѣе, чѣмъ наканунѣ. При блескѣ свѣчъ, при помощи пышнаго убора, красота ея ослѣпляла и поражала, но здѣсь она была трогательнѣе. Свѣтъ, проникая черезъ малиновыя занавѣски окна, бросалъ на нее розовый отливъ; сама же она утопала въ мягкихъ складкахъ кисейнаго пеньуара и волнахъ тончайшаго кружева. Она показалась ему чѣмъ-то среднимъ между дитятей и женщиной, потому ли, что голова ея принимала дѣтскій характеръ, какъ скоро она начинала улыбаться, или

потому, что въ позѣ ея было что-то среднее между позой дитяти, уложеннаго въ постель, и женщины, уютно свернувшейся для отдыха.

— А много у васъ здѣсь такихъ баловъ, какъ вчерашній? спросила она.

— Довольно.

— Вотъ это хорошо. Признаюсь, пріѣхавъ сюда по дѣламъ, я боялась попасть къ дикимъ, но теперь вижу, что это не совсѣмъ такъ. Мнѣ не будетъ скучно.

— Можетъ ли быть скучно съ вами? прервалъ Змѣевъ.

— Да, но мнѣ могло бы быть скучно, сказала она, не обращая вниманія на приторныя любезности Змѣева. Иногда она взглядывала на Валентина, и обращалась къ нему съ незначащимъ вопросомъ, на который онъ спѣшилъ отвѣчать. Проведя у ней около часу, Змѣевъ всталъ, а за нимъ и Валентинъ.

— Пріѣзжайте завтра вечеромъ, сказала Ельцова: я познакомлю васъ съ маменькой. Я принимаю всякій вечеръ, разумѣется, если нѣтъ въ городѣ бала, куда я приглашена.

Она раскланялась. Нужно ли говорить, что Валентинъ ждалъ этого вечера съ нетерпѣніемъ, дотолѣ ему незнакомымъ? Все его тяготило. Его семейство не могло не замѣтить этого страннаго настроенія, и еще больше раздражало его заботливостію и вопросами, которыхъ онъ не могъ и не хотѣлъ удовлетворить. На другой день, лишь только часы пробили 8, онъ торопливо всталъ и вышелъ. Притворяя дверь, онъ нечаянно взглянулъ назадъ, и уловилъ долгій и не совсѣмъ спокойный взглядъ матери, провожавшій его. Однако онъ не воро-

тился, ничего не сказалъ ей. Да и что могъ бы онъ сказать ей? Чувство, имъ владѣвшее, было такъ ново, казалось такъ завѣтно, что онъ не рѣшился бы его высказать никому въ мірѣ. И что отвѣчала бы она ему на признаніе такого рода?

Въ этотъ первый вечеръ, Ельцова принимала въ своей полу-меблированной обширной гостиной. Вся обстановка ея домашняго быта непріятно поразила Валентина. Богатое бархатное платье Ельцовой какъ-то странно бросалось въ глаза при полинялой, старинной, непокойной мебели гостиной. Короткія сторы оконъ, покрытыя пылью занавѣски, разрозненные столы и стулья, ярко освѣщенные свѣтомъ трехъ карселевыхъ лампъ, казались еще больше ветхими, чѣмъ были въ самомъ дѣлѣ. На большомъ диванѣ сидѣла старуха лѣтъ 60, которой Ельцова представила Валентина. Это была мать ея, Кокорина. Никогда еще Валентинъ не испытывалъ такого непріятнаго впечатлѣнія. Лице старухи сохраняло еще правильность линій и какіе-то намеки на прежнюю красоту, совершенно впрочемъ изчезнувшую въ морщинахъ старости. Ея черные, какъ уголь, глаза блестѣли ярко, непріятно, неумолимо блестѣли, если можно такъ выразиться, будто въ контрастъ сѣдымъ, какъ лунь, волосамъ, завитымъ и расположеннымъ кокетливо по обѣ стороны щекъ. Густой румянецъ покрывалъ все лице ея и часть шеи. Въ выраженіи губъ ея была какая-то дерзость, смѣшанная съ поддѣльною добротою, и что-то безнравственное проглядывало въ ея улыбкѣ. Платье ея, яркое и сшитое изъ богатой матеріи, обтягивало безобразныя формы толстой таліи. Она приняла Валентина

очень ласково и привѣтливо, но и въ медовыхъ рѣчахъ
ея слышалось лукавство. Потомъ его познакомили, шутя,
съ племянницей Кокориной, дѣвочкой лѣтъ 16, очень
худенькой, маленькой, черноволосой и вовсе некрасивой
собою. Эта племянница, которую Ельцова и мать ея
звали Тата, была одѣта очень странно. Платье ея было
изъ шелковой матеріи, но до того полинялое, что со-
вершенно потеряло первобытный цвѣтъ свой. Когда-то
оно было розовымъ, но теперь отливало зеленова-
тымъ, желтовато-блѣднымъ оттѣнкомъ. Въ послѣд-
твіи Валентину разсказали, что эта племянница была
въ дальнемъ родствѣ съ покойнымъ мужемъ Кокориной,
и была взята въ домъ изъ состраданія; она не имѣла
ни состоянія, ни имени—да и никто не заботился и не
зналъ его—всѣ звали ее мамзель Тата. Сама Кокорина
была неизвѣстнаго происхожденія, и объ ней ходили
забивчивые слухи. Одни говорили, что она была горничной;
по словамъ другихъ, она была мелкопомѣстная дворянка
изъ юго-западныхъ губерній; иные утверждали, что она
была вовсе не русская, а вѣроятно, гризетка или на-
ѣздница иностраннаго цирка; нѣкоторые говорили, на-
конецъ, что она была когда-то актрисой на провинціяль-
номъ театрѣ—но всѣ были согласны въ томъ, что она
въ свое время была красавицей, и что покойный Кокоринъ,
влюбившись въ нее, увезъ куда-то, гдѣ старался прили-
чно воспитать ее, и потомъ женился на ней. Въ по-
слѣдствіи, пріѣхалъ съ женою на родину; онъ однако
не долго оставался въ ней, и умеръ въ чужихъ краяхъ.
Сама Кокорина никогда не говорила ни о родныхъ сво-
ихъ, ни о своей націи, ни о своихъ путешествіяхъ; было

замѣтно однако жъ, что она желала прослыть за русскую, и старалась говорить какъ можно чище по-русски, хотя это ей и не совсѣмъ удавалось. Она любила говорить только о той порѣ, когда уже была матерью, и постоянно разсказывала о дѣтствѣ своей дочери, ея младенческихъ утѣхахъ и ея тогда уже поразительной красотѣ. Ея разсказы по этому предмету были неистощимы; казалось, она во всемъ мірѣ любила только дочь, и занималась ею одною. Въ первый вечеръ Валентинъ не могъ опомниться отъ впечатлѣнія, которое произвело на него семейство Ельцовой. Впрочемъ, если для красавицы нужна была рамка, то едва ли можно было выбрать ее удачнѣе, хотя она и могла быть безъ всякой потери гораздо приличнѣе. Ельцова, подлѣ своей безобразно-толстой и смѣшно-наряженной матери, подлѣ своей худощавой и смуглой племянницы, казалась еще прекраснѣе. Обращеніе ея съ ними было безцеремонно, самовластно, но въ голосѣ ея звучала такая беззаботность, порою такая рѣзвая шалость, что многимъ изъ молодыхъ людей казалось это наивнымъ ребячествомъ и простительною прихотью обожаемаго съ колыбели ребенка. Она была единственное дитя своей матери. Каждому было понятно, что мать не только не могла разстаться съ ней ни на минуту, но еще искала въ ея глазахъ приказаній для себя, чтобы тотчасъ же потомъ ихъ исполнить. Всѣ ея поклонники — и ихъ было не мало — старались, какъ и мать ея, наперерывъ угадывать ея желанія, прихоти, капризы, и угождать ей исполненіемъ ихъ.

Лишь только Валентинъ былъ представленъ Кокориной, и познакомился съ племянницей, какъ Ельцова, будто

сбросивъ съ себя непріятную обязанность, сказала ему, указывая на диванъ, стоявшій около окна:

— Пойдемте туда — тамъ мое мѣсто, мои владѣнія. Тамъ я полная хозяйка: не забывайте, что всѣ должны безпрекословно повиноваться мнѣ.

— Я вездѣ и всегда готовъ повиноваться вамъ, сказалъ Валентинъ, ободренный ея безцеремоннымъ обращеніемъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? возразила она кокетливо. Ужели въ самомъ дѣлѣ?

— Вы должны знать это: красота тоже, что и власть — она могущество.

— А, да! замѣтила она, усаживаясь на диванъ, и придвигая столикъ: участь красавицы нравиться всѣмъ и никому особенно. Быть красавицей значитъ быть нелюбимой.

— Какъ это? спросилъ онъ, не зная, что говорить, и не смѣя высказать своей мысли.

— Конечно, отвѣчала она: красавицей всѣ восхищаются, но кто же любитъ ее? Впрочемъ, не думайте, что я говорю о себѣ. Я шучу. Скажите, вѣдь вы понимаете шутки.

Валентинъ молчалъ, изумленный ея болтовней и оборотливостію; онъ глядѣлъ на нее, и дивился игрѣ ея физіономіи. Теперь она была не та, что третьяго дня, не та, что вчера. Лице ея было полно кокетливаго лукавства; она была похожа на кошку, когда та, пріютясь въ уголку, сбирается играть съ мышью, уже попавшеюся въ ея лапки.

— О чемъ вы думаете? спросила она вдругъ.

— Не смѣю вамъ сказать.

— Говорите, я приказываю. Развѣ вы не помните, что я здѣсь въ своихъ владѣніяхъ? Развѣ вы не обѣщали мнѣ повиноваться?

— Скажу, но не сердитесь за мою откровенность; вспомните, что вы ее вынудили.

— Безъ предисловій, я слушаю.

— Я думаю, что вы похожи на хамелеона.

— Что это такое — животное или растеніе, или имя? — объясните, я не знаю.

Валентинъ взглянулъ на нее съ удивленіемъ, не вѣря ушамъ своимъ.

— Что вы глядите? спросила она, смѣясь: ужъ и вы не воображаете ли, что женщина должна быть учена? Разочаруйтесь — я сама вамъ скажу, что ничего не знаю. Ну, такъ объясняйте!

— Хамелеонъ — животное, отвѣчалъ Валентинъ, смущаясь. Онъ перемѣняетъ часто цвѣтъ свой. Да полноте! прибавилъ онъ: вѣдь вы читали же въ дѣтствѣ хотя музеумъ.

— C'est ce qui vous trompe, я никогда ничего не читала и не люблю читать. Мнѣ очень скучно. А хорошъ онъ? Такъ онъ мѣняетъ цвѣтъ?

— Какъ вы свою физіономію.

— А развѣ весело быть одинаковой? И себѣ и другимъ наскучишь.

— Стало быть вы непостоянны?

— Какъ и всѣ — я люблю перемѣну. Развѣ можно жить весело, не мѣняя мѣста, не мѣняя людей, не мѣняя желаній?

— Положимъ, что перемѣнить мѣсто можетъ быть пріятно, но мѣнять знакомство и людей уже ли тоже пріятно?

— Ужасно пріятно, особенно тѣхъ, кого уже очень коротко узнаешь.

— Ну! а тѣхъ, кого вы любите?

— Съ тѣми я остаюсь до тѣхъ поръ, пока люблю ихъ. Скажите, продолжала она вдругъ, помолчавъ и глядя ему прямо въ глаза: вамъ, можетъ быть, странно мое обращеніе, моя безцеремонность.

— Напротивъ, я благодаренъ вамъ.

— Не за что, сказала она: я такъ со всѣми. Не забудьте, что я Парижанка, Итальянка, все, что хотите, только не ваша Русская.

— Какъ? спросилъ Валентинъ.

— Конечно; я только родилась здѣсь, но жила тамъ, такъ что во мнѣ вовсе нѣтъ ничего русскаго.

— Не говорите этого, сказалъ Валентинъ: я не могу никакъ согласиться съ тѣми, кто отказывается отъ своего отечества, отъ своего прошедшаго, отъ всего, что должно быть дорого и мило.

— Maman, maman! сказала, смѣясь, Ельцова: послушайте, что говоритъ M^r Огинскій. Вообразите себѣ — онъ патріотъ!

— Что же, мой другъ, отвѣчала Кокорина: онъ молодъ, ничего не видалъ, ему простительно.

— Au reste, сказала она, опять обращаясь къ нему: я только скучаю. Въ сущности мнѣ все равно — Французъ, Нѣмецъ, Англичанинъ—лишь бы мнѣ было весело; Парижъ, Петербургъ, Москва—лишь были бы балы, праздники и занимательные кавалеры. Да не смотрите на меня такими удивленными глазами; вспомните, что мнѣ 19 лѣтъ—надо же веселиться.

— Это правда, сказалъ Валентинъ, и подумалъ: она дитя, но какое прекрасное дитя!

— Ну, а скажите мнѣ, продолжала Ельцова, я не знаю здѣсь почти ни одной изъ дамъ. Какія онѣ? Онѣ всѣ должны быть страшныя провинціялки, недоступныя недотроги!

— О нѣтъ, отвѣчалъ онъ: есть милыя и образованныя женщины. Впрочемъ, я самъ мало имѣю знакомствъ.

— Отъ чего?

— Я не слишкомъ люблю свѣтъ.

— Полноте, сказала она: это невозможно. Никогда этому не повѣрю. Быть можетъ, вы говорите это, чтобы быть оригинальнымъ? И, не дожидаясь отвѣта, продолжала:

— А говорятъ, ваши московскія дамы ужасно бранятъ меня.

— Не думаю, сказалъ Валентинъ — васъ такъ мало знаютъ. Да и за что бы стали бранить васъ?

— Впрочемъ, мнѣ все равно, возразила она беззаботно. Я давно знаю, что женщины бранятъ всегда дру-

гую женщину изъ одной зависти. Это лестно. А много здѣсь мною занимаются?

— Не могу скрыть отъ васъ, что ваше появленіе въ городѣ, еще до маскарада, гдѣ я увидѣлъ васъ, возбудило различные толки.

— Что же обо мнѣ говорили?

— Право, не припомню всего — вы знаете стихъ:

И къ былямъ небылицъ безъ счету прилыгалъ.

— Что это такое? спросила она.

— Это стихъ изъ извѣстной басни Крылова.

— Крылова? Это авторъ?

— Да, онъ писалъ басни.

— А! какъ французскій Фонтенель.

— Лафонтенъ, хотите вы сказать.

— Да! да! все равно — я спутала — ну, что жъ дѣлать? я ужъ вамъ говорила, que je ne me pique pas d'être savante. Только знаете, вы ужъ въ другой разъ мнѣ не говорите стиховъ — это скучно; къ тому же я въ нихъ ничего не понимаю, и, сказать по правдѣ — je ne m'en soucie pas. Такъ обо мнѣ много говорятъ? продолжала она, возвращаясь къ прежнему разговору. Ну что жъ, пожалуй! по правдѣ сказать, я никѣмъ не дорожу.

— И, дружочекъ мой, сказала ей мать, вслушавшись въ разговоръ ея: всѣ женщины рады были бы растерзать тебя. Онъ знаютъ, что тебѣ стоитъ только явиться, и ихъ братья, мужья, любовники будутъ у ногъ твоихъ.

— Ну, хорошо, хорошо, maman! оставьте это; вы знаете, и, пожалуй, я сама знаю это, если такое признаніе можетъ васъ порадовать: но мнѣ скучно слышать все одно и то же. А теперь подите и велите дать намъ чаю. Съ этими русскими лакеями ничего въ пору не добьешься.

Кокорина встала и вышла.

— Ну, а теперь скажите мнѣ откровенно: Вы влюблены въ одну изъ московскихъ дамъ?

— Я! сказалъ Валентинъ, нѣтъ; до сихъ поръ я влюбленъ не былъ.

— Не можетъ быть. Вы что-то очень жарко вступаетесь за своихъ московскихъ дамъ.

— Развѣ, сказавъ, что есть милыя и умныя женщины, я признался, что влюбленъ? А правда, я желалъ бы, чтобъ вы перемѣнили свое мнѣніе о нашей жизни, о нашемъ обществѣ.

— Что значитъ мое мнѣніе для нихъ и ихъ для меня? Ничего! сказала она, сдѣлавъ надмѣнную гримасу, которая шла къ ней, какъ и всѣ ея мины. Татà, Татà, принеси мнѣ розоваго шелку.

Дѣвочка вышла изъ комнаты, и возвратилась съ бонбоньеркой, гдѣ были положены палочки разноцвѣтныхъ шелковъ.

— Я хочу вязать кошелекъ, сказала Ельцова: Татà, подержи шелкъ.

Она взяла шелкъ, намотала его на сухощавыя руки дѣвочки, стоявшей передъ нею, но, нетерпѣливо разбирая и теребя нитки, спутала мотокъ.

— Какая ты неловкая, сказала она: держи ниже, вотъ такъ.

Это однако не помогло. Шелкъ путался еще болѣе.

— Нѣтъ, не могу, сказала она: ты не умѣешь вовсе держать. Поди—я безъ тебя попробую. Monsieur Oguinsky, продолжала она, подержите шелкъ — нагнитесь—вотъ такъ.

Она навернула шелкъ на его руки, и принялась прилежно его распутывать, порою взглядывая на него, порою улыбаясь ему, и изрѣдка шутя надъ его неловкостію. Пріѣздъ нѣкоторыхъ мужчинъ прервалъ это занятіе. Разговоръ сдѣлался общимъ, и вечеръ прошелъ незамѣтно. Валентинъ возвратился къ себѣ, очарованный и упоенный. Правда, прежде онъ воображалъ ее иною, нежели какъ была она на самомъ дѣлѣ; но онъ легко примирился съ тѣмъ, что находилъ въ ней страннаго. Думая о ней, онъ называлъ ее прелестнымъ дитятей, котораго нельзя было не любить за наивность и грацію.

Прошло нѣсколько дней. Если онъ не могъ быть у нея вечеромъ, то непремѣнно являлся утромъ; но почти никогда не находилъ ее одну. Она была постоянно окружена мужчинами, и ни одной женщины не принимала вечеромъ. Однажды, пріѣхавъ съ намѣреніемъ раньше обыкновеннаго, онъ нашелъ въ гостиной одну Ельцову съ матерью и племянницей. Казалось, Ельцова скучала; по крайней мѣрѣ, она едва не прыгнула ему на встрѣчу, говоря.

— Ахъ! какъ я рада! Enfin! Вечеръ тянулся безко-

нечно, и день также. Боже мой! какъ здѣсь скучно! Не знаю, когда кончатся маменькины дѣла. Я нынче каталась въ саняхъ — mais on finit par avoir froid; нельзя же все кататься. Потомъ обѣдали, а потомъ я совсѣмъ не знала, что дѣлать. Право, если я еще останусь здѣсь три мѣсяца, я съ ума сойду отъ скуки.

— Зачѣмъ вы не займетесь? сказалъ Валентинъ.

— Чѣмъ? отвѣчала она, научите меня — я буду очень рада.

Этотъ вопросъ смутилъ его. Дѣйствительно, чѣмъ могло заняться это существо, рожденное для любви, для радости и наслажденія? Это размышленіе навело его на вопросъ о семействѣ Ельцовой. Онъ видѣлъ ее съ матерью, но понималъ, что она не могла наполнить пустоты около своей дочери, не могла занять ея время или служить ей развлеченіемъ. По Ельцова за-мужемъ: Гдѣ же мужъ ея? До сихъ поръ Валентинъ не слыхалъ даже его имени, не слыхалъ и намека на него, ни въ разговорахъ, ни въ разсказахъ о прошедшемъ. Этотъ мужъ-миѳъ навелъ Валентина на разныя мысли.

Ельцова залилась дѣтскимъ смѣхомъ. Валентинъ взглянулъ на нее.

— Смѣюсь надъ вами, проговорила она: да, надъ вами Я жду его, продолжала она, обращаясь къ матери, почти прыгаю ему на встрѣчу — Monsieur entre et s'assied, и что жъ? молчитъ! Да еще какъ упорно молчитъ, молчитъ таинственно, съ видомъ глубокомыслія, будто выдумываетъ порохъ! Если бы вы знали, какое у васъ было смѣшное лицо!

Валентину стало досадно.

— Я готовъ, пожалуй, радоваться, что если не я, то лице мое развеселило васъ, сказалъ онъ, обидѣвшись.

— Ну, полноте, перестаньте! Soyez bon enfant! Вѣдь вы знаете, что я ребенокъ, что я капризна и прихотлива.

Она протянула ему свою ручку такъ граціозно, что онъ, цѣлуя ее, опять забылъ все на свѣтѣ. Послѣ этого она встала, пошла съ нимъ къ диванчику, стоявшему въ углу у окна, и уединилась такимъ образомъ отъ матери и кузины.

— Теперь скажите мнѣ, спросила она, о чемъ вы такъ задумались?

— Право не знаю.... могу ли....

— Я хочу, сказала она тономъ балованнаго дитяти, слегка топая ножкой по ковру.

— Вы приказываете?

— Да, да.

— Я думалъ.... я думалъ о вашемъ мужѣ. Гдѣ онъ?

— C'est curieux! сказала она, смѣясь, и потомъ продолжала, принимая комическую важность:

— Въ Италіи. Ну, а далѣе?

— Вы сердитесь? Простите мою нескромность.

— Я! Съ чего вы это взяли? Мнѣ никогда не было такъ весело. Я жду вопроса. Что вамъ хочется еще знать? Вы молчите? Хотите, я буду дѣлать вопросы и отвѣты. Давно ли я за-мужемъ?—Пять лѣтъ.—Вы дивитесь?—Да, 5 лѣтъ. Меня выдали за-мужъ по 15 году,

— Какимъ это образомъ? спросилъ Валентинъ.

— Да такъ, папа желалъ этого, мама тоже. Но я продолжаю: Молодъ ли мужъ мой?—Очень! ему.... ему... угадайте!

— 20, 25, говорилъ Валентинъ, но она качала отрицательно головкой.—30, 35, продолжалъ онъ, и остановился въ недоумѣніи.

— Vous n'y êtes pas. Я вамъ помогу. Ему — о, не упадите въ обморокъ отъ удивленія—ему 75 лѣтъ.

— Возможно ли? Но за чѣмъ же вы вышли за него?

— Вамъ говорятъ, что я была дитя. A-t-il la tête dure, ce bon Monsieur Oguinsky? произнесла она, протяжно ударяя по-парижски на послѣдній слогъ. Во Франціи много такихъ браковъ. Онъ привозилъ мнѣ конфектъ; я была въ восторгѣ, что буду носить брилліанты и бархатъ, стану выѣзжать одна, и буду имѣть абонированную ложу въ оперѣ — а папа былъ боленъ и вскорѣ умеръ, говоря, что онъ покоенъ, и что я пристроена. C'est un fait, что мама не умѣла бы одна пристроить меня выгодно. Къ тому же sa fortune est très-dérangée.

— И вы, вы, такъ говорите! Пристроить выгодно!.. сказалъ Валентинъ.

— Ахъ, какіе вы! Не я, свѣтъ говоритъ такъ. Мнѣ тогда было 15 лѣтъ; я была дитя, повторяю вамъ, но теперь, теперь.... о, я не говорю такъ, и такъ не думаю.

— Бѣдная, бѣдная женщина! думалъ Валентинъ, и

сказалъ : Стало быть вы скоро отправитесь въ Италію ?

— О нѣтъ, отвѣчала она. Маменька пріѣхала сюда, чтобы нѣсколько привести въ порядокъ наши дѣла , а потомъ мы поѣдемъ въ Баденъ-Баденъ и въ Парижъ. Мой мужъ не любитъ долго быть со мною; онъ говоритъ, что шумная жизнь ему не по нраву. Къ тому же онъ не переноситъ сѣвернаго климата, и для него Парижъ тотъ же сѣверъ. Онъ почти всегда живетъ въ Римѣ — on y meurt d'ennui, и признаюсь , я туда заглядываю на весьма короткое время. Ah, mon Dieu! сказала она вдругъ, что жъ это не зажигаютъ лампъ — il va m'arriver du monde. Татà, скажи же, чтобъ зажигали лампы въ залѣ и здѣсь одну. Maman ! хоть бы вы позаботились о порядкѣ.

— Oh, mon enfant ! que puis-je faire avec ces sauvages-là, сказала Кокорина, выходя.

Татà принялась подавать чай , и сама принесла чашку Ельцовой , подвинула ей столикъ , и поставила на него молочникъ и сухари. Ельцова поблагодарила ее легкимъ наклоненіемъ головы. Татà пошла къ столу, и Валентинъ увидѣлъ съ удивленіемъ, что она несла чашку и ему. Онъ вскочилъ и, встрѣтивъ ее на половинѣ комнаты , взялъ чашку, и началъ извиняться. Татà , вѣроятно , не привыкшая къ такому обращенію, покраснѣла и совершенно смѣшалась.

— Полноте ! сказала Кокорина : она еще дѣвочка и можетъ подать чай.

Татà пошла на свое мѣсто.

— Татà, Татà ! сказала ей вслѣдъ Ельцова: что же? ты забыла: бѣдная Мими проситъ чаю.

Дѣйствительно, маленькая, необыкновенно красивая собачка, съ длинными черными ушами, между которыми блестѣли огромные глаза, и виднѣлась курносая мордочка, цѣплялась лапками за платье своей госпожи, и немилосердо рвала кружево, которымъ оно было обшито.

— Мими! Мими! говорила Ельцова, стараясь рукою отогнать собачку: дадутъ чаю, перестань, не шали, глупенькая! Татà, возьми ее — она мнѣ наскучила, положи къ себѣ на колѣна.

Татà хотѣла взять собачку, но та увернулась отъ нея, и, рыча, скрылась подъ диванъ. Татà вытащила ее оттуда за лапки. Мими завизжала злобно, а Татà вскрикнула.

— Что съ вами? спросилъ Валентинъ, вставая.

— Что съ тобой? повторила Ельцова. Впрочемъ, ты преловкая; ужъ не вывихнула ли ты ей лапочекъ; дай сюда Мими.

И Ельцова взяла собачку, и принялась ласкать ее. Татà упорно молчала. Валентинъ взглянулъ на нее, и замѣтилъ на ея мизинцѣ каплю свѣжей крови и царапину.

— Боже мой! сказалъ онъ живо: эта злая собаченка укусила васъ. Я сейчасъ принесу воды.

Когда Валентинъ возвращался въ гостиную, онъ услышалъ, что старуха Кокорина говорила грубымъ голосомъ:

— Сама виновата. Зачѣмъ ты ее брала такъ не-

осторожно? Вѣдь знаешь, что Мими капризна и кусается, когда ее разсердятъ.

— Мив Клавдія Ѳедоровна приказала взять ее, сказала дѣвочка спокойно.

— Ну, такъ и должно было взять ее деликатнѣе. Все пустяки — очень нужно безпокоить гостей.

Валентинъ подошелъ и подалъ стаканъ съ водою.

Дѣвочка взглянула на него пристально, и опустила худую смуглую руку въ воду.

— Маменька! не браните Татà, сказэла Ельцова. Можно ли бранить дитя за то, что его укусила собачка. Лучше принесите ей англійской тафты — она у меня въ ящикѣ.

Валентинъ, державшій стаканъ, видѣлъ, какъ Кокорина, бросивъ сердитый взглядъ на Татà, вышла изъ комнаты, не смѣя спорить съ дочерью. Ему стало по чему-то жаль дѣвочки.

— Больно? спросилъ онъ ее съ участіемъ.

— Нѣтъ! сказала она кротко, вынимая руку изъ стакана, и отирая ее толстымъ полотняным платкомъ, который вынула изъ кармана. Платокъ составлялъ такую противуположность съ ея шелковымъ платьемъ, хотя и поношеннымъ, но все еще богатымъ, что Валентинъ обратилъ по этому поводу вниманіе на туалетъ ея, и, не смотря на неопытность по этой части, открылъ такую смѣсь богатства и бѣдности въ ея одеждѣ, что ему вдвойнѣ стало жаль ее. Гребень съ сломанными зубьями едва удерживалъ густую косу Татà, а манишка ея изъ тонкаго кружева была такъ изношена,

что почти вся состояла изъ штопанья. Башмаки ея были простые кожаные, надѣтые на довольно тонкіе, но тоже заштопанные чулки.

— Подите сюда, сказала ему Ельцова: маменька приложитъ ей пластырь.

Онъ сѣлъ, но участь бѣдной дѣвочки занимала его. Въ то время, какъ онъ говорилъ съ Ельцовой, ему послышался сзади голосъ возвратившейся Кокориной, а до его уха долетали несвязныя фразы и нѣкоторыя выраженія, подобныя слѣдующимъ: интересничаетъ.... при чужихъ.... какъ же.... барышня.... цыганка....

Слухъ его былъ чрезвычайно чутокъ. Вѣроятно, Ельцова догадалась, откуда происходила его разсѣянность, потому что вдругъ встала, подошла къ матери, и сказала ей:

— Дайте сюда, maman, я сама. Потомъ взяла Татà за руку, и продолжала: Вы неловки сами—пластыря не умѣете приложить. Погоди, мой ангелъ, я это устрою, прибавила она, гладя рукою больную руку Татà. Ельцова сѣла, отрѣзала кусокъ тафты, приложила его на больное мѣсто, и поцѣловала дѣвочку въ лобъ. У Валентина будто гора спала съ плечъ. Она добра! думалъ онъ: Мать ея фурія! Зачѣмъ же живутъ онѣ обѣ съ нею?— Бѣдная женщина! Бѣдная дѣвочка!

Онъ взглянулъ на Татà—она сдѣлала небольшой поклонъ Ельцовой, и, медленно, совершенно равнодушно вышла изъ комнаты. Странная дѣвушка! подумалъ Валентинъ: равнодушна ко всему—и къ тѣмъ, кто любитъ ее, и къ тѣмъ, кто не любитъ. Какой-то вопросъ

Ельцовой вывелъ его изъ задумчивости; онъ снова сталъ говорить съ нею, и это маленькое происшествіе совершенно изгладилось изъ его памяти.

Въ этотъ вечеръ никто не пріѣхалъ къ Ельцовой, и Валентинъ могъ свободно бесѣдовать съ нею, хотя ея разговоръ и не совсѣмъ ему нравился. Онъ желалъ бы говорить серьезнѣе; но умъ ея былъ летучъ, не могъ долго оставаться на одной нотѣ, и тотчасъ же переходилъ въ другую. Валентинъ, не смотря на всѣ свои усилія, долженъ былъ слѣдовать за нею, и уѣхалъ домой не совсѣмъ довольный, смутно чуя, что не было ничего завѣтнаго для этой женщины. Это было однако не болѣе, какъ мгновенно мелькнувшее сомнѣніе: на другой же день онъ возвратился къ ней съ своею мечтою, и снова видѣлъ въ ней лишь прихотливое, балованное дитя.

Дня черезъ два послѣ этого вечера, Валентинъ былъ еще въ постели, когда ему принесли записку отъ Воротынской. Она писала ему, что пріѣхала ночью, и ждетъ его утромъ къ себѣ. Эта записка совершенно смутила его: онъ чувствовалъ, что ему будетъ тяжело, невозможно встрѣтиться и сидѣть съ нею глазъ на глазъ. Давно ходилъ онъ по комнатѣ, придумывая, какъ бы избѣгнуть затруднительнаго свиданія. Наконецъ счастливая мысль блеснула въ умѣ его. Онъ позвалъ сестру, и, объявивъ ей о возвращеніи Воротынской, просилъ съѣздить къ ней и сказать, что онъ нездоровъ и не можетъ выѣхать прежде двухъ-трехъ дней. Это удивило Анюту. Она, по обыкновенію, принялась разспрашивать, но онъ ее остановилъ.

— Послушай, сказалъ онъ: я имѣю на это свои причины, и прошу не только не спрашивать меня, но даже ни слова не говорить маменькѣ. Я на тебя надѣюсь.

Она замолчала; печально, задумчиво посмотрѣла на брата, и вышла, говоря: Будь покоенъ!

Валентинъ рѣшился не ѣздить вечеромъ къ Ельцовой, чтобы не встрѣтить посторонняхъ, которые могли бы сказать Воротынской, что онъ выѣзжаетъ; но не могъ отказать себѣ въ желаніи видѣть ее утромъ, когда у ней никого не бывало. Его разсчетъ состоялъ въ томъ, чтобы слѣлать первый визитъ Воротынской, во время ея вечернихъ пріемовъ. Такъ и было. Дня черезъ два онъ отправился къ ней, и нашелъ у ней многихъ родственниковъ и всѣхъ ея обычныхъ посѣтителей. Она была въ траурѣ — и отъ чернаго ли платья, или отъ дороги, или отъ печали, казалась гораздо блѣднѣе обыкновеннаго. Встрѣтивъ его ласково, она не спросила, чѣмъ онъ былъ боленъ, не спросила даже, лучше ли ему, и вообще ни слова не сказала съ нимъ особенно. Она поддерживала общій разговоръ безъ видимыхъ усилій, и когда, просидѣвъ часа два, показавшихся ему вѣчностію, Валентинъ уѣхалъ, она не спросила: куда? какъ дѣлывала прежде, когда онъ уѣзжалъ раньше обыкновеннаго, не спросила даже: когда же мы увидимся? Только будто невольно взоръ ея проводилъ его до двери, послѣ чего она много шутила, и казалась веселѣе обыкновеннаго. Валентинъ не спросилъ себя, почему такъ просто развязались его близкія отношенія къ этой женщинѣ? До того ли ему было! Онъ сѣлъ

въ сани, и по снѣгу и вѣтру летѣлъ къ той, которую любилъ такъ страстно.

Въ продолженіе цѣлаго мѣсяца, Валентинъ принудилъ себя раза два или три быть у Воротынской, но и то лишь уступая настоятельнымъ просьбамъ сестры, и всегда съ нею. Однажды случилось, что они застали ее одну, но она занялась съ Анютой, и избѣгала интимнаго разговора, котораго впрочемъ избѣгалъ такъ же точно и Валентинъ. Въ это же самое время, отношенія его къ Ельцовой, у которой онъ бывалъ каждый день и утромъ и вечеромъ, начали принимать другой характеръ. Лишь только наступали сумерки, онъ пріѣзжалъ къ ней, ранѣе всѣхъ другихъ, и проводилъ съ ней около часу въ ея маленькомъ кабинетѣ до тѣхъ поръ, пока Тата не входила туда, и не предупреждала кузины, что кто-то пріѣхалъ. Тогда Ельцова выходила поспѣшно въ гостиную. Эти визиты Валентина въ сумерки походили уже на свиданія влюбленныхъ, а онъ еще не смѣлъ ей сказать ни слова о своихъ чувствахъ, хотя и можно было предположить, что они не были для нея тайною. Кругъ знакомства Ельцовой очень расширился; она принимала все больше и больше, но — или она не приглашала женщинъ, или сами онѣ не хотѣли ѣздить къ ней вечеромъ, только она постоянно была окружена одной молодежью. При началѣ вечера разговоръ былъ общій, но по мѣрѣ того, какъ молодые люди пріѣзжали, Валентинъ исчезалъ изъ кружка, составлявшагося около Ельцовой, и уходилъ въ другой уголъ комнаты говорить съ Кокориной или съ Татой, которыя постоянно

сидѣли за однимъ столомъ, но отдѣленныя одна отъ другой всей длиной его.

Нѣкоторое время Татà была неразговорчива, но мало по малу привыкла къ Валентину, и сдѣлалась сообщительнѣе. Было въ ней много страннаго: замѣчанія ея были больше, чѣмъ колки; иногда они не по лѣтамъ ея были рѣзки, даже злы, и часто, по долгомъ молчаніи, она вдругъ говорила ему шепотомъ какое-нибудь мѣткое, но отнюдь не благосклонное замѣчаніе на счетъ присутствующихъ. Особенно не любила она Змѣева, который, съ своей стороны, не обращалъ на нее никакого вниманія, что походило иногда на невѣжливость. Шестнадцатилѣтняя Татà могла удивить и не Валентина своимъ умомъ и особенно мрачнымъ взглядомъ на жизнь, на людей и на все окружающее. Иногда Ельцова, замѣчая ея частые разговоры съ Валентиномъ, проходила мимо, и, остановясь около нихъ, спрашивала, о чемъ они говорятъ; но Татà, не давая ему времени отвѣчать, пересказывала тотчасъ разговоръ свой, только въ иномъ видѣ, и всегда придавая ему безцвѣтность и незначительность, которыхъ онъ не имѣлъ вовсе. Это удивляло Валентина, и однажды онъ спросилъ у ней о причинѣ того; она, казалось, немного удивилась, взглянула на него прямо своими большими черными глазами, которые составляли единственную красу всей ея обиженной природою особы, и отвѣчала медленно:

— Она можетъ разсказать матери, а та будетъ бранить меня.

— За что же?

— Она не любитъ, чтобы я много разговаривала. Я

даже хотѣла просить васъ не слишкомъ часто говорить со мною, особенно когда она сидитъ близко или ничѣмъ не занята, и можетъ прислушаться къ нашимъ словамъ.

— Развѣ вы не замѣтили ? Я самъ стараюсь , чтобъ меня не слышали, сказалъ Валентинъ.

— Конечно замѣтила — и благодарю васъ.

— Но кузина ваша такъ добра , такъ снисходительна, что мнѣ кажется, вы могли бы искать у ней защиты, ласки и любви.

— Зачѣмъ безпокоить кузину? возразила Тата спокойно.

— Однако лучше сказать ей, чѣмъ имѣть ежеминутныя непріятности, настаивалъ Валентинъ.

— Не стоитъ труда, отвѣчала она.

— Хотите, я скажу вашей кузинѣ....

— Сохрани васъ Боже! возразила Тата живо: Сохрани васъ Боже ! Дайте мнѣ слово, что не скажете ничего, не сдѣлаете и намека.

— Но отъ чего ?

— Дайте мнѣ слово, сказала она настойчиво.

— Если вамъ угодно, даю вамъ его, но повѣрьте, что вы ошибаетесь....

— Молчите, насъ слушаютъ, продолжала она, и принялась, смѣясь, разсказывать недавно случившійся въ городѣ очень комическій анекдотъ. Въ этотъ вечеръ гостей было очень много, что всегда не нравилось Валентину; онъ былъ скучнѣе и недовольнѣе обыкновеннаго;

вѣроятно Ельцова замѣтила это; она подошла акъ нему и къ Татѣ, и, остановясь сзади спросила:

— Вамъ скучно?

— Я уже говорилъ вамъ, отвѣчалъ онъ, что ваши многолюдные вечера составляютъ мое мученіе. Вы окружены: я не могу сказать съ вами слова, едва слышу вашъ голосъ, такъ всѣ эти шмели заглушаютъ его своимъ жужжаньемъ.

— Неблагодарный! сказала она полушутя, полусерьезно: пріѣзжайте завтра въ 7 часовъ — я буду одна.

— Да, а въ 8 пріѣдутъ опять всѣ они, опять....

— Пріѣзжайте, говорю вамъ, повторила она серьезно.

Сердце Валентина забилось. Эти слова имѣли въ глазахъ его важность назначеннаго свиданія. До сихъ поръ онъ пріѣзжалъ къ ней прежде другихъ, но дѣлалъ это самъ, безъ ея разрѣшенія, хотя, повидимому, и не противъ ея желанія. Теперь она обѣщала ему цѣлый завтрашній вечеръ, какъ награду, за скуку сегоднишняго, и онъ уѣхалъ отъ нея полный смятенія и надежды.

ГЛАВА IV.

Въ назначенный часъ Валентинъ былъ у ней; она встрѣтила его нѣжнѣе обыкновеннаго, да и самъ онъ смутно понималъ, что настала пора объясненія. Признаніе, уже готовое слетѣть съ языка, томило его, и онъ былъ не въ силахъ выносить неизвѣстность. Онъ горѣлъ желаніемъ узнать, любимъ ли онъ? Далѣе не шла мысль его. Въ то время, какъ они, молча, сидѣли другъ противъ друга, на узкомъ и уютномъ диванѣ кабинета, оба погруженные въ задумчивое смущеніе, дверь вдругъ отворилась, пытливый, огненный взглядъ Татà охватилъ ихъ, и голосъ ея вывелъ Ельцову изъ задумчивости.

— Князь Симанскій! сказала она: Прикажете принять?

— Нѣтъ, я нынче никого не принимаю; оставь меня, и не ходи сюда, отвѣчала она, и прибавила потомъ: я не очень здорова.

Тата исчезла — дверь замкнулась за ней, а Валентинъ стоялъ уже передъ Ельцовой съ разгорѣвшимися отъ внутренняго волненія щеками, съ блиставшими взорами, съ легкимъ трепетомъ въ рукахъ и блѣдностью, быстро бѣжавшею по лицу и сгонявшею съ него постепенно всю краску. Тяжело было ему въ эту минуту. Она молчала, будто раздѣляя его смущеніе, будто раздѣляя его чувства; глаза ея были опущены, щеки горѣли, крестообразно на колѣнахъ сложенныя руки слегка дрожали. По невольному движенію, онъ склонился къ ногамъ ея — она протянула ему обѣ руки — онъ схватилъ ихъ и прижалъ къ сердцу — потомъ покрылъ ихъ поцѣлуями.

— Да, люблю васъ, люблю страстно, безумно, люблю съ самаго того мгновенія, какъ вы явились передо мной, какъ видѣніе, какъ олицетворенная жизнь души моей! О, позволь мнѣ только обожать тебя! Сестра души моей! позволь мнѣ у ногъ твоихъ дать обѣтъ посвятить тебѣ всю жизнь мою! Я такъ давно молчалъ, и молчаніе истомило меня; дай мнѣ сказать, дай мнѣ повторить тысячу разъ, что люблю тебя, что тобою только живу, тобою буду жить, что нѣтъ жизни безъ тебя, безъ твоего взора, безъ ласкающаго твоего голоса, безъ оживляющей улыбки твоей. Не понимаю моего прошедшаго. Какъ могъ я жить безъ тебя? Да, я прозябалъ, я гибнулъ, я чахъ, и если бы умеръ тогда—я бы не зналъ цѣны жизни, не благословилъ бы даровъ ея. Но ты молчишь! Слово, одно слово!

— Другъ мой ! сказала она смущенная : встань , довольно.

— Нѣтъ, нѣтъ , у ногъ твоихъ мѣсто мое ; только такъ могу я обожать тебя, только такъ могу поклонятьсяся красотѣ твоей. Скажи, что ты понимаешь меня , сочувствуешь мнѣ ?

— Валентинъ! возразила она, опять склоняясь къ нему, и обнимая рукой его голову, касавшуюся колѣнъ ея.

— Валентинъ ! повторилъ онъ съ восторгомъ : ты называешь меня Валентиномъ ! О я счастливъ ! я счастливъ !

— Да , и я счастлива ; я тоже никогда не любила и люблю тебя.

— Ты любишь ! восклицалъ онъ тысячу разъ , и , какъ бы теряя самосознаніе , онъ то скрывалъ руками пылающее лице свое, то цѣловалъ складки ея платья, то крѣпко прижималъ ея руки къ своему сердцу. Она слегка подняла его, говоря тихо: Встань! и склонилась къ нему. Онъ цѣловалъ ея руки , и плакалъ, какъ дитя. Дрожащими руками отирала она слезы его. Они сѣли рядомъ, его рука въ ея рукѣ, его щека на щекѣ ея ; соединенныя ихъ головы представляли чудную картину ; нѣга и томленіе, выраженныя на лицѣ ея, горѣвшія очи, волнующаяся грудь, могли бы сжечь огнемъ желаній, но Валентинъ, погруженный въ собственное чувство, не глядѣлъ на нее и не видалъ ее: онъ только чувствовалъ , что былъ подлѣ нея, и утопалъ въ сознаніи полнаго счастія. Долго, очень долго оставались они безмолвные и упоенные ; наконецъ она взглянула на него, и сказала тихо ,

почти шепотомъ: Я не любила еще до сихъ поръ, Валентинъ, и тѣмъ болѣе любовь твоя обѣщаетъ мнѣ въ будущемъ, что она будетъ пылка, какъ наша молодость, и въ то же время чужда невозможныхъ требованій....

— О, молчи, молчи, моя милая! Какъ могла ты подумать одну минуту, что я даже въ мысли могу оскорбить тебя? Мое робкое обожаніе, моя безграничная, безгрѣшная любовь докажутъ, что тебѣ бояться нечего. Я такъ счастливъ, что ничего не желаю болѣе; стою такъ высоко, что земля будто исчезла подо мною. Въ глубинѣ души моей я схороню любовь мою къ тебѣ. Никто не узнаетъ, да и кто пойметъ такую любовь! Взгляни на меня: лице мое скажетъ тебѣ лучше всю любовь мою, а языкъ мой не въ состояніи ее выразить.

Она подняла голову, и, въ порывѣ страсти, бросила ему на шею чудныя руки свои, обвила его ими, и ея жаркое дыханіе прошло въ волосахъ его. Онъ задрожалъ, освободился отъ рукъ ея, и, въ волненіи, ходилъ по комнатѣ.

— Злая судьба! говорилъ онъ отрывисто: За что она сдѣлала тебя несчастною, связавъ тебя долгомъ? Тебя! жаждущую жизни и счастія! Тебѣ суждено не узнать ни жизни, ни счастія! О, какъ я несчастливъ! Проклятіе на меня! За чѣмъ явился я такъ поздно!

— Не понимаю, сказала она, страстно сжимая его руку, о чемъ говоришь ты? Мы вмѣстѣ, не думай ни о чемъ—подумаемъ о себѣ. Въ насъ много молодости, много жизни: чего намъ страшиться за будущее? Развѣ не любимъ мы другъ друга? Развѣ....

— Замолчи, душа моя! или я умру отъ счастія у ногъ твоихъ, отвѣчалъ онъ порывисто.

— Не умирать намъ надо, а жить! Жить хочу я, Валентинъ, жить для любви, жить для наслажденій и счастія.

— Для счастія! повторилъ онъ безсмысленно, и, жадно прильнувъ къ рукѣ ея, погрузился въ то безконечно-сладкое уничтоженіе, которымъ даритъ одна любовь. Онъ слушалъ чуткимъ ухомъ, какъ билось ея сердце; онъ чувствовалъ теплоту ея плечъ, и огненной струею текла кровь въ жилахъ его. Онъ опять всталъ, подошелъ къ окну, приложилъ свои горѣвшія щеки къ холодному стеклу—и стоялъ долго... Она сидѣла задумчива, и, наконецъ, позвала его; онъ сѣлъ опять подлѣ нея, и, прижавшись къ плечу ея, отдыхалъ отъ волненія. Они молчали. Онъ былъ опять безмятежно счастливъ, и, какъ дитя, любующееся на драгоцѣнность, любовался ею. Вечеръ проходилъ. Она первая очнулась отъ упоительнаго забытья, овладѣвшаго обоими, и сказала ему:

— Прощай! Поздно! До завтра!

— Еще минуту! отвѣчалъ онъ.

— Поздно, милый! Насъ ждетъ будущее; мнѣ пора; мама ждетъ меня.

Онъ всталъ.

— О нѣтъ! нѣтъ! сказалъ онъ: приказывай—я твой! весь принадлежу тебѣ! я твой! поклонникъ твой, рабъ твой!

Она улыбнулась его восторгу; было столько прелести въ ея улыбкѣ, что онъ отвелъ глаза свои отъ нея, и проговорилъ тихо:

— Не улыбайся такъ, душа моя, или я не буду имѣть силы оставить тебя.

Онъ тысячу разъ принимался осыпать руки ея поцѣлуями, и потомъ, самъ не зная какъ, очутился опять у ногъ ея, и, прижавъ губы свои къ кончику ея бархатной туфли, всталъ, дошелъ до двери, и возвратился. Онъ не могъ рѣшиться оставить ее, но по настоятельному ея приказанію вышелъ, не помня себя отъ счастія. Свѣжій воздухъ живительно охватилъ его; онъ отправился пѣшкомъ. Заря занималась на майскомъ небѣ; золотая полоса, предвѣстникъ ея, разрѣзала темное небо на далекомъ горизонтѣ. Онъ кликнулъ кучера, и велѣлъ ему везти себя за заставу.

— Куда прикажете? спросилъ этотъ.

— Куда хочешь, отвѣчалъ Валентинъ.

Кучеръ посмотрѣлъ на своего барина, молча качнулъ головою, и, крикнувъ на лошадей, погналъ ихъ по большой дорогѣ. То была дорога въ Сокольники, куда они скоро домчались. Валентинъ выскочилъ изъ маленькаго фаэтона своего, и вошелъ въ темный, вѣчно-зеленый боръ. Воздухъ былъ чистъ и влаженъ; первая, еще не смятая, изумрудная трава, кой-гдѣ въ лощинахъ едва пробившаяся изъ-подъ снѣга, была свѣжа и благоуханна. Валентинъ легъ на сырой песокъ, у одного изъ крайнихъ деревьевъ бора; машинально глядѣлъ на все, его окружавшее; ничѣмъ не любовался, но чувствовалъ, будто и онъ и природа слились вмѣстѣ и безсознательно оживали вмѣстѣ — она подъ дыханіемъ весны, а онъ подъ палящимъ дыханіемъ всесжигущей любви. Заря за-

нялась и зажгла небо краснымъ заревомъ; первые лучи восходящаго солнца позолотили бѣлыя бѣгущія тучи и улыбающуюся окрестность. Долго, пристально смотрѣлъ онъ на роскошное свѣтило; долго глаза его были прикованы къ этой полосѣ свѣта, которая падала ему прямо на голову; гордо глядѣлъ онъ на восходящее солнце, глядѣлъ прямо — и у него было солнце, не уступавшее въ красотѣ царственному свѣтилу — и невольно у него вырвались слова, отъ избытка счастія: Ты взошло! сказалъ онъ: взошло для всей природы, но не для меня — мое взойдетъ нынче вечеромъ! Спи, мое солнце, солнце души моей! спи спокойно, и пусть будетъ благословенно и радостно твое пробужденіе!

И онъ погрузился въ глубокую думу. Скоро пѣшеходы, нѣсколько клячъ, показавшихся на дорогѣ, привели его къ чувству дѣйствительности; онъ всталъ, отыскалъ свои дрожки, и, пріѣхавъ домой, заперся въ своемъ кабинетъ, и заснулъ крѣпко. Какъ сладокъ, какъ живителенъ ты, сонъ юности, впервые узнавшей всю сладость жизни, впервые понявшей ея обольщенія! Какъ сладостно, какъ упоительно пробужденіе, когда человѣкъ испытываетъ живительное вліяніе первой, страстной, восторженной любви!

Онъ всталъ поздно. Семья его давно уже собралась въ залъ; подавали завтракъ, когда онъ вошелъ въ комнату. При первомъ на него взглядѣ, мать его сказала невольно:

— Ну, слава Богу! ты здоровъ.

— Здоровъ и счастливъ, отвѣчалъ онъ, обнимая ее, и стараясь придать своему голосу смѣющійся оттѣнокъ,

изъ опасенія, чтобъ не поняли какъ нибудь иначе его невольнаго восклицанія. Развѣ вы безпокоились ? прибавилъ онъ, уловивъ вопрошающій взоръ матери.

— И очень! сказала Анюта: Ты не ночевалъ дома, а мы думали, что Богъ знаетъ что случилось.

— Я говорилъ, прервалъ Ипполитъ Андреевичъ, что если бъ ты отлучился на долго, то прислалъ бы сказать.

— Разумѣется, возразилъ Валентинъ.

— Но гдѣ же пропадалъ ты ? спросила сестра.

— Анюта! сказала Александра Николаевна: что за разспросы ? Захочетъ сказать, самъ скажетъ.

— Тайны нѣтъ, маменька, возразилъ онъ : я просто былъ на вечерѣ, до часу ночи. Вы сами знаете майскія ночи; въ два часа совсѣмъ свѣтло; мнѣ захотѣлось прогуляться : я былъ въ Сокольникахъ. Прощайте однако, мнѣ пора ѣхать!

— На минуту ! сказалъ Ипполитъ Андреевичъ, останавливая его не совсѣмъ ласково : Мать хотѣла поговорить съ тобою.

— Если это не долго — я имѣю еще полчаса, отвѣчалъ онъ съ смущеніемъ.

— Много и десяти минутъ, сказала Александра Николаевна: Катя сбирается въ Петербургъ, а намъ пора бы въ деревню; мнѣ доктора совѣтуютъ ѣхать скорѣе ; городской воздухъ мнѣ не слишкомъ хорошъ. Такъ когда ты располагаешь ѣхать ?

Этотъ вопросъ окончательно смутилъ Валентина : онъ не ожидалъ его. Въ эти послѣдніе дни онъ не видалъ,

какъ летѣло время, и забылъ о веснѣ, объ отъѣздѣ, о всемъ на свѣтѣ. Мать замѣтила его смущеніе, и, измѣняя вопросъ, сказала тихо :

— А хочу ѣхать черезъ недѣлю.

— Ну, а я пріѣду тотчасъ послѣ васъ, отвѣчалъ онъ, цѣлуя ея руку. Ему было совѣстно и грустно оставить мать ѣхать одну ; но онъ не имѣлъ силъ оторваться отъ любви своей въ эту первую пору своего счастія.

— Такъ ты пріѣдешь послѣ? спросила мать , ожидая подтвержденія его обѣщанію.

— Пріѣду, непремѣнно пріѣду! отвѣчалъ онъ, выходя изъ комнаты. Но она пошла за нимъ , и , остановивъ его, сказала тихо , съ чуть слышнымъ волненіемъ въ голосѣ :

— Берегись , Валя , берегись ! Ты губишь себя ! Ты на дурной дорогѣ.

— Что хотите вы сказать?

— Ты понимаешь меня — этого довольно. Я не буду говорить больше. Ты таишься отъ меня — стало быть чувствуешь , что измѣняешь правиламъ , внушеннымъ тебѣ съ дѣтства. Сказавъ это, она ушла, не дожидаясь отвѣта.

Валентинъ остался посреди комнаты , грустно проводилъ мать взоромъ, и , не зная , какъ успокоить ее, не пошелъ за ней, а бросился съ лѣстницы, и, какъ безумный , полетѣлъ къ Ельцовой , чтобъ успокоить тѣмъ духъ свой, взволнованный словами матери. Утромъ и вечеромъ сидѣлъ онъ у ногъ своего идола, и цѣлые утра и вечера летѣли незамѣтно. Часто, уѣзжая отъ нея довольно поздно, онъ находилъ семью свою уже за обѣдомъ,

и когда его спрашивали: обѣдалъ ли онъ, то всегда отвѣчалъ утвердительно. Онъ не жилъ дома, и все больше и больше удалялся отъ семьи, чувствуя, что она осуждаетъ его поведеніе, и видитъ его страсть съ безпокойствомъ и печалью. Въ день отъѣзда его матери въ деревню, Ипполитъ Андреевичъ пришелъ къ нему утромъ, и напомнилъ ему, будто мимоходомъ, что нынче, послѣ ранняго обѣда, всѣ они отправятся въ путь. Эта предосторожность добраго старика не была напрасна, потому что Валентинъ забылъ о дняхъ, и рѣшительно не видалъ, что происходитъ вокругъ него. Онъ однако не совладѣлъ съ собою, и передъ обѣдомъ на минуту, на одну минуту, заѣхалъ къ Ельцовой. Она была одна, и приняла его, какъ всегда, въ своемъ кабинетѣ.

— Валентинъ! сказала она послѣ первыхъ ласкъ свиданія: маменька нынче не обѣдаетъ дома, и увезла съ собою Тата: я осталась одна въ цѣломъ домѣ, и чудесно распорядилась. Ты будешь обѣдать со мною — здѣсь, вдвоемъ.

— Какъ это несносно! отвѣчалъ онъ съ непритворною печалью: мнѣ все не удается — я нынче не могу.

— Отъ чего?

— Маменька нынче ѣдетъ въ деревню.

— Ну, что жъ! пусть ихъ ѣдутъ! сказала она, смѣясь.

— Мнѣ надо проститься съ ними.

— Я тебѣ не мѣшаю, ступай сей часъ, простись и пріѣзжай тотчасъ назадъ.

— Это невозможно! сказалъ Валентинъ: Пойми же, въ послѣднее время я совсѣмъ не жилъ дома, и не

видалъ семьи; я долженъ бы ѣхать съ нею, и не ѣду. Возможно ли мнѣ даже не проводить ее?

— Какъ хотите, отвѣчала она, надувъ губки.

— Сердце мое! Душа моя! продолжалъ Валентинъ, становясь передъ нею на колѣна, что было его любимой привычкой, когда онъ былъ съ нею: маменька любитъ меня больше всего на свѣтѣ, я одинъ у нея.

— А я не люблю васъ? спросила она.

— Знаю, знаю, отвѣчалъ онъ: но и я люблю, и я обожаю тебя, и остаюсь съ тобою; оставляю мать, не проводивъ ее.

— Поѣзжайте съ нею, возразила она.

— Ты гонишь меня?

— Это было бы лишнее — вы сами хотите меня оставить.

— На одинъ день, отвѣчалъ онъ умоляя: завтра я весь твой — распоряжайся мною.

— Завтра у меня цѣлый день будутъ гости, возразила она, оживляясь: Вы не хотите пожертвовать мнѣ однимъ днемъ, а я въ угоду вамъ цѣлую недѣлю никого къ себѣ не пускала — и maman очень недовольна этимъ.

— Ей что за нужда?

— Вотъ прекрасно! отвѣчала она: maman любитъ, чтобъ я была окружена; любитъ видѣть меня въ обществѣ; любитъ, чтобъ за мной ухаживали. Это очень понятно — гордость матери! Къ тому же, если она поняла, что я люблю тебя, то, конечно, не понимаетъ, почему я уединяюсь и выпроводила отсюда всѣхъ моихъ поклонниковъ.

— Не понимаю твоей матери, отвѣчалъ Валентинъ. Правда, ты за-мужемъ, и наша любовь могла бы безпокоить ее; но вѣдь она должна знать, какъ чиста и невинна наша взаимная привязанность. Неуже ли она не знаетъ, что я слишкомъ люблю тебя, слишкомъ уважаю, чтобъ затмить чистоту твоей совѣсти, возмутить жизнь твою раскаяніемъ. Я умѣю любить безъ эгоизма, безъ...

— Все это такъ, отвѣчала она довольно холодно: но рѣчь не объ этомъ. Останься нынче со мною.

— Не могу, клянусь тебѣ, не могу. Ты сама приказала бы мнѣ уѣхать, если бъ знала, какъ мать моя любитъ меня. Пойми, она уѣдетъ съ разбитымъ сердцемъ, если я не пріѣду проводить ее.

Молодая женщина ничего не отвѣчала, но, перемѣнивъ разговоръ, была нѣжнѣе обыкновеннаго, увлекательна и прелестна. Валентинъ забылся — стѣнные часы пробили три. Онъ вскочилъ.

— Часъ нашего обѣда! Прощай! я спѣшу, сказалъ онъ. Боже! Я не видалъ, какъ летѣло время! Заѣхалъ сюда на полчаса, и просидѣлъ два.

Онъ взялъ ея руку—она отняла ее.

— Ты безразсудна, капризна, какъ дитя! сказалъ онъ съ досадой.

— Останься! возразила она, вдругъ кидая свои руки ему на шею: останься, я не пущу тебя.

Онъ чувствовалъ, что воля его слабѣетъ, но сдѣлалъ надъ собою усиліе, поцѣловалъ насильно ея руку, и выбѣжалъ изъ комнаты.

Проводивъ мать часовъ въ девять вечера, Валентинъ тотчасъ поѣхалъ къ Ельцовой; домъ ея былъ освѣщенъ

ярче обыкновеннаго. Войдя въ гостиную, онъ уже нашелъ довольно большое общество. Трое мужчинъ, изъ которыхъ одинъ былъ совершенно незнакомъ Валентину, сидѣли около Ельцовой. Она встрѣтила его легкимъ наклоненіемъ головы.

— Ужъ воротились! замѣтила она холодно: а я совсѣмъ не ждала васъ.

— Какъ видите, отвѣчалъ Огинскій, уже взбѣшенный присутствіемъ столькихъ постороннихъ.

— А развѣ Огинскій у васъ обѣдалъ? спросилъ Змѣевъ лукаво.

— Нѣтъ — онъ былъ утромъ—мнѣ нынче было лучше, и я принимала. А! кажется, вы незнакомы. Князь Симанскій — Валентинъ Михайловичъ Огинскій, сказала она, обернувшись къ обоимъ и знакомя ихъ.

Адъютантъ Симанскій всталъ, и протянулъ руку Валентину. Это былъ высокій, плечистый, красивый мужчина съ прекрасными черными глазами, густыми бакенбартами и усами, и свѣжимъ цвѣтомъ лица. Валентинъ не сказалъ ему ни слова, а тотъ тоже не почелъ нужнымъ говорить съ нимъ.

— Ну, продолжайте! сказала Ельцова Симанскому.

— Да нечего больше сказать, отвѣчалъ онъ: я уѣхалъ изъ Петербурга, и, какъ видите, прискакалъ въ Москву, а теперь, конечно, оставлю ее какъ можно позднѣе.

Она улыбнулась и сказала:

— Однако что значитъ, какъ можно позднѣе?

— Я пробуду здѣсь дня три, четыре.

— Четыре дня, да это все равно, что ѣхать нынче — говорить о трехъ, четырехъ дняхъ не стоитъ труда.

— Для васъ, можетъ быть, возразилъ адъютантъ: но ужъ никакъ не для меня. Всякая минута, которую я провожу здѣсь, мнѣ драгоцѣнна.

— Каково? замѣтилъ Змѣевъ Миняеву: Удивляюсь, какъ можно себѣ позволить говорить женщинѣ такъ прямо, что онъ въ нее влюбленъ.

— Что жъ, если это нравится? сказалъ маленькій Миняевъ, выпрямляясь и закидывая голову какъ можно выше.

— Чортъ возьми всѣхъ этихъ пріѣзжихъ! воскликнулъ Змѣевъ.

— Тебѣ что за дѣло?

— Его присутствіе бѣситъ меня. Здѣсь, между нами, она никого не отличала; говорила объ Огинскомъ — да это взоръ — онъ вошелъ — и ни слова, ни взгляда; тотчасъ видно, что она не заботится объ немъ. Ну — я былъ совершенно доволенъ, а теперь....

— Что теперь? спросилъ Валентинъ, подходя и вмѣшиваясь въ разговоръ.

— Пустой ты человѣкъ! возразилъ Змѣевъ живо: Погляди на нее! она безпрестанно любезничаетъ съ этимъ адъютантомъ, и смотритъ томными глазами, а онъ такъ и таетъ. Я пойду къ нимъ, помѣшаю имъ. Нѣтъ, не дамъ ему ходу.

— Вотъ чудакъ! замѣтилъ Миняевъ Огинскому: всякую зиму влюбленъ въ какую нибудь красавицу, а роля его состоитъ въ томъ, чтобы мѣшать ей объясниться съ тѣмъ, кто ей нравится Весь его успѣхъ въ этомъ, и онъ доволенъ.

— Кто этотъ князь Симанскій, спросилъ Валентинъ у Минаева.

— Онъ вчера пріѣхалъ изъ Петербурга, и нынче былъ представленъ Клавдіи Ѳедоровнѣ.

Валентинъ не могъ болѣе выносить кокетства своей своенравной красавицы, и, не желая играть, подобно Змѣеву, роль докучнаго лица, подошелъ къ столу, гдѣ Татà разливала чай, а Кокорина занимала разговоромъ двухъ или трехъ неинтересныхъ гостей. Опустивъ глаза на чашки, Татà не вставляла ни одного слова въ разговоръ, и, казалось, не видала ничего, что происходило вокругъ нея.

— Татьяна Николаевна, сказалъ Валентинъ, ужели и я не стою вашего вниманія? Вы, кажется, не хотите нынче удостоить меня и взглядомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ! отвѣчала она съ злою насмѣшкой: а я думала всегда, что я сама такъ незамѣтна, что никому не взойдетъ въ голову говорить со мною.

— Если бъ это было такъ — въ чемъ я сомнѣваюсь — развѣ я не исключеніе?

— Нисколько.

— Стало быть, я не достоинъ ни вашего взгляда, ни вашего слова?

— Полноте, Валентинъ Михайловичъ, я сама не достойна ничьего вниманія, ничьего взгляда.

— Напротивъ, отвѣчалъ Валентинъ, придавая словамъ своимъ тонъ комплимента: взглядъ вашъ говоритъ много — у васъ удивительные, прекрасные глаза! А слова? Но вы сами виноваты, вы почти ни съ кѣмъ не хотите говорить, будто презираете всѣхъ насъ.

— За чѣмъ вы смѣетесь надо мною? сказала Тата, перемѣняя тонъ насмѣшки на серьезную и печальную рѣчь: Вы добры, вы до сихъ поръ были такъ вѣжливы и просты въ своемъ обращеніи со мною. Что жъ я вамъ сдѣлала? За что вы меня оскорбляете?

Она взглянула на него гордо, но взглядъ этотъ былъ смягченъ дѣйствительной грустью.

— И въ умѣ не имѣлъ! отвѣчалъ Валентинъ серьезно: повѣрьте, что я и теперь не знаю, чѣмъ могъ огорчить васъ.

— Презирать! вы сказали презирать, возразила она живо и порывисто: Развѣ я могу презирать кого нибудь! Развѣ я въ правѣ презирать кого нибудь. Нѣтъ! тотъ презирать не въ правѣ, кого всѣ должны презирать.

Она сказала слова эти прерывающимся голосомъ, и замолчала. Валентинъ хотѣлъ отвѣчать, она прервала его.

— Будетъ! довольно! мнѣ тяжело. Извините, прибавила она спокойнѣе, послѣ минутнаго молчанія: я увлеклась нынче, я что-то не совсѣмъ здорова, и меня все раздражаетъ. Поговоримъ лучше объ васъ. Скажите, что съ вами?

— Ничего, отвѣчалъ Валентинъ.

— Какъ, ничего? За кого же вы меня принимаете? Думаете ли вы, что я дурочка? Развѣ я не вижу, что вы говорите со мною, а слушаете тамъ. Тамъ все ваше вниманіе, сердце, любовь.

— Тата! сказала Ельцова: возьми мою чашку.

Тата встала, нагнулась къ Валентину, и, смотря ему прямо въ глаза, шепнула глухимъ голосомъ:

— Вы влюблены въ нее? Несчастный!

Невозможно выразить, что почувствовалъ Валентинъ. Кровь бросилась ему въ лице, и какое-то ему самому непонятное чувство овладѣло имъ. Былъ-ли то страхъ при мысли, что дѣвочка угадала его, или это было сознаніе любви къ женщинѣ, которая, занимаясь другимъ, бросала ему въ лице, какъ вызовъ или угрозу, любовь адъютанта, но все это оскорбляло его въ эту минуту, и Валентинъ сидѣлъ, задумавшись.

— Что вы такъ нынче угрюмы? спросила Кокорина.

— Не угрюмъ, а печаленъ. Я нынче проводилъ въ деревню всю семью свою, и пріѣхалъ къ вамъ, убѣгая пустоты нашего дома.

— Какъ это любезно! сказала Ельцова съ того конца гостиной: стало быть не мы, не наше общество привлекаетъ васъ, а пустота покинутаго дома гонитъ изъ него *куда-нибудь*. Татà! налей мнѣ еще чаю, прибавила она, вставая, и, покинувъ Симанскаго, подошла къ чайному столу. По Симанскій всталъ тоже и пошелъ за ней, гремя шпорами.

— Какой колоссъ! замѣтилъ Валентинъ, обращаясь къ Татà.

— И красивъ собою, отвѣчала она, наливая чай.

— За чѣмъ вы ушли отъ насъ? спросила Ельцова Валентина.

— Не хочу мѣшать вамъ, отвѣчалъ онъ тихо: вы были такъ заняты новыми знакомыми.

— У всякаго свои занятія: вотъ и вы, если не ошибаюсь, были заняты цѣлый день.

— Вы служите, М-г Oguinsky? спросилъ адъютантъ, обращаясь къ Валентину, и желая вступить въ разговоръ.

Валентинъ смѣрилъ его глазами. Симанскій стоялъ позади Ельцовой, и самодовольно крутилъ усы.

— Какъ же, служитъ, сказала живо Ельцова: да и какая тяжкая служба! Вообразите: Валентинъ Михайловичъ — единственной сынъ, и всегда долженъ быть дома, читать книги матери, гулять съ сестрой, провожать семейство въ деревню.

Валентинъ посмотрѣлъ на нее молча, и поблѣднѣлъ.

— Надо согласиться, замѣтилъ Змѣевъ, что излишняя любовь семейства ужасно тягостна.

— Кому какъ! сказалъ Валентинъ — и какое семейство!

Ельцова, замѣтивъ блѣдность и ярость Валентина, торжествовала; она засмѣялась и продолжала весело, шутя.

— М-г Oguinsky любитъ нравы и обычаи золотой Аркадіи — пастушескую жизнь, ручейки и пригорки.

Валентинъ вспыхнулъ.

— Это правда, отвѣчалъ онъ: я люблю деревню, и привязанъ къ семьѣ. Я не умѣю и не хочу смѣяться надъ чувствомъ, и не играю имъ.

— О чемъ вы спорите? спросилъ Симанскій: я вовсе не понимаю спора.

— Клавдія Ѳедоровна любитъ войну, сказалъ Змѣевъ; и не мудрено — она всегда остается побѣдительницею.

— Побѣды вамъ не новость! замѣтилъ Миняевъ, вставляя свое слово, и приторно стараясь придать ему особенный смыслъ.

— Иныя побѣды нисколько не лестны, отвѣчала Ельцова украдкой, и лукаво показывая Симанскому на Миняева.

Тотъ понялъ и улыбнулся.

— А все же, Клодина, ты не права, замѣтила Кокорина: Валентинъ Михайловичъ — примѣрный сынъ, и тебѣ меньше, чѣмъ кому нибудь, слѣдуетъ шутить этимъ: ты сама примѣрная дочь.

— Ну, maman нынче въ припадкѣ чувствительности, сказала Ельцова Симанскому, смѣясь: впрочемъ это забавно — надо разнообразіе.

— Что ты говоришь? спросила Кокорина у дочери.

— Смѣюсь и шучу, maman, сказала она по-дѣтски, ласкающимъ голосомъ.

Нѣсколько оскорбившаяся старуха тотчасъ растаяла.

— Дурочка! проговорила она: будь только весела, будь довольна — и я буду счастлива.

— Сцена нѣжности, maman! Ну, хорошо — довольно! всѣ эти господа знаютъ, что вы меня обожаете, и что

— совершенство, по крайней мѣрѣ въ глазахъ вашихъ.

— И въ моихъ тоже, сказалъ Симанскій, дерзко высказывая свои претензіи на ея вниманіе и любовь: Я не встрѣчалъ женщины прихотливѣе, своенравнѣе

васъ; но въ васъ все такъ прелестно, такъ неожиданно, что видѣть васъ и обожать — одно и то же.

— Какое открытіе! замѣтилъ Змѣевъ, стараясь говорить язвительно: въ этомъ давно всѣ согласны, даже сама Клавдія Ѳедоровна, и вы не выдумали пороху, объяснивъ это.

— Если я его не выдумалъ, возразилъ онъ смѣло и полусерьезно, то повѣрьте, что знаю его употребленіе.

— Никто не сомнѣвается, что военный умѣетъ стрѣлять, сказала Ельцова, взявъ руку Симанскаго, и уходя съ нимъ въ другую половину гостиной. Валентинъ вскочилъ и хотѣлъ идти за ними. Подъ столомъ Тата схватила его за полу платья, и прошептала:

— Останьтесь, умоляю васъ. Если не для меня, такъ для нее—вы ее погубите.

Онъ остался.

— Чѣмъ? спросилъ онъ.

— Выйдетъ исторія. Симанскій дерзокъ. Скажутъ, что вы дрались за нее, и это ее погубитъ въ общемъ мнѣніи.

— Ея поведеніе невыносимо, сказалъ Валентинъ горячо: оно.....

— Тише! васъ слушаютъ.

— Однако, скажите одно слово въ пользу ея, оправдайте ее, если можете.

— Надо знать, съ кѣмъ имѣешь дѣло! возразила Тата.

— Что вы хотите сказать?

— Ничего. Не могу объяснить вамъ того, что вы должны знать и видѣть.

— Да, да, она кокетка! страшная, неумолимая! Или лучше, она своенравное, избалованное дитя, не терпящее противорѣчій. Она хочетъ, чтобъ ей всѣмъ жертвовали — ну что жъ? Боже мой! я готовъ. Но она не въ правѣ требовать, чтобъ я забылъ самыя крѣпкія, самыя нѣжныя мои привязанности. Нѣтъ! она не въ правѣ вырывать съ корнемъ мою любовь къ матери. Этого я не похвалю.

Тата вздохнула.

— Что вы думаете? Ужели не понимаете меня? Вы дитя, конечно, но дитя разумное и доброе, сказалъ Валентинъ.

— И не разумное, и не доброе, а несчастное. Любите мать свою — это хорошо, это должно быть такъ сладко.

— У васъ нѣтъ матери? спросилъ Валентинъ, тронутый выраженіемъ ея лица, тономъ голоса.

— Есть, но я ее почти не знаю.

— Какъ же это?

— Нѣтъ, не спрашивайте.... Конечно, вамъ бы я могла сказать все; но что я такое для васъ? какая вамъ до меня нужда?

— Я принимаю въ васъ большое участіе, сказалъ Валентинъ невольно.

— Участіе? повторила она горько: участіе къ приживалкѣ, къ куклѣ, къ собаченкѣ. Я и Мими — одно и то-же. Знаете ли, мнѣ смѣшно это.

И Тата засмѣялась.

— Чему такъ хохочешь? спросила Кокорина грубо: помилуй, испугала! Вѣдь какой же рѣзкій смѣхъ у тебя.

— Извините, сказала Татà, но Валентинъ Михайловичъ такъ забавно разсказывалъ мнѣ....

— О чемъ? спросила Кокорина.

— Все объяснялся въ любви къ Мими. Говоритъ, Мими удивительная собака, такая разумная и добрая. Ну, гдѣ онъ все это замѣтилъ? По-моему, Мими годится только для того, чтобы служить на заднихъ лапкахъ, и забавлять хозяевъ въ часы бездѣлья, забавлять гостей, когда имъ скучно.

— Вотъ и пустяки! возразила Кокорина очень серьезно: и я очень рада, Огинскій, что Мими вамъ нравится. Вообразите, что собака эта только-что не говоритъ.

— Какъ я, сказала Татà Валентину въ полголоса; вѣдь вы сейчасъ говорили, что я все молчу.

— Да не прерывай меня! Что ты тамъ шепчешь? продолжала Кокорина: вообразите, что не дальше, какъ третьяго дня, я задремала послѣ обѣда. Вотъ Мими подошла ко мнѣ на-цыпочкахъ; обнюхала меня, постояла надо мной, потомъ пошла, пошла тихонько вонъ изъ комнаты, а я все наблюдаю ... пошла, и потомъ — слышу — бѣжитъ по задней лѣстницѣ. Какова? Хотѣла обмануть, будто человѣкъ! Ну, я вскочила, и за ней — я ее не пускаю никогда на улицу — и досталось же ей за эту продѣлку! Терпѣть не могу хитрости!

Кокорина могла говорить очень долго, Валентинъ не слушалъ ее. Его разговоръ съ Татà, о которой онъ

начиналъ жалѣть очень искренно, не могъ оторвать его отъ печальной мысли, что Ельцова не дорожитъ имъ, и не щадитъ его. Не въ силахъ будучи владѣть собою, онъ всталъ и пошелъ смотрѣть альбомы, лежавшіе на столѣ, прямо противъ Ельцовой. Она его замѣтила и сказала ему, увидѣвъ въ рукахъ его одинъ изъ альбомовъ:

— Оставьте! оставьте!

Онъ, молча, положилъ его на прежнее мѣсто.

— Возьмите другой — вотъ этотъ, а тотъ альбомъ завѣтный.

— И вы признаетесь? сказалъ Симанскій.

— А почему же нѣтъ? отвѣчала она. Не вижу причины скрывать что бы то ни было. Завѣтный — слово широкое — его можно растолковать разными способами.

— Напримѣръ, замѣтилъ Симанскій.

— Воспоминаніе, любовь, дружба, всѣ слова сантиментальнаго каталога взойдутъ туда. Нѣтъ ли еще чего, кромѣ этого? дайте подумать.

— Замѣтки путешествій, сказалъ Змѣевъ.

— Ну, нѣтъ — отъ этого избавьте. Скажу вамъ по правдѣ, что не только замѣтки, но и путешествіе утомляетъ меня. Говорятъ, правда, природа хороша — восхищаются и таютъ. Я никогда не могла понять этого, и умирала въ Римѣ со скуки — à la lettre умирала.

— Отъ чего же? Говорятъ, тамъ весело, замѣтилъ Симанскій, и, вѣроятно, явившись въ свѣтѣ, вы произвели обычное впечатлѣніе.

— То-то и есть, что я никуда не являлась. Мой мужъ жилъ въ виллѣ, въ Тиволи, и когда я скучала, онъ увѣрялъ меня очень серьезно, что мнѣ стоитъ только взойти на ближнюю скалу, и скука моя исчезнетъ, будто ея не бывало. Je vous demande un peu cette fantaisie? Лѣзть на скалу! Да, смѣйтесь; тогда мнѣ смѣшно не было, а пожалуй теперь и я буду смѣяться.

— Ну, что же? вы лазили на скалу? спросилъ кто-то.

— Me prenez-vous pour une folle, отвѣчала она. Но было еще лучше. Надо вамъ сказать, что мужъ мой, страстный любитель скульптуры, всякій день любовался группой Амура и Психеи, и заставлялъ меня любоваться ею. Признаюсь, я бы охотно промѣняла всѣхъ амуровъ въ мірѣ на порядочно одѣтаго cavaliere cervente. Помните, мама?

— Помню, помню, сказала Кокорина съ такимъ комическимъ выраженіемъ скуки, что всѣ опять засмѣялись.

— А cavaliere cervente уже ли не нашлось въ той странѣ, гдѣ ихъ родина?

— Не было, messieurs — клянусь, не было.

— И послѣ не было? спросилъ Симанскій.

— Какъ вы нескромны, сказала она, смѣясь. Будто въ Парижѣ ихъ мало?

— А вы изъ Рима поѣхали въ Парижъ? спросилъ Симанскій.

— Да, сказала она безпечно, я навсегда оставила моего мужа — судите сами, была ли возможность выносить такую скуку?

Валентинъ взглянулъ на Ельцову; ея непростительная безпечность и легкомысліе поразили его; чувство Огинскаго было похоже на испугъ, но Ельцова и гости ея продолжали разговоръ.

— Будто французъ можетъ любить серьезно? говорилъ Змѣевъ.

— Развѣ можно любить шутя? Признаюсь, я была бы тому рада: терпѣть не могу ничего серьезнаго. Та же скука, что въ Римѣ—благодарю покорно!

— Успокойтесь, сказалъ Валентинъ: любить шутя умѣютъ только женщины. Это открытіе принадлежитъ имъ, и если бъ такой способъ любить былъ неизвѣстенъ, то вы, которыя такъ веселы, безпечны, вы открыли бы его.

— Можетъ быть; впрочемъ, прибавила она шутя, я позволяю любить себя, но сама ....

— Не буду любить никого, сказалъ Валентинъ: такъ ли?

— Да, по крайней мѣрѣ, не желала бы.

— Какое варварское желаніе! замѣтилъ Змѣевъ: Вы глядите на насъ, и взоръ вашъ говоритъ: пусть страдаютъ!

Ельцова засмѣялась.

— Признаюсь, сказала она: весело глядѣть, какъ вы страдаете—одѣты по послѣдней модѣ, утромъ ѣздите съ визитами, обѣдаете съ товарищами, вечеромъ отъ нечего дѣлать— у меня; сонъ и аппетитъ вашъ отличные, и толстѣете всѣ съ каждымъ днемъ.

— На это я не согласенъ, возразилъ Змѣевъ: ѣсть я готовъ и спать тоже, но толстѣть не хочу.

— Въ самомъ дѣлѣ, вамъ не худо бы влюбиться, сказала она, хотя для гигіены.

Разговоръ принялъ другое направленіе; было поздно; всѣ стали разъѣзжаться. Валентинъ упорно сидѣлъ на мѣстѣ, и не хотѣлъ уѣхать прежде Симанскаго, но казалось, что и этотъ не хотѣлъ уступить ему. Онъ продолжалъ разсказывать о Петербургской жизни, балахъ и праздникахъ. Кокорина давно уже дремала; Тата сидѣла неподвижно; Ельцова взглянула на часы.

— Половина третьяго. Мнѣ пора спать. Извините, господа: я попрошу васъ уѣхать.

— До завтра! сказалъ Симанскій, вставая: божусь, что вечеръ пролетѣлъ для меня, какъ мгновеніе. Надежда видѣть васъ завтра дастъ мнѣ силу уѣхать.

— Въ 9 часовъ, отвѣчала она, я буду дома.

— Что жъ такъ поздно?

— Раньше мнѣ нельзя.

— Лучше поздно, чѣмъ вовсе не видать васъ: въ этомъ нѣтъ сомнѣнія.

— Онъ или я, сказалъ тихо Валентинъ, крѣпко сжимая руку ея.

— Пустяки! возразила она улыбаясь. Жду васъ въ 7 часовъ вечера. Мнѣ надо поговорить съ вами.

— И мнѣ тоже; только....

— Тиш.... онъ ждетъ васъ, и замѣчаетъ.

Валентинъ оглянулся. Симанскій, будто пристегивая шпагу, стоялъ въ дверяхъ. Увидя, что Валентинъ выходитъ, онъ поклонился, и вышелъ вмѣстѣ съ нимъ.

Молча, рядомъ, сошли они съ лѣстницы; въ сердцѣ Валентина кипѣла вражда, на губахъ Симанскаго скользила улыбка. Садясь въ сани, они раскланялись и разъѣхались въ разныя стороны.

На другой день утромъ Кокорина пила кофе съ дочерью, и была чрезвычайно недовольна, хотя дочь ея и казалась весела по обыкновенію. На всѣ ея шутки, вопросы, остроты, мать отвѣчала односложно. Ельцова пристально на нее посмотрѣла, поставила чашку на столъ, и сказала серьёзно:

— Что съ вами, maman? вы нынче ужасно скучны.

— Кажется, я молчу.

— Ахъ, Боже мой! лучше сказать, въ чемъ дѣло. Вы знаете, что я не могу выносить тѣхъ, кто молчитъ и сердится.

— Чему же прикажешь радоваться? или тому, что у тебя хорошъ вкусъ, и ты всегда умѣешь выбрать именно того, кто не стоитъ одного взгляда?

— Nous y sommes! замѣтила Ельцова, складывая руки одна на другую: говорите, я слушаю. Что вамъ сдѣлалъ Огинскій?

— Что? спросила Кокорина, одушевляясь: Помилуй, мало ли глупостей онъ дѣлалъ вчера? Сидѣлъ, какъ истуканъ, не спускалъ съ тебя глазъ, и едва не завелъ исторіи съ Симанскимъ.

— Очень понятно. Онъ приревновалъ меня.

— Вотъ новость! я сама это знаю; но скажи: ты рѣшилась ему позволить выгнать отдюда всѣхъ твоихъ

знакомыхъ? Рѣшилась въ угоду ему сидѣть одна, не принимать никого?

— Далѣе?

— Чего жъ тебѣ еще? Или этого мало? И для кого? Добро бы онъ стоилъ того! Ну, скажи, что тебѣ въ немъ нравится? Вѣдь онъ дуракъ; одно лице его вѣчно серьезное нагоплетъ скуку.

— На васъ, а не на меня. Мнѣ съ нимъ весело. Кажется, этого довольно, чтобы вы меня избавили отъ вашихъ замѣчаній.

— Прекрасно! Ну и потому, что онъ тебѣ нравится, ты запрешься дома, и останешься одна. Воображаешь ли ты, что всѣ тѣ, которые теперь добиваются твоего слова, твоего взгляда, останутся здѣсь хладнокровными зрителями твоей любви къ этому мальчику? Очень ошибаешься: лишь только ты покажешь явное предпочтеніе одному, всѣ другіе уйдуть. Это ужъ извѣстно.

— Ну и пусть ихъ!

— Прекрасно! Вотъ до чего мы дошли! Въ городѣ тебя растерзаютъ, погубятъ.

— Очень мнѣ нужно,

Послушай, Клодина, сказала мать ласково: и я сама тоже знать не хочу, что о тебѣ говорятъ, до тѣхъ поръ, пока буду видѣть тебя окруженною и любимою; но уже ли это будетъ все равно, когда тебя всѣ оставятъ?— едва ли! Да и подумай, ты сама этого не вынесешь. Твой Огинскій надоѣстъ тебѣ, а искать другихъ будетъ поздно. Разсуди! Я для тебя говорю это, я вѣдь тебя знаю. Я люблю тебя и не

мѣшаю тебѣ — лишь бы ты была счастлива; но не пренебрегай же свѣтомъ, и не позволяй Огинскому пренебрегать имъ; не позволяй ему вести себя, какъ вчера; не позволяй требовать отъ тебя невозможнаго. Помни, что я всегда говорила тебѣ: ничего нѣтъ въ мірѣ хуже влюбленныхъ. Они такъ неосторожны, такъ болтливы!

— Валентинъ къ этому не способенъ," проговорила Ельцова задумчиво.

— Дитя, дитя! Онъ не скажетъ, да на лицѣ его, въ глазахъ его написано: я люблю и любимъ. Къ тому же влюбленный всегда требователенъ, а любовникъ доволенъ, и соглашается видѣть другихъ около женщины, которую любитъ. Чѣмъ больше она окружена, тѣмъ ему пріятнѣе.

— Ну хорошо, хорошо, мама, будьте покойны, я все улажу, и вы останетесь довольны мною.

— Будешь принимать?

— Буду.

— И онъ не будетъ пялить на тебя своихъ глупыхъ круглыхъ глазъ?

Ельцова захохотала.

— Вотъ и не правда! его глаза удивительно хороши и ни сколько не круглы.

Кокорина пожала плечами.

— Удивляюсь, что̀ ты нашла въ немъ: онъ просто глупъ, всегда гдѣ-то подъ небесами, и не видитъ у своего носа. Точно подслѣповатый.

— Ну, что жъ дѣлать, мама? вкусы различны, а

вотъ мнѣ въ немъ именно это и нравится. Если бы вы видѣли его, когда онъ говоритъ мнѣ, что любитъ меня! я всегда заглядываюсь на него. Чудо, какъ хорошъ! прелесть! такъ бы и поцѣловала его.

— Ахъ, матушка, рѣчь не объ этомъ, не позволяй ему сердиться, ревновать, дурачиться.

— Будьте покойны. Такъ скажите — онъ вчера очень бѣсился?

— Помилуй, полчаса сидѣлъ вотъ такъ.

И Кокорина выгянулась впередъ, и уставила глаза въ одно мѣсто. Ельцова смѣялась.

— Ахъ, какъ вы его не любите! какъ вы его не любите! впрочемъ мнѣ въ этомъ нѣтъ никакой нужды; лишь бы вы каждое утро меня не мучили выговоромъ. Смотрите же, мамъ: я сдѣлаю, какъ вамъ угодно; но вы не браните его, потому что я не хочу этого; слышите — не хочу. Я люблю его; не вмѣшивайтесь въ мои дѣла, я сама все устрою.

— Хорошо, Клодина, хорошо! повторенія не нужны. Смотри, не привелось бы опять придти ко мнѣ за совѣтомъ и помощью. Бѣда дѣло имѣть съ мальчишкой! онъ какъ разъ такъ запутаетъ, что и не будешь знать, что дѣлать. То ли дѣло — Симанскій: онъ благоразумнѣе и степеннѣе.

— Да говорятъ же вамъ, люблю Огинскаго, сказала она нетерпѣливо, и потомъ прибавила, смѣясь: Симанскій будетъ на очереди, если хотите — это ужъ для васъ, чтобъ васъ утѣшить.

— Дурочка ! сказала ей мать.

Валентинъ не спалъ всю ночь. Въ головѣ его былъ хаосъ, въ сердцѣ негодованіе, боль, страсть.

Протесты одинъ другаго убѣдительнѣе, одинъ другаго краснорѣчивѣе, слагались въ головѣ его, и смѣнялись съ необыкновенною быстротою. Онъ едва могъ дождаться утра, и помчался къ ней. Приближаясь къ гостиной, онъ услышалъ звонкій смѣхъ Ельцовой. Она сидѣла подлѣ матери, задомъ къ двери, и онъ видѣлъ, что при его появленіи, мать сдѣлала ей знакъ глазами. Она тотчасъ перестала смѣяться, и, обратясь къ двери, сказала съ притворнымъ удивленіемъ:

— Какъ ? это ? вы ? такърано !

— Извините, сказалъ Валентинъ холодно: если я пріѣхалъ не въ пору, я уѣду.

— Нѣтъ, останьтесь—пойдемте ко мнѣ. Маменька, гдѣ Тата? велите ей сѣсть у окна, и сказать мнѣ, если кто-нибудь пріѣдетъ.

Она вошла въ кабинетъ; онъ вошелъ за нею.

— Ваша предосторожность напрасна, замѣтилъ Валентинъ, подавляя свое волненіе: вы нынче никого принимать не будете.

— Вотъ новости! отвѣчала она надмѣнно.

— Я сказалъ вамъ вчера : онъ или я.

— А если онъ ? спросила она насмѣшливо.

— Прощайте ! сказалъ Валентинъ рѣшительно.

Она вспыхнула.

— А! воскликнула она: такъ знайте же, что когда я люблю, то хочу быть любима безъ ропота и безъ требованій. Вашъ вчерашній поступокъ непростителенъ, да и не онъ одинъ. Все ваше поведеніе необъяснимо. Вы любите по какой-то мѣркѣ, по какимъ-то правиламъ, заранѣе установленнымъ. Ловите мгновенія, ловите любовь мою, поймите ее и наслаждайтесь настоящимъ. Иначе, предупреждаю васъ, мы не поймемъ другъ друга, и будетъ поздно любить—любовь пройдетъ.

— Я и то не понимаю васъ, сказалъ онъ, озадаченный жаркой выходкой.

— Въ томъ-то и бѣда ваша, что вы не понимаете ничего, что̀ просто; вы ищете, вы хотите какихъ-то мечтательныхъ восторговъ и....

— Не правда, я люблю васъ—дѣйствительно, и уважаю—хочу уважать васъ....

— Женщина говоритъ о любви, а онъ объ уваженіи! сказала она, и засмѣялась какъ-то сухо, едва ли не презрительно.

— Такъ вы продолжаете являться мнѣ въ ненавистномъ образѣ кокетки, женщины безъ сердца; вы не уважаете истиннаго чувства?

— Не знаю, что̀ истинно, что̀ ложно, возразила она жарко: да и знать не хочу. Знаю только, что чувствую теперь, и говорю вамъ: я ненавижу васъ!

Валентинъ, пораженный, какъ громомъ, упалъ на кресло, и молчалъ.

— Вчера, продолжала она, смягчаясь, вы были виноваты передъ мною—вы ушли и промѣняли цѣлый день

счастія на какіе-то сантиментальные проводы; очень понятно, что вечеромъ я хотѣла отплатить вамъ и занялась другими. Тогда — вспомните свое поведеніе — вы сидѣли молча, не сводили съ меня глазъ; а когда говорили со мною, то не скрывали своего гнѣва, своего негодованія. Валентинъ! одинъ любовникъ имѣлъ бы, можетъ быть, нѣкоторое право поступать такъ; ему простила бы я такое поведеніе, но вы.... маменька говоритъ правду, прибавила она спокойнѣе: что влюбленный губитъ женщину.

— Прости меня! сказалъ Валентинъ, думая съ ужасомъ о томъ, что, можетъ быть, дѣйствительно ее скомпрометировавъ: прости меня! Уже ли вчера любовь увлекла меня такъ далеко? Будь спокойна — я буду неумолимъ къ себѣ, и никогда не позволю себѣ....

— О, что мнѣ за дѣло до всего этого! маменька еще иногда заботится о томъ, что подумаютъ другіе, а я не дорожу этимъ. Мнѣ надо счастія, мнѣ надо безразсчетной, дѣйствительной любви — и, конечно, ей я многимъ могу пожертвовать.

Она закрыла глаза руками, и замолчала. Пылавшее лице ея горѣло, полураскрытыя губы звали поцѣлуи. Валентинъ опять упалъ къ ногамъ ея, очарованный ея обольстительной красотой, и отдаваясь пагубной страсти, которую она внушала ему.

— Я рѣшилась, продолжала она спокойнѣе: если ты хочешь принадлежать мнѣ одной, я буду твоей, запру домъ свой, буду любить тебя, жить для тебя одного. Конечно, я лишусь многаго, но за то буду счастлива.

— Никогда! сказалъ Валентинъ, никогда не допущу тебя до этого. Я слишкомъ уважаю тебя, и никому не дамъ права указывать на тебя, презирать тебя. Я слишкомъ люблю тебя, чтобы принять такую жертву.

— Ты, стало быть, какъ мать моя? Ты хочешь помирить любовь мою съ условіями свѣта.

— Съ долгомъ, сказалъ Валентинъ.

— Такъ вотъ любовь твоя! Ты мѣняешь наше счастіе на семью свою, на мать, на какіе-то укоры совѣсти, которыхъ я не понимаю. Выбирай же, теперь, сейчасъ. Или свѣтская жизнь или ты!

— Что ты говоришь? сказалъ Валентинъ: ты моя, и я обязанъ хранить тебя. Не позволю тебѣ губить себя!

— Помни же это, Валентинъ, сказала она спокойно, и не оскорбляй меня ревностію; ты выбралъ — я буду жить въ свѣтѣ, и слѣдственно покорюсь всѣмъ его условіямъ. Не проси же невозможнаго, и не губи меня самъ, предаваясь ревности и невозможнымъ требованіямъ.

Тата вошла въ комнату. Валентинъ быстро отодвинулся.

— Это Тата! сказала она, удерживая его подлѣ себя.

Тата посмотрѣла на нихъ холодно и пристально.

— У васъ гости, сказала она кузинѣ — почти вся гостиная полна. Мать ваша приказала принимать всѣхъ, и сказала, что, возвратясь съ прогулки, вы заняты еще

туалетомъ. Всѣ васъ ждутъ. Симанскій пріѣхалъ прежде всѣхъ.

— Какая скука ! Валентинъ, что мнѣ дѣлать?

— Идите туда, а я уѣду.

— И пріѣдете черезъ часъ ?

— Да.

— Тата, проводи его по задней лѣстницѣ.

Ельцова вышла въ гостиную , а онъ пошелъ за Тата.

Она молча провожала его.

— Будете? спросила она, сойдя съ лѣстницы.

— Не знаю, я думаю — буду.

— Зачѣмъ ?

— Какія вы странныя, Тата. Я люблю быть у васъ — вы это знаете. Мы поговоримъ вмѣстѣ — хотите ?

— Какъ вамъ угодно. Я, конечно, должна отвѣчать тѣмъ, кто говоритъ со мною.

— Татьяна Николаевна !

— Что вамъ угодно?

— Вы опять отвѣчаете мнѣ такъ, что оскорбляете меня.

— Я ! Развѣ я смѣю это сдѣлать ?

— Вы не цѣните моей дружбы.

— Дай Богъ, чтобы другіе знали вамъ цѣну такъ, какъ я, Валентинъ Михайловичъ.

— Что хотите вы сказать ?

— Ничего.

— Татà! понимаю васъ, дитя мое; но вы несправедливы къ вашей кузинѣ. Теперь я знаю ее: повѣрьте, что она....

— Мнѣ пора идти, я не могу оставаться здѣсь дольше. Прощайте — вотъ дверь на право, она выходитъ на улицу.

Какъ кошка вбѣжала Татà на лѣстницу, и исчезла за дверью.

Чрезъ два часа Валентинъ возвратился и сидѣлъ подлѣ Татà. Ельцова была окружена по прежнему, и онъ не хотѣлъ ни мѣшать ей, ни быть замѣченнымъ. Не смотря на всѣ его усилія завести разговоръ, Татà отвѣчала односложно, и прилежно вязала кошелекъ изъ филе. Змѣевъ подошелъ къ Валентину, и принялся шутить съ Татà, не смотря на то, что она замѣтно избѣгала не только шутокъ, но и продолжительнаго разговора. Видя, что она едва отвѣчаетъ ему, Змѣевъ очень нецеремонно взялъ изъ рукъ ея кошелекъ, и спросилъ насмѣшливо:

— Кто тотъ счастливецъ, кому это назначено въ подарокъ?

Татà молчала.

— Татà! кажется, Иванъ Александровичъ говоритъ съ тобою, замѣтила ей Кокорина строго.

— Слышу, отвѣчала она тихо, и, обратясь больше къ Кокориной, чѣмъ къ Змѣеву:

— Я вяжу кошелекъ Клавдіи Ѳедоровнѣ — это ея работа.

— Полноте, мамзель Татà, сказалъ Змѣевъ: ужъ

вѣрно это не для Клавдіи Ѳедоровны. Дѣвицы въ ваши лѣта всегда имѣютъ тайны: уже ли вы одни остались такъ долго ребенкомъ?

Тата молчала.

Змѣевъ продолжалъ смѣяться и, наконецъ, сказалъ.

— Такъ вы не хотите признаться? Въ такомъ случаѣ давайте искать вмѣстѣ, кто вамъ здѣсь нравится. Миняевъ? О нѣтъ, онъ, пожалуй, подходитъ къ вамъ по просту; но никакъ ужъ не по лѣтамъ: ему будетъ лѣтъ 30; но вы знаете пословицу: маленькая собачка... не оканчиваю, еще, пожалуй, услышитъ. Ну кто же еще? Ужъ не Валентинъ ли Огинскій? Онъ! ей Богу, онъ! всегда съ вами, да и почти ровестникъ вамъ.

Тата вспыхнула и тотчасъ поблѣднѣла.

— Ну что жъ, сказалъ Валентинъ, обращая разговоръ въ шутку: я не прочь отъ средневѣковыхъ обычаевъ, и если Татьяна Николаевна позволитъ, я буду ея рыцаремъ, и готовъ защищать ее jusqu'à ce que mort s'en suive: вѣдь это, кажется, принятое выраженіе того времени.

Тата взглянула на Валентина, и, встрѣтивъ его выразительный, серьезный взоръ, явно противорѣчившій его шутливымъ словамъ, поняла, что въ Валентинѣ она дѣйствительно нашла защитника.

Она опустила глаза, и сказала тихо:

— Не могу принять вашего предложенія, потому что меня здѣсь никто оскорбить не можетъ. Кокорина вмѣшалась въ разговоръ, замѣчая, что Тата дитя, и рано ей выбирать рыцарей. Валентинъ воспользовался первой

удобной минутой, и, взявъ Змѣева подъ руку, отвелъ его въ сторону, и сказалъ горячо:

— Не стыдно ли тебѣ обижать бѣднаго ребенка? Развѣ ты не видишь, что жизнь ея не завидна?

— Я не имѣлъ намѣренія обидѣть ее, отвѣчалъ Змѣевъ: я только шутилъ — кто жъ съ ней не шутитъ?

— Это-то и оскорбительно, замѣтилъ Валентинъ; всѣ здѣсь позволяютъ себѣ обращаться съ ней, какъ съ игрушкой.

— И какъ съ ребенкомъ, прибавилъ Змѣевъ.

— Она далеко не ребенокъ — ей 16 лѣтъ. Будь осторожнѣе, прошу тебя.

— Да, пожалуй, братецъ, изволь. Да что? или и она тебѣ приглянулась?

— Мнѣ жаль ее, сказалъ Валентинъ, и, услышавъ за собою шумъ шелковаго платья, быстро обернулся. Тата проходила, неся кисти бисера, и, крутя ихъ немилосердно, скользнула въ дверь, которую отворилъ ей Валентинъ, и сказала ему вскользь, но ѣдко:

— Лучше равнодушіе, чѣмъ жалость.

— Въ это самое время Ельцова подошла къ Валентину.

— Что такое вышло тамъ у васъ? спросила она.

— Ничего, пустяки. Змѣевъ шутилъ съ Татьяной Николаевной, и, кажется, оскорбилъ ее.

— Только-то? сказала Ельцова. Съ чего это она вздумала обижаться? Совершенный ребенокъ!

— Едва ли? сказалъ Валентинъ, и если....

— Да развѣ вы не знаете? Я вамъ говорю, что она ребенокъ, да еще и упрямый. Но, что до этого? До сихъ поръ я довольна вами.

Она отправилась на свое мѣсто, а Валентинъ, вѣрный вновь принятому намѣренію, сѣлъ подлѣ Кокориной, изрѣдка позволяя себѣ взглядывать на своего идола, за что получалъ иногда въ награду быстро брошенный взглядъ. Тата не возвращалась; онъ позабылъ о ней; принесли самоваръ; Кокорина приказала лакею позвать племянницу.

Тата явилась тотчасъ. Лицо ея было блѣднѣе обыкновеннаго; она, молча, выслушала выговоръ старухи, и принялась дѣлать чай. Скоро Ельцова со всей своей свитою подошла къ чайному столу, около котораго не было стульевъ. Кокорина, обратясь къ Татѣ, сказала:

— Принеси стулья!

Тата взглянула на нее прямо; взоръ ея уперся и заблисталъ, но она не тронулась съ мѣста.

— Слышишь, подай стулья, Тата! повторила Кокорина, едва скрывая гнѣвъ свой, и пунцовая краска залила все лицо ея и шею.

Ельцова посмотрѣла на мать свою съ негодованіемъ и недовольнымъ видомъ. Валентинъ бросился и принесъ стулья: все это произошло въ одно мгновеніе. Тата даже не взглянула на него, продолжала разливать чай, не подымая глазъ, и не говоря ни съ кѣмъ ни слова. Разговоръ былъ живой, острый, часто прерываемый звонкимъ смѣхомъ Ельцовой. Симанскій, какъ и на-ка-

нунѣ, былъ занятъ одной ею, такъ же любезничалъ, крутя усы и гремя шпорами; но Валентинъ уже не боялся его: онъ былъ увѣренъ въ ней, а она въ самомъ жару разговора не забывала его, и порою взглядъ ея, порою улыбка, относились—онъ чувствовалъ это—къ нему одному, хотя бы каждый изъ гостей ея могъ принять ихъ на свой счетъ. Было поздно. Валентинъ, желая показать ей неограниченную довѣренность, уѣхалъ раньше обыкновеннаго, и прежде Симанскаго. Она казалась довольною.

На другой день утромъ, она еще сидѣла за завтракомъ, какъ онъ былъ уже на-лицо. Когда она осталась одна, разговоръ упалъ на вчерашній вечеръ. Валентинъ, между прочимъ, намекнулъ на Татà, и замѣтилъ, что съ ней не хорошо обходятся.

— Какой вздоръ! сказала Ельцова: къ тому же ты мало знаешь ее; она ужасно своенравна, и никого не любитъ.

— Мудрено любить. Мать твоя такъ круга съ нею.

— Положимъ. Ну, а я?

— Ты—не сердись—ты, мнѣ кажется, равнодушна.

— Не правда; я очень ласкова съ ней, но не могу всегда останавливать маменьку: она часто права, когда браниτъ ее. Возраженія Валентина не могли быть сильны или убѣдительны: онъ не зналъ всѣхъ мелочей ихъ домашней жизни. Онъ замолчалъ. Ельцова замѣтила ему, смѣясь, что онъ пріѣхалъ не для ней, а для Татà, и уже слишкомъ занятъ ею. Эта фраза окончательно направила мысли Валентина въ другую сторону, и ско-

ро онъ забылъ не только Татà, но и всю вселенную, усаживаясь на скамѣйкѣ у ногъ своей красавицы.

За тѣмъ нѣсколько дней къ ряду онъ былъ совершенно счастливъ; ни малѣйшая размолвка не смущала его, и онъ забылъ совершенно о необходимости ѣхать въ деревню. Онъ часто получалъ письма изъ деревни, и самъ весьма аккуратно, хотя и весьма кратко, писалъ къ сестрѣ и матери. Однажды, когда онъ сбирался по обыкновенію, ѣхать къ Ельцовой, камердинеръ подалъ ему раздушенную записку отъ Воротынской, которая просила его пріѣхать къ ней тотчасъ, имѣя крайнюю нужду переговорить съ нимъ. Это его удивило, и онъ поспѣшилъ къ ней. Она встрѣтила его ласково, хотя какое-то замѣшательство невольно проглядывало во всѣхъ пріемахъ ея. Послѣ первыхъ, обыкновенныхъ вопросовъ о семьѣ его, о здоровьи, наступило молчаніе.

— Вы что-то имѣли сказать мнѣ? спросилъ Валентинъ.

— Да, отвѣчала она, опуская глаза, и прибавила, дѣлая видимое усиліе:

— Когда вы ѣдете въ деревню?

— Не знаю еще, отвѣчалъ онъ, какъ удастся мнѣ отсюда вырваться.

Воротынская пристально посмотрѣла на него, и покраснѣла; онъ тоже смутился.

— Валентинъ Михайловичъ, сказала она: позвольте мнѣ говорить съ вами откровенно; прошу васъ не обвинять меня въ дерзкой нескромности, и быть увѣреннымъ,

что только привязанность моя къ вамъ, уваженіе къ вашей матери, дружба къ сестрѣ, могли заставить меня, вопреки всѣхъ приличій, говорить съ вами. Вы влюблены въ Ельцову?

— Я! кто могъ сказать это?

— Всѣ—это всѣмъ извѣстно; вы молоды, неопытны, вы думаете, что можно скрыть что-нибудь? Но свѣтъ дальновиденъ; онъ часто предполагаетъ то, чего нѣтъ; часто угадываетъ, что будетъ; какъ же хотите вы, чтобы онъ не видалъ того, что ясно? Съ перваго появленія Ельцовой на балѣ, вы сдѣлались притчей, сказкой города. Всѣмъ было извѣстно, что она звала васъ къ себѣ, не зная васъ.

— Это не правда.

— Конечно не зная: вѣдь вы танцовали съ ней, не бывши ей представлены, и на другой день поѣхали къ ней съ Змѣевымъ. Но это все касается до нея — это ея дѣло. Я хотѣла предупредить васъ только въ отношеніи васъ самихъ, и попросить васъ быть осторожнѣе. Вчера на дачѣ у Силковой, гдѣ я была, разсказывали очень много о вечерѣ Ельцовой, и о томъ, какъ вы ревновали ее, и какъ она надъ вами смѣялась. Ради Бога, извините меня — говорятъ — я не знаю, какъ сказать.

— Говорите, говорите, кто и что разсказывали.

— Говорятъ, что она васъ дурачитъ, произнесла, наконецъ, Боротынская съ усиліемъ.

— Кто говоритъ это?

— За чѣмъ вамъ знать это? къ чему?

— Если это мужчина, онъ дорого заплатитъ мнѣ....

— Такъ вотъ куда поведетъ васъ любовь къ этой женщинѣ! Правда, она хороша, удивительно хороша, но....

— Вы ее не знаете, сказалъ Валентинъ жарко: она добра и чиста, какъ дитя.

— И знаю и нѣтъ, отвѣчала она: довольно городской молвы.

— Такъ вотъ на чемъ основана репутація женщины? возразилъ Валентинъ съ жаромъ: благородная, умная, добрая женщина не щадитъ другую, потому что злыя старухи, старыя дѣвицы развозятъ вѣсти....

— Нѣтъ, этого недостаточно. Скажите мнѣ одно: правда или нѣтъ, что она имѣетъ самое странное положеніе въ обществѣ? Она не знакома ни съ одной женщиной, никуда не ѣздитъ, никого не принимаетъ, кромѣ мужчинъ. Отъ чего это?

— Отъ того, что не хочетъ; а женщины, вы знаете, я говорю не объ васъ — вы исключеніе — очень завистливы.

— Благодарю васъ, отвѣчала она не безъ ироніи, за ваше хорошее обо мнѣ мнѣніе. Повѣрьте однако, что женская зависть не доходитъ до того, чтобы не принимать вовсе другой хорошенькой женщины.

— Ельцова знакома однако со всѣмъ городомъ, и не дальше, какъ вчера, я видѣлъ у ней на столѣ карточки многихъ женщинъ, и вашу, если не ошибаюсь.

— Да, конечно; мы всѣ, и я въ томъ числѣ, обмѣниваемся визитами, и только.

— Согласитесь, сказалъ Валентинъ, что трудно было бы ѣхать на вечеръ, когда не зовутъ?

— Вы ошибаетесь. Многія изъ моихъ знакомыхъ были званы на вечера Ельцовой; но ни одна изъ нихъ не рѣшилась ѣхать Поведеніе ея слишкомъ вольно, чтобъ не сказать двусмысленно, манеры слишкомъ странны....

— За чѣмъ же въ такомъ случаѣ вы обмѣниваетесь визитами? замѣтилъ Валентинъ язвительно.

— А потому, отвѣчала она, оживляясь, что никто изъ насъ еще не имѣетъ права изгнать ее изъ общества. Она можетъ не нравиться; но огласки не было еще — все скрыто. Погодите немного, и я отвѣчаю вамъ, что скандалъ неминуемъ: выдетъ какая нибудь неприличная исторія, и Ельцова погибнетъ. Ее никто не захочетъ знать, ей даже не будутъ кланяться.

— Какое христіанское желаніе! сказалъ Валентинъ вспыхнувъ, какая любовь къ ближнему! И это говорите вы! Признаюсь, отъ васъ я не ожидалъ....

— Сохрани меня Боже желать гибели кому нибудь! отвѣчала она печально: это не больше, какъ опасеніе; опытность въ томъ порукой — я была уже свидѣтельницей подобныхъ развязокъ. Такія женщины не долго сохраняютъ свое общественное положеніе: онѣ гибнутъ, Огинскій, и дай Боже, если ужъ это должно случиться, чтобы случилось помимо васъ, чтобы не вы были причиной или дѣйствующимъ лицемъ въ этой

драмѣ. Вспомните, что вы погубите себя, убьете мать, бѣдную сестру.

Слезы заблистали въ глазахъ Воротынской. Валентинъ взглянулъ на нее: она была трогательна; онъ взялъ ея руку, и поцѣловалъ ее.

— Вы очень огорчили и оскорбили меня, сказалъ онъ: но я прощаю вамъ охотно, и вѣрю, что доброе намѣреніе руководило вами. Повѣрьте мнѣ однако — вы не знаете Ельцовой; повѣрьте мнѣ, что если она иногда поступаетъ легкомысленно, то это не болѣе какъ дѣтскость и недостатокъ опытности. Она молода; мать ея не можетъ быть ея руководительницей — къ несчастію, это правда.

— Больше правда, чѣмъ вы воображаете. О матери ея ходятъ ужасные слухи.

— За нее я не поручусь, конечно, но Ельцову я уважаю и повторяю вамъ, что она чиста и невинна.

— Оставимъ это, прошу васъ, будьте только осторожнѣе. Вспомните о своей матери. Вчера я получила отъ Анюты письмо, которое и побудило меня говорить съ вами. Она пишетъ, что мать ваша безпрестанно больна, очень объ васъ безпокоится, и хотя часто получаетъ отъ васъ письма, но они такъ кратки, что всѣ ваши домашніе ничего о васъ не знаютъ, и просятъ меня дать подробнѣйшія извѣстія. Что писать? Не знаю. Правда огорчитъ ихъ, а лгать — я не умѣю и не могу. Не хочу наскучить вамъ, но, право, послушайтесь добраго совѣта: загляните въ свою совѣсть....

— Будьте покойны! я непремѣнно поѣду къ матери.

— Когда? спросила она настойчиво.

— На той недѣлѣ.

— Дасте слово.

— Даю.

Вѣрю вамъ; но боюсь — васъ не пустятъ.

— Будьте спокойны, сказалъ Валентинъ: я, можетъ быть, увлеченъ, но ко мнѣ — равнодушны.... слѣдственно, я свободенъ.

Она сомнительно покачала головою, и, взявъ опять съ него слово непремѣнно ѣхать въ деревню, разсталась съ нимъ. Онъ не видалъ ее болѣе; она уѣхала на дачу, а онъ сталъ дѣлать приготовленія къ отъѣзду. Сначала Ельцова пыталась остановить его, потомъ — отсрочить отъѣздъ, что ей не удалось. Скоро однако и послѣдній срокъ миновался, а день отъѣзда наступилъ. Съ утра Валентинъ былъ у ней, и провелъ весь день наединѣ съ нею. Трудно сказать, какъ протекали такіе дни. Говорили мало, а серьезно не говорили вовсе. Она или шутила, или разсказывала что-нибудь изъ прошлой жизни своей, или, вертясь передъ зеркаломъ, поправляла свои волосы, свой уборъ, перевязывала ленту, мяла бантикъ. Не рѣдко, какъ причудливое дитя, она рѣзвилась съ нимъ, ласкала его, потомъ задумывалась; онъ говорилъ ей о любви; страсть охватывала его, и ласки ея становились порывисты. Часто онъ вырывался отъ нея, и убѣгалъ съ отуманенной головою, и только свѣжій воздухъ, поля и утомленіе прогулки успокоивали его волненіе. Ему казалось часто, что, какъ дитя, она играетъ огнемъ, не подозрѣвая, что пожаръ

можетъ вспыхнуть. Ему казалось — такъ уважалъ онъ любовь свою, такъ уважалъ Ельцову, и дорожилъ ея спокойствіемъ и будущностію — что его обязанность состояла въ томъ, чтобы беречь ее, и сохранить нѣжныя и, въ сущности, невинныя отношенія, ихъ связывавшія. Кто не видалъ хотя разъ въ жизни какъ робко, какъ чисто любитъ юноша! Сознаніе, что онъ любимъ; сознаніе, что онъ сберегъ ея жизнь, особенно ея положеніе въ свѣтѣ, ее самую отъ собственной страсти, утѣшало его, и ему казалось, что многіе годы протекутъ, не измѣняя ихъ отношеній. Мужъ ея былъ такъ старъ — кто знаетъ? быть можетъ, она будетъ свободна, и тогда — свѣтлое, безмятежное счастіе ждетъ ихъ обоихъ!...

Валентинъ и Ельцова простились очень нѣжно. Выходя изъ дому, онъ, случайно или нѣтъ, встрѣтилъ Тата на лѣстницѣ.

— Вы ѣдете? спросила она отрывисто.

— Да, но скоро буду назадъ.

— Да, да, знаю. А по моему вамъ бы лучше было остаться *тамъ*.

— Зачѣмъ? Развѣ вы не хотите видѣть меня?

— Рѣчь идетъ не обо мнѣ, а просто о деревенской жизни. Въ деревнѣ жить должно быть очень хорошо и спокойно; васъ любятъ тамъ — почему бы не остаться съ ними?

— А здѣсь меня развѣ не любятъ? — какъ вы думаете?

Она улыбнулась очень двусмысленно.

— Какъ же, любятъ, сказала она, и, сдѣлавъ легкій поклонъ, хотѣла бѣжать на верхъ.

Онъ остановилъ ее.

— Тата, сказалъ онъ нѣжно, вашу ручку, позвольте мнѣ поцѣловать ее на-прощанье.

— Руку ! мою руку! отвѣчала она недовѣрчиво: полноте шутить!

Валентинъ взялъ ея руку и поцѣловалъ ее. Ему почудилось, будто слезы заблистали въ глазахъ ея ; она вырвала руку, и пустилась бѣжать по лѣстницѣ. Выѣзжая изъ воротъ, Валентинъ увидѣлъ Ельцову ; она стояла у раствореннаго окна, послала ему поцѣлуй, и, улыбаясь, махала батистовымъ платкомъ ; у другаго окна, закрывъ лице рукою, стояла Тата; звукъ въѣхавшихъ на мостовую дрожекъ заставилъ ее вздрогнуть. долго эти два образа преслѣдовали Валентина, и тяжело было ему; онъ не зналъ, безмолвная ли грусть ребенка тронула его, или смѣющійся въ минуту разлуки образъ любимой женщины поразилъ его, хотя, прощаясь съ нею, не одну слезу ея выпилъ онъ жадными устами. Въ его памяти врѣзались обѣ эти женщины вмѣстѣ : одна улыбавшаяся, другая съ лицемъ закрытымъ рукою, и обѣ, помимо его воли, безпрестанно рисовались въ его воображеніи. Однако, по мѣрѣ того какъ онъ удалялся отъ Москвы, мысль о Ельцовой побѣдила призраки, и одна, безраздѣльно занявъ всѣ чувства его, царствовала въ душѣ его.

ГЛАВА V.

Что сказать о пріѣздѣ Валентина въ деревню? Вся семья встрѣтила его съ той любовью, къ которой онъ привыкъ съ дѣтства. Обожаніе, которымъ онъ былъ окруженъ, было ему не новостію, и онъ понялъ, что любовь эта, чуждая притязаній, далекая отъ всего, что бы походило на требовательность, тѣмъ не менѣе обязывала его ко многому. Внутренно онъ рвался въ Москву, но тщательно скрывалъ это желаніе. Вѣроятно, оно было слишкомъ замѣтно, потому что мать его сдѣлалась еще печальнѣе, а Ипполитъ Андреевичъ молча удалялся отъ него, и ни разу не поговорилъ съ нимъ откровенно, хотя и не скрывалъ перемѣны своего обращенія съ нимъ. Быть можетъ, онъ рѣшился бы сказать ему свое мнѣніе, но Валентинъ избѣгалъ всякаго разговора о Москвѣ. Прошелъ мѣсяцъ, прошла половина другаго — Валентинъ не ѣлъ, не спалъ, худѣлъ съ каждымъ днемъ, но не рѣшался объявить о своемъ отъѣздѣ. Однажды мать пришла къ нему, и просила его ѣхать въ Москву, говоря, что его здоровье дороже

ей всего на свѣтѣ. Сказавъ это, она не могла удержать слезъ, и вышла изъ комнаты. Валентинъ не могъ утѣшить ее ничѣмъ, ни ласками, ни увѣреніями; она плакала и молчала. Видя, что все напрасно, онъ сталъ звать ее въ Москву, и, взявъ съ нея слово, что она пріѣдетъ черезъ недѣлю, поспѣшилъ уѣхать. Ипполитъ Андреевичъ вызвался ѣхать съ нимъ, и молчалъ въ продолженіе всей дороги. Впрочемъ Валентинъ не желалъ говорить — сердце его было полно. Онъ боялся за мать, онъ упрекалъ себя, и однако летѣлъ въ Москву, и приближался къ ней съ возраставшимъ волненіемъ. Когда онъ увидѣлъ заставу, сердце его забилось такъ сильно, какъ будто хотѣло выпрыгнуть изъ груди, и хотя едва разсвѣтало, онъ торопилъ ямщика, какъ будто въѣхать въ городъ и быть у Ельцовой значило одно и то же. Но его ждала еще одна остановка. Войдя въ свою половину, онъ нашелъ ее занятою. Леонъ Армалевъ спалъ на его постели, а люди сказали ему, что онъ пріѣхалъ въ отпускъ, и поселился въ его комнатахъ. Свиданіе ихъ было очень радостно. Леонъ замѣтилъ Валентину, что онъ похорошѣлъ, а тотъ въ свою очередь нашелъ, что другъ его возмужалъ. Къ тому же онъ былъ одѣтъ по послѣдней модѣ; его стройная талія и высокій ростъ придавали его осанкѣ нѣчто щеголеватое. Казалось, Армалевъ зналъ, какъ нельзя лучше, что онъ хорошъ собою, ловокъ и умѣетъ нравиться женщинамъ. Онъ улыбнулся съ самодовольствіемъ на замѣчанія Валентина, и, поправляя кудри свои рукою, сказалъ небрежно, но съ добродушною хвастливостію:

— Да, въ Петербургѣ я иногда нравился женщинамъ. Впрочемъ нельзя не признаться, что не надо много ума, чтобъ свести *ихъ* съ ума.

— Э! сказалъ Валентинъ, смѣясь, да ты, кажется, человѣкъ опытный въ этихъ дѣлахъ.

— Не совсѣмъ опытный, но и не новичекъ, отвѣчалъ онъ, смѣясь.

Друзья принялись завтракать; пошли разспросы и разсказы; Валентинъ заключилъ изъ словъ Леона, что онъ имѣлъ въ Петербургѣ положеніе пріятное, и, вѣроятно, пользовался успѣхомъ въ обществѣ. Онъ рѣшился ѣхать въ отпускъ, чтобъ повеселиться, а главное — выпросить денегъ у отца, потому что былъ много долженъ; къ несчастію, отецъ его еще не возвращался изъ деревни, и Армалевъ, въ ожиданіи его пріѣзда, поссился у Валентина. Долго говорили пріятели, и Леонъ дивился, что Валентинъ, имѣя большое состояніе, можетъ жить такъ долго въ Москвѣ.

— Ты богатъ не кстати, повторялъ онъ, и не знаешь цѣны деньгамъ.

— Ты думаешь? говорилъ Валентинъ, улыбаясь.

— Не думаю, а вижу.

Ипполитъ Андреевичъ вошелъ въ кабинетъ, и Валентинъ, радуясь этому случаю, тотчасъ вышелъ, и спѣшилъ переодѣться. Когда онъ явился въ щегольскомъ утреннемъ туалетѣ, Армалевъ вскочилъ.

— Ба, ба, ба! сказалъ онъ: куда это? И какъ раз-

одѣлся, будто на свадьбу или на парадъ. Куда ты ѣдешь?

— Съ визитами.

Армалевъ разразился громкимъ хохотомъ.

— Съ визитами, повторилъ онъ, къ крайнему смущенію Валентина. Сей-часъ изъ деревни, ѣхалъ двое сутокъ, не спалъ двѣ ночи, и ѣдетъ съ визитами! Да который теперь часъ?

— Одиннадцать, сказалъ Ипполитъ Андреевичъ грустно.

— Къ кому жъ ты ѣдешь? спросилъ Армалевъ у Валентина.

— Мало ли къ кому? Ко многимъ близкимъ знакомымъ.

— А въ кого влюбленъ? говори сей-часъ, приталъ Армалевъ.

— Полно дурачиться, сказалъ Валентинъ, и взялъ шляпу.

Ипполитъ Андреевичъ, скажите, въ кого онъ влюбленъ?

— Онъ мнѣ этого не говорилъ, отвѣчалъ старикъ съ такимъ сокрушеннымъ сердцемъ, что Армалевъ померъ опять со смѣху.

— Ну! вы всѣ, какъ и прежде, продолжаете жить въ Аркадіи. Нынче впрочемъ я все узнаю, и, если вамъ угодно, Ипполитъ Андреевичъ, раздѣлю съ вами эту великую тайну.

— Шутъ! прервалъ Валентинъ, стараясь засмѣяться, и вышелъ изъ комнаты, не дожидаясь отвѣта.

Ипполитъ Андреевичъ придвинулся къ Армалеву, и сталъ что-то ему разсказывать ; разговоръ ихъ былъ довольно серьезенъ, по крайней мѣрѣ со стороны старика, хотя Армалевъ часто улыбался. Наконецъ онъ всталъ, говоря:

— А вотъ увидимъ. Быть можетъ, я помогу вамъ.

— Но какъ ? сказалъ Ипполитъ Андреевичъ: мы ужъ не мало думали.

— Увидимъ, увидимъ, дайте оглядѣться. Способовъ много.

— Дай-то Богъ! отвѣчалъ старикъ со вздохомъ.

Между тѣмъ Валентинъ съ разу вбѣжалъ на лѣстницу Ельцовой, и, бросивъ, мимоходомъ, лакею, отворившему ему дверь, вопросъ: «Всѣ здоровы»? пошелъ впередъ, и, черезъ минуту, не помня себя отъ счастія, осыпалъ поцѣлуями руки своей возлюбленной. Она тоже очень ему обрадовалась и, послѣ первыхъ восторговъ свиданія, сказала:

— А какъ я скучала безъ тебя! не знала что дѣлать! Въ городѣ тоска смертельная: никого нѣтъ, всѣ разъѣхались. Отъ скуки я всякій день ѣздила на гулянья, и они мнѣ ужасно надоѣли. Теперь я отдохну съ тобою отъ этой тоски.

— Душа моя! отвѣчалъ онъ: я самъ страшно тосковалъ по тебѣ.

— Да, а пробылъ шесть недѣль въ деревнѣ.

— Что дѣлать ? Мать....

— Знаю, знаю; будь увѣренъ, что я постаралась бы

наказать тебя, но бѣда въ томъ, что всѣ разъѣхались. Въ городѣ ни души, кромѣ маленькаго Минаева — онъ давно ужъ надоѣлъ мнѣ. Жлала Симанскаго — не пріѣзжалъ еще.

— Какъ хорошо! но теперь ужъ поздно — и я знаю тебя — все это шутки, шалости отъ бездѣлья.

— Разумѣется, сказала она, разсѣянно перебирая кудри волосъ его, и навивая ихъ на свой розовый пальчикъ.

— Вотъ шелковые волосы! проговорила она машинально, и принялась опять болтать, разспрашивать его, шутить и смѣяться. Онъ провелъ у ней все утро и обѣщался пріѣхать тотчасъ послѣ обѣда, отказываясь обѣдать съ ней, потому что пріятель его пріѣхалъ изъ Петербурга, и живетъ у него.

— Кто такой? спросила она живо.

— Леонъ Армалевъ.

— А! слыхала — твой старый товарищъ.

— Именно. Хочешь, я какъ-нибудь на дняхъ познакомлю тебя съ нимъ?

— Пожалуста; я буду очень рада. Въ городѣ скучно, онъ разсѣетъ меня. Ужъ лучше привези его нынче вечеромъ.

— Тебѣ скучно и со мною? спросилъ Валентинъ съ легкимъ укоромъ: а я думалъ, что мы проведемъ вечеръ вдвоемъ.

— Опять! опять за то же! возразила она. Не забудь, что какъ ни мало знакомыхъ въ городѣ, все же по

вечерамъ набиралось у меня человѣка два, три. Не могу же я вдругъ запереть домъ свой, потому что ты пріѣхалъ.

Валентинъ обѣщалъ пріѣхать съ Армалевымъ, и, возвращаясь домой, разсуждалъ о томъ, какъ ему избавиться отъ насмѣшекъ друга. Онъ рѣшился сказать ему, что занятъ Ельцовой, думая, между прочимъ, что не могъ же онъ не узнать того, что̀ знаетъ весь городъ, и что, повѣривъ ему часть правды, избѣгнетъ неминуемыхъ шутокъ и остротъ.

— Леонъ, сказалъ онъ, входя въ кабинетъ свой, и садясь подлѣ пріятеля: я рѣшился говорить съ тобою откровенно, только не шути — шутки будутъ не у мѣста.

— Что такъ трагически? спросилъ Армалевъ, но, взглянувъ на него, прибавилъ серьезно: слушаю.

— Леонъ, ты угадалъ: я люблю одну женщину.

— Далѣе? спросилъ Армалевъ.

— Я ей много говорилъ о тебѣ — она желаетъ съ тобой познакомиться. Хочешь ѣхать къ ней нынче вечеромъ?

— Очень охотно. Кто она?

— Ельцова.

— А! да я много слыхалъ о ней. Говорятъ, она ужасная кокетка и большая красавица.

— Полно, Леонъ! это чистая клевета. Она удивительно хороша собою, и красоту ея едва ли не сочли за кокетство; она безпечна, какъ дитя, и это назвали легкомысліемъ. Нѣтъ, не вѣрь всему этому!

— Да изъ чего же ты горячишься? сказалъ Армалевъ. По моему, женщинѣ не мѣшаетъ быть кокеткой, а если она жива и беззаботна, то и слава Богу: не искать же педантовъ въ юбкахъ. Только всему есть мѣра, а если она порядочно воспитанная женщина, то вѣрю, что должна быть очень мила. Но о чемъ хотѣлъ ты говорить со мною?

— Я все сказалъ, отвѣчалъ Валентинъ. Чего жъ тебѣ больше? Я показалъ тебѣ неограниченную довѣренность. Никому, кромѣ тебя, я еще не говорилъ о любви моей. Надѣюсь, что ты не выдашь меня, и сохранишь мою тайну.

— Чудакъ ты, дитя мое! сказалъ Армалевъ полушутя, полусерьезно. Не выдавай я его тайны, когда, вѣроятно, всѣ на свѣтѣ знаютъ ее.

— Почему ты это думаешь? Конечно, въ свѣтѣ могли угадать...

— Угадать! помилуй, да на лбу твоемъ огромными буквами напечатано слово: я влюбленъ.

— Пустяки!

— Да вѣдь угадалъ же я тотчасъ, безъ твоего признанія, что ты влюбленъ.

— Ну, хорошо, хорошо; только ты никому не говори.

— Не имѣю привычки выдавать товарища, будь покоенъ, и хотя бы цѣлый городъ кричалъ о любви твоей, я, пожалуй, буду увѣрять всѣхъ въ противномъ.

Вечеромъ, когда Армалевъ и Валентинъ явились къ Ельцовой, она приняла ихъ въ кабинетѣ; съ ней не было, по обыкновенію, ни матери, ни кузины, и она объявила, что желаетъ провести весь вечеръ за-просто, съ Валентиномъ и другомъ его.

— Я хочу познакомиться съ вами короче, сказала она, бросая на Леона одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, которые приводили Валентина въ восторгъ и упоеніе: Огинскій такъ часто говорилъ мнѣ объ васъ, что, признаюсь, я ожидала васъ съ нетерпѣніемъ; друзья его не могутъ быть мнѣ чужды; онъ въ домѣ нашемъ — человѣкъ близкій.

Армалевъ наклонился вѣжливо, и разговоръ завязался. Нельзя описать его; онъ былъ не связенъ, игривъ, остроуменъ и легокъ; никогда Ельцова не была любезнѣе, забавнѣе, а съ Валентиномъ нѣжнѣе. Она безпрестанно старалась показать свою короткость съ нимъ, будто желая возбудить въ Армалевѣ нѣкоторую зависть. Словомъ, она вся была въ тотъ вечеръ воплощенное кокетство. Случилось такъ, что, отвѣчая на какой-то вопросъ Валентина, она слегка ударила его по рукѣ, большимъ бумажнымъ вѣеромъ, которымъ безпрестанно махала. Пользуясь этимъ случаемъ, Валентинъ поцѣловалъ ея руку. Она не спѣшила отнять ее, и, украдкой, взглянула на Армалева.

— Вижу, вижу, отвѣчалъ онъ, смѣясь, и теперь знаю, до какой степени Валентинъ сдѣлался баловнемъ судьбы и Московскихъ дамъ.

— Развѣ вы думаете, что всѣ такъ балуютъ его,

какъ я? спросила она, кокетничая взорами и голосомъ, и обращаясь къ обоимъ.

— Если судить обо всѣхъ по тому, что вижу здѣсь, то — конечно.

— Напрасно, сказалъ Валентинъ: я не ѣзжу много въ свѣтъ, и предпочитаю шумнымъ обществамъ интимную жизнь кружка.

— Очень сожалѣю, замѣтилъ Армалевъ, что ты дѣлаешь эту глупость.

— Отъ чего это? спросила живо Ельцова.

— А отъ того, отвѣчалъ Армалевъ, что мужчина долженъ быть вездѣ, видѣть людей, ознакомиться съ женщинами, и цѣнить ихъ по достоинству, прибавилъ онъ съ легкимъ, едва замѣтнымъ оттѣнкомъ иронiи.

— Не давайте ему дурныхъ совѣтовъ, сказала Ельцова, надувая граціозно губки. Этого я никогда не прощу вамъ.

— Я былъ бы очень несчастливъ, если бъ навлекъ на себя гнѣвъ вашъ, продолжалъ Армалевъ на тотъ же тонъ: но позвольте мнѣ противорѣчить вамъ. Гдѣ жъ они, мои дурные совѣты?

— Развѣ вы не хотите лишить меня постояннаго посѣтителя, друга дома?

— Нисколько; впрочемъ, кажется, если бы я и могъ имѣть это намѣреніе, я остался бы при немъ, и не успѣлъ бы. Если я не слѣпъ, онъ давно у ногъ вашихъ.

Она посмотрѣла на коверъ и на кончикъ длинной, тонкой, удивительно стройной ножки своей, выглянувшей въ эту минуту изъ-подъ мягкихъ складокъ кисейнаго платья, и сказала по-дѣтски, подражая словамъ Армалева:

— Не знаю, но, если я не слѣпа, то не вижу никого и ничего у ногъ своихъ.

— Позвольте, сказалъ Валентинъ шутя, и сталъ передъ ней на одно колѣно.

— Дитя! проговорила она, дѣлая ему знакъ рукою: вы сей часъ рады случаю. Что подумаетъ о насъ вашъ пріятель?

— Развѣ я дикарь? отвѣчалъ Армалевъ съ той же едва замѣтной ироніей въ голосѣ, которую сохранилъ въ продолженіе всего вечера. Уже ли вы считаете меня неспособнымъ понять, что видѣть Валентина подлѣ васъ, и видѣть его у ногъ вашихъ — значитъ одно и то же.

Она улыбнулась, какъ улыбалась всегда.

— Знаете ли, что? сказала она: онъ часто говорилъ мнѣ объ васъ, и я воображала васъ совсѣмъ другимъ.

— Можно ли узнать — какимъ?

— Конечно — я откровенна.

— Будто?

— Право — судите сами. Я воображала, что вы серьезны, разсудительны, ужасно насмѣшливы и безпощадны, ничему не вѣрите; а теперь вижу, что васъ бояться нечего: вы премилый и очень любезный молодой человѣкъ.

— Пощадите меня, прошу васъ: такъ и жду, что вы довершите ударъ, назвавъ меня добрымъ малымъ или красивымъ мужчиной.

— Такъ что жъ такое! Соглашаюсь, что названіе добраго малаго не лестно, но въ названіи красиваго мужчины вамъ отказать невозможно.

— Благодарю; по моему — это синонимъ...

— Чего? сказала она, посматривая на него лукаво.

— Человѣка пошлаго.

— Вотъ выдумалъ! воскликнулъ Валентинъ, смѣясь. Именно о тебѣ этого сказать невозможно: ты имѣешь свою оригинальность.

— Но не здѣсь, не нынче.

— Что это значитъ? спросила Ельцова.

— Впрочемъ виноватъ не я, а вы.

— Я не понимаю, возразила она.

— Я объясняюсь. Вы, вся ваша особа просите комплимента, ждете его, требуете. Не мудрено, что я уступилъ этому требованію, и, если не ошибаюсь, попалъ нынче въ общую колею; кажется, я также сказалъ вамъ нѣсколько фразъ въ этомъ родѣ или, по крайней мѣрѣ, такихъ, которыя вы могли счесть комплиментами.

— Comme c'est aimable ! вы сожалѣете ?

— Сожалѣю — не о себѣ, но о васъ.

— Обо мнѣ ! сказала она съ досадой: оставьте напрасныя сожалѣнія. Впрочемъ, я понимаю — vous voulez faire de l'originalité.

— Вы хотите уколоть меня — напрасный трудъ. Я сожалѣю о васъ потому, что вы принуждены слушать часто одно и то же. Согласитесь, что какъ бы вкусно блюдо ни было, оно прѣстся, если его будутъ подавать всякій день. Вы улыбаетесь ! быть можетъ, я ошибся: лесть — такое блюдо, которое никогда не наскучитъ самолюбію женщины

— Я часто улыбаюсь такъ — безъ мысли.

— По привычкѣ, стало быть — потому что улыбка идетъ къ вашей физіономіи, и вы это, какъ не льзя лучше, знаете.

— Еще бы не знать? замѣтила она, шутя.

— Не увѣряйте — я знаю, сказалъ Армалевъ.

— Вы, кажется, все знаете. Въ такомъ случаѣ, скажите мнѣ откровенно, какого вы обо мнѣ мнѣнія?

— Отличнаго, отвѣчалъ онъ съ скользившей на губахъ улыбкой.

— Нѣтъ, подробно. Одно слово ничего не говоритъ.

— Извольте, я скажу вамъ мое мнѣніе о васъ, только не теперь, а черезъ недѣлю или двѣ. Вы ничего не потеряете отъ этой отсрочки: оно будетъ полнѣе и рѣзче.

— Даете слово сказать всю правду?

— Даю.

— И такъ, по рукамъ.

Она хлопнула своей маленькой ручкой по его ладони; онъ безцеремонно поймалъ ее, взялъ на свою руку, разсмотрѣлъ пристально, и, сказавъ — очень хорошенькая ручка, поцѣловалъ ее. Ельцова улыбнулась; Валентинъ покраснѣлъ: ему не нравилась такая вольная короткость послѣ двухъ часовъ знакомства.

— Видите, видите, сказалъ Армалевъ, смѣясь — та же самая улыбка!

— Ну, что жъ? спросила она.

— Улыбка ваша говоритъ: я сама знаю, что моя рука удивительно хороша по своей формѣ, бѣлизнѣ и прозрачности. Я потому и хлопнула по рукамъ безъ особенной нужды, чтобъ ее замѣтили — ну, и благополучно достигла цѣли. Улыбка говоритъ еще: я знаю, что я красавица, и добросовѣстно исполняю это назначеніе; всякій, кто входитъ сюда, долженъ обожать меня, во что бы то ни стало.

— Какой вздоръ! сказала она, смѣясь и играя вѣеромъ. Она встала, пошла къ двери, говоря: пора бы чаю, и, проходя мимо зеркала, невольно заглянула въ него, и поправила двѣ-три букли.

— А долго вы всякое утро сидите у зеркала? спросилъ Армалевъ.

— Какъ случится, отвѣчала она.

— Боже ты мой! сказалъ онъ: какая, подумаешь, тяжкая должность желать нравиться всѣмъ, и какъ это не надоѣстъ вамъ!

— Вы надоѣдите мнѣ, если будете продолжать свои замѣчанія. Оставьте ихъ для себя.

— Не могу, сказалъ Армалевъ: я не пропущу теперь ни одного словечка вашего, ни одного взгляда. Развѣ вы забыли, что черезъ недѣлю я долженъ сказать вамъ свое мнѣніе о васъ. Впрочемъ, это будетъ не трудно — я вижу васъ насквозь.

— Какая претензія! сказала она, улыбаясь почти презрительно и надменно.

— Право, замѣтилъ Армалевъ, принимая вдругъ тонъ простоты и чистосердечія: въ васъ нѣтъ ничего загадочнаго или возбуждающаго любопытство.

— Ну, хорошо, возразила она: я не спрашиваю еще вашего мнѣнія; вы его скажете послѣ, когда я этого потребую. N'anticipez pas.

— Слушаю, отвѣчалъ Армалевъ, и понимаю, что не могу имѣть этого права, не получивъ на то вашего приказанія.

Валентинъ начиналъ сердиться. Это обращеніе Армалева съ нею, полунасмѣшливый, полушутливый тонъ ему не нравились. Онъ мало говорилъ и, часто, нахмуривъ брови, смотрѣлъ на друга. Ельцова замѣтила это, и, желая ли выместить на Валентинѣ свою досаду на Армалева, или просто для забавы и отъ нечего дѣлать, принялась шутить надъ его грознымъ видомъ. Армалевъ не поддержалъ такого настроенія въ разговорѣ, и онъ упалъ самъ собою, послѣ двухъ-трехъ шутокъ ея. Остальной вечеръ прошелъ въ разспросахъ о Петербургскихъ праздникахъ, театрахъ, обществѣ. Армалевъ первый напомнилъ Валентину, что пора ѣхать домой, и хотя она увѣряла, что еще не поздно, онъ всталъ и простился. Валентину было неловко остаться: онъ пошелъ за нимъ, и молчалъ во всю дорогу.

— Признаюсь, сказалъ онъ Армалеву, когда они усѣлись въ длинныхъ креслахъ его кабинета: если у васъ въ Петербургѣ такой тонъ, то не могу тебя поздравить.

— А что? спросилъ Армалевъ спокойно.

— Да ты какъ-то неутомимо дерзокъ; въ тонѣ твоемъ проглядываетъ что-то черезъ чуръ вольное и насмѣшливое.

— Что жъ? Это зависитъ отъ женщины: если она позволяетъ?

— Молодой женщинѣ трудно сладить съ мужчиной.

— Совсѣмъ не трудно; впрочемъ, оставимъ это. Скажи мнѣ, ты скоро ей понравился?

— Почему ты знаешь, что я ей нравлюсь? спросилъ Валентинъ не совсѣмъ спокойно.

— Да, кажется, она этого не скрываетъ, и старалась довольно ясно показать мнѣ свои отношенія къ тебѣ.

— Какія? спросилъ онъ, вспыхнувъ.

— Обыкновенно какія. Ну, что жъ! я тутъ большой бѣды не вижу: только такая женщина и можетъ вылечить тебя отъ твоей сантиментальной глупости.

— Великій Боже! сказалъ Валентинъ, вскочивъ съ кресла: такъ ты воображаешь, что я способенъ на такую низость! она замужняя женщина, и я рѣшусь навлечь на нее всеобщее осужденіе — кто знаетъ? — погубить ея будущность. Никогда! я ужъ не говорю о томъ, что я дальновиднѣе тебя, не сужу о женщинѣ по двумъ-тремъ шуткамъ, уважаю ее, и не хочу унизить до тѣхъ преступныхъ отношеній, которыя существуютъ, можетъ быть, но они не въ моихъ правилахъ.

— Ну! сказалъ Армалевъ, послѣ долгаго молчанія: я думалъ, что ты простъ, но ужъ не до такой степени. Скажи же мнѣ теперь, что ты тамъ дѣлаешь?

— Я люблю ее. Что же мнѣ дѣлать, если я узналъ ее поздно, если между ею и мною непреоборимое препятствіе?

— Въ такомъ случаѣ оставь ее!

— Не могу. Но если она когда нибудь будетъ свободна, тогда.....

— Ну, до этого долго; до тѣхъ поръ она, вѣроятно, разлюбитъ тебя, и полюбитъ другаго, который будетъ опытнѣе тебя и.....

— Замолчи! возразилъ Валентинъ горячо и гнѣвно: я не позволю тебѣ оскорблять ее.

— Послушай, отвѣчалъ Армалевъ спокойно, набивая трубку—или я очень ошибаюсь, или она одна изъ тѣхъ женщинъ, которыя . . . . какъ бы сказать, не оскорбляя тебя?.... Ну, она не такъ воспитана, какъ ты. Сочувствіе душъ само по себѣ, а любовь, любовь дѣйствительная — она тоже не прочь отъ ней. Если она полюбитъ тебя, то скоро разлюбитъ, увѣрясь, что ты не понимаешь ея, а быть можетъ, что она и вовсе не любитъ тебя, и водитъ за носъ на показъ другимъ, изъ одного тщеславія. Тщеславіе одна изъ живыхъ струнъ въ организма; все другое или спитъ въ ней, или вовсе не существуетъ.

— Какъ ты ошибаешься! возразилъ Валентинъ съ вѣрностію. Она слишкомъ уважаетъ себя, уважаетъ свои обязанности, чтобы рѣшиться.....

— Полно, полно городить вздоръ: повѣрь, что она будетъ счастлива по-своему; только она изъ породы кошекъ, звѣря коварнаго. Сперва ее надо знать наиз-

устъ, а потомъ позволить себѣ любить ее. Иначе можетъ выдти плохо: она опасна, и какъ разъ одурачитъ. Она хитра — проведетъ, хуже того, осмѣетъ. Не знаю какъ ты, а я бы себя осмѣять не позволилъ.

— Ты думаешь, что я.... Что меня осмѣять легко?

— Не думаю, а увѣренъ.

— Поздравляю! Кто говоритъ о насъ самое дикое мнѣніе? — другъ! — Кто толкуетъ въ дурную сторону наши поступки, мнѣнія, любовь? — другъ! — Дружба въ наше время — да это позоръ, это.....

— Правда, маркизы Позы вывелись, или лучше никогда не существовали; но не въ томъ дѣло. Я люблю доказательства — хочешь ли доказательствъ тому, что я правъ?

— Хочу, сказалъ Валентинъ отрывисто.

— Прекрасно. Предлагаю тебѣ планъ дѣйствій. Я постараюсь понравиться твоей богинѣ, и держу пари, что въ теченіе мѣсяца совершенно уничтожу тебя.

Валентинъ молчалъ.

— Что жъ ты молчишь?

— Удивляюсь твоему глубокомыслію, знанію людей, знанію сердца, сказалъ Валентинъ съ ироніей.

— Удивляйся, не мѣшаю, но прошу твоего согласія: позволь мнѣ за ней приволокнуться.

— Мнѣ стыдно за себя, сказалъ Валентинъ, что я могъ говорить съ тобою о любви моей. Будто ты знаешь, что такое любовь? Мнѣ жаль тебя — такъ молодъ и такъ сухъ!

— Много словъ и мало толку! отвѣчалъ онъ, приготовляясь лечь въ постель.

— Не признавать такой любви, какъ наша! Она достойна уваженія — я горжусь ею.

— Не пришлось бы гордиться одному! сказалъ Армалевъ.

Онъ легъ въ постель и закурилъ сигару. Валентинъ ходилъ по комнатѣ.

— Что ты хочешь этимъ сказать? спросилъ онъ наконецъ.

— Повторенія весьма скучны, отвѣчалъ Армалевъ: я говорю, что ей, вѣроятно, наскучило играть въ любовь, и она оставитъ тебя одного въ томъ заоблачномъ мірѣ, въ которомъ ты витаешь.

— Хорошо! сказалъ Валентинъ — я увѣренъ въ ней.

— А если увѣренъ, такъ зачѣмъ же не хочешь позволить мнѣ попробовать счастія?

— Пожалуй — не для себя, не для нея, а чтобы заставить тебя уважать ее, я прошу тебя волочиться за нею. Кромѣ обыкновенныхъ любезностей, ты ничего у ней не вымолишь, я это знаю.

— Увидимъ, сказалъ Армалевъ: только съ уговоромъ — ей ни слова. Я не буду мѣшать тебѣ — не мѣшай же и ты мнѣ. Твое дѣло сторона.

— Даю слово. Знаю, она будетъ шалить, кокетничать, но серьезнаго чувства тебѣ не вызвать.

— Соглашаюсь, но потому только, что его нѣтъ у ней; да мнѣ его и не надо. Ну, а цѣли я достигну.

Доброй ночи, Валентинъ — я ужасно усталъ. Завтра мирный бой и не сердись, если...

— Сердиться! Да если бы ты былъ правъ, я бы тебя благодарилъ за то, что ты открылъ мнѣ глаза. Самъ не сердись на нее, когда будешь побитъ на-голову.

— Ладно! сказалъ Армалевъ: помни слова свои; а я никогда не сержусь, потому что серьезнаго интереса не полагаю въ дѣлахъ такого рода. Я и прежде мирился со многимъ, а теперь помирился со всѣми и всѣмъ, и не могу пожаловаться на жизнь свою.

На другой день утромъ Валентинъ заѣхалъ къ Ельцовой; она много говорила объ Армалевѣ, и много о немъ разспрашивала; со всѣмъ тѣмъ ея отзывы о немъ не были совершенно въ его пользу; его умъ, холодный и насмѣшливый, ей не нравился; его пріемы, съ оттѣнкомъ иронiи, показались ей неестественными, а тонъ его вычурнымъ. Валентинъ слегка защитилъ друга; но втайнѣ былъ доволенъ такимъ мнѣнiемъ. Всякая тѣнь подозрѣнiя или ревности, къ которымъ онъ впрочемъ былъ не склоненъ, исчезла изъ ума его, и онъ безъ опасенiя ожидалъ вечера, когда Армалевъ долженъ былъ повести условленную атаку. Прошла недѣля, прошла другая, въ продолженiе которыхъ Армалевъ бывалъ всякiй день у Ельцовой, и всякiй день становился все насмѣшливѣе, вольнѣе и смѣлѣе, хотя его и нельзя было упрекнуть ни въ какомъ грубомъ словѣ или дерзкой выходкѣ. За то всѣ его поступки, вся осанка дышала гордымъ пренебреженiемъ; онъ шутилъ не только съ Ельцовой, но и надъ нею, и всякое ея слово, всякое

движеніе вызывало или остроту его или злую иронію. Онъ не придавалъ, повидимому, никакой важности своимъ съ нею отношеніямъ, и вовсе не искалъ случая говорить съ нею, тогда какъ она видимо искала этого случая и не отказывалась отъ намѣренія ему нравиться. Чѣмъ больше онъ удалялся отъ нея, тѣмъ болѣе она искала повода съ нимъ сблизиться. Однажды онъ пріѣхалъ къ ней такъ рано, что еще никого не было, даже Валентина, и, спросивъ у матери ея, гдѣ она, пошелъ прямо къ кабинету. Дверь была затворена — онъ постучался.

— Кто тамъ? послышался голосъ Ельцовой.

— Это я, Клавдія Ѳедоровна, отвѣчалъ онъ: можно войти?

— Я причесываюсь.

— Ну, такъ что жъ такое? я войду.

Онъ отворилъ дверь, не дожидаясь отвѣта, и вошелъ. Она сидѣла передъ туалетомъ — французская субретка причесывала ее.

— Вотъ и я! сказалъ Армалевъ, пожимая ея руку. Вы писали ко мнѣ, чтобъ я пріѣхалъ раньше: кажется, я аккуратенъ. Что вамъ надо?

При этомъ неожиданномъ и такъ ясно поставленномъ вопросѣ, она взглянула на него, и сказала, смѣясь:

— Ахъ, Боже мой! ничего, ровно ничего. Развѣ ужъ не льзя позвать къ себѣ вечеромъ кого нибудь иначе, какъ имѣя дѣло. Вотъ новости!

— Развѣ вы думаете, что у меня нѣтъ другаго дѣла, какъ ѣздить на вечера?

— Не думаю и не хочу думать; мнѣ это все равно, и, кажется, вы должны благодарить меня за то, что я желала видѣть васъ у себя.

— Нисколько, сказалъ онъ: я вижу изъ этого только то, что вамъ со мною весело, и, кажется, благодарность остается за вами; я требую, чтобъ вы сейчасъ благодарили меня за то, что я явился. Вы не знаете, чего мнѣ это стоило?

— Чего же?

— Во-первыхъ, я почти полчаса погубилъ на то, чтобы прочесть вашу записку: настоящія мушьи ножки — ни одно слово недописано. Скажите, отъ чего вы не дописываете словъ?

— Вѣроятно потому, что не стараюсь.

— Неправда.

— Такъ почему же?

— Потому, что не знаете орѳографіи. Скажите, какъ же вы не выучились правильно писать?

— Вы нынче такъ дерзки, что силъ нѣтъ, сказала она, и, отвернувшись отъ него, стала поправлять свои букли.

— Во-вторыхъ, я не спалъ послѣ обѣда, а это разстроиваетъ вечеръ мой, продолжалъ онъ спокойно; въ-третьихъ, я нынче званъ на другой вечеръ, и хотѣлъ непремѣнно ѣхать туда. Благодарите же меня тотчасъ, или я уѣду... Я жду, прибавилъ онъ настойчиво.

— Не хочу, отвѣчала она, смѣясь: вотъ требованія!

— Такъ прощайте! Онъ пошелъ къ двери полушутя, полусерьезно.

— Ну, полноте дурачиться, сказала она вслѣдъ ему: останьтесь!

— Скажите, что вы благодарны мнѣ.

— Ахъ, какой несносный! ну, пожалуй, благодарна. Довольны ли вы? Садитесь, вотъ тутъ.

Она показала ему на кресло; онъ сѣлъ, протянулъ спокойно ноги, и зѣвнулъ.

— Это обычай русскихъ? спросила она.

— Что? сказалъ онъ.

— Зѣвать!

— Обычай всѣхъ странъ, когда кто не спалъ послѣ обѣда, и въ добавокъ не слишкомъ веселъ въ настоящую минуту.

— Ужъ не хотите ли вы, чтобъ я занимала васъ?

— А почему же нѣтъ? Вѣдь вы же звали меня къ себѣ: ваша обязанность, кажется, сдѣлавъ это, занимать меня.

— Скорѣе соглашусь умереть, чѣмъ опять напишу къ вамъ записку, сказала она съ досадой.

— И, полноте! завтра же, если я не пріѣду къ вамъ, меркуріи опять залетаютъ.

Она захохотала.

— Вы зовете меркуріями мои записки? Это оригинально. Меркурій, кажется, кумиръ какихъ-то древнихъ; вы, стало быть, считаете кумиромъ мою записку?

— Меркурій божество пословъ, и я считаю въ такомъ случаѣ кумиромъ не записку вашу, а вашего Василья или Ѳедота, или какъ его?

— Alexis.

— То есть: Алексѣй, не во гнѣвъ вамъ будь сказано. И русскаго-то имени вы сказать не умѣете. Объясните же мнѣ на милость: чему васъ учили?

— Вы мнѣ надоѣли!

— Это не отвѣтъ; что ни слово, то ложь; я совсѣмъ не надоѣлъ вамъ. А что это такое? продолжалъ онъ, взявъ изъ рукъ ея горничной черную косыночку, которую та хотѣла наколоть ей на голову — это что за тряпка?

— Вы съ ума сошли, сказала она ему по-нѣмецки: моя дѣвушка можетъ подумать Богъ вѣсть что; оставьте косынку.

— Ай, ай, ай, возразилъ онъ, смѣясь: ради Бога не говорите по-нѣмецки—вы говорите какъ, какъ....

— Безъ сравненій, сказала она, краснѣя отъ досады.

— Пожалуй, только не срамите себя, говоря на другомъ языкѣ. Вы только и знаете, что говорить по-французски. Останьтесь же при этомъ. А этой тряпки вы не надѣнете.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Да. Для кого вы нынче одѣваетесь? Уже ли для Валентина? Вы знаете, что какъ бы вы ни одѣлись, это дитя всегда будетъ смотрѣть на васъ благоговѣйно, стало быть не для него. Или для Змѣева и Миняева?— Но вы такъ издѣваетесь надъ ними, что предположить этого не возможно. Стало быть, вы одѣваетесь для меня, а я не хочу этой тряпки на головѣ вашей.

— Qu' ordonne Madame? спросила субретка, стоя позади своей госпожи.

— Надѣньте вотъ это, сказалъ Армалевъ, указывая на бѣлыя кружевныя лопасти, лежавшія на уборномъ столѣ.

Ловкая служанка замѣтила его движеніе, взяла кружево, и наколола его на голову улыбавшейся госпожи своей.

— Какой вы надежный другъ, сказала Ельцова Армалеву.

— Какой бы я ни былъ, все же на меня можно больше положиться, чѣмъ на васъ.

— Кажется, я не говорила объ Огинскомъ.

— Въ томъ-то и дѣло, что не говорили, а я сказалъ только, что онъ—дитя, и готовъ повторить при немъ, что не разъ уже говорилъ ему.

— Воображаю, что́ вы ему говорите.

— Воображайте.

— Я думаю—ужасы!

— Напрасный трудъ, Клавдія Ѳедоровна: вы не заставите меня ничего разсказывать.

— Ахъ, Боже мой, я и не думала.

— Тѣмъ лучше, потому что вы остались бы при желаніи.

Ельцова встала, еще разъ взглянула въ зеркало, и вышла въ гостиную. Скоро многіе пріѣхали, въ томъ числѣ и Валентинъ. Армалевъ, сохраняя свой прониче-скій тонъ, былъ однако при постороннихъ менѣе смѣлъ и дерзокъ; но за то не долго оставался подлѣ нея. Пройдясь по комнатѣ, и разглядывая кое-что на столѣ, онъ подошелъ къ старой хозяйкѣ, и сѣлъ около нея. Скоро

разговоръ ихъ обратился на Ельцову. Кокорина долго разсказывала Армалеву о ней, объ ея качествахъ и красотѣ. Она была неистощима; Армалевъ, если не съ участіемъ, то съ крайнимъ любопытствомъ слушалъ не совсѣмъ умѣстныя похвалы старухи; ея стараніе заставить его замѣтить красоту дочери показалось ему такъ странно, что онъ, согласившись въ этомъ съ нею, пересталъ говорить, и занялся разсматриваніемъ гравюръ, лежавшихъ на столѣ. Замѣтила ли Ельцова, что онъ скучалъ, или просто желала воспользоваться случаемъ, чтобы поговорить съ нимъ, она оставила Валентина съ Змѣевымъ и Миняевымъ, и подошла къ Армалеву.

— Что вы тутъ дѣлаете одни? спросила она тихо.

— Вы видите, смотрю альбомы и гравюры.

— Пойдемте туда къ намъ.

— Чтобъ прибавить число вашихъ поклонниковъ? Нѣтъ, ужъ избавьте: я не люблю попадать въ свиту.

— Какъ хотите! Скучайте здѣсь—я ужъ больше мѣшать вамъ не буду.

— И прекрасно сдѣлаете, тѣмъ больше, что я сейчасъ уѣду.

— Куда это?

— Развѣ я не говорилъ вамъ, что званъ на вечеръ?

— Знаете ли, что вы можете похвастать и упрямствомъ и совершеннымъ отсутствіемъ желанія угодить женщинѣ?

— Не всегда. Уступая теперь вамъ, я бы провинился передъ другой, которой далъ слово.

— Такъ поѣзжайте же, и знайте, что завтра меня не будетъ дома.

— Какъ это кстати! сказалъ онъ: завтра я былъ бы лишенъ удовольствія видѣть васъ — я званъ на дачу къ Зотовымъ.

Онъ поклонился и вышелъ. Весь остальной вечеръ она была капризна, взыскательна, и осыпала насмѣшками гостей своихъ, исключая однако Валентина, къ которому была очень благосклонна. Когда всѣ разъѣхались и они остались одни, она сказала ему:

— Хорошъ вашъ другъ! нечего сказать!

— А что? спросилъ онъ безпокойно. Уже ли онъ позволилъ себѣ сдѣлать вамъ непріятность?

— Ахъ, Боже мой! не горячитесь! въ томъ-то и дѣло, что онъ неуловимъ, и подъ его фразами всегда что нибудь скрыто. Терпѣть не могу такихъ людей.

У Валентина будто гора упала съ плечъ.

— Уменъ, а ужъ куда неразсчетливъ, сказалъ онъ.

— Да едва ли и уменъ; просто, навыкъ свѣтской болтовни и большой запасъ смѣлости: вотъ весь умъ его.

— Нѣтъ, извините, не будьте къ нему несправедливы — и онъ сталъ разсказывать ей многія подробности о пріятелѣ. Она слушала ихъ внимательно; но, прощаясь съ нимъ, звала его одного, не упоминая объ Армалевѣ.

На другой день Армалевъ не явился. Ельцова скучала, и никто не могъ вызвать ея улыбки, ея смѣха;

мимоходомъ узнавъ отъ Валентина, что Армалевъ дѣйствительно на дачѣ, она такъ зло смѣялась надъ нимъ, что Валентинъ почелъ долгомъ вступиться за своего друга. Когда на другой день Армалевъ явился къ ней, она, принявъ его довольно сухо, объявила, что не такъ здорова, и проведетъ весь вечеръ съ нимъ и Огинскимъ. Она сѣла; разговоръ не вязался, не смотря на усилія Валентина. Она дулась и едва отвѣчала Армалеву. Замѣтивъ это, онъ тотчасъ отправился опять къ ея матери, съ которой былъ очень любезенъ. Онъ сыпалъ остроты и шутки, и разсказывалъ какія-то исторіи, заставлявшія старуху смѣяться очень громко. Сперва Ельцова притворилась, будто не замѣчаетъ, что дѣлается въ другомъ углу комнаты, оживилась, разговаривала и шутила съ Валентиномъ, и смѣялась тѣмъ звонкимъ дѣтскимъ смѣхомъ, который многихъ такъ прельщалъ въ ней. Видя однако, что Армалевъ не обращаетъ на нее никакого вниманія, вдругъ стала задумчива.

— Что съ вами? спросилъ у нея Валентинъ съ участіемъ. Сію минуту вы были такъ веселы, а теперь молчите и едва отвѣчаете на мои вопросы.

— Оставьте меня пожалуста, сказала она, капризничая: развѣ я должна быть вѣчно одинакова и давать вамъ отчетъ въ малѣйшемъ измѣненіи нрава?

— Сохрани меня Боже требовать отчета. Я спросилъ изъ участія.

— Поберегите его про себя, возразила она съ досадой. Мнѣ наскучило слушать объ участіи, восторгахъ, Богъ вѣсть о чемъ.

— Клодина, прошепталъ онъ ей почти на ухо: за чѣмъ вы нынче такъ жестко говорите со мною?

— Вы съ ума сошли, отвѣчала она, и, вставъ, отправилась къ столу, гдѣ сидѣла ея мать, которая въ эту самую минуту хохотала на всю комнату.

— Что вы это, Маman? спросила ей Ельцова.

— Армалевъ разсказалъ мнѣ сей-часъ такую исторію, что я едва не умерла со смѣху, отвѣчала она, и принялась опять смѣяться.

— Не льзя ли разсказать ее мнѣ? спросила Ельцова, опираясь рукою на стулъ, въ позѣ, полной граціи.

— Не возможно, отвѣчалъ Армалевъ, вѣжливо предлагая ей стулъ.

— Какъ это мило! сказала она.

— Что жъ дѣлать? возразилъ Армалевъ: анекдотъ мой ужъ черезъ чуръ волененъ, и только по настоятельному желанію вашей матери я ей его передалъ. Старость имѣетъ свои преимущества.

— Если бы ты знала, сказала Кокорина, съ какимъ неподражаемымъ комизмомъ Армалевъ разсказываетъ! Самъ не улыбнулся ни разу—удивительный талантъ! Да разскажите ей! Она нисколько не заражена чопорной недоступностію здѣшнихъ дамъ.

— Да, сказала Ельцова къ совершенному неудовольствію Валентина: все дѣло въ умѣньи разсказать прилично.....

— Неприличность! подхватилъ Валентинъ.

— Именно, сказала она.

Онъ пожалъ плечами, отошелъ, и сѣлъ у окна,

между тѣмъ какъ громкій смѣхъ Кокориной и дочери ея продолжался, прерывая повѣствованіе Армалева.

Черезъ нѣсколько времени Ельцова позвала Валентина; она была опять весела, и сказала ему, смѣясь:

— Voyons — не дуйтесь. Или вы хотите играть роль дѣвицы? Смотрите, какъ бы не стали васъ звать Melle Valentine!

— Называйте меня, какъ хотите; но я не могу понять, какое удовольствіе можно находить въ подобныхъ разговорахъ.

— Не уже ли надо заклеймить гостиную тоскою и мрачностію? Этакъ она была бы всегда пуста.

— Дѣйствительно, вставила свое слово Кокорина. Что бы сталось съ обществомъ, если бъ всѣ были серьезны? Я, признаюсь, ненавижу людей серьезныхъ, въ одномъ отношеніи они все равно, что влюбленные, то есть, крайне скучны и мрачны; то задумчивы и молчаливы, то награждаютъ правоученіями или, если разговорятся, такъ занесутъ такой монологъ, что хоть вонъ бѣги — съ-ума сведутъ!

— Позвольте, вы сказали съ-ума сведутъ, подхватилъ Армалевъ не безъ лукавства и насмѣшки: стало быть, какъ ни скучны влюбленные, они сводятъ же съ-ума; страсть, я слыхалъ, заразительна.

— Да, сказала Кокорина, скукою.

— Маменька врагъ страстей! возразила Ельцова.

— Почему не повеселиться молодежи? продолжала Кокорина. Разумѣется, надо пользоваться жизнію, но безъ крайностей; всѣ эти мелодрамы скучны и гибельны.

Влюбленные требовательны, всегда хотятъ быть вдвоемъ съ предметомъ страсти, хотятъ законодательствовать въ домѣ, а если дѣлается что-нибудь не по нихъ, то бѣсятся, ревнуютъ и компрометируютъ женщину.

— Не въ бровь, а прямо въ глазъ, шепнула Тата озадаченному Валентину.

Валентинъ не оставилъ безъ отвѣта жаркой выходки Кокориной. Пользуясь этимъ, она придвинулась къ нему, и, смягчаясь постепенно, поддерживала разговоръ. Между тѣмъ Ельцова говорила въ полголоса съ Армалевымъ; ея лице, часто измѣнявшееся, вспыхивавшее, безпокоило Валентина; онъ сидѣлъ, какъ на угольяхъ, не смѣя однако оставить Кокорину, которая продолжала косвенно нападать на него и его поведеніе. Завладѣвши имъ, она не хотѣла выпустить его изъ западни, и продолжала ревностно начатый разговоръ. Въ первый разъ еще онъ говорилъ съ нею серьезно и долго, и былъ изумленъ отсутствіемъ всякаго нравственнаго чувства, всякихъ правилъ. Она цѣнила нѣсколько одинъ свѣтъ, не дорожа однако общимъ мнѣніемъ, но принимая въ разсчетъ однѣ выгоды или невыгоды общественнаго положенія, и старалась помирить съ требованіями общества удовольствія или удовлетвореніе желаній или страсти, понимая ихъ впрочемъ очень односторонне. Всякое чувство долга, благородства, нравственнаго достоинства были ей извѣстны съ одной стороны: она называла ихъ глупостію. Эта старуха показалась Валентину такъ отвратительна, что онъ въ глубинѣ души своей назвалъ ее злымъ духомъ ея дочери. Выслушавъ длинную тираду противъ неисправимой, не-

опытной, неразсчетливой молодежи, онъ воспользовался первой паузой, всталъ и подошелъ къ Ельцовой и къ Армалеву.

Увидя его, Армалевъ тоже всталъ.

— Валентинъ, ты остаешься или ѣдешь? Мнѣ пора домой.

— Я останусь, сказалъ Валентинъ робко, стараясь поймать одобрительный взглядъ Ельцовой; но она, казалось, не замѣтила этого, и сказала только:

— Рано — куда вы спѣшите?

— Я не привыкъ ложиться поздно, отвѣчалъ Армалевъ: это разстроитъ весь завтрашній день мой.

— Какой старикъ! возразила Ельцова, смѣясь.

— Человѣкъ привычки — что дѣлать? человѣкъ практическій.

— Такъ прощайте, я сама устала и попрошу васъ обоихъ уѣхать: я не такъ здорова.

Они простились и вышли. На другой день, Валентинъ посмѣялся надъ Армалевымъ. Онъ просилъ его поучить его обращаться съ женщинами и нравиться имъ.

— А что? спросилъ Армалевъ спокойно.

— Ты вѣрно воображаешь, отвѣчалъ Валентинъ, что такъ какъ она вчера смѣялась твоимъ анекдотамъ, ты ужъ на дорогѣ къ успѣху? — разувѣрься! Не дальше какъ третьяго дня, она говорила о тебѣ со мною. Она на тебя сердита; ты ей не нравишься вовсе; я принужденъ былъ вступиться за тебя. Скажи, чѣмъ ты такъ разсердилъ ее?

— Мало ли что я говорилъ ей!

— Ты вѣрно думалъ, что надо задѣть ея самолюбіе, чтобъ она обратила на тебя особенное вниманіе? Разсчетъ конечно не дурной, да только не съ нею. Ты, кажется, ужъ слишкомъ перехитрилъ. И онъ улыбнулся.

— Валентинъ, сказалъ Армалевъ: вѣдь ты не отказываешься отъ нашей попытки, и я могу продолжать искать случая ей понравиться?

— Отказываюсь теперь меньше, чѣмъ когда нибудь, отвѣчалъ Огинскій.

— Прекрасно! такъ оставь же меня дѣйствовать, какъ мнѣ угодно. Не пересказывай мнѣ ея словъ, и самъ не спрашивай у меня, что я говорю и дѣлаю. Когда я буду увѣренъ въ успѣхѣ или успѣю, я честно предупрежду тебя — хочешь?

Валентинъ невольно смутился, видя увѣренность Армалева. Онъ замолчалъ; ему было какъ-то неловко. Армалевъ положилъ конецъ этому замѣшательству и разговору, выѣхавъ со двора.

ГЛАВА VI.

Спустя двѣ недѣли ходъ происшествій такъ измѣнился, успѣхи Армалева возростали такъ быстро, что самъ Валентинъ, какъ ни былъ простодушенъ и довѣрчивъ, не могъ не замѣтить, что роль его становилась очень незавидною. Лишь только онъ появлялся въ гостиной Ельцовой, старуха Кокорина устремляла на него все свое вниманіе, садилась подлѣ него, рѣшительно стараясь занять его, не давая ему минуты свободы. По-утру онъ видалъ по прежнему Ельцову, но тогда на его жаркую выходку она отвѣчала или всесильной надъ нимъ лаской, или шуткой, или серьезнымъ напоминаніемъ, что онъ обѣщалъ ей имѣть къ ней довѣренность и не тревожиться пустяками. Онъ уѣзжалъ отъ нея безъ результата, вполовину успокоенный; но лишь только переходилъ за порогъ ея двери, подозрѣніе вновь западало въ душу; мало по малу онъ входилъ въ тотъ магическій кругъ, гдѣ возможное и невозможное такъ граничатъ между собою, что ихъ нельзя отличить одно отъ другаго. То, что казалось ему горькой, раздирающей истиной, минуту спустя, представлялось бредомъ больнаго воображенія, которое шалость и шутку дѣтскаго кокетства принимало за коварство и обманъ.

По-утру онъ еще надѣялся, а вечеромъ, возвращаясь отъ нея съ ныпающей головою, съ измученнымъ сердцемъ, съ отуманеннымъ умомъ, припоминалъ ея улыбки, полу-слова, порою бѣглыя, но шопотомъ обмѣненныя съ Армалевымъ фразы, и, схватившись за голову, говорилъ невольно: она меня обманываетъ! Но за чѣмъ? шептала ему любовь: она свободна, я не имѣю на нее никакого права — за чѣмъ ей обманывать? И онъ ходилъ по комнатѣ, теряясь въ догадкахъ и предположеніяхъ. Скоро она перестала почти совсѣмъ принимать по-утрамъ, и когда Валентинъ горько жаловался на то, она объявила ему, что мать всему причиною, что она крайне недовольна ихъ поведеніемъ, преслѣдуетъ ее за него, сама она не въ силахъ выносить долѣе семейныя сцены. Валентинъ мрачно выслушалъ эту новость, и, воротившись домой, заперся у себя. Армалева не было дома, онъ не возвращался и къ обѣду — чѣмъ Валентинъ былъ очень доволенъ. Давно уже онъ избѣгалъ пріятеля, и мало оставался съ нимъ съ глазу на глазъ. За обѣдомъ присутствіе Ипполита Андреевича поддерживало общій разговоръ о посторонннихъ предметахъ; вечеромъ они были всегда у Ельцовой, а утромъ Армалевъ или читалъ или ѣздилъ въ гости. Они не произносили имени Ельцовой, хотя оба были заняты одной ею. Порою Армалевъ украдкой, съ сожалѣніемъ, взглядывалъ на Валентина, а Валентинъ едва ли не съ ненавистью глядѣлъ иногда на пріятеля. Наступилъ вечеръ. Валентинъ, мучимый тревогой, и видя, что Армалевъ не возвращался и къ обѣду, поспѣшилъ къ Ельцовой, поклявшись вынести холодно, что бы онъ тамъ ни уви-

дѣлъ. Армалевъ сидѣлъ уже подлѣ нея, когда Валентинъ вошелъ въ комнату; Ельцова привѣтливо кивнула ему головой, и продолжала въ полголоса разговаривать съ Армалевымъ. Валентинъ заговорилъ съ нею—она отвѣчала ему односложно. Положеніе его становилась невыносимо: онъ сидѣлъ, какъ на угольяхъ, и нѣсколько разъ долженъ былъ употреблять надъ собою всю силу воли, чтобъ не поддаться негодованію и не излить всей желчи своей на безпощаднаго своего друга, чтобы не унизить, не раздавить словомъ презрѣнія этой женщины, такъ легкомысленно игравшей имъ. Блѣдныя пятна ярко выступали на его разгорѣвшихся щекахъ при мысли, что эта женщина то играетъ роль влюбленной, то едва подозрѣваетъ о его существованіи.

Тата подошла къ нему, и сказала ему тихо:

— Берегитесь! вы мужчина однако.

Валентинъ поднялся со стула.

— Прощайте! сказалъ онъ, твердо подходя къ Ельцовой: желаю вамъ спокойствія и всевозможнаго счастія. Его голосъ звучалъ такъ странно, что Армалевъ обернулся и взглянулъ на него; казалось, Ельцова испугалась, и сказала ему что-то невнятно. Какъ вихорь выбѣжалъ Валентинъ изъ этого дома, безъ перчатокъ, безъ шляпы на головѣ; онъ безсмысленно держалъ ее въ рукахъ своихъ, и, пройдя переулокъ, повернулъ назадъ къ дому Ельцовой, будто невидимая сила тянула его туда, будто хотѣлось ему мучиться сильнѣе, когда онъ всматривался въ яркія окна, бросавшія сквозь свои красные занавѣсы какой-то зловѣщій свѣтъ. Долго стоялъ Валентинъ, прислонившись къ забору; робко или грозно по-

сматривали на него проходящіе, а онъ и не замѣчалъ ихъ. Вперивъ взоры на освѣщенныя окна, онъ стоялъ неподвижно, какъ статуя, между тѣмъ какъ тысяча безумныхъ плановъ волновали и раздирали грудь его. То чудилось ему, что онъ вызоветъ Армалева на дуель, и убьетъ его, и не его руки будутъ обагрены этой кровію, а она, она одна будетъ виновна въ ней; то казалось ему, что онъ будетъ смертельно раненъ, и потребуетъ ее на послѣднее прощаніе, а смерть его будетъ для нея очистительной жертвой. Смертью спасетъ онъ бѣдную женщину отъ новыхъ заблужденій, и тѣнь его станетъ хранителемъ между нею и новыми ея жертвами или увлеченіями. Много подобнаго прошло въ головѣ его, а сердце билось мятежно, и непрошенныя постыдныя слезы туманили глаза. Но вотъ огонь въ залѣ потухъ — остался огонь въ гостиной.

Валентинъ сдѣлалъ два шага впередъ.

Я не дамъ ей погибнуть, я не позволю ему погубить ее! сказалъ онъ самъ себѣ, будто въ оправданіе, и бросился къ дому. На встрѣчу ему заскрипѣли отворявшіяся ворота, и лихая пара Армалева вынесла его на улицу.

Валентинъ, вспомнивъ о своемъ экипажѣ, вбѣжалъ на дворъ, разбудилъ спавшаго кучера, вскочилъ въ экипажъ, и помчался домой. Армалевъ сидѣлъ уже у него въ кабинетѣ, когда Валентинъ вбѣжалъ туда же.

— Откуда ты? спросилъ его Армалевъ не совсѣмъ покойно: гдѣ ты пропадалъ?

— Говори, сказалъ Валентинъ отрывисто: на чемъ вы кончили?

Армалевъ взглянулъ ему прямо въ лицо, и, видя, что онъ блѣденъ, какъ мраморъ, что посинѣвшія губы его дрожатъ, отвѣчалъ твердо и кратко:

— Завтра она назначила мнѣ свиданіе.

— И ты пойдешь? спросилъ Валентинъ, сжимая руки, и дико смѣясь.

— Это въ твоей волѣ, все зависитъ отъ тебя, а если....

— Замолчи! и пусть будетъ проклята та дружба, которая не жалѣетъ ничего, и безжалостно убиваетъ чистѣйшее чувство.

— Валентинъ! сказалъ Армалевъ спокойно: правда, я хотѣлъ такой развязки; Ельцова не стоитъ тебя. Выслушай меня внимательно, если это возможно. У нея нѣтъ ни сердца, ни чувствъ, ни правилъ. Нынче любитъ она одного, завтра другаго. Соблазнительна и бездушна.

— Ты всему причиной; ты воспользовался своею опытностію, чтобы завлечь ее. Она еще дитя, и въ то время, когда я чисто и пламенно обожалъ ее, ты увлекалъ ее въ бездну порока. Этого я не позволю, не допущу. Довольно я вытерпѣлъ, довольно молчалъ. Я стану между тобой и ею, и не допущу тебя погубить этого легкомысленнаго, но добраго ребенка. Ты не пойдешь на свиданіе.

— Не пойду, сказалъ Армалевъ: но открой глаза, посмотри на нее, вглядись, что она такое. Женщина, бросившая мужа, дочь какой-то неизвѣстной матери, она выросла безъ всякаго живаго понятія, безъ правилъ, безъ религіи. Ей знакомы только два чувства, и они

равно владѣютъ ею; это — тщеславная гордость красоты и инстинктъ страстности. Не дамъ имени страсти такому влеченію. Ты говоришь, я завлекъ ее. Нѣтъ, Валентинъ, я только укололъ ея самолюбіе, а она старалась завлечь меня, какъ завлекла тебя, и при первомъ моемъ волокитствѣ, оказала мнѣ предпочтеніе. Твоя экзальтація и неопытность ей наскучили, и она выдала тебя матери. Если бъ ты слышалъ, какъ эта старуха жадно бросилась на тебя и терзала тебя, а она, твой идолъ, не сказала ни слова защиты, она улыбалась своею вѣчной улыбкой, и промолвила только «Да ужъ онъ слишкомъ сантименталенъ» — Ну скажи, стоитъ ли она любви порядочнаго человѣка?

— Ты лжешь! воскликнулъ Валентинъ: ты лжешь!

Армалевъ всталъ.

— Слушай, Валентинъ, сказалъ онъ твердо: мы дружны съ дѣтства, а потому прощаю тебѣ это слово; женщина, кто бы ни была она, не стоитъ того, чтобы два друга разошлись за нее; о другомъ, что бы то ни было, я не говорю. Я не пойду на свиданіе; мало того, я не увижу ея больше. Завтра чуть свѣтъ я уѣду къ отцу въ деревню. Доволенъ ли ты?

Валентинъ колебался; наконецъ протянулъ Армалеву руку, и пожалъ ее; потомъ отошелъ къ окну, чувствуя, что слезы готовы брызнуть изъ глазъ его.

— Валентинъ! продолжалъ Армалевъ, не глядя на него, и тѣмъ давая ему время успокоиться: Валентинъ! развѣ ты не замѣтилъ домашняго быта ея? Развѣ это домъ честныхъ, порядочныхъ людей? На что похожа эта развратная мать, покровительствующая поклонникамъ

дочери, эта кузина-приживалка, должность которой караулить у дверей и передавать записки? Все это отвратительно и безнравственно.

— Знаю, знаю самъ, сказалъ Валентинъ: Что говорить о матери, наѣздницѣ какого-то цирка, но Тата — бѣдная дѣвочка вынуждена, быть можетъ....

— Кѣмъ? Да и это ее не оправдываетъ. Можно ли сдѣлать изъ такой семьи предметъ обожанія? Посмотри, ихъ ужъ никто въ Москвѣ не принимаетъ.

— Тѣмъ больше мнѣ жалка бѣдная женщина, сказалъ Валентинъ: я бы хотѣлъ спасти ее — еще не поздно.

— Да, и погубить себя. Вижу — ты слѣпъ еще, не смотря на жестокій урокъ, который судьба дала тебѣ черезъ меня. По неволѣ оставляю тебя на произволъ ея — видно нельзя миновать бѣдствій, и слова предостереженія напрасны; видно надо тебѣ пройти трудную школу. Обѣщай мнѣ не бывать у ней.

— Я вчера простился съ нею, сказалъ Валентинъ: но если она поймете, какъ оскорбила меня, если она раскается....

— Такъ ты опять будешь у ногъ ея, по-прежнему?

— Не могу допустить ее погибнуть, не могу не открыть ей глазъ на счетъ ея жизни, ея семьи....

— Ну, какъ хочешь! сказалъ Армалевъ: мое дѣло сдѣлано. Какъ игрушка, она мнѣ очень нравится; она хороша собою, и хотя я нисколько не люблю ее, однако не поручусь, чѣмъ все это можетъ кончиться, если я останусь здѣсь. Прощай! мы завтра не увидимся.

— Зачѣмъ спѣшить? сказалъ Валентинъ несмѣло.

— Я не Катонъ, возразилъ Армалевъ, пожавъ ему руку, и вышелъ изъ кабинета.

На другой день напрасно Ельцова ждала утромъ Армалева, напрасно ждала она его и вечеромъ. Ни онъ, ни Валентинъ не являлись. Послѣднія слова Валентина, сказанныя ей такъ рѣзко, съ такою угрозою въ голосѣ, врѣзались въ ея памяти. Она была одна изъ тѣхъ женщинъ, которыя не цѣнятъ любви кроткой и преданной, любви благоговѣйной, а поражаются, хотя и на время, порывами грубой страсти; для такихъ женщинъ бояться мужчины значитъ любить его. На-канунѣ Валентинъ испугалъ ее, нынче она опять думала о немъ, и онъ опять сталъ интересенъ въ глазахъ ея. Опять для нея была неразгаданная сторона въ этомъ юношѣ, и любопытство ея было затронуто и приняло колоритъ любви. Пропавшій внезапно Армалевъ тоже занималъ ее; ей казалось, что его отсутствіе имѣетъ тайную связь съ поведеніемъ Валентина въ продолженіе прошедшаго вечера. Однако она рѣшилась подождать слѣдствій. Но прошелъ день, другой и третій, а все никто не являлся. На четвертый день она написала записку, и вышла въ гостиную.

— Куда ты? спросила у нея мать.

— Надо послать записку къ Огинскому.

— Зачѣмъ это? Или тебѣ мало, что этотъ сумасбродъ сидитъ у тебя по цѣлымъ днямъ, выпяливъ на тебя круглые зрачки свои? Онъ только тебя компрометируетъ и выгоняетъ другихъ. Куда дѣвался Армалевъ? Это вѣрно его штука! Признаюсь, хорошъ выборъ: мальчишка безъ вѣса, безъ ума, безъ связей, которыя бы

могли тебѣ доставить что-нибудь. Добро бы другой, а то.. .

— Ахъ, маменька, какъ вы взыскательны! говорю, хочу послать записку.

— Да давно ли ты сама надъ нимъ смѣялась!

— Ну, смѣялась, а теперь опять люблю его.

Ельцова вышла изъ комнаты, а старуха, раскладывая гранъ-пасіансъ, долго ворчала въ полголоса.

На другой день утромъ Валентинъ пріѣхалъ, и прямо пошелъ въ кабинетъ Ельцовой; въ гостиной онъ встрѣтилъ Татà, и крѣпко взявъ ее за руку, сказалъ ей тихо:

— Татà, одно слово. Правда ли, что кузина ваша позволяла матери смѣяться надо мною — смѣялась сама?

— Правда, сказала она кратко.

— Татà, не обманывайте меня, не....

— Тише! отвѣчала она, вы меня погубите.

— Скажите ѣще разъ, повторите....

— Ни слова. Я сказала.

Она побѣжала впередъ, и отворила ему дверь кабинета. Ельцова лежала на диванѣ въ утреннемъ уборѣ; она была одѣта съ величайшимъ искусствомъ и особенно хороша.

Увидя Валентина, она едва повернула голову.

— А! вотъ вы! проговорила она: что̀ значитъ, что вы пропали?

— Что вамъ еще отъ меня угодно? сказалъ Валентинъ, садясь на стулъ, и вытянувшись, какъ аршинъ. Въ голосѣ его звучалъ неумолимый холодъ.

Она привстала.

— Валентинъ! сказала она тихо, взявъ его за руки, и голосъ ея казался полонъ слезъ, а глаза впились въ него съ выраженіемъ мольбы и нѣжности. Валентинъ! не могу жить безъ васъ: эти дни показались мнѣ вѣкомъ. Простите мнѣ мое кокетство! Правда, вашъ пріятель— какой онъ пріятель!—умѣлъ коварно увлечь меня. Но я раскаяваюсь и рѣшилась не принимать его больше...

— Узнавши, быть можетъ, что онъ уѣхалъ въ деревню? замѣтилъ Валентинъ холодно.

— Какъ? онъ уѣхалъ? воскликнула она живо. Ну, и прекрасно! мучительное безпокойство упало съ моего сердца. Я такъ боялась дуэли, смерти....

— Полноте! возразилъ Валентинъ, крѣпко сжимая зубы: за такихъ женщинъ, какъ вы, порядочные люди не дерутся.

Она закрыла лице руками, и упала, на подушку. Слезы, крупными каплями, потекли сквозь ея пальцы, и закапали на бѣлую шею и полуобнаженныя плечи. Онъ долго, безмолвно глядѣлъ на нее, и сердце его постепенно смягчалось, и самъ онъ, конечно, былъ бы опять у ногъ ея, если бъ гордость не владѣла еще имъ, если бъ чувство собственнаго достоинства, такъ сильно вызванное словами Армалева, не говорило въ немъ. Бѣги, не сдавайся, шепталъ ему внутренній голосъ. Онъ всталъ, и мѣрными, твердыми, какъ удары молота, шагами, пошелъ къ двери, и схватился за мѣдную ручку ея. Кто знаетъ, переступилъ ли бы онъ порогъ этой, все еще завѣтной, двери, но Ельцова не дала ему времени: она вскочила и бросилась ему на шею, обвила его лилей-

ными руками, омочила лице его горячими слезами, и шептала, рыдая:

— Люблю тебя! ты одно мое спасеніе!

По странному ли случаю или по разсчету, но это выраженіе отвѣтило на тайную мысль его.

Онъ схватилъ ее, поднялъ какъ соломенку, донесъ до дивана, посадилъ и сѣлъ рядомъ съ нею. Прошла пора беззавѣтной любви; настала пора другой любви.

— Прощаю тебя, сказалъ онъ ей нѣжно, но съ нѣкоторою строгостію: но помни, что при первомъ словѣ лжи, при первомъ двусмысленномъ поступкѣ, я брошу тебя. Нѣтъ! нѣтъ! не брошу, а убью, задушу. Лучше видѣть тебя мертвою, чѣмъ развратною, продолжалъ онъ стремительно и страстно, лучше смерть, чѣмъ гибель и порокъ!

— О, какъ ты хорошъ! какъ я люблю тебя! лепетала она, ласкаясь къ нему съ легкой дрожью въ рукахъ, съ холодомъ, пробѣгавшимъ по волосамъ, какъ будто одно дыханіе страха могло внушить ей любовь и уваженіе.

Мрачно и сурово глядѣлъ на нее Валентинъ; но мало по малу ея почти дѣтскія въ ту пору ласки возвратили ему часть надежды. Онъ вышелъ отъ нея, надѣясь на будущее, мечтая, что поведетъ ее по скользкому пути жизни, исправляя ея дремавшій умъ, внушая ей новыя понятія и правила, о которыхъ она, искаженное безнравственнымъ воспитаніемъ дитя, дитя праздности, лѣни и суеты, не имѣла понятія.

Была глухая осень; городъ мало по малу наполнялся; жители возвращались изъ подмосковныхъ деревень и дальнихъ помѣстій. Однажды утромъ Валентинъ встрѣ-

чалъ мать и сестру, тоже возвращавшихся изъ деревни. Радость его при свиданіи съ ними была очень жива. Онъ не былъ уже въ первомъ чаду страсти, и ихъ присутствіе было ему необходимо. Часто пустота покинутаго дома томила его. Какъ часто бродилъ онъ одинъ въ залѣ, вспоминая свои разговоры съ Ельцовой, разбирая каждое ея слово! Въ эти минуты безпредѣльной грусти, томительнаго сомнѣнія, онъ невольно вспоминалъ о матери и сестрѣ; ему казалось, что ихъ безмолвное участіе облегчило бы его задавленное сомнѣніемъ сердце. Но вотъ и онѣ пріѣхали, и ихъ нѣжныя, хотя грустныя ласки утѣшили его.

— Ты похудѣлъ, говорила мать, качая головою.

— А вотъ опять поправлюсь, отвѣчалъ онъ: я такъ теперь счастливъ, что вижу васъ.

Первые дни онъ дѣйствительно былъ веселѣе, но потомъ опять впалъ въ задумчивость. Любовь его къ Ельцовой, заразившись жалостію (самымъ неизлечимымъ ядомъ), безпощадно терзала его; у него бывали минуты такого нравственнаго упадка, такой мучительной тоски, что одна любовь семьи могла хотя нѣсколько облегчить его больное сердце, безрестанно переходившее отъ отчаянія къ надеждѣ, и отъ горя къ какому-то призраку радости. Когда Ельцова поддавалась его вліянію, когда она казалась разумнѣе, онъ становился спокойнѣе. Чаще всего его попытки надъ ней были неудачны. Она была совершенно необразована; ему хотѣлось заставить ее прочесть что нибудь, но онъ почти никогда не могъ выдти побѣдителемъ изъ такой борьбы. Всякая поэма или вообще поэзія, имѣла на нее одинаковое вліяніе: Валентинъ читалъ,

а Ельцова засыпала. Онъ принялся за другія книги. Однажды онъ привезъ ей Павла и Виргинію Бернардина де-Сенъ-Пьера: она очень любовалась картинками, и когда онъ спросилъ ее, не хочетъ ли прочесть эту книгу, она охотно согласилась. Чтеніе началось; Валентинъ читалъ, а она слушала. Чрезъ нѣсколько времени, безпрерывный шорохъ заставилъ Валентина взглянуть на нее: она играла съ своей собачкой, и дразнила ее батистовымъ платкомъ, обшитымъ богатыми кружевами. Мими цѣплялась лапками и зубами за кружева, и къ совершенному удовольствію своей прекрасной госпожи, уже успѣла оборвать всѣ углы платка.

Валентинъ сложилъ книгу.

— Ну, что жъ ты? читай пожалуй.

— Нѣтъ, сказалъ Валентинъ: тебѣ это не нравится, Я принесу завтра что нибудь другое.

— Ну, какъ хочешь — оно дѣйствительно немного скучно.

Въ другой разъ чтеніе прерывалось приходомъ горничной, которая, какъ нарочно, выбирала это время, чтобы приносить госпожѣ своей кучу головныхъ уборовъ, которые та принималась примѣрять передъ зеркаломъ, или разсматривала новыя платья, совѣтуясь о томъ или другомъ фасонѣ. Порою Валентинъ самъ не могъ устоять противъ ея шутокъ, то игривыхъ, какъ шаловливаго дитяти, то граціозныхъ, какъ нѣжной женщины. Вечеромъ, по мѣрѣ того какъ городъ оживлялся, пріемы ея становились многолюднѣе, и гостиная наполнялась безъ всякаго выбора, безъ всякаго такта. Женщины не ѣздили къ ней, даже съ визитами. Напрасно Валентинъ пытался доказать ей, что ея репута-

ція совершенно погибла, что свободный доступъ къ ней всякаго мужчины, кто бы онъ ни былъ, оскорбляетъ всѣ приличія, а вольные разговоры, которые всѣ позволяютъ себѣ съ нею — ручательство совершеннаго неуваженія къ ея лицу. Она не входила съ нимъ въ споръ, а повторяла только: «принимаетъ маменька, а не я». Что же касается до старой Кокориной, то ея отношенія къ Валентину сдѣлались окончательно враждебными. Она едва отвѣчала на его сухой поклонъ, и при всякомъ удобномъ случаѣ старалась осмѣять его, что̀ впрочемъ ей не всегда удавалось, потому что Валентинъ пріобрѣлъ довольно навыку, чтобы ловко, а иногда и колко отстоять себя. Татà вовсе отъ него отдалилась, такъ что иногда, въ продолженіе цѣлой недѣли, ему едва удавалось сказать съ ней два-три слова, да и тѣ были незначущи. Сперва Валентинъ бывалъ иногда и вечеромъ, и пытался ввести болѣе серьезный тонъ въ разговоръ, но это не удалось ему; ея посѣтители продолжали, даже еще вольнѣе, чѣмъ прежде, говорить ей пошлыя любезности, или, что̀ еще хуже, вводили вольныя шутки, чему она очень смѣялась. Валентинъ не могъ выносить этого, и часто, на другой ужъ день послѣ подобнаго вечера, жестко говорилъ ей правду; но она умѣла тотчасъ смягчать его, порою шуткой, порою лаской, чаще всего притворной печалью. Эта женщина, какъ хитрое дитя, умѣла заплакать во-время, засмѣяться, когда надо. Казалось, она еще любила Валентина, любила, впрочемъ, шутя, хотя и съ извѣстной страстностію, которая была лишена и сердечности и задумчивости, словомъ, всего того, что составляетъ прелесть любви чистой, такой

любви, которою полно было сердце Валентина. Скоро однако роль хладнокровнаго зрителя пришлась Валентину не по силамъ: онъ не могъ больше выносить ее, и пересталъ посѣщать Ельцову вечеромъ. Она, казалось, была этимъ очень довольна. Было ясно, что впечатлѣніе страха и чувство какой-то нѣжности, послѣдовавшее за тѣмъ въ сценѣ ихъ примиренія послѣ отъѣзда Армалева, совершенно изгладились; роль моралиста, которую взялъ Валентинъ, ей ужасно наскучила, и старая Кокорина могла успѣшно дѣйствовать противъ него; наконецъ, было близко и то время, когда она могла надѣяться совершенно удалить его изъ дому. Озабоченный своими отношеніями къ Ельцовой, Валентинъ часто задумывался и начиналъ понимать, что эти отношенія непрочны, не истинны, безполезны для нея, и, кто знаетъ? гибельны для него самого, что мало по малу его энергія истощается безплодно въ борьбѣ съ злою, безнравственною старухой и съ безсмысленнымъ суетнымъ ребенкомъ. Онъ продолжалъ еще съ рѣдкимъ упорствомъ давать ей это имя, вопреки своему убѣжденію и въ угожденіе своей безумной страсти. Эта женщина, хитрая по натурѣ, и по принципу непостоянная, шаткая и лишенная всякаго не только понятія, но даже инстинкта добра и нравственности, все еще не теряла надъ нимъ гибельнаго вліянія. Однажды вечеромъ, онъ шелъ къ ней пѣшкомъ; яркое освѣщеніе комнатъ опять, какъ въ прежнее время, привлекло его вниманіе; онъ однако вошелъ въ домъ, и, тихо, задумчиво, влекомый страстію, подходилъ къ гостиной.

Кто-то говорилъ тамъ довольно громко, но онъ не

узналъ голоса: то звучалъ ему ея голосъ, то чужой, измѣненный, хотя и съ ея оттѣнкомъ. Вслѣдъ за какой-то фразой, послышался общій взрывъ хохота.

— Еще, еще разъ! сказала Кокорина: ну, Клодина, потѣшь меня—передразни его еще разъ!

Онъ сильно отворилъ дверь. Его появленіе произвело эффектъ: это было впечатлѣніе головы Медузы. Всѣ остолбенѣли на мгновеніе; сама Ельцова такъ смутилась, что поблѣднѣла и едва могла проговорить какую-то несвязную фразу.

— Вы такъ смѣялись, когда я вошелъ, сказалъ онъ ей: уже ли я помѣшалъ вашему веселью, и пришелъ не въ пору?

— Нисколько, сказалъ Симанскій, за-нѣсколько дней передъ тѣмъ возвратившійся: я передразнивалъ одного изъ нашихъ знакомыхъ, а Клавдія Ѳедоровна взяла на себя роль втораго лица въ разговорѣ. Угодно продолжать комедію? прибавилъ онъ, развязно обращаясь къ ней.

— Нѣтъ, я ужъ устала говорить картавя, отвѣчала она, оправившись отъ перваго смущенія.

— Было ясно, а Балентинъ все еще не зналъ, что подумать, не смѣлъ догадываться, и рѣшился просить объясненій у Татà. Вечеръ показался ему вѣкомъ; его особенно мучило смущеніе Ельцовой при его появленіи; онъ боялся объяснить его себѣ. Ужасно стоять надъ пропастью, знать, что рано или поздно надо свалиться въ нее, и не имѣть мужества загляпуть въ нее зоркимъ взоромъ; смѣрить глубину ея и высмотрѣть, нѣтъ ли въ

ней уступа, о который бы опереться, или стебля, за который бы схватиться.

Онъ подошелъ къ Татѣ, улучивъ свободную минуту.

— Надъ кѣмъ смѣялись, когда я вошелъ сюда? спросилъ онъ у нея съ мужествомъ отчаянія. Будьте откровенны: моя участь зависитъ отъ правды, отъ васъ.

Она взглянула на него, поблѣднѣла, колебалась и молчала.

— Уже ли вы хотите видѣть меня посмѣшищемъ всѣхъ, хотите сдѣлать изъ меня шута?

— Развѣ я хочу этого? сказала она тихо. Вы сами, вотъ ужъ скоро полгода, не хотите ничего видѣть.

— Смѣялись надо мною! уже ли надо мною?

Она утвердительно кивнула головой.

— Слушайте, шепнула она: я говорю съ вами въ послѣдній разъ. Дайте мнѣ благородное слово, что вы будете благоразумны, и не заведете ссоры — я скажу вамъ все.

— Обѣщаю, едва могъ произнести Валентинъ.

— Такъ нынче въ часъ ночи будьте у нашей калитки: я выду къ вамъ, если возможно. Во всякомъ случаѣ постарайтесь замѣтить, кто взойдетъ въ садъ нашъ.

— Какъ? сказалъ онъ.

Она поглядѣла на него, и съ ужасомъ сдѣлала знакъ рукою. Восклицаніе Валентина вырвалось такъ громко, что оно привлекло вниманіе Кокориной. Опершись на тумбу, раздираемый всѣми муками ада, Валентинъ видѣлъ, какъ Кокорина позвала Татà, какъ Татѝ что-то

передала ей, и какъ старуха улыбалась. Онъ былъ не въ состояніи оставаться долѣе, вышелъ изъ дому, и сталъ бродить по пустынымъ улицамъ. Было темно; мелкій дождь моросилъ съ утра; холодъ и ночной туманъ прохватывали до костей, но онъ не чувствовалъ холода. Не было возможности сомнѣваться, не оставалось и тѣни надежды, и страданіе, страданіе безнадежное, безотрадное, всепоглощающее, завладѣло имъ безгранично. До сихъ поръ онъ еще мало былъ знакомъ съ этимъ чувствомъ, и первое мученіе было ему такъ дико, что онъ былъ какъ помѣшанный, и шелъ безъ цѣли, безъ мысли, забывъ, для чего онъ вышелъ на улицу. Воспитанный въ уединеніи, посреди тишины, любви и мира, онъ не былъ готовъ на житейскія бури, и первая буря бытія застала его беззащитнымъ, онъ былъ задавленъ и уничтоженъ. Голова его горѣла; слова, слышанныя имъ отъ Татà, сливались въ ушахъ его въ неясный гулъ, и будто молотомъ ударяли ему въ виски. Онъ повторялъ безсмысленно слова эти. Машинально снялъ онъ шляпу, дождь освѣжилъ его; онъ простоялъ нѣсколько минутъ на одномъ мѣстѣ, и вдругъ, будто вспомнивъ все, побѣжалъ назадъ, повернулъ въ глухой переулокъ, и, найдя углубленіе въ воротахъ сосѣдняго дома, пріютился въ немъ противъ самой калитки сада Ельцовой. Долго ждалъ онъ, ждалъ терпѣливо, въ какомъ-то окаменѣломъ состояніи, и вдругъ ему мелькнула отрадная мысль. Никто не придетъ, думалъ онъ: что нибудь обмануло бѣдную дѣвочку. Она не любитъ кузины, и, вѣроятно, осудила ее по дѣтскому подозрѣнію. Мысль, что Татà могла обмануть его самого, не

входила ему въ голову; онъ зналъ, что она къ нему привязана, и никогда не замѣчалъ въ ней наклонности ко лжи. Тысяча предположеній волновали его, и онъ стоялъ, задумавшись, вперивъ глаза въ роковую калитку. Окна залы были видны: за минуту передъ этимъ они блестѣли еще, озаренныя свѣтомъ; но вотъ потухло одно окно, и другое, и третье. Все было темно и тихо вокругъ него, въ глухомъ переулкѣ ни души, ни проѣзжаго, ни прохожаго. Такъ прошелъ еще часъ, который показался ему вѣкомъ. Вдругъ далекій звукъ дрожекъ заставилъ его вздрогнуть; онъ слушалъ внимательно — всѣ чувства его превратились въ слухъ — но волненіе его было такъ велико, что стукъ дрожекъ по мостовой, и шумъ въ ушахъ его сливались въ одинъ неясный гулъ. Но, нѣтъ! онъ не ошибся: это точно дрожки стучатъ вдалекѣ. Но вотъ стукъ ихъ становится ближе и громче, потомъ слабѣетъ, замолкаетъ, и замолкнулъ. Онъ вздохнулъ свободнѣе, и посмотрѣлъ въ ту сторону, гдѣ замолкъ этотъ стукъ. Въ темнотѣ ночи, сквозь дождь и туманъ, ничего не льзя было различить, но онъ все смотрѣлъ. Кто-то идетъ, не идетъ, а почти крадется. Такъ точно: эта фигура въ военной шинели скользитъ по троттуару, прижимаясь къ сосѣднимъ домамъ, и вотъ она подъ фонаремъ, близко отъ садовой калитки. Слабый свѣтъ фонаря падаетъ на лице боязливаго прохожаго, это онъ, это Симанскій. Оглянувшись, онъ смѣлѣе подошелъ къ калиткѣ, и два раза съ разстановкой постучался въ нее. Слабый стонъ вырвался невольно изъ груди Валентина въ отвѣтъ на этотъ стукъ, и онъ долженъ былъ прислониться къ

воротамъ дома. Симанскій опять оглянулся; но, не видя никого, еще громче постучался. Калитка быстро отворилась, и въ ней показалась маленькая женская фигура, закутанная въ манто съ капюшономъ.

— Скорѣе, идите скорѣе, сказала она довольно громко и по-французски: васъ давно ждутъ.

Валентинъ узналъ голосъ французской субретки.

Она впустила Симанскаго, и калитка захлопнулась за ними, но въ одинъ прыжекъ Валентинъ былъ уже у ней, и протягивалъ руки, чтобы сорвать ее съ петель, и войти. Но она отворилась сама-собою, и Тата встрѣтилась съ нимъ лицемъ къ лицу.

— Домой! идите домой! сказала она глухимъ шопотомъ, но съ энергіей: иначе, вы погубите себя и меня — слышите! домой! умоляю васъ, домой!

Тата, сказавши эти слова, прыгнула назадъ, какъ кошка, и съ стукомъ захлопнулась за ней тяжелая калитка, заскрипѣлъ желѣзный запоръ, и Валентинъ остался одинъ у запертой двери. Онъ стоялъ однако, неподвижный, безчувственный, нѣмой; онъ ужъ ничего не понималъ, и, какъ пьяный, пошелъ, шатаясь, и машинально повернулъ по той улицѣ, гдѣ такъ часто хаживалъ, безпрестанно повторяя послѣднія слова Тата, поразившія слухъ его: домой! домой! Онъ былъ близокъ къ помѣшательству. Медленно подвигаясь впередъ, онъ воротился къ себѣ, безсмысленно взялся за задвижку сѣней — она повернулась. Спавшій на лавкѣ дворникъ загораживалъ ему дорогу; онъ обошелъ его и бросился въ свои комнаты, стуча мокрыми сапогами. Едва вошелъ онъ къ себѣ, какъ камердинеръ его явился и

остолбенѣлъ, увидѣвъ его. Лице Валентина было блѣдно и искажено; онъ былъ насквозь промоченъ дождемъ, безъ шинели, и по колѣна испачканъ грязью. Вода и грязь текли съ сапогъ его, и пропитывали насквозь богатый малиновый коверъ его комнаты. Нѣсколько разъ съ ряду Семенъ спрашивалъ своего господина, что̀ съ нимъ, и, не получая отвѣта, хотѣлъ снять съ него мокрое платье и сапоги, но Валентинъ молча, движеніемъ руки остановилъ его, и проговорилъ глухо: оставь меня, все хорошо.

Семенъ посмотрѣлъ съ ужасомъ на Валентина; его мрачный видъ поразилъ его, и онъ немедленно вышелъ. А Валентинъ все стоялъ посреди комнаты, дико посматривая вокругъ себя. Вдругъ глаза его упали случайно на письменный столъ, гдѣ лежали кипой еще на-канунѣ купленныя имъ для нея книги. Онъ бросился на нихъ въ припадкѣ бѣшенства, неистово схватилъ ихъ, изорвалъ, бросилъ на полъ, растоптлъ ногами, и, потомъ, вдругъ упалъ въ кресло, и, закрывъ глаза руками, зарыдалъ, какъ дитя. Онъ силился остановить свои рыданія; но, по мѣрѣ усилій его, они переходили въ порывъ дикаго смѣха. Въ эту минуту дверь его комнаты отворилась, и въ ней показалась встревоженная физіономія Ипполита Андреевича. Увидѣвъ своего воспитанника въ такомъ положеніи, онъ подбѣжалъ къ нему, схватилъ его за руки, и проговорилъ тревожно-прерывающимся голосомъ:

— Что съ тобой? что? Валентинъ, ты боленъ.... опомнись!... приди въ себя.

Онъ принесъ ему воды, заставилъ его выпить ее, и

потомъ сталъ говорить тихо, медленно, прерывая каждое слово долгой паузой :

— Ты усталъ — ты промокъ до костей — позволь мнѣ снять съ тебя мокрое платье. Ложись въ постель. Не забудь, что мать твоя больна, очень больна. Валентинъ, пожалѣй мать — мать твоя больна.

— Когда ? какъ больна? спросилъ Валентинъ тупо.

— Вчера ей сдѣлалось дурно: она сидѣла очень поздно, все ждала тебя, а потомъ все плакала, и ей было очень, очень дурно.

— Я хочу ее видѣть, возразилъ Валентинъ, вскакивая съ кресла.

— Сперва переодѣнься, отвѣчалъ старикъ, а то ты испугаешь ее. Она теперь въ постели.

— Скорѣе переодѣваться ! воскликнулъ Валентинъ прерывистымъ голосомъ.

Старикъ самъ сталъ помогать ему. Машинально надѣвъ халатъ, Валентинъ вмѣсто того , чтобы итти къ матери, сѣлъ опять въ кресло, и, опершись головою на руки, погрузился въ глубокую и мрачную думу. Мысли его начали приходить въ порядокъ; онъ вспомнилъ всѣ происшествія вечера, понялъ, что былъ шутомъ, игрушкой Ельцовой, что она отдала его на посмѣяніе своему счастливому любовнику, и молодая, бурливая кровь закипѣла въ жилахъ его. Онъ вскочилъ въ ярости, готовый въ бой, въ бой безпощадный, смертельный ; съ быстротою молніи бросился онъ къ дверямъ; но Ипполитъ Андресвичъ загородилъ ему дорогу, и сталъ передъ

нимъ, съ бѣлою, какъ лунь, головою, съ блиставшими глазами и рѣшительнымъ видомъ.

— Куда? сказалъ онъ ему порывисто, взявъ его сильно за руку: Куда? Драться! Такъ мало того, что вотъ уже мѣсяцъ, какъ мать твоя томится ожиданіемъ страшной развязки; такъ мало того, что вчера, ожидая тебя, она едва не умерла отъ ужаса предчувствій, отъ муки страшныхъ предположеній! Бѣдная сестра твоя утѣшала ее, замирая отъ страха, и потомъ всю ночь сидѣла въ моей комнатѣ, обливаясь слезами. Она и теперь здѣсь, за этой дверью, она не смѣетъ перешагнуть твоего порога, и ждетъ съ мученіемъ извѣстій о тебѣ.

— Вотъ она! прибавилъ онъ внѣ себя, отворивъ дверь на-стежь, и, взявъ за руку Анету, блѣдную и трепещущую, почти бросилъ ее брату, окаменѣвшему на мѣстѣ. Теперь иди драться! Убей мать, убей сестру, заплати имъ за долгіе годы ихъ обожанія, заплати имъ своей смертью или гибелью! Это будетъ достойная развязка всего твоего поведенія. И за кого?...

— Молчите, не мучьте его, закричала Анюта, съ рыданіемъ бросаясь на грудь брата.

Онъ сильно сжалъ ее въ своихъ объятіяхъ, упалъ въ кресло, склонилъ голову на плечо ея, и заплакалъ. Она стала на колѣна, и, цѣлуя руки его, безмолвно, долго оставалась такъ. Онъ, наконецъ, совершенно опомнился, поднялъ ее, и, обнявъ, сѣлъ съ ней рядомъ на длинное канапе своего кабинета. Ипполитъ Андреевичъ вышелъ изъ комнаты, и оставилъ ихъ однихъ. Богъ вѣсть, что говорили они: полная ли откровенность

связала ихъ еще сильнѣе въ эту безсонную, страшную для обоихъ ночь, или только ласка и любовь сестры влили цѣлительный бальзамъ въ его растерзанное сердце. Поутру Анюта вышла изъ кабинета, и въ корридорѣ встрѣтилась съ Ипполитомъ Андреевичемъ.

— Ну что? спросилъ онъ ее не безъ волненія.

— Онъ задремалъ, произнесла Анюта истомленнымъ голосомъ. Я иду на минуту къ маменькѣ, и успокою ее; не оставляйте его одного.

Тихо прокрался Ипполитъ Андреевичъ въ комнаты Валентина, сѣлъ на кресло въ его пріемной, и заперъ на ключъ дверь въ корридоръ.

— Да, говорилъ Валентинъ сестрѣ черезъ нѣсколько дней, оправляясь отъ болѣзни, сложившей его въ постель: да, ужасно потерять все, ошибиться такъ жестоко, и за безкорыстную любовь вынести насмѣшки и презрѣніе! ужасно! Но еще ужаснѣе, еще тяжеле, сознавая все это, открыть въ себѣ недостойную страсть. Я не могу, не долженъ любить ее — и что же?... Уже ли мнѣ должно презирать и себя? Пожалѣй обо мнѣ, Анюта; но нѣтъ, мнѣ стыдно признаться тебѣ, мнѣ страшно сказать тебѣ....

— О говори, говори, прошу тебя; мнѣ легче слушать тебя, чѣмъ видѣть тебя, мрачнаго и измученнаго. Кому же скажешь ты всю мысль свою, если не мнѣ? Я люблю тебя съ тѣхъ поръ, какъ помню себя, и въ тебѣ положила всю жизнь свою.

— Знаю, знаю, сказалъ Валентинъ: но я не стою любви вашей — я самъ потерялъ всякое къ себѣ уваженіе.

— Однако, возразила Анюта робко, ошибиться въ ней было такъ естественно, любить ее было такъ легко — она хороша, лице ея обѣщаетъ такъ много...

— А сердце ея тверже камня; нѣтъ у ней сердца, ничего нѣтъ въ ней. Повторяю тебѣ, что не уважаю ее, долженъ былъ бы презирать ее, и — измѣрь теперь мое паденіе, мой позоръ — есть минуты, когда я еще люблю ее.

Онъ закрылъ рукой пылавшее лице, и долго сидѣлъ такъ.

— Въ деревню! въ деревню! воскликнулъ онъ наконецъ: дальше отъ людей, отъ всего! Дальше отъ нея, чтобы образъ ея пересталъ смущать меня, чтобы имя ея не касалось моего слуха! Тамъ съ тобою, съ матерью, я, быть можетъ, забуду и свои заблужденія и свое глубокое уничиженіе. Анюта! не льзя ли намъ уѣхать?

— Я увѣрена, что можно. Скажу маменькѣ; она будетъ очень рада ѣхать съ тобою, куда тебѣ угодно.

— Да, ѣхать, поскорѣе ѣхать!

Черезъ нѣсколько дней опустѣлъ Московскій домъ Огинскихъ, и опущенныя сторы оконъ, запертыя ворота и спущенная съ цѣпи большая дворная собака говорили объ отсутствіи хозяевъ.

Конецъ первой части.

ВЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАМѢЧЕНЫ СЛѢДУЮЩІЯ ОПЕЧАТКИ.

	Напечатано:	*Должно читать:*
На стр. 12	написанномъ	написаннымъ
— 40	всыхнувъ	вспыхнувъ
— 55	и др. Мишель Армалевъ	Леонъ Армалевъ.
— 53	у Бронской,	въ домѣ Бронской,
— 59	маркизъ Позъ, Лунзъ и Верзеровъ.	маркиза Позы, Лунзы и Вертера.
— 94	не знаю—думаю,	не знаю, но думаю,
— 102	Врочемъ,	Впрочемъ,
— 109	съ одой стороны,	съ одной стороны,
— 116	безъзавѣтно	безотвѣтно
— 120	поправилась,	понравилась
— 125	пріѣхалъ съ женою	онъ пріѣхалъ съ женою
— 126	безобрано-толстой	безобразно-толстой
— 132	и ихъ для меня?	и ихъ мнѣнія для меня?
— 134	наполнять пустоты	наполнять пустоту
— 146	подошлакъ	подошла къ
— 155	оставить мать одну	отпустить мать одну
— 165	и что — совершенство	и что я совершелство

—	169	взойдутъ	войдутъ
—	—	замѣтки путешествій,	путевыя замѣтки,
—	174	Очень мнѣ нужно,	Очень мнѣ нужно!
—	177	Какъ? это? вы?	Какъ, это вы?
—	178	едва ли не презрительно	едва не презрительно.
—	195	не новостію,	не ново,
—	200	обѣщался	обѣщалъ
—	237	закапали на бѣлую шею и пр.	на бѣлую шею и пр.
—	241	Сперва Валентинъ бывалъ	Валентинъ бывалъ
—	242	взялъ	взялъ на себя
—	—	хитрая по натурѣ, и по принципу непостоянная,	хитрая по натурѣ и по принципу, непостоянная,

ТРИ ПОРЫ ЖИЗНИ.

ТРИ ПОРЫ ЖИЗНИ,

РОМАНЪ

Евгенiи Туръ.

Просило сердце новой ласки,
Просило новую любовь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

МОСКВА.
ВЪ ТИПОГРАФIИ В ГОТЬЕ.
1854.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи, до выпуска изъ типографіи, представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, Октября 30 дня, 1853 года.

Цензоръ Д. С. С. и К. И. Снегиревъ

ТРИ ПОРЫ ЖИЗНИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ГЛАВА I.

Прошелъ годъ. Уступивъ настоятельнымъ просьбамъ матери, Валентинъ рѣшился вступить въ службу и пріѣхалъ опять въ Москву. Опять поселился онъ въ высокомъ домѣ предковъ своихъ, и съ ѣдкою печалью увидѣлъ тѣ комнаты, въ которыхъ перенесъ столько тревогъ и волненій. Онъ не выходилъ изъ нихъ и старательно избѣгалъ встрѣчи съ знакомыми; ему казалось, что всѣ будутъ оглядывать его съ любопытствомъ, будутъ читать въ глазахъ его повѣсть прошлаго. Что касается до возможности встрѣтить Ельцову, то онъ не смѣлъ и думать объ этомъ, боялся услышать самое имя ея, хотя бывали минуты, когда оно неотвязно просилось на языкъ его, когда его томило желаніе узнать, что съ нею сталось.

Была ли то прежняя любовь, или ея остатки? Любовь—чувство коварное. Любовь надѣваетъ маску, подъ другимъ видомъ, неуловимыми сѣтями опутываетъ

сердце, и когда чувство гордости и собственнаго достоинства отвергаютъ ее какъ недостойную, она является подъ видомъ состраданія и жалости, и часто побѣда остается за нею.

Такъ случилось и съ Валентиномъ. Безвыходная тоска, преувеличенная, быть можетъ, имъ самимъ, все еще тяготила его. Порою сиживалъ онъ одинъ, вперивъ взоры вдаль; при взглядѣ на него, можно было подумать, что онъ превосходно играетъ роль Макбета, увидѣвшаго предъ собою тѣнь Банко, такъ лице его бывало тогда мрачно, такъ взоръ бывалъ неподвиженъ. Дѣйствительно, если можно было упрекнуть его въ томъ, что онъ безсознательно кокетствовалъ самъ съ собою своимъ прошлымъ горемъ, упрекнуть его въ романтическомъ настроеніи духа, то конечно нельзя было отрицать въ этомъ болѣзненномъ направленіи нѣкоторую степень правды. Онъ былъ такъ глубоко пораженъ въ первомъ чувствѣ своемъ, что у него была своя тѣнь Банко. Да и кто изъ насъ, пожившихъ на бѣломъ свѣтѣ и испытавшихъ многое, изъятъ отъ этой напасти? Кто, прошедъ половину поля жизни, можетъ похвалиться, что не покраснѣетъ или не поблѣднѣетъ вдругъ, по видимому безъ всякой внѣшней причины? У кого внезапно не застучитъ сердце, или не дрогнетъ оно, у кого порою, въ часъ раздумья, не вперится взоръ и не остановится онъ не подвижно? Что такое? Что случилось? а Богъ вѣсть! Быть можетъ, мелькнулъ въ памяти давно забытый, но знакомый и еще милый образъ, или случайно прозвучало что-то, напомнившее давно затихнувшіе, но нѣкогда смущавшіе звуки. Вотъ слышится шорохъ:

вѣтеръ ли коснулся занавѣси, или скрипнула дверь, или зашумѣла по ковру легкая поступь, все это такъ обыкновенно, такъ незнаменательно, а у иного это пробуждаетъ вдругъ воспоминаніе о давно минувшей молодости, о давно угасшихъ радостяхъ. Вотъ пахнуло запахомъ цвѣтка, и передъ вами воскресаетъ забытое прошлое, и встаетъ оно всемогущее надъ душою, и вѣетъ на нее отрадно или тоскливо; нѣкогда пережитая драма сжимаетъ страданіемъ ваше смущенное сердце. Развѣ это не таже тѣнь Банко ?...

Воротынская, узнавъ о пріѣздѣ Огинскихъ въ Москву, очень часто бывала у нихъ ; но ни разу не удалось ей видѣть Валентина, который избѣгалъ ея, какъ и другихъ. Однажды, когда она долѣе обыкновеннаго засидѣлась у нихъ вечеромъ, Александра Николаевна приказала позвать къ себѣ Валентина.

—Я боюсь, ему будетъ непріятно видѣть меня, сказала Зенеида.

— Полноте, возразила Огинская, не вѣкъ же ему запираться въ кабинетѣ, когда меня навѣщаютъ добрые знакомые.

Воротынская молчала: она была нѣсколько смущена. Вскорѣ Валентинъ показался въ дверяхъ; неожиданно увидѣвъ Воротынскую, онъ измѣнился въ лицѣ и невольно пріостановился. Она покраснѣла, но поспѣшно встала, пошла къ нему на встрѣчу, и, протягивая руку, сказала добродушно:

— Вы не узнаете меня? Вы совсѣмъ забыли старыхъ знакомыхъ, старыхъ друзей. Мнѣ надо бы сердиться на васъ, но я не злопамятна.

— Сердиться! сказалъ Валентинъ машинально.

— Конечно. Вотъ ужъ мѣсяцъ что вы здѣсь, а я васъ еще не видала. Ну, скажите, что дѣлали вы въ деревнѣ, было ли вамъ весело?

— Очень спокойно, если не весело, сказалъ Валентинъ принужденно, садясь подлѣ нея и продолжая незначащій разговоръ. Сама Воротынская поддерживала его очень искусно, не касаясь ни общихъ знакомыхъ, ни городскихъ извѣстій. Уѣзжая, она взяла съ него слово непремѣнно пріѣхать къ ней вечеромъ; Валентину тяжело было рѣшиться, но просьбы матери и сестры подѣйствовали на него, и онъ отправился.

У Воротынской никого не было, кромѣ двухъ старухъ, которыя играли въ карты съ ея теткой; увидѣвъ Валентина, Елена Филипповна встрѣтила его не слишкомъ лестнымъ удивленіемъ и поздравляла его съ тѣмъ, что онъ наконецъ воротился изъ деревни и дѣлается изъ отшельника городскимъ жителемъ. Она говорила, что пора, давно пора ему покинуть праздную жизнь, что не все же быть дикаремъ въ его лѣта. Неизвѣстно, что отвѣтилъ бы герой нашъ на вступительную рѣчь опрометчивой старухи, если бы не явилась на помощь къ нему сама хозяйка. Она отвѣчала за него, смѣялась, шутила, съострила мимоходомъ на счетъ тетушки и пожилыхъ людей вообще, потомъ ласково поцѣловала руку у нѣсколько разсерженной ея замѣчаніями старухи и, взявъ Анюту за руку, увела ее и Валентина въ кабинетъ свой, притворяя за собою дверь.

— Здѣсь мы безопасны, сказала она весело, садясь за

чайный столъ; сюда никто не придетъ, и мы останемся одни цѣлый вечеръ. Простите тетушку, прибавила она серьознѣе и тономъ сердечнаго участія, обращаясь къ Валентину; она женщина не молодая, имѣетъ свои недостатки.

Анюта, зная заранѣе, что Воротынская желала сближенія во что бы то ни стало, взоромъ вызывала брата на ласковое слово; но Валентинъ упорно молчалъ и разсѣянно пилъ чай, немилосердно обжигая губы. Воротынская говорила съ Анютой и порою взглядывала на него; тогда и онъ вставлялъ свое слово, усиливаясь поддерживать общій вялый разговоръ. Черезъ часъ такой натянутой бесѣды, всѣмъ имъ стало, неловко; Анюта была грустна и недовольна, Воротынская печальна, а Валентинъ по прежнему угрюмъ, холоденъ и недоступенъ. Настало молчаніе. Валентинъ вынулъ часы и посмотрѣлъ.

— Который часъ? спросила его Воротынская.

— Половина десятаго, сказалъ онъ.

— Какъ далеко еще до одиннадцати, воскликнула она почти невольно; намъ еще придется просидѣть здѣсь полтора часа: вѣжливость непозволяетъ уѣхать раньше! Не правда ли, я угадала тайную мысль вашу?

Онъ поглядѣлъ на нее съ удивленіемъ. Она покраснѣла, будто испугалась собственныхъ словъ.

— Я объ этомъ не думалъ, сказалъ Валентинъ.

— Едва ли, возразила она почти робко.

— Валентинъ, сказала Анюта умоляющимъ голосомъ.

— Оставьте его, отвѣчала Воротынская; я сдѣлаю ему

еще одинъ послѣдній нескромный вопросъ. Скажите мнѣ однажды навсегда, отъ чего, разставшись друзьями, мы встрѣчаемся чужими?

— Какъ понимать это? спросилъ Валентинъ такимъ тономъ, какъ будто хотѣлъ сказать: кто далъ вамъ право навязываться на мою довѣренность?

Она поняла это.

— Дружба даетъ мнѣ право спрашивать васъ, но это будетъ въ первый и въ послѣдній разъ. Не думайте, что я буду преслѣдовать васъ моимъ участіемъ; скажите, если у васъ было горе, я ли была тому причиной?

— Горе мое, если оно и было, принадлежитъ мнѣ одному, и никто не имѣетъ права кидать мнѣ его въ лице, сказалъ Валентинъ, вспыхнувъ.

— Я, моимъ вмѣшательствомъ, не оскорблю вашего горя; я уважаю его какъ всякое страданіе, но зачѣмъ стали вы такъ горды, такъ недовѣрчиво холодны, такъ угрюмы? Зачѣмъ вы надменно отвергаете всякое участіе и дружбу?

— Я рада, сказала Анюта, что вы рѣшились говорить съ нимъ; живя съ маменькой, со мной, онъ отвыкъ слушать правду. Какъ балованное дитя, онъ самъ не знаетъ, что ему надо; было время, когда и наше участіе было ему въ тягость; было и такое время, когда онъ упрекалъ насъ въ холодности и равнодушіи. Скажи, развѣ это не правда? прибавила она, обращаясь къ брату.

— Мнѣ необходимо спокойствіе и совершенная независимость, сказалъ Валентинъ.

— Слова балованнаго сына, баловня судьбы, сказала Воротынская.

Валентинъ горько улыбнулся.

— Чему вы улыбаетесь? сказала она съ жаромъ; знаете ли, отъ чего вамъ не нужно участіе? Именно оттого, что вы его находите вездѣ около себя. Да, вы не испытывали безотраднаго горя посреди всеобщаго равнодушія.

— А вы испытали? спросилъ онъ иронически.

— Можетъ быть, но еслибъ и нѣтъ, кто, скажите мнѣ, далъ вамъ право спрашивать меня объ этомъ съ дерзкою улыбкой на устахъ. Вы молоды, вы еще мало жили, но я уважаю вашу печаль; скажите же, отъ чего, по первому моему слову, вы смѣетесь надъ моимъ справедливымъ замѣчаніемъ. Подите, Богъ съ вами, вы стали совершеннымъ эгоистомъ.

— Я эгоистъ?

— Да, сказала Анюта, ты часто говоришь какъ эгоистъ. Неужели лучше жить одному, мало по малу отдаляясь отъ всѣхъ, и отвергая дружбу и привязанность?

— Но еслибъ вы знали, сказалъ Валентинъ, какъ тяжело звучатъ въ сердцѣ моемъ эти два слова. Дружба, привязанность: они напоминаютъ мнѣ злобу, коварство, измѣну; пожалѣйте обо мнѣ, но не браните меня.

Валентинъ облокотился на столъ и закрылъ глаза рукою.

— Милый мой, сказала Анюта, переходя тотчасъ отъ досады къ нѣжности; говори съ нами, говори больше. Я люблю тебя, ты это знаешь; взгляни на Зенеиду, она также любитъ тебя; смотри, она плачетъ,

Онъ взглянулъ на побѣднѣвшее лицо Воротынской, орошенное слезами, быстро всталъ, подошелъ къ ней и поцѣловалъ ея руку.

— Да, сказала она тихо и нѣжно, я часто думала о васъ, я всегда любила васъ, и дружба моя къ вамъ была глубоко уязвлена; вы уѣхали отсюда, не простившись со мной, вы жили годъ въ деревнѣ, не приписавъ никогда ни строчки въ письмахъ вашей сестры ко мнѣ; пріѣхавъ сюда, вы избѣгали меня. И за что? Была ли я холодна, насмѣшлива, равнодушна къ вамъ во время вашей гибельной страсти. Правда, я пыталась открыть вамъ глаза, но никогда оскорбительное слово не сорвалось съ языка моего, никогда, и всѣ знаютъ это, я не бросила камнемъ въ ту, которую вы любили, хотя она....

— Знаю, знаю, сказалъ онъ.

— А теперь, развѣ вы пріѣхали ко мнѣ? нѣтъ, я нашла васъ; я почти силою заставила васъ пріѣхать ко мнѣ; быть можетъ, у меня не достало бы для этого ни рѣшимости, ни мужества, но мать ваша хотѣла этого и просила меня о томъ же, о чемъ громко просило меня мое собственное сердце. Замкнувшись въ самомъ себѣ, вы гордо страдали, будто ваше страданіе выше нашего уровня, недоступно намъ.

— Что же было мнѣ дѣлать? сказалъ Валентинъ. Жаловаться, надоѣдать вамъ моимъ ропотомъ на судьбу или, разбивъ кумиръ, которому я поклонялся когда-то, дерзкою рукой стащить обломки его и топтать ихъ при свидѣтеляхъ? Нѣтъ, нѣтъ! Довольно и того, что

онъ погибъ, что разсудокъ и опытъ доказали мнѣ, какъ я ошибался. Я не могу осмѣивать прошлаго чувства.

— Никто этого не требуетъ, сказала Воротынская; забудемъ прошлое, не станемъ говорить о немъ; но если вамъ грустно и тяжело, придите къ намъ, у васъ двѣ сестры; мы обѣ понимаемъ душевную скорбь вашу и будемъ помогать вамъ нести ее благородно.

Она подала ему руку, онъ крѣпко сжалъ ее.

— Простите мою неблагодарность, сказалъ онъ тихо; я былъ ожесточенъ, и какъ дитя поддался этому чувству. Я сознаюсь, что если со мной поступили дурно, то и я, какъ будто въ возмездіе за это, поступалъ не хорошо съ людьми, меня окружающими. Они должны простить меня, я былъ очень несчастливъ.

Анюта обняла брата.

— Я не знаю, какъ благодарить васъ, сказала она Воротынской; вы сдѣлали для него гораздо больше въ одинъ вечеръ, чѣмъ я могла сдѣлать въ годъ. Въ продолженіе года, онъ не говорилъ со мной откровенно, какъ будто я была чужая.

— Я не могъ говорить, возразилъ Валентинъ; Анюта, вспомни, какъ ты ее ненавидѣла! Сердце мое сжималось, когда ты произносила ея имя; глубокое презрѣніе и ненависть звучали въ твоемъ голосѣ. Мнѣ казалось, что вмѣстѣ съ нею ты презираешь и меня.

— Никогда! сказала Анюта; но я не могла понять....

— Молчите, Анюта, сказала Воротынская, не трогайте прошлаго: оно болѣзненно отзывается въ душѣ, даже въ самую сладкую минуту откровенности. Поговоримъ о будущемъ.

— Вы хотите служить, Огинскій ?

— Я уже служу.

— Хотите ѣздить въ свѣтъ ?

— Ни за что.

— Напрасно. По крайней мѣрѣ, дайте мнѣ слово, что не будете избѣгать моего небольшаго кружка.

— Не знаю, я хотѣлъ бы видѣть васъ однѣхъ.

— Я рѣдко бываю одна.

— Неужели вы не можете жить безъ свѣта, безъ свѣтскихъ связей, безъ толпы?...

— О, это другой вопросъ, сказала она, улыбаясь. Отношенія мои уже установились, разорвать ихъ я была бы не въ силахъ; да и для чего ? для кого ?... Но не объ этомъ рѣчь. И такъ, вы будете ѣздить ко мнѣ: скрываться, избѣгать всѣхъ, значило бы сдѣлаться смѣшнымъ.

— Я не боюсь этого, сказалъ онъ.

— Однако, возразила она, качая головой, это усиліе необходимо. Сдѣлайте его.

— Не знаю, увидимъ.

— Хорошо, увидимъ, повторила она и, взявъ его за руку, отвела къ окну.

— Два слова, сказала она. Вѣроятно, вы не желаете встрѣтить ее. Будьте покойны: ея нѣтъ здѣсь; вскорѣ послѣ вашего отъѣзда, она уѣхала въ Петербургъ.

— За Симанскимъ ?

— Многіе говорятъ , что да , сказала она кратко и отошла отъ окна, не желая продолжать разговоръ.

Въ это самое время Елена Филипповна, окончивъ свою партію, вошла въ комнату.

— У тебя сегодня никого нѣтъ ? спросила она у племянницы.

— Я сегодня не расположена принимать.

— Этотъ отвѣтъ я ужъ слышу два раза на этой недѣлѣ. Такимъ образомъ , пожалуй , всѣ перестанутъ ѣздить къ тебѣ. Одинъ разъ отказъ , другой разъ отказъ , а въ третій и звать будешь , да никто не поѣдетъ.

Воротынская молчала.

— Что жъ ты молчишь, Зенеида, я говорю съ тобою?

— Вы знаете, что я была не совсѣмъ здорова, сказала она, а отъ пріемовъ я устаю еще больше.

— Все пустяки. Ну, а вы, моя милая, будете выѣзжать? спросила она , обращаясь къ Анютѣ, и продолжала, не ожидая отвѣта: Зенеида говорила мнѣ, что ваша матушка опять поручаетъ васъ намъ. Я очень рада. Зенеида засидѣлась дома, едва уговорю ее выѣхать ; теперь она будетъ ѣздить на вечера съ вами : я замѣчаю, что начинаю старѣться. Право, я думаю, что старѣюсь.

Валентинъ воспользовался минутой молчанія и простился съ обѣими хозяйками. Воротынская проводила

Анюту до передней и взяла слово съ обоихъ бывать у ней какъ можно чаще. Валентинъ въ первый разъ улыбнулся безъ принужденія.

— Не берите слова, сказалъ онъ; вы, я думаю, сдѣлаетесь мнѣ необходимы; я буду ѣздить къ вамъ изъ эгоизма и, быть можетъ, наскучу вамъ.

Пришедши въ свою спальню и припоминая разговоръ съ Валентиномъ, Воротынская пришла къ заключенію, что онъ дитя, настоящее дитя. Какъ убила его эта несчастная любовь! А какой онъ милый, какъ достоинъ любви, думала она, и заснула съ его образомъ въ сердцѣ.

Съ этой минуты отношенія Валентина къ ней стали прочнѣе прежняго. Томимый скукою, тронутый участіемъ Воротынской, онъ сталъ посѣщать ее чаще и чаще, и скоро не проходило дня, въ который онъ не заѣхалъ бы къ ней хотя на минуту; его положеніе въ домѣ Воротынской было самое пріятное; онъ зналъ, когда могъ найти ее одну, да и сама она дѣлала все, что отъ нея зависѣло, чтобы проводить съ нимъ по нѣскольку часовъ съ глазу на глазъ. Она поняла, что могла привязать его къ себѣ, умѣла кстати вставить слово утѣшенія, когда онъ былъ грустенъ, умѣла занять его, когда онъ скучалъ, умѣла молчать, когда онъ садился у камина и разсѣянно глядѣлъ на трепещущее пламя. Когда Валентинъ говорилъ о прошломъ и вспоминалъ Ельцову, она старалась обратить разговоръ собственно на него самого, и хотя ненавидѣла или презирала эту женщину, но никогда не оскорбила его рѣзкимъ отзывомъ о ней.

Иногда, вызванная неотступными просьбами Валентина сказать свое мнѣніе о Ельцовой, она говорила кратко: Богъ съ нею! и принималась съ жаромъ доказывать, что онъ еще молодъ, что у него впереди еще много и жизни, и привязанностей. Горячее участіе, можетъ быть чувство болѣе нѣжное, исключительно овладѣвшее сердцемъ Воротынской, помогало ей терпѣливо выслушивать эгоистическія выходки Валентина, утомлявшія Анюту, которая часто раздѣляла ихъ бесѣды. Зима проходила; Валентинъ занимался службой, читалъ, но не ѣздилъ въ свѣтъ, куда однако продолжала являться Воротынская съ Анютой. Не смотря на желаніе уединиться, Валентинъ очень часто встрѣчалъ у Воротынской небольшое общество, въ которомъ онъ скоро занялъ не послѣднее мѣсто. Онъ былъ уже не такъ робокъ, говорилъ развязно и былъ любимъ всѣми.

Весна должна была разлучить ихъ; но ни онъ, ни она, не думали о разлукѣ: занятые другъ другомъ, они не замѣчали, что время текло. Однажды вечеромъ, пріѣхавъ къ ней по обыкновенію, Валентинъ нашелъ у нея довольно большое общество; Воротынская, занявшись всѣми, нашла удобный случай сѣсть подлѣ Валентина, и длинный разговоръ завязался между ними. Послѣ ужина Елена Филипповна встала изъ-за карточнаго стола и пришла въ гостиную. Кто-то говорилъ о вновь купленной дачѣ, и это послужило поводомъ къ длинному разговору о томъ, гдѣ кто проведетъ лѣто.

— А намъ пора укладываться, сказала Елена Филипповна своей племянницѣ.

— Какъ? спросила одна дама, вы хотите ѣхать въ деревню такъ рано?

— Мы ѣдемъ не въ деревню, а на дачу къ княгинѣ Обольяновой; Зенеида и я давно обѣщали навѣстить ее. Оттуда мы уже поѣдемъ къ себѣ. Княгиня переѣхала вчера на дачу, а мы поѣдемъ черезъ недѣлю или двѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ? сказалъ Валентинъ, обращаясь къ Воротынской.

Она нѣсколько измѣнилась въ лицѣ.

— Развѣ вы не можете остаться въ Москвѣ? Пусть тетушка ваша ѣдетъ одна.

— Тетушка не позволитъ мнѣ остаться. Однако я попытаюсь и сдѣлаю все, что отъ меня зависитъ, чтобы остаться

— Я удивляюсь, сказалъ онъ.

— Мало ли чему вы можете удивляться, вы, незнавшій до сихъ поръ отказа, вы, единственный, любимый сынъ!

— Я всегда думалъ, что вы независимы и свободны, сказалъ онъ.

— Мало ли что вы думали или выдумали, сказала она, полушутя, полусерьезно.

— Такъ вы имѣете отъ меня тайны? спросилъ Валентинъ, смѣясь. О друзья, друзья, особенно женщины!

— Тайны нѣтъ, сказала она серьезно, но моя ли вина, если вы никогда не видите дѣйствительности, если вы даже не позаботились спросить у меня, что я была,

и не угадали, что я теперь и какъ существую. Это доказываетъ ваше крайнее равнодушіе ко мнѣ.

— Это доказываетъ мою къ вамъ довѣреность, отвѣчалъ Валентинъ; я вижу васъ, этого довольно.

— Близорукій, сказала она шутя....

На другой день послѣ этого разговора, Воротынская отправилась къ теткѣ, не совсѣмъ спокойная. Она застала ее за туалетомъ: старуха примѣривала вновь принесенные чепцы и пустилась въ длинное разсужденіе по поводу каждаго вновь примѣриваемаго головнаго убора.

— Что ты думаешь объ этомъ? спросила Елена Филипповна, надѣвая чепчикъ, усыпанный множествомъ мелкихъ пунцовыхъ ленточекъ.

— Не дуренъ, ma tante.

— Да, demie toilette, для утра очень милъ; мнѣ именно теперь надо два или три такихъ чепчика. По утру у княгини Обольяновой нарядѣе быть не нужно: дача не городъ, хотя гостей будетъ очень много по случаю новоселья.

— Тѣмъ лучше, ma tante, вамъ не будетъ скучно.

— Я думаю такъ же, какъ и тебѣ.

— Конечно, конечно! но я не знаю... я думаю... я располагала...

— Что? сказала старуха протяжно, снимая чепецъ и кладя его на туалетъ.

— Мнѣ не хочется ѣхать, ma tante, деревня въ началѣ мая еще не заманчива. Вы любите играть въ карты, вы....

— Что я за картежница! Будто я безъ картъ ужъ и жить не могу? Съ чего ты взяла это? Конечно, деревня не находка въ маѣ, но когда есть гости, это тотъ же городъ, и я увѣрена, что намъ обѣимъ будетъ очень весело. Ты понимаешь, что тебѣ нельзя не ѣхать.

— Почемуже? сказала Воротынская почти робко.

— А потому что нельзя.

— Но, ma tante.....

— Нечего, ma tante, возразила старуха. Ты воображаешь, что можешь меня одурачить. Выкинь это изъ головы. Съ Огинскимъ ты въ Москвѣ не останешься, а поѣдешь со мной, понимаешь?

— Я удивляюсь вамъ, тетушка: кто вамъ говорилъ объ Огинскомъ? Развѣ изъ того, что я не хочу ѣхать на дачу, слѣдуетъ, что я хочу остаться съ нимъ? Вы забываете, что я женщина, вдова, что мнѣ двадцать восемь лѣтъ.

— Опираться на твои двадцать восемь лѣтъ совершенно неумѣстно. Въ двадцать восемь лѣтъ дѣлаютъ глупости, и ты это достаточно доказала. Твое поведеніе нынѣшнюю зиму было ни на что не похоже: все съ нимъ, да съ нимъ. Или хочешь ты, чтобъ на тебя показывали пальцемъ, какъ на Ельцову? Ты безъ мѣры съ нимъ кокетствуешь. Жениться на тебѣ онъ не можетъ, да и хорошъ женихъ, мальчишка....

Воротынская въ продолженіе всей этой выходки блѣднѣла и краснѣла попеременно; наконецъ, она сказала тихо:

— Я не ожидала этого отъ васъ, тетушка; кажется, я всегда дѣлала вамъ угодное, всегда старалась по возможности утѣшать васъ.

Елена Филипповна смягчилась немного, но Воротынская продолжала :

— Всю зиму я ѣздила на всѣ балы, потому что вы желали этого ; принимала, потому что вамъ было такъ угодно; въ чемъ же вы можете упрекнуть меня?

Старуха покраснѣла ; глаза ея заблистали.

— Для меня на балы, сказала она, для меня! мнѣ просто смѣшно. Да развѣ я танцую, развѣ я до утра не покидаю паркета, какъ вы? Пожалуйста, не навязывайте мнѣ собственныхъ вкусовъ. Ужъ не для меня ли вы наряжались каждый день? Нѣтъ, извините, вы распускаете свои букли, вы всякій день въ черномъ бархатѣ, и ужъ конечно не для меня : вы знаете, что это вамъ къ лицу, и вашъ Огин....

— Тетушка, оставимъ этотъ разговоръ. Я не поѣду съ вами на дачу къ княгинѣ, потому что мнѣ не хочется, и когда вы возвратитесь оттуда, все будетъ готово, и мы поѣдемъ въ Спасское.

— Какъ вамъ угодно. Вы можете ѣхать въ Спасское, въ Покровское, въ какое угодно село. Что касается до меня, то я отъ княгини отправлюсь въ Васильевское.

— Я тамъ съ ума сойду, сказала Воротынская, да и вамъ будетъ скучно за двѣсти верстъ отъ Москвы. Въ Спасскомъ, за два шага отъ парка, вы могли бы всегда составить партію въ карты.

— Я вамъ уже сказала, что могу жить и безъ партіи; я, благодаря Бога, могу заняться и хозяйствомъ, и моимъ птичьимъ дворомъ, я найду себѣ занятіе.

— Какъ вамъ угодно, сказала Воротынская и ушла въ свою комнату. Цѣлый день тетка не говорила съ племянницей; Воротынская не могла терпѣть около себя недовольнаго лица: она сдѣлалась грустна; не смотря на всѣ усилія казаться спокойною и веселою. Ложась спать, она попросила къ себѣ довѣренную особу своей тетки, ея первую горничную Анфису Ильиншну, которая тотчасъ явилась къ ней.

— Что тетушка? спросила у ней Воротынская.

— Не такъ-то въ духѣ, однако изволили выѣхать, отвѣчала Анфиса Ильиншна.

— Послушайте, моя милая, сказала ей Воротынская, сдѣлайте мнѣ одолженіе. Если тетушка рѣшится ѣхать лѣтомъ въ Васильевское, отсовѣтуйте ей.

— Помилуйте, онѣ не поѣдутъ туда: что онѣ станутъ тамъ дѣлать въ глуши. Онѣ говорятъ, что будутъ заниматься хозяйствомъ: сами посудите, статочное ли дѣло, онѣ и понятія объ этомъ не имѣютъ, ну а птичій дворъ не займетъ же ихъ на цѣлый день.

Воротынская замѣтила, что Анфиса Ильиншна лучше ея знала тетушку, на что старая горничная отвѣчала утвердительнымъ знакомъ.

— И что это ей вздумалось жить въ Васильевскомъ? проговорила Зенеида, задумавшись.

— Да просто, такъ; вѣстимо, капризъ. Вы ее разсердили. Вамъ бы ѣхать на дачу-то, сударыня, а то ея не уломаешь, уѣдетъ въ Васильевское.

— Пускай ѣдетъ, я не поѣду, сказала Воротынская.

Аѳиса Ильинишна обѣщала уговорить тетушку, и дѣйствительно, въ тотъ же вечеръ отъ слова до слова пересказала ей разговоръ свой съ Зенеидой Львовной.

Елена Филипповна слушала молча.

— Скажи ей, проговорила она наконецъ, что или она поѣдетъ со мною къ княгинѣ на дачу, или я на все лѣто уѣду въ Васильевское. Посмотримъ, какъ-то она рѣшится жить безъ меня въ Спасскомъ.

Переговоры длились нѣсколько дней.

Зенеида должна была сдаться и примирилась съ необходимостью пожертвовать чѣмъ нибудь для счастія всего лѣта. Лишь только увидѣла она Валентина, какъ прыгнула къ нему на встрѣчу съ дѣтскою радостію, и хлопая въ ладоши, сказала: все кончено, мы ѣдемъ въ Спасское, лѣто мое, лѣто наше!

— Я не сомнѣвался въ этомъ, сказалъ Валентинъ, отъ котораго она скрывала цѣлые пять дней домашніе переговоры; развѣ это могло быть иначе, развѣ было такъ трудно устроить вещь, въ сущности самую простую и обыкновенную?

— Ахъ, сказала Воротынская, простыя вещи всегда бываютъ самыя трудныя, но я все уладила.

И они принялись строить планы: она говорила о распредѣленіи дня, о своихъ занятіяхъ, о прогулкахъ верхомъ, пѣшкомъ, въ кабріолетѣ. Цѣлое утро провели они, мечтая о деревенской жизни, будто впервые собирались провести лѣто въ деревнѣ.

— Я забыла однако сказать вамъ, что я ѣду на двѣ недѣли къ княгинѣ Обольяновой.

— За чѣмъ это? спросилъ о

— Что дѣлать? Я обѣщала; къ тому же, тетушка непремѣнно этого требуетъ.

— Странно исполнять всѣ капризы старухи.

Она зажала ему ротъ рукой и улыбнулась такъ мило, что онъ только покачалъ головой, не сказавъ ни одного слова.

Послѣдніе дни городской жизни мелькнули какъ сонъ для нихъ обоихъ. Грустно было ему разстаться съ нею, хотя и на короткое время; но отрадно было видѣть, что она сама была огорчена разлукой, что ей такъ трудно покидать его. Эти послѣдніе дни сблизили ихъ еще больше; оба они почувствовали, сколько были необходимы другъ другу, и когда, прощаясь, горячая слеза Зенеиды канула на щеку Валентина, нѣжно цѣловавшаго ея руки, онъ взглянулъ на нее такъ нѣжно, что сердце ея забилось радостью въ минуту разлуки.

ГЛАВА II.

Спасское было небольшое село съ церковью и господскимъ домомъ, построеннымъ на верху довольно крутой горы. Подъ горою извилисто текла небольшая рѣчка; мельница живописно примыкала къ березовой рощѣ, которая, поднимаясь по горѣ, соединялась съ старымъ садомъ и пышными цвѣтниками. Домъ былъ довольно великъ, въ два этажа, съ бельведеромъ; на верху жила Елена Филипповна, а внизу, рядомъ съ цвѣтниками, были комнаты Воротынской. Большое крыльцо въ родѣ балкона, вело прямо изъ ея кабинета въ садъ и было уставлено тепличными растеніями и цвѣтами. Каждый вечеръ приносили туда ея кресло и столикъ: послѣ чаю, она садилась здѣсь читать или работать, при свѣтѣ нарочно устроенной для открытаго воздуха лампы. Въ деревнѣ она явилась глазамъ Валентина совершенно иною; не только въ ея нарядѣ была замѣтна перемѣна, но даже въ ней самой многое показалось ему новымъ. Волосы ея были зачесаны гладко,

что очень шло къ ней: она казалась моложе; стройная ея талія, небрежно стянутая поясомъ, и бѣлый простой пеньуаръ, нравились Валентину больше пышныхъ городскихъ нарядовъ. Сама она была задумчивѣе, что придавало ей особенную прелесть. Раза три въ недѣлю, прямо изъ присутствія, Валентинъ пріѣзжалъ къ ней и находилъ ее или за работой, или въ цвѣтникѣ. Она любила цвѣты и, надѣвъ шведскія перчатки, съ маленькой лопаткой въ рукахъ, усердно рылась въ клумбахъ, пересаживала и поливала цвѣты. Валентинъ не помогалъ ей, но часто, садясь на садовую скамейку, любовался безъискусственною граціей ея движеній или разсѣянно слѣдилъ за нею, когда между зеленью мелькалъ ея станъ и бѣлыя складки ея платья. Спокойно и вполнѣ наслаждался Валентинъ и весеннимъ воздухомъ, и природой, и безмятежною сельскою жизнію; она, по видимому, мало заботилась о немъ, хотя часто сиживала подлѣ него и была, безъ сомнѣнія, душою той стройной жизни, которая такъ плѣняла Валентина. Елена Филипповна не была создана для деревенской жизни; непродолжительное сѣверное лѣто казалось ей безмѣрно длиннымъ. Утромъ она занималась своимъ многосложнымъ туалетомъ; окончивъ его, она садилась около клѣтки своего любимаго попугая, и разговаривая попеременно, то съ нимъ, то съ Анфисой Ильинишной, кое-какъ убивала время до обѣда. Потомъ, съ попугаемъ на рукѣ, сходила она внизъ и садилась за столъ. Часто всѣ блюда были ей не по вкусу, и капризамъ ея не было конца. Тогда-то надо было подивиться гибкости характера и добротѣ Воротынской;

нѣсколько разъ случалось ей выбѣгать изъ-за стола, приносить требуемыя вещи, заступаться за кого нибудь изъ домашнихъ, шутить и разсѣявать скуку брюзгливой тетки. Валентинъ, никогда не знавшій близкихъ отношеній съ капризными женщинами, никогда не видавшій чудовищнаго соединенія претензій на молодость съ привычками и недостатками старости, не могъ довольно надивиться терпѣнію и добротѣ Зенеиды. Послѣ обѣда, Елена Филипповна обыкновенно оставалась съ племянницей около часа, а потомъ уходила къ себѣ и занималась чтеніемъ какого нибудь французскаго романа. Иногда пріѣзжали гости, и она тотчасъ садилась за карточный столъ. Вечеромъ, она дѣлала въ цвѣтникѣ два, три круга и исчезала опять, оставляя племянницу съ Валентиномъ. Такимъ образомъ прошла недѣля, настало воскресенье. Валентинъ объявилъ Воротынской, что свободенъ на весь день, и потому пріѣдетъ очень рано, къ утреннему чаю. На другой день, когда фаэтонъ его подкатился къ крыльцу, она вышла ему на встрѣчу и съ дѣтскою радостію ввела его въ кабинетъ свой, гдѣ ожидалъ ихъ завтракъ.

— Я опоздалъ, сказалъ Валентинъ: теперь одиннадцатый часъ. Неужели вы еще не завтракали?

— Нѣтъ, я ждала васъ, сказала она просто.

— Признаюсь, я проголодался; вѣроятно, и вы также. Вы даже не пили чаю?

Она позвонила, но никто не являлся. Она вышла; въ передней никого не было. Какъ дитя побѣжала она въ комнату экономки, и торжествуя, понесла

сама оттуда въ одной рукѣ масло, въ другой булки и сухари.

— Какъ, сами! не грѣшно ли вамъ? сказалъ онъ.

— Оставьте, возразила она, смѣясь. Я хозяйничаю по-деревенски, мнѣ весело; не забудьте, что я сама не завтракала и также умираю съ голода. Садитесь, я сейчасъ принесу чай и кофе.

Она вышла опять и, возвращаясь съ кофейникомъ и чайникомъ, встрѣтилась въ залѣ съ теткой. Старуха посмотрѣла на нее съ удивленіемъ и пожала плечами; Воротынская смутилась какъ пансіонерка, пойманная въ шалости. Она засмѣялась не безъ принужденія и сказала:

— Деревня, тетушка, имѣетъ свои права: это сказалъ самъ Пушкинъ.

— Не знаю, что сказалъ Пушкинъ, да признаться и знать не желаю, а знаю только, что это вовсе не прилично.

— Принести самой кофе? возразила племянница.

— Да, особенно для гостя, когда этотъ гость мальчишка.

— Будто я для него, ma tante, сказала она и поспѣшила ускользнуть.

— Какъ знаете, сказала ей вслѣдъ раздосадованная тетка.

Валентинъ слышалъ изъ кабинета часть разговора, но, поцѣловавъ бѣленькую ручку прекрасной хозяйки, не сказалъ ни слова, и оба они принялись за автракать.

Однако онъ не могъ не замѣтить, что веселость Зенеиды пропала, что она была безпокойна и какъ-то разсѣянна. Скоро это минутное облако прошло; она предложила ему прогуляться, и долго, до самаго обѣда, бродили они вмѣстѣ по садамъ и рощамъ. Колокольчикъ, призывавшій къ обѣду, засталъ ихъ на берегу рѣки, довольно далеко отъ дому. Воротынская вскочила.

— Обѣдать! я и забыла, что поздно, а вы не напомнили. Скорѣе, скорѣе, пойдемте домой, тетушка ждетъ.

Она побѣжала къ дому и запыхавшись вошла въ залу. Елена Филипповна величественно, съ раздутыми щеками и столь же раздутыми, накрахмаленными юбками, стояла за собственнымъ стуломъ, у накрытаго стола.

Суповая чаша была уже на столѣ.

— Я жду, сказала она голосомъ, которымъ, вѣроятно, Лудовикъ XIV произносилъ знаменитое выраженіе: j'ai failli attendre.

— Извините, ma tante, сказала Воротынская, садясь поспѣшно на свое мѣсто и разливая супъ. Она подала тарелку теткѣ.

— Что ты, ma chère? сказала тетка. Я терпѣть не могу полныхъ тарелокъ.

Видя, что старуха раздражена, Воротынская пыталась занять ее разговоромъ. Возмущенный Валентинъ не помогалъ ей, а Елена Филипповна еще менѣе поддавалась на мировую сдѣлку. Не зная, что придумать, Воротын-

ская говорила о новыхъ книгахъ, романахъ, и наконецъ сказала, что читаетъ теперь вновь появившійся романъ Жоржъ-Санда: « Теверино ». Это прелесть, заключила она; вы читали, Огинскій?

— Да, отвѣчалъ Валентинъ.

— А вы, ma tante, читали?

Старуха молчала.

— Если нѣтъ, то позвольте, я буду читать вамъ вслухъ; утромъ вы всегда свободны.

— Я глупостей не читаю, возразила тетка недовольнымъ тономъ; къ тому же, я знаю, какъ вамъ скучно со мной и, конечно, не позволю себѣ обременять васъ.

— Тетушка! сказала Воротынская грустно и замолчала, убѣдившись вѣроятно въ безполезности своихъ усилій.

Обѣдъ кончился посреди гробоваго молчанія. Когда встали изъ-за стола, племянница по обыкновенію хотѣла поцѣловать тетку, но та подставила ей свою щеку. Валентинъ былъ выведенъ изъ терпѣнія; онъ пошелъ въ садъ и долго бродилъ тамъ одинъ, куря сигару и разсуждая, какимъ образомъ эта добрая Зенеида терпѣла добровольно столько мелкихъ непріятностей и такую зависимость. Когда онъ воротился въ домъ, сумерки уже наступили. Воротынской не было на балконѣ, но въ окнѣ ея кабинета горѣли двѣ свѣчи; онъ заглянулъ туда и остановился въ изумленіи. Зенеида сидѣла за зеленымъ столомъ и играла съ теткой въ карты. Валентинъ вошелъ,

взялъ книгу и сѣлъ въ углу. Воротынская играла очень плохо, проигрывала и старалась подавить зѣвоту; за то, тетка ея была весела, подсмѣивалась надъ племянницей и безпрестанно записывала свои выигрыши въ пикетъ. Вечеръ былъ удивительный, теплый, майскій. Полный мѣсяцъ плылъ величественно по голубому небу, и ронялъ золотые лучи свои на свѣжую, еще не спаленную солнцемъ, изумрудную зелень; бальзамическій воздухъ, напитанный благоуханіемъ едва распустившейся резеды и геліотропа, манилъ въ садъ; жужжанье насѣкомыхъ въ травѣ, шелестъ листьевъ, словомъ, то, что зовутъ таинственнымъ голосомъ природы, навѣвало поэтическое настроеніе на душу. Валентинъ задумчиво смотрѣлъ въ окно; вдругъ, бѣлая нѣжная ручка легла на плечо его; не вставая, онъ повернулъ голову и прильнулъ къ ней длиннымъ поцѣлуемъ. Черезъ минуту, оба они уже сидѣли на садовой скамьѣ. Она жадно дышала свѣжимъ воздухомъ и наконецъ сказала:

— Смотрите, какъ хороши теперь мои любимцы! какой запахъ! А вотъ вчера пересаженный жасминъ: онъ не завялъ и пышно цвѣтетъ. Какъ хорошо здѣсь!

— Да, сказалъ онъ разсѣянно.

Долго сидѣли они неподвижно, безмолвно, полные тишины и безмятежнаго наслажденія.

— Какъ чудно устроены эти міры, какъ прекрасны они! прибавилъ Валентинъ черезъ минуту, глядя на сіявшія звѣзды.

— Я съ дѣтства любила деревню, вечеръ, цвѣты, и всегда наслаждалась вполнѣ этими благами, сказала Зе-

неида ; но сегодня мнѣ какъ-то особенно хорошо и привольно.

— Сегодня вы играли въ карты и проиграли захожденіе солнца. Могу васъ увѣрить, что оно было превосходно, сказалъ Валентинъ, улыбаясь нѣсколько насмѣшливо, но ласково.

— Что дѣлать ? сказала она и прибавила , показывая на мѣсяцъ. За то, я любуюсь теперь этимъ чуднымъ сіяніемъ.

— Но скажите мнѣ, наконецъ, почему вы осудили себя на то жалкое существованіе , которое вы влачите съ своею пустою , капризною , безразсудною теткой. Какъ можете вы выносить...

— Привыкла , возразила она кротко ; когда нибудь я раскажу вамъ незатѣйливую жизнь мою, и вы поймете, какъ могъ образоваться мой характеръ , который иногда удивляетъ васъ, иногда возмущаетъ.

— Зачѣмъ откладывать ? Говорите сейчасъ , сію минуту, я тысячу разъ повторялъ вамъ все мною пережитое , и, въ свою очередь, желаю знать ваше прошедшее.

— Пожалуй, въ нѣсколькихъ словахъ я раскажу вамъ мое первое дѣтство и нѣкоторыя подробности моего замужства.

— Я слушаю.

— Хорошо. Случалось ли вамъ видѣть или слышать, что есть люди , прожившіе цѣлый вѣкъ въ изобиліи и роскоши , не потерявшіе никого изъ близкихъ , не испытавшіе въ жизни своей никакой трагической ката-

строфы, и однако совершенно лишенные того, что зовутъ счастіемъ. Не смѣешь жаловаться, не смѣешь грустить, и однако случается чувствовать живо и глубоко, что судьба обидѣла, а счастіе обошло. Двухъ лѣтъ отъ роду я осталась сиротой у небогатой помѣщицы, тетки моей, и жила у нея до восьми лѣтъ, безъ всякаго присмотра, безъ всякаго образованія и воспитанія. Я бѣгала цѣлый день по саду съ дворовыми дѣвочками, отъ которыхъ почти не отличалась ни одеждой, ни пріемами, ни образованіемъ. Елена Филипповна, проѣзжая съ мужемъ своимъ, остановилась у моей тетки, той самой, которая умерла два года назадъ, помните?

— Помню, помню, сказалъ Валентинъ.

— Она приходилась ей кузиной; увидѣвъ меня, Елена Филипповна сжалилась надъ моимъ положеніемъ. Она совѣтывала взять гувернантку для меня, или по крайней мѣрѣ, помѣстить меня въ институтъ, но тетка отговаривалась недостаточностію средствъ и твердила, что она оставитъ мнѣ все свое состояніе, т. е. пятьдесятъ душъ; что я найду себѣ жениха, что я не безприданница какая нибудь. Во время этого разговора вошелъ мужъ Елены Филипповны и разомъ пресѣкъ споръ двухъ кузинъ. Взявъ меня на колѣна, онъ схватилъ меня за подбородокъ, поднялъ мою потупленную голову и произнесъ: «Славная дѣвчонка! что тутъ толковать, у насъ нѣтъ дѣтей, жена, возьмемъ-ка ее, она вѣдь и намъ племянница.» Елена Филипповна никогда не противорѣчила своему мужу; что касается до моей тетки, то она считала благословеніемъ Божіимъ, что богатые родные,

что дядя генералъ (вы знаете, что значитъ въ глуши это магическое слово) беретъ меня съ собой. Они увезли меня въ Москву.

Дядѣ моему было тогда лѣтъ пятьдесятъ. Когда-то онъ служилъ въ гусарскомъ полку и былъ извѣстенъ какъ удалецъ, рубака, волокита. Въ извѣстномъ смыслѣ слова, онъ былъ красавецъ собою и, женившись на теткѣ моей, сдѣлался ревнивъ, какъ тигръ. Понятія его о женщинахъ вообще были бы очень странны въ наше время, но тогда не удивляли никого. Онъ думалъ, что женщина создана только на то, чтобы рядиться и кружить головы мужчинамъ, что самая лучшая и честная изъ женщинъ непремѣнно обманетъ мужа или отца, что это едвали не ея назначеніе, что винить ее не за что, а уберечь можно, надзирая за нею очень строго, какъ за шаловливымъ, но милымъ ребенкомъ. Онъ любилъ жену свою именно такимъ образомъ, и такъ какъ товарищи часто пророчили ему недоброе съ хорошенькою, молодою и кокетливою женой, то онъ тотчасъ взялъ свои мѣры, вышелъ въ отставку, поселился въ Москвѣ, заперъ жену свою дома и рѣшительно никуда не пускалъ ея безъ себя, хотя самъ не рѣдко пировалъ по прежнему съ бывшими своими сослуживцами.

Елена Филипповна любила мужа и боялась его, и потому покорилась ему безусловно. Иногда слезами и просьбами она смягчала его, и вымаливала обѣщаніе ѣхать съ нею на балъ или въ театръ, но сохрани Боже, если случалось какому нибудь мужчинѣ не только обратить на нее особенное вниманіе, но даже поговорить съ нею. Мужъ тотчасъ

увозилъ ее домой, и за одинъ вечеръ мнимаго удовольствія, она платилась многими домашними сценами, которыя на нѣсколько времени излѣчивали ее отъ желанія выѣхать въ свѣтъ. Безпрестанно стѣсняемая въ самыхъ невинныхъ удовольствіяхъ и желаніяхъ, тетка моя дѣлалась раздражительна, а мужъ ея, не имѣя занятій, потерявъ изъ виду всѣхъ прежнихъ товарищей, утративъ молодость, а съ нею и прежнюю страсть къ пирамъ, страшно скучалъ. Судьба послала имъ меня именно въ это время; пустота ихъ домашней жизни, натянутость отношеній, были нѣсколько измѣнены присутствіемъ ребенка; я служила имъ и забавой, и занятіемъ. Только оба они хотѣли воспитывать меня по своему. Тетушка, по страсти къ нарядамъ, шнуровала, одѣвала, затягивала меня, и требовала чинности, вѣжливости, неподвижности, отъ ребенка, привыкнувшаго уже черезъ чуръ къ волѣ и непринужденности. Дядя, видя меня за работой или книжкой, уводилъ къ себѣ въ кабинетъ, и по цѣлымъ часамъ училъ меня маршировать, дѣлать ружьемъ (вмѣсто ружья служила намъ его палка) и командовать по-солдатски. Сначала, эти упражненія занимали и его, и меня, а потомъ очень наскучили мнѣ, тѣмъ болѣе что всякій разъ, какъ старый товарищъ посѣщалъ его, меня требовали въ кабинетъ, гдѣ я должна была, какъ ученая собачка, повторять по командѣ дяди марши, контръ-марши и весь военный артикулъ. Забавнѣе всего было то, что дядя сердился не на шутку, когда я не совсѣмъ хорошо исполняла команду, и не разъ наши военныя упражненія бывали прерываемы моими слезами. Правда и то, что

дядя былъ добрѣйшій человѣкъ и тотчасъ приходилъ мириться, бралъ меня на колѣна, цѣловалъ и спѣшилъ купить мнѣ конфектъ. Но онъ былъ вспыльчивъ, а я робка; я боялась его, хотя онъ и былъ ко мнѣ привязанъ. Вѣроятно, въ послѣдствіи я оцѣнила бы доброту его, и мы сдѣлались бы друзьями, но онъ умеръ, когда мнѣ минуло тринадцать лѣтъ. Тетушкѣ было тогда около сорока, и смерть мужа измѣнила ея образъ жизни. Едва кончился ея трауръ, какъ она, подобно пансіонеркѣ, вырвавшейся на волю, спѣшила воспользоваться всѣми свѣтскими удовольствіями. Не смотря на свои лѣта, жадно прильнула она къ запрещенному плоду, танцовала, рядилась, выѣзжала, и едва ли не забыла о моемъ существованіи. Пять лѣтъ провела я съ моею гувернаткой, изрѣдка выѣзжая прогуляться. Когда мнѣ было восемнадцать лѣтъ, тетушка вывезла меня въ свѣтъ, гдѣ открылась для меня цѣлая нить новыхъ непріятностей. Претензіи на молодость не могли оставить тетушку; одѣвая меня прилично, она одѣвалась сама на одинъ ладъ со мною, и я не рѣдко слышала насмѣшки надъ нею, когда мы входили въ залу. Я понравилась въ свѣтѣ, и когда мы, бывало, возвращались съ бала домой, мнѣ приходилось выслушивать въ каретѣ цѣлые монологи; тетушка придиралась ко всякой бездѣлицѣ, чтобы побранить меня порядкомъ за то, что никто не танцовалъ съ нею и не ухаживалъ за нею.

Жизнь моя была не завидна. Къ счастію, Воротынскій замѣтилъ меня. Ему было лѣтъ сорокъ; онъ былъ видный мужчина, въ чинахъ, степенный и важный. На вечерахъ онъ часто садился около меня и говорилъ со мною, потомъ

познакомился съ тетушкой и черезъ нѣсколько времени посватался. Тетушка объявила мнѣ эту новость, прибавляя, что она уже дала свое согласіе. Я заплакала. «Послушай меня, Зенеида, сказала она нѣжнѣе обыкновеннаго; не дурачься! Воротынскій женихъ завидный. У тебя нѣтъ состоянія, а мои дѣла крайне разстроены. Твои выѣзды въ свѣтъ, постоянная жизнь въ городѣ, ввели меня въ большія издержки. Воротынскій богатъ и согласенъ жить съ нами; вѣдь ты не захочешь разстаться съ теткой, которая воспитала тебя; ты не покинешь ея; вспомни, что ты мнѣ всѣмъ обязана, и еслибъ не я и не покойный мужъ мой, ты осталась бы въ глуши, не получила бы никакого воспитанія, и была бы рада выйти за какого нибудь мелкопомѣстнаго дворянина. А теперь, какую партію ты дѣлаешь!» Я плакала, мнѣ не хотѣлось замужъ, я была совершенно равнодушна къ Воротынскому. Тетушка кротко уговаривала меня, твердя, что намъ нечѣмъ жить, и черезъ два дня, судьба моя была рѣшена: меня обручили. Воротынскій былъ со мной ласковъ, вѣжливъ, и привезъ тетушкѣ значительную сумму денегъ на мое приданое; но тетушка съ непритворнымъ негодованіемъ отказалась отъ нихъ, говоря, что считаетъ меня дочерью, и что это касается до нея одной. На другой же день она съ дѣтскою радостію повезла меня по всѣмъ магазинамъ и накупила такое множество модныхъ тряпокъ, что я не могла себѣ представить, когда изношу ихъ. Между тѣмъ, какъ я узнала послѣ, всё это было куплено въ долгъ, который довершилъ запутанность тетушкиныхъ дѣлъ. Я была невѣстой около мѣсяца; но въ продолженіе этого

времени не познакомилась короче съ будущимъ мужемъ. Когда я сдѣлалась его женою, онъ почти ни въ чемъ не измѣнился ко мнѣ, и только былъ менѣе вѣжливъ и уже не называлъ меня M^lle Zénéide, а просто Зенеидой. Онъ былъ холоденъ, методиченъ, серьозенъ, и, женившись, принялся оканчивать мое воспитаніе. Онъ часто останавливалъ меня, важно толковалъ мнѣ объ общественныхъ условіяхъ, училъ искусству принимать у себя и держать себя въ свѣтѣ; лѣтомъ, на дачѣ, онъ читалъ со мною, и я обязана ему нѣкоторымъ образованіемъ, потому что до замужства всѣ мои познанія заключались въ умѣньи написать французскую записку. Я жила покойно, но не была счастлива; жизнь наша была преисполнена скуки, и текла посреди безпрестанныхъ споровъ тетушки съ моимъ мужемъ. Они не любили другъ друга, и Богъ вѣсть, чѣмъ кончились бы частыя ссоры ихъ, еслибъ мужъ мой не умѣрялъ вспышекъ тетушки своею вѣчною холодностью. Въ городѣ, мужъ мой ѣздилъ всякій вечеръ въ клубъ, а мнѣ позволялъ выѣзжать съ тетушкой на вечера; на балы онъ всегда ѣздилъ со мною самъ, и терпѣливо дожидался конца мазурки, послѣ которой увозилъ меня домой. Наши выѣзды, наши пріемы, были какъ-то офиціальны; офиціальны были и отношенія мои къ мужу. Когда онъ бывалъ недоволенъ мною, то кротко, холодно выговаривалъ мнѣ за необдуманный поступокъ, а потомъ отечески гладилъ меня по головѣ, приговаривая, что я еще дитя. А я уже не была ребенкомъ, я была женщина, мнѣ безсознательно хотѣлось жизни, дружбы, любви, словомъ, всѣхъ чувствъ чело-

вѣческихъ, но они не были даны мнѣ на долю. Заботливо охранялъ меня мужъ отъ всякихъ близкихъ сношеній съ кѣмъ бы то ни было; домъ мой былъ недоступенъ, и внѣ офиціальныхъ пріемовъ, grand gala, я не знала короткости ни съ кѣмъ, ни даже съ женщинами, моими ровестницами. Боялся ли онъ моей молодости, неопытности, былъ ли то капризъ, правило, или эгоисмъ, я не знаю; знаю только, что когда онъ умеръ, я осталась двадцатипятилѣтнею вдовой, съ сотнями знакомыхъ, не имѣя ни одного друга, даже пріятельницы. Теперь лѣта первой молодости прошли для меня, цвѣтъ чувства, быть можетъ, заглохъ, не распустившись; время обольщеній и мечтаній миновалось, и я покорилась моей участи. Состарившись для любви и дружбы, я, какъ видите, доживаю вѣкъ свой.

— Состарившись! воскликнулъ Валентинъ; да вы взгляните на себя!

— Впрочемъ, сказала она, мнѣ кажется, я не способна внушить любовь кому бы то ни было; только, грустно, согласитесь со мною, жить безъ семьи, безъ дѣтей, безъ мужа, жить одиноко и безполезно. Вы удивлялись сегодня моему терпѣнію, но вспомните, что я всю жизнь пріучалась къ нему. Это единственная моя добродѣтель.

— Положимъ такъ, сказалъ Валентинъ; но для чего вы взяли на себя добровольный крестъ? Скажите, развѣ вы всегда будете сносить капризы вашей тетки?...

— Что же мнѣ дѣлать? спросила она. Я не могу забыть, что обязана ей всѣмъ. Къ тому же, она любитъ меня по своему; я не могу оставить ее. Знаете ли, кому принадлежитъ все наше состояніе?

— Разумѣется, ей, но, по моему, лучше жить бѣдиѣе, но быть въ независимости.

— Вотъ какъ вы меня понимаете! сказала она съ укоризной. Повѣрьте, что еслибы тетушка была богата, я бы менѣе щадила ее. Мужъ мой оставилъ мнѣ все свое состояніе, а у тетушки теперь ничего не осталось. Хотя она убѣждена въ томъ, что употребила все свое состояніе для меня, но я очень хорошо знаю, что болѣе половины его было прожито на удовольствія, а другая изчезла отъ безпорядка; мужъ мой, взявшись устроить дѣла ея, продалъ все ея имѣніе, отъ котораго, по уплатѣ долговъ, остался небольшой капиталъ; онъ всю жизнь свою платилъ ей проценты съ этого капитала. Послѣ его смерти, она прожила этотъ капиталъ, но я продолжаю платить ей прежніе проценты.

— Она не можетъ не знать этого?...

— Вы не знаете ея, она дитя во всемъ житейскомъ. Она никогда не считаетъ денегъ и умѣетъ только тратить ихъ. Впрочемъ, ей надо отдать справедливость: она дѣлаетъ много добра.

— Неужели?

— Она платитъ въ пансіонъ за двухъ бѣдныхъ дѣвушекъ.

— Это однако не мѣшаетъ ей быть капризною и сварливою до невѣроятности, и я думаю, что вы просто не умѣете сладить съ ней.

— Это невозможно. Знаете ли, что однажды, разсердившись на меня, она сдѣлалась больна и серьозно

хотѣла оставить меня и жить одна; какъ всѣ женщины, долго жившія въ неволѣ и вырвавшіяся на свободу, она сдѣлалась своенравна, и безпрестанно твердитъ, что въ ея лѣта, я въ особенности должна ей повиноваться. Болѣе всего боюсь я обмороковъ, истерикъ, упрековъ, и предпочитаю спокойствіе и зависимость свободѣ и ссорамъ.

— Это низкій разсчетъ съ ея стороны.

— Повѣрьте, разсчета нѣтъ, а есть извѣстный складъ характера, совершенное убѣжденіе въ собственной правотѣ. Впрочемъ, я оградила себя, и въ важныхъ случаяхъ дѣлаю, что хочу. Вы видите, я хотѣла жить въ Спасскомъ, и, кажется, мы живемъ въ немъ.

— Однако разсвѣтаетъ. Боже мой! какъ мы заговорились. Прощайте, пора вамъ ѣхать, сказала вдругъ Зенеида, прерывая его.

— Въ маѣ свѣтаетъ въ часъ ночи, возразилъ Валентинъ; чего испугались вы?

— Нѣтъ, прощайте, прощайте, не надо давать повода къ дурнымъ толкамъ.

— Еще нелѣпость! Какъ будто убѣжишь отъ злаго языка.

— Положимъ такъ, но вамъ пора ѣхать, а мнѣ пора спать. Зачѣмъ безпокоить тетушку: она боится дурныхъ толковъ изъ любви ко мнѣ, и я должна уважать это безпокойство.

— Вы добрѣйшее созданіе! сказалъ Валентинъ, взявъ ее за руку.

— Да, я не зла, сказала она простодушно. Быть можетъ, въ такъ называемой добротѣ моей вы видите одну безхарактерность.

— Не знаю, право, только я всякій день больше и больше чувствую, какъ много нашелъ въ васъ.

— А я! сказала она съ улыбкой, освѣтившей все лице ея, будто пробуждалось въ ней какое-то новое, сладкое чувство.

Она еще разъ улыбнулась, подавая ему руку, и потомъ изчезла за пунцовою занавѣсью дверей балкона. Валентинъ тихо вышелъ на крыльцо, у котораго давно ждали его лошади, и уѣхалъ въ городъ, думая о ней всю дорогу.

Съ этого вечера, ихъ отношенія сдѣлались еще нѣжнѣе. Дни текли однообразно; но полные другъ другомъ, они не замѣчали ихъ; свиданія ихъ повторялись чаще, потому что семейство Валентина уѣхало въ деревню; оставшись одинъ въ городѣ, онъ каждый день пріѣзжалъ къ Воротынской, и часто въ субботу ночевалъ у нея на дачѣ и проводилъ воскресенье съ нею, радуясь, какъ школьникъ, свободному дню. Она присвоила себѣ нѣкоторыя права надъ нимъ, и когда онъ пріѣзжалъ съ бумагами, она непремѣнно хотѣла списывать ихъ на бѣло. Сперва онъ смѣялся, шутилъ, не соглашался, а потомъ поддавался ея желанію, и лишь только онъ уѣзжалъ отъ нея, какъ она ревностно принималась за работу, и на другой день вручала ему съ торжествомъ четко и аккуратно списанныя бумаги. Когда ему случалось читать, она садилась тихо на другой конецъ дивана и шила въ пяльцахъ, боясь помѣшать ему заниматься. Каждый день онъ больше и больше былъ очарованъ кротостью, скромною красотой

ся и женскою стыдливостью, проглядывавшею во всѣхъ ея пріемахъ; а Зенеида, если безъ упоенія страсти, то съ глубокою нѣжностью слѣдила его и сердцемъ, и взглядомъ, угадывала его желанія, предупреждала ихъ, и мало по малу поддавалась во всемъ его вліянію.

Дружескія отношенія, казалось, удовлетворяли обоихъ, и безъ потрясеній, безъ тревогъ, безъ опасеній, текла жизнь ихъ.

Однажды утромъ Зенеида проснулась позже обыкновеннаго; лучи жаркаго іюньскаго солнца, ударявшіе на спущенные маркизы ея спальни, пробивались въ комнату въ видѣ свѣтлаго столба, въ которомъ мріяды пылинокъ вертятся и плаваютъ, будто въ золотѣ. Взоръ Зенеиды, пораженный нечаяннымъ свѣтомъ, упалъ въ ту сторону, гдѣ играло солнце. Она заглядѣлась на этотъ миражъ, и Богъ вѣсть, о чемъ думала она! Потомъ она позвонила: разодѣтая горничная влетѣла въ комнату и подала ей письма.

Воротынская распечатала и призадумалась на одномъ изъ нихъ; одѣвшись наскоро, она пошла къ теткѣ, которую нашла за завтракомъ.

— Ты не была въ церкви? сказала ей тетка; не стыдно ли?

— Сама знаю, что стыдно, отвѣчала Зенеида, признаваясь внутренно, что съ нѣкоторыхъ поръ она забывала все на свѣтѣ, и досадуя еще болѣе на то, что Валентинъ уѣхалъ въ городъ. Онъ не зналъ, что въ этотъ день нѣтъ присутствія.

— Что такъ задумалась? сказала ей тетка. Посмотри на мою обновку, хороша она?

Старушка была въ розовомъ кисейномъ платьѣ, общитомъ пышными воланами.

— Прелестное платье, ma tante, и отлично скроено. — Кажется, мнѣ къ лицу.

Елена Филипповна подошла къ зеркалу; благосклонно осмотрѣвъ себя, она поправила складку, другую, и сѣла къ столу.

— Ну, кушай, сказала она, наливая племянницѣ чашку кофе. Она видимо была очень довольна собою, а потому и другими.

— У меня есть къ вамъ просьба, сказала Зенеида.

— Что такое?

— Помните, года полтора назадъ, мы отдали въ пансіонъ дѣвочку; прошлаго года она была больна и не пріѣзжала съ Линой на вакацію. Нынче я получила письмо отъ обѣихъ нашихъ воспитанницъ: онѣ напоминаютъ намъ, что вакація наступила. Намъ бы надо было взять ихъ сюда.

— Пожалуй. Прикажи Анфисѣ Ильинишнѣ съѣздить за ними.

— Конечно, только я хотѣла предупредить васъ, что моя маленькая protégée очень дика, иногда подозрительна; ее надо обласкать. Будьте добры къ ней, ma tante.

— Помилуй, Зеня, сказала тетка; развѣ я требовательна, или капризна?

— Знаю, но ваше малѣйшее замѣчаніе будетъ крайне чувствительно для моей воспитанницы, тогда

акъ ваша шалунья Лина все выслушиваетъ и опять принимается за прежнія шалости.

— Чтожъ это за недотрога такая; капризна, что ли она? Въ такомъ случаѣ, Богъ съ нею, пусть остается въ пансіонѣ.

— О нѣтъ, но она бѣдное, угнетенное дитя; малѣйшій выговоръ кажется ей униженіемъ, холодность окружающихъ—гордостію. Вамъ надо приласкать ее.

— Ну хорошо, пошли за ними, а тамъ мы увидимъ.

Валентинъ пріѣхалъ къ обѣду; завидя его фаэтонъ, въѣзжавшій на широкій дворъ барскаго дома, Зенеида оставила тетушку и сбѣжала внизъ.

Она взяла Валентина за руку, ввела его въ свой кабинетъ и притворила дверь за собою.

— Другъ мой, сказала она, я хочу предупредить васъ о предстоящей вамъ встрѣчѣ. Я не хотѣла говорить вамъ ни о чемъ, но чтобы избавить васъ отъ тягостнаго впечатлѣнія, я не могу лишить дѣвушку шести недѣль свободы и семейной жизни.

— Объяснитесь, сказалъ Валентинъ. О комъ говорите вы?

— Тата здѣсь на верху и сейчасъ придетъ сюда, сказала она.

— Тата! какая Тата? воскликнулъ Валентинъ, вставая въ замѣшательствѣ.

— Да, Тата, которую вы видѣли у... у нея, сказала она, избѣгая произносить имя Ельцовой. Участь Таты меня тронула; я подробно распрашивала о ней и потомъ просила Миняева сказать ей, что если

она желаетъ оставить Ельцову, я беру на себя доставить ей сперва средства къ образованію, а потомъ хорошее мѣсто, гдѣ бы она могла жить безбѣдно. Было много хлопотъ, но все кончилось благополучно, и я наконецъ помѣстила Тата въ одинъ изъ лучшихъ пансіоновъ. Она учится отлично и теперь пріѣхала ко мнѣ на вакацію. Не забудьте, что она не можетъ забыть прежняго своего униженія; не говорите съ нею о прошломъ.

Валентинъ сидѣлъ молча, а она стояла передъ нимъ и, казалось, силилась прочесть на лицѣ его чувства, его волновавшія; но лице Валентина не выражало ничего; только румянецъ горѣлъ на щекахъ его, да глаза блистали сильнѣе обыкновеннаго.

— Валентинъ, сказала она, впервые называя его такъ, я люблю васъ очень нѣжно, и имѣю право говорить вамъ правду. Неужели я напрасно разсчитывала на доброту души вашей? Неужели присутствіе Тани такъ непріятно вамъ, что вы не можете подавить этого чувства? Въ такомъ случаѣ я пошлю Таню къ Силковой; Таня будетъ тверже и великодушнѣе васъ, и безропотно покорится моему желанію.

Еще жарче вспыхнули щеки Валентина; онъ взялъ ея руку и сказалъ взволнованнымъ голосомъ:

— Вы меня не поняли; признаюсь, я не имѣю права жаловаться. Тотъ, кто однажды забылъ человѣческій долгъ свой, кто не понялъ его или пренебрегъ имъ, не имѣетъ права жаловаться, когда его считаютъ малодушнымъ эгоистомъ. Мнѣ стыдно васъ, мнѣ стыдно самого себя. Годъ, цѣлый годъ, я былъ свидѣтелемъ мученій

той дѣвочки, я видѣлъ весь ужасъ ея положенія, и не ротянулъ руки бѣдному ребенку. Я бѣжалъ изъ этого ома и забылъ о той, которую долженъ бы помнить, а помнилъ только о той, которую долженъ бы забыть. акъ я былъ виноватъ передъ нею, виноватъ тѣмъ больше, что былъ ей многимъ обязанъ!

Оба они долго молчали.

— Кто, однако, броситъ въ васъ камень, сказала наконецъ Зенеида, кто не пойметъ и не извинитъ первыхъ заблужденій юности? Много силъ погубили вы тогда въ неровной борьбѣ; сердце ваше было разбито, довѣрчивость уничтожена. Ударъ былъ слишкомъ силенъ, и понятно, что въ памяти вашей запечатлѣлся только одинъ образъ, образъ той, которая такъ безжалостно играла вашею любовью.

— Оставимъ это, сказалъ онъ. Дайте мнѣ поцѣловать съ чувствомъ глубокаго уваженія руку вашу за бѣдное дитя, которое было брошено на мою дорогу. Я прошелъ мимо, а вы, не зная его, умѣли однако спасти его. Вы рѣдкая женщина!

— Полноте, Валентинъ; вспомните, что у меня нѣтъ ни дѣтей, ни семейства.

— Кажется, у Татà есть мать? сказалъ Валентинъ.

— Да, но къ сожалѣнію, она не заслуживаетъ ни малѣйшаго участія. Чтобы взять Таню изъ дома Кокориной, мы должны были купить согласіе ея матери, и платимъ ей пенсію.

— Стало быть, все устроено, сказалъ Валентинъ, и я лице лишнее, не нужное, и не могу ничѣмъ поправить своей безпечности?

— Таня молода, сказала Зенеида; быть можетъ, въ будущемъ ей нуженъ покровитель.

— Да, конечно, я скажу ей это.

— Зачѣмъ? возразила Зенеида; лучше доказать это послѣ на дѣлѣ.

— Да, правда, сказалъ Валентинъ; прежде, я только тратилъ слова, когда увѣрялъ Таню, что чувствую къ ней и дружбу, и участіе. Нѣтъ! я никогда не прощу себѣ этого.

— Я пойду за нею, сказала Воротынская. Помните, что Татà не существуетъ больше, это имя ненавистно ей, какъ воспоминаніе о ея прежнемъ положеніи. Мы зовемъ ее Таней.

Черезъ нѣсколько минутъ, Зенеида возвратилась, ведя Таню за руку. Таня была блѣдна, и сквозь ея смуглыя щеки эта блѣдность выступала еще рѣзче.

— Дикарка! говорила ей Зенеида, смѣясь. Вѣдь ты знала его прежде.

Валентинъ всталъ и бросился ей на встрѣчу.

— Татà! воскликнулъ онъ взволнованнымъ голосомъ,

— Таня; шепнула ему Воротынская.

— Таня, милая Таня, я называю васъ просто, какъ сестру мою.

— Какъ я радъ, что вижу васъ! Какъ вы измѣнились!

Дѣйствительно, Таня очень измѣнилась: она выросла, но осталась худощава; передніе ея волосы не были, какъ прежде, завиты въ кудри, а просто и гладко зачесаны за уши и соединялись съ большою косой, которую едва удерживалъ простой черепаховой гребень. Простое холстинковое платье съ бѣлымъ декосовымъ воротничкомъ и чернымъ фартукомъ замѣнило поношенныя шелковыя платья и штопанныя кружевныя манишки, въ которыя когда-то рядили ее такъ безжалостно. Отъ одежды ли, или отъ новаго выраженія лица, она совершенно утратила сходство съ цыганкой, которое прежде всѣ замѣчали въ ней: взглядъ ея былъ спокойнѣе, но задумчивѣе; въ немъ не замѣтно было лихорадочнаго блеска, а въ улыбкѣ не было прежней злобной насмѣшливости, въ движеніяхъ не было рѣзкости.

Валентинъ смотрѣлъ на нее молча, и держалъ ея руку въ рукахъ своихъ; густой румянецъ мало по малу разлился по всему лицу ея; она тихо освободила руку свою и сказала, усиливаясь подавить свое волненіе:

— И я рада васъ видѣть.

Настала минута молчанія. Зенеида прервала его.

— Еслибъ вы знали, какъ она отлично учится.

— Сколько вамъ лѣтъ, Таня?

— Скоро минетъ восемнадцать.

— Вы скоро выдете изъ пансіона?

— Мнѣ хочется, чтобы она поучилась еще годъ,

сказала Воротынская. Ея воспитаніемъ такъ мало занимались, что ей необходимо поучиться, но она не хочетъ.

— Это понятно: ей скучно тамъ; въ восемнадцать лѣтъ надо подумать и объ удовольствіяхъ.

— О нѣтъ, не потому! сказала живо Таня. Я надѣюсь, что никогда не дойду до этихъ суетныхъ желаній, но дѣло въ томъ, что я уже знаю необходимое; все другое — напрасное, суетное знаніе.

— Вотъ какъ! сказалъ Валентинъ, улыбаясь. Кто васъ научилъ такому философскому взгляду на вещи?

— О, не смѣйтесь надо мною! сказала Таня, складывая руки съ такимъ страстнымъ выраженіемъ любви въ голосѣ, что Валентинъ поспѣшилъ разувѣрить ее, сказавъ, что никогда и не думалъ смѣяться надъ нею, ни теперь, ни прежде.

— Благодарю васъ; я знаю, вы добры, очень добры, и съ вами я могу быть откровенна. Не правда ли? сказала она, обращаясь къ Воротынской.

— Конечно, дитя мое, онъ и я, мы будемъ для васъ отцомъ и матерью, или лучше, братомъ и сестрою. Вы знаете, что мы въ правѣ требовать отъ васъ полной откровенности.

— Я всегда считала это своимъ долгомъ, сказала Таня въ полголоса. Я очень знаю, чѣмъ и кому я обязана. Она бросила пламенный взглядъ на Валентина и потупила голову. Я всякій день прошу Бога, чтобы Онъ благословилъ того, кто вступился за брошенное дитя.

— Таня! сказала Воротынская.

— О простите, простите меня, сказала она, взявъ ее за руку и цѣлуя ее; но это было выше силъ моихъ. Могу ли я всегда молчать, особенно въ эту минуту.

— Ну полно, дитя мое. Кушанье на столѣ, пора обѣдать.

Они вышли въ залу и тотчасъ сѣли за столъ. Не было одной Лины, но скоро и она, какъ вѣтеръ, вбѣжала въ комнату, но увидѣвъ, что всѣ уже сидѣли за столомъ, смутилась, покраснѣла, сдѣлала книксенъ и поспѣшила сѣсть на свое мѣсто. Это была дѣвочка лѣтъ четырнадцати, маленькая ростомъ, съ большою головой и большими черными глазами; нѣсколько смуглая, живая какъ мальчикъ, бойкая какъ школьникъ, она поражала смѣсью застѣнчивости и природной пылкости во всѣхъ своихъ чертахъ и движеніяхъ.

— Валентинъ Михайловичь, сказала Зенеида, представляю вамъ другую нашу воспитанницу, страшную шалунью и проказницу. Она позабавитъ васъ своею неутомимою болтливостью и неожиданными выходками. Не глядите, что она теперь потупилась и покраснѣла; это только такъ, а вотъ мы скоро развернемся, когда познакомимся съ вами короче.

— Удивляюсь тебѣ, сказала Елена Филипповна: какъ тебѣ не стыдно, шутя, говорить о ея недостаткахъ! Ужъ она не ребенокъ, пора ей быть солиднѣе.

— Дайте намъ годикъ, другой, и мы перестанемъ шалить, бѣгать и лазить всюду, сказала Воротынская.

Елена Филипповна покачала головой.

— А какъ идутъ ваши занятія? спросила она, обращаясь къ своимъ воспитанницамъ.

— Хорошо-съ, отвѣчала Лина.

— Ужъ вѣрно могли бы идти лучше, замѣтила Елена Филипповна.

— Нельзя! ей Богу нельзя! воскликнула дѣвочка. Еслибъ вы видѣли, какъ мы сидѣли ночи на пролетъ, вы бы не сказали этого. Взгляните на Таню, она даже похудѣла.

— Можетъ быть, я не видала Тани прежде, но увѣрена, что она учится лучше тебя, сказала Елена Филипповна.

— А вотъ и не правда! воскликнула Лина, ободряясь.

— Ну, а скажи мнѣ, учатъ ли васъ въ пансіонѣ вѣжливости и скромности? прервала Елена Филипповна.

— Какже-съ, сказала Лина, краснѣя опять и чуя недоброе.

— Такъ почему же ты не выучилась говорить вѣжливо съ старшими? Развѣ говорятъ кому нибудь: это не правда, особенно особамъ, которыхъ должно почитать и уважать.

Лина молчала.

— Лина учится въ одномъ классѣ со мною и получила больше баловъ, чѣмъ я, скромно и тихо сказала Таня, желая перемѣнить разговоръ.

Тонъ ея понравился Еленѣ Филипповнѣ: она взглянула на чинно сидѣвшую дѣвушку и замѣтила ея задумнивую скромность.

— Это дѣлаетъ вамъ честь, моя милая, сказала она;

я вижу, что вы солидная и умная дѣвица. Не мѣшало бы и другимъ поучиться у васъ умѣнью держать себя и разговаривать.

— Вы слишкомъ благосклонны ко мнѣ, сказала Таня.

Разговоръ продолжался. Лина молчала, а Елена Филипповна разспрашивала Таню о ея занятіяхъ. Валентинъ почти не говорилъ, но замѣтилъ, что во мнѣніяхъ Тани, такъ же какъ и въ манерахъ ея, произошла совершенная перемѣна.

Послѣ обѣда всѣ вышли на крыльцо. Елена Филипповна вспомнила о своей охотѣ: такъ называла она маленькій домикъ въ саду, населенный павлинами, журавлями, цецарками и другими рѣдкими птицами, къ которымъ она отъ нечего дѣлать изъявляла иногда необыкновенную нѣжность. Случалось, что три дня, много недѣлю, она всякій день послѣ обѣда кормила ихъ изъ своихъ рукъ, а потомъ по цѣлымъ недѣлямъ не навѣдывалась о своихъ любимцахъ. Однако, еслибы кто нибудь попытался уничтожить ея охоту, какъ она выражалась, то конечно она вооружилась бы противъ такого покушенія, и отстояла бы, во что бы то ни стало, свою сельскую забаву. Въ этотъ день она кликнула человѣка и, приказавъ ему слѣдовать за собою съ корзиной хлѣба, отправилась въ сопровожденіи всей семьи къ домику, щегольски отстроенному на подобіе русской избы. Стѣны его были сложены изъ необтесанныхъ березъ, въ ихъ природномъ видѣ, крыша была покрыта мхомъ и корою, а ступеньки крыльца были бревенчатыя съ рѣзною деревянною рѣшеткой. Хижина эта, напоминавшая сельскую декорацію въ оперѣ, стояла

на берегу довольно большаго пруда, въ которомъ плавали лебеди. Къ маленькой пристани была привязана лодка. Елена Филипповна скликала вокругъ себя павлиновъ и журавлей, и не безъ претензіи на живописность позы крошила имъ хлѣбъ, интересничая, какъ молодая дѣвочка.

— Ахъ, какъ милы! глядите, глядите! говорила она. Душечка павинька, подойди сюда, поближе подойди! Не бойся, дурачекъ!

Это относилось въ большому павлину, который, распустивъ хвостъ, стоялъ спѣсиво вдали и никакъ не рѣшался приблизиться къ манившей его хозяйкѣ. Валентину, до сихъ поръ хладнокровному зрителю невинныхъ забавъ шестидесятилѣтняго ребенка, наскучило однако глядѣть на такую аффектацію. Онъ посмотрѣлъ вокругъ себя и увидѣвъ привязанную къ пристани лодку, вскочилъ въ нее и сталъ отчаливать.

Лина прыгнула за нимъ и назвала его по имени, но, уступивъ этому первому движенію, испугалась собственной дерзости, спряталась за кустъ шиповника, изъ-за котораго выглядывала, не смѣя подойти къ лодкѣ.

— Что, хочется кататься? сказалъ Валентинъ, добродушно взглянувъ на дѣвочку.

Ободренная Лина сказала умоляющимъ голосомъ:

— Возьмите, пожалуйста, возьмите меня!

— Очень радъ, сказалъ Валентинъ; бѣгите скорѣе.

Въ два прыжка дѣвочка очутилась на самомъ берегу пруда и уже хотѣла вскочить въ лодку, какъ вдругъ голосъ съ берега остановилъ ее.

— Лина! Лина! Куда ты, шалунья? Кто тебѣ позволилъ?

— Зенеида Львовна позволила, сказала Лина бойко, и прыгнула въ лодку. Лодка сильно закачалась, такъ что Лина едва не упала въ воду. Удержавшись за плечо Валентина, она шепнула ему:

— Отчаливайте, а то не пуститъ.

Валентинъ взмахнулъ весломъ, и лодка поплыла, направляясь къ маленькому острову, находившемуся въ срединѣ пруда.

— Ахъ, какъ хорошо! Ахъ, какъ весело! воскликнула Лина, хлопая въ ладоши. Какъ давно не каталась я!

— Если хотите, я буду кататься съ вами всякій день, сказалъ Валентинъ, улыбаясь восторгу дѣвочки.

— Хорошо, если позволятъ. Только позволятъ ли?

— Но вѣдь сегодня васъ пустили со мной.

— Кто? сказала дѣвочка, смѣясь.

— Зенеида Львовна: она такая добрая, сказалъ Валентинъ.

— Очень добрая, очень! Только въ томъ-то и дѣло, что я нынче позволила сама себѣ это удовольствіе, а завтра, можетъ быть, обмануть не удастся.

— Хорошо ли обманывать?

— Ахъ, Валентинъ Михайловичъ, знаю, что не хорошо; но войдите въ мое положеніе. Вырвешься изъ пансіона, отъ классныхъ дамъ, а здѣсь другая, да еще строже и ворчливѣе. То не такъ, это не такъ, туда не ходи, это не прилично: помилуйте, съ ума можно сойти. Если сегодня Зенеида Львовна выдастъ меня,

пропала моя головушка, сказала дѣвочка комически взявшись за голову, и поглядѣла на Валентина полусмѣясь, полузадумавшись.

— Не бойтесь, Зенеида Львовна не выдастъ васъ, а завтра мы попросимъ у нея позволенія кататься всякій день.

— То-то и есть, что ничего-то вы не знаете. Зенеида Львовна ангелъ доброты, да на это не ея воля. Надо будетъ проситься у той.

Дѣвочка кивнула головой на берегъ, съ такою миной, что Валентинъ умеръ со смѣху.

— Кого вы такъ называете? сказалъ онъ, продолжая смѣяться.

Лина сдѣлала жестъ рукою, будто бросала хлѣбъ птицамъ, и приговаривала дискантомъ и на распѣвъ:

— Цыпъ, цыпъ, цыпъ.... Ахъ! какъ милы!... Душечка, павинька!... Подойди....

— Надъ старостью смѣяться грѣхъ.

— Охъ, грѣхъ, да и какой! сказала Лина, вздыхая. Но что же мнѣ дѣлать, если она молода безъ молодости? Посмотрите, какъ она рядится и кокетствуетъ.

— А вы ужъ знаете, что такое кокетство? Раненько!

— Что дѣлать, слухомъ земля полнится. Что вы смѣетесь? Это русская пословица.

— Знаю, что русская; вы, какъ я вижу, знаете много пословицъ и прибаутокъ.

— Какъ же! Я иногда по цѣлымъ часамъ говорю одними прибаутками да пословицами. Я мастерица на это.

— Шалунья вы страшная! сказалъ Валентинъ.

— Нельзя, Валентинъ Михайловичъ, право, нельзя! Цѣлый день сидишь въ пансіонѣ, ну какъ не повеселиться въ рекреацію! Ужъ кажется, какъ не понять этого? Такъ вотъ нѣтъ! Классныя дамы всѣ пресуровыя.

— Очень злы? сказалъ Валентинъ.

— Какъ вамъ сказать: не то, чтобъ злы, а придирчивы; сказать правду, сами дѣвицы въ этомъ виноваты. Вотъ еслибъ вовсе не было такихъ, какъ Соня Петрова, Саша Ленская...

— Кто это?

— Наши первыя ученицы и умницы. Да не перебивайте меня, а то я забываю, о чемъ говорю. О чемъ я стала вамъ расказывать?

— Вы говорили, что еслибъ не было какой-то Сони да Саши...

— Да, да, да; если бъ не было Саши Ленской, Тани Михалевской, такъ было бы лучше. Онѣ ужъ такія скромницы, что если мы, рабы Божіи, зашалимъ немножко, намъ сейчасъ глаза колятъ ими, да и подъ сюркупъ.

— Что такое сюркупъ? спросилъ Валентинъ.

— Извѣстно, наказаніе.

— Вотъ какъ! Ну, а Таня, не та, о которой вы сейчасъ говорили, а та, которая здѣсь съ вами, она также изъ первыхъ ученицъ?

— Ахъ! Да какіе же вы не понятливые или разсѣянные! Вотъ васъ бы за это въ пансіонѣ часто сажали за осо-

бенный столъ. Вѣдь я ужъ говорила вамъ о ней. Кажется, ясно. Таня Михалевская и Таня, которая здѣсь, одно и тоже, по моему. Развѣ вы не знаете ея? А мнѣ показалось, что вы знакомы.

Валентинъ вспомнилъ, что въ семействѣ Ельцовой даже фамилія Тани не была извѣстна, но Лина не дала ему задуматься и продолжала приставать съ вопросами: Или я ошиблась? Вы не знакомы съ нею? Или знакомы?

— И знакомъ, и нѣтъ, сказалъ Валентинъ; я видалъ ее у одной ея родственницы.

— Я готова была биться объ закладъ, что знакомы. Когда мы ѣхали сюда, Анфиса Ильинишна сказала намъ, что вы всѣхъ чаще бываете здѣсь, а Таня такъ и вспыхнула. Я ее спросила, что съ нею, а она сказала: такъ, ничего! Ужъ знаемъ мы, что значитъ: ничего. А у кого вы видали ее? У нея родныхъ совсѣмъ нѣтъ, только одна мать: развѣ вы встрѣчали ее у матери? Да нѣтъ, не можетъ быть, она у матери почти никогда не бываетъ.

— Все будете знать, скоро состарѣетесь, сказалъ Валентинъ. Вы любите пословицы, не забывайте и этой.

— А! такъ это секретъ!

— Ничуть, сказалъ Валентинъ, понимая, что надо быть осторожнымъ съ такою плутовкой, и прибавилъ: Я видѣлъ ее у Зенеиды Львовны.

— Не вѣрю; но Богъ съ вами, сказала дѣвочка; я и не желаю знать того, что мнѣ не хотятъ сказать добровольно. Надо, однако, признаться, что сама Таня

какъ-то чудна. Будто мало мы приставали къ ней, когда она вступила въ пансіонъ : кто она? гдѣ жила? что дѣлала? Сперва она говорила, что жила у матери. А когда мать пріѣхала навѣстить ее, оказалось, что это не правда. Мать ея такая простая, точно дворовая женщина: говоритъ только по-русски, не умѣетъ ни войти, ни поклониться, а Таня, вы видите какая? У нея и манеры совсѣмъ другія, видно, что она была воспитана въ большомъ домѣ. Вотъ когда ея мать уѣхала, пошли толки между дѣвицами, стали распрашивать Таню и смѣяться надъ нею. Что жъ бы вы думали? Залилась слезами, да и ушла изъ залы. Такъ мы ничего и не узнали. Теперь вы знаете, почему я любопытствовала?

— Дитя мое, сказалъ Валентинъ кротко, развѣ вы никогда не думали о томъ, что не хорошо добираться до чужой тайны, если она есть?

— Не думала, ей Богу, не думала, а вотъ теперь сама вижу и впередъ не буду. Къ тому же, я обожаю Таню. Сколько разъ она выручала меня изъ бѣды, да и многому хорошему научила меня.

— А чему? спросилъ Валентинъ.

— Мало ли чему! Сперва я была первая лгунья во всемъ пансіонѣ, а теперь, съ тѣхъ поръ какъ Таня позволила мнѣ обожать себя, я должна во всемъ подражать ей. Она такая правдивая! Я уже никогда не лгу.

— А сегодня?

— Годъ въ лодкѣ не катались! сказала дѣвочка жалобно.

Отвѣтъ показался Валентину удовлетворительнымъ.

— Только знаете ли что? продолжала Лина серьозно и печально. Таня считаетъ меня ребенкомъ, безпрестанно плачетъ и никогда не скажетъ о чемъ. А ужъ какая богомольная! Сперва плачетъ, а потомъ станетъ на колѣнки, и все молится или Евангеліе читаетъ.

Въ эту самую минуту, воздушная, стройная, высокая фигурка Тани показалась на берегу.

— Лина, закричала она, тебя приказали звать домой!

Валентинъ причалилъ къ берегу и вышелъ; онъ подалъ руку обѣимъ дѣвочкамъ и повелъ ихъ къ дому. Таня робко взяла руку его и шла молча; казалось, что-то тяготило ее, что-то безпокоило, что-то просилось на языкъ и однако не слетало съ него. Валентину также было тяжело и грустно, будто болтовня Лины навѣяла на него задумчивость. Что касается до самой Лины, то она шла, припригивая, безпрестанно останавливалась, срывала цвѣты, и ощипывая ихъ, бросала на землю, или кусала стебельки и порою взглядывала лукаво на своихъ безмолвныхъ спутниковъ. Наконецъ, она пріостановилась на минуту и сказала рѣшительно:

— Таня, я не могу молчать до вечера. Скажи мнѣ, зачѣмъ ты никогда не говорила мнѣ о Валентинѣ Михайловичѣ, съ которымъ ты была знакома?

Рука Тани дрогнула на рукѣ Огинскаго. Она взглянула на него съ такимъ укоромъ, что онъ поспѣшилъ сказать ей:

— Да, я говорилъ Линѣ, что встрѣчалъ васъ у Зевеиды Львовны.

— Зачѣмъ лгать? сказала Таня тихо. Я дала обѣщаніе никогда не играть истиной: я не возьму этого грѣха на душу. Лина, я точно знала Валентина Михайловича, но встрѣчала его не у Зенеиды Львовны, а въ другомъ домѣ, котораго не назову тебѣ.

— Такъ ты думаешь, что я дитя! сказала Лина гордо. Ты въ одинъ день два раза обидѣла меня.

— Когда это? спросила Таня.

— Во-первыхъ, ты дорогой не хотѣла сказать мнѣ ничего, а теперь опять таишься. Развѣ я болтушка? Мало ли что я знаю, но молчу.

— Это правда, сказала Таня; чтобъ доказать тебѣ мое довѣріе, я буду просить тебя объ одной вещи.

— Говори, и ты увидишь на дѣлѣ, что я умѣю хранить тайну, но только тогда, когда мнѣ повѣряютъ ее; въ противномъ случаѣ....

— Вы разболтаете? сказалъ Валентинъ.

— Да, нарочно!

— Это похвально.

— Можетъ быть и не похвально; по крайней мѣрѣ, я отомщу. Ну, Таня, я слушаю.

— Не говори никому, рѣшительно никому, что я знала Валентина Михайловича, и не произноси его имени въ пансіонѣ.

— Съ этой минуты, сказала Лина, смѣясь, я его знать не знаю, вѣдать не вѣдаю. Ты увидишь.

Она поцѣловала Таню и бросилась бѣжать по аллеѣ.

— Непремѣнно разболтаетъ! сказалъ Валентинъ. И что это вамъ пришло въ голову просить ее объ этомъ?

— Вы не имѣете понятія о томъ, что такое пансіонъ: узнавъ, что я коротко знакома съ вами, мнѣ не дадутъ покоя, сказала Таня, краснѣя. А что касается до Лины, то она, болтая цѣлый день, никогда не скажетъ того, что не хочетъ сказать. Она ко мнѣ страстно привязана, и умна не по лѣтамъ, не смотря на свою рѣзвость.

— А вы не по лѣтамъ грустны, Татà, сказалъ онъ, забывшись.

— Пожалуйста, не называйте меня этимъ ненавистнымъ именемъ.

— Извините, сказалъ онъ, смутившись, и замолчалъ.

Таня также молчала. Тихо шли они по аллеѣ, и когда подошли къ цвѣтнику, Валентинъ не пошелъ въ домъ, а повернулъ въ сторону.

Таня взглянула на него, не сдѣлала ни малѣйшаго возраженія, и продолжала итти молча.

— Таня, сказалъ Валентинъ, мнѣ хотѣлось бы разъ навсегда объясниться съ вами. Мнѣ кажется, намъ обоимъ будетъ легче, если между нами все будетъ сказано. Сдѣлайте надъ собою усиліе и скажите мнѣ, чего недостаетъ вамъ? Вы такъ не похожи на молодую дѣвушку. Томитъ ли васъ несчастіе, или желаете вы чего нибудь? Вспомните, что я беру на себя обязанность брата.

Слезы навернулись на глазахъ ея.

— Я не могу выразить вамъ мою безпредѣльную благодарность: слова не передадутъ моего чувства, сказала она дрожащимъ голосомъ; но всю жизнь мою....

— Я не понимаю васъ, Таня, сказалъ Валентинъ; кажется, вы еще ничѣмъ не обязаны мнѣ. Дайте мнѣ время или возможность....

— Неужели моя благодарность такъ противна или тягостна для васъ? возразила Таня въ порывѣ страсти, смѣшанной съ негодованіемъ. Зенеида Львовна предупреждала меня, что не надо говорить съ вами о томъ, что вы для меня сдѣлали. Но это выше силъ моихъ; къ тому же, начали вы, а не я. Слово признательности, благодарности, вѣчной любви къ вамъ, моему избавителю, томило и жгло душу мою. Скажите, чѣмъ заслужила я ваше высокомѣрное презрѣніе? Избавивъ, вы въ то же время бросили меня, и въ продолженіе двухъ лѣтъ ни разу не навѣдались, что сталось съ тою, которую вы спасли великодушно. А теперь вы отказываетесь отъ моей благодарности, отказываетесь отъ вашего добраго дѣла: зачѣмъ же вы спасали меня, если такъ презираете меня?

— Таня, Таня! сказалъ Валентинъ, смущенный и поняшій въ половину то, что говорила она. Божусь вамъ, что я любилъ и люблю васъ, какъ родную сестру; но я не былъ довольно счастливъ, чтобы....

Онъ видѣлъ ея волненіе, и у него недостало мужества сказать ей правду, разбить ея больное сердце.

— Молчите! сказала она съ жаромъ. Кто, если не вы, говорилъ обо мнѣ Зенеидѣ Львовнѣ?... Кто черезъ нее.... А! да вотъ и она!

Таня оставила руку Валентина. Въ сильномъ волненіи бросилась она на встрѣчу Воротынской, обняла ее со слезами на глазахъ, и, не имѣя силы сдержать свои чувства, зарыдала.

— Что такое? Что случилось? спросила Воротынская, нѣжно обнимая дѣвушку и садясь вмѣстѣ съ нею на скамью.

— Онъ упорно отказывается отъ меня, говоритъ, что я ему ничѣмъ не обязана! сказала Таня. Неужели моя благодарность такъ оскорбительна для него!

— Валентинъ! сказала Воротынская съ укоромъ.

Таня рыдала. Воротынская говорила ей что-то тихо и невнятно. Валентинъ, погруженный въ собственную думу, не слыхалъ словъ ея; наконецъ, онъ, по видимому, рѣшился на что-то и сказалъ Танѣ:

— Дайте мнѣ руку, Таня, и не печальтесь. Я былъ виноватъ передъ вами и надѣюсь загладить вину свою, а теперь будемъ вмѣстѣ любить ту, которая была такъ добра для насъ обоихъ. Я принимаю на себя доброе дѣло, сдѣланное моимъ именемъ, и постараюсь доказать вамъ въ послѣдствіи, что я дѣйствительно люблю васъ.

— Вы видите, онъ наконецъ признается, шепнула Воротынская Танѣ.

Таня протянула руку Валентину, и прежде нежели онъ могъ предупредить ея движеніе, она нагнулась впередъ и украдкой прижала его руку къ пылающему лицу своему. Сумерки были причиною, что Воротынская не замѣтила этого движенія. Валентинъ отдернулъ свою руку и скорыми шагами пошелъ къ дому.

Черезъ часъ, Зенеида тихо вошла въ ту комнату, гдѣ былъ Валентинъ.

— Я хотѣла избавить васъ отъ этой грустной сцены объясненія, сказала она, садясь подлѣ Валентина; но теперь вижу, что слишкомъ попадѣялась на Таню: она не могла, она не хотѣла молчать, и сказала вамъ все.

— Для чего дѣлали вы все моимъ именемъ? спросилъ Валентинъ.

— Потому что она ни къ кому не была привязана, кромѣ васъ, отвѣчала Зенеида; въ то ужасное время, она отказывалась упорно отъ всякой помощи, она впала въ отчаяніе и твердила: «Гдѣ ни погибнуть, все равно!» Дѣйствительно, она была близка къ гибели. По натурѣ своей, она вся страсть, и только ваше имя могло дать иное направленіе ея мыслямъ и открыть для нея новое существованіе. Я воспользовалась этимъ. Когда вы уѣхали въ деревню, Ельцова, думая, что она можетъ открыть вамъ многое, преслѣдовала ее. Узнавъ это, я предложила ей отъ вашего имени вступить въ пансіонъ. Не уничтожайте же того, надъ чѣмъ я трудилась въ продолженіе цѣлаго года, не отказывайтесь отъ нея, какъ твердитъ она съ отчаяніемъ!

— Я въ вашей волѣ, сказалъ Валентинъ; но не могу не сказать вамъ, что я люблю, что глубоко уважаю васъ въ эту минуту. Вы удивительно добры!

Онъ хотѣлъ сказать еще что-то, но одно горькое воспоминаніе заставило его замолчать.

Неумолимая память говорила ему, что онъ щедро расточалъ тѣже выраженія передъ другою женщиной, существомъ безчувственнымъ и недостойнымъ. Теперь

онъ краснѣлъ за свое прошедшее и былъ готовъ начать новую жизнь съ стоявшею передъ нимъ женщиной, этою воплощенною добротой и нѣжностью.

— Успокойтесь! сказала она, видя его волненіе. Прошу васъ, успокойтесь! Или вы хотите, чтобы я никогда не простила себѣ ?...

— Чего? спросилъ онъ горячо. Обѣщайте мнѣ только никогда не оставлять меня, полюбите меня, и я буду спасенъ отъ заблужденій, отъ эгоизма, отъ всѣхъ золъ и несчастій. Полюбите меня ! продолжалъ онъ , взявъ обѣ ея руки и нѣжно прижимая ихъ къ пылающему лицу своему.

— Ахъ, Валентинъ! сказала она. Я давно люблю васъ. Вы не замѣчали, не видали этого. Давно, давно я люблю васъ всѣми силами моего сердца !

Она плакала. Валентинъ заключилъ ее въ свои объятія и крѣпко, нѣжно прижалъ къ сердцу.

ГЛАВА III.

Послѣ этого дня, Таня была грустна и задумчива. Рано по утру входила она къ Воротынской и, напившись чаю, принималась шить въ пялыцахъ. Воротынская дѣлалась безпокойнѣе, часто вставала съ мѣста, смотрѣла на часы, свѣряла ихъ съ большими столовыми часами, ходила по комнатѣ, заглядывала въ окна, брала книгу, но читала не долго; книга скоро упадала на ея колѣна, а сама она погружалась въ сладкую думу; иногда она улыбалась, и все лице ея выражало безпредѣльное счастіе. Таня, отъ которой ничто не ускользало, начинала безпокойно слѣдить за всѣми ея движеніями и часто задумывалась, но печальна была дума ея. Онѣ мало разговаривали: Таня была молчалива, а Зенеида слишкомъ отдалась одной мысли, одному чувству, чтобы говорить долго о чемъ бы то ни было. Черезъ нѣсколько дней, Таня уже понимала всѣ движенія Зенеиды и, бѣдная, порою блѣднѣла и убѣгала къ себѣ, полная тревоги и жгучей печали! Случалось,

что она не могла преодолѣть себя, и самыя ласковыя слова Зенеиды возбуждали въ ней внутреннюю борьбу. Занятая собственнымъ чувствомъ, Зенеида ничего не замѣчала, и по прежнему была добра и нѣжна не только къ Танѣ, но и къ шалуньѣ Линѣ, которую не рѣдко спасала отъ выговоровъ и наставленій Елены Филипповны, принявшейся очень ревностно за ея воспитаніе. Послѣ обѣда, посидѣвъ въ гостиной около часа, Зенеида уходила въ кабинетъ свой, куда немедленно слѣдовалъ за нею Валентинъ, а иногда и Таня; Елена Филипповна отправлялась на верхъ съ Линой, или ходила съ нею по цвѣтнику. Не смотря на частые выговоры, Лина по прежнему много болтала и забавляла старуху. Елена Филипповна была очень богомольна: всякое воскресенье ходила она къ обѣднѣ, въ субботу ко всенощной, и, пользуясь сосѣдствомъ монастыря, въ середу и пятницу бывала у вечерни и обѣдни. Таня всегда сопровождала ее. Возвратясь изъ церкви, Елена Филипповна, по свойственному ей малодушію и мелочности, занималась нарядами, а Таня уходила къ себѣ, долго читала Евангеліе, и, какъ видно было по глазамъ ея, плакала. Божественная книга вливала утѣшеніе въ ея страждущее сердце и страстную душу. Прошло двѣ недѣли, и не смотря на увѣренность Воротынской, что Таня привыкнетъ, оправится и повеселѣетъ, Таня не привыкала, не оправлялась и не дѣлалась веселѣе, а только больше и больше удалялась отъ Воротынской и чаще оставалась одна. Однажды, передъ наступленіемъ вечера, Валентинъ и Зенеида, по обыкновенію, вышли въ цвѣтникъ. Воздухъ былъ напитанъ ароматомъ цвѣтовъ; деревья, будто уто-

мившись отъ зноя, свѣсивъ листья, дремали, и только изрѣдка, при дуновеніи свѣжаго вѣтерка, помахивали своими маковками. Солнце, уже не палящее, а только теплое, склонялось къ горизонту. Валентинъ и Зенеида шли по извилистой дорожкѣ сада, скрывались за зеленью, появлялись опять, огибая цвѣтникъ; на газонѣ, Лина одна играла въ серсо, высоко закидывая кольцо и ловко подставляя палку. Елена Филипповна съ попугаемъ, бродившимъ около нея, дочитывала французскій романъ, порою бросая нѣсколько фразъ своему любимцу, порою лаская его; она взглядывала на Валентина и племянницу, продолжавшихъ медленно ходить по узенькимъ дорожкамъ цвѣтника. Маленькая, гибкая, стройно-пропорціональная фигурка Зенеиды казалась еще прелестнѣе подлѣ высокаго, тонкаго стана Валентина. Эта живописная группа мелькала между зеленью и рисовалась какъ нельзя лучше; можно было любоваться этою влюбленною четой, не лишенною граціи и красоты. Но не съ такимъ чувствомъ смотрѣла на нихъ Елена Филипповна и Таня. Недовольный взглядъ тетки и грустный, безконечно тоскливый взоръ Тани, сидѣвшей на садовой скамьѣ, слѣдили за ними. Таня не разъ впивалась въ нихъ глазами и долго, долго потомъ сидѣла, потупивъ голову.

— Я устала, сядемъ, сказала наконецъ Зенеида.

— Еще одинъ туръ по саду! отвѣчалъ онъ. Посмотри, какъ кругомъ все хорошо, какъ красивъ вдали этотъ серебренный прудъ: онъ блеститъ, какъ сталь, при послѣднихъ лучахъ солнца! Посмотри, какъ освѣщены стволы ивы!

— Да, да, сказала она, не бросивъ и взгляда въ ту сторону, куда онъ указывалъ.

— Да ты не глядишь и не видишь, возразилъ онъ.

— Правда, сказала она; но за то, я любуюсь тобою, люблю тебя одного. Что мнѣ природа, что мнѣ все окружающее! Мнѣ надо одного тебя!

Въ это самое время, огибая дорожку, они увидѣли сидѣвшую Таню; имъ надо было пройти мимо нея.

— Я не могу видѣть ее, сказала тихо Зенеида; взгляни на нее: это ли восьмнадцатилѣтняя дѣвушка! Какое уныніе! Иногда цѣлое утро проводитъ она со мною, и не скажетъ ни слова. Впрочемъ, я замѣчаю, что она стала еще скрытнѣе, еще сосредоточеннѣе; она избѣгаетъ насъ. Ты замѣтилъ, что вотъ уже пять дней, какъ она даже не приходитъ ко мнѣ въ кабинетъ? Все сидитъ одна.

— Ей скучно, сказалъ Валентинъ; что станетъ она дѣлать съ нами? Мы слишкомъ заняты другъ другомъ; твоя тетушка несносна для всякаго, а Лина ребенокъ. Къ тому же, Таня не оправилась еще отъ прошлой жизни, а будущее закрыто. Надо бы дать ей совѣтъ заняться: для больной души, единственное лѣкарство — трудъ.

— Ты думаешь, что она мало занимается? сказала Зенеида. Ты ошибаешься. Она цѣлое утро читаетъ и особенно занимается чтеніемъ св. Писанія.

— Нельзя ли ей читать еще что нибудь, для разсѣянія? Предложи ей свою библіотеку.

— Я отдала ей ключь; но она не читаетъ свѣтскихъ книгъ, говоритъ, что читать ихъ тяжело и грустно, что все это суета. Я почти убѣждена, что она пойдетъ въ монастырь.

— Въ восьмнадцать лѣтъ? сказалъ Валентинъ. Какъ пришла ей такая мысль?

— Она никогда не говоритъ о будущемъ, хотя я нѣсколько разъ пыталась вызвать ее на разговоръ. Однажды, вчера кажется, я сказала ей, что когда она выдетъ замужъ, я подарю ей такой же кіотъ, какой стоитъ въ моей спальнѣ. При этомъ словѣ она взяла меня за руку и сказала: «Никогда!» Она говорила такъ рѣшительно, такъ порывисто, такъ печально, что я замолчала. Въ другой разъ, я замѣтила въ разговорѣ, что одинокая жизнь — тяжелая ноша, особенно для женщины. Она съ жаромъ говорила противъ моего мнѣнія и сказала, что тотъ, кто живетъ въ Богѣ, одинъ не бываетъ.

— Бѣдное дитя! сказалъ Валентинъ. Какъ отъ всей души не пожалѣть тѣхъ, кто несчастливъ, особенно тогда, когда самъ счастливъ и доволенъ судьбою! Я, напримѣръ, все нашелъ въ тебѣ, и считаю себя счастливѣйшимъ человѣкомъ.

— Не говори такъ, Валентинъ, не сглазь нашего счастія, сказала Зенеида.

— Дитя! отвѣчалъ онъ, сжимая ея маленькую ручку.

Въ это время они подошли къ скамьѣ, на которой сидѣла Таня.

— Что вы сидите здѣсь одни? сказалъ ей Валентинъ. Пойдемте съ нами къ пруду.

Она встала и пошла съ ними.

— Вы мало бываете съ нами съ нѣкоторыхъ поръ, продолжалъ Валентинъ. Отъ чего это Таня? Или мы вамъ наскучили?

Она грустно улыбнулась.

— Я боялась, что буду лишняя, сказала она.

— Никогда, Таня, никогда! сказала Зенеида, увлекаясь чувствомъ жалости и состраданія. Я буду очень рада, если вы будете чаще приходить къ намъ и гулять съ нами.

— Конечно, сказалъ Валентинъ; вѣдь вы моя названная сестра. Бывало, Анюта въ Москвѣ всегда съ нами. Она пріѣдетъ сюда зимой и познакомится съ вами, полюбитъ васъ, я знаю это, и я буду просить васъ также полюбить ее.

— Она такая добрая, сказала Зенеида.

— Могу ли я не любить вашей сестры? сказала Таня. Я обязана любить ее за все то, что вы для меня сдѣлали.

— Таня, вы забыли уговоръ? сказалъ Валентинъ. Любите ее просто за то, что она такая же добрая какъ вы; ну, и немножко за то, пожалуй, что она сестра моя.

Таня взглянула на него; ея взоръ былъ слишкомъ выразителенъ и говорилъ слишкомъ много. Валентинъ задумался; но Зенеида продолжала разговаривать съ Таней, которая отвѣчала кратко и неохотно.

Съ этихъ поръ, Таня чаще оставалась съ Зенеидой и Валентиномъ; но поведеніе ея было странно.

Съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдила она за малѣйшимъ словомъ ихъ: ни выраженіе лица, ни от-

тѣнки рѣчи не ускользали отъ нея. Вообще все поведеніе Тани было какъ-то неестественно: иногда она была очень весела и смѣялась, а черезъ минуту впадала въ мрачную печаль и уходила къ себѣ; иногда упорно молчала цѣлый день, и ни вопросы, ни ласки Зенеиды не могли вызвать улыбку на лице ея, а на языкъ привѣтливое слово. Въ такомъ расположеніи духа, она была особенно холодна къ Зенеидѣ, а съ Валентиномъ насмѣшлива. Оба они не могли объяснить себѣ поступки Тани и приписывали частыя перемѣны въ ея обращеніи только странности искаженнаго обстоятельствами характера. Случалось, что Таня не приходила вовсе къ нимъ въ продолженіе цѣлаго дня, пока Зенеида, нѣжно заботясь о ней, не отправлялась за нею и не приводила ея съ собой. Тогда Таня садилась у своего обыкновеннаго мѣста и была такъ мрачна, что Зенеида раскаивалась въ своей настойчивости, но со всѣмъ тѣмъ, не смотря на холодность Тани, продолжала быть съ нею ласкова.

Когда она спрашивала ее съ участіемъ:

— Таня, не сердитесь ли вы на меня?

Таня отдѣлывалась шуткой, или говорила холодно: могу ли я сердиться? и впадала опять въ мрачную задумчивость.

Эти неровности характера, вспышки, раздражительность, начинали тяготить Зенеиду; она стала рѣже звать Таню къ себѣ, но Таня, какъ бы наперекоръ ей, приходила и поселялась въ ея кабинетѣ, будто не замѣчая, что можетъ помѣшать своимъ вѣчнымъ присутствіемъ. Однажды послѣ обѣда, Зенеида сидѣла съ Валентиномъ въ своемъ кабинетѣ и говорила съ нимъ въ полголоса;

вдругъ дверь отворилась, Таня вошла въ комнату и сѣла у окна.

— Гдѣ тетушка? спросила у нея Зенеида, прерывая свой разговоръ съ Валентиномъ.

— Прикажете узнать? отвѣчала Таня не безъ оттѣнка горечи; видно было, что она взволнована и раздражена.

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо, поспѣшила сказать Зенеида; я спросила такъ, изъ любопытства.

Настало молчаніе. Таня взяла книгу и притворилась, что читаетъ. Валентинъ взглянулъ на нее и, нагнувшись къ Зенеидѣ, шепнулъ ей:

— Не кстати пришла она, я и такъ видаю тебя очень мало.

Зенеида улыбнулась

— Будто? сказала она вслухъ, не желая говорить тихо и тѣмъ показать Танѣ, что она лишняя. Мнѣ кажется, мы видимся каждый день.

Таня подняла голову; Зенеида встрѣтила пристальный взглядъ ея, и ей показалось, что въ немъ было что-то вопросительное. Она поспѣшила отвѣчать ей, хотя именно въ эту минуту, быть можетъ, больше чѣмъ когда нибудь, присутствіе Тани тяготило ее.

— Огинскій говоритъ, что рѣдко видитъ насъ, сказала она смѣясь. Что вы объ этомъ думаете?

— Я не говорю, что рѣдко, сказалъ Валентинъ, но я хотѣлъ бы проводить здѣсь не только вечеръ, но и весь день съ самаго утра.

— Я знаю, что вы любите деревню, замѣтила Таня, чтобы сказать что нибудь.

— Очень люблю, возразилъ Валентинъ, но мы не пользуемся лѣтомъ. Отъ чего мы никогда не ѣздимъ кататься, не ѣздимъ верхомъ, не дѣлаемъ большихъ прогулокъ?

— Это можно устроить когда хотите, хоть завтра, сказала Зенеида. Таня и Лина поѣдутъ въ шарабанѣ, я поѣду верхомъ....

— А я? спросилъ Валентинъ, глядя на нее съ лукавою улыбкой.

— Какъ хозяйка, я предоставляю вамъ полную свободу, отвѣчала она.

— Если хотите, поѣзжайте вмѣсто кучера съ Таней и Линой, или со мною верхомъ.

— Вы думаете, что я пущу васъ одну верхомъ? спросилъ Валентинъ.

— Боже мой! отвѣчала Воротынская, смѣясь; у меня есть берейторъ: я всегда ѣздила съ нимъ прежде.

— Да, прежде, а не теперь, сказалъ онъ.

— Что я за сокровище? продолжала, смѣясь, Воротынская. Не бойтесь, меня никто не похититъ.

— Конечно сокровище, соковище безцѣнное для всѣхъ друзей вашихъ. Вы знаете, кто любитъ, тотъ всего опасается, сказалъ Валентинъ съ такимъ оттѣнкомъ нѣжности, что Таня быстро подняла голову, покраснѣла, поблѣднѣла и встала.

— Что съ вами, Таня? спросилъ Валентинъ.

— Ничего, отвѣчала она спокойно; я уколола руку.

— Я сейчасъ приложу вамъ англійской тафты, сказала Зенеида.

— Благодарю васъ, вы слишкомъ добры, сказала Таня язвительно. Такъ мы поѣдемъ завтра, прибавила она, стараясь перемѣнить разговоръ!

— Да, да.

— Но съ тѣмъ условіемъ, сказалъ Валентинъ, что я буду общимъ опекуномъ. Таня не должна сидѣть, какъ теперь, потупивъ голову, и вообще должна быть веселѣе; шалуньѣ Линѣ не дадутъ воли прыгать и дурачиться, тетушкѣ ворчать, а вамъ.... что приказать вамъ? спросилъ онъ, глядя на Зенеиду; берегитесь, я буду деспотомъ и тираномъ.

Таня не спускала съ Валентина блиставшихъ глазъ своихъ.

— Я ужасно люблю, чтобы меня тиранили, сказала Зенеида. Право, прибавила она полушутя, полусерьозно, я всегда нуждаюсь въ покровительствѣ и чужой волѣ.

— Я не совсѣмъ раздѣляю ваше мнѣніе, сказалъ Валентинъ. Если говорить серьозно, то воля дороже всего.

— Только не для женщины, сказала Зенеида; ея назначеніе повиноваться; это одна изъ прелестей любви.

— Это правда, сказалъ Валентинъ.

Таня поблѣднѣла. Язвительная улыбка пробѣжала по губамъ ея.

— Давно ли, сказала она, обращаясь къ Валентину, вы стали уважать тѣхъ, кто не имѣетъ воли. Кажется, вы говорили прежде, что женщину тогда только можно уважать, когда она имѣетъ убѣжденія, понятія, мнѣнія;

когда она развита и мыслитъ. Женщину безъ понятій, безъ мнѣній, вы называли или ребенкомъ, или куклой.

— Какъ это лестно для меня, Таня! сказала Зенеида удивленная и озадаченная словами Тани.

— Что жъ дѣлать? Это не мое мнѣніе, а мнѣніе Валентина Михайловича.

— Ваше? спросила Зенеида у Валентина.

— Да, отвѣчалъ Валентинъ; но вопросъ не такъ поставленъ. Женщина, отказывающаяся добровольно отъ воли, изъ любви, изъ нѣжности...

— И мѣняющая убѣжденія, сказала Таня, смѣясь истерически,—достойна любви и уваженія!

— Мы не говорили о мнѣніяхъ, Таня. Мы говорили о волѣ, сказалъ Валентинъ.

— Но отказаться отъ воли не значитъ ли подчинить себя другому во всемъ, то есть, измѣнить свои правила и убѣжденія?

— Какая логика! сказалъ Валентинъ. Только не доводите этого положенія до крайностей. Крайности никуда не годятся. Въ благой серединѣ все, и счастіе, и спокойствіе, и разумъ.

— И пошлость, сказала Таня.

Воротынская молчала. Она была удивлена жаромъ, съ которымъ говорила Таня, и ея способностію судить о предметахъ отвлеченныхъ, не совсѣмъ доступныхъ Зенеидѣ.

— Пошлость нельзя любить, сказала она наконецъ, желая вставить свое слово въ разговоръ.

— Помилуйте ! сказала Таня язвительно. Всякій день, всякій часъ , доказываетъ намъ противное; именно пошлость всегда любима, лишь бы она скрывалась подъ изящною формой.

— Какъ будто вы такъ много видѣли, Таня? спросила Воротынская, не безъ досады.

— И очень, сказала она. Спросите лучше у Валентина Михайловича, чего, чего не видала я?

— Въ этомъ-то вся бѣда, Таня, сказалъ онъ ласково. Надо быть ребенкомъ въ дѣтствѣ , молодою дѣвушкой въ осьмнадцать лѣтъ и женщиной въ двадцать шесть.

— Таня, онъ говоритъ правду.

— Конечно, сказала она, это истина неоспоримая. Ее, вѣроятно, можно найти во всѣхъ прописяхъ.

— Вы насмѣшливы, Таня, сказалъ Валентинъ. Продолжайте: лучше смѣяться, чѣмъ вѣчно быть мрачною и серьозною. Я отдалъ бы все на свѣтѣ, лишь бы вашъ возрастъ взялъ свое; только шутите веселѣе, а то ваши шутки какъ-то желчны, а это непріятно, Таня.

— Я давно знаю, сказала она, вспыхнувъ отъ досады и увлеченія, что никому не нравлюсь здѣсь, что здѣсь меня только терпятъ, что меня никто не любитъ.

— Таня, Таня, сказала Воротынская, подходя къ ней; не будьте несправедливы ни къ нему, ни ко мнѣ: мы оба любимъ васъ. Вы много терпѣли, я знаю это, вы были несчастливы и дѣлаетесь раздражительны, а это не хорошо. Таня, это можетъ надѣлать вамъ много зла

и удалить отъ васъ людей, въ самомъ дѣлѣ вамъ преданныхъ.

— Не заботьтесь обо мнѣ такъ много, сказала Таня сухо.

— Если вы такъ дурно понимаете мои слова, я конечно не буду дѣлать вамъ замѣчаній, сказала Воротынская.

— Я буду очень благодарна вамъ за это.

— Какъ ? Вы говорите это Зенеидѣ Львовнѣ, которая такъ любитъ васъ ! сказалъ Валентинъ съ упрекомъ.

— И вы тоже противъ меня ! воскликнула дѣвочка. А ! я знала это, я угадала, что сдѣлаютъ все, чтобы отдалить васъ отъ меня, или выставить меня въ дурномъ свѣтѣ. И вы хотите, чтобы я вѣрила любви такихъ людей ?

— Таня ! вскрикнула Воротынская. Ты не знаешь, что говоришь. Милая Таня, ты будешь очень раскаяваться, когда опомнишься! Мнѣ жаль тебя.

Зенеида встала и хотѣла обнять ее, но Таня почти оттолкнула ее, сказавъ запальчиво:

— Оставьте меня, я ненавижу васъ !

Съ этими словами она выбѣжала изъ комнаты.

Зенеида и Валентинъ остались одни. Пораженные и уничтоженные, они молчали нѣсколько минутъ; Зенеида сѣла въ кресла и заплакала.

— Что такое, что съ тобой ? сказалъ Валентинъ. Полно, душа моя; неужели капризъ дѣвочки можетъ до такой степени огорчить тебя ?

— Капризъ, сказала она, капризъ ?

— Положимъ, что нѣтъ. Называй это какъ хочешь, вспышкой, увлеченіемъ, раздражительностію.

— Любовью, Валентинъ; она любитъ тебя. Боже мой! Только этого недоставало. Я прежде подозрѣвала это, а теперь убѣдилась. Бѣдное дитя, бѣдная дѣвочка! Что я буду съ нею дѣлать?

— Ты ошибаешься, сказалъ Валентинъ, чувствуя втайнѣ, что Зенеида говорила правду.

— Нѣтъ, сказала она, да это и не могло быть иначе. Мы глубоко уязвили ея сердце. Быть свидѣтелемъ любви того, кого мы любимъ, о! это ужасно, Валентинъ. Я умерла бы съ горя на ея мѣстѣ. Бѣдная Таня! Теперь я не осмѣлюсь даже приласкать ее: она должна меня ненавидѣть.

— За что? сказалъ Валентинъ. Развѣ я любилъ ее, развѣ я оставилъ ее для тебя? Нѣтъ, она слишкомъ благородна, чтобы не понять, что ты ни въ чемъ не виновата.

— Судьба виновата, печально проговорила Воротынская.

Валентинъ утѣшалъ ее. Настали сумерки; они сидѣли вмѣстѣ и тихо говорили.

— Ты добра, добра какъ ангелъ, сказалъ Валентинъ, и если ты непремѣнно хочешь этого, я пойду къ ней и скажу ей, непремѣнно скажу, что ея вѣчная печаль, ея слезы и раздражительность падаютъ на твое сердце.

— Что ей до моего сердца? сказала Зенеида печально. Я счастлива, а она страдаетъ. Страшно подумать, что мое счастіе убиваетъ другую. Эта мысль не выносима.

Валентинъ взялъ ея руки и страстно цѣловалъ ихъ. Она склонилась на плечо его, и долгій поцѣлуй соединилъ ихъ. Они забыли весь міръ, все окружающее, забыли и бѣдную Таню, недавній предметъ заботъ своихъ, и наслаждались вполнѣ своимъ счастіемъ.

А между тѣмъ въ мезонинѣ, въ узенькой комнатѣ, горѣла лампада передъ Распятіемъ, и рыдая, и молясь, лежала передъ нимъ бѣдная Таня. Долго оставалась она такъ, наконецъ встала, жадно прильнула жаркими губами къ холодной мѣди образа и сѣла неподвижная и усталая на стулъ.

— Таня, Таня, сказала Лина, стучась въ дверь, тебя зовутъ внизъ, чай подали. Да отвори же.

Таня встала и отперла дверь.

Лина остановилась на порогѣ, пристально посмотрѣла на свою пріятельницу и тихо подошла къ ней.

— Плакала? Опять плакала? сказала она тихо, прижимаясь къ ней, потомъ помолчала, заглянула ей въ лице и спросила:

— Не могу ли я помочь тебѣ?...

— Богъ поможетъ, сказала Таня, прижимая къ себѣ Лину и обнимая ее крѣпко. Богъ поможетъ! Онъ молился за враговъ Своихъ, молился на крестѣ: какъ же мнѣ не молиться за моихъ благодѣтелей! Надо молиться, я должна молиться, я буду молиться. Лина, Лина! Молись и ты за меня, молись, чтобы Богъ далъ мнѣ силу нести тяжелый крестъ моей благодарности. Не то я погибла, я погибла!

Лина плакала. Въ эту минуту Валентинъ вошелъ въ комнату.

— Таня, я пришелъ за вами, сказалъ онъ. Пойдемте гулять послѣ чаю, Зенеида ждетъ васъ. Вы плачете? Простите меня, если я обидѣлъ васъ.

— Пощадите меня, Валентинъ Михайловичъ, отвѣчала Таня, вставая. Я не стою ни вашей ласки, ни вашего вниманія. Я должна просить у васъ прощенія на колѣняхъ, а не вы у меня.

— Не будемъ больше говорить объ этомъ, сказалъ Валентинъ, дружески пожимая ея руку; моя миленькая сестрица была нынче не въ духѣ, прибавилъ онъ, обращаясь къ Линѣ, и мы поссорились, а теперь миръ заключенъ, не такъ ли? Пойдемте внизъ.

— Идите съ Линой, я сойду сейчасъ. Гдѣ Зенеида Львовна?

— Она въ кабинетѣ.

— Одна? Мнѣ хотѣлось бы видѣть ее одну, сказала Таня.

— Она одна, только....

Валентинъ смѣшался.

— Что? сказала Таня съ блеснувшими мгновенно глазами.

— Она очень разстроена, я прошу васъ щадить ее. Она женщина добрая, чувствительная, она принимаетъ все къ сердцу; не говорите ей ничего жесткаго.

— Не безпокойтесь, сказала Таня сухо. Впрочемъ, вы въ правѣ требовать это.

Она бросилась съ лѣстницы, стремительно вбѣжала въ кабинетъ Зенеиды и, бросившись къ ней, склонилась на ея колѣна своимъ лицемъ, орошеннымъ слезами.

Валентинъ взялъ ея руки и нѣжно цѣловалъ ихъ. Она склонилась на плечо его, и забыла весь міръ, все окружающее, забыла и бѣдную Таню, недавній предметъ заботъ своихъ, и наслаждалась вполнѣ своимъ счастіемъ.

А между тѣмъ въ мезонинѣ, въ узенькой комнатѣ, горѣла лампада передъ Распятіемъ, и рыдая, и молясь, лежала передъ нимъ бѣдная Таня. Долго оставалась она такъ, наконецъ встала, жадно прильнула жаркими губами къ образу и сѣла неподвижная и усталая на стулъ.

— Таня, Таня, сказала Лина, стучась въ дверь, тебя зовутъ внизъ, чай подали. Да отвори же.

Таня встала и отперла дверь.

Лина остановилась на порогѣ, пристально посмотрѣла на свою пріятельницу и тихо подошла къ ней.

— Плакала? Опять плакала? сказала она тихо, прижимаясь къ ней, потомъ помолчала, заглянула ей въ лице и спросила:

— Не могу ли я помочь тебѣ?...

— Богъ поможетъ, сказала Таня, прижимая къ себѣ Лину и обнимая ее крѣпко. Богъ поможетъ! Онъ молился за враговъ Своихъ, молился на крестѣ: какъ же мнѣ не молиться за моихъ благодѣтелей! Надо молиться, я должна молиться, я буду молиться. Лина, Лина! Молись и ты за меня, молись, чтобы Богъ далъ мнѣ силу нести тяжелый крестъ моей благодарности. Не то я погибла, я погибла!

Лина плакала. Въ эту минуту Валентинъ вошелъ въ комнату.

— Таня, я пришелъ за вами, сказалъ онъ. Пойдемте гулять послѣ чаю, Зенеида ждетъ васъ. Вы плачете? Простите меня, если я обидѣлъ васъ.

— Пощадите меня, Валентинъ Михайловичъ, отвѣчала Таня, вставая. Я не стою ни вашей ласки, ни вашего вниманія. Я должна просить у васъ прощенія на колѣняхъ, а не вы у меня.

— Не будемъ больше говорить объ этомъ, сказалъ Валентинъ, дружески пожимая ея руку; моя миленькая сестрица была нынѣче не въ духѣ, прибавилъ онъ, обращаясь къ Линѣ, и мы поссорились, а теперь миръ заключенъ, не такъ ли? Пойдемте внизъ.

— Идите съ Линой, я сойду сейчасъ. Гдѣ Зенеида Львовна?

— Она въ кабинетѣ.

— Одна? Мнѣ хотѣлось бы видѣть ее одну, сказала Таня.

— Она одна, только....

Валентинъ смѣшался.

— Что? сказала Таня съ блеснувшими мгновенно глазами.

— Она очень разстроена, я прошу васъ щадить ее. Она женщина добрая, чувствительная, она принимаетъ все къ сердцу; не говорите ей ничего жестокаго.

— Не безпокойтесь, сказала Таня сухо. Впрочемъ, вы въ правѣ требовать это.

Она бросилась съ лѣстницы, стремительно вбѣжала въ кабинетъ Зенеиды и, бросившись къ ней, склонилась на ея колѣна своимъ лицемъ, орошеннымъ слезами.

комнату. Если ты будешь прилежна, то года черезъ два сдѣлаешься музыкантшей. У тебя большія способности. А вотъ вы, Таня, стали лѣнивы, продолжала она, улыбаясь. Я уже мѣсяцъ не слыхала, какъ вы играете.

— Не хочется, сказала Таня отрывисто.

— Но ничего не дѣлать еще скучнѣе. Взгляните на себя: вы исхудали, поблѣднѣли. Право, это отъ скуки.

— Вы думаете? сказала Таня колко и насмѣшливо.

Зенеида не отвѣчала на вопросъ ея и сказала просто:

— Я думаю, вы разучились играть.

— Очень можетъ быть, возразила Таня, но скажите, кого можетъ интересовать это?

— Кого, Таня? Меня и другихъ друзей вашихъ.

Таня засмѣялась.

— Не смѣйтесь такъ, Таня: больно слышать, сказала Зенеида.

— Отъ чего же не смѣяться, когда смѣшно? возразила она дерзко.

Зенеида кротко посмотрѣла на нее и вышла изъ комнаты. Взглядъ ея пронзилъ сердце Тани. Она оперлась головой на руку и долго, грустно думала.

На другой день Валентинъ, увидя Лину опять за фортепіано, просилъ ее сыграть предсмертный вальсъ Вебера. Лина не знала его наизустъ, а нотъ въ деревнѣ не было.

— Это любимый вальсъ Тани, сказала Лина; она знаетъ его наизустъ. Я позову ее, она вамъ сыграетъ его.

— Нѣтъ, не надо, сказала Зенеида; вчера она разсердилась на меня, когда я просила ее играть на фортепіано.

— Надо оставить ее въ покоѣ. Она такъ не въ духѣ всѣ эти дни, что я боюсь сказать ей слово.

— Она сыграетъ, право, сыграетъ съ удовольствіемъ, особенно для Валентина Михайловича, говорила Лина.

Въ эту минуту Таня вошла въ комнату.

— Валентину Михайловичу хочется послушать вальсъ Вебера; ты знаешь его наизустъ, сказала ей Лина.

Таня взглянула на Валентина, не зная, что сказать.

Онъ спросилъ только:

— Вы знаете этотъ вальсъ?

— Какъ же, отвѣчала Таня.

— Сыграйте его, сказалъ онъ, если вамъ это не въ тягость.

— Почему вы думаете, что это можетъ быть мнѣ въ тягость?

— Потому что вы рѣдко играете и вчера еще отказались играть. Я не хочу утруждать васъ.

Таня вспыхнула.

— А! Я давно знаю, что здѣсь есть лица, рѣшившіяся погубить меня въ вашемъ мнѣніи, сказала она, но имъ же будетъ стыдно, пускай ихъ....

— Что я вамъ сдѣлала, Таня? За что вы всякій день оскорбляете меня? сказала Зенеида со слезами на глазахъ. Богъ съ вами, Таня!

— Я оскорбляю васъ, а вы еще плачете, вы смѣете плакать! сказала она. Поглядѣвъ на насъ обоихъ, не скажутъ ли, что вы жертва, а я палачъ. Боже мой! Впрочемъ, я угадала цѣль вашу: вамъ, во что бы то ни стало, хочется казаться интереснои. Оставляю вамъ эту роль, она не нужна мнѣ.

— Таня, опомнитесь, что вы говорите! сказалъ Валентинъ. Вы заставляете думать, что у васъ злое сердце.

Она засмѣялась.

— Можетъ быть, сказала она; вамъ не жить со мной, такъ что вамъ за дѣло до моего сердца?

— Но каково тѣмъ, кто живетъ съ вами теперь, сказалъ Валентинъ холодно. Посмотрите, что вы съ нею дѣлаете: она плачетъ всякій день, плачетъ отъ васъ. Нѣтъ, это не можетъ продолжаться такимъ образомъ.

— Что здѣсь такое? сказала Елена Филипповна, какъ нарочно пришедшая въ это время.

Зепенда встала.

— Въ слезахъ! сказала старуха съ удивленіемъ.

— Нѣтъ, тетушка, нѣтъ, сказала Зепенда, смущенная и разстроенная.

— Однако, неужели нельзя объяснить мнѣ, въ чемъ дѣло? спросила старуха и, видя общее замѣшательство, прибавила:

— Кажется, здѣсь всѣ знаютъ больше, чѣмъ я; въ такомъ случаѣ, извините; я лишняя и удаляюсь.

Она торжественно повернулась и вышла изъ комнаты.

— Боже мой, что теперь будетъ! сказала Зенеида, складывая руки.

Таня стояла какъ приговоренная къ смерти. Порывъ, увлекшій ее, прошелъ: она сознавала свою вину и свое безуміе.

— Если вы хотите, я возьму все на себя, сказала она чуть слышно.

— Что возьмете вы на себя? Слезы Зенеиды? сказалъ Валентинъ, совершенно разсерженный. Вы бы давно должны понять, что онѣ по праву принадлежатъ вамъ.

— Валентинъ, молчите, прошу васъ! вскрикнула Зенеида, пугаясь страшной блѣдности, покрывшей лице Тани.

— Я довольно молчалъ, я молчу уже болѣе мѣсяца, и вижу всякій день, къ чему ведетъ кротость ваша. Тетка васъ мучитъ, другіе, которые должны бы понять, сколько вы добры, забыли все и мучатъ васъ также. Но я не позволю играть женщиной, которую люблю... и уважаю, прибавилъ онъ, спохватившись.

Онъ взялъ Зенеиду за руку и вышелъ съ нею, затворяя дверь за собою. Онъ былъ такъ раздраженъ, что не отдавалъ себѣ отчета въ томъ, какъ жестоки были слова его, относившіяся къ Танѣ. Слезы любимой женщины потрясли его.

— Боже мой! сказала Зенеида. Что теперь будетъ со мной?

— Чего ты боишься, о чемъ такъ безпокоишься? спросилъ Валентинъ не безъ досады.

— Да развѣ ты не видалъ, что она ушла разсерженная, развѣ ты не знаешь, что она захочетъ, во чтобы то ни стало, узнать, о чемъ я плакала, а что я скажу ей? Мнѣ стыдно за себя; что будутъ говорить обо мнѣ всѣ домашніе? Я погибла, я просто погибла. Скажутъ, что мы съ Таней ревнуемъ другъ друга, что мы ссоримся безпрестанно за тебя. Это ужасно!

— Великая бѣда, сплетня! Впрочемъ, ты сама виновата. Какъ смѣетъ тетка требовать тебя къ отвѣту? Какъ могла ты допустить такое вліяніе?

— Но чтожъ мнѣ дѣлать?

— По моему, сказать теткѣ, чтобы она не путалась не въ свои дѣла, а Танѣ сказать серьозно и холодно, что если она будетъ дѣлать подобныя выходки, то ты принуждена будешь отправить ее въ пансіонъ.

— Никогда, никогда не рѣшусь я на подобную мѣру.

— Если такъ, я поговорю съ Таней холодно и спокойно. Я беру это на себя. А ты поди къ теткѣ и объяснись съ нею.

— Не могу: мнѣ стыдно показаться къ ней на глаза.

— Слабость твоя изумительна: мнѣ тяжело и жалко видѣть это.

— Валентинъ! воскликнула она.

— Что дѣлать? Какъ! Вдова, женщина двадцати восьми лѣтъ, не смѣетъ итти и прямо объясниться съ теткой. О такой женщинѣ можно жалѣть, но можно ли....

— Только этого недоставало, сказала она, заливаясь слезами; прикажи мнѣ, я все сдѣлаю; только не говори такихъ обидныхъ словъ.

Ея печаль, красные глаза, умоляющій взглядъ, въ мигъ потушили гнѣвъ Валентина. Онъ старался лаской и нѣжностію изгладить изъ ея памяти самое воспоминаніе объ этой первой ссорѣ, возникшей между ними, и скоро она не только простила его, но даже оправдывала тѣ жесткія слова, которыя онъ сказалъ ей въ первую минуту гнѣва. Въ то самое время, когда она, убѣжденная доводами Валентина, рѣшилась наконецъ итти къ теткѣ, Лина сбѣжала сверху, блѣдная и перепуганная, и бросилась къ Зенеидѣ.

— Помогите, спасите ее! кричала она. Она лежитъ тамъ какъ мертвая!

— Кто, гдѣ? закричали они оба, въ испугѣ.

— Таня, Таня, милая моя Таня!

— Валентинъ бросился на верхъ: Таня, блѣдная и холодная, лежала на полу; гребень, закалывавшій ея косу, выпалъ и разбился въ дребезги; волосы ея разсыпались и длинными прядями лежали на лицѣ ея и спускались ниже пояса. Валентинъ взялъ ее на руки и положилъ на постель. Воротынская стала тереть ей виски и спрыскивать ее водою.

— Лина, затвори дверь, сказала Зенеида.

— Боже мой, что съ нею сдѣлалось? сказалъ Валентинъ.

— Не знаю, сказала Лина, и крупная слеза скатилась съ ея длинной рѣсницы. Когда вы увели Зенеиду Львовну изъ гостиной, Таня посмотрѣла вслѣдъ за

вами, и пошла на верхъ, такая блѣдная; она шаталась, потомъ сказала: мнѣ что-то дурно; я было пошла за водой, но услышавъ шумъ, обернулась, а она уже лежала наполу.

Таня пришла въ себя, и, узнавъ Зенеиду, потупила взоръ; слеза скатилась медленно съ щеки ея. Валентинъ взялъ ея руку и поцѣловалъ ее:

— Все прошло, Таня, не печальтесь! Это ничего, мы пошлемъ за докторомъ.

— Не надо, сказала она чуть слышно и впала въ забытье.

Къ вечеру ей стало гораздо хуже; она лежала въ жару и бреду; часто вскакивала съ постели, била себя въ голову и въ безпамятствѣ упадала опять на подушки. Лина и Зенеида не сомкнули глазъ во всю ночь, и ни на минуту не оставляли больную. Къ утру пріѣхалъ докторъ. Онъ объявилъ, что у Тани сильное воспаленіе въ мозгу.

Это извѣстіе поразило всѣхъ. Зенеида и Лина, казавшаяся во время болѣзни Тани не ребенкомъ, а дѣвушкой, не оставляли горничныхъ около больной, но сами поперемѣнно сидѣли день и ночь около ея постели. Валентинъ помогалъ имъ, сколько было возможно, потому что Зенеида, боясь тетки, просила его меньше оставаться съ ними. Видя ее изнуренною безсонными ночами, тревожною, страшившеюся больше всего на свѣтѣ толковъ и сплетенъ, Валентинъ не сталъ настаивать и уѣзжалъ въ Москву каждый вечеръ. Такъ прошла долгая, мучительная недѣля. Докторъ объявилъ, что

опасность миновалась. Какъ скоро Таня пришла въ себя, первымъ лицемъ, улыбнувшемся ей, была Зенеида: неподдѣльная радость блистала въ глазахъ ея. Таня хотѣла говорить, но Зенеида закрыла ей ротъ рукою и сказала:

— Молчите, вамъ не велѣно говорить.

— Одно слово, прошептала Таня. Вы перемѣнились, похудѣли: я васъ измучила, вы вѣрно ходили за мной. Я давно больна?

— Сегодня девятый день, сказала Лина.

— Вы сидѣли ночи?

Воротынская рѣшительно запретила Танѣ говорить; но она смотрѣла такими умоляющими глазами, что Лина кивнула ей головой. Взоръ Тани искалъ еще кого-то; Зенеида замѣтила это и нагнувшись къ ней, сказала тихо:

— Онъ сейчасъ вышелъ; онъ также ни на минуту не оставлялъ васъ днемъ, какъ мы не оставляли васъ ночью. Любите его, какъ брата, потому что онъ ходилъ за вами, какъ за сестрою.

— Да, да, сказала Таня, прильнувъ губами къ рукѣ Воротынской; клянусь, какъ брата, какъ брата.

Она впала въ забытье и повторяла:

— Какъ брата! Какъ брата!

Этотъ ли разговоръ потрясъ Таню, или внутреннее чувство взволновало ее, но она едва не занемогла опять, и пріѣхавшій въ тотъ день докторъ настоятельно требовалъ, чтобъ ее берегли отъ всякихъ волненій. Почти во все время болѣзни Тани, Зенеида встрѣчалась съ теткой толь-

ко въ комнатѣ больной, и потому между ними не могло быть объясненія. Елена Филипповна каждый день навѣдывалась о Танѣ; но входя въ комнату ея всякое утро, показывала, что не замѣчаетъ племянницы, и въ продолженіе двухъ недѣль болѣзни и выздоровленія Тани сердилась и почти не говорила съ Зенеидой. Когда, послѣ болѣзни Тани, Зенеида, изнуренная усталостію, почувствовала себя не совсѣмъ здоровою и однажды цѣлый день не могла встать съ кушетки, то тетка даже не спросила, гдѣ она и что съ нею? Елена Филипповна обѣдала одна, пила чай и ужинала одна, какъ будто Зенеида и не существовала.

Между тѣмъ Валентинъ замѣчалъ, что Зенеида не столько больна, сколько безпокойна. Онъ очень хорошо понялъ, что страхъ предстоявшаго объясненія съ теткой тревожилъ ее; онъ старался развлечь ее, шутилъ, смѣялся; но она грустно улыбалась и безпрестанно посматривала на дверь.

— Ты будто ждешь кого-то, сказалъ Валентинъ, и не боясь моей ревности, посматриваешь на дверь. Скажи, кто тотъ счастливый смертный, который....

— Перестань, возразила она; развѣ ты не замѣчаешь, что вотъ уже второй день, какъ я больна, а тетушка не входитъ ко мнѣ и даже не присылаетъ узнать, что со мною?

Валентинъ молчалъ.

— Ты молчишь, сказала она робко. Послушай, Валентинъ, если и ты будешь недоволенъ мною, что же мнѣ останется? У меня теперь ты одинъ. Ты обвиняешь меня?

— Нѣтъ, сказалъ онъ печально, но пріятно ли видѣть, что мелкія домашнія дрязги отравляютъ не только наши отношенія, но даже твое спокойствіе.

— Зачѣмъ говорить объ этомъ? Лучше посовѣтуй, что мнѣ дѣлать.

— По моему, не замѣчать ничего и быть спокойною.

— Не могу.

— Такъ поди къ ней, объяснись.

— Я и сама такъ думала, сказала Зенеида.

Она встала, какъ будто ждала только этого слова, чтобы уступить давно мучившему ее желанію мириться.

Отъ болѣзни ли, усталости, или внутренняго волненія, Зенеида была до того блѣдна, когда пришла къ теткѣ, что Елена Филипповна, уступая природной добротѣ, спросила ее, какъ она себя чувствуетъ. Пользуясь этимъ первымъ добрымъ движеніемъ, Зенеида могла бы искусно обойти бывшую ссору и помириться съ теткой, безъ всякаго объясненія; но она не умѣла лукавить и сказала, садясь:

— Я едва взошла на лѣстницу, я очень слаба.

— Не надо было входить, отвѣчала тетка суше прежняго.

— По неволѣ мнѣ приходится прійти къ вамъ, когда вы не хотите сойти ко мнѣ и узнать, что со мной. Я больна вотъ уже четыре дня, а вы даже не навѣдались обо мнѣ.

— А вы это замѣтили? сказала тетка. Я очень рада; мое намѣреніе было именно таково: я хочу показать

вамъ, что если вы забыли всякое ко мнѣ уваженіе, всякую благопристойность, то конечно, я не изъ числа тѣхъ, которые будутъ на все смотрѣть сквозь пальцы.

— На что? спросила Воротынская дрожащимъ голосомъ.

— Вамъ угодно, чтобы я повторила вамъ то, что вы лучше меня знаете? Извольте. Я не знаю, да и знать не хочу, хотя угадываю, что было между вами и этою бѣдною Таней. Не стыдно ли вамъ ревновать ребенка?...

— Тетушка!

— Что тетушка! Говорю и повторяю: ревновать ребенка! Вамъ мало, что вы компрометируетесь съ этимъ мальчикомъ, вамъ еще надо промѣнять всѣхъ насъ на него; вѣдь онъ здѣсь, трудно вымолвить, хозяинъ дома.

Зенеида поблѣднѣла, какъ снѣгъ и не могла вымолвить ни слова.

— А по какому праву? Я спрашиваю васъ, я должна спросить васъ.

— Пощадите меня, сказала Воротынская, заливаясь слезами. Боже мой! Да изъ чего вывели вы такое заключеніе?

— Какъ? Развѣ въ тотъ знаменитый день, когда вы разыграли вашу трагическую сцену съ Таней (ужъ и она-то блажная, правду сказать,) онъ не выскочилъ, какъ безумный изъ ея комнаты и не позволилъ себѣ распоряжаться въ моемъ домѣ? Разослалъ въ Москву людей, кучеровъ, кого къ доктору, кого въ аптеку.

— Онъ сдѣлалъ то, что я велѣла.

— Ну, а третьяго дня, развѣ онъ не посылалъ опять въ Москву, когда вы захворали ?

— Я также просила его объ этомъ.

— Положимъ , я не спорю , но такъ какъ у насъ происходятъ такія вещи , которыя я видѣть не привыкла, да и не намѣрена, то я рѣшилась оставить васъ.

— Тетушка !

— Не прерывайте меня. Я не такъ воспитана , мои правила .. Боже мой ! Могла-ли я думать, что племянница , названная дочь моя, осрамитъ себя , что я буду вынуждена покинуть ее ?

— Тетушка, сказала Зенеида, приказывайте, что вамъ угодно, я во всемъ уступлю вамъ , только не говорите такъ со мною.

Настало молчаніе.

— Если ты одумалась, сказала наконецъ наставительно Елена Филипповна, то мы конечно можемъ еще жить вмѣстѣ, хотя я не скрою отъ тебя, что твое поведеніе лишило тебя части того уваженія , которое ты до сихъ поръ внушала всѣмъ и особенно мнѣ. Но я не злопамятна : пусть Огинскаго здѣсь не будетъ , и я останусь.

— Какъ ? спросила Зенеида.

— Очень просто; ему сюда не зачѣмъ ѣздить каждый Божій день. Разъ въ недѣлю , я не говорю , какъ слѣдуетъ молодому человѣку, знакомому въ домѣ , но не каждый же день. Я довольно молчала, а теперь не хочу и слышать объ этомъ,

— Какъ вамъ угодно, сказала Воротынская, вставая. Дѣлайте, что хотите, но я не согласна на такія условія: они выше силъ моихъ.

Она встала и вышла изъ комнаты; тетка послала ей въ слѣдъ очень оскорбительную, грубую фразу. На всѣ вопросы Валентина Зенеида отвѣчала однѣми горькими, безутѣшными слезами, и твердила, что она не знаетъ, какъ поступить, что желала бы умереть въ эту минуту. Такія рѣчи, изъ которыхъ нельзя было ничего узнать, совершенно раздражили Валентина. Онъ пожалъ плечами и сѣлъ въ углу.

— И ты мучишь меня, Валентинъ? сказала она.

— Да раскажи мнѣ, въ чемъ дѣло? возразилъ онъ, смягчаясь и подходя къ ней. На тебѣ лица нѣтъ.

— Отъ того-то и надо быть снисходительнымъ ко мнѣ, Валентинъ. На тебя одна моя надежда.

И она повторила ему подробно всю сцену свою съ теткой. Онъ былъ возмущенъ, и первымъ его словомъ было:

— Ну, пусть ѣдетъ куда хочетъ!

— Сохрани Боже! воскликнула Зенеида. Тогда я погибла безвозвратно, тогда ничто не спасетъ меня. Мое доброе имя будетъ замарано: скажутъ, что тетка, родная тетка, воспитавшая меня вмѣсто дочери, не могла вынести моего дурнаго поведенія и оставила меня. Твое имя присоединятъ къ моему.... Нѣтъ! Нѣтъ! Отъ одной этой мысли мнѣ дѣлается страшно. Дѣлай, какъ хочешь, только помирись самъ и помири меня съ тетушкой!

Валентинъ задумался; потомъ, покоряясь судьбѣ, всталъ и пошелъ на верхъ къ Еленѣ Филипповнѣ. Она

сидѣла на канапе и приняла величественный видъ, лишь только его увидѣла. Взоръ ея смотрѣлъ вопросительно, но сама она молчала.

— Зенеида Львовна огорчена, потому что вы недовольны ею, сказалъ Валентинъ, стараясь говорить твердо и садясь на стулъ безъ приглашенія со стороны хозяйки.

— Кажется, это дѣло касается только до меня и моей племянницы, сказала старуха гордо и сухо, прерывая Валентина. Я не вижу, продолжала она, по какому праву вы вмѣшиваетесь въ мои отношенія къ ней, и какъ смѣете входить въ наши семейныя дѣла.

— Извините, я пришелъ говорить съ вами не объ этомъ, но о себѣ самомъ; вы вмѣшали мое имя въ вашъ разговоръ съ племянницей и, кажется, я въ правѣ принести мое оправданіе.

— Я слушаю, сказала Елена Филипповна съ достоинствомъ.

— Я пришелъ сказать вамъ, что вы ошиблись; что я слишкомъ хорошо воспитанъ, слишкомъ уважаю ваше семейство, слишкомъ понимаю приличія, чтобы позволить себѣ не только распоряжаться въ вашемъ домѣ, но даже подумать объ этомъ. Я знаю, что вы здѣсь хозяйка, и что моя дружба къ Зенеидѣ Львовнѣ не даетъ мнѣ никакого права...

— Надѣюсь! сказала старуха, нѣсколько смягченная вѣжливымъ тономъ и почтительностью Валентина. Впрочемъ, я упрекала племянницу только въ томъ, что она даетъ вамъ слишкомъ много воли, а не говорила, чтобы вы сами много позволяли себѣ.

Валентинъ вспыхнулъ.

— Я самъ понимаю, сказалъ онъ, до какой степени можно отдавать приказанія въ чужомъ домѣ, и сдѣлалъ это дважды въ моей жизни: въ день болѣзни Тани...

— Mademoiselle Михалевской; извините, эта короткость мнѣ не нравится, прервала старуха.

— Извольте, я уступлю вамъ и въ этомъ, хотя считаю Таню своею сестрой.

— Это въ вашей волѣ; нынѣшнее обращеніе съ женщинами заходитъ за предѣлы приличій, но я повторяю, что не позволю этого въ моемъ домѣ.

— Все будетъ, какъ вамъ угодно, сказалъ Валентинъ, рѣшаясь на мелкія уступки, чтобъ выиграть дѣло. Вамъ стоитъ сказать слово, и оно будетъ мнѣ закономъ.

Старуха была совершенно смягчена.

— Что вамъ еще угодно? спросилъ Валентинъ.

— Будьте осмотрительны, не приказывайте, не посылайте никого и никуда, не проводите здѣсь по нѣскольку дней сряду: это не прилично.

— Все будетъ, какъ вамъ угодно; даже еслибы кто нибудь умиралъ здѣсь, повѣрьте, я пошлю своего человѣка, но никогда не позволю себѣ послать вашего.

— Предоставьте это мнѣ. Распоряженія будутъ сдѣланы мною, и повѣрьте, отъ этого не будетъ хуже.

Валентинъ сказалъ, что не сомнѣвается въ этомъ.

— Теперь вы не имѣете ничего противъ меня, прибавилъ онъ, и я могу надѣяться на ваше расположеніе, на хорошій пріемъ съ вашей стороны. Я не говорю о

Зенендѣ Львовнѣ: вы слишкомъ чувствительны, слишкомъ добры, чтобы огорчить ее. Я знаю, что вы воспитали и любите ее, какъ дочь; сердце скажетъ вамъ, что ваша ласка необходима для нея, особенно въ эту минуту, послѣ такихъ печальныхъ недоразумѣній.

Послѣдняя фраза Валентина понравилась Еленѣ Филипповнѣ: она больше всего любила воззванія къ сердцу и къ чувствительности.

— Конечно, конечно, сказала она, протягивая Валентину свою жесткую, морщинистую, но бѣлую руку, которую онъ поцѣловалъ.

— Я буду надѣяться, что вы всякій день будете также благосклонны ко мнѣ, сказалъ онъ, и съ этими словами вышелъ изъ комнаты.

Далѣе такой фразы не простиралась его дипломатическая тонкость. Уступивъ необходимости, Валентинъ не могъ подавить въ себѣ чувства непріязни къ этой старухѣ, вмѣшавшейся такъ враждебно въ его счастіе. Балованное дитя, онъ не любилъ ни борьбы, ни противорѣчій, ни препятствій, и всякая уклончивость, даже на словахъ, всякая тонкость была ему ненавистна. Будущее страшило Валентина: онъ чувствовалъ, что это былъ не миръ, а перемиріе; что Елена Филипповна рано или поздно возобновитъ свои требованія; что слезы Зенеиды принудятъ его къ новымъ уступкамъ; что волненіямъ и тревогамъ, можетъ статься, не будетъ конца. Узнавъ отъ Валентина благопріятный оборотъ разговора, Зенеида ожила, обрадовалась, какъ дитя бросилась къ нему на шею и потомъ побѣжала къ тетушкѣ; возвратившись отъ нея, она опять бросилась къ Валентину, повторяя съ

улыбкой счастливаго ребенка: помирились! Валентинъ не имѣлъ духу спросить у нея: на долго ли?

Прошло нѣсколько дней. Таня медленно выздоравливала, была задумчива, печальна, почти подавлена бременемъ чувствъ, ее волновавшихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ была кротка и тиха. Лишь только докторъ позволилъ ей выйти на воздухъ, она стала просить позволенія ѣхать въ монастырь къ обѣднѣ, не смотря на просьбы Зенеиды, умолявшей ее подождать немного, потому что она могла простудиться на каменныхъ плитахъ холоднаго собора.

Елена Филипповна вызвалась проводить ее къ обѣднѣ, послѣ которой обѣ онѣ отправились къ настоятелю монастыря. Таня просила у него позволенія говѣть и пріобщиться Св. Тайнъ, на что почтенный инокъ, уже старикъ лѣтъ семидесяти, охотно далъ свое согласіе. По этому поводу онъ долго говорилъ съ Таней. Эта душеспасительная бесѣда сильно подѣйствовала на нее: она стала спокойнѣе и мало-по-малу примирялась съ судьбой своей. Цѣлую недѣлю Таня покидала свою комнату только для того, чтобы идти въ церковь, и наканунѣ того дня, когда должна была пріобщаться, просила прощенія у всѣхъ, но съ особеннымъ чувствомъ у Зенеиды.

— Благословите меня, сказала она; я вступаю въ новую жизнь, хочу идти по иному пути; надѣюсь, Богъ дастъ мнѣ силу и твердость.

— Что это значитъ? спросила Зенеида.

Но Таня не отвѣчала и твердила только:

— Благословите меня !

Зенеида перекрестила ее и проводила до коляски. Въ продолженіе всей этой недѣли Таня не видала Валентина и постоянно избѣгала его. Онъ самъ понялъ, что уединеніе и молитва служили для нея единственнымъ утѣшеніемъ и исходомъ, и не хотѣлъ смущать ее своимъ присутствіемъ.

ГЛАВА IV.

Однажды, возвращаясь изъ города на дачу, Валентинъ пріѣхалъ не одинъ.

— Зенеида Львовна, сказалъ онъ, весело входя въ кабинетъ ея; угадайте, кто пріѣхалъ со мною?

— Я узнала вашего спутника въ окно, сказала она. Войдите, войдите, monsieur Paul, полноте прятаться за пріятелемъ.

Нашъ старый знакомый Павелъ Ниловъ бросился къ ней, дружески поцѣловалъ обѣ ея руки и, пожимая ихъ, говорилъ весело:

— Какъ я радъ! Какъ я радъ!

— Какъ вы похорошѣли и возмужали! сказала она. Право, я скорѣе отгадала, чѣмъ узнала васъ.

Дѣйствительно, нашъ старый знакомый много измѣнился, съ-тѣхъ-поръ какъ мы разстались съ нимъ. Онъ мало выросъ; за то природа, обидѣвъ его ростомъ,

вознаградила во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Онъ былъ строенъ, пропорціонально сложенъ; волосы его были густы, красивы и лежали волнообразными бѣлокурыми прядями на благородномъ, открытомъ челѣ. Живые большіе глаза его были полны блеска и ума, а орлиный носъ и правильныя, нѣсколько толстыя губы напоминали своими очертаніями знакомый всѣмъ путешественникамъ портретъ герцога Орлеанскаго, регента, во дни его молодости и неиспорченности. Словомъ, Павелъ былъ почти красавецъ, по прежнему веселъ и беззаботенъ, хотя и не такъ бурливъ, какъ прежде. Пріѣздъ его оживилъ домъ Воротынской; когда онъ объявилъ, что взялъ отпускъ только для того, чтобы повидаться съ Валентиномъ, Зенеида предложила ему провести нѣсколько времени у нея на дачѣ и поселиться въ павильонѣ сада. Самъ Валентинъ вызвался быть его сосѣдомъ. Оставалось уговорить Елену Филипповну. Зенеида говорила объ этомъ уклончиво и наконецъ шепнула что-то Валентину.

— Если я мѣшаю, то уйду сейчасъ же, сказалъ Павелъ, замѣтивъ это.

— Совсѣмъ нѣтъ, сказала Зенеида; но тетушка не любитъ, чтобы я оставляла здѣсь молодыхъ людей. Надо предупредить ее.

— Только-то? сказалъ Павелъ. Скажите мнѣ все: вѣрно тетушка ваша сварлива и недоступна?

Воротынская покраснѣла, но Валентинъ, которому уже давно была извѣстна опрометчивость и нѣкоторая безцеремонность Павла, засмѣялся и сказалъ ему:

— Ты все такой же вѣтреный !

— Ни чуть, ни чуть, сказалъ Павелъ; я много остепенился ; но правду готовъ говорить по прежнему, даже больше чѣмъ прежде. Я не терплю церемоній. Въ этомъ отношеніи я — истинное бѣдствіе для маменьки ; она приходитъ въ ужасъ отъ моего обращенія , и знаешь-ли кого обвиняетъ въ этомъ ?

— Очень хорошо знаю , сказалъ Валентинъ. Мое семейство ?

— Именно. Она утѣшаетъ себя только тѣмъ , что причиной такого воспитанія была не она, но отецъ, отдавшій меня почти совершенно въ домъ твоей матери.

— Но отчего вы такъ нападаете на этикетъ ? сказала Зенеида, улыбаясь. Это одна форма.

— Повѣрьте , Зенеида Львовна , что еслибъ вы постоянно имѣли дѣло съ формой , да съ формой , то не заступались бы за нее. Не забудьте , впрочемъ , что за свѣтскими формами я никогда ничего не находилъ.

— Покайтесь: вы, быть можетъ, и не искали ничего за ними ?

— Развѣ потому, сказалъ Павелъ , что мнѣ было тошно отъ нихъ. Въ одно прекрасное утро, наслушавшись различныхъ фразъ, ужъ черезъ чуръ вѣжливыхъ , но жесткихъ, я поѣхалъ въ штабъ, выпросилъ отпусъ , и отправился сюда ; думаю : отдохну у Валентина , у его матери , у его сестры. По вотъ досада , онѣ въ деревнѣ.

— Мы можемъ съѣздить туда, сказалъ Валентинъ.

Зенеида надула губки и перемѣнила разговоръ. Перспектива остаться одною не очень нравилась ей, и какъ ни любила она Анюту, однако не могла отказаться отъ Валентина. Эгоизмъ любви! Кто не испыталъ его силы?

Дня черезъ три послѣ своего пріѣзда, Павелъ уже сдѣлался любимцемъ всего дома. Сперва, услышавъ, что Елена Филипповна, какъ и мать его, любитъ приличія, онъ старался понравиться ей; не смотря на свою опрометчивость, живость и откровенность, онъ все-таки былъ человѣкомъ довольно свѣтскимъ, и успѣлъ въ этомъ даже свыше своихъ ожиданій. Его легкая болтовня, порою вольная, но ловко разсказанная шутка, хотя и заставляли старушку морщиться, но все же смѣшили ее; она была очарована его беззаботностью, веселостью, услужливостью, и говорила:

— Вотъ прекрасный молодой человѣкъ!

А Павелъ, въ другой комнатѣ, говорилъ Валентину:

— И вы не умѣете сладить съ такою женщиной! Ну, братъ Валя, ты такой же тюлень, какъ и прежде.

— Она капризна, говорилъ Валентинъ.

— Велика бѣда! Похвали только чепчикъ или мантилью, а еще лучше похвали ея талію и глаза, и она забудетъ всѣ капризы.

— Вѣчно льстить! сказалъ Валентинъ.

— Все таже глупая манія! возразилъ Павелъ, смѣясь. Пожилъ бы ты, какъ я. Maman принимаетъ мои похвалы и baise-mains, а развалиться въ креслѣ или выкурить

сигару послѣ обѣда—и думать не смѣй! Она не даромъ помнитъ о мушкахъ, которыми украшала себя въ молодости, и о своемъ ancien regime!... Elle est d'une prudérie!... .

— Ну, и эта такая же, сказалъ Валентинъ.

— Не гнѣви неба, сказалъ Павелъ; развѣ ты не слыхалъ, что я разсказывалъ ей сегодня? Мнѣ самому подъ конецъ стало совѣстно. Дай срокъ, то ли еще будетъ: я вашу старуху такъ воспитаю, что она будетъ всякое послѣ обѣда подносить мнѣ сигары.

— Тсъ.... сказалъ Валентинъ. Съумасшедшій! Тебя могутъ услышать.

— Ну, хорошо. Вѣдь старуха сама приглашала меня остаться?

— Знаю, Зенеида.... Зенеида Львовна, спохватился онъ, мнѣ сказывала.

— Каково! зямѣтилъ Павелъ. Въ три дня! Это на славу!

— Смотри, не перехитри!

— А что? Или она — старая кокетка, и вспомнитъ молодость?....

— Нѣтъ, она всегда вела себя примѣрно.

— Но что же?

— Она не будетъ давать намъ покоя. Ты, пожалуй, такъ обворожитъ ее, что она станетъ безпрестанно награждать насъ своимъ обществомъ.

— Сохрани Богъ! воскликнулъ Павелъ.

Молодые люди поселились на дачѣ Воротынской. Лѣто проходило незамѣтно и спокойнѣе прежняго. Павелъ

былъ находкой для Лины; онъ ходилъ съ нею гулять, катался въ лодкѣ, ѣздилъ въ кабріолетѣ; двумя-тремя комплиментами, сказанными кстати, онъ умѣлъ предупредить выговоръ Елены Филипповны, и дѣлалъ, что хотѣлъ. Часто онъ уводилъ Лину и Таню въ рощу, и не разъ удавалось ему вызвать полу-грустную, полу-веселую улыбку на уста Тани. Иногда онъ завязывалъ съ нею споръ, что было полезно для Тани, впавшей до его пріѣзда въ суровую меланхолію и мрачную экзальтацію, не свойственную ея лѣтамъ. Конечно, его вліяніе не могло измѣнить ея характеръ или поколебать ея убѣжденія, но онъ развлекалъ ее хотя на минуту, и невольно пробуждались въ ней силы юности. Это и не могло быть иначе. Сама Таня была существомъ, полнымъ огня и жизни, и хотя огонь Павла былъ болѣе внѣшній, чѣмъ внутренній, все же его общество дѣйствовало на нее благодѣтельно. Вечеромъ Таня всегда уходила въ свою комнату, а остальное общество соединялось у Зенеиды. Сколько дружескихъ споровъ, плановъ, веселыхъ шутокъ, происходило между ними! Но вотъ часы били десять, и Елена Филипповна, довольная своимъ вечеромъ, уходила къ себѣ, ласково прощаясь со всѣми. Скоро и самъ Павелъ, измученный далекой прогулкой, рѣзвостью Лины и безпрестаннымъ движеніемъ, чувствовалъ нужду въ отдыхѣ и уходилъ къ себѣ. Валентинъ и Зенеида оставались одни; они тотчасъ садились ближе другъ къ другу, и между ними начинался самый нѣжный обмѣнъ чувствъ и мыслей. Была пора, когда оба они не думали, чтобы могли любить другъ друга; но теперь, какъ измѣнились ихъ отношенія! Зенеида удивлялась своему сча-

стію и не могла привыкнуть къ нему, а Валентинъ понималъ впервые, что не въ мятежной страсти высшее блаженство, что не въ ней спокойное наслажденіе, что не въ борьбѣ пристань для счастія. Онъ понималъ, какъ безконечно счастливъ тотъ, кто въ женщинѣ, въ своей любви къ ней, находитъ успокоеніе послѣ житейскихъ трудовъ; что безмятежная ласка, участіе, глубокая нѣжность, выше и полнѣе восторговъ, пламени и бурь пожирающей любви. Не было сухаго розысканія или труда, не было непріятности или успѣха по службѣ, не было домашней мелочи, въ которыхъ Зенеида не приняла бы участія. Все, что касалось до Валентина, было ей дорого; чего она не умѣла понять умомъ, то угадывала инстинктомъ сердца. Всякій день онъ больше и больше отдавался ей, привязывался къ ней, и любилъ ее все нѣжнѣе и нѣжнѣе. Ему казалось, что Зенеида была именно создана для него, такъ много было въ ней граціи, женственности, правды, и полною чашею пилъ онъ всѣ радости жизни и счастливой любви. Она была старше его; но, по своему характеру, поддавалась во всемъ его вліянію. Она была создана, чтобъ идти безропотно и безгласно за тѣмъ, кого любила. Но Валентинъ не любилъ властвовать и стѣснять, а она съ какою-то упорною настойчивостью просила зависимости; это было требованіе ея натуры, безсознательное, но неодолимое. Любимое слово ея было: какъ хочешь; какъ прикажешь.

Онъ ненавидѣлъ послѣднее слово и часто отвѣчалъ ей съ досадой: какъ сама хочешь; твоя воля, не моя.

Тогда она, какъ ребенокъ, жаловалась и упрекала его въ равнодушіи, и онъ никакъ не могъ убѣдить ее въ томъ,

что не равнодушіе, а уваженіе заставляетъ его говорить такъ. Иногда, избѣгая вспышки, она не имѣла духу спросить у него, что дѣлать, и разучившись поступать безъ его совѣта, даже и въ мелочахъ, старалась вывѣдывать его мнѣніе, и потомъ поступала такъ, а не иначе, какъ будто онъ приказалъ ей. Иногда, хитрость эта, очень неловко скрытая, выходила наружу, и Валентинъ сердился и упрекалъ Зенеиду въ томъ, что она не имѣетъ тѣни самостоятельности и характера. Однажды онъ сказалъ ей: «Ты хуже ребенка; неужели тебя надо водить на помочахъ? Можно ли не имѣть своего мнѣнія? Таня говоритъ правду, что такая крайность дѣлаетъ изъ тебя не женщину, а ребенка.»

Въ этой фразѣ собственно не было ничего новаго или слишкомъ оскорбительнаго для нея; она сама съ милою наивностью сознавалась, что она дитя; но она помнила, что въ слѣдъ за этою фразой, Таня прибавила: *такую женщину уважать нельзя.* Эти слова звучали въ ушахъ ея, и она дѣлалась печальна. Валентинъ, огорчивъ ее, просилъ прощенія, но послѣ таже сцена повторялась при первомъ удобномъ случаѣ. Эти мелкія непріятности не отравляли, конечно, ихъ счастія, но смущали его. Быть можетъ, со временемъ онѣ и возросли бы, еслибъ не примирительныя слова Павла, случайно вмѣшивавшагося въ ихъ размолвки.

Однажды, Зенеида простудилась и захворала. Весь домъ встревожился: послали верховаго въ городъ за докторомъ и за лѣкарствомъ. Ждали день, ждали вечеръ, но ни докторъ, ни посланный не возвращались. Вален-

тинъ былъ безпокоенъ и сидѣлъ у постели Зенеиды, подлѣ Елены Филипповны и Тани.

— Что это съ нею? спросилъ онъ у Елены Филипповны.

— Я думаю, пустяки, и еслибъ она хотѣла, я и безъ доктора вылѣчила бы ее. У нея жаръ и головная боль. Зеня, хочешь принять мой порошокъ?

Зенеида не знала, что отвѣчать, и молчала, смотря на Валентина и дожидаясь его слова; но онъ былъ крайне остороженъ при тетушкѣ и не позволялъ себѣ никогда вмѣшиваться въ что бы то ни было. Валентинъ взглянулъ на Таню, которая тотчасъ поняла его.

— Не подождать ли доктора? сказала она.

Но Елена Филипповна настаивала.

— Зеня, а Зеня, говорила она, прими порошокъ, другъ мой; да что ты молчишь, хочешь или нѣтъ?

— Какъ вамъ угодно, сказала она наконецъ.

Елена Филипповна вышла.

— Чтожъ вы молчите? сказала Зенеида, обращаясь къ Валентину. Принять мнѣ порошокъ или нѣтъ? Неужели вы равнодушны къ этому? Ужъ лучше скажите прямо, что вы обо мнѣ не заботитесь.

— Я не могу сказать это, отвѣчалъ онъ холодно; вы сами знаете, что это неправда.

— У нея нервы разстроены, шепнула ему Таня; не огорчайте ее.

— Не принимайте порошка, сказалъ Валентинъ. Какъ можно принимать Богъ знаетъ что, безъ предписанія доктора

Когда Елена Филипповна возвратилась, торжествующая и довольная, съ рюмкой въ одной рукѣ, съ порошкомъ въ другой, Зенеида упорно отказалась принять лѣкарство, и на этотъ разъ всѣ просьбы, убѣжденія и даже ворчанье старухи были напрасны.

Всѣ сидѣли молча. Елена Филипповна надулась и не говорила ни съ кѣмъ. Вдругъ Таня вскрикчула:

— Слышите, кто-то пріѣхалъ. Это докторъ.

Она вышла, а за нею послѣдовала Елена Филипповна. Валентинъ хотѣлъ идти за ними, но Зенеида протянула ему руку и прижалась къ нему.

— Какой жаръ! сказалъ Валентинъ. Но докторъ пріѣхалъ, и тебѣ будетъ лучше.

— Не безпокойся, сказала она; я такъ рада остаться съ тобой хотя минуту; цѣлый день я не могла сказать тебѣ ни слова. Такая скука!

Таня возвратилась.

— Вообразите, сказала она, что Ѳедоръ пріѣхалъ мертво пьянъ, и отъ него нельзя добиться никакого толку.

— А докторъ?

— Его нѣтъ. Неизвѣстно даже, былъ ли Ѳедоръ у доктора.

Валентинъ вскочилъ и хотѣлъ бѣжать въ павильонъ, чтобы послать въ городъ своего человѣка, но Зенеида испугалась его гнѣвнаго движенія и схватилась за его платье.

— Будь остороженъ! сказала она. Опять выдутъ непріятности.

— Хорошо, пусти меня.

— Куда ты?

— Въ городъ.

Павелъ вошелъ въ комнату.

— Не безпокойтесь, сказалъ онъ. Лошадь уже осѣдлана: я поѣду, и черезъ два часа докторъ будетъ здѣсь.

— Благодарю васъ, сказала Зенеида, и, поднявъ голову съ подушки, сѣла на диванѣ. Щеки ея пылали отъ жара, глаза блестѣли. Павелъ вышелъ поспѣшно, а Валентинъ, видя ее въ такомъ положеніи, сказалъ невольно:

— Можно ли держать такихъ пьяницъ! Его посылаютъ за докторомъ, а онъ возвращается одинъ.

— Я прогоню его, сказала она слабо.

Валентинъ просилъ ее успокоиться и лечь, но самъ былъ до того встревоженъ, что безпрестанно вставалъ и глядѣлъ въ окна, какъ будто только что уѣхавшій Павелъ могъ уже возвратиться.

Къ довершенію удовольствія, Елена Филипповна опять начала навязывать Зенеидѣ свой порошокъ.

Наконецъ, черезъ три часа, Павелъ возвратился съ докторомъ, который прописалъ Зенеидѣ лѣкарство, и она скоро оправилась.

Нѣсколько дней спустя, Валентинъ замѣтилъ отсутствіе Ѳедора; онъ спросилъ о немъ и, узнавъ отъ Лины, что его отпустили, посмѣялся надъ Зенеидой.

— Какое мужество! Какая твердость характера! Ты его отпустила, такъ просто отпустила? Раскажи же мнѣ, какъ это было?

Но она улыбалась печально.

— Что такое? Что съ тобой? спросилъ онъ.

— Да, смѣйся, а мнѣ сегодня утромъ было очень грустно, да и теперь тоже.

— Но отъ чего?

— Мнѣ жаль Ѳедора: Аннушка говоритъ, что онъ цѣлое утро плачетъ; куда онъ пойдетъ? Такого мѣста, какъ у насъ, ему ужъ не найти: ему было здѣсь покойно, и должность его была самая легкая, и жалованье большое.

— Такъ зачѣмъ же онъ пьетъ?

— Кто жъ не пьетъ? А онъ честный малый и ко мнѣ привязанъ, да и сама я привыкла къ нему.

— Такъ зачѣмъ ты его отпустила, если жалѣешь объ этомъ?

Она помолчала, потомъ сказала грустно:

— Дѣло сдѣлано: онъ уже уѣхалъ.

— Это послужитъ ему урокомъ, а между тѣмъ можно простить его и завтра же послать за нимъ.

— Ахъ, какой ты милый! Какой добрый! воскликнула она съ дѣтскимъ восторгомъ.

— Я тебя не понимаю, возразилъ онъ холодно, предчувствуя, въ чемъ дѣло.

— Да ты сказалъ, что держать его невозможно: ну, я его и отпустила. Теперь, когда ты позволяешь, я, разумѣется, возьму его опять.

— Я позволяю? сказалъ Валентинъ запальчиво. Скажи мнѣ наконецъ, неужели тетка твоя права, говоря, что я хозяинъ въ вашемъ домѣ?

Она подошла къ нему съ умоляющимъ видомъ.

— Не сердись, сказала она. Я все буду дѣлать, какъ тебѣ угодно.

— Опять! возразилъ онъ. Да это какое-то униженіе, о которомъ я до-сихъ-поръ не имѣлъ и понятія.

— За чтоже ты сердишься?

— За то, что ты не можешь жить безъ чужой воли, безъ чужаго мнѣнія.

— Эта воля, это мнѣніе не чужія, а твои: они дѣлаются моими, потому что я искренно, всѣмъ сердцемъ люблю тебя.

— Неужели ты понимаешь любовь, какъ зависимость? Въ такомъ случаѣ, я могу только пожалѣть о тебѣ.

Она заплакала.

— Зенеида, сказалъ онъ, взявъ ее за руку, ты создана такъ, что тебѣ необходимъ капризный властелинъ, но я не могу взять на себя такой роли и не возьму ея.

— Прости меня, сказала она, я никогда не буду сердить тебя. Только я возьму Ѳедора опять.

— Какъ хочешь; помни только, что я никогда не обнаружу здѣсь моей воли.

— Куда ты? спросила она, видя, что онъ уходитъ.

— Къ себѣ, сказалъ онъ холодно.

Онъ вышелъ. Она поплакала, потомъ утѣшилась, увѣряя себя, что это прихоть, капризъ съ его стороны.

Она сознавала однако, что прихоть и капризъ его были для нея закономъ. Въ продолженіе цѣлаго дня Валентинъ былъ съ нею холоденъ. Она не могла этого вынести, и разсказала все Павлу.

— Онъ сердится, говорила она, сердится за то, что я прошу у него совѣта. Посудите сами, у кого же я буду просить совѣта, если не у него: я такъ дружна съ нимъ.

Павелъ смѣялся отъ души и, цѣлуя руки ея, твердилъ, что все это пустяки, что она напрасно огорчается, что Валентинъ дѣйствительно большой чудакъ и что ей уже давно пора убѣдиться въ этомъ. Онъ совѣтовалъ ей возвратить Ѳедора къ прежней должности, и къ прежнему пьянству, какъ выразился онъ, смѣясь.

Она также улыбнулась и тотчасъ распорядилась насчетъ Ѳедора, очень довольная совѣтомъ и утѣшеніями Павла.

Павелъ отыскалъ Валентина.

— Ты просто чудакъ, сказалъ онъ ему. Развѣ ты не видишь, что она всегда во многомъ останется ребенкомъ. Зачѣмъ ты требуешь отъ нея именно того, чего она не имѣетъ: самостоятельности и твердости. Она нѣжна, благородна, добра какъ ангелъ; доброта ея доходитъ до крайности, и, пожалуй, сдѣлалась недостаткомъ. Надо помириться съ этимъ, а ты мучишь ее.

— Я мучу? сказалъ Валентинъ. Только этого не доставало! Мучу тѣмъ, что не хочу...

Онъ остановился, боясь проговориться.

— Продолжай, сказалъ Павелъ, и не бойся ничего: я все угадалъ. Вы безъ памяти любите другъ друга.

— Молчи, ради Бога, сказалъ Валентинъ.

— Знаю: тайна друга все равно, что своя собственная. Ты говорилъ, что не хочешь...

— Быть деспотомъ, докончилъ Валентинъ.

— Да чтожъ дѣлать, если ея назначеніе повиноваться, если въ этомъ ея счастіе?

— Я не хочу унижать въ ней чувство собственнаго достоинства и независимости, сказалъ Валентинъ.

— Все это фразы, душа моя, все теоріи! Оба вы дѣти! Онъ проситъ у васъ прощенія, прибавилъ онъ, обращаясь къ Зенеидѣ, входившей на балконъ того павильона, гдѣ они стояли; онъ обѣщаетъ быть впередъ вашимъ неумолимымъ властелиномъ.

— У васъ всегда пустяки на умѣ, шутки и насмѣшки, сказала она, улыбаясь и робко смотря на Валентина.

Валентинъ не могъ вынести ея взора.

— Не плакать же ему, сказалъ онъ весело, подходя къ ней и взявъ ея руку; не плакать же ему, глядя на наши глупыя ссоры.

Они помирились. Но исторія порошка не осталась безъ непріятныхъ послѣдствій. Елена Филипповна сердилась и не упускала случая сказать Зенеидѣ что нибудь оскорбительное, или просто дулась по цѣлымъ днямъ, а это было еще хуже. Зенеида дѣлалась безпокойна, тревожно взглядывала на Валентина, и если онъ молчалъ, она спѣ-

шила идти къ теткѣ, добивалась объясненія, и за это всегда платилась длинною, утомительною сценой. Если Валентинъ словомъ или взглядомъ показывалъ ей, что считаетъ это непростительнымъ малодушіемъ, она оставалась, по видимому, спокойна; но за этимъ притворнымъ, внѣшнимъ спокойствіемъ легко было замѣтить мученія женщины, стоявшей между двумя лицами, изъ которыхъ одно было глубоко и нѣжно любимо ею, а другое съ дѣтства пріучило ее къ покорности и послушанію. Валентинъ началъ понимать съ горестію, что передѣлывать характеръ Зенеиды уже поздно и невозможно, что всѣ его усилія будутъ только падать тяжелымъ гнетомъ на нѣжно любимую имъ женщину. Скрѣпя сердце, онъ рѣшился быть, если возможно, примирителемъ этихъ двухъ женщинъ, изъ которыхъ одна мучила другую своею требовательностью, капризами, и враждою къ тому, кого она любила.

Ради мира и спокойствія, Зенеида отдала бы конечно все на свѣтѣ, кромѣ Валентина, передъ которымъ, какъ дитя, выплакивала свое горе. Тетка знала, что племянница жалуется на нее Валентину, и ненавидѣла его все больше и больше. Валентинъ пересталъ совѣтывать, пересталъ даже намекать на то, что просить прощенія всякій день, по поводу всякой бездѣлицы, значило отдаваться въ руки непріятной родственницы, пашедшей наконецъ въ этихъ ссорахъ то занятіе, ту дѣятельность, безъ которой она не могла жить въ деревнѣ, лишенная обыкновенныхъ городскихъ развлеченій. По малѣйшему поводу возникали неудовольствія. Нельзя было угадать, чего хочетъ старуха: то мѣшала она прогулкѣ, говоря,

что остается одна, что никто о ней не заботится и не уважаетъ ея; то вдругъ, особенно при Павлѣ, прикидывалась добренькою, говорила, что не хочетъ стѣснять молодыхъ людей; но когда всѣ они уходили въ садъ или уѣзжали кататься, то она встрѣчала ихъ съ капризами. Словомъ, всякая бездѣлица вела за собою серьозную ссору и язвительные намеки, которыхъ выносить хладнокровно Зенеида не могла и не умѣла.

Между тѣмъ время проходило; лѣто минуло, и настала осень. Былъ тихій и довольно теплый вечеръ, которымъ отлетѣвшее лѣто какъ бы хотѣло напомнить о себѣ. Всѣ лица нашего романа сидѣли на крыльцѣ, за чайнымъ столомъ; въ клумбахъ отцвѣтали даліи и высокія мальвы; желтыя облетѣвшіе листья деревъ мѣстами уже покрывали дорожки сада и шелестили подъ ногами гуляющихъ. Живописный колоритъ деревьевъ привлекалъ своими безчисленными оттѣнками; листья, нѣкогда зеленыя, окрасились пурпуромъ и золотомъ, и пестрѣли на вѣткахъ своихъ, лишенныхъ прежней густоты и свѣжести. Сквозь обнаженныя деревья, издали, какъ зеркало, блистали тихія воды большаго пруда; болотная зелень береговъ, широколиственныя травы и плакучія ивы еще сохраняли яркій зеленый колоритъ свой. Было что-то тихое и грустное въ общей картинѣ увядавшей природы.

— Я не люблю осени, сказала Зенеида, поглядѣвъ вокругъ.

— Отъ чего? тихо сказала Таня.

— По моему, осень имѣетъ свою грустную, но неоспоримую поэзію. Листья, шелестя подъ ногами, навѣваютъ на умъ думу, на сердце печаль.

— Скажите однако, спросилъ Павелъ, смѣясь, зачѣмъ желаете вы грустныхъ впечатлѣній? Вы сами всегда смотрите сентябремъ.

— Отъ того-то она и любитъ сентябрь, сказала Лина. Свой своему по неволѣ другъ.

— Сколько разъ я замѣчала тебѣ, сказала Елена Филипповна, что глупо и вульгарно говорить пословицами?

— Какая кропотунья, шепнула Лина Павлу. Слова нельзя сказать: тотчасъ пристанетъ.

— А вы настойчивы, замѣтилъ Валентинъ. Вы любите пословицы, именно потому, что вамъ запрещаютъ говорить ихъ. Упрямица!

— Разумѣется, я очень упряма, и буду всегда упряма.

— Это почему? спросилъ Павелъ.

— Чтобъ доказать характеръ, отвѣчалъ Валентинъ. Развѣ вы не знаете, что у насъ на это есть претензія?

— Не претензія, а наклонность, сказала Лина. Вѣкъ живи, вѣкъ учись, а здѣсь я научилась кой-чему, и знаю, что характеръ необходимъ.

— Можетъ быть, но наградить имъ себя невозможно, когда его нѣтъ отъ природы.

— Повѣрьте, сказала Лина серьозно, что довольно понять необходимость характера, чтобы имѣть его.

— Вотъ какая умница! сказалъ Павелъ. Не хотите-ли поиграть въ веревочку или въ серсо? Не будетъ ли это вамъ больше къ лицу?

— Нѣтъ, теперь не хочу, сказала Лина, надувъ губки. Какъ будто я такой ребенокъ! Вы забываете, что недѣлю назадъ мнѣ минуло пятнадцать лѣтъ. Я ужъ взрослая дѣвушка.

— Вѣрю. А хотите играть въ серсо?

— Не хочу, сказала она, возвышая голосъ.

— Лина, Лина, сказала Елена Филипповна, что за тонъ у тебя, что за рѣзкость голоса и движеній! Что ты ворчишь? прибавила старуха, начиная сердиться.

— M^lle Lina проситъ меня играть въ серсо, сказалъ Павелъ, подавая руку Линѣ. Что? прибавилъ онъ, подразнивая ее. Я поставилъ на своемъ, пришлось играть!

— Вамъ самимъ хочется играть; вы сами дитя, сказала Лина. Ну, ловите!

Между тѣмъ Таня отправилась бродить по саду, а Валентинъ увелъ Зенеиду. Елена Филипповна осталась одна на балконѣ и принялась дочитывать какой-то романъ.

Прошло около часу.

— Довольно, я усталъ, сказалъ Павелъ, бросая серсо, и пошолъ по дорожкѣ, гдѣ скоро встрѣтилъ Зенеиду и Валентина.

— Какой вечеръ! сказала Зенеида теткѣ, проходя мимо балкона. Что вы не погуляете?

— Не у всѣхъ молодыя ноги, сказала она иронически; къ тому же, я не люблю ходить одна, а мѣшать другимъ я не намѣрена.

— Кому же вы можете помѣшать? возразила племянница.

— Полно, милая; я думаю, всѣмъ, не исключая и тебя. Молодые старухъ не жалуютъ, и оставляютъ ихъ однѣхъ при первомъ удобномъ случаѣ.

— Это намекъ на то, что мы ушли и оставили ее, тихо сказалъ Павелъ. Неужели вы говорите о себѣ? продолжалъ онъ вслухъ, обращаясь къ Еленѣ Филипповнѣ. Позвольте мнѣ не повѣрить вамъ. Вы старуха? Да посмотритесь въ зеркало.

— Она нарумянена, шепнула ему Лина, дергая его за платье. Льстецъ! Льстецъ!

— А удалось: она улыбается, отвѣчалъ онъ.

— Нѣтъ, ужъ скоро, скоро состарѣюсь, проговорила Елена Филипповна, вздыхая.

— Клевета, право клевета! воскликнулъ Павелъ. А я только что хотѣлъ предложить вамъ проектъ на завтрашній день.

— Какой это?

— Ѣхать всѣмъ въ лѣсъ. Надо пользоваться послѣдними теплыми днями.

— Чтожъ, можно, сказала Елена Филипповна. Да вы взгляните, какая это молодежь? Право, здѣсь вы одни молоды.

— А я? сказала Лина, выступая.

— Ты еще дитя, сказала Елена Филипповна, я о тебѣ не говорю. За то Таня вѣчно молчитъ, будто уби-

тая; Зенеида стала ни на что не похожа: все сидитъ у себя.

О Валентинѣ не было сказано ни слова: онъ былъ въ постоянной опалѣ.

— Если вы поѣдете, то и я конечно поѣду, ma tante, сказала Зенеида; за мной дѣло не станетъ.

Въ эту минуту вдали послышался колокольчикъ.

— Къ намъ или нѣтъ? сказалъ Павелъ.

— А вотъ сейчасъ узнаемъ, сказала Воротынская, входя на балконъ. Видите, дорога расходится въ разныя стороны; если поворотятъ, то значитъ, что къ намъ.

— Ближе! Все ближе! кричала Лина, хлопая въ ладоши.

— Чему обрадовалась, глупенькая? сказала Елена Филипповна, въ тайнѣ весьма неравнодушная къ колокольчику.

— Къ намъ! Къ намъ! кричала Лина, прыгая. Поворотили! Только я не вижу экипажа, потому что ужъ смеркается.

— Въ деревнѣ новопріѣзжій всегда находка, сказалъ Павелъ. Лишній человѣкъ для завтрашней прогулки!

— А если старикъ? сказалъ Валентинъ спокойно.

— Тогда для преферанса.

— Браво, m. Paul, вы всегда веселы, любезны, разговорчивы! сказала старуха.

Павелъ поцѣловалъ у ней руку.

— Что жъ это такое? Вѣдь это телѣга! жалобно проговорила Лина, въ то самое время, какъ тройка мчалась по двору и подкатила къ подъѣзду. Изъ-за кустовъ едва можно было видѣть, что человѣкъ, сидѣв-

шій въ телегѣ, покрытый грязью и пылью, былъ похожъ на почтальона, проскакавшаго тысячу верстъ.

— Вотъ вамъ и гости, сказала опять Лина. Это какой-то курьеръ.

— Вѣрно управитель изъ деревни, сказала Воротынская; я жду его всякій день.

— Съ деньгами, Зенеида Львовна, сказалъ Павелъ. Деньги лучше гостей. Если деньги, дайте намъ бутылку шампанскаго за ужиномъ. А ты, Валентинъ, сдѣлался страшнымъ лѣнтяемъ. Что молчишь? Такъ не давать ему шампанскаго!

Валентинъ сидѣлъ покойно на ступенькѣ балкона, опершись рукою на вышитую по канвѣ подушку.

— Я не люблю шампанскаго, сказалъ онъ лѣниво. Кто бы ни пріѣхалъ, мнѣ все равно, мнѣ и безъ того хорошо.

Въ эту минуту лакей подалъ Валентину письмо.

— Ко мнѣ? И съ нарочнымъ! сказалъ Валентинъ, быстро вставая.

Взглянувъ на печать, онъ измѣнился въ лицѣ и сломилъ ее дрожащими руками; но едва пробѣжалъ первыя строки, какъ смертельная блѣдность покрыла лице его: онъ пошатнулся, оперся на столъ, и сказалъ удушливымъ голосомъ: лошадей!

— Что съ тобою? вскрикнула Воротынская, забывая присутствіе постороннихъ и судорожно вырывая письмо изъ рукъ его.

Валентинъ провелъ рукою по лбу и бросился на крыльцо.

Отвѣчая на тревожные распросы о случившемся, Воротынская сказала, что мать его опасно больна, и бросилась за Валентиномъ въ его комнату. Онъ надѣвалъ дорожную шинель. Увидѣвъ входящую Зенеиду, онъ взялъ ее за талію, привлекъ къ себѣ и горячо прижалъ къ сердцу.

— Прощай, Богъ съ тобою! сказалъ онъ.

— Я поѣду съ тобой до Москвы, сказала она, рыдая. Я провожу тебя.

— Нѣкогда. Я на этой же тройкѣ доѣду до Москвы, тамъ возьму перекладную и выѣду въ туже ночь. Прощай, всякая минута мнѣ дороже жизни.

Онъ еще разъ крѣпко прижалъ ее къ себѣ; силы ее оставили: она зашаталась. Онъ довелъ ее до кресла, посадилъ, и видя, что она судорожно рыдаетъ, выглянулъ въ дверь. Таня стояла въ залѣ у окна, и крупныя слезы капали изъ глазъ ея.

— Таня, я вамъ поручаю ее, сказалъ онъ; слышите, вамъ одной. Вы видите, какая она слабая; любите ее, ходите за нею.

— Какъ за сестрой, сказала Таня. Будьте покойны, и да благословитъ Богъ путь вашъ!

Таня подошла къ Зенеидѣ, но она, казалось, не замѣчала ея присутствія и протягивала руки къ Валентину, не имѣя силы выговорить ни одного слова. Валентинъ сталъ на колѣна, и, поцѣловавъ ея руку, вложилъ ее въ руку Тани. Обнявъ ихъ обѣихъ, онъ выбѣжалъ изъ комнаты.

Когда, черезъ минуту, онъ сѣлъ въ телѣгу, кто-то прыгнулъ въ нее; онъ оглянулся: это былъ Павелъ.

— Я ѣду съ тобою, сказалъ Павелъ отрывисто, и, обратясь къ извощику, закричалъ:

— Въ Москву! Да живо! Три цѣлковыхъ на водку!

Лошади помчались; колокольчикъ загудѣлъ, и телѣга мгновенно изчезла въ густомъ облакѣ пыли.

ГЛАВА V.

Тускло горѣла лампада въ высокой, большой комнатѣ, и своимъ трепетнымъ сіяніемъ едва освѣщала печальную картину. Въ углу стояла кровать съ бѣлымъ пологомъ, откинутымъ за мѣдные столбики, на которыхъ онъ держался; на подушкѣ покоилось блѣдное лицо больной женщины, едва отличаясь отъ бѣлаго полотна. Ея бѣлокурые волосы волнами прилипли къ жаркому лбу и, изгибаясь тонкою паутиной, составляли вокругъ головы какой-то прозрачный золотистый вѣнецъ. Подлѣ кровати, на складномъ низенькомъ стулѣ, сидѣла Анюта у ногъ матери, не спуская глазъ съ нея, а рядомъ съ нею, на скамейкѣ, наша старая знакомая, калмычка Ѳеня, чуть не карлица по росту, и чуть не уродъ по безобразію. Но теперь въ ея маленькихъ глазахъ, вѣчно прыгающихъ и блестящихъ, уродливо приподнятыхъ къ верху, блистали худо скрытыя слёзы. Она взглядывала то на мать, то на дочь, и Богъ вѣсть, на которой изъ нихъ останавливалась съ большею горестью. Противъ

Анюты и Оени столъ столъ, загроможденный лѣкарствами, снадобьями и питьемъ. Въ другомъ углу находился богатый кіотъ; лампада, повѣшенная передъ нимъ на серебреныхъ цѣпочкахъ, горѣла неровнымъ свѣтомъ, и отражаясь на золотомъ окладѣ, то вспыхивала, то почти потухала Старая няня сидѣла у кіота, согнутая лѣтами и несчастіемъ, посѣтившимъ семейство, которое она выростила и вынянчила на рукахъ своихъ. Рядомъ съ нею, на диванѣ, сидѣлъ Ипполитъ Андреевичъ и высокій мущина, домашній докторъ Огинскихъ. Всѣ они хранили глубокое молчаніе; только изрѣдка, когда больная стонала или открывала глаза, взоры всѣхъ тоскливо обращались на нее; Анюта вскакивала и подходила къ ней, но потомъ садилась опять на стулъ свой, склонивъ голову и станъ, какъ бы подъ тяжкою ношей печали, и долго оставалась неподвижною.

— Валентинъ.... сказала довольно внятно больная, послѣ долгаго молчанія.

— Что она сказала? спросилъ докторъ.

— Все тоже: зоветъ сына, какъ прежде, отвѣчалъ Ипполитъ Андреевичъ. Она безъ памяти.

— Да, въ забытьи, подтвердилъ докторъ, и всѣ опять замолчали.

Прошла ночь, наступило утро, и блѣдные лучи дня, едва прокрадываясь сквозь зеленыя занавѣски оконъ, озарили туже печальную картину. Казалось, всѣ окаменѣли въ этой комнатѣ: никто не шевелился, никто не произносилъ ни слова. Спалъ только равнодушный или усталый докторъ, склонивъ голову на спинку дивана.

Вдругъ въ отдаленіи зазвенѣлъ колокольчикъ и замолкъ. Встрепенулась Анюта, вздрогнула больная, и вдругъ сѣла на постели своей, какъ будто невѣдомая сила подняла ее. Женщины окружили ее, и уложили опять. Анюта вышла изъ комнаты, не имѣя силы бороться съ ожиданіемъ. Сердце не обмануло ея. На широкой лѣстницѣ дома увидѣла она быстро входившаго брата, слабо вскрикнула и бросилась къ нему: онъ прижалъ ее къ себѣ, потомъ, освободившись отъ нея, сказалъ глухимъ голосомъ: А маменька? Что маменька? и, не дожидаясь отвѣта, быстро пошелъ дальше. Усталость, нѣсколько безсонныхъ ночей, тревога, горе, наконецъ эта встрѣча съ братомъ, такъ нетерпѣливо ожидаемая, уничтожили силы бѣдной дѣвушки. Она не могла идти за братомъ, и въ изнеможеніи оперлась на высокія перила лѣстницы. Кто-то взялъ ее за талію, и какъ цвѣтокъ безъ жизни, склонилась она на сильную руку; блѣдная, отуманенная голова ея упала на плечо Павла; сильное головокруженіе отняло у нея на минуту всякое сознаніе. Онъ почти донесъ ее до гостиной и стоялъ передъ нею, смущенный и неподвижный; неподдѣльная печаль выражалась въ его взглядѣ. Она тотчасъ опомнилась, провела рукою по лбу и встала.

— Поль!... сказала она и зарыдала. А Валентинъ? Гдѣ Валентинъ?

— У маменьки, отвѣчалъ Поль; проведите и меня къ ней: я тоже хочу взглянуть на нее. Что говоритъ докторъ?

— Плохо, Поль.

Бѣдная дѣвушка не могла говорить.

— Но что съ нею? Отчего занемогла она?

— У насъ въ деревнѣ горячка: она навѣщала больныхъ, и....

Рыданія снова прервали слова ея; она оперлась на руку Павла, и стараясь удержать свои слёзы, вошла съ нимъ въ спальню. Тамъ стоялъ Валентинъ, прижавшись лицемъ къ матери, лежавшей неподвижно и безчувственно, какъ мраморное изваяніе на могильномъ памятникѣ. Она даже не видала его, хотя глядѣла своими большими глазами, и голосъ сына не доходилъ до ея слуха. Болѣзнь захватила ее безпощадно: неизбѣжная смерть приближалась.

Еще сутки-другіе длилось такое состояніе больной. Она угасала безъ видимыхъ страданій, безъ борьбы силъ со смертію. На утро третьяго дня она опомнилась.

— Свѣтъ! Свѣтъ! сказала она внятно. Дѣти, гдѣ вы? Валентинъ, Анюта, ближе, ближе! Я люблю васъ... Живите мирно.... Не дѣлайте зла.... Любите Софью.... Вы мало любили ее... Валентинъ, береги сестеръ, я ихъ оставляю тебѣ....

Она говорила твердо, но отрывисто. Глухое рыданіе раздалось въ комнатѣ. Она взяла образъ изъ рукъ старой няни и благословила дѣтей. Потомъ, окинувъ быстрымъ взоромъ всю комнату, увидѣла Павла.

— Павлуша, поди сюда, ты тоже мое дитя.... И вы, старый другъ мой, прибавила она, протягивая руку Ипполиту Андреевичу; дѣтей вамъ пор....

Она не кончила и заплакала; медленно текли ея слезы по блѣднымъ щекамъ. Она держала дѣтей за руки, цѣ-

ловала ихъ и прижимала къ себѣ ихъ головы, склонившіяся надъ нею. Мало-по-малу, голова ея спустилась опять на подушку; она прошептала что-то и задремала. Долго спала она ; все рѣже, медленнѣе и тише становилось ея дыханіе; она сдѣлала движеніе, будто хотѣла встать, но, едва приподнявшись, опять упала на подушку. Валентинъ взялъ ея руку: рука была холодна; онъ взглянулъ на мать : ликъ ея былъ кротокъ , безмятеженъ , голова мирно покоилась на подушкѣ , но была безжизненна. Дико посмотрѣлъ Валентинъ на доктора и окружавшихъ , и на лицахъ ихъ прочелъ подтвержденіе тайной мысли своей. Онъ вздрогнулъ и всталъ. Анюта бросилась къ нему съ крикомъ отчаянія : онъ схватилъ ее и передалъ кому-то , и когда ее вынесли , сдѣлалъ знакъ рукою и сказалъ :

— Оставьте меня одного... На минуту... Я прощусь съ нею , а потомъ....

Онъ махнулъ рукою, и въ этомъ движеніи было столько отчаянія, столько разрывающей душу тоски, что всѣ присутствующіе невольно повиновались ему и вышли. Что было съ нимъ, когда онъ остался одинъ? Кто можетъ разсказать послѣднюю бесѣду сына съ отшедшею душой обожаемой матери? Кто раскажетъ, что чувствовалъ онъ при видѣ умершаго друга дѣтскихъ лѣтъ своихъ, друга всей жизни, лежавшаго передъ нимъ на томъ самомъ изголовьи , къ которому онъ , еще ребенкомъ , такъ весело подбѣгалъ привѣтствовать пробужденіе матери , играя, цѣлуя ее , и отвѣчая на всѣ ея увѣщанія новыми поцѣлуями и новыми играми.

Черезъ нѣсколько времени, блѣдный какъ смерть, онъ чуть слышно, тѣнью, прокрался изъ ея комнаты, будто боясь потревожить покой ея, и вошелъ въ гостиную. Тамъ опустился онъ на первый стулъ; слуги ходили мимо, горничныя бѣгали, старухи толпились и бродили изъ стороны въ сторону: весь домъ ожилъ, лишь только смерть вошла въ него; но Валентинъ не видалъ, не замѣчалъ ничего. Чьи-то руки обвились около его шеи, чьи-то слезы струились по лицу его; знакомый голосъ, такъ похожій на голосъ его матери, замолкнувшій на вѣки, шепталъ ему невнятныя слова: Анюта, блѣдная, измученная, плакала на груди его, и онъ заплакалъ, но какъ-то безсмысленно, самъ не зная чему. Онъ впалъ въ состояніе, похожее на апатію. Дни тянулись для него долго, ночи проходили какъ блѣдные призраки....

Прошелъ мѣсяцъ. Павелъ не узнавалъ себя. Казалось, безвыходная горесть семейства, съ которымъ онъ былъ воспитанъ, пересоздала его. Впервые видѣлъ Павелъ вблизи истинную скорбь, и она сильно подѣйствовала на его воспріимчивую душу. Его безпечность и веселость исчезли, уступивъ мѣсто самой нѣжной заботливости объ Огинскихъ, убитыхъ потерею матери. Сознавая вполнѣ свое безсиліе облегчить ихъ, Павелъ пытался, по крайней мѣрѣ, развлечь своего друга. Что касается до Анюты, которая сдѣлалась больна послѣ смерти матери, то онъ не отходилъ отъ постели ея во все время ея болѣзни, и проводилъ цѣлый день съ нею, опасаясь за нее. Несчастіе поразило бѣдную

Анюту и наложило на нее такую печать граціи и нѣжности, что впечатлительному и увлекающемуся Павлу казалось, будто онъ до сихъ поръ не зналъ этой дѣвушки. Она явилась ему въ иномъ видѣ: печаль облекла ее поэзіей и непостижимою прелестью въ глазахъ его. Онъ все больше и больше привязывался къ ней, не оставлялъ ея ни на минуту, заботливо избѣгалъ слова, которое могло бы возбудить въ ней новый взрывъ горести и тоскливыхъ, мучительныхъ сожалѣній о прошломъ. Его близкія отношенія къ ея семейству позволяли ему ту короткость въ обращеніи, которая такъ развиваетъ въ мущинахъ едва начинающуюся привязанность. Анюта оправилась отъ болѣзни, и, по настоятельной просьбѣ своего брата, оставила тѣ комнаты, въ которыхъ жила прежде и гдѣ все напоминало ей о незабвенной матери. Она перешла въ другое отдѣленіе ихъ огромнаго дома. Павелъ убралъ ея комнаты, и съ утра до вечера старался занять ее. Онъ рисовалъ, читалъ ей книги и мало-по-малу возвращалъ ее къ прежнимъ занятіямъ; иногда ему удавалось даже сорвать улыбку съ блѣдныхъ устъ ея. Валентинъ, совершенно сраженный, не могъ еще прійти въ себя, и потому право заботиться объ Анютѣ оставалось за Павломъ. Ипполитъ Андреевичъ, по просьбѣ Валентина, принялся за дѣла. Оказалось, что ѣхать въ Москву, куда влекли Валентина отношенія его къ Зенендѣ, было невозможно. Двѣ тяжбы, затѣянныя въ послѣднее время двумя сосѣдями, были ведены очень неисправно стряпчимъ Александры Николаевны, и могли, въ случаѣ неудачи, поглотить значительную часть состоянія Огинскихъ. Разсмотрѣвъ

бумаги, Ипполитъ Андреевичъ настоялъ, чтобы самъ Валентинъ занялся ими. Такимъ образомъ Анюта осталась въ сторонѣ, и ничто не разлучало ее съ Павломъ, который и мыслію, и сердцемъ, предался ей одной.

Уже прошло шесть недѣль послѣ смерти матери, но Анюта, всегда любившая музыку, еще не открывала своего фортепіано. Однажды Павелъ убѣдительно просилъ ее разучить съ нимъ новую сонату; она долго отказывалась, но наконецъ, уступая его просьбамъ, сѣла за фортепіано и хотѣла играть. При первыхъ аккордахъ, сердце ея замерло и стѣснилось. Желая скрыть отъ Павла тоскливое чувство, возбужденное въ ней звуками инструмента, она попыталась продолжать игру, но вдругъ опустила руки и залилась слезами.

Павелъ сначала удивился, потомъ понялъ, схватилъ длинную, бѣлую ручку Анюты, и прижалъ ее къ губамъ своимъ. Живо и страстно началъ онъ говорить ей о ней самой, просилъ ее успокоиться, утѣшалъ ее, прерывалъ рѣчь свою восклицаніями досады на самаго себя, проклиналъ свою опрометчивость, примѣшивая ко всему этому увѣренія въ своей безконечной нѣжности къ ней.

Заслушалась Анюта словъ его. Стоило только взглянуть на лице его, выразительное, живое, чтобы не сомнѣваться въ его искренности. Она безсознательно любовалась имъ, улыбаясь сквозь слезы.... Ей было такъ хорошо! Это была первая минута забвенія, послѣ несчастія, ее постигшаго. Благодатно дѣйствовала на Анюту привязанность Павла; только странно было ей,

что Поль ея дѣтства, Поль первой юности, вспыльчивый, враждебный ей, порою грубый съ нею, теперь былъ такимъ любящимъ и преданнымъ. Онъ стоялъ на колѣнахъ, полушутя, полусерьозно, какъ стоятъ передъ плачущимъ ребенкомъ, съ нѣжнымъ, ласкающимъ взоромъ и улыбкой.

Она проговорила тихо, почти робко :

— Поль! Вы добры, вы очень милы ко мнѣ.... Какъ измѣнились вы! Прежде вы не были такіе!

— Я всегда былъ такой же, отвѣчалъ онъ.

— О нѣтъ! Нѣтъ! Помните, вы всегда со мной ссорились.

— Да, когда мы были дѣтьми.

— Ну, а въ Москвѣ, когда мнѣ было пятнадцать, а вамъ восьмнадцать лѣтъ, вы тоже не очень любили меня.

— Право, я и тогда любилъ васъ, но вы были дитя, а я считалъ себя уже взрослымъ.

— Положимъ такъ, но зачѣмъ вы смѣялись надо мной? Сказать ли? Я избѣгала васъ, я боялась вашихъ злыхъ насмѣшекъ.

— Мои насмѣшки! Да это была беззаботность и веселость молодости. Мнѣ теперь грустно глядѣть на васъ, Анюта, и вѣроятно, поэтому пропала моя способность шутить, которую вы называете насмѣшливостью.

— Быть можетъ ; въ такомъ случаѣ, я была не права. Я вспомнила слова маменьки. Бѣдная, милая маменька! продолжала Анюта сквозь слезы. Она говорила : Поль добръ, и сердце у него прекрасное. Она любила насъ.

Анюта замолчала.

— Сядьте, не стойте такъ, сказала она наконецъ.

— Нѣтъ, Анюта, нѣтъ, моя милая, смотрите: я сижу у ногъ вашихъ, мнѣ хорошо такъ; дайте ручку, сестрица моя. Вотъ такъ! Я счастливъ теперь. Давайте говорить.

— О чемъ же?

— Да хоть о моей нѣжности къ вамъ. Скажите, вы меня также любите?

— Развѣ вы этого не знаете, Поль? сказала она.

— Не знаю. Вы не любили меня въ дѣтствѣ: это я зналъ, и сами вы сейчасъ признались въ этомъ. Въ Москвѣ вы также не любили меня.

— Не то, чтобъ не любила, а немножко робѣла при васъ. Впрочемъ, я была привязана къ вамъ, какъ къ другу Валентина.

— Не объ этомъ рѣчь, сказалъ Павелъ. Богъ съ нимъ, съ прошедшимъ! Одно настоящее дорого и хорошо! Скажите, вы меня любите теперь?

— Да, люблю.

— Очень?

— Что это, Поль? сказала она, улыбаясь. Вы какъ дѣтя: дѣти пристаютъ къ нянѣ и спрашиваютъ поминутно: Любишь? Очень?

— Лукавая! сказалъ онъ, цѣлуя ея руку. Не хочетъ отвѣчать и начинаетъ рѣчь о другомъ. Чтожъ мнѣ дѣлать, если я сталъ ребенкомъ? Знаете ли, Анюта, я чи-

талъ въ одной книгѣ, не помню въ какой, что истинная привязанность пересоздаетъ....

Въ это время послышались шаги въ сосѣдней комнатѣ. Павелъ остался на колѣнахъ, но замолчалъ.

— Чтожъ вы замолчали? сказала Анюта.

— Развѣ то, что я хочу сказать вамъ, назначено для всѣхъ? замѣтилъ Павелъ, вспыхнувъ. Онъ махнулъ рукой и продолжалъ: Вы вовсе не любите меня!

Дверь отворилась, и Валентинъ вошелъ въ комнату. Онъ улыбнулся, увидя Павла у ногъ сестры, и сказалъ:

— Поль и Виргинія, живая картина!

— Оставь насъ въ покоѣ, сказалъ Павелъ съ досадой. Лучше скажи, гдѣ ты былъ и что дѣлалъ?

— Разумѣется, сидѣлъ за бумагами. Еслибъ не Иппо-литъ Андреевичъ, я сошелъ бы съ ума. Надо было пересмотрѣть бумаги за нѣсколько лѣтъ. Одной купчей крѣпости нѣтъ: ужъ гдѣ, гдѣ мы не искали ея! Ужасно скучно!

Валентинъ задумчиво ходилъ по комнатѣ.

— Что ты такъ встревоженъ? сказала Анюта.

— Не встревоженъ, а нетерпѣливъ. Сегодня почта: жду писемъ. Почтовый день томитъ меня: такъ хочется знать, что сталось съ тѣми, кого я оставилъ.

Почта пришла, но довольно поздно. Валентинъ схватилъ одно письмо и, казалось, былъ очень тронутъ его содержаніемъ. Въ письмахъ своихъ, и это очень удивляло Валентина, Зенеида мало говорила о себѣ, вовсе не касалась подробностей домашней жизни и огра-

ничивалась заботой о немъ и сестрѣ его, ждала и звала ихъ скорѣе въ Москву. Каждый разъ, прочитавъ письмо Зенеиды, Валентинъ уходилъ къ себѣ и, въ свою очередь, писалъ ей огромныя посланія. Прошло еще нѣсколько времени, и не было перемѣны въ ихъ спокойной, хотя и печальной жизни, частію отравленной воспоминаніями объ умершей матери. Валентинъ, быть можетъ, сильнѣе Анюты чувствовалъ эту утрату и свое одиночество. Анюта была поглощена своею новою привязанностью, и ни утромъ, ни днемъ, не разставалась съ Павломъ. Ея разговоръ съ нимъ, прерванный приходомъ Валентина, возобновлялся нѣсколько разъ, но до сихъ поръ между ними не было сказано ничего рѣшительнаго, потому ли что Анюта не допускала Павла до объясненія, или потому что оба они не могли освободиться отъ названія и привычекъ дружбы. Какъ бы то ни было, но время шло быстро, и отпускъ Павла былъ на исходѣ: онъ собирался ѣхать. Анюта смутилась.

— Нельзя ли вамъ остаться, попросить отсрочки? сказала она.

— Невозможно! отвѣчалъ Павелъ. Анюта, продолжалъ онъ послѣ нѣсколькихъ минутъ замѣшательства, я уѣду счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ, если вы наконецъ согласитесь понять меня.

Анюта молчала.

— Вы не могли не замѣтить, продолжалъ онъ, что я люблю васъ любовью, а не дружбой; что мое счастіе зависитъ отъ вашего слова. Скажите: вы меня любите?

Анюта оправилась отъ смущенія и проговорила тихо:

— Вы сами знаете, что я люблю васъ.

Павелъ бросился къ ней и воскликнулъ съ жаромъ :

— О какъ я счастливъ ! Какъ счастливъ !

Она улыбнулась и продолжала тихо и нѣжно :

— Развѣ я скрывала отъ васъ любовь мою? Развѣ я хотѣла скрыть ее? Конечно, нѣтъ! Только я боюсь...

— Чего можете вы бояться ? перервалъ онъ нетерпѣливо. Вы независимы. Къ тому же покойная мать ваша воспитала меня , я выросъ съ вами , и вѣроятно , она согласилась бы отдать васъ мнѣ.

— Бѣдная маменька ! сказала Анюта печально. Она любила васъ, и было время, когда она горячо защищала васъ отъ моихъ нападокъ.

— Скажите, чтоже тревожитъ васъ ?

— Вы добры, Поль, вы чувствительны, сердце ваше благородно....

— Не хвалите меня такъ. Я боюсь , что за всѣмъ этимъ вы скажете что нибудь нехорошее.

— Видите , Поль , какъ же мнѣ не бояться , когда ваша совѣсть сама предупреждаетъ меня ?

— Моя совѣсть не говоритъ мнѣ ничего, но я знаю васъ: вы уже слишкомъ разсудительны! Сказать ли всю правду? Вы добры, какъ ангелъ, но холодны, какъ ледъ.

— Нѣтъ, сказала Анюта, я не холодна, я люблю васъ искренно, я привязана къ вамъ, какъ не была привязана ни къ кому. Правда, что я чужда страсти, вспышекъ и вашихъ порывовъ. Они-то и пугаютъ меня. Поль, вы какъ-то слишкомъ скоро , слишкомъ пылко привязались ко мнѣ; вы, быть можетъ, увлеклись; загляните въ себя, разсмотрите, дѣйствительно ли это любовь.

— Любовь, любовь страстная ! сказалъ онъ.

— Пусть такъ, но истинна ли эта любовь? Не есть ли она капризъ, минутная экзальтація , или просто нѣжное сочувствіе къ моему недавнему несчастію , къ моему горю ?

— Какъ вы разсудительны ! сказалъ онъ. Кто разсуждаетъ такъ холодно, тотъ не любитъ.

— Всякій любитъ по своему, возразила Анюта , и я не знаю, чья любовь прочнѣе, долговѣчнѣе.

— Вы хотите сказать , что я могу забыть или разлюбить васъ.

— По крайней мѣрѣ, я боюсь этого. Да , Поль, мнѣ было бы очень тяжело перенести такую перемѣну ; мнѣ кажется, лучше оговориться теперь, уяснить наши отношенія, чѣмъ страдать послѣ.

— Да развѣ я дитя? сказалъ онъ съ досадой. Стало быть вы мнѣ вовсе не вѣрите. Какъ же мнѣ убѣдить васъ? Клянусь вамъ, что я никогда не любилъ ни одной женщины такъ, какъ люблю васъ. Въ васъ все мое счастіе, моя жизнь, моя будущность. Оставьте же сомнѣнія, которыя оскорбляютъ мое чувство, и отвѣчайте мнѣ просто , любите ли вы меня ?

— Я уже отвѣчала , сказала Анюта.

— А повторить нельзя ? сказалъ онъ , переходя отъ пылкости къ нѣжности.

— Я люблю васъ... сказала Анюта.

Онъ взялъ ее за талію и горячо поцѣловалъ.

— Поль ! сказала она съ укоромъ.

— Анюта, душа моя, не сердись за восторгъ мой! Могу ли я владѣть собою, могу ли не сойти съ ума отъ счастія! Я поѣду, полечу въ Петербургъ, выпрошу согласіе отца и матери на бракъ нашъ, тотчасъ возьму новый отпускъ и пріѣду за тобою. Мое отсутствіе не продолжится и шести недѣль.

— Шесть недѣль! Это ужасно!

— Не забудь меня!

— Не бойся, сказала она просто.

— Мы будемъ жить въ Петербургѣ: ты такая хорошенькая, что займешь вездѣ первое мѣсто, и всѣ полюбятъ тебя. А музыка, а опера? Ты еще не видала ея. Сколько наслажденій, и все это вдвоемъ! Ты никогда не сойдешься съ моею матерью, и потому мы будемъ жить одни, своимъ домомъ.

— Какъ хочешь, сказала Анюта, улыбаясь.

Въ этотъ вечеръ они только и говорили, что о своемъ будущемъ счастіи. Анюта начинала слушать Павла съ полнымъ довѣріемъ; казалось, что высказавъ ему свои сомнѣнія, она тѣмъ самымъ уничтожила ихъ, вырвала ихъ съ корнемъ изъ души своей, и безпечно отдалась вся новому чувству и новой будущности. Какъ заманчиво казалась она ей, какъ рисовалась она въ ея воображеніи, полная поэзіи и радостей первой счастливой любви! На другой же день, утромъ, Анюта и Павелъ вошли въ кабинетъ Валентина и объявили ему о своемъ намѣреніи вступить въ бракъ.

Сначала удивленный, потомъ обрадованный, Валентинъ согласился съ ними во всемъ и послалъ за Иппо-

литомъ Андреевичемъ, чтобы сообщить ему пріятную новость. Старикъ пришелъ тотчасъ, и его поздравленія и искреннее участіе завершили это утро, тревожное и радостное, какъ это обыкновенно бываетъ при всякомъ неожиданномъ поворотѣ въ судьбѣ сестры или дочери. Ипполитъ Андреевичъ не удивился однако объявленной ему новости.

— Я давно ждалъ этого, сказалъ онъ, обнимая обоихъ своихъ воспитанниковъ.

— И не сказали намъ ни слова! замѣтилъ Павелъ.

— Сказать не значило ли потревожить васъ? Я только радовался вашему обоюдному выбору.

— И гдѣ были глаза мои? сказалъ Валентинъ.

— А когда же ты что нибудь замѣчаешь? возразилъ Павелъ, смѣясь.

— Онъ грустенъ, занятъ дѣлами, сказалъ старикъ; у него не было времени видѣть и угадывать, а я давно принялъ за правило не вмѣшиваться въ дѣла другихъ безъ ихъ вѣдома или просьбы, и потому молчалъ.

— Какіе вы скрытные! сказала Анюта, ласкаясь къ старику.

Валентинъ отошелъ къ окну и пристально глядѣлъ въ него.

— Онъ думаетъ о матери, сказалъ Ипполитъ Андреевичъ, вздыхая. Да, большая, жестокая потеря для всѣхъ, особенно для него. Онъ жилъ съ нею душа въ душу; у васъ будетъ мужъ, Анюта, а у него никого не оста-

лось, кромѣ бѣднаго старика, да и тотъ уже глядитъ въ могилу, прибавилъ онъ, показывая на самаго себя.

— Ну, сказалъ Павелъ, и у него есть привязанности, да и какой мущина въ его лѣта не имѣетъ ихъ?

— Не прочны онѣ, возразилъ Ипполитъ Андреевичъ, качая головою. Вѣ семейства, все суета и прахъ. Пора бы ему жениться, устроиться....

— Врядъ ли это возможно, по крайней мѣрѣ, теперь, сказалъ Павелъ.

Вечеромъ, Валентинъ, прохаживаясь съ Павломъ по большой залѣ, сказалъ ему:

— Послушай, Павелъ, я думаю, что со стороны твоихъ родныхъ не можетъ быть препятствій для твоей женитьбы.

— Никакихъ! отвѣчалъ Павелъ.

— Однако, я хочу избѣжать всякихъ недоразумѣній, сказалъ Валентинъ. Ты можешъ сказать твоей матери, что Анюта богата. Выиграемъ или проиграемъ мы тяжбу, у нея во всякомъ случаѣ будетъ хорошее состояніе.

— За кого ты меня принимаешь? сказалъ Павелъ. Развѣ я женюсь на ея деньгахъ?

— Знаю, но говорю для твоихъ родныхъ. Если они найдутъ, что ея состояніе недостаточно, напиши ко мнѣ, а не къ ней, слышишь? Моя обязанность заботиться о томъ, чтобы будущіе родные моей сестры считали за счастіе породниться съ нею.

Быстро промчались для Анюты и Павла нѣсколько дней, предшествовавшихъ его отъѣзду; наступилъ и послѣдній день. Тяжело было имъ; съ утра они уже про-

щались. Взгляды ихъ, голосъ, безпрестанные, безпокойные переходы съ мѣста на мѣсто, неоконченные разговоры, прерываемые внезапнымъ молчаніемъ, все обнаруживало въ обоихъ боль сердца и душевную тревогу. Валентинъ мало оставался съ ними, не желая мѣшать имъ въ послѣднія минуты; онъ зналъ по опыту, какъ тяжело разставаться при свидѣтеляхъ. Послѣ вечерняго чая, экипажъ Павла былъ поданъ. Бубенчики гремѣли, лошади нетерпѣливо ударяли ногами о землю, и всякій разъ, какъ эти звуки раздавались въ гостиной, Павелъ тоскливо взглядывалъ на Анюту, а она опускала глаза свои, и съ длинныхъ рѣсницъ ея медленно катились крупныя слезы, которыя она напрасно старалась скрыть отъ присутствовавшихъ. Наконецъ, Павелъ всталъ и братски обнялъ Валентина, который почти весело говорилъ ему:

— Ну, прощай, другъ, до свиданія! Пріѣзжай скорѣе!

Анюта сидѣла какъ прикованная. Павелъ подошелъ къ ней, и она крѣпко обняла его и крѣпко прижала къ его груди свое лицо, омоченное слезами. Онъ вырвался изъ рукъ ея, поспѣшно обнялъ Ипполита Андреевича и пошелъ къ дверямъ. Но тамъ уже стояла Анюта, прислонившись къ двери: онъ взялъ объ ея руки, еще разъ простился съ нею и выбѣжалъ на крыльцо.

Анюта сошла съ лѣстницы, держа брата за руку, но когда она отворила дверь на крыльцо, колокольчикъ уже звонко заливался: изъ воротъ ихъ дома выѣзжала коляска. Павелъ высунулся изъ нея и махнулъ ей платкомъ; она отвѣчала ему тѣмъ же и продолжала стоять

на крыльцѣ, жадно прислушиваясь къ колокольчику. Но вотъ звуки стали стихать мало-по-малу, потомъ утихли, и только изрѣдка слышались въ отдаленіи; все рѣже и рѣже долетали они, едва слышные, до ея чуткаго, напряженнаго слуха, и наконецъ смолкли совершенно. Ночь была темная: ни мѣсяца, ни звѣздъ; только черныя тучи ходили по осеннему небу, да вдали, по деревнѣ, мелькали маленькіе огоньки. Тяжело стало ей; она взглянула и на пасмурное, непривѣтное небо, и на осеннюю темь ночи, и тихо опершись на руку брата, вошла въ опустѣвшій кабинетъ свой, гдѣ она, еще не знавшая любви, испытала столько упоительныхъ, новыхъ ощущеній!

Ипполитъ Андреевичъ и Валентинъ старались разсѣять тоску ея. Валентинъ садился за бумаги въ ея комнатѣ, она рисовала, а добрый старикъ заботливо готовилъ ей карандаши, краски, растушку, и чистилъ палитру. Слабое его зрѣніе часто измѣняло ему: онъ дѣлалъ тысячи промаховъ. Анюта улыбалась, поправляла его ошибки и, садясь за рабочій столикъ, шутила надъ его неопытностью. А онъ радовался, что разсмѣшилъ ее и, совершенно довольный собою, садился на диванъ, съ громадными очками на носу, съ тѣми очками, которыя Анюта привыкла видѣть еще въ дѣтствѣ. Футляръ отъ очковъ онъ клалъ, по прежнему, около себя и, по прежнему, на вопросъ Анюты, изъ чего онъ сдѣланъ, готовъ былъ отвѣчать, что это выкрашенная чешуя молодаго крокодила. Онъ былъ бы не прочь разсказать ей, какъ дѣлалъ это въ давно прошедшіе дни ея дѣтства, что самъ видалъ крокодиловъ на берегахъ Нила,

и что однажды чуть не погибъ, купаясь въ этой рѣкѣ. Окончивъ повѣствованіе, онъ принимался за свою газету. Когда Анюта переставала рисовать, онъ опускалъ газету на колѣна, будто готовый продолжать разговоръ, а если она задумывалась и молчала, онъ самъ начиналъ говорить съ нею и непремѣнно сводилъ разговоръ на Павла; вмѣстѣ соображали они и расчитывали, гдѣ онъ, что дѣлаетъ, и когда придетъ первое письмо его. Оно пришло однако прежде, чѣмъ они предполагали. Павелъ писалъ съ дороги, въ то время, какъ перепрягали лошадей его; въ этомъ письмѣ онъ признавался Анютѣ, что едва не воротился съ первой станціи. Онъ писалъ, что хотѣлъ послать въ Петербургъ свидѣтельство о болѣзни и просьбу о новомъ отпускѣ. Эта мысль такъ овладѣла имъ, писалъ онъ, что онъ уже велѣлъ извощику ѣхать назадъ, и еслибъ удивленный извощикъ не переспросилъ его, онъ былъ бы у ногъ ея. Онъ послушался разсудка и отказался отъ несбыточнаго плана, потому что ему было необходимо видѣться съ матерью, которая, какъ извѣстно самой Анютѣ, бываетъ своенравна и упряма. Письмо оканчивалось обыкновенными увѣреніями влюбленныхъ, безконечными нѣжностями и непремѣннымъ обѣщаніемъ возвратиться черезъ мѣсяцъ, во чтобы то ни стало. Анюта была рада, какъ дитя, письму Павла, и объявила брату и Ипполиту Андреевичу, что Павелъ возвратится непремѣнно черезъ мѣсяцъ. По этому случаю между ними завязался споръ. Валентинъ доказывалъ, что Павелъ не можетъ вернуться черезъ мѣсяцъ. Сначала Анюта отстаивала свое мнѣніе, но должна была уступить доводамъ Ипполита Андреевича и

брата. Въ слѣдъ за первымъ письмомъ, Анюта получила еще два другія, въ томъ же духѣ и настроеніи, и еще одну, послѣднюю записку съ дороги, въ нѣсколько строчекъ, брошенную на почту въ послѣднемъ городѣ, по пути въ Петербургъ. Въ ней Павелъ обѣщалъ Анютѣ огромное письмо, тотчасъ по пріѣздѣ своемъ. Пришло и это письмо, дѣйствительно огромное, какъ по своему объему, такъ и по малѣйшимъ подробностямъ, съ которыми онъ описывалъ все, случившееся съ нимъ. Оно было какъ нельзя болѣе утѣшительно. Мать и отецъ Павла не противились его желанію; напротивъ, они, казалось, были довольны его выборомъ. Онъ писалъ, что былъ и у сестры Огинскихъ, княгини Границкой, что она приняла его очень ласкаво, осыпала вопросами о братѣ и сестрѣ, настоятельно просила бывать у нея какъ можно чаще, называя его женихомъ сестры своей. Все дѣло заключалось только въ томъ, какъ бы скорѣе выхлопотать нужныя для женитьбы бумаги и возвратиться скорѣе въ Москву, куда должны были пріѣхать Анюта и братъ ея.

Это послѣднее письмо обрадовало все семейство, и Валентинъ, давно безъ устали занимавшійся дѣлами, спѣшилъ окончить ихъ, чтобы ѣхать скорѣе въ Москву. Отъѣздъ ихъ назначенъ былъ черезъ двѣ недѣли. При разлукѣ съ тѣмъ домомъ, гдѣ росли они, гдѣ недавно лишились нѣжно любимой матери, горесть ихъ пробудилась съ новою силой. Простившись съ могилой матери, они стали сбираться въ путь, провожаемые, по обыкновенію, многочисленною дворней, сбѣжавшеюся смотрѣть на отъѣздъ ихъ. Слезы старыхъ

пянекъ, экономокъ, приживалокъ, служившихъ матери ихъ, смѣшивались съ слезами дѣтей. Больная, и послѣ смерти госпожи своей еще болѣе состарившаяся Анна Перфильевна просила ихъ зайти и къ ней. Она лежала на томъ же мѣстѣ, на площадкѣ лѣстницы, у кладовой, и когда увидѣла Валентина, то поднялась съ усиліемъ на своемъ пуховикѣ и сказала ему:

— Прощай, кормилецъ мой, прощай! Господь благослови тебя и барышню!

И на вопросъ Валентина, не нуждается ли она въ чемъ нибудь, старуха отвѣчала:

— Да ужъ не прикажи трогать меня. Гдѣ жила, тамъ и умру; гдѣ за покойницей ходила, добро ея стерегла, тамъ и безъ нея хочу жизнь коротать, да твое добро стеречь. Трогать не прикажи, я тутъ останусь, пока въ гробъ не снесутъ!

Валентинъ увѣрилъ ее, что приказаніе отдано, и что никто не потревожитъ ея. По прежнему, подлѣ нея фыркала и сопѣла едва ли не столѣтняя болонка, но и она, какъ и ея хозяйка, уже не лаяла и не бросалась, и она доживала вѣкъ свой, приближавшійся къ концу. Валентинъ взглянулъ вокругъ себя: все было по прежнему; въ дѣвичьей сидѣла на диванѣ, тряся сѣдою головой, старая Арина Ивановна; у лежанки, прислонившись къ ней и подгорюнившись, стояла Феня калмычка, и не измѣнилась ни дѣвичья, ни швейная. Швей только не было, и пяльцы, покрытые, точно саваномъ, бѣлыми полотенцами, стояли въ рядъ какъ тѣни прошлаго. Казалось, швеи вышли только на минуту. Ужъ не обѣ-

дать или гулять пошли онѣ? Казалось, вотъ послышится изъ гостиной знакомый имъ голосъ, голосъ хозяйки, такъ часто звавшій одну изъ нихъ. Но все безмолвно: гостиная пуста, и дверь въ нее затворена. Безмолвна и пуста спальня, на глухо заколочена дверь ея, и ставни закрыты: спальня стала могилою.... Съ стѣсненнымъ сердцемъ, съ усильно подавленными слезами, взглянулъ Валентинъ еще разъ на все, и на женщинъ, и на заколоченную дверь спальни, и на запертую дверь гостиной; потомъ взялъ плакавшую сестру свою за руку, вышелъ съ нею въ залу, тотчасъ спустился съ лѣстницы и сѣлъ въ экипажъ.

ГЛАВА VI.

Въ первые дни послѣ своего пріѣзда въ Москву, Валентинъ, осажденный родственниками и родственницами, едва могъ видѣть Воротынскую и нашелъ ее очень измѣнившеюся. Поговорить ему съ нею было невозможно, потому что домъ ихъ былъ наполненъ толпою старыхъ тетушекъ и кузинъ, которыя пріѣзжали утѣшать его и Анюту, и при этомъ удобномъ случаѣ, входили въ разспросы о наслѣдствѣ, намѣреніяхъ и будущихъ планахъ молодыхъ людей. Всѣ тетки и кузины были крайне удивлены, когда Валентинъ, отвѣчая на вопросы ихъ, сказалъ, что сестра будетъ жить съ нимъ, и что онъ не разстанется съ нею до ея замужества. Напрасно хоръ родственницъ твердилъ, что такое намѣреніе безумно, неслыханно, неприлично, что это значило поступать вопреки всѣмъ обычаямъ и правиламъ. Валентинъ отвѣчалъ спокойно, представлялъ свои резоны и не поддавался ни на какія предложенія. А ихъ было не мало. Одна предлагала свой домъ, другая бралась за перо, чтобы писать княгинѣ

Границкой о намѣреніи сестры ея, третья хотѣла взять Анюту къ себѣ, какъ родную. Какъ ни ясно отвѣчалъ Валентинъ на такія предложенія, но они возобновлялись каждый день, и каждый день возникали по этому поводу новые споры. Однажды вечеромъ, когда Огинскіе были одни, Зенеида пріѣхала къ нимъ и, къ крайнему удивленію Валентина, была на сторонѣ старухъ и серьозно просила Анюту не раздражать родныхъ. На возраженія Анюты она отвѣчала горячо и живо, и Валентинъ тотчасъ понялъ, что этотъ вопросъ интересуетъ ее лично; что, говоря за Анюту, она говоритъ за себя.

— Повѣрьте, говорила Зенеида, оканчивая свою длинную тираду, повѣрьте, что нѣтъ спокойствія, счастія, даже нѣтъ возможности жить, находясь во враждебномъ отношеніи ко всѣмъ окружающимъ. Все имѣетъ свое основаніе и, слѣдовательно, устроено разумно. А бороться, всегда бороться, силъ не хватитъ!

Сказавъ это, она замолчала. Видно было, что она раздражена и вмѣстѣ очень печальна. Пользуясь минутнымъ молчаніемъ, Валентинъ спросилъ ее, отъ чего она такъ похудѣла и что случилось съ нею?

— Я не знаю, что мнѣ дѣлать, сказала она, заливаясь слезами; я рѣшительно не нахожу исхода. Домъ мой сдѣлался адомъ мелкихъ непріятностей, и общество смотритъ на меня уже другими глазами. У тетушки есть цѣлый полкъ старыхъ пріятельницъ, которымъ она, вѣроятно, жалуется на меня, и многіе уже спрашивали меня, отъ чего, живя такъ согласно съ теткой до сихъ поръ, мы теперь разсорились. Словомъ, то, что я предвидѣла и чего боялась, сбылось. Я знаю, всѣ говорятъ,

что первая моя размолвка съ теткой вышла за мои отношенія къ тебѣ.

— Кто разсказываетъ тебѣ всѣ эти глупыя сплетни?

— Какъ кто? Многіе, особенно Силкова: она всякій день пріѣзжаетъ съ новыми вѣстями. Не проходитъ дня, чтобы я не плакала.

— Не надо обращать вниманія на сплетни: поговорятъ, да и перестанутъ, сказалъ Огинскій.

Но она не слушала и продолжала съ горькою улыбкой.

— Силкова! Семь лѣтъ она увѣряла, что любитъ меня, а теперь, я знаю, она первая распускаетъ обо мнѣ разные слухи, и потомъ съ участіемъ пересказываетъ ихъ мнѣ. Мое положеніе ужасно!

— Конечно; но оно ужасно потому, что ты придаешь слишкомъ много важности пустымъ толкамъ и сплетнямъ.

— Если и ты будешь осуждать меня, сказала она, въ комъ же найду я опору и утѣшеніе?

Они долго говорили; разговоръ ихъ кончился, какъ и всегда: она уѣхала домой, нѣсколько успокоенная, почерпнувъ въ его любви и утѣшеніяхъ нѣчто похожее на твердость. Валентинъ думалъ много и долго о своей и ея будущности, и эта новая любовь его не обѣщала ему радостей. Онъ началъ понимать, хотя уже и поздно, что зашелъ въ лабиринтъ, изъ котораго нѣтъ выхода, и что путеводной нити не было ни въ его, ни въ ея рукахъ. Различные планы, смѣняясь въ головѣ его, не

приводили его ни къ какому результату; онъ не умѣлъ рѣшиться, да и трудно было окончательно остановиться на чемъ нибудь. Зенеида ѣздила всякій день къ Анютѣ, и иногда могла говорить съ нимъ наединѣ, но самъ онъ не ѣздилъ никуда, даже къ Зенеидѣ, потому что всегда могъ найти у нея многочисленное общество.

Однажды онъ сказалъ ей:

— Потерпи, Зенеида; ты видишь, я обремененъ дѣлами: мнѣ надо все привести въ порядокъ, надо устроить сестру, выдать ее замужъ, а потомъ мы подумаемъ и о себѣ, уѣдемъ куда нибудь подальше отсюда....

— Уѣхать! сказала она, испугавшись. Тетушка....

— Опять тетушка! Неужели ты не понимаешь, что мы никогда не сладимъ съ нею. Тебѣ придется оставить ее: вѣдь ты свободна! Тетка твоя не понимаетъ, что разнимая насъ, какъ древняя сабинка (хороша сабинка шестьдесятъ лѣтъ!), она только разрушаетъ наше счастіе и даже свое собственное. Чего ей надо?

— Ахъ, Валентинъ! сказала Зенеида съ укоромъ. Какъ ты странно судишь!

— Могу ли я не желать какого нибудь исхода: счастіе наше невозможно при такихъ обстоятельствахъ и при твоемъ характерѣ.

— Чтоже мнѣ дѣлать? сказала она, вздыхая. Правда, всякая сплетня мучитъ, всякая ссора пугаетъ меня; но я не рѣшусь ни на какую крайнюю мѣру, а любовью также ни за что не пожертвую. Лучше терпѣть.

— Взгляни на себя! сказалъ Валентинъ. Что сталось съ тобою въ три мѣсяца моего отсутствія!

— Это пройдетъ, сказала она; теперь ты здѣсь, я не одна, и въ тебѣ найду силу и мужество. Но будешь ли ты всегда любить меня?

— За чѣмъ сомнѣніе? Я люблю тебя нѣжно, глубоко; я не ослѣпленъ любовью, какъ двадцатилѣтній юноша, любящій впервые и безумно, но это не мѣшаетъ мнѣ знать тебѣ цѣну. Могу ли я разлюбить тебя?

— Кто знаетъ! сказала она, качая головой.

— Ты не вѣришь мнѣ, Зенеида? сказалъ онъ печально и съ упрекомъ.

— Нѣтъ, вѣрю, вѣрю! Еслибъ ты зналъ, что я слышу каждый день, ты понялъ бы, отъ чего невольное сомнѣніе иногда западаетъ мнѣ въ сердцѣ. А сомнѣніе мучительнѣе всего на свѣтѣ.

Этотъ разговоръ часто возобновлялся между ними. Валентину приходилось безпрестанно успокоивать ее, и это всегда удавалось ему. Зенеида въ самомъ дѣлѣ любила его, и слова его придавали ей силы и энергіи, хотя и не на долго. Валентинъ, въ тайнѣ желавшій, чтобы она имѣла болѣе твердости, болѣе самостоятельности, понималъ однако всю ея любовь и преданность, и зналъ, что она не пожертвуетъ своимъ чувствомъ къ нему. Мало-по-малу она успокоивалась, руководимая Валентиномъ, и совершенно уничтожаясь подъ его вліяніемъ; она вся отдалась ему и шла за нимъ покорно, повинуясь ему, какъ дитя. Она меньше тревожилась и

не слушала сплетней, которымъ не было конца, благодаря стараніямъ ея тетки. Проходили недѣли, и все было по прежнему; только въ характерѣ Анюты можно было замѣтить большую перемѣну. Когда Валентинъ спрашивалъ ее, получаетъ ли она письма, и скоро ли пріѣдетъ Павелъ, она отвѣчала, по видимому, спокойно, что онъ пишетъ часто и будетъ очень скоро, но Ипполитъ Андреевичъ, слѣдившій за нею безпокойнымъ взоромъ, не былъ такъ довѣрчивъ, какъ братъ ея. Однажды всѣ они сидѣли, по обыкновенію, около круглаго стола: Анюта вышивала; Валентинъ писалъ какую-то бумагу; Ипполитъ Андреевичъ читалъ; глубокое молчаніе царствовало въ комнатѣ, освѣщенной стоявшею на столѣ карселью.

Валентину понадобился сургучъ. Онъ обернулся къ сестрѣ и сказалъ ей:

— Позвони, Анюта; да не забудь, что завтра....

Онъ не договорилъ, замѣтивъ, что Анюта плакала.

— Что съ тобой? спросилъ онъ, подходя къ сестрѣ.

— Ничего, отвѣчала она, стараясь улыбнуться. Лучше скажи мнѣ что съ тобой? Ты вдругъ вскочилъ съ мѣста, бросился ко мнѣ.

— Перестань скрываться, Анюта, возразилъ Валентинъ печально; развѣ я не видѣлъ, что ты плакала.

— И не въ первый разъ, замѣтилъ Ипполитъ Андреевичъ. Ахъ! дитя мое, зачѣмъ вы скрываетесь отъ насъ?

Анюта залилась слезами. Долго не могла она произнести ни слова, и наконецъ сказала:

— Я уже три недѣли не получала отъ него писемъ.

— Какъ ? сказалъ Валентинъ. Ты говорила, что онъ часто пишетъ тебѣ, и что ты ждешь его.

— Сперва онъ писалъ, что скоро будетъ, но послѣднія письма его были какъ-то кратки и странны.

— Чѣмъ же ? Покажи ихъ намъ.

— Нѣтъ. Быть можетъ, мнѣ такъ показалось. Теперь я думаю, не боленъ ли онъ ?

— Это можно узнать. Я пошлю эстафету.

— Нѣтъ, не надо; лучше просто напиши къ нему.

— Я поѣхалъ бы самъ, сказалъ Валентинъ; но дѣло наше очень важно и требуетъ моего присутствія. Что дѣлать ?

— Подождать, сказалъ Ипполитъ Андреевичъ. Можетъ быть, онъ нездоровъ, или случилось что нибудь: вѣдь у него голова горячая !

— Сохрани Боже! произнесла Анюта, складывая руки съ умоляющимъ и робкимъ видомъ.

Въ тотъ же вечеръ, Валентинъ написалъ письмо къ Павлу и на другой день отправилъ его, но Анюта, измученная неизвѣстностью и сомнѣніемъ, нисколько не успокоилась. Слабое ея здоровье не выдержало новаго нравственнаго потрясенія : она едва двигалась, но не жаловалась, и избѣгала всякаго разговора о Павлѣ, хотя и днемъ, и ночью, думала о немъ. Валентинъ, забывая все и всѣхъ, сдѣлался ея нянней, ея неотлучнымъ спутникомъ; Зенеида показала и въ этомъ случаѣ всю нѣжность своего сердца. Забывъ тетку, сплетни, до-

машнія дразги, она проводила у Огинскихъ цѣлые дни, и возвращалась домой только вечеромъ, чтобы принимать гостей своихъ, посѣщавшихъ ее также усердно, какъ прежде. Крещенскій холодъ, захватывавшій дыханіе бѣдной Зенеиды, ждалъ ее дома: она вынесла его съ затаеннымъ страданіемъ, и не смотря на то, на слѣдующее же утро спѣшила опять къ Анютѣ, и сидѣла у нея цѣлый день, стараясь разсѣять ее своими разсказами. Иногда привозила она Таню, которая едва ли не съ перваго знакомства полюбила Анюту и ходила за нею, какъ сестра. Раздраженный и опечаленный Валентинъ не зналъ, что дѣлать. Онъ писалъ Павлу пять писемъ, которыя остались безъ отвѣта. Онъ рѣшился ѣхать въ Петербургъ, но при первомъ намекѣ на это намѣреніе, женщины возстали на него: Анюта такъ настойчиво упрашивала его остаться, что онъ, боясь еще больше огорчить и разстроить ее, сдался, какъ и всегда, на ея возраженія. Мысль о дуэли между нимъ и Павломъ пугала Зенеиду и Анюту. Валентинъ написалъ письмо къ сестрѣ своей, Границкой, и просилъ ее узнать подробно о Павлѣ. Письмо было послано тайно отъ Анюты, которая говорила, что не хочетъ знать отъ другихъ, что дѣлаетъ Поль.

Переговоривъ съ Валентиномъ, Ипполитъ Андреевичъ тайно уѣхалъ въ Петербургъ, не простившись съ Анютой; но это было напрасно. Не прошло и двухъ дней послѣ его отъѣзда, какъ однажды вечеромъ, Валентина вызвали изъ комнаты Анюты и подали ему письмо. Валентинъ сломилъ печать, и едва прочелъ нѣсколько строкъ, какъ чья-то рука вырвала письмо

изъ рукъ его. Онъ оглянулся: блѣдная, изхудалая, Анюта стояла позади его.

— Это ко мнѣ, это отъ него! сказала она отрывисто.

Она отошла въ сторону, быстро пробѣжала письмо, вскрикнула и упала почти безъ чувствъ на руки брата. Онъ отнесъ ее въ ея комнату. Судорожно держала она въ рукѣ смятое письмо, такъ что невозможно было взять его у ней. Опомнившись, она просила подвинуть свѣчку. Валентинъ медлилъ, но она повторила просьбу громкимъ, твердымъ голосомъ, такъ что онъ не смѣлъ противорѣчіемъ раздражать ее и подалъ ей свѣчу. Анюта сѣла и, расправивъ письмо, принялась читать его тихо, прерывая чтеніе глухими рыданіями, переходившими порою въ нервическій хохотъ, который она тотчасъ старалась подавить. На нее было страшно смотрѣть: Валентинъ былъ задавленъ ея страданіемъ. Когда Анюта дочла письмо, голова ея склонилась на подушку, и сама она оставалась нѣсколько минутъ безъ чувствъ, будто убитая. Организмъ ея не выносилъ потрясеній. Призвали доктора. Онъ объявилъ, что новое огорченіе подвергнетъ жизнь ея опасности. Около часа лежала она безъ движенія, потомъ просила оставить ее одну, и вставъ съ постели, дошла до кіота. Тамъ упала она на колѣна, и обильный потокъ слезъ облегчилъ ея растерзанное сердце. Черезъ нѣсколько минутъ дверь ея спальни тихо отворилась; увидѣвъ Валентина, она встала, и, отдавая ему письмо Павла, сказала тихо:

— Оставь меня, я постараюсь заснуть. Приходи завтра, мы поговоримъ.

Онъ поцѣловалъ ея руку, вышелъ и заперся въ своемъ кабинетѣ, чтобы прочесть письмо, содержаніе котораго онъ уже угадывалъ. Павелъ писалъ ему:

«Валентинъ, милый другъ мой, прости меня. Я безмѣрно виноватъ передъ тобою, и еще болѣе передъ сестрой твоею, къ которой писать не имѣю силы; я ее оскорбилъ такъ много, хотя люблю и уважаю очень искренно. Не вини меня однако, не выслушавъ: вина моя передъ вами огромна, но она была невольна. Когда сестра твоя была опечалена потерею матери, я ухаживалъ за нею, какъ за больнымъ ребенкомъ, я былъ тронутъ до глубины сердца ея тоскою, ея несчастіемъ, ангельскою кротостію, съ которою она переносила его, и принялъ за любовь и страсть простое, хотя и горячее участіе. Какъ я ошибся, Валентинъ, какъ я наказанъ за мою ошибку! Пріѣхавъ въ Петербургъ, я еще воображалъ, что люблю сестру твою, устраивалъ дѣла и хлопоталъ о скоромъ ихъ окончаніи. Но въ это самое время мнѣ суждено было узнать, что такое истинная страсть, дѣйствительная, неодолимая. Я случайно встрѣтилъ женщину, которая увлекла, поразила меня. Зачѣмъ тебѣ знать, кто она? Довольно сказать, что я тутъ только понялъ впервые, какъ ошибался въ моемъ чувствѣ къ сестрѣ твоей! Меня связывала съ нею одна симпатія, одна дружба, хотя и экзальтированная, но все же дружба, лишенная волненій и упоеній истинной страсти. Клянусь тебѣ однако, что я не колебался: я продолжалъ писать къ сестрѣ твоей, рѣшился ѣхать къ вамъ, пожертвовать собой, женившись на ней, и цѣною

всѣхъ радостей жизни заплатить за ужасную ошибку, связавшую меня съ нею. Но въ это время я узналъ, что любимъ тою, которую страстно люблю. Теперь посуди самъ, могъ ли я, жертвуя собой, жертвовать другою и сестрой твоею, чтобы исполнить обѣщаніе, данное подъ вліяніемъ заблужденія? Неужели сестра твоя должна была сдѣлаться жертвой моего намѣренія сдержать слово во что бы то ни стало? Что могъ я дать ей? Сердце, принадлежавшее другой, и позднія сожалѣнія о связавшей насъ цѣпи. Долго мучился я, Валентинъ; твои письма свинцовымъ гнетомъ ложились на мое сердце и возмущали мою совѣсть. Тяжело мнѣ, Валентинъ, и какъ бы ни было тяжко твое положеніе, оно не тяжеле моего. Если чувство прежней нашей дружбы проснулось въ тебѣ при чтеніи искренняго моего признанія, поди къ сестрѣ своей, вымоли у нея прощеніе, безъ котораго я не могу быть спокоенъ и счастливъ. Она безконечно добра: я знаю, она проститъ меня. Всю жизнь мою буду я вспоминать о ней и не перестану любить ее самою горячею братскою любовью. Валентинъ! Читая эти строки, незабудь, что въ продолженіе пятнадцати лѣтъ ты звалъ меня братомъ и другомъ, что я всегда останусь тѣмъ же для тебя, хотя бы ты отрекся отъ меня. Прости мнѣ, другъ мой, то невольное оскорбленіе, которое я нанесъ тебѣ; не вини меня, но судьбу, безжалостно смѣющуюся надъ нами. Она самовластно управляетъ нами, и не дай Богъ тебѣ испытать ея непреклонное, страшное могущество!»

Валентинъ бросилъ на столъ письмо и крѣпко сжалъ руками свою пылавшую голову. Въ эту минуту дверь

отворилась, и чей-то робкій голосъ просилъ позволенія войти. Это была Таня. Не дожидаясь отвѣта, она подошла къ Валентину.

— Сестра ваша уснула, сказала она; я вришла узнать, что вы дѣлаете?

— Читалъ письмо, и оцѣнилъ дружбу и любовь, сказалъ Валентинъ, горько улыбаясь.

Таня взяла письмо, прочла его, медленно свернула и положила на прежнее мѣсто. Валентинъ молчалъ, погруженный въ глубокую думу.

— Мнѣ жаль его, сказала Таня; онъ, конечно, виноватъ, но вина его не изъ тѣхъ, которыя нельзя ни понять, ни простить. Онъ ошибся, и....

— А за то, что онъ ошибся, сестра моя должна умереть или страдать цѣлые годы! Нѣтъ, этого не будетъ, и онъ заплатитъ мнѣ за ея страданіе! Кто ошибается, тотъ долженъ платиться за свои ошибки. Эй! Игнатъ! закричалъ онъ. Лошадей и подорожную! Завтра утромъ я ѣду въ Петербургъ.

— Зачѣмъ? сказала Таня. Вы, стало быть, рѣшились убить сестру своимъ отъѣздомъ? И что готовите вы ей въ будущемъ? Переживетъ ли она смерть единственнаго брата или смерть любимаго ею человѣка? Это ужасно!

Таня всплеснула руками.

— Стало быть, я долженъ разыграть роль труса или роль женщины слабой и беззащитной, и сидя у постели сестры, смотрѣть, какъ она медленно угасаетъ?

— Такъ вы, изъ самолюбія, хотите кровью покончить эту несчастную исторію? сказала Таня. Тяжело видѣть, что лучшій изъ мущинъ дѣлается злымъ и тераетъ разсудокъ, какъ скоро пострадало его самолюбіе.

Валентинъ сталъ ходить по комнатѣ.

— Нѣтъ! говорилъ онъ отрывисто. Я не могу молчать, не могу снести этой обиды, не могу видѣть страданій сестры!... Это выше силъ моихъ.... Мать мнѣ завѣщала беречь ее....

— Но теперь она не позволила бы вамъ защищать ее такимъ образомъ; беречь надо было прежде.

— Отъ кого? сказалъ Валентинъ горько, останавливаясь передъ Таней и складывая руки. Отъ кого? Отъ лучшаго моего друга! Могъ ли я предполагать такую низость!...

Долго говорилъ Валентинъ. Таня молчала, боясь раздражить его противорѣчіемъ. Къ утру, Игнатъ уже уложилъ чемоданъ своего господина и отправился за подорожною. Таня опять явилась въ кабинетъ Валентина, который не спалъ всю ночь.

— Такъ вы ѣдете? спросила она дрожавшимъ голосомъ.

— Ѣду.

— Рѣшительно?

— Рѣшительно.

— Вы не боитесь послѣдствій?

— Я не долженъ, я не могу поступить иначе, сказалъ онъ.

Таня вышла изъ комнаты.

— Не говорите ничего сестрѣ, сказалъ ей въ слѣдъ Валентинъ. Вы убьете ее этимъ, и я никогда не прощу вамъ....

Она взглянула на него и поблѣднѣла.

— Таня, я вѣрю вамъ, прибавилъ онъ. Вы слишкомъ меня любите, чтобы безъ пользы заставить меня бороться съ просьбами и слезами женщины.

Онъ думалъ о Зенеидѣ. Но Таня не думала о ней: она знала, что Анюта одна могла имѣть вліяніе въ дѣлѣ, касавшемся до нея одной.

Она вышла. Валентинъ остался одинъ и машинально перебиралъ свои бумаги. Видно было, что мысль его была далеко отъ нихъ: порою блиставшіе глаза и судорожное подергиваніе лица говорили о внутреннемъ мучительномъ волненіи. Вдругъ дверь его кабинета отворилась съ шумомъ, и Анюта внезапно явилась передъ нимъ, будто привидѣніе; она была такъ блѣдна, что лице ея было одного цвѣта съ бѣлымъ платьемъ, накинутомъ на ея плеча, и неубранные волосы безпорядочными прядями висѣли до пояса.

— Куда ты ѣдешь? спросила она испуганнымъ и дрожавшимъ голосомъ.

Онъ молчалъ.

— Ты ѣдешь? Куда? Я хочу знать, проговорила она съ энергіей отчаянія.

Онъ взялъ ее за талію и увлекъ на диванъ. Бѣдная дѣвушка дрожала, какъ въ лихорадкѣ: зубы ея стучали,

Валентинъ вспомнилъ, что говорилъ ему докторъ, и страшно испугался.

— Я никуда не ѣду, сказалъ онъ спокойно. Кто сказалъ тебѣ такую нелѣпость?

Онъ вспомнилъ о Танѣ и въ эту минуту почувствовалъ ненависть къ ней.

— Зачѣмъ же укладываютъ твои вещи? сказала Анюта, какъ бы въ лихорадочномъ бреду. Валентинъ, не обманывай меня! Сердце говоритъ мнѣ, что ты не захочешь оставить этого такъ, но надо, необходимо позабыть это.... Слышишь, позабыть.... Вспомни, что мы виноваты сами, и я больше всѣхъ. Я знала Поля, продолжала она дрожавшимъ голосомъ; я знала съ дѣтства, какъ онъ опрометчивъ, пылокъ, неосторожонъ, какъ легко увлекается, и, не смотря на это, повѣрила ему по первому слову. Виновата я, а не онъ. Бѣдный Поль! Какъ тяжело ему было написать письмо, которое ты получилъ вчера!

Эти слова возмутили Валентина.

— Жалѣть! Его жалѣть! сказалъ онъ съ негодованіемъ.

Она бросилась ему на шею, закрыла ему ротъ рукою и оросила лице его горячими слезами.

— Молчи, говорила она рыдая, молчи, и слушай меня. Ты гордъ, пожертвуй для меня своею гордостью; ты самолюбивъ, откажись для меня отъ своего самолюбія. Я имѣю право распоряжаться собою и не хочу идти замужъ за Павла. Слышишь, я отъ него отказываюсь!

— Да, когда онъ безжалостно уничтожилъ твое спокойствіе. Чего ты требуешь отъ меня? Неужели....

— Скажи мнѣ прежде, чего ты хочешь отъ Поля?

— Чтобы онъ отдалъ мнѣ отчетъ въ своемъ поступкѣ. Я хочу привести его къ ногамъ твоимъ. Пусть онъ проситъ руки твоей.

— Какъ! Навязывать меня ему! Я слишкомъ горда, слишкомъ цѣню себя для того, чтобы итти за человѣка, который не любитъ и никогда не любилъ меня. Такъ вотъ она, твоя любовь ко мнѣ! Одно самолюбіе и желаніе мести! Но я, я прощаю его; мало того, я благословляю его на счастіе съ другою.

— Я не могу простить его, и не прощу! произнесъ Валентинъ чуть слышно.

— Не говори же мнѣ, что ты любишь меня! Поѣзжай, убей его, или заставь убить себя. Я не вѣрю, чтобы это могло кончиться иначе. Онъ не покорится твоей волѣ, не придетъ у ногъ моихъ молить о рукѣ моей, да еслибъ онъ и былъ способенъ на это, то знай, что этимъ ты убьешь одну меня, потому что такой поступокъ лишитъ меня уваженія къ тому, кого я такъ нѣжно любила. Теперь у меня осталось это послѣднее утѣшеніе. Да, я уважаю его за его мужество и силу, заставившія его сказать намъ правду, но ты можешь лишить меня и этой послѣдней отрады. Ахъ, маменька, маменька! Еслибъ ты была еще съ нами, ты охранила бы меня, ты, вмѣстѣ со мною, убѣдила бы его остаться!

Она прижалась къ нему и горько плакала.

— Не убивай меня! Твой отъѣздъ убьетъ меня! повторяла она умоляющимъ голосомъ.

— Что же мнѣ дѣлать? сказалъ онъ съ отчаяніемъ, какъ бы разсуждая самъ съ собою.

— Любить меня, сказала она обнимая его, и прижимая лице свое къ его лицу; утѣшать меня, жить со мною, помочь мнѣ забыть любовь мою, и воскресить меня къ другой жизни. Вспомни маменьку: она говорила....

Анюта не могла продолжать; помолчавъ, она сказала слабымъ голосомъ:

— Вспомни маменьку и прости его. Ты думаешь, тебя будутъ обвинять: пусть обвиняютъ, но я знаю, я пойму все; мало того, онъ, Павелъ, знаетъ тебя, онъ также пойметъ все, какъ поймутъ всѣ люди, любящіе насъ и близкіе намъ.

Она обернулась на шумъ скрипнувшей двери и сказала:

— Таня, это вы? Войдите....

— Что вы съ нею дѣлаете? Взгляните на нее, сказала Таня, обращаясь къ Валентину.

— Анюта, пусть будетъ какъ тебѣ угодно! воскликнулъ Валентинъ, испуганный блѣдностью сестры. Только не говори мнѣ ни о чемъ, не требуй отъ меня ничего болѣе. Я постараюсь забыть о его существованіи...

Она склонилась къ нему, но не говорила ни слова и молча плакала. Черезъ нѣсколько времени Таня убѣдительно просила ее идти отдохнуть, но она какъ будто боялась оставить брата одного. Онъ замѣтилъ это и далъ

ей слово не отлучаться никуда. Таня шепнула ей что-то на ухо, и она ушла, опираясь на ея руку. Всѣ эти потрясенія были слишкомъ сильны для Анюты: она въ тотъ же день занемогла тою изнурительною болѣзнію, для которой врачи еще не пріискали другаго лѣкарства, кромѣ перемѣны воздуха. Зенеида и Таня ни на минуту не оставляли Анюты и усердно заботились о ней. Однажды Валентинъ, выходя отъ сестры, сказалъ Танѣ съ укоромъ:

— Что вы съ нею сдѣлали?

— Вы думаете, было бы лучше, еслибъ вы уѣхали? сказала она рѣшительно.

Валентинъ замолчалъ.

Черезъ нѣсколько дней Ипполитъ Андреевичъ пріѣхалъ изъ Петербурга. Онъ повторилъ Валентину почти тоже, что писалъ Павелъ, и прибавилъ отъ себя только одну новость, которая какъ-то особенно поразила Валентина. Женщина, въ которую былъ влюбленъ Павелъ, была Ельцова. Княгиня Границкая писала тоже самое; письмо ея оканчивалось сожалѣніемъ объ Анютѣ и очень строгимъ отзывомъ о Павлѣ, котораго она называла вѣтренымъ и пустымъ повѣсой, удивляясь легкомыслію сестры, рѣшившейся выйти замужъ за извѣстнаго шалуна, и неосторожности Валентина, согласившагося на такую глупость. Ипполитъ Андреевичъ передалъ Валентину слова княгини Границкой, которая говорила ему, что при богатствѣ Анюты, въ женихахъ недостатка не будетъ. Она даже предлагала взять Анюту къ себѣ въ домъ, находя, что настоящее мѣсто Анюты у нея, а не

у холостаго брата. Старикъ замѣтилъ въ заключеніе, что только передаетъ Валентину мнѣніе сестры, но самъ нисколько не сочувствуетъ ни ей, ни ея жизни, на которую въ продолженіе недѣли довольно насмотрѣлся.

— А что? спросилъ Валентинъ.

— Она въ гостяхъ, мужъ въ клубѣ, а дѣти остаются одни съ какими-то гувернерами и гувернантками, слишкомъ усердно занятыми другъ другомъ, а не дѣтьми, сказалъ старикъ угрюмо.

Свиданіе Анюты съ Ипполитомъ Андреевичемъ было очень трогательно и еще болѣе разстроило больную. Она слегла въ постель, и медленная лихорадка мало-по-малу уничтожила послѣднія ея силы. Никакія лѣкарства не помогали ей, никакіе разговоры не разсѣивали ея. Болѣзнь Анюты огорчала Зенеиду, хотя къ этому чувству и примѣшивалось, быть можетъ, безсознательно, нѣчто эгоистическое. Безпрестанно заботясь о сестрѣ, не отходя отъ нея, Валентинъ очень рѣдко могъ видѣть Зенеиду одну. На консиліумѣ доктора рѣшили, что Анюту необходимо везти въ чужіе краи., на воды; Валентинъ не колебался, и когда объявилъ объ этомъ Зенеидѣ, она была поражена и уничтожена. Валентинъ былъ глубоко огорченъ новою разлукой, но утѣшалъ Зенеиду и увѣрялъ ее, что какъ только Анютѣ будетъ лучше, онъ тотчасъ возвратится, и что думаетъ провести за границей только лѣто. Однажды онъ сказалъ ей:

— Если случится, что мы останемся за границей на зиму, то ты можешь пріѣхать туда же. Ты еще нигдѣ не была, ничего не видала: никому не покажется страннымъ, что ты поѣдешь путешествовать.

— А тетушка? Она никогда не согласится, сказала Зенеида съ глубокимъ унынiемъ.

Онъ не настаивалъ, и она покорилась обстоятельствамъ. Вмѣсто того, чтобы отдохнуть подлѣ Зенеиды отъ заботъ о больной сестрѣ, отъ утомительныхъ дѣлъ и глубокой грусти, овладѣвшей имъ послѣ всѣхъ послѣднихъ горестныхъ событiй, Валентинъ принужденъ былъ говорить съ нею, какъ съ ребенкомъ, и утѣшать ее въ то время, когда самъ нуждался въ утѣшенiи. Сверхъ того, скопившiяся дѣла не давали ему ни минуты покоя. Къ счастiю, передъ самымъ отъѣздомъ, онъ выигралъ свой процессъ и могъ провести послѣднiе дни съ Зенеидой. Бѣдная женщина истомилась горемъ, и когда проводила отъѣзжающихъ до Петровскаго дворца и тамъ еще разъ простилась съ ними, была до того уничтожена, что не могла много плакать и съ глубокимъ унынiемъ глядѣла во слѣдъ кареты, увозившей того, кого любила она всѣми силами души своей. Пріѣхавъ домой, она глубоко почувствовала свое одиночество, и съ этого времени часто посылала за Таней: съ нею одной могла она говорить о немъ. Эти двѣ женщины уже давно не враждовали между собою и, жалѣя одна другую, находили отраду во взаимныхъ утѣшенiяхъ.

ГЛАВА VII.

Не задолго до начала нашего расказа, въ одинъ изъ большихъ домовъ Никитской улицы переселилось семейство, состоявшее изъ мужа, жены и ихъ двадцатилѣтней дочери. Казалось, семейство это ожидало кого-то, потому что одна комната была не занята, и стояла чисто убранная, готовая къ пріему пріѣзжаго. Въ смежной комнатѣ была зала, а далѣе небольшая гостиная, также убранная чисто, но безъ роскоши. На диванѣ сидѣла хозяйка, Варвара Никитишна, женщина лѣтъ пятидесяти восьми, довольно небрежно одѣтая въ ситцевую блузу, а подлѣ окна, за рабочимъ столикомъ, помѣстилась дочь ея, высокая черноволосая дѣвушка, довольно щегольски одѣтая въ темное шерстяное платье, съ бѣлыми какъ снѣгъ полотняными манжетами и воротничкомъ. Она сидѣла молча. Мать варила кофе на спиртѣ, суетилась, и, наливъ чашку, подала ее дочери.

— Кушай, сказала она. Хорошъ ли кофе? Угодила ли тебѣ?

— Сегодня сносенъ, сказала дѣвушка, отвѣдавъ кофе.

— Сносенъ! повторила мать добродушно. Ужъ если ты говоришь, что сносенъ, то значитъ, онъ очень вкусенъ.

Она улыбнулась и, казалось, ждала улыбки на устахъ дочери, но та пила кофе очень серьозно и не замѣчала матери, которая, подождавъ еще слова или взгляда, отошла медленно, усѣлась на свое мѣсто и принялась за свою чашку. Порою она взглядывала на дочь и наконецъ сказала ей:

— Что ты такая серьозная? Слова отъ тебя не добьешься. О чемъ ты думаешь?

— Мало ли о чемъ, отвѣчала дочь недовольнымъ тономъ. Вы думаете, что довольно удачнаго кофе или пирога, чтобы я была счастлива на цѣлый день!

— Да чегожъ тебѣ надо? Ужъ кажется, о тебѣ ли я не забочусь, тебя ли не люблю? Послѣднее рада отдать тебѣ въ угоду.

— Отдаете вы то, чего мнѣ не нужно. Вы думаете, мнѣ весело сидѣть одной по цѣлымъ днямъ, и послѣ обѣда слушать безконечные расказы папеньки о томъ, что происходило утромъ въ депутатскомъ собраніи!

— Такъ поѣзжай въ гости: хочешь, поѣдемъ сегодня вечеромъ къ Зоптовымъ..

— А что я буду тамъ дѣлать? Слушать ихъ толки о балахъ, на которые я не приглашена, да глядѣть на ихъ

чванство ? Наше имя получше и постариннѣе ихъ имени, хотя мы и не такъ богаты, какъ они.

— Такъ поѣдемъ въ театръ ; у меня есть теперь лишнія деньжонки : я возьму ложу.

— Хорошъ театръ! Можно умереть со скуки! Театръ мнѣ надоѣлъ.

— Погоди , Анночка , вотъ братъ пріѣдетъ, будетъ веселѣе.

— Да , ждите его ! Онъ ужъ шесть мѣсяцовъ пишетъ , что будетъ , а до сихъ поръ не бывалъ. Признаться сказать, чего онъ не видалъ здѣсь ? Скука, тоска, да домашніе хлопоты и недостатки ! Того и гляди , что поворотитъ лошадей, да ускачетъ опять въ Петербургъ жить по прежнему ; ему хорошо тамъ: всѣ деньги наши туда уходятъ.

— Нельзя же оставить брата безъ гроша ! отвѣчала мать горячо , задѣтая , какъ видно, за чувствительную струну. Онъ служитъ на видномъ мѣстѣ , онъ имѣетъ знатный кругъ знакомства : ему надо много денегъ. Извѣстно, безъ денегъ нельзя жить въ модномъ свѣтѣ.

— Да , и по этому, мы сидимъ здѣсь съ сальными свѣчами.

— Не грѣши, Анночка! Въ твою комнату не смѣютъ подать никакихъ другихъ свѣчъ, кромѣ стеариновыхъ.

Но дочь не обратила вниманія на это возраженіе и продолжала съ жаромъ.

— У васъ на умѣ и на языкѣ : сынъ, да сынъ ; вы забываете, что я сама на возрастѣ, что мнѣ давно пора выѣзжать. Да вы объ этомъ не заботитесь!

— Ахъ, Анночка! возразила мать. Богъ видитъ, какъ я забочусь о тебѣ! Вотъ и нынѣшнею зимой старалась кое съ кѣмъ познакомиться, да трудно это безъ состоянія и связей. Знатные родные наши всѣ въ Петербургѣ, и Богъ вѣсть, помнятъ ли еще о насъ, а здѣсь у насъ никого нѣтъ.

— Папенька по службѣ въ близкихъ сношеніяхъ съ графомъ Д. и съ Петромъ Петровичемъ Т. Что вы ему не скажете, чтобъ онъ познакомилъ насъ въ этихъ домахъ?

— Вотъ то-то и есть, что говорила, а отецъ отвѣчалъ, что сдѣлать это совсѣмъ не такъ легко; что графиня женщина гордая, имѣетъ свой кругъ и очень неохотно заводитъ новыя связи. Отецъ твой говоритъ, что онъ уже старъ, да и съ молоду-то спина его не гнулась.

— Такъ чтожъ мнѣ, по вашему, сидѣть вѣкъ въ заперти, да состарѣться дѣвушкой?

— Сама виновата: сколько разъ я просила тебя ѣхать на балъ въ Собраніе, или къ Захаровымъ, къ Вольскимъ! Ужъ какъ они просили насъ пріѣхать! Такъ нѣтъ, не захотѣла. Обѣщала, а потомъ раздумала.

— Маменька, вѣдь я вамъ тысячу разъ повторяла, что не стану ѣздить по Собраніямъ и въ Замоскворѣчье. Хороши выѣзды, нечего сказать! Ужъ лучше буду дома сидѣть цѣлый вѣкъ, чѣмъ туда покажусь. Меня тамъ сочтутъ также Замоскворѣцкою, и никогда не пригласятъ въ порядочные дома.

— То-то и бѣда наша, сказала старуха, вздыхая, что мы хотимъ быть только что не при Дворѣ, хотимъ

ѣздить туда, куда насъ не зовутъ, и не хотимъ знаться съ добрыми людьми, которые намъ всегда рады.

— Я не виновата, что у васъ нѣтъ гордости, а я знаю, что если у меня нѣтъ денегъ, за то есть имя; что я не хуже другихъ, и воспитана для большаго круга. Если вы хотѣли запереть меня дома или вывозить въ мѣщанскіе дома, то зачѣмъ такъ воспитывали?

Старуха покачала головой, вздохнула еще разъ и принялась вязать длинное шерстяное одѣяло. Анна, или Анночка, какъ звала ее мать, сѣла за пяльцы, и въ гостиной водворилось глубокое молчаніе, прерываемое только трѣніемъ шерсти о канву. Черезъ нѣсколько минутъ, въ передней раздался громкій звонокъ; колокольчикъ звонко залился, а секунду спустя зазвенѣлъ еще сильнѣе.

— Охъ, ужь этотъ Васька, вѣчно гдѣ нибудь болтается! сказала мать, и встала съ дивана.

— Куда вы это? спросила Анночка. Опять отворять дверь, какъ намедни? Вѣдь я сгорѣла отъ стыда, когда вы сами отворили дверь Петру Ильичу, пріѣзжавшему къ папенькѣ Ну, какъ ему послѣ этого знакомить жену свою съ нами!

— Надоѣла! сказала Варвара Никитишна съ досадой и поспѣшно вышла въ дѣвичью, а между тѣмъ колокольчикъ продолжалъ звенѣть въ передней съ краткими перерывами, какъ будто звонившій намѣревался оглушить хозяевъ.

Горничная Дуняша бросилась наконецъ опрометью къ двери и, отворивъ ее, вскрикнула такъ громко, что

Анночка невольно поднялась съ мѣста. Ей послышались поцѣлуи, слезы и восклицанія матери; она поняла, что пріѣхалъ братъ и вышла къ нему на встрѣчу. Черезъ нѣсколько минутъ Анночка и Варвара Никитишна, вошли опять въ гостиную, ведя за руки молодаго человѣка, въ которомъ читатели, конечно, угадали уже знакомаго намъ Армалева.

— Маменька, говорилъ онъ, пошлите кого нибудь на почту за моимъ багажемъ, да прикажите отдать четвертакъ извощику: онъ дожидается внизу.

— Сейчасъ, другъ мой, сказала Варвара Никитишна и бросилась было изъ комнаты, но остановилась у дверей и проговорила скоро: Ужъ какъ радъ будетъ отецъ! Ужъ какъ онъ ждалъ тебя!

Братъ и сестра остались одни. Они окинули другъ друга взглядомъ съ головы до ногъ.

— Какъ ты выросла и похорошѣла, сказалъ братъ.

— А ты все тотъ же, сказала сестра.

— Въ мои лѣта не мѣняются такъ скоро. Вѣдь, кажется, всего три года, какъ я не видалъ васъ.

— Да, ты пріѣзжалъ тогда къ намъ въ деревню дня на четыре.

— Помню, помню. Ну, а гдѣ моя комната? Отведи меня туда, мнѣ надо переодѣться.

Она провела брата въ приготовленную для него небольшую комнату.

— Тѣсненько, сказалъ онъ; ну, а гдѣ же помѣстится мой камердинеръ, и гдѣ будетъ моя уборная?

Анночка засмѣялась.

— Гдѣ хочешь, сказала она. У насъ не дворецъ, мы и такъ отдали тебѣ лучшую комнату. Впрочемъ, поговори съ маменькой.

Въ эту минуту Варвара Никитишна вошла въ комнату. Леонъ повторилъ ей вопросъ: старуха совсѣмъ растерялась.

— Человѣкъ твой можетъ помѣститься съ Семеномъ, сказала она; ну, а уборная твоя будетъ тутъ же, или въ залѣ: по утрамъ туда никто не ходитъ.

— Что вы, маменька, какъ можно въ залѣ? Я встаю поздно. Ну, да какъ нибудь устроимся.

Но устроиться было довольно трудно, также трудно, какъ и помѣстить камердинера съ Семеномъ. Камердинеръ этотъ, пріѣхавъ съ богажемъ, удивилъ всѣхъ своими развязными манерами и щегольскимъ нарядомъ. На длинной перевязи висѣла у него черезъ плечо англійская сумка, а за черкесскимъ поясомъ съ насѣчкою, перехватывавшемъ его коротенькій дорожный сюртучекъ, была заложена серебряная фляжка, вѣроятно, съ хересомъ. Огромный чемоданъ барина, небольшой чемоданъ слуги и три-четыре шкатулки, изъ которыхъ одна оказалась несессеромъ, были принесены и загородили часть маленькой столовой. Камердинеръ Леона довольно дерзко взглянулъ на столовую, вошелъ въ маленькую комнату, гдѣ сидѣлъ господинъ его съ своею сестрой и матерью, поклонился имъ очень вѣжливо и, обращаясь къ барину, спросилъ:

— Куда прикажете отнести вещи ?

Этотъ вопросъ не понравился Леону; онъ отвѣчалъ отрывисто:

— Вещи оставь въ залѣ , а несессеръ подай сюда. Когда пріѣдетъ батюшка, я распоряжусь.

Камердинеръ вышелъ, а Леонъ, обращаясь къ матери, сказалъ ей по-французски:

— Найдите, пожалуйста, уголокъ для моихъ вещей и для моего человѣка. Онъ привыкъ имѣть особую комнату. Да оставьте меня одного на минуту, я переодѣнусь.

Варвара Никитишна взяла сына за голову и разцѣловала ее; онъ, въ свою очередь, поцѣловалъ ея руку, но, по видимому, сдѣлалъ это больше для формы, чѣмъ по чувству.

— Ну , Пименовъ, сказалъ онъ своему человѣку, оставшись съ нимъ въ комнатѣ , ты здѣсь не требуй многаго. Старики мои не ожидали меня, квартира небольшая: приходится жить какъ на бивакахъ.

— Не въ первой , сказалъ Пименовъ лаконически; какъ нибудь справимся.

Армалевъ приступилъ съ особенною заботливостью къ своему туалету.

— Надо бы намъ взять кого нибудь для посылокъ, сказалъ Пименовъ, помогая своему господину, а то здѣшніе какіе-то олухи: смотрятъ, выпяля глаза, и ни съ мѣста.

— Пріищи, это твое дѣло, отвѣчалъ Леонъ.

Черезъ часъ старикъ Иванъ Ивановичъ Армалевъ возвратился изъ присутствія и, узнавъ о пріѣздѣ сына, очень обрадовался. Это былъ высокій, степенный и чинный старикъ, одѣтый во фракъ съ форменными пуговицами; высокій галстугъ съ пряжкой назади туго стягивалъ его шею, въ слѣдствіе чего старикъ держалъ голову прямо и неподвижно; коротко подстриженные волосы его были напомажены и тщательно приглажены. Анна съ короной висѣла на груди его. Онъ разцѣловался съ сыномъ, какъ обыкновенно христосовался съ подчиненными, и, усѣвшись подлѣ него, взглянулъ на него съ нѣкоторой нѣжностью.

— Ну, какъ ты поживаешь? сказалъ онъ. Надолго ли къ намъ?

— Я взялъ полугодовой отпускъ, отвѣчалъ сынъ.

— Хорошо, хорошо; а то давненько невидались. Пять лѣтъ въ службѣ, а былъ только одинъ разъ въ отпуску, да и то всего на пять дней.

— Да, вы были въ деревнѣ, а я пріѣхалъ въ Москву на короткое время и замѣшкался въ городѣ.

— Знаю, знаю, повеселиться не мѣшаетъ послѣ трудовъ.

Тутъ старикъ началъ безконечный разговоръ о службѣ сына, его начальникахъ и сослуживцахъ.

— Ну, а у родныхъ бываешь? спросилъ онъ потомъ.

— Какже. Сперва, они приняли меня довольно хо-

лодно; потомъ, встрѣчая меня вездѣ, стали внимательнѣе, и теперь я свой человѣкъ и у князя Ивана и у Столбиной.

— Да вѣдь ты имъ племянникъ ?

— Все такъ, батюшка , да тамъ считаютъ родными только тѣхъ, кто живетъ въ томъ же кругу, а другихъ и знать не хотятъ.

— Вотъ времена-то какія , сказалъ старикъ , качая головою. Родства скоро вовсе знать не будутъ.

— Конечно, если оно не доставляетъ ни выгодъ, ни удовольствій. Ну, а какъ дѣла ваши ? Доходы хороши?

— Какъ тебѣ сказать ? И хороши, и нѣтъ. Сперва-то мы живали въ деревнѣ до зимняго пути, а теперь твоя сестра невѣста, такъ мы пріѣзжаемъ по осени. Надо же ее потѣшить.

— Она много выѣзжаетъ ? спросилъ Леонъ.

— Куда много! Мать твоя и въ молодости не была охотницею до выѣздовъ, а теперь и вовсе отстала отъ свѣта ; вся эта знать народъ спѣсивый , а я кланяться не люблю.

— Это однако надо бы устроить какъ нибудь , сказалъ Леонъ разсѣянно.

— Ну, какъ знаете, такъ и дѣлайте, только на меня не расчитывайте. Я не мастеръ тереться въ пріемныхъ, да вымаливать приглашенія.

Леонъ вспыхнулъ.

— Сохрани Богъ, батюшка, сказалъ онъ. Это сдѣлается само собою.

— Готовъ ли ты, Левинька? Скоро выдешь къ намъ? раздался голосъ старухи за дверью. Кушанье поставлено.

Леонъ, уже окончившій свой многосложный туалетъ, вышелъ въ столовую.

— Фу! фу! фу! Какой молодчикъ, сказала мать; посмотри-ка, Анночка: кровь съ молокомъ!

— Полноте, маман, сказалъ Леонъ, по видимому, не очень довольный мѣщанскимъ восторгомъ матери.

Онъ подалъ ей руку и усадилъ ее, а самъ сѣлъ подлѣ. Во все продолженіе обѣда, семейство Армалевыхъ занято было разговорами о Петербургѣ, о знакомствахъ, связяхъ и надеждахъ сына. Въ этотъ первый день свиданія, отецъ и мать, казалось, были очарованы его умомъ, обхожденіемъ и разговорами, особенно мать была въ восторгѣ и не могла довольно налюбоваться на своего Левиньку. Анночка, по прежнему, держала себя съ достоинствомъ и не хотѣла обнаружить своего уваженія къ брату, хотя онъ и внушилъ ей уваженіе къ себѣ, расказывая о своихъ успѣхахъ въ обществѣ и о видномъ мѣстѣ, которое онъ самъ собою, безъ помощи постороннихъ лицъ, занялъ въ свѣтѣ. Когда кончился обѣдъ, Леонъ повелъ мать въ гостиную, а старикъ отецъ, развеселившійся по случаю пріѣзда сына, подалъ руку дочери, говоря:

— Ну, царевна, а я поведу тебя.

Противъ обыкновенія, Аннючка удостоила отца улыбкой. Всѣ сѣли въ гостиной, и старикъ спросилъ кофе. Варвара Никитишна встала.

— Куда вы, maman? сказалъ Леонъ. Позвольте, я прикажу.

— Нѣтъ, нѣтъ, сиди съ отцомъ.

— Оставь ее; это по ея части, сказалъ Иванъ Ивановичъ.

Леонъ отвыкъ отъ дому: онъ забылъ, что ключи отъ чайницы, сахара и кладовой хранились всегда у матери.

— Комнаты тѣсненьки, сказалъ Леонъ отцу, садясь подлѣ него; впрочемъ, онѣ очень не дурны.

— Что это ты? возразилъ отецъ. Да мы только потому и взяли квартиру побольше, что ждали тебя. Вѣдь насъ только трое.

— Ну, а если придется гостей принять? спросилъ Леонъ.

— До гостей ли, когда надо концы съ концами сводить, а иногда потѣшить сестру нарядомъ или ложей?

— Развѣ дѣла такъ плохи? спросилъ сынъ съ озабоченнымъ видомъ.

— По прежнему. Вся недолга: доходу у насъ когда двадцать, когда двадцать двѣ тысячи, изъ нихъ тебѣ посылаемъ восемь, а когда и больше; въ ломбардъ платимъ шесть слишкомъ, такъ чтожъ остается? Кажется, счеты гладки, свести не трудно.

Леонъ задумался; въ это время вошла Варвара Никитишна; за нею шелъ довольно неуклюжій лакей съ подносомъ въ рукахъ.

Поставивъ подносъ на столъ, онъ подошелъ къ рукѣ молодаго барина. Леонъ смутился.

— Не надо, не надо, говорилъ онъ; но худо выбритый и жирно напомаженный лакей ловилъ его руку и, одолѣвъ наконецъ всѣ препятствія, чмокнулъ ее на всю гостиную.

— Какіе еще у васъ Эскимосы, сказалъ Леонъ, когда слуга вышелъ изъ комнаты.

— Развѣ ты не узналъ его? сказала Варвара Никитишна. Это Андрей. Помнишь Андрюшку, который, когда ты былъ маленькій....

— Э, маменька! Очень нужно ему знать, какой это Андрей или Андрюшка! сказала Анна. Я думаю, ему это все равно, лишь бы не пришлось еще разъ видѣть около своего лица сальную его голову.

— Почему же, сказалъ отецъ важно и добродушно, почему же и не вспомнить стараго слугу? Это было бы обидно для него. Гордость грѣхъ, да и христіанскій долгъ научаетъ насъ любить и пещись о слугахъ нашихъ. Андрей вѣрно былъ радъ увидѣть барина.

— Признайтесь однако, батюшка, сказалъ Леонъ шутя, что ваши московскіе лакеи народъ дикій и непрезентабельный. Подойдетъ этакъ къ ручкѣ при комъ нибудь, вѣдь осрамитъ, совсѣмъ осрамитъ! Ce sont des sauvages, de vrais sauvages.

— То-то и есть, сказалъ отецъ съ недовольнымъ видомъ, что отъ стараго-то вы всѣ отстали: все не мило, не хорошо, все осуждаете; а развѣ новое лучше? Развѣ лучше ваши золотомъ разшитые лакеи? Всѣ они плуты отъявленные! Ихъ и здѣсь развелось не мало. Пріѣдешь, вотъ хоть бы къ князю Ивану: они осаж-

дают приступом, то с праздником, то с чином поздравляют: отбоя нет. А где не поздравляют, так грубияны страшные, едва на вопросы отвечают, едва шинель подадут, точно сами господа. Знати-то набрались.

— Это вина хозяев, сказал Армалев, зевнув во весь рот.

— Ты устал, сказала мать; поди отдохнуть, дружечек. Я думаю, ночи три не спал?

— Не могу сказать. Я ехал с экстрой: карета покойно устроена. К тому же, чтобы не иметь соседа, я взял себе оба места внутри.

Анночка едва заметно улыбнулась.

Леон вышел. Он долго не мог заснуть: жесткою и непокойною казалась ему постель, постланная на скорую руку: тюфяк был слишком жесток, бельe слишком грубо, и все в родительском доме казалось ему как-то бедно и скупо.

На другой день, оставшись один с сестрою, он сказал ей:

— Ну, теперь поговорим о деле. Ты должна знать все. Неужели батюшка действительно сводит только концы с концами, и не имеет капитала в запасе?

— Капитала у него нет, но за то нет и долгу. Он сказал тебе вчера всю правду: посылая тебе восемь тысяч, он сам оставляет только шесть на прожиток. Ты видишь, как мы живем.

— Да, не красиво и не широко, сказалъ Леонъ и задумался. Это, однако, скверно, продолжалъ онъ послѣ минутнаго молчанія.

— А тебѣ что? сказала она. Ты живешь весело, хорошо, получаешь одинъ восемь тысячь.

— Это много, по твоему?

— Очень достаточно.

— Какъ бы не такъ! Восемь тысячь въ Петербургѣ, въ столицѣ, это почти ничего! Я ѣхалъ сюда въ надеждѣ.... Теперь не знаю, что дѣлать. Съ старикомъ говорить трудно, но мнѣ необходимы деньги.

— Гдѣ же взять ихъ? сказала она.

— Занять. У меня долги; я обѣщалъ расплатиться по возвращеніи.

— Сколько ты долженъ? спросила она.

Сердце ея сильно билось. Она знала, что долги брата отзовутся лишеніями на ихъ домашней жизни, а слѣдовательно, и на ней самой.

— Бездѣлицу: пятнадцать тысячъ, отвѣчалъ Леонъ.

— Ассигнаціями? спросила сестра.

— Серебромъ, отвѣчалъ братъ отрывисто. Кто же нынче считаетъ на ассигнаціи?

— Это ужасно, Леонъ! Посмотри, что батюшка разсердится, если ты скажешь ему объ этомъ. Онъ такъ аккуратенъ и самъ никогда не дѣлалъ долговъ. Лучше и не проси у него денегъ.

— Невозможно: крайность!

— Я тебѣ заранѣе говорю, что батюшка не дастъ тебѣ денегъ. Къ тому же, если тебѣ мало восьми тысячъ, то ты вскорѣ опять задолжаешь.

— Разумѣется, я и самъ объ этомъ думалъ. Развѣ жениться здѣсь: у васъ должны быть богатыя невѣсты. Только на уродѣ я и за милліоны не женюсь.

— Ты, стало быть, пріѣхалъ жениться?

— Отчасти.

— Это умно придумано. Ты хорошъ собою, служишь счастливо, фамилія у тебя старинная, не мѣщанская: тебѣ легко жениться. Ѣзди въ свѣтъ, заведи знакомства.

— Я такъ и думалъ, отвѣчалъ Леонъ, закручивая глянцовитые усы свои. Ну, кто здѣсь невѣсты?

— Говорили о Волынской, но, кажется, она выходитъ замужъ или влюблена.

— Ну, Богъ съ нею! Кто еще?

— Да что далеко искать, самая богатая невѣста — сестра твоего друга, Анюта Огинская.

— У нихъ процессъ, я слышалъ.

— Ужъ выигранъ. Братъ, говорятъ, дастъ ей двѣ тысячи душъ въ приданое. Она въ прошломъ году выѣзжала съ Воротынскою.

— А Валентинъ въ Москвѣ? Я сегодня же поѣду къ нему.

— Онъ еще прошлою весной уѣхалъ съ сестрою за границу; ихъ ждали осенью, но они не пріѣхали; мнѣ говорили, что они будутъ здѣсь къ Новому Году.

— Жаль; все ждать, да ждать, а тамъ еще удастся ли.

— Пока осмотрись, выѣзжай; можетъ быть и встрѣтишь кого нибудь.

Оба замолчали.

— Нельзя ли намъ устроть домъ по приличье? сказалъ Леонъ.

— То-есть, квартиру, возразила Анна, улыбаясь; какой у насъ домъ?

— Ну да, квартиру. Она маленькая, но порядочная, еслибъ только не эти Васьки, Яшки и прочіе. Зачѣмъ маменька зоветъ ихъ такъ? Пора жить по-людски.

— Привычки цѣлой жизни не передѣлываются въ два дня, отвѣчала сестра. Впрочемъ, маменька хлопотлива, заботлива, съ людьми добра....

— А мнѣ что за дѣло до этого? прервалъ ее братъ. Я забочусь только о томъ, чтобы жить не по черемиски и не видать вокругъ себя этихъ Эскимосовъ.

Она засмѣялась.

— Что дѣлать? Я ужъ покорилась, живу съ ними и, вѣроятно, сама скоро сдѣлаюсь Черемиской.

— Анночка! послышался голосъ Варвары Никитишны.

— Зачѣмъ она такъ зоветъ тебя? Что это за мѣщанское имя? сказалъ Леонъ.

Анночка хотѣла выйти.

— Послушай, сказалъ ей братъ, останавливая ее и обвивая свою руку около ея таліи. Устрой все это;

для тебя это будетъ легче: я только что пріѣхалъ и не хочу раздражать ихъ.

— Да что устроить? спросила Анна.

— Вотъ видишь: я прикажу Пименову не выходить изъ передней, и если кто ко мнѣ пріѣдетъ, то проводить сюда, въ вашу гостиную, а ты прибери отсюда свое рукодѣлье. Ты понимаешь, что въ той кануркѣ, которую маменька называетъ моимъ кабинетомъ, я принимать не могу. Да возьмите и для себя порядочнаго лакея. Вѣдь это можно?

— Съ маменькой можно сладить, а съ папенькой трудно: онъ упрямъ; но я попытаюсь.

— Слушай Анна, сказалъ Леонъ, ударяя на послѣдній слогъ; если ты мнѣ уладишь все, и я женюсь, то даю тебѣ слово взять тебя съ собою въ Петербургъ. Хочешь?

Яркій румянецъ вспыхнулъ на щекахъ самолюбивой и тщеславной дѣвушки, но она тотчасъ совладала съ собою и сказала почти спокойно:

— На что загадывать? Тогда увидимъ. Ты еще не женатъ.

— Да и нельзя жениться, отвѣчалъ Леонъ, пока у насъ не будетъ прилично устроено хозяйство. Иногда однихъ пересудъ лакея и горничной достаточно, чтобы погубить человѣка въ глазахъ женщины извѣстнаго круга.

— Будь покоенъ, я устрою все это, сказала Анна.

Она въ одинъ мигъ сообразила, сколько можетъ выиграть при благопріятной перемѣнѣ обстоятельствъ.

Она умна и смѣтлива, думалъ Леонъ, провожая ее глазами и потягиваясь въ длинныхъ креслахъ.

Онъ умный и бойкій человѣкъ, онъ пойдетъ далеко, думала она про Леона, выходя изъ гостиной.

На другой день послѣ этого разговора, когда Леонъ сталъ поговаривать о предстоявшихъ ему визитахъ, Иванъ Ивановичъ замѣтилъ сыну, что желаетъ ѣхать съ нимъ къ нѣкоторымъ старинным знакомымъ своимъ и къ двумъ-тремъ знатнымъ лицамъ, у которыхъ онъ часто бывалъ. Леону не совсѣмъ нравилось такое торжественное представленіе на старой ладъ; но старикъ, гордясь сыномъ, крѣпко держался за свою мысль, и Леонъ долженъ былъ уступить. На другой день утромъ, часовъ въ двѣнадцать, старикъ вошелъ въ комнату сына, во фракѣ, въ новомъ галстугѣ, въ чисто вымытой и густо накрахмаленной манишкѣ (онъ еще носилъ манишки), съ шляпою въ рукахъ.

— Я готовъ, сказалъ онъ. А ты еще не одѣтъ! прибавилъ онъ, видя, что Леонъ въ халатѣ пьетъ кофе.

— Рано, батюшка; кто-же ѣздитъ съ визитами въ двѣнадцать часовъ?

— Кто? Да всѣ порядочные люди, а въ томъ числѣ и я. Одѣвайся.

Леонъ лѣниво всталъ съ мѣста и медленно приступилъ къ своему туалету, надѣясь продлить его сколько

нужно было, чтобы не показаться провинціаломъ. Пока молодой человѣкъ одѣвался, отецъ ходилъ взадъ и впередъ по столовой и нетерпѣливо поглядывалъ на часы. Нѣсколько разъ онъ стучалъ въ дверь, говоря нетерпѣливо:

— Да скоро ли ты?

Сперва Леонъ отвѣчалъ, что сейчасъ, а потомъ упорно молчалъ, и когда наконецъ, въ половинѣ втораго, онъ вышелъ въ залу, безукоризненно одѣтый, можно было замѣтить, что онъ былъ не въ духѣ.

— Чудо какъ хорошъ! воскликнула мать, увидя его. И какъ прелестно повязанъ галстугъ! Только отъ чего ты весь въ черномъ, точно—въ добрый часъ сказать, въ худой промолчать—точно ты въ траурѣ?

— Такая мода, маменька, сказала Анна, отвѣчая за брата, который стоялъ передъ зеркаломъ и молча натягивалъ узкія перчатки.

— Перемѣни ихъ, дружечекъ мой, сказала мать. Вѣдь онѣ тебѣ узёхоньки: видишь, не лезутъ.

— Будутъ въ пору, сказала Анна.

Черезъ четверть часа перчатки были натянуты, и, щегольски сжимая руку, стройно обрисовывали форму ея.

Когда Леонъ взялъ шляпу, отецъ взглянулъ на него и, схвативъ его за руку, вдругъ воскликнулъ:

— Что ты? Что это?

Леонъ остановился.

— Что такое? спросилъ онъ, осматриваясь съ удивленіемъ, и не видя на себѣ рѣшительно ничего необыкновеннаго.

— Въ сюртукѣ! произнесъ старикъ съ торжественностью.

— Да, разумѣется, отвѣчалъ сынъ небрежно.

— Это невѣжливо: надѣнь фракъ!

— Ни за что! Ѣздить съ утренними визитами во фракѣ! Да это верхъ пошлости! Вѣдь я не проситель и не чиновникъ. По утрамъ даже къ дамамъ ѣздятъ въ сюртукѣ.

— Не можетъ быть! сказалъ отецъ.

— Право, батюшка, увѣряю васъ, что у княгини В* и у С* я бывалъ по-утру въ сюртукѣ.

— Ну, какъ знаешь; если ужъ ты бывалъ въ сюртукѣ у В* и у С*, отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, озадаченный этими извѣстными именами, такъ поѣдемъ, только это что-то очень странно, что-то очень невѣжливо.

Старикъ покачалъ головой и вышелъ въ переднюю. По Леону было назначено въ этотъ день перенести всевозможныя испытанія. Во первыхъ, мать, прощаясь съ нимъ, цѣловала его такъ, какъ будто разставалась съ нимъ на три года или отпускала его къ вѣнцу. Потомъ, въ передней, онъ увидѣлъ домашняго неуклюжаго лакея, въ ливреѣ старомоднаго покроя, съ широкими голунами на воротникѣ, въ родѣ тѣхъ, которыми обшиваются гробы.

— Батюшка, сказалъ Леонъ по-французски, неужели мы поѣдемъ съ этимъ лакеемъ?

— А чтоже въ немъ такого? спросилъ отецъ недовольнымъ тономъ.

— Да то, что порядочнымъ людямъ нельзя ѣздить съ такимъ уродомъ.

— Прошу тебя не употреблять такихъ выраженій, сказалъ отецъ. Я уже говорилъ тебѣ, что считаю себя человѣкомъ порядочнымъ, а сыну не приходится разувѣрять меня въ этомъ.

Послѣднія слова сказаны были не безъ достоинства и горечи. Леонъ понялъ, что оскорбить отца было не только не хорошо, но еще и не выгодно.

— Извините, отвѣчалъ онъ; вы не такъ меня поняли; вы человѣкъ пожилой; одинъ и тѣже привычки не смѣшны въ васъ и крайне смѣшны во мнѣ, человѣкѣ молодомъ и слѣдующемъ модѣ.

Эти слова нѣсколько успокоили Ивана Ивановича.

— Чего-жъ тебѣ хочется? Другаго лакея у насъ нѣтъ.

— Поѣдемте безъ лакея; мущины могутъ обойтись безъ него: это принято.

— Но ктоже отворитъ дверцы кареты?

— Я самъ, батюшка.

— А кто закроетъ подножки?

— Какія подножки? спросилъ Леонъ съ ужасомъ.

— Извѣстно, какія: подножки кареты. Наша карета довольно высока; она была сдѣлана лѣтъ восемь тому назадъ, а славная карета, отъ перваго мастера, почти совсѣмъ новая....

— Пименовъ! закричалъ Леонъ повелительно и вспыльчиво, съ ума ты сошелъ, что ли, что не подумалъ о каретѣ? Я приказывалъ съ вечера.

— Карета у подъѣзда, отвѣчалъ Пименовъ лаконически, и не смущаясь гнѣвомъ барина.

Леонъ поспѣшилъ сойти внизъ, чтобы избѣгнуть замѣчаній отца. У подъѣзда стояла наемная маленькая карета на лежачихъ рессорахъ, около отцовской колымаги, вновь выкрашенной, но старомодной и высокой какъ колокольня. Леонъ посадилъ отца въ свою карету и приказалъ отложить домашній рыдванъ. Но тѣмъ еще не кончились испытанія сына. Во-первыхъ, Иванъ Ивановичъ поѣхалъ къ старому и знатному графу Запольскому; пока ему докладывали о пріѣздѣ Армалевыхъ, они должны были довольно долго ждать въ богатыхъ сѣняхъ, около швейцара, а когда наконецъ ихъ приняли, Леонъ замѣтилъ, что въ обхожденіи графа съ отцомъ его, за оболочкой вѣжливости и уваженія проглядывалъ какой-то покровительственный тонъ. Тонъ этотъ особенно выказался въ пріемѣ, сдѣланномъ ему самому, и въ вопросахъ, которыми графъ забросалъ его. Иванъ Ивановичъ, хотя и держалъ себя чрезвычайно достойно, но не какъ равный съ равнымъ: это бѣсило Леона, а вѣжливое высокомѣріе графа оскорбляло его. Тотъ же самый пріемъ и тѣже отношенія оказались и въ другихъ знатныхъ домахъ. Совсѣмъ другое было у сослуживцевъ и пріятелей отца. Тамъ, какъ и у самихъ Армалевыхъ, пахло мѣщанскимъ бытомъ, но за то гостей принимали радушно, ласково встрѣчали ихъ въ залѣ,

провожали до передней и усердно звали обѣдать запросто, на что Иванъ Ивановичъ соглашался тотчасъ, обѣщая за себя и за сына. Иванъ Ивановичъ возвратился домой въ полномъ удовольствіи, но не могъ оправдать поведеніе сына ; ему казалось , что Леонъ былъ ужъ слишкомъ безцеремоненъ у графа и другихъ знатныхъ лицъ: говорилъ небрежно и отрывисто, развалился въ креслахъ, а у его сослуживцевъ и друзей былъ ужъ слишкомъ холоденъ и молчаливъ, будто не цѣнилъ ихъ ласки и вниманія. Однако Иванъ Ивановичъ ничего не сказалъ сыну и, по свойственной ему терпимости , когда не задѣвали его самолюбія и убѣжденій, только подумалъ: онъ ужъ не дитя, свой разумъ есть; нынѣшній вѣкъ совсѣмъ другой , и къ нашему не подходитъ.

ГЛАВА VIII.

Сдѣлавъ первые визиты съ отцемъ, Леонъ продолжалъ ихъ одинъ. Онъ отправился къ своей старой знакомой Силковой, которая тотчасъ пригласила его на вечеръ, куда и явился онъ блестящій, ловкій и остроумно злоязычный. Онъ понравился женщинамъ непринужденностію обращенія и аристократическими пріемами, а мущины, хотя и находили его дерзкимъ и слишкомъ самонадѣяннымъ, однако, боясь злаго языка его, были съ нимъ вѣжливы и предупредительны. Многія матери, не взирая на небольшое его состояніе, прочили его для дочерей своихъ и ревностно принялись звать его къ себѣ. Уловки ихъ скоро наскучили Леону; онъ рѣшился положить конецъ ихъ видамъ и началъ танцовать, говорить и волочиться за одними молодыми женщинами. Силкова была еще хороша собою, и Леонъ обратилъ на нее все свое вниманіе, въ ожиданіи чего-

нибудь лучшаго, т. е., высматривая богатыхъ невѣстъ и собирая точныя свѣдѣнія объ ихъ состояніи. Армалевъ, какъ мы видѣли изъ разговора его съ сестрою, былъ требователенъ; пристально слѣдя за всѣми дѣвицами, онъ не находилъ еще ни одной, которая соединяла бы въ себѣ всѣ необходимыя, по его мнѣнію, условія, чтобъ быть его женою, и потому продолжалъ волочиться за Силковой, которая щеголяла имъ, какъ трофеемъ. Скоро Леонъ сталъ на завидную ногу въ обществѣ; онъ былъ въ модѣ: за нимъ ухаживали, его любили, его превозносили. Часто въ разговорѣ съ своею сестрой онъ говорилъ о знакомыхъ дѣвушкахъ; но они рѣшили отложить окончательный выборъ невѣсты до пріѣзда Анюты Огинской, которая, казалось имъ, удовлетворяла всѣмъ требованіямъ Леона. Анюта была богата, недурна собою, хорошо воспитана, кротка и безотвѣтна; послѣднія качества особенно цѣнилъ Леонъ, боясь въ супружествѣ борьбы и столкновеній, и видя въ женѣ не подругу, а только средство для домашняго и общественнаго благосостоянія. Анюта, по его мнѣнію, соединяла въ себѣ все это; одно было досадно: ея не было въ городѣ, и приходилось ожидать ея возвращенія.

Однажды послѣ обѣда, Варвара Никитишна вошла въ комнату и подала Леону записку. Записка была отъ Силковой, которая звала его къ себѣ, предупреждая, что она устроила катанье въ саняхъ за городъ. Онъ тотчасъ приказалъ нанять себѣ лихую тройку и отправился къ Силковой, гдѣ нашелъ довольно большое общество: около двадцати дамъ, одѣтыхъ въ бархатъ и

соболи, ожидали кавалеровъ своихъ. Леонъ пріѣхалъ изъ послѣднихъ.

Прождавъ Леона около часа, Силкова встрѣтила его недовольнымъ взглядомъ и, улучивъ свободную минуту, сказала ему въ полголоса:

— Опять послѣ всѣхъ, а кажется, я просила васъ пріѣхать прежде другихъ.

— Не могъ, сказалъ онъ спокойно и кратко.

— Даже когда я приказываю? гордо спросила Силкова.

Леонъ, котораго уже разсердили дома, отвѣчалъ ей холодно и колко:

— Зачѣмъ приказывать, не зналъ, могу ли я повиноваться? Впрочемъ, вѣдь вы еще не уѣхали.

— Конечно, сказала она, но меня могъ пригласить кто-нибудь другой.

— Вы могли отказать, сказалъ онъ.

— Но я не намѣрена компрометироваться, и предупреждаю васъ, что если....

— Можетъ быть, вы уже дали слово другому, сказалъ онъ, прерывая ее и осматриваясь беззаботно; въ такомъ случаѣ, я постараюсь найти себѣ даму.

Силкова вспыхнула, но не остановила Армалева, и приняла тотчасъ приглашеніе перваго подошедшаго къ ней мущины. Эта маленькая ссора раздосадовала Леона; не имѣя привычки уступать, онъ рѣшился наказать свою взыскательную красавицу. Въ гостиной было много дѣвицъ, но онъ избѣгалъ ихъ; а изъ дамъ, одна

Воротынская была хороша собою. Блестящая мысль, какъ молнія, озарила умъ Армалева: за кѣмъ лучше ухаживать изъ мщенія, какъ не за пріятельницей? Это всегда больнѣе для женскаго самолюбія; къ тому же, Воротынская очень мила и по своему положенію въ обществѣ очень замѣтна.

Онъ подошелъ къ ней. Въ то время положеніе Воротынской въ свѣтѣ было не слишкомъ пріятно: услужливыя пріятельницы, благодаря жалобамъ и расказамъ ея тетки, разносили о ней разные неблагопріятные слухи, которые повредили доселѣ безукоризненной ея репутаціи. Нужно ли прибавлять, что любовь ея къ Валентину не была ни для кого тайною? Многіе были даже увѣрены, что она весною уѣдетъ за границу, если онъ не возвратится. Такая гласность ея тайныхъ чувствъ и отношеній запугала Воротынскую: она во всемъ покорилась теткѣ, которая поспѣшила унять сплетни, ею самой распущенныя, принимая безпрестанно у себя и обращаясь въ свѣтѣ съ племянницею чрезвычайно ласково и нѣжно. Но было уже поздно. Воротынская потратила всѣ силы свои на то, чтобы казаться веселою и беззаботною, но это рѣдко удавалось ей, и грустно было ея существованіе. Единственнымъ утѣшеніемъ были для нея письма Валентина, на которыя она отвѣчала цѣлыми тетрадями мелкаго письма, описывая ему малѣйшія подробности своей жизни и горько жалуясь на свою зависимость. Въ этотъ вечеръ она сидѣла у камина, и медленно тянулся вялый разговоръ между нею и одною изъ ея знакомыхъ.

— Я пришелъ къ вамъ съ просьбою, сказалъ Леонъ,

садясь подлѣ нея; позвольте мнѣ быть вашимъ кавалеромъ.

— Я вовсе не хотѣла ѣхать сегодня, сказала она; я что-то не очень здорова.

— Какъ можно остаться! сказала ей тетка.

— Закутайтесь только, замѣтилъ Леонъ.

— Здѣсь много дамъ, сказала она, не отвѣчая теткѣ и обращаясь къ Леону; всѣ онѣ будутъ очень довольны, если вы пригласите ихъ.

— Но я желалъ бы ѣхать именно съ вами, возразилъ Армалевъ. Къ тому же, дамы отозваны, а дѣвушки.... Согласитесь сами, что для человѣка серьознаго, вышедшаго изъ первой юности, дѣвушка не больше какъ кукла или дитя.

— Не всѣ же такія, сказала она.

— Всѣ, повѣрьте; я исключаю однако экзельтированныхъ или, что хуже того, эманципированныхъ дѣвицъ, отъ которыхъ избави Боже всякаго. Совсѣмъ другое—женщина! Признаюсь, я обожаю женщинъ.

— Всѣхъ? спросила она.

— Всѣхъ, но опять исключая глупыхъ, дурныхъ и ученыхъ. Я даже предпочту глупыхъ ученымъ: ученая женщина — чума!

Воротынская засмѣялась комическому ужасу, съ которымъ Леонъ произнесъ это послѣднее слово, но и въ смѣхѣ ея звучало что-то натянутое. Въ этотъ вечеръ ей было особенно грустно и тяжело.

— Что съ вами? сказалъ онъ вдругъ, измѣняя тонъ разговора.

— Ничего, я смѣюсь, какъ видите.

— Вижу и слышу, сказалъ Леонъ значительно ; но позвольте узнать , я , или кто другой, нагналъ на васъ такую тоску ? Если я , скажите , Бога ради: я тотчасъ уйду и никогда не прощу себѣ этого.

Что съ нимъ ? подумала Воротынская. Онъ какъ будто намѣревается ухаживать за мною. Ужъ не поссорился ли онъ съ Силковой ?

— Такъ вы хотите ѣхать со мною ? спросила она. Съ кѣмъ же ѣдетъ Александрина ?

— Не знаю , право , отвѣчалъ Леонъ беззаботно , и подумалъ : какъ тонка !... Такъ мы ѣдемъ вмѣстѣ, прибавилъ онъ вслухъ.

— Пожалуй ; съ вами я поѣду охотнѣе , чѣмъ съ другимъ; только съ уговоромъ.

— Приказывайте !

— Вы будете со мной , какъ были до сихъ поръ : просты и внимательны , какъ слѣдуетъ быть старымъ знакомымъ; вы не будете говорить мнѣ приторныхъ комплиментовъ, чтобы разсердить мою пріятельницу.

Леонъ засмѣялся.

— Виноватъ , сказалъ онъ , простите меня. Дѣйствительно ваша пріятельница выводитъ меня изъ терпѣнія своими капризами , и я хотѣлъ разогнать мою скуку съ вами.

— Я не люблю служить ширмами, а еще меньше люблю мѣнять дружескую пріятную бесѣду на скучныя и пошлыя отношенія свѣтскаго волокитства. Я уже знаю ихъ наизустъ.

Она улыбнулась. Шуточный тонъ маскировалъ то, что могло быть серьознаго въ сказанныхъ ею словахъ.

— Ихъ можно разыграть на новую тему, возразилъ Леонъ шутя.

— Не стоитъ труда, сказала она разсѣянно.

— Какъ вы стали серьозны! Три года назадъ, когда я познакомился съ вами, помните, вы были такъ беззаботно веселы и гораздо доступнѣе.

— Годы идутъ, возразила Зенеида спокойно.

— Ужъ полно, годы ли? сказалъ онъ смѣло.

— Что это? спросила она строго. Ужъ не любопытство ли, не желаніе ли, общее всѣмъ свѣтскимъ вѣстовщикамъ, вывести заключеніе изъ простаго слова.

— Еслибъ мы были одни, сказалъ Леонъ, я попросилъ бы у васъ позволенія поцѣловать вашу ручку, въ знакъ мира и прощенія. Повѣрьте, я не имѣлъ и мысли сказать вамъ что нибудь непріятное.

Въ это самое время начались сборы; дамы надѣвали шляпки и укутывались въ шали, мѣховыя перелины и теплыя мантильи. Черезъ нѣсколько минутъ лихая тройка мчала Зенеиду и Леона по Тверской-Ямской за городъ, прямо къ Петровскому парку. Яркій, дѣвственный снѣгъ бѣлѣлъ на полянахъ; миріады морозныхъ звѣздочекъ искрились на немъ при сіяніи звѣздъ и луны; холодъ былъ пронзительный, захватывающій дыханіе; лошади мчались, обвитыя, будто дымомъ, клубами пара. Зенеида молча любовалась сѣверною ночью, ей стало еще грустнѣе. Леонъ вывелъ ее изъ задумчивости, и мало по малу между ними завязался разговоръ, который положилъ начало ихъ короткости. Когда они возвратились

съ прогулки къ Силковой, гдѣ ихъ ожидалъ ужинъ и чай, Леонъ остался около Зенеиды и, не смотря на явное вниманіе, которое оказывала ему хозяйка, заискивавшая примиренія, остался непреклоннымъ. Онъ былъ въ веселомъ расположеніи духа, въ ударѣ, какъ выразился самъ, разсказывая послѣ сестрѣ о своихъ похожденіяхъ, и сыпалъ остротами. Въ этотъ вечеръ ему удалось окончательно погубить многихъ мущинъ въ мнѣніи двухъ-трехъ дамъ, которыя, вмѣстѣ съ Зенеидой, слушали его и смѣялись его неожиданнымъ выходкамъ, оригинальнымъ сравненіямъ и смѣлой рѣчи. Леонъ былъ совершенно доволенъ собою и, увлекаясь собственными шутками и остротами, былъ очень веселъ. Разъѣхались поздно, условившись черезъ нѣсколько дней быть въ манежѣ; Зенеиду обступили и требовали ея согласія. Она дала его, а Леонъ тутъ же, не замѣчая ядовитаго взгляда Силковой, вызвался быть ея кавалеромъ.

Нѣсколько дней спустя, онъ явился къ ней, просидѣлъ около часа, и былъ очень уменъ и любезенъ. Зенеида, какъ женщина свѣтская, тотчасъ поняла, что если, нѣсколько дней назадъ, одно желаніе разсердить Силкову привело его къ ней, то теперь визитъ его показывалъ, что онъ находитъ удовольствіе въ ея обществѣ. Она не избѣгала сближенія: мысль, что одинъ изъ первыхъ друзей Валентина будетъ и ея другомъ, была ей пріятна. Когда онъ прощался съ ней, она сказала ему:

— Не пеняйте на меня: я не буду въ манежѣ: у меня нѣтъ лошади; я дала слово для того только, чтобы меня оставили въ покоѣ.

— Я достану вамъ лошадь, сказалъ Армалевъ.

— Я не люблю ѣздить на лошади, къ которой не привыкла, возразила она.

— Я достану вамъ Бетси, хотите?

Зенеида смутилась. Бетси была лошадь Валентина, на которой она ѣздила прошедшимъ лѣтомъ. Леонъ сдѣлалъ видъ, будто не замѣчаетъ ея смущенія, и продолжалъ спокойно:

— Я самъ не умѣю ѣздить на наемныхъ лошадяхъ. Это не лошади, а клячи, и потому я отправился въ домъ Валентина. Управляющій тотчасъ повелъ меня въ конюшню, и я взялъ себѣ на завтрашній день его Киржала, а вамъ доставлю Бетси. Это очень легко: все въ домѣ Валентина къ моимъ услугамъ, какъ при немъ, такъ и безъ него.

— Благодарю васъ, отвѣчала она, но я не поѣду. Сказать правду, мнѣ просто не хочется ѣхать.

Леонъ настаивалъ, она не соглашалась. Ѣхать съ другимъ на той самой лошади, на которой такъ часто ѣздила она въ сопровожденіи Валентина, было ей непріятно. Конечно, въ этомъ чувствѣ было много дѣтскаго, но вѣдь во всѣхъ подобныхъ воспоминаніяхъ всегда есть что-то дѣтское!

Леонъ былъ упоренъ: безъ пошлыхъ любезностей, но съ едва проглядывавшимъ участіемъ, которое онъ, по видимому, не смѣлъ обнаружить вполнѣ, умолялъ онъ ее ѣхать съ нимъ. Она оставалась непреклонною и отказала на отрѣзъ, но послѣ этого отказа,

будто совершивъ подвигъ, почувствовала въ себѣ еще большее расположеніе къ Леону. Съ этого времени, при каждой новой встрѣчѣ, она была внимательнѣе къ нему, а онъ обращался къ ней еще съ большимъ сердечнымъ участіемъ.

Однажды Леонъ сказалъ ей:

— Я дивлюсь себѣ, что съ перваго моего появленія въ обществѣ я не умѣлъ тотчасъ понять и оцѣнить васъ, и потерялъ столько времени, скучая съ вашею пріятельницей, которая, согласитесь сами, просто несносна. Удивляюсь, какъ я могъ съ нею сблизиться!

— А теперь? спросила она, улыбаясь.

— Мы съ нею враги, враги до гробовой доски, сказалъ Леонъ, смѣясь отъ чистаго сердца.

— А когда-то симпатизировали! возразила Зенеида лукаво.

— Никогда, сказалъ Леонъ; во-первыхъ, я не вѣрю въ симпатію; характеръ — дѣло другое: онъ, конечно, всегда бываетъ главною причиной вражды или дружбы. Что же касается до женщинъ, у нихъ мало характера. Впрочемъ, это очень похвально и пріятно....

— Это почему? спросила она, вспомнивъ по этому поводу совершенно противуположное мнѣніе Валентина.

— Женщина съ характеромъ! воскликнулъ Леонъ. Да это наказаніе для мужа, бичь въ семейной жизни, гдѣ мужъ есть глава, гдѣ его мнѣніе — законъ.

— Деспотъ! сказала Зенеида, смѣясь.

— Нѣтъ, не деспотъ, а врагъ борьбы, волненій. Скажите, неужели вы не желали бы повиноваться тому, кого любите? Для женщины съ сердцемъ въ этомъ все счастіе.

— Конечно, сказала она, если женщина дѣлаетъ это изъ любви, по собственному влеченію; но если требуютъ отъ женщины повиновенія, если ее къ этому принуждаютъ, то это нестерпимо.

— Принуждаютъ! Требуютъ! Кто въ нашъ просвѣщенный вѣкъ можетъ поступать такъ? Какой хорошо воспитанный мущина сдѣлаетъ изъ жены рабу? Согласитесь, что все это фразы.

— Есть примѣры, сказала она.

— Положимъ, хотя я и не видалъ ихъ. Но не угодно ли вамъ будетъ взять другую крайность? Не обидно ли для женщины безтребовательность того, кого она любитъ? Развѣ лучше, если любимый вами человѣкъ, вмѣсто того, чтобы управлять вами, оставитъ васъ на произволъ судьбы, то есть, безсильной женской волѣ? Такое невмѣшательство въ жизнь и поступки ваши не равняется ли равнодушію?

Эта мысль, случайно выраженная Леономъ, глубоко проникла въ душу Зенеиды. Ей было больно, что она могла примѣнить ее къ Валентину; что мнѣніе Леона объяснило ей ея собственную затаенную мысль, давно ее тревожившую въ минуты раздумья. Стало быть, она была права, если такой умный человѣкъ, какъ Армалевъ, подтверждалъ ея мнѣніе своимъ собственнымъ. Все это мелькнуло съ быстротою молніи въ головѣ ея, и она стала жарко спорить съ Леономъ, и тѣмъ жарче,

чѣмъ болѣе сознавала, что онъ правъ. Сперва онъ былъ удивленъ ея жаркою рѣчью, ея досадой, ея нетерпѣливому безпокойному уму, искавшему новыхъ доказательствъ, и дѣтской грусти, которая проглядывала въ лицѣ ея, когда онъ отвергалъ ея доказательства, какъ неосновательныя или ложныя. Онъ пристально слѣдилъ за нею и наконецъ догадался, что задѣлъ тайную пружину въ сердцѣ этой женщины. Любопытство повлекло его дальше: онъ захотѣлъ узнать, что именно причиною того одушевленія, съ которымъ она продолжала спорить, и, слушая ее, онъ любовался ею. Она покраснѣла отъ внутренняго волненія; легкій прозрачный румянецъ, пробившись изъ-подъ тонкой кожи, разлился по всему лицу ея. Большіе черные глаза ея, будто созданные для выраженія одной нѣги и нѣжности, горѣли яркимъ огнемъ досады, а порою отуманивались худо подавленною грустью.

— Какъ вы прекрасны! сказалъ вдругъ Леонъ, прерывая рѣчь ея. Знаете ли, что васъ надо сердить? Когда ваше кроткое лицо одушевляется гнѣвомъ, оно очаровательно!

— О, мущины, всѣ вы одинаковы! сказала она съ досадой. Вы упрекаете насъ въ неумѣніи говорить серьозно, а между тѣмъ, вы сами, вы одни, не умѣете, не хотите говорить съ нами серьозно. Впрочемъ, это только оправдываетъ мое мнѣніе, что въ вашихъ глазахъ женщина—игрушка, и вотъ почему вы доказываете, что неограниченно управлять ею значитъ любить ее.

— Совсѣмъ не игрушка, но дитя. Какое чувство можетъ сравниться съ чувствомъ матери къ ребенку?

Однако, мать управляетъ своимъ ребенкомъ. Нѣжная мать не приказываетъ круто: она проситъ, и какое дитя, понимая эту нѣжность, будетъ жаловаться на стѣснительность этихъ приказаній?

— Стало быть, у женщинъ нѣтъ разума?

— Воли у васъ мало, поэтому вамъ и нужна чужая воля.

— Желала бы я, чтобъ вы узнали, сколько воли тратитъ иногда женщина, и какую борьбу выноситъ она...

Армалевъ понялъ намёкъ, но не захотѣлъ въ этотъ день идти дальше, тѣмъ болѣе, что онъ еще не все уяснилъ себѣ. Къ тому же, онъ не любилъ спорить и напрягать свои умственныя способности въ разговорѣ съ кѣмъ бы то ни было, особенно съ женщинами; онъ предпочиталъ предаваться спокойно наслажденію, и любоваться ими. Зенеида умолкла, видя, что онъ задумался, и задумалась сама. Когда она подняла голову, то встрѣтила взглядъ его, устремленный на нее; она покраснѣла невольно и сдѣлала ему какой-то незначащій вопросъ, и легкій разговоръ завязался между ними.

Силкова, потерявъ всякую надежду помириться съ Армалевымъ, воспользовалась первымъ баломъ, чтобы излить на Зенеиду всю свою досаду; въ продолженіе цѣлаго вечера она старалась уколоть свою пріятельницу. Зенеида отвѣчала ей мѣтко, но обращая все въ шутку, и защищалась искусно. Побѣда осталась за Зенеидой. Сильно затронутое самолюбіе не позволило ей отказаться отъ Армалева, и она, говоря со всѣми, была особенно внимательна къ нему и танцовала съ нимъ

очень много. Мазурка длилась какъ-то особенно долго; они выбрали уютное мѣсто, около высокаго угловаго канделабра, и уединились среди шума, грома и многолюдства. Зенеида, сама того не замѣчая, и не опасаясь Армалева, котораго знала по разсказамъ Валентина, высказала много задушевнаго; Леонъ слушалъ ее съ безпокойнымъ вниманіемъ, потому что любовь ея къ Валентину, проглядывавшая во многомъ, начинала непріятно дѣйствовать на него.

На другой день утромъ, онъ всталъ очень поздно и спокойно пилъ кофе, когда сестра вошла въ его комнату.

— Ну что, сказала она, весело тебѣ было?

— Да, очень пріятно, особенно за мазуркой. Воротынская женщина граціозная, хорошенькая, и совсѣмъ не глупая. Она, право, очень нравится мнѣ.

— Симпатія во вкусахъ. Твой другъ Огинскій былъ влюбленъ въ нее, и не безъ успѣха.

— Отъ чего жъ онъ не женился?

— Она съ нимъ въ дальнемъ родствѣ; впрочемъ, онъ, кажется, не думалъ о женитьбѣ. А почему бы тебѣ не жениться на ней? Она вдова, но бездѣтна, богата.

— Развѣ будетъ богата, сказалъ Леонъ; мнѣ говорили, что состояніе принадлежитъ ея теткѣ.

— Совсѣмъ нѣтъ, я знаю это навѣрное. По сосѣдству Нагибиныхъ, гдѣ я бывала въ гостяхъ, есть огромное село: оно принадлежитъ Воротынской; мы туда ѣздили гулять, и управляющій, показывая намъ сады и оранжереи, сказывалъ, что покойный Воротынскій оставилъ женѣ, именно женѣ, около двухъ тысячъ душъ.

Армалевъ задумался.

— Отъ чего же тетка ея распоряжается всѣмъ домомъ?

— Не знаю.

Наступило опять молчаніе.

— О чемъ же ты думаешь? спросила сестра.

— Думаю, что я глупъ, глупъ какъ все, что тебѣ угодно. Вѣдь найдетъ же такой туманъ на человѣка: счастье у меня передъ глазами, а я до сихъ поръ и незамѣтилъ этого. Не поссорься я случайно съ Силковой, я и не обратилъ бы вниманія на Воротынскую; вотъ ужъ недѣля, какъ она мнѣ нравится, а мысль о женитьбѣ и не приходила мнѣ въ голову. Да, я былъ глупъ и слѣпъ.

— Но говорятъ, она любитъ Огинскаго, сказала Анна.

— Это мое дѣло; чѣмъ труднѣе, тѣмъ пріятнѣе. Любитъ — ну, и разлюбитъ.

— А что скажетъ Огинскій?

— Что хочетъ. Развѣ она семнадцатилѣтняя дѣвочка? Развѣ я могу соблазнить ее, увезти? Впрочемъ, Огинскій, кажется, оставилъ ее; да и къ чему эта любовь поведетъ ихъ, если жениться имъ нельзя?

— Ну, а что говорятъ о нихъ въ свѣтѣ? спросила сестра.

— Ничего не разберешь; я слышалъ отъ Силковой, что Огинскій былъ влюбленъ, потомъ поссорился съ нею и уѣхалъ. Это, мнѣ кажется, очень правдоподобно;

однако, если мнѣ суждено жениться на ней, это будетъ крайне забавно. Два раза столкнемся мы съ Валентиномъ у одной цѣли. Помнишь Ельцову? Теперь это серьознѣе: дѣло идетъ о цѣлой жизни. Другой такой женщины, будто нарочно для меня созданной, мнѣ ужъ не найти. Рѣшено, попытаю счастія.

— Жениться на женщинѣ, которую бросилъ твой пріятель, не совсѣмъ лестно, сказала Анна, лукаво улыбаясь.

— Глупости! Молода ты очень. Всякая женщина была оставлена кѣмъ нибудь и оставила кого нибудь, въ свою очередь. Я только постараюсь, чтобъ никогда никакая женщина не могла похвастаться, что оставила меня. Остальное мнѣ все равно.

Разговоръ прервался. Леонъ былъ задумчивъ и серьозенъ въ продолженіе цѣлаго дня. Въ девять часовъ онъ поѣхалъ на вечеръ, но не встрѣтилъ Зенеиды. По какому-то странному случаю, Леону пришлось выслушать въ этотъ вечеръ тысячу подробностей о ней и Валентинѣ. Говорили о болѣзни Апюты Огинской, и по этому поводу коснулись подозрительной дружбы между нею и Воротынскою, которая просиживала дни и ночи у изголовья этой дѣвушки. Понятно, прибавляли всѣ, что дружба къ сестрѣ прикрываетъ любовь къ брату. Эти расказы, быть можетъ, возобновленные съ намѣреніемъ, не произвели однако никакого впечатлѣнія на Армалева: онъ очень хорошо понялъ, что за этими сплетнями скрывалось мщеніе Силковой. Онъ не колебался ни минуты, и съ жаромъ, съ увлеченіемъ, вступился за Воротынскую. Онъ хотѣлъ, чтобы всѣ замѣтили, какъ онъ неравнодушенъ

къ ней. Расчетъ Леона былъ вѣренъ. Онъ не зналъ, захочетъ ли Воротынская выслушать его признаніе. Даже выслушавъ его, она могла бросить ему въ отвѣтъ имя его друга, Огинскаго, и тѣмъ навсегда прекратитъ его попытки. Не лучше ли было еще нѣсколько времени играть съ нею роль друга и выжидать, чтобы до нея дошли слухи объ его любви къ ней и рыцарскомъ заступничествѣ? Колко и жолчно говорилъ Леонъ о врагахъ Зенеиды: онъ язвилъ ихъ намеками и насмѣшками, краснорѣчиво и горячо говорилъ о качествахъ и достоинствахъ ея, и вдругъ остановился, будто замѣчая, что зашелъ слишкомъ далеко и высказалъ свою тайну. Его внезапное молчаніе, послѣ такой горячей защиты, произвело на общество сильное впечатлѣніе, и всѣ рѣшили въ одинъ голосъ, что Армалевъ влюбленъ безъ памяти въ Воротынскую.

Черезъ нѣсколько дней онъ обѣдалъ у Зенеиды, любезничалъ съ ея теткой и совершенно очаровалъ ее. Когда тетка и племянница остались однѣ, первая съ восторгомъ говорила о Леонѣ; Зенеида также отзывалась о немъ очень благосклонно.

— Онъ, кажется, влюбленъ въ тебя, сказала тетка.

— О нѣтъ! Это совсѣмъ другія отношенія, возразила Зенеида.

— Я знаю, что онъ любитъ тебя, продолжала Елена Филипповна; нѣсколько дней тому назадъ, онъ горячо защищалъ тебя у Сурмиловыхъ.

— Богъ съ ними, мнѣ все равно, сказала Зенеида, краснѣя и смущаясь, какъ дѣлала всегда, когда ей разсказывали о городскихъ сплетняхъ на ея счетъ.

— Извини, но я не могу равнодушно слышать, какъ терзаютъ твою репутацію, возразила тетка запальчиво.

При этомъ Елена Филипповна пустилась въ долгія разсужденія, и кончила колкостію, относившейся къ Валентину.

Въ сотый разъ Зенеида со слезами на глазахъ просила тетку оставить такой разговоръ и вышла изъ комнаты, совершенно растроенная.

На другой день утромъ ссора возобновилась: по видимому, Елена Филипповна поставила себѣ за правило отзываться презрительно и грубо о Валентинѣ, при всякомъ удобномъ случаѣ.

— Послушайте, тетушка, сказала Зенеида, выведенная изъ терпѣнія; если вы не перестаните мучить меня, я возьму свои мѣры. Не доводите меня до крайности.

— До какой это крайности?

Зенеида молчала, не зная, что сказать.

Тетка засмѣялась. Она торжествовала и начала жаркую полемику, но была прервана появленіемъ Леона. Онъ тотчасъ замѣтилъ, что попалъ не во время, но съ свѣтскою ловкостью принялся за легкую болтовню, хотя ему и не удавалось вовлечь въ нее обѣихъ женщинъ: племянница была глубоко огорчена, а тетка раздражена. Но послѣдняя скоро составила себѣ партію и ушла въ другую комнату. Зенеида осталась наединѣ съ Леономъ. Не смотря на всѣ ея усилія, слезы навертывались на глазахъ ея. Чего бы ни дала она въ эту минуту,

чтобы хотя на мгновеніе увидѣть Валентина! Лишившись его, она находилась въ положеніи дитяти, потерявшаго свою няню; она не могла жить безъ опоры, безъ ласки, безъ нѣжности. Таню она видала рѣдко; да и въ эти рѣдкія свиданія, Зенеида находила ее такъ мрачно настроенною, что слова замирали на языкѣ ея. Къ тому же, она могла говорить съ нею только общими мѣстами, и чувствовала, что ей, женщинѣ зрѣлой, не слѣдовало говорить съ влюбленною дѣвочкой о серьозныхъ вопросахъ жизни и о любви своей, тогда какъ именно эта любовь и отравляла жизнь бѣдной Тани. Вокругъ Зенеиды было пусто: она жаждала участія и дружбы, и вмѣсто того получала отъ тетки ежедневныя ссоры и оскорбленія. Вѣроятно, Армалевъ угадалъ все это. Онъ посмотрѣлъ на нее пристально и нѣжно, и сказалъ въ полголоса:

— Скажите, что съ вами? Какое утомленіе, какая печаль! Больно видѣть васъ.

Она молчала; только крупныя слезы вдругъ полились изъ глазъ ея и покатились по бархатному ея платью.

— Я спрашиваю просто, что съ вами, хотя, быть можетъ, вы и думаете, что я не имѣю на это права. Повѣрьте однако, что право за мною. Самое горячее участіе къ вамъ наполняетъ мое сердце. Къ тому же, вы знаете, я былъ близокъ и съ тѣми, кто былъ близокъ съ вами.

— Знаю, сказала она, и потому не буду говорить съ вами, какъ съ постороннимъ.

— Что случилось? Вчера еще вы были веселы....

— О нѣтъ, но вчера я имѣла минуту счастія : я получила пріятное письмо.

Армалевъ сдѣлался мраченъ.

— Вы вѣрно знаете, продолжала Зенеида, — къ несчастію, всѣ знаютъ это, — что я очень люблю Огинскихъ ; это сдѣлалось для меня причиною ежедневныхъ мученій. Тетушка ненавидитъ Валентина ; она требовала, чтобы я выѣзжала, принимала: я покорилась, но она не довольна этими уступками и опять стала меня преслѣдовать. Она хочетъ , я вижу это, вырвать съ корнемъ мою привязанность, но въ ней моя жизнь, моя...

— Отъ чего Валентинъ не умѣлъ сойтись съ вашею теткой? спросилъ Леонъ мягко.

— Онъ гордъ, она капризна, отвѣчала Зенеида.

— И онъ не могъ переломить себя изъ любви къ вамъ?

— Не обвиняйте его , сказала она горячо. Валентинъ испыталъ много горя; судьба свела его со мною , но и тутъ не обошлось безъ борьбы, которую онъ выносилъ очень твердо.

— Я не обвиняю, сказалъ Леонъ, я слишкомъ люблю его: мы росли вмѣстѣ, мы даже столкнулись въ первой любви нашей.

— Знаю, сказала она.

— Нѣтъ, не знаете, возразилъ Армалевъ горячо, не знаете, потому что никто не могъ сказать вамъ, до какой степени мнѣ было тяжело уступить ему ту, которую я любилъ также, какъ онъ.

— Вы любили ее! воскликнула Зенеида.

— Страстно, сказалъ Леонъ. Но не будемъ говорить объ этомъ первомъ недочетѣ въ моей молодости. Жертвуя собой для друга, я не зналъ, что спасаю себя изъ рукъ безчувственной кокетки. Бѣдный Валентинъ поплатился за насъ обоихъ!

— Какой вы рѣдкій другъ, сказала Зенеида съ чувствомъ.

— Не заставляйте меня краснѣть; слово, сказанное мною, вырвалось невольно. Поговоримъ лучше о васъ. Не могу ли я помочь вамъ?

— Но какъ?

— Сойтись съ вашею теткой, и, если представится случай, то внушить ей...

— Сохрани васъ Боже! Она скажетъ, что я жалуюсь на нее. Нѣтъ! Нѣтъ! Будетъ еще хуже.

— Я сдѣлаю такъ, что она первая будетъ говорить со мною, будетъ жаловаться. Особенность семейныхъ непріятностей та, что каждая сторона считаетъ себя правою; я воспользуюсь ея довѣренностью, чтобы облегчить вашу участь. Уже одна эта мысль дѣлаетъ меня счастливымъ.

Леонъ вздохнулъ и задумчиво разглаживалъ рукой пряди глянцовитыхъ волосъ своихъ.

— Благодарю васъ, отвѣчала Зенеида. Правда, жизнь моя невыносима, и я нуждаюсь въ другѣ, которому могла бы высказать всю печаль мою.

Онъ взялъ ея руку и нѣжно поглядѣлъ ей въ глаза, но взоръ его былъ такъ блестящъ и остръ, что пронзилъ ее. Она потупила глаза и отняла у него свою руку. Тогда онъ посмотрѣлъ на нее съ укоромъ, но не сказалъ ни слова. Съ этого вечера Армалевъ сдѣлался ежедневнымъ гостемъ и скоро своимъ человѣкомъ въ домѣ Зенеиды; не было бездѣлицы, которой бы она ему не повѣрила, не было домашней ссоры, въ которой онъ не принялъ бы участія. Сначала, отношенія Зенеиды къ Валентину озадачили его; онъ воображалъ, что имѣетъ дѣло съ женщиной, оставленною Валентиномъ, а выходило на повѣрку, что опять, но въ этотъ разъ уже серьозно, онъ старался вытѣснить друга дѣтскихъ лѣтъ изъ сердца женщины, искренно его любившей. Это не могло не потревожить его въ продолженіе нѣсколькихъ дней, но было уже поздно возвратиться назадъ. Къ тому же, лишенія и бѣдность, ожидавшія его дома, становились для него невыносимы. Воротынская все больше и больше ему нравилась, и чѣмъ больше онъ убѣждался, что она любитъ Валентина, тѣмъ сильнѣе хотѣлось ему присвоить себѣ это чувство. Зенеида соединяла въ себѣ всѣ условія, чтобы казаться идеаломъ жены для Армалева. Ея богатство, связи, кротость, сулившая столько покорности, все это, вмѣстѣ взятое, было слишкомъ важно, и онъ, махнувъ рукою, рѣшилъ, что если она полюбитъ его, то онъ ничѣмъ не будетъ виноватъ передъ Валентиномъ.

Успокоивъ себя такимъ образомъ, хотя совѣсть и шептала ему, что Зенеида полюбитъ его развѣ только потому, что онъ всѣми правдами и неправдами заста-

вить ее любить себя, онъ продолжалъ терпѣливо играть роль примирителя между теткой и племянницей. Объ онѣ любили его, не предпринимали ничего безъ его совѣта, и требовали его мнѣнія даже въ самыхъ ничтожныхъ случаяхъ. Совѣты его всегда были принимаемы безъ возраженій. Его вліяніе было уже огромно, а цѣль все была далека, и хотя онъ всякій день говорилъ Еленѣ Филипповнѣ о любви своей къ Зенеидѣ, однако не смѣлъ и намекнуть ей самой объ этомъ. Онъ былъ лучшимъ ея другомъ, и никогда не получала она письма изъ-за границы, чтобы не сказать объ этомъ Леону. Съ дѣтскою радостію разсказывала она ему содержаніе письма, а потомъ, увлекаясь, прочитывала отрывки изъ него.

Такъ прошелъ мѣсяцъ; но отношенія Леона къ Зенеидѣ не подвигались впередъ. Однажды, пріѣхавъ къ ней, онъ засталъ ее одну; радость блистала въ глазахъ ея: все лицо ея свѣтилось выраженіемъ счастія.

— Идите! Идите скорѣе! сказала она, завидѣвъ его. Вотъ письмо: онъ пишетъ, что будетъ въ началѣ лѣта, а теперь апрѣль! Слышите ли? Въ началѣ лѣта, твердила она.

Эта фраза поразила Леона: онъ поблѣднѣлъ. Была ли это любовь къ ней, или досада, что всѣ усилія его были напрасны?

— Что съ вами? Вы не рады, вы....

Онъ взялъ письмо, лежавшее на столѣ; въ порывѣ страстнаго увлеченія онъ сжалъ его въ комокъ и, бросивъ на полъ, смялъ ногою.

— Что вы дѣлаете? сказала она съ испугомъ.

Но онъ схватилъ свою шляпу и былъ уже далеко. Она осталась неподвижная, окаменѣлая; потомъ, оправившись, подняла измятое письмо, расправила его и медленно ушла въ свою комнату.

На другой день онъ не пріѣзжалъ, а на третій получилъ записку отъ Елены Филипповны, которая просила его къ себѣ на верхъ, въ двѣнадцать часовъ утра. Леонъ былъ удивленъ и взволнованъ, и тотчасъ поѣхалъ къ старухѣ. Онъ нашелъ ее одну, раздосадованною и суровою.

— У насъ новости, сказала старуха; она не хочетъ жить на дачѣ, и опять ѣдетъ въ деревню. Не понимаю, что случилось, а догадываюсь: не возвращаются ли Огинскіе?

— Къ несчастію, сказалъ онъ.

— А! сказала старуха, вспыхнувъ. Такъ вотъ въ чемъ дѣло! Запереться въ деревнѣ съ Огинскими, какъ въ прошломъ году! Такъ я ее знать не хочу; напишу къ ея дядѣ, напишу ко всѣмъ роднымъ!

— Все это такъ, сказалъ Леонъ, но помѣшать ей уѣхать и жить въ деревнѣ, какъ и съ кѣмъ ей хочется, вы не можете.

— Такъ зачѣмъ же вы пріѣхали? Сердить меня, что ли?

— Нѣтъ, не сердить, а помочь вамъ. Повѣрьте, я терплю больше, чѣмъ вы, прибавилъ онъ. Но что говорить обо мнѣ?

— Напротивъ, я именно о васъ....

— Нѣтъ, послѣ, сказалъ онъ рѣшительно; мой совѣтъ не говорить ей ни слова объ Огинскихъ: не надо раздражать ее. Она не способна на рѣшительныя мѣры, но способна на мѣру отчаянія: не доводите ее до крайности. Она нѣжна и чувствительна; возьмитесь за эту струну.

— Я не умѣю ласкать тѣхъ, кѣмъ недовольна, сказала Елена Филипповна.

— Какъ хотите, сказалъ Армалевъ, проклиная въ душѣ упрямство капризной старухи.

— Куда же вы? сказала она. Пришли, наговорили, напугали меня, да и уходите, какъ правый. Полноте, сядьте, поговоримъ, прибавила она, смягчаясь и подавая ему руку, которую онъ поцѣловалъ.

Они говорили очень долго. Слѣдствіемъ этого разговора была записка Зенеиды къ Леону. Она просила его пріѣхать къ ней тотчасъ. Ихъ свиданіе, послѣ случившагося съ письмомъ Валентина, могло бы быть холодно и натянуто; но положеніе дѣлъ перемѣнилось. Онъ нашелъ Зенеиду взволнованною, блѣдною, разстроенною: ей было не время думать объ его поступкѣ. Завидѣвъ его, она протянула ему обѣ руки, и сказала печально:

— Все кончено: я уступила, я отказалась отъ всякаго счастія. Тетушка не ѣдетъ въ деревню, и я обѣщала остаться съ нею на все лѣто. Я не могла устоять противъ нея: она была такъ нѣжна, такъ ласкова со мною. Пожалѣйте меня. О чемъ вы думаете? Вы какъ будто не слушаете меня?

— Слушаю и знаю, что весною, въ городѣ ли, въ деревнѣ ли, но вы увидите того, кого любите. Повѣрьте, есть положенія невыносимѣе вашего; есть люди, которые страдаютъ безпрерывно и не смѣютъ высказать свое горе. Надо много твердости, много силы, чтобы вынести неожиданно постигающее насъ несчастіе.

Зенеида поняла. Она не могла не пожалѣть Леона, но не сказала ни слова и старалась перемѣнить разговоръ. Онъ не хотѣлъ этого и, говоря о ней, очень ловко говорилъ и о себѣ. Въ продолженіе всего вечера, онъ нѣсколько разъ намекнулъ на любовь свою, которой уже не скрывалъ. Она смущалась, будто боясь его. Такъ прошло три недѣли. Новое письмо Валентина оживило Армалева и поразило Зенеиду: онъ писалъ, что обстоятельства перемѣнились и что раньше осени онъ не можетъ пріѣхать въ Россію. О причинахъ, мѣшавшихъ ему возвратиться, онъ говорилъ вскользь, и Зенеида тонула въ морѣ догадокъ. Всякій день встрѣчаясь съ Леономъ, она повѣряла ему свои догадки, и съ нетерпѣніемъ ждала писемъ, но Леонъ не давалъ ей долго говорить объ Огинскомъ. Онъ увлекалъ ее за собою, и пріучилъ мало по малу слушать свои признанія. Слѣдствіемъ его постоянныхъ свиданій и разговоровъ съ нею было то, что ей уже начало казаться, будто судьба поступила съ нею немилосердно, привязавъ ее къ человѣку, который былъ отдѣленъ отъ нея неодолимымъ препятствіемъ. Она свыкалась съ мыслію, что была бы совершенно счастлива, еслибъ любила Леона, который самъ такъ горячо любилъ ее и, конечно, не позволилъ бы никому стать между собою и ею, умѣлъ бы защи-

тить ее отъ нападеній въ обществѣ и въ семействѣ. Въ умъ ея начала западать мысль, что Валентинъ не совсѣмъ хорошо поступилъ, оставивъ ее, и что Леонъ правъ, считая его добрымъ, чувствительнымъ, но безхарактернымъ и слабымъ человѣкомъ. Съ каждымъ днемъ больше и больше поддавалась она вліянію Леона, и сама того не сознавая, была подъ какимъ-то обаяніемъ, порою пугавшимъ, порою очаровывавшимъ ее. Когда онъ говорилъ ей о любви своей, она слушала его съ сильно бившимся сердцемъ, и сладостный, томительный испугъ захватывалъ ея дыханіе. Когда Леонъ выходилъ отъ нея, она удивлялась, что могла выслушивать его, не запрещая ему любить себя; но лишь только онъ являлся опять, какъ прежнее необъяснимое чувство нѣги, смѣшанной съ боязнію, охватывало все существо ея. Мысль, что Леонъ любитъ ее, не разъ заставляла ее призадуматься, и тогда мгновенно являлся ей образъ Валентина: она начинала плакать и твердила внутри себя, что любитъ его одного. Случалось, что въ эти минуты входила ея тетка, осыпала ее ласками и говорила:

— Полно печалиться! Тебѣ стоитъ только захотѣть, и мы будемъ такъ счастливы!

Сначала Зенеида горячо говорила противъ этого, но потомъ молчала и уходила изъ комнаты, взволнованная и разстроенная. Она ложилась въ уборной на кушетку, утомленная борьбою съ другими и съ самою собой. Время шло. По прежнему получая письма отъ Огинскаго, она уже не спѣшила показывать ихъ Армалеву. Мало того, она не умѣла или не смѣла говорить съ нимъ о Валентинѣ; новое, непостижимое чувство овладѣло ею: она была какъ въ

чаду и не могла дать себѣ отчета въ своихъ ощущеніяхъ. Боялась ли она Леона, или любила его? Къ чувству боязни примѣшивалось у ней ощущеніе упоительнаго блаженства, и въ любви ея было что-то мучительное и терзающее. Заслышавъ шаги его, она чувствовала, что сердце ея билось; онъ входилъ въ комнату, и она робко глядѣла въ его большіе блиставшіе глаза. Если онъ былъ мраченъ, ея голова склонялась и глаза опускались съ мучительнымъ страхомъ, пока нѣжное слово, имъ сказанное, не успокоивало ее; если онъ улыбался, она смѣялась и шутила, не подозрѣвая, быть можетъ, что въ самой ея веселости было что-то грустное. За исключеніемъ очень рѣдкихъ минутъ, она была постоянно печальна и смущена. Никогда не знала она, прощаясь съ нимъ вечеромъ, какимъ явится онъ на другой день, и эта неизвѣстность не давала ей ни минуты покоя; образъ его представлялся ей окруженнымъ какою-то поэзіей и таинственностью. Онъ овладѣлъ неограниченно ея умомъ и воображеніемъ, и бѣдное сердце рабски покорилось этимъ двумъ властелинамъ женскаго бытія, само не зная, кого любило оно.

Настало лѣто. Елена Филипповна и ея племянница переѣхали на дачу, гдѣ онѣ жили довольно уединенно, чему охотно покорилась сама старуха. Леонъ былъ постоянно съ Зенеидой; прогулки, вечера, проведенные съ глазу на глазъ, безпрестанныя признанія въ любви, сблизили его съ нею окончательно. Она боялась заглянуть въ собственное сердце и предалась на волю судьбы и обстоятельствъ, сперва съ по-

корностію, а потомъ съ какимъ-то робкимъ упоеніемъ, которое порою приводило ее въ ужасъ. Однажды утромъ она сидѣла задумавшись и не замѣтила, какъ вошелъ Леонъ. Онъ сталъ передъ нею на колѣна и вдругъ обвилъ рукою ея тонкую талію.

— О чемъ вы задумались? сказалъ онъ ей нѣжно и горячо.

Еще въ первый разъ позволялъ онъ себѣ такое короткое обращеніе. Она вздрогнула и хотѣла освободиться отъ руки его; но онъ сжалъ ее сильнѣе и крѣпче, и его жаркія уста прильнули къ рукамъ ея. Чувство ли стыдливости, горячая ли кровь молодости, или огонь страсти, зажгли лице ея, кто знаетъ? Быть можетъ, все это, вмѣстѣ взятое, дѣйствовало на нее. Она хотѣла сказать что-то и не могла.

— Погляди на меня, сказалъ онъ. Я ли не люблю тебя? Погляди же на меня!

Глаза ея робко поднялись и уже не отрывались отъ его огненнаго, пронзительнаго, сжигающаго взора.

— Леонъ, сказала она робко, пощадите меня! Чего хотите вы отъ меня?

— Я? сказалъ онъ, садясь подлѣ нея, взявъ обѣ ея руки и сжимая ихъ въ своихъ рукахъ. Любви, счастія хочу я, Зенеида. Молчите, не прерывайте меня; я довольно молчалъ и довольно выносилъ мученій: моя очередь настала. Я люблю васъ, люблю безумно, и знаю, что вы меня любите.

Она хотѣла говорить, но онъ обнялъ ее, и жаркій поцѣлуй его горѣлъ уже на щекѣ ея.

— Боже мой ! воскликнула она , вырываясь изъ его объятій. Вы не уважаете меня, Леонъ Я сама , я, не уважаю себя , и вы виною моего глубокаго униженія. Оставьте, оставьте меня ; я презираю себя и не люблю васъ!

— Повторите это слово, сказалъ онъ холодно, вставая блѣдный и озлобленный.

Она взглянула на него, и силы ее оставили: она опустилась на спинку кресла и, закрывъ лице руками, горько заплакала.

— Такъ вотъ отвѣтъ вашъ, продолжалъ онъ , стоя передъ нею , и мало по малу возвышая голосъ ; вы играли мною всю зиму, вы эгоистически высасывали всю жизнь моего сердца, терзали , язвили меня повѣстью вашего прошлаго , и теперь , когда я думалъ , когда имѣлъ право думать, что вы оцѣнили любовь мою, что вы тронулись моею привязанностью, вы бросаете мнѣ въ глаза пышныя слова уваженія , презрѣнія , и говорите прямо, что не любите меня! Когоже вы любите? Его-ли? Но между вами цѣлая бездна, которой онъ не въ состояніи перешагнуть. Еслибъ онъ и захотѣлъ этого, то я не позволю: я убью его !

Она встала съ своего мѣста и стояла передъ нимъ робкая, умолающая, съ сложенными на крестъ руками, со взоромъ полнымъ страха и слезъ.

— Леонъ, Леонъ ! говорила она прерывающимся голосомъ. Опомнитесь, пощадите меня !

— А вы щадили меня ? сказалъ онъ съ возрастающимъ жаромъ. Да будетъ проклята та минута , въ которую я перешелъ черезъ порогъ вашего дома и без-

смысленно кинулъ къ ногамъ вашимъ мое сердце и мою гордость!

Онъ схватилъ себя за голову, сѣлъ, и впалъ въ мрачную думу. Она стояла подлѣ него; рука ея опустилась на плечо его, но онъ, казалось, не замѣчалъ ея.

— Леонъ, сказала она тихо, выслушайте меня. Я поражена, я не помню, что говорю, не знаю, что чувствую. Мнѣ страшно, но мнѣ жаль васъ, мнѣ тяжело глядѣть на васъ. Боже мой! Отвѣчайте мнѣ, или я умру отъ горя!

Онъ взялъ ее за обѣ руки и притянулъ къ себѣ.

— Зенеида, сказалъ онъ, одно слово, одно слово! Я прошу и умоляю тебя: не губи себя и меня, пойми любовь мою! Любишь ли ты меня?

Онъ бросился къ ногамъ ея, и рѣчь его лилась потокомъ; чѣмъ больше онъ высказывался, тѣмъ больше было одушевленія, жара, страсти въ словахъ его. Какъ великій актеръ, онъ отлично вошелъ въ роль свою, и плакалъ непритворными, искренними слезами, плакалъ у ногъ ея, и слезы, мольбы, угрозы упоили ее невѣдомымъ дотолѣ чувствомъ. Потрясенная, увлеченная, безсильная, безъ плача, но съ рыданіемъ бросилась она къ нему, и роковое *да* сорвалось съ языка ея, но, сорвавшись, разбило ея слабое сердце. Когда она пришла въ себя, то лежала въ его объятіяхъ и, взглянувъ стыдливо и украдкою на его пылавшее лице, увидѣла, что оно склонилось къ ней, какъ бы въ знакъ того, что всякая попытка на новую борьбу уже невозможна; робкая ласка увлекла ее опять въ новое забытье, и вмѣстѣ съ тѣмъ невозвратно упрочила за нимъ побѣду.

Онъ торжествовалъ, но его радость испугала ее. Она закрыла лице руками и горько заплакала; онъ силою отвелъ руки ея отъ лица и, сидя подлѣ нея, шепталъ ей слова любви и утѣшенія. Тихій звукъ этихъ сладкихъ словъ, упоительный шопотъ любви, снова успокоилъ ея сомнѣнія, и она отдалась вся увлекавшему ее потоку. Голова ея склонилась на плечо его, и долго лежала она, закрывъ глаза, будто дитя, уснувшее послѣ долгаго пути. Онъ приглаживалъ ея волосы и не спускалъ съ нея своихъ огнённыхъ, сіявшихъ гордою радостью, взоровъ. Наконецъ, она опомнилась совершенно и вдругъ, опутавъ его шею руками, сказала чуть слышно:

— Любите меня!

Это былъ послѣдній крикъ измученнаго сердца. Леонъ понялъ это и заключилъ ее въ свои объятія.

Черезъ часъ Елена Филипповна благословила ихъ со слезами радости, и остальная часть дня прошла для Зенеиды въ какомъ-то смутномъ удивленіи, смѣшанномъ съ затаенною болью сердца. Вокругъ нея суетились, поздравляли, радовались; она была поражена и испугана, и въ лицѣ ея, страждущемъ и конвульсивно сжатомъ, можно было прочесть, что она находится въ страшномъ внутреннемъ разладѣ съ собою. Она походила на птичку, захваченную ястребомъ, на пылинку, уносимую вѣтромъ!...

Въ слѣдующіе дни начались пріѣзды и поздравленія, которыя не дали ей опомниться. Наступило воскресенье, и новое испытаніе ждало ее: Таня и Лина пріѣхали, по обыкновенію, изъ пансіона, и, еще въ передней, кто-то изъ домашнихъ поспѣшилъ передать имъ новость, за-

нимавшую весь домъ. Таня, при вѣсти этой, остановилась на порогѣ, какъ пораженная громомъ. Послѣ перваго потрясенія, неизъяснимое чувство завладѣло ея сердцемъ: презрѣніе, жалость и гнѣвъ терзали ее. Изъ гостиной долетали до нея смѣхъ и говоръ — знакомые звуки, такъ часто поражавшіе ее въ домѣ Ельцовой. Она стояла неподвижно, и вдругъ бурное, давно забытое ею чувство, чувство ненависти, опять ворвалось въ ея душу. Липа, казалось, понимала все: она подошла къ своей пріятельницѣ, взяла ее за руку и увела ее корридоромъ въ заднія комнаты. Имъ приходилось идти черезъ уборную невѣсты. Зенеида стояла у окна, задумчиво перебирая концы голубаго пояса, стягивавшаго ея талію; она была одѣта въ бѣлое платье и казалась блѣднѣе обыкновеннаго. Таня бросилась назадъ, но Зенеида, услышавъ шорохъ, обернулась и съ рыданіемъ бросилась Танѣ на шею. Не ожидала Таня такого движенія, не ожидала слезъ; блѣдность истомленнаго лица Зенеиды поразила ее, и она поняла все съ проницательностью, свойственною всѣмъ женщинамъ, много страдавшимъ. Восьмнадцатилѣтняя дѣвочка невольно прижала къ молодой груди своей женщину, осужденную навѣки остаться ребенкомъ, жаждущимъ цѣпей. Жгучія, ѣдкія слезы Тани смѣшались съ обильнымъ потокомъ слезъ Зенеиды. Таня плакала надъ нею и надъ Валентиномъ, котораго на родинѣ ожидалъ новый, непредвиденный ударъ. Она не сказала ни слова, Зенеида также, и черезъ нѣсколько минутъ онѣ сидѣли другъ подлѣ друга, судорожно сжавъ другъ другу руки. Таня уже перестала плакать, и сидѣла погруженная въ мрачную

думу. Изъ сосѣдней комнаты звали Зенеиду: то былъ голосъ Леона. Она вскочила, отерла слезы, оправилась и, усиливаясь улыбнуться, поспѣшила къ нему на встрѣчу. Таня посмотрѣла ей въ слѣдъ и горько улыбнулась.

Лина вошла въ комнату и, взявъ Таню за руки, проговорила съ волненіемъ:

— Все кончено, *это* правда!

Таня кивнула головой въ знакъ согласія. Лина прижалась къ ней и залилась слезами.

— Бѣдный Огинскій, бѣдный Огинскій! проговорила она сквозь слезы.

Между тѣмъ, въ другой комнатѣ, Леонъ говорилъ Зенеидѣ, лаская ее:

— Что съ тобой? Ты какъ будто плакала?

— Таня пріѣхала. Знаешь, первое свиданіе послѣ такого рѣшительнаго шага въ жизни.... Мнѣ было грустно.

— Такъ эта глупая дѣвочка смутила тебя, возразилъ онъ полунѣжно, хотя досада слышилась въ его голосѣ. Зачѣмъ окружаешь ты себя компаньонками и приживалками? Эта Таня разыгрывала самую презрѣнную роль у Ельцовой, и я дивлюсь, кто внушилъ тебѣ мысль окружить себя лицами такого двусмысленнаго поведенія?

— Таня такая добрая; она очень любитъ меня, сказала Зенеида.

— Дитя! сказалъ онъ, цѣлуя ее въ лобъ. Развѣ ты знаешь людей и жизнь? Впрочемъ, все это пустяки Мать и сестра моя въ гостиной, и два раза спрашивали о тебѣ. Пойдемъ.

Онъ взялъ ее за руку и ввелъ въ гостиную, гдѣ была вся семья его, пріѣхавшая обѣдать у невѣсты.

Таня не явилась къ обѣду: она сказалась больною. Пришла одна Лина, съ пылавшимъ лицемъ и сверкавшими глазами. Она была умнѣе обыкновеннаго, но несвойственная ея лѣтамъ прошія дышала въ каждой чертѣ лица ея. Послѣ обѣда Елена Филипповна и Зенеида занялись разговоромъ съ сестрою и матерью Армалева, а онъ подошелъ къ Линѣ, съ которою любилъ шутить и спорить. Лина обошлась съ нимъ по прежнему, но онъ вскорѣ замѣтилъ, что во всѣхъ ея шуткахъ таилось желаніе уколоть его.

— Что вы сегодня такъ немилостивы? сказалъ онъ ей.

— Такой маленькій человѣчекъ, какъ я, можетъ ли быть немилостивъ? отвѣчала она. Наше дѣло молчать и говорить только тогда, когда насъ спрашиваютъ.

— Я и спрашиваю васъ, что съ вами сегодня?

— Я дивлюсь вамъ, Леонъ Ивановичъ. Какъ скоро, какъ удачно!

— Женюсь? спросилъ онъ, смѣясь. Да, только забылъ объ одномъ: не спросилъ вашего позволенія. Право, совсѣмъ забылъ: извините.

— Извиняю охотно, тѣмъ болѣе, что отъ меня вы не получили бы его.

— Это почему?

— Я никому не совѣтую жениться по любви. Я сказала бы (меня всегда учили такъ думать), что любовь проходитъ, что минутное увлеченіе не даетъ счастія. То ли дѣло жениться по расчету, изъ видовъ, на бо-

гатствѣ и знатности! Вотъ это бракъ прочный! Земными благами пренебрегать нельзя. Неужели вы этого не знаете?

Въ тонѣ Лины было что-то дерзкое и презрительное. Леонъ понялъ, что она думала, и сказалъ ей шутя, но также дерзко, какъ она:

— А если я скажу вамъ, что всѣ эти условія соблюдены мною? Зенеида Львовна богата, знатна, имѣетъ связи.

— Знаю, и очень рада, что вы признаетесь въ этомъ: вы не даромъ полюбили ее.

— Я не люблю ея, а только женюсь на ней, сказалъ Леонъ. Развѣ я когда нибудь говорилъ вамъ о любви моей?

— Такъ вы ея не любите? воскликнула Лина такъ громко, съ такимъ торжествомъ, что всѣ обратили вниманіе на нихъ. И вы признаетесь?...

— Признаюсь, и никогда не желалъ хитрить, особенно съ *вами*, повторилъ онъ, улыбаясь и поддразнивая ее.

— Я скажу это ей, проговорила Лина.

— Кому? Зенеидѣ? Я избавлю васъ отъ этого труда. Зенеида, поди сюда, сказалъ онъ громко.

Она подошла.

— Вотъ я говорю Линѣ, что женюсь на тебѣ ради денегъ и связей. Что ты на это скажешь?

Она улыбнулась и нѣжно взяла его за руку.

— И вы послѣ этого пойдете за него? сказала Лина, и губы ея дрожали отъ злости.

— Развѣ ты не видишь, что онъ нарочно сердитъ тебя? проговорила Зенеида.

— Позвольте мнѣ прибавить нравоученіе, сказалъ Армалевъ, перемѣняя тонъ и говоря холодно. Нѣтъ ничего смѣшнѣе пансіонерокъ, которыя сентиментально ссорятся съ женихами своихъ пріятельницъ и позволяютъ себѣ иронію, впрочемъ, всегда безсильную. Запомните-ка это для будущихъ вашихъ размолвокъ съ женихами другихъ вашихъ знакомыхъ. Вы были очень смѣшны, милая моя Лина. Ну, теперь помиримся. Дайте руку!

Онъ протянулъ ей руку, но она не взяла ея и сказала:

— Я васъ презираю!

И съ этими словами она вышла изъ комнаты.

— Вотъ видишь, къ чему ведетъ тебя твоя безразсудная доброта, сказалъ Леонъ Зенендѣ. Эти дѣвочки позволяютъ себѣ все, тогда какъ должны бы сидѣть въ углу и говорить лишь о томъ, что до нихъ касается. Всему этому я положу конецъ.

Между тѣмъ какъ въ Москвѣ рѣшилась участь Воротынской, Валентинъ, не смотря на то, что сердце влекло его на родину, долженъ былъ оставаться за границей для сестры, которая мало по малу оправлялась отъ болѣзни, и нравственной, и физической. Еще зимою Валентинъ познакомился съ однимъ изъ своихъ соотечественниковъ, княземъ Даншинымъ, и не смотря на уединенную жизнь, которую вела Анюта, познакомилъ его и съ нею.

Даншинъ былъ человѣкъ образованный и добрый, и

принадлежалъ къ числу тѣхъ немногихъ людей, которые не по самолюбію, но по крайней недовѣрчивости къ себѣ, очень застѣнчивы и избѣгаютъ шумныхъ и блестящихъ обществъ. Не имѣвъ въ прошлой жизни своей близкихъ отношеній къ женщинамъ, онъ сохранилъ сердце свое отъ ранняго пресыщенія, слѣдствія связей и страстей; оно было еще свѣжо для любви и привязанности. Анюта произвела на него глубокое впечатлѣніе, и онъ отдался безъ борьбы новому для него чувству. Черезъ нѣсколько недѣль знакомства, онъ былъ уже очень коротокъ въ домѣ Огинскихъ и раздѣлялъ съ Валентиномъ его заботы о сестрѣ. Мало по малу Анюта привыкала къ любви Даншина, но не желала объясненія. Да и самъ онъ не рѣшался говорить, смутно понимая, что между нимъ и ею еще недавно стоялъ кто-то. Зима проходила, и Анюта, привыкая къ Давшину, перестала бояться новой привязанности. Весною доктора не совѣтовали Валентину возвращаться въ Россію, и онъ, по ихъ совѣту, повезъ сестру въ Баденъ-Баденъ; Даншинъ поѣхалъ за ними. Давно уже Валентинъ и Ипполитъ Андреевичъ угадывали чувство, увлекавшее молодаго человѣка по слѣдамъ ихъ, и оба радовались надеждѣ видѣть Анюту счастливою. Въ это-то время Валентинъ писалъ Зенеидѣ, что остается до осени на водахъ. Въ продолженіе лѣта судьба Анюты была рѣшена: она вышла замужъ, и вскорѣ послѣ ея свадьбы, Валентинъ простился съ нею и поскакалъ въ Москву.

ГЛАВА IX.

Воротынская сидѣла одна въ своемъ кабинетѣ. Передъ нею стояло нѣсколько картоновъ, изъ которыхъ Елена Филипповна вынимала и примѣривала передъ зеркаломъ разные уборы. Зенеида была разсѣянна и безпокойна, перебирая въ рукахъ богатое ожерелье.

— Зеня, да взгляни сюда! сказала старуха. Этотъ чепчикъ совершенная прелесть! Что ты тамъ разсматриваешь?

— Я хочу подарить это ожерелье сестрѣ Леона, сказала она, подходя къ теткѣ. Посмотрите.

— Какая работа! Какой вкусъ! Удивительно! Прелестная вещь! Откуда она?

— Изъ Петербурга: я выписала нарочно.

— Татары съ шалями, сказалъ лакей, отворяя дверь.

— Тетушка, потрудитесь выбрать, что нужно; у меня голова болитъ.

Старая щеголиха поспѣшила выйти въ залу.

— Это что? спросила Воротынская, увидѣвъ входившую горничную, съ пакетомъ въ рукѣ.

— Письмо изъ-за границы.

— Хорошо, едва вымолвила она, блѣднѣя.

Она притворила дверь, поглядѣла на знакомый почеркъ и дрожавшею рукою разломила печать; пробѣжавъ письмо, она встала съ мѣста, прошлась по комнатѣ въ неизъяснимомъ волненіи и страхѣ, и позвала горничную.

— Садись сейчасъ въ мою карету, — она стоитъ тамъ у подъѣзда, — поѣзжай въ пансіонъ и привези Таню. Скажи, что я больна и прошу, чтобъ ее тотчасъ отпустили. Да скажи тетушкѣ, что мнѣ нездоровится и что я легла спать. Таню проведи ко мнѣ потихоньку. Понимаешь?

— Слушаю, сказала дѣвушка, поспѣшно выходя.

Зенеида сѣла на диванѣ, и обильный потокъ слезъ хлынулъ изъ глазъ ея. Долго, очень долго плакала она. Что происходило въ сердцѣ ея? Сожалѣніе ли о прошломъ, укоръ ли самой себѣ, боязнь ли непріязненнаго столкновенія между прежними друзьями, или, наконецъ, сознаніе, что разбивъ собственное сердце, она не пожалѣла и того, кто еще такъ любилъ ее, кто спѣшилъ къ ней съ прежнею любовью. Быть можетъ, то была одна изъ тѣхъ тяжкихъ минутъ, когда женщина, отъ природы слабая и чувствительная, не знаетъ, кого она любитъ и чего хочетъ; когда она, не покончивъ съ прошедшимъ, видитъ себя уже навѣки связанною въ

настоящемъ, и мучительно стоитъ между двумя плѣнительными призраками, увлеченная непреодолимою силою къ одному и страстно сожалѣя о другомъ. И ужъ не любовь ли это страстное, жгучее сожалѣніе?

Таня застала Зенеиду блѣдною и изнуренною; голова ея лежала на подушкѣ, и длинныя букли, смоченныя слезами, падали въ безпорядкѣ вдоль блѣдныхъ ея щекъ. При видѣ этого изнеможенія и безсильнаго отчаянія, Таня испугалась и сѣла подлѣ Зенеиды, не смѣя сказать ни слова.

— Прочти, сказала Зенеида, указывая на письмо.

Валентинъ писалъ то, что уже извѣстно читателю, прибавляя, что выѣзжаетъ на другой день по отправленіи письма. Легкая дрожь пробѣжала по всему тѣлу Тани. Она положила письмо и сказала почти холодно:

— Стало быть, черезъ нѣсколько дней онъ будетъ здѣсь.

— Быть можетъ и скорѣе: письмо опоздало.

Онѣ молчали. Зенеида плакала.

— Чтожь ты молчишь? сказала она наконецъ. Посовѣтуй мнѣ что нибудь.

— Мнѣ говорить нечего, сказала Таня, сжавъ губы; дѣлайте, какъ знаете.

— Таня! Таня! Ты одна моя надежда, одно мое утѣшеніе! Не будь такъ жестока, Таня. Вспомни, что когда-то я умѣла войти въ твое положеніе; пожалѣй и ты обо мнѣ. Я не упрекаю тебя, а только напоминаю, что надо имѣть кротость и состраданіе. Ты богомольна:

вспомни, что Христосъ училъ насъ прощать врагамъ нашимъ, а была ли я врагомъ твоимъ, Таня?

— Правда, сказала Таня, вставая, простите меня. Я на все готова; приказывайте.

— Таня, поѣзжай туда, къ нему; узнай о его пріѣздѣ; вели прислать за собой, какъ только онъ пріѣдетъ, поговори съ нимъ, успокой его, объясни ему....

— Что? сказала Таня, въ борьбѣ съ собою и будучи не въ силахъ превозмочь свою холодность.

— Я не знаю, что̀ именно, но твоя привязанность къ нему внушитъ тебѣ, какъ лучше сказать. Скажи ему, что я у ногъ его прошу прощенія, скажи, что я умоляю его объ одной милости — уѣхать отсюда, не видавъ меня. Пусть онъ не мститъ ни ему, ни мнѣ, и я буду благословлять его всю жизнь мою. Я боюсь его встрѣчи съ Леономъ. Боже мой! Боже мой!

— Я сдѣлаю все, что могу, сказала Таня.

— Милая, милая моя Таня! воскликнула Зенеида, взявъ ее за руку и притягивая къ себѣ.

Но Таня освободила свою руку.

— За себя не бойся, Таня: никто не узнаетъ, что ты была у него; я ни слова не скажу ни Леону, ни тетушкѣ.

— Мнѣ все равно, произнесла Таня, улыбаясь судорожно; я никого не боюсь, и всѣхъ презираю, хотѣла она прибавить, но остановилась на полуфразѣ и продолжала спокойнѣе: Не тревожьтесь: я сдѣлаю все, что

внушить мнѣ совѣсть и христіанскій долгъ. Теперь позвольте мнѣ уйти, я не нужна вамъ больше.

— Останься, не уходи; Леонъ пріѣдетъ обѣдать: надо скрыть отъ него. Боже мой! Какая пытка!

Таня сидѣла, какъ статуя, у изголовья Зенеиды и увидѣвъ, что она становилась спокойнѣе, и что судорожныя рыданія смѣнились тихими слезами, какъ у засыпающаго ребенка, встала и вышла изъ комнаты.

Запершись у себя, долго молилась Таня, и обильныя слезы утишили на мигъ страданіе безнадежно любящаго сердца. Когда-то Таня долго боролась съ сердцемъ своимъ, побѣдила его, покорилась своей участи, положила все свое счастіе въ счастіи любимаго человѣка, и вотъ та, которую любить она заставила себя, такъ безумно разбила его счастіе. Нѣсколько дней назадъ, Таня старалась увѣрить себя, что, быть можетъ, и онъ, увлеченный потокомъ новой жизни, забываетъ Зенеиду, но теперь это письмо, это роковое письмо, свидѣтельствовало о такой глубокой нѣжности къ этой женщинѣ, что Таня не могла простить ей, и, вопреки своей волѣ, своимъ убѣжденіямъ и глубоко христіанскимъ правиламъ, минутами ненавидѣла ее, какъ виновницу несчастія человѣка, которому принадлежало навѣки ея гордое, но безумно любящее сердце. Таня молилась за него, старалась побѣдить свою ненависть къ Зенеидѣ, и мало по малу духъ кротости и любви осѣнилъ бѣдную дѣвушку...

Между тѣмъ запыленный дормезъ подъѣхалъ къ большему подъѣзду дома Огинскихъ, и нѣсколько минутъ спустя, Валентинъ вышелъ изъ дому и спѣшилъ къ Зенеидѣ, къ которой мчался безъ устали отъ самаго Баденъ-Бадена до Москвы. Было около трехъ часовъ дня, когда онъ вошелъ въ домъ Воротынской; лакей, встрѣтившій его въ передней, сказалъ ему, что Зенеиды нѣтъ дома, что она уѣхала обѣдать и не возвратится прежде вечера. На вопросъ Валентина, гдѣ она, слуга не умѣлъ отвѣтить. Валентинъ написалъ нѣсколько строкъ и сказалъ, что воротится вечеромъ. Разстроенный этою первою неудачей, онъ пришелъ къ себѣ и, вспомнивъ о Танѣ, хотѣлъ ѣхать къ ней, когда сама она вошла въ его залу. Валентинъ бросился къ ней, и цѣлуя ея руки, повелъ ее въ кабинетъ свой, осыпая вопросами.

— Ну, что она здорова? Куда уѣхала? Я думалъ, что застану ее дома: я писалъ ей, что буду на дняхъ. Гдѣ же она? Ну, говорите же, Таня?

Но Таня молчала; она не имѣла силы отвѣчать ему; блѣдная, съ лицемъ, на которомъ изображалось все страданіе ея души, она шла съ нимъ объ руку, не отвѣчая ни слова. Онъ взглянулъ на нее: выраженіе лица ея, и самое ея присутствіе въ его домѣ поразило его.

— Таня, сказалъ онъ дрожавшимъ голосомъ, говорите скорѣе, зачѣмъ вы у меня? Это странно! Страшно, страшно лице ваше: оно говоритъ недоброе; скорѣе, Таня, скажите, что съ нею? Больна она?

— Хуже! сказала Таня, тяжело произнося это слово.

— Хуже! Боже мой! воскликнулъ Валентинъ. Ужъ не умерла ли она?

Блѣдный, какъ смерть, смотрѣлъ онъ на Таню. Она бросилась къ нему и, взявъ руки его своими, какъ ледъ, холодными руками, начала говорить, прерывая рѣчь свою отъ внутренняго волненія: она задыхалась....

— Валентинъ, будьте мужественны, будьте тверды; я пришла сказать вамъ о вашемъ несчастіи и, Богъ видитъ мое сердце, я чувствую ваше горе такъ же глубоко, какъ вы сами. Быть можетъ, мнѣ больнѣе, чѣмъ вамъ. Простите ее, Валентинъ, пожалѣйте ее; она и теперь дорого платитъ за тотъ ударъ, который наноситъ вамъ. Валентинъ, вы сказали правду: она умерла для васъ, но только для васъ...

— Говорите скорѣе, сказалъ Валентинъ, собравшись съ силами. Развѣ я женщина? Скорѣе, что случилось?

— Она выходитъ замужъ.

— Не можетъ быть! сказалъ онъ, вскочивъ съ мѣста, но Таня схватила его за руки и смотря ему въ лице умоляющими, полными слезъ, глазами, едва могла произнести:

— Это правда, правда.

— За кого же? спросилъ онъ.

— За Армалева.

Это имя поразило Валентина. Онъ молчалъ, сжатыя губы его побѣлѣли и дрожали.

— За Армалева! повторилъ онъ глухимъ голосомъ. За Леона Армалева! Это ужасно! За Леона Армалева!

Онъ быстро пошелъ къ двери ; Таня бросилась за нимъ.

— Куда вы ? сказала она. О, отвѣчайте, отвѣчайте же мнѣ ! Что вы хотите дѣлать ? Пожалѣйте насъ всѣхъ !

— Оставьте меня, сказалъ ей Валентинъ съ обманчивымъ спокойствіемъ. Чего вы боитесь ?

Онъ вырвался изъ рукъ ея и быстро пошелъ по комнатѣ.

— Гдѣ моя шляпа ? сказалъ онъ, и машинально искалъ ее на столахъ и диванѣ.

Но Таня не оставляла его. Она шла по слѣдамъ его и говорила съ энергіей отчаянія:

— Валентинъ, выслушайте меня. Валентинъ, вы все потеряли, это правда. Покоритесь, вспомните прошлое; простите ей во имя его ; вспомните, какъ долго она, любя, утѣшала васъ, зная, что сердце ваше отдано другой. Любовь дѣло невольное. За что же вы хотите уничтожить, казнить ее ? Она любила васъ, говорю я вамъ, а теперь любитъ другаго. Будьте великодушны, забудьте, простите !

— Никогда ! никогда ! воскликнулъ онъ съ отчаяніемъ.

— Неужели у васъ меньше силы, чѣмъ у меня, Валентинъ ? Вы мущина; взгляните на меня: я женщина, я не знала ничьей любви, я знала одно страданіе и умѣла прощать. Я покорилась. Я несу крестъ свой, несу и другой, ну что же ? Я сильна, и сила моя растетъ съ каждымъ новымъ несчастіемъ. Валентинъ, слушайте

меня: вы погубили жизнь мою, всю жизнь мою, неужели вамъ мало этого? Или вы даже не знаете этого?

Онъ остановился.

— Таня, сказалъ онъ, я не понимаю: вы говорите о себѣ, по мысли мои смутны; послѣ, послѣ....

Онъ замолчалъ и потомъ прибавилъ спокойнѣе:

— Чего боитесь вы? Чего хотите вы? Развѣ я дитя или безумный?

— Нѣтъ, сказала она, я не оставлю васъ! Куда хотите вы идти? Зачѣмъ? Уѣзжайте отсюда, уѣзжайте скорѣе. Что вамъ здѣсь дѣлать? И чѣмъ виноваты они, что полюбили другъ друга? Сжалься надъ нами, я умоляю тебя именемъ моей любви, моихъ страданій!...

Она упала на колѣна; онъ подпялъ ее и посадилъ въ кресла. Нервическія рыданія задушили ее.

— Таня, успокойтесь, я хочу только видѣть ее.

Она силилась говорить и не могла.

— Я хочу ее видѣть! повторилъ онъ рѣшительно.

— Неужели вы хотите?... произнесла она чуть слышно и съ усиліемъ.

— Убить ее, что ли? сказалъ Валентинъ горько. Нѣтъ, дитя мое, успокойтесь, прошу васъ. Руки ваши холодны, вы дрожите. Я, какъ видите, спокоенъ; страхъ вашъ напрасенъ: я не дикій звѣрь, не Венеціанскій Мавръ. Взгляните же на меня, развѣ вы не знаете меня? Ну, не бойтесь, оставьте меня одного!

— Но зачѣмъ хотите вы видѣть ее? сказала Таня, рыдая. Что можетъ она сказать вамъ, чего бы я уже не сказала?

— Да, да, я знаю. Но ужели я не имѣю права требовать правды? Пусть скажетъ она мнѣ сама, что любитъ его, и я уйду, оставлю ее. Одинъ взглядъ ея скажетъ мнѣ больше, чѣмъ всевозможныя объясненія.

— Вы обѣщаете мнѣ щадить ее, Валентинъ?

— Обѣщаю.

Таня бросилась къ нему и облила руки его слезами, но онъ смотрѣлъ холодно на порывы и слезы бѣдной дѣвушки. Адъ мучительныхъ чувствъ захватывалъ ему дыханіе.

— Скажите ей, слышите ли, скажите ей, что я требую свиданія, — что я хочу видѣть ее и увижу, произнесъ онъ твердо.

Таня хотѣла остаться съ нимъ; но онъ настойчиво приказывалъ ей ѣхать тотчасъ къ Зенеидѣ, и она повиновалась.

Оставшись одинъ, Валентинъ схватилъ шляпу и вышелъ на улицу, не видя ничего передъ собою; тысячи смутныхъ чувствъ мучительно боролись въ немъ, но надъ всѣми ими преобладало чувство горькаго изумленія, смѣшаннаго съ невыносимою болью сердца.

Ударъ, поразившій его такъ внезапно, такъ сильно, разомъ убилъ въ его сердцѣ два лица равно близкія: любовницу и друга.

Зачѣмъ? за что? Эти слова безсознательно просились на языкъ Валентина, и смущенная мысль его не шла далѣе, затмившійся умъ молчалъ, а сердце страдало безконечно.

«Зачѣмъ она не сказала мнѣ?» подумалъ онъ, и вновь впалъ въ хаосъ тяжелыхъ мученій; любовь, ненависть, ревность и отчаяніе охватили его сердце. Незамѣтно для самого себя очутился онъ на многолюдной улицѣ; экипажи мчались, пѣшеходы толпились по троттуару,— Валентинъ ничего не замѣчалъ; одинъ изъ экипажей едва не сбилъ его съ ногъ; онъ опомнился, осмотрѣлся, и увидѣвъ, что шелъ не по той дорогѣ, повернулъ въ знакомый переулокъ и пошелъ медленнѣе, стараясь привести въ порядокъ мысли свои. Но ударъ былъ слишкомъ тяжелъ.

«Зенеида!» повторялъ онъ невольно, и это имя какъ-то страшно звучало въ ушахъ его. Наконецъ, чувство собственнаго достоинства проснулось въ немъ. Онъ не хотѣлъ показать ей своихъ мученій и перешагнулъ гордо порогъ ея дома, гордо вошелъ въ ея комнату, готовый на безпощадное объясненіе. Ему, казалось, отрадна была злая мысль, что его появленіе уничтожитъ ея настоящее благополучіе; но лишь только вошелъ онъ, лишь только увидѣлъ ее, какъ мысли его спутались. Будто ударъ молота въ сердце поразилъ его. Она лежала въ длинныхъ креслахъ; Таня суетилась около нея. Гдѣ счастіе? гдѣ спокойствіе? На лицѣ ея было написано одно страданіе и ужасъ. Валентинъ сдѣлалъ Танѣ знакъ; она посмотрѣла на него

умоляющими глазами; онъ опять показалъ ей на дверь; она вышла, притворяя ее за собою. Валентинъ взялъ стулъ, придвинулъ его къ Зенендѣ и сѣлъ; онъ хотѣлъ говорить, но внутреннее волненіе не позволило ему произнести ни слова. Зенеида сидѣла безъ движенія и силы; только слезы ея, струившіяся медленно и обильно по лицу ея, говорили о томъ, что она еще живетъ и чувствуетъ. Онъ смотрѣлъ на нее презрительно и сухо; она не поднимала глазъ, только смертельный холодъ пробѣгалъ по тѣлу ея и вдругъ заставлялъ ее вздрагивать. Мало-по-малу жалость вкралась въ сердце Валентина; но когда она взглянула на него, взоромъ, полнымъ томительнаго мученія, смѣшаннаго со страхомъ, онъ не выдержалъ и спросилъ у себя, зачѣмъ онъ у нея? что хотѣлъ сказать ей, что пришелъ дѣлать, что узнавать? Онъ всталъ молча.

— Валентинъ, я не достойна васъ, сказала она едва слышно, и тонъ ея голоса говорилъ больше самыхъ краснорѣчивыхъ словъ; въ немъ было что-то жалобное, задавленное, безконечно страждущее. — Быть можетъ, я всегда была недостойна васъ, не умѣла понять любви ва. . . . .

Голосъ прервался, слова замерли на языкѣ ея, и глухое рыданіе раздалось въ комнатѣ. Она прижала къ губамъ батистовый платокъ свой и судорожно задушала имъ свое рыданіе.

— Зачѣмъ обманули вы меня? сказалъ Валентинъ горячо. Зачѣмъ не сказали вы просто: я люблю другаго? Зачѣмъ оставили вы меня летѣть сюда съ надеж-

дою на счастіе, зачѣмъ убили во мнѣ вѣрованіе въ искренность и благородство? Ужели въ васъ нѣтъ даже чувства правды? Или шестою я вашего слова и мало любилъ васъ? Неужели хотѣли вы, чтобы пріѣхавъ, я нашелъ васъ уже за-мужемъ? Говорите—того ли хотѣли вы?

— Я виновата, я виновата, для меня нѣтъ оправданій! Но выслушайте меня, если можете. Не презирайте меня. Я не знаю, какъ это сдѣлалось, клянусь вамъ, незнаю. Вы оставили меня одну, на жертву пересудамъ, которые испугали меня, въ рукахъ людей, которые васъ ненавидѣли. О, я не обвиняю васъ, Валентинъ, поймите это,—мнѣ ли обвинять васъ? Я только возвращаюсь къ прошедшему и вспоминаю то, что было. Вы знали, что я слаба и не могу бороться: зачѣмъ же вы оставили меня? Я любила васъ, Валентинъ, но я не могла бороться и покорилась обстоятельствамъ. Сперва, другъ вашъ....

— Не называйте его этимъ именемъ! воскликнулъ Валентинъ. Онъ не другъ мой: онъ укралъ мое счастіе. Знайте, я презираю его!

Онъ замолчалъ, испугавшись собственнаго порыва, и прибавилъ тише:

— Продолжайте. Я хочу знать всю правду, чтобы знать, долженъ ли я сожалѣть о васъ, или презирать, какъ презираю его.

Она искала словъ и не могла найти ихъ.

Онъ повторилъ ей ея послѣднія слова.

— О васъ, Валентинъ, объ одномъ васъ, говорила я съ нимъ, и только потому, что знала, сколько вы его любите. Потомъ.... потомъ.... Валентинъ избавьте меня отъ этой пытки, позвольте мнѣ замолчать. Смотрите—я у ногъ вашихъ. Она хотѣла броситься къ нему, но онъ не допустилъ ея до этого и посадилъ опять въ кресла. Лишь только рука его коснулась ея, какъ она обвила его шею своими руками, и безжизненная голова ея упала на грудь его. Сердце Валентина разрывалось на части: ему хотѣлось бы прижать ее къ сердцу и уничтожить ее, задушить ее въ этомъ объятіи. Ненависть, или всемогущая и бурная любовь проснулась въ немъ въ эту минуту? Кто знаетъ? Онъ не владѣлъ собою, и, оттолкнувъ ее отъ себя, бросилъ ее на диванъ. Неподвижно стоялъ онъ подлѣ нея, и сердце его стучало такъ сильно, будто хотѣло вырваться изъ груди. Она сдѣлала надъ собою усиліе и прошептала умоляющимъ голосомъ:

— Прости, прости меня!

— Будьте счастливы, сказалъ Валентинъ и бросился вонъ изъ комнаты; но она вскочила, будто силы ея вдругъ возвратились, кинулась стремительно къ нему и раздирающимъ голосомъ говорила ему, обвивая его руками:

— Нѣтъ, не такъ! Не оставляйте меня такъ, простите меня! Еслибъ вы знали, какъ я любила, какъ я люблю васъ! Вы всегда останетесь въ моемъ сердцѣ. Простите дерзость этихъ словъ моихъ: я знаю, что я для васъ не существую, вы презираете меня, я заслу-

жила ваше презрѣніе, и оно убиваетъ меня! Вы несчастливы, но я тоже! Я тоже! Нѣтъ для меня будущаго: вами жила я и, потерявъ васъ, утратила все. Я знаю, я сама безумно убила и васъ, и себя, но я не жалѣю о себѣ, я ненавижу себя. Васъ мнѣ жаль, — Валентинъ, я люблю васъ — не покидайте меня, не сказавъ мнѣ....

— Чего? холодно прервалъ ее Валентинъ, мѣряя ее глазами.

По мѣрѣ того, какъ въ ней просыпалась любовь, въ немъ сильнѣе и сильнѣе говорила ненависть. Она не выдержала его холоднаго взгляда и ломая руки, упала на кресло, восклицая съ отчаяніемъ:

— О, если бы я могла умереть! Боже мой!

И ея неподдѣльное, безумное отчаяніе потрясло Валентина; тяжко было ему видѣть эти столь знакомыя ему черты, искаженными страданіемъ, потрясавшимъ слабую ея организацію. Онъ подошелъ къ ней, взялъ ее за руку, и сказалъ ей тихо, почти ласково:

— Успокойся: все кончено, я прощаю тебя. Я долженъ былъ хранить тебя отъ тебя самой — испытаніе было выше силъ твоихъ, я понимаю это и прощаю тебя.

Она взяла его руку, прильнула къ ней жадными, жаркими губами, и воскликнула въ порывѣ страсти и увлеченія:

— О мой Валентинъ! Милой мой Валентинъ! Дѣлай, что хочешь.... увези меня.... Я люблю тебя.... я ....

И вдругъ испугавшись собственныхъ словъ, она побледнѣла какъ снѣгъ и упала лицемъ въ подушку, полная раскаянія, укоровъ, любви.

— Поздно, сказалъ онъ мрачно, прощай! Будь счастлива, дитя мое!

При этомъ словѣ, невольно сорвавшемся съ языка его, которое когда-то говорилъ онъ ей въ минуты нѣжности, слезы въ первый разъ пробились изъ глазъ его. Валентинъ зарыдалъ какъ дитя, взялъ голову Зенеиды въ обѣ руки свои, поцѣловалъ ее, обливая слезами ея волосы, и выбѣжалъ, какъ помѣшанный.

«Все кончено!» сказалъ себѣ Валентинъ, и уже не жгучее или томительное страданіе охватило все существо его, а какое-то странное, до сихъ поръ неизвѣстное ему чувство. Ему казалось, что ничто не существовало вокругъ него, будто онъ самъ затерялся въ какой-то безбрежной пустынѣ, изъ которой нѣтъ выхода. Да и для чего искать его? Долго сидѣлъ онъ, не сводя глазъ съ одного пункта, и не-кому было разбудить его отъ того нравственнаго забытья, въ которомъ онъ находился.

Домъ его былъ нѣмъ, пустъ и мраченъ, какъ и онъ самъ. Но онъ не сознавалъ своего одиночества: вся жизнь души его была сосредоточена въ какія-то не яс-

ныя, но безконечно тяжелыя ощущенія, въ которыхъ онъ не отдавалъ себѣ отчета. Онъ былъ задавленъ и будто равнодушенъ къ себѣ самому и къ другимъ; бури не было въ немъ, она утихла; но за-то какое-то безстрастное и безотрадное чувство шевелилось въ глубинѣ пораженной души. Прошла ночь, догорѣла свѣча, а онъ все сидѣлъ на одномъ мѣстѣ. Вотъ и блѣдные лучи дня проникли сквозь спущенныя занавѣски. Онъ всталъ, изнемогая отъ усталости, и легъ на диванъ, и томительный сонъ, не принося забвенія, возвратилъ ему силы.

Поутру пріѣхала Таня и нашла его сидящимъ неподвижно, какъ сидѣлъ онъ всю ночь. Увидя ее, Валентинъ машинально сжалъ ея руку, и потомъ опять забылся подлѣ нея, уничтоженный и измученный.

— Когда вы ѣдете, Валентинъ? спросила Таня, взявъ его руку.

— Куда? Я не располагалъ ѣхать, отвѣчалъ онъ. Впрочемъ, я объ этомъ еще не думалъ — но, конечно, мнѣ лучше уѣхать.

— Поѣзжайте къ Ипполиту Андреевичу или къ сестрѣ: они любятъ васъ. Гдѣ они теперь?

— Ипполитъ Андреевичъ въ Михайловскомъ, а сестра, должно быть, пріѣхала въ Одессу.

— Ну, чего же лучше? поѣзжайте въ Одессу. — Югъ, воздухъ, море.... Она любитъ васъ: жизнь ваша примкнетъ къ ея жизни, ея счастіе отразится на васъ,

и вы найдете спокойствіе и утѣшеніе. Поѣзжайте къ сестрѣ, поѣзжайте скорѣе!

— Да, я поѣду, сказалъ Валентинъ.

— Неужели вы не подумали, продолжала Таня вкрадчиво и тихо, что, погибнувъ самъ, человѣкъ можетъ и долженъ жить для другихъ? Въ привязанности сестры вы найдете то участіе, которое оживляетъ душу, поднимаетъ павшій духъ. Потомъ направьте жизнь вашу иначе. Скажите мнѣ, что вы ѣдете завтра, и я буду спокойнѣе.

— Добрая моя Таня, сказалъ Валентинъ, еслибъ вы знали, какъ все, что вы говорите, глубоко меня трогаетъ. Но я не способенъ теперь отвѣчать вамъ, я не способенъ говорить.

— Я пришла не для того, чтобы мѣшать вамъ. Молчите, но позвольте мнѣ остаться съ вами весь нынѣшній день. Вспомните, что мы разстаемся надолго, быть можетъ — навсегда.

Слезы блеснули въ глазахъ Тани, но она владѣла собою и по-прежнему казалась спокойна.

— Позвольте мнѣ распорядиться на-счетъ вашего отъѣзда. Вы поѣдете завтра чѣмъ свѣтъ. Хотите?

— Пожалуй, сказалъ Валентинъ.

Таня вышла и возвратилась черезъ нѣсколько времени.

— Все будетъ готово, сказала она, садясь.

Онъ не отвѣчалъ ей, и оба они долго молчали.

Случайно пробѣгая по комнатѣ, глаза Валентина остановились на бѣдной дѣвушкѣ. Она сидѣла у пустаго, холоднаго, полнаго пепла камина; нога ея опиралась на его чугунную рѣшетку, а худая, тонкая талія нагнулась впередъ, и глаза, сухо смотрѣвшіе въ пустой каминъ, поразили даже Валентина. Въ позѣ ея, выраженіи лица и глазъ было столько затаеннаго несчастія, столько покорности судьбѣ и какого-то отреченія отъ самой себя, что Валентинъ долго глядѣлъ на нее, и какъ бы вспомнивъ что-то, подошелъ къ ней, взялъ ея холодную какъ ледъ руку и медленно прижалъ къ губамъ своимъ.

— Таня, не думайте, что я неблагодаренъ, сказалъ онъ ей съ проснувшимся чувствомъ, или что я не цѣню вашей неизмѣнной ко мнѣ привязанности. Простите меня, если я молчалъ цѣлый день и какъ бы не замѣчалъ васъ: — я еще не могу притти въ себя, и смутно все во мнѣ самомъ. Однако, прежде чѣмъ я оставлю васъ, я хочу знать, что вы начнете и гдѣ будете жить?

Онъ остановился на мгновеніе и продолжалъ съ усиліемъ:

— *Она* вѣрно уѣдетъ въ Петербургъ, когда выйдетъ за-мужъ. Вы поѣдете съ нею?

— Я? съ нею? сказала Таня. Съ нею! И съ нимъ! Никогда! Между нами цѣлая пропасть! Все кончено. Богъ съ нею! Я простила; но жить съ нею я не въ состояніи.

— Хотите ѣхать къ сестрѣ моей? сказалъ онъ по-

слѣ долгаго молчанія. Она добрѣйшее созданіе: вамъ будетъ хорошо у нея.

— Валентинъ, сказала Таня, Богъ да благословитъ васъ за это слово! Одного этого слова было бы достаточно, чтобы заставить меня полюбить васъ, еслибы я давно не была къ вамъ привязана всѣми силами души моей. Но я уже не принадлежу себѣ. — Я давно рѣшилась. Назначеніе мое даетъ мнѣ силу выносить мою долю безропотно и твердо. Я иду въ монастырь.

— Отъ чего? зачѣмъ? Неужели нельзя молиться и любить Бога, не покидая свѣта. Вы молоды, Таня, вы богаты, не забывайте этого: я имѣю право раздѣлить съ вами не нужное мнѣ богатство.

— Благодарю васъ. — Молода, говорите вы, тѣмъ лучше, тѣмъ больше времени могу я посвятить Богу и ближнимъ; богата, — я этому очень рада, потому что, говоря это, вы даете мнѣ возможность слѣдовать вполнѣ заповѣди Спасителя.

— Таня, неужели это рѣшеніе неизмѣнно? Вчера вы говорили мнѣ о себѣ въ такую страшную для меня минуту, когда я былъ лишенъ возможности понимать. Теперь я слушаю васъ.

— Ничего не могу сказать вамъ особеннаго. Разсмотрите всю жизнь мою, и вы увидите то, что я уже давно увидѣла и поняла. Брошенное дитя, я не знала любви матери, не знала отца моего; еще дѣвочкою я была свидѣтельницей грязнаго разврата; взрослой дѣвушкой вошла въ другой домъ и сначала не могла любить ту,

которая казалась мнѣ достойною и любви, и уваженія. Но Богъ помогъ мнѣ: я смирилась, какъ ни дорого это стоило мнѣ....

— Знаю, видѣлъ, сказалъ Галентинъ.

— Нѣтъ, вы не могли ни знать, ни видѣть. Но оставимъ это. Богъ помогъ мнѣ, я полюбила ее; но тогда явился человѣкъ, который, подъ видомъ дружбы и участія, опуталъ эту слабую женщину и погубилъ ее и васъ, за горсть денегъ, изъ одного эгоизма. Вы видите, вездѣ зло, вездѣ суета, эгоизмъ, порокъ. Что остается на долю добрыхъ, какъ не одно страданіе и несчастіе? Вы благородны и добры; взгляните, куда упали вы? Ваши страсти увлекли васъ, и вы упали въ пропасть, куда толкнули васъ тѣ, которыхъ вы имѣли заблужденіе любить. Страшно, мнѣ страшно, Валентинъ, и я бѣгу отъ свѣта, отъ людей, я отдаю Богу имъ созданное сердце, и въ Немъ ищу утѣшенія, спасенія; въ моей безграничной любви къ Нему я утоплю всѣ порывы и страсти души моей. Не говорите мнѣ ни слова, не смущайте меня напрасно: ваши слова, потрясая мое слабое сердце, не совратятъ меня съ истиннаго пути, съ пути спасенія. Но вы будьте благословенны за то, что отвратили меня отъ зла и дали возможность уму моему просвѣтлѣть и понять ту гибельную бездну порока, въ которой я жила. Когда я васъ узнала, я умѣла только ненавидѣть и мстить: любить я не умѣла, не умѣла и молиться. Вы дали мнѣ возможность узнать ученіе Спасителя, и съ тѣхъ поръ я счастлива въ моемъ несчастіи! Я не одна: я знаю, что Отецъ мой Небесный равно любитъ дѣтей своихъ, и если Онъ посылаетъ имъ

испытаніе, то дѣлаетъ это для ихъ же блага. Онъ привелъ меня къ Себѣ тернистымъ путемъ, и я люблю моего Создателя всею силою моего сердца, всею душой моей, и благословляю испытанія, которыя Онъ послалъ мнѣ.

Таня говорила горячо: слова лились изъ устъ ея потокомъ, долго сдерживаемымъ и вдругъ прорвавшимся наружу. Валентинъ слушалъ ее съ изумленіемъ, къ которому примѣшивались печаль и сочувствіе: не предполагалъ онъ въ ней прежде, ни этой силы, ни этихъ непреклонныхъ убѣжденій. Онъ понялъ, что вся сила ея была въ этихъ убѣжденіяхъ, и потому не возражалъ ей и сѣлъ подлѣ нея, обмѣниваясь порою дружескимъ словомъ, порою тѣми рѣчами, которыя сами просятся на языкъ, когда близкая разлука грозитъ лицамъ, близкимъ другъ другу. Не разъ тайная, тотчасъ же сдерживаемая силою воли, слеза отуманивала глаза бѣднаго молодаго человѣка, и слова Тани, полныя нѣжности, достигали до его сердца. Такъ просидѣли они до полуночи и надо было проститься. Напрасно хотѣла она совладать съ собою: переполненное чувствами сердце ея не могло больше противустоять страсти; она упала на грудь Валентина и долго рыдала, призывая на него благословеніе Неба. Когда она была у двери, онъ остановилъ ее.

— Таня, сказалъ онъ, пиши ко мнѣ. Послѣ сестры моей, ты одна близка моему сердцу.

— Да, сказала она, пока вамъ нужны мои письма, и мои утѣшенія, я буду писать; а послѣ, если они прекратятся, не осуждайте меня.

— Отъ чего не хочешь ты писать ко мнѣ?

— Зачѣмъ? развѣ наши связи, привязанности и обѣщанія не суета и прахъ? Я буду любить тебя въ Богѣ, какъ всѣхъ людей: наши личныя привязанности и страсти должны быть принесены Ему въ жертву, и я надѣюсь со временемъ получить силу не любить никого внѣ Его.

Валентинъ понялъ, что и эта женщина была на порогѣ другой жизни и невозвратно погибала для него; онъ не сказалъ ей ни слова, но, покорясь судьбѣ, благоговѣйно поцѣловалъ, на прощаньи, ея густые, черные волосы, обреченные на жертву.

— Я буду молиться за тебя—были послѣднія слова Тани.

Разставшись съ нею, Валентинъ созналь вполнѣ свое одиночество, и томительная тоска охватила его. На другой день, рано утромъ, онъ уѣхалъ изъ Москвы.

ГЛАВА X.

Черезъ недѣлю, усталый и разбитый дорогою, въѣзжалъ Валентинъ въ шумную Одессу. Былъ вечеръ. Улицы были ярко освѣщены; разряженныя веселыя толпы гуляющихъ, какъ волны взморья, приливали къ бульварамъ, упиваясь вечернею прохладой воздуха. Яркая синева моря потухла, и вдали, какъ призраки, виднѣлись огромныя снасти кораблей; яркіе огни блистали на берегу и отражались на спокойной поверхности моря. Вечеръ былъ тихъ и тепелъ; голубое, южное, яркое небо блистало міріадами звѣздъ. Валентинъ едва взглянулъ на городъ и нетерпѣливо звонилъ у двери высокаго дома, гдѣ жила сестра его. По мѣрѣ того, какъ онъ приближался къ ней, сильнѣе и сильнѣе просыпалась, въ его усталомъ сердцѣ, прежняя привязанность къ ней, заснувшая посреди хаоса послѣднихъ мучительныхъ потрясеній и страданій. Щегольски одѣтый лакей отворилъ Валентину дверь квартиры и съ удивленіемъ по-

смотрѣлъ на этого нежданнаго, незнакомаго ему пришельца. Валентинъ сбросилъ шинель и поспѣшно вошелъ въ залу.

— Кого вамъ угодно? спросилъ у него изумленный слуга.

— Анна Михайловна дома?

— Никакъ нѣтъ. Поѣхали въ театръ.

— Такъ я подожду: вынеси вещи изъ моего дормеза.

Слуга бросился внизъ, убѣдясь, что новопріѣзжій, конечно, имѣлъ право такъ самовольно распоряжаться въ домѣ господъ его.

Валентинъ медленно обошелъ комнаты; онѣ были вновь убраны, роскошно и со вкусомъ: вездѣ были слѣды самой задушевной, стройной семейной жизни. Въ кабинетѣ Данишина, у окна, стояли пяльцы; подлѣ нихъ широкое мужское кресло, и забытая около нихъ книга и трубка говорили о привычкахъ счастливыхъ супруговъ. Въ комнатѣ Анюты, вѣроятно ожидая хозяевъ, стоялъ самоваръ и чайный сервизъ съ двумя чашками. Валентинъ сѣлъ и задумался. Ужъ не былъ ли онъ безвременнымъ пришельцемъ въ этотъ домъ, въ эту счастливую жизнь вдвоемъ? ужъ не смутитъ ли онъ ея? Эта мысль однако не долго владѣла имъ: онъ вспомнилъ о своемъ дѣтствѣ, о своей нѣжной дружбѣ съ сестрою. Развѣ впервые приходилъ онъ въ нѣдра семейства залѣчивать раны, данныя ему на мятежномъ поприщѣ свѣта. Только грустно было ему глядѣть на безмолвную обстановку этого семейнаго быта, свидѣтельствовавшаго

о счастіи : онъ невольно обращался къ себѣ и признавался, что оно погибло для него навѣки вмѣстѣ съ тою, которую онъ такъ горячо любилъ. При этомъ въ умѣ его мелькнула утѣшительная мысль, что ему будетъ хорошо, хотя и отъ чужой жизни, что въ семейномъ счастіи сестры онъ найдетъ свою долю, раздѣляя съ ея мужемъ нѣжныя попеченія о ней. Уже была полночь, но утомленный Валентинъ все сидѣлъ и ждалъ сестры. Наконецъ сильно раздался звонокъ въ передней, и она вошла въ залу объ руку съ мужемъ. Она измѣнилась : лице ея было свѣжѣе, талія полнѣе ; бѣлое прозрачное платье обрисовывало ея стройный станъ и лилейныя плечи ; букетъ жасминовъ и розъ былъ кокетливо приколотъ у пояса, концы котораго вились до полу. Маленькій, будто сотканный изъ тумана, чепчикъ едва прикрывалъ косу, и пышные бѣлокурые локоны ея вольно струились изъ-подъ него и падали густыми кольцами до самыхъ плечъ. Она была прекрасна,—но Валентинъ былъ грустно пораженъ ея праздничнымъ видомъ, щегольскимъ уборомъ и улыбающимся лицемъ. Еще изъ передней гармоническія ноты ея веселаго голоса и смѣха прозвучали для него, и болѣзненно отозвались въ немъ страданіемъ. Опять мысль, что онъ чужой, незванный гость въ этомъ домѣ, зашевелилась въ немъ. Былъ ли то обманъ израненнаго сердца, или раздраженіе больной души, кто знаетъ? Только вдругъ холодомъ повѣяло на него и холодно пошелъ онъ ей на встрѣчу; но она, увидѣвъ его, бросилась къ нему съ крикомъ радости. :

— Братъ! это ты!...

Долго лежала она въ его объятіяхъ, крѣпко прижав-

шись къ нему; но и эта минута не могла пробудить въ немъ чувства : онъ будто окаменѣлъ. Страшно тяжелый переворотъ совершался въ немъ : онъ сознавалъ свою несправедливость въ отношеніи къ ней, но не могъ побѣдить себя ; онъ сознавалъ, что любимъ по-прежнему, но сознавалъ это холодно. Душа его оставалась закованною въ какую-то гибельную безчувственность ; взглянувъ на брата, Анюта прочла все это на лицѣ его. Когда онъ обмѣнялся обычными привѣтствіями съ ея мужемъ , она взяла его за руку и увела въ свой кабинетъ.

— Что съ тобою? спросила она у него дрожавшимъ голосомъ. Зачѣмъ ты здѣсь ?

— Самъ не знаю, отвѣчалъ онъ, я самъ у себя спрашивалъ это не разъ, когда ѣхалъ сюда. Впрочемъ я не надолго.

— Валентинъ, милый мой ! что съ тобою, гдѣ она ? продолжала Анюта.

— Кто ? спросилъ онъ спокойно.

— Она... Зенеида... проговорила смутившаяся Анюта.

— Она выходитъ за-мужъ, сказалъ Валентинъ.

Анюта поняла все, и крупныя слезы ручьями покатились по щекамъ ея ; щегольской уборъ придавалъ ей еще болѣе печальный видъ, и слезы ея, какъ капли росы, падали на сердце Валентина и облегчали его. Отдавалсь первому порыву, не обуздывая его, не борясь съ нимъ, бросился Валентинъ къ сестрѣ и долго плакалъ , положивъ голову на плечо ея ; ихъ слезы смѣшались, и ме-

жду ними началась длинная бесѣда, прерываемая поцѣлуями.

Было поздно или лучше рано, потому что свѣтало, а онъ все еще сидѣлъ подлѣ нея, обвивъ рукою ея талію, открывая ей свою страждущую душу. Бурнымъ потокомъ бѣжали слова съ языка его. Вдругъ дверь скрипнула, и знакомое, доброе лицо Даншина выглянуло изъ-за нея; потомъ онъ вошелъ, сѣлъ подлѣ нихъ и чувствуя, что прервалъ задушевный разговоръ, сказалъ съ усмѣшкою:

— Поздно, Анюта не такъ здорова; не пора ли ей отдохнуть? Завтра наговоритесь.

— Нѣтъ, нѣтъ еще, отвѣчала Анюта, обнимая мужа.

— Право боюсь, возразилъ онъ ласково. Со всѣмъ не бережетъ себя, продолжалъ онъ, обращаясь къ Валентину.

— Ну, чтожъ, поди спать, сказалъ Валентинъ сестрѣ.

Анюта продолжала настаивать, но какъ-то не рѣшительно; видно было, что, желая остаться съ братомъ, она боится тревожить мужа. Валентинъ понялъ это и спѣшилъ идти въ приготовленную для него комнату; но она проводила его туда, поговорила съ нимъ и нѣжно разцѣловавъ его, подала руку мужу, который нетерпѣливо дожидался ея.

На другой день, когда Валентинъ давно проснулся, въ домѣ всѣ еще спали непробуднымъ сномъ. Онъ долго бродилъ по комнатамъ и наконецъ рѣшился выйти и долго блуждалъ по городу, безъ цѣли, безъ желанія

видѣть, безъ мысли разсѣяться. Движеніе толпы, праздничный видъ улицъ, только утомили и раздражили его; онъ возвратился домой и нашелъ сестру и мужа ея за чайнымъ столомъ; она усадила его подлѣ себя и разливала чай. Разговоръ шелъ вялый, безжизненный и принужденный. Анюта рѣшительно не знала, что говорить и дѣлать, чтобы разсѣять брата, который былъ молчаливъ и мраченъ. Попытки Даншина были еще неудачнѣе, и всѣ вопросы его были безвременны, или казались такими Валентину. Анюта поняла это и постаралась удалить своего мужа, но оставшись съ братомъ вдвоемъ, не умѣла или не хотѣла возобновить прерванный вчера разговоръ, да и онъ самъ не желалъ этого. День этотъ тянулся и наконецъ прошелъ къ крайнему удовольствію Валентина, который не умѣлъ ни заглушить, ни унять тоску, которая его грызла. Наступили и другіе дни и тянулись для него однообразно, и пусто, и мертво. Онъ не могъ принудить себя ни заняться, ни установить жизнь свою, онъ не могъ даже рѣшиться подумать о будущемъ. То не была пора перваго, горячаго, страстнаго несчастія, постигшаго его въ юности; теперь онъ былъ утомленъ и сознавалъ пустоту души, мертвенную холодность сердца, недѣятельность ума, безсильнаго принять участіе въ чемъ бы то ни было. А подлѣ него текла мирно и ясно жизнь сестры его, и контрастъ этотъ былъ слишкомъ великъ, чтобы не поразить его. Вполнѣ поглощенные другъ другомъ, Даншины, послѣ первыхъ дней пріѣзда Валентина, не замѣчали, что ихъ взаимная, тѣсная связь глубоко язвитъ его, именно потому, что не допускаетъ его въ очарованный кругъ, очерченный

ими около себя. Иногда Анюта, разговаривая съ мужемъ, вдругъ вспоминала о братѣ и спрашивала:

— А гдѣ Валентинъ?

— Вѣрно ушелъ гулять, отвѣчалъ мужъ, и ревниво старался присвоить себѣ ея нѣжность къ брату. Онъ отвлекалъ ее отъ брата, самъ того не замѣчая, и понятно было это стремленіе: Даншинъ до женитьбы не зналъ семейнаго счастія и потому слишкомъ цѣпилъ его. По своей натурѣ, онъ былъ неспособенъ испытать сильную страсть, и ея заблужденія были ему не понятны; и потому, сожалѣя искренно о Валентинѣ, онъ не могъ однако представить себѣ, чтобъ можно было долго жалѣть и страдать по женщинѣ, которая добровольно отказалась отъ него. Онъ думалъ, что было достаточно сказать себѣ: «о ней не стоитъ жалѣть!» чтобы заставить себя позабыть прошлое. Иногда ему не удавалось развлечь Анюту, и она уходила къ брату, который обыкновенно сидѣлъ у себя съ книгой въ рукахъ и въ присутствіи сестры клалъ ее въ сторону, отъ чего, впрочемъ, не измѣнялось ни выраженіе лица его, ни мрачное настроеніе духа. Анюта огорчалась сначала, но мало-по-малу пришла къ сознанію, что одно время изцѣлитъ печаль брата, и рѣшилась не докучать ему своими утѣшеніями. Она стала чаще оставлять Валентина одного, и вся предалась заботамъ о мужѣ.

Однажды она спросила брата, что намѣренъ онъ дѣлать и куда поѣдетъ? Въ этомъ вопросѣ ея было столько невиннаго эгоизма! Валентинъ понялъ вполнѣ, что жизнь ея шла своею колеей, и что нельзя было ему

привязать къ ней, блестящей и счастливой, полуразрушенное существованіе свое.

— Не знаю, сказалъ онъ съ унынiемъ; думаю ѣхать въ деревню.

— Ну чтожъ, это прекрасно; ты найдешь тамъ Ипполита Андреевича; бѣдному старику будетъ отрадно жить съ тобою. Только я теперь не пущу тебя, поживи еще съ нами. Мужъ мой любитъ и уважаетъ тебя; онъ такъ былъ радъ, что ты пріѣхалъ къ намъ.

— Куда было ѣхать мнѣ, какъ не сюда! отвѣчалъ Валентинъ. Въ душѣ моей осталась ты одна, въ жизни — ты одна. Пойми, что съ сихъ поръ я буду счастливъ только тѣмъ, что ты взяла себѣ и мою долю счастія.

— Да, пока, сказала Анюта, но, Богъ дастъ, все перемѣнится. Жизнь долга, Валентинъ, есть другія обязанности, другіе интересы. Впрочемъ ты еще полюбишь и женишься....

— Не будемъ говорить объ этомъ, возразилъ онъ холодно; развѣ ты думаешь, что все проходитъ безъ слѣда, что сердце невредимо и можетъ, убитое, ожить снова.

— Конечно, возразила она, я сужу по себѣ, и, повѣрь, не разъ благословляла судьбу, избавившую меня отъ несчастія цѣлой жизни, цѣною временнаго горя. Я такъ счастлива теперь, Антонъ такъ любитъ меня, *и другой* никогда бы не умѣлъ, я это знаю, окружить меня такою безконечною нѣжностію.

Этотъ намекъ на Павла, вмѣсто того, чтобы успокоить Валентина, раздражилъ его еще болѣе. Онъ думалъ съ жолчью объ обоихъ спутникахъ и любимцахъ

своей юности, о тѣхъ, кого называлъ друзьями. Одинъ изъ нихъ легкомысленно игралъ счастьемъ сестры его, другой расчетливо и сознательно разбилъ его собственное спокойствіе и счастіе. Валентинъ всталъ и прошелся по комнатѣ.

— О чемъ ты думаешь? спросила Анюта.

Валентинъ хотѣлъ говорить, но дверь отворилась и Даншинъ показался на порогѣ.

— Ну вотъ, душа моя, я сдѣлалъ все, чего тебѣ хотѣлось, сказалъ онъ женѣ своей. Сервизъ заказанъ, я принесъ тебѣ образчики.

Онъ позвонилъ. Лакей внесъ въ комнату огромную корзину съ фарфоромъ; Антонъ самъ развязалъ веревки, и взявъ въ руки обернутыя въ бумагу блюда, принялся ихъ развертывать.

— Посмотри, говорилъ онъ женѣ, какъ ты думаешь, какой это фарфоръ?

— Китайскій, — неужели настоящій китайскій?

— Какъ бы не такъ, глупенькая, отвѣчалъ Даншинъ женѣ, цѣлуя ея руку, — какъ бы не такъ. Это просто поддѣлка.

— А! да я не хочу поддѣлки, сказала Анюта, надувъ губки, я хочу настоящій фарфоровый сервизъ.

— Ну, не хочешь, такъ перемѣнимъ; все будетъ, какъ тебѣ угодно. А я вездѣ бѣгалъ за этимъ сервизомъ. Все равно, я отыщу другой...

Анюта была тронута желаніемъ мужа сдѣлать ей во всемъ пріятное, и между ними завязался длинный раз-

говоръ о томъ, гдѣ и какъ купить сервизъ. Анюта хотѣла показать мужу форму чашекъ и вышла въ другую комнату.

— Еслибъ ты зналъ, какъ я счастливъ! сказалъ Антонъ Валентину, провожая глазами выходившую жену. Это не женщина, а ангелъ. Она добра, нѣжна, и я никогда не подозрѣвалъ, чтобы человѣкъ могъ быть такъ счастливъ, какъ я счастливъ съ нею. Я считаю самымъ блаженнымъ днемъ въ моей жизни тотъ день, когда я встрѣтилъ и полюбилъ ее.

— Ну, и слава Богу, сказалъ Валентинъ.

— Да, да; и я очень радъ, что ты пріѣхалъ взглянуть на наше счастіе. Только, знаешь ли, Валентинъ, продолжалъ Антонъ ласково, взявъ его за руку, не показывай ей своего горя. Это убиваетъ ее. Она плачетъ, когда ты уходишь, и говоритъ, что для нея ужасно видѣть твое несчастіе и не быть въ состояніи помочь тебѣ. Не сердись на меня, милый братъ; но я считаю долгомъ сказать тебѣ это. Анюта въ такомъ положеніи, что намъ надо беречь ее.

— Развѣ она больна? Но лицо ея свѣжо, она даже пополнѣла, сказалъ Валентинъ.

— Боже сохрани! Она не больна, только всякія потрясенія вредны ей. Она беременна, и ты понимаешь, что я берегу ее, какъ.... какъ....

Антонъ затруднялся въ сравненіи, потому именно, что всякое сравненіе не могло выразить, какъ жена была дорога ему. Валентинъ не далъ ему докончить и сказалъ:

— Съ чего же взялъ ты, что я говорю съ нею о себѣ? Я никому не докучаю собою.

Антонъ поспѣшилъ поправить свою ошибку.

— Ты меня не понялъ: я знаю, ты не женщина и не будешь жаловаться и плакать; но твое лице, твое постоянное уныніе и мрачность сводятъ ее съ ума. Не дальше, какъ вчера, она плакала цѣлый вечеръ.

— Я скоро уѣду, сказалъ Валентинъ. Ты можешь быть покоенъ.

Въ эту минуту Анюта вошла въ комнату, Валентинъ ушелъ къ себѣ.

Черезъ четверть часа, Антонъ торопливо вошелъ къ нему, и притворяя дверь, сказалъ:

— Послушай, она замѣтила, что мы перестали говорить, когда она вошла; ради Бога, ни слова; а то она никогда не проститъ мнѣ моего вмѣшательства, хотя я сдѣлалъ это только изъ любви къ ней. Ты долженъ понять это.

— Будь покоенъ, сказалъ Валентинъ, тронутый до глубины души, я все понимаю; люби ее, береги ее, а я завтра уѣду. Я не хочу смущать вашего счастія, — избави Боже!

— Какъ? что ты? завтра? Какъ можно! Она вообразитъ Богъ знаетъ что! Обвинитъ меня! Если хочешь ѣхать, я не держу тебя, поѣзжай черезъ недѣлю или черезъ двѣ, и приготовь ее къ своему отъѣзду.

— Я думаю, мой отъѣздъ не слишкомъ поразитъ ее, сказалъ Валентинъ горько; я ей не нуженъ. Быть можетъ, она была бы нужна мнѣ, особенно теперь, но это другой вопросъ.

Горечь и ирония Валентина ускользнули отъ Антона, поглощеннаго мыслію о женѣ.

— Какъ не нуженъ? сказалъ онъ простодушно. Посмотри, что будетъ слезъ при разставаньи. Я ужасно боюсь этого дня и придумалъ что дѣлать. Если ты уѣдешь утромъ, я увезу ее гулять за городъ, если же вечеромъ, то непремѣнно поѣду съ нею въ оперу.

— А если я уѣду въ обѣдъ? спросилъ Валентинъ съ насмѣшкой.

— Ты шутишь? сказалъ Антонъ серьёзно. Дай Богъ тебѣ шутить почаще, да не такъ; сердце сжимается, когда видишь, что сталось съ тобой: ты на себя не похожъ; гдѣ твоя прежняя веселость, нѣжность, мягкость характера?

«Далёко», подумалъ Валентинъ, но не сказалъ ни слова. Ему хотѣлось остаться одному, но Антонъ говорилъ что-то, и звукъ его голоса былъ въ эту минуту невыносимъ для Валентина, тѣмъ болѣе, что онъ сознавалъ, сколько былъ несправедливъ въ отношеніи къ Дашинну. Онъ взялъ шляпу.

— Куда ты?

— Гулять.

— Ну, и хорошо; а я скажу женѣ, чтобы она о тебѣ не заботилась.

И Антонъ вышелъ поспѣшно, не подозрѣвая, что уязвилъ Валентина въ сердце и разшевелилъ въ немъ много старыхъ ранъ.

Послѣ этого разговора Валентинъ еще внимательнѣе и съ какимъ-то злымъ удовольствіемъ сталъ слѣдить

за сестрою, которая, будучи совершенно поглощена своею любовью къ мужу, почти не замѣчала его. Иногда она подходила къ нему, чтобы по-дѣтски, какъ въ былые годы, скрестить руки на шеѣ его и разцѣловать его, но этою лаской и ограничивалась вся ея заботливость о немъ. Валентинъ былъ раздраженъ и самъ возсталъ на свою привязанность къ сестрѣ, чтобы уничтожить и это послѣднее звѣно въ жизни сердца. Отъ одной крайности, заставлявшей его въ двадцать лѣтъ видѣть вездѣ и во всемъ одну хорошую сторону, онъ перешелъ теперь къ другой, и думалъ, что во всѣхъ, и даже въ сестрѣ, онъ обманулся самымъ постыднымъ образомъ. Онъ называлъ ее эгоисткой и былъ далекъ отъ мысли, что если кто-нибудь изъ нихъ двухъ былъ эгоистомъ, то, конечно, онъ, а не она. Несчастіе быстро развило въ немъ свойство обвинять всѣхъ, и его требовательность возрастала по мѣрѣ того, какъ онъ лишался всего въ жизни. Эта новая перемѣна въ его внутренней жизни была невыносима для него самаго, и онъ объявилъ, что ѣдетъ черезъ два дня. Анюта задумалась и была грустна цѣлый день; но не просила его остаться: женскій инстинктъ говорилъ ей, что ни ласки ея, ни слезы, не утишатъ его внутренней борьбы; что онѣ едва ли не усилятъ ея; что самое ея счастіе гибельно подѣйствовало на него. Смутно поняла она, что между нимъ и ею произошло что-то, и что разлука есть лучшее средство, чтобы сойтись опять въ будущемъ. Она чувствовала, что онъ недоволенъ ею, но не признавала себя виноватою передъ нимъ, и вѣрила, что время оправдаетъ ее.

Насталъ день отъѣзда. Поутру она пришла къ нему, сѣла около него, и обвивъ рукою его шею, ласково спросила, не надо ли ему чего-нибудь на дорогу?

— Нѣтъ, сказалъ онъ.

— Ты пробудешь всю зиму въ деревнѣ? спросила она.

— Да.

— Не соскучься. Не лучше ли тебѣ поѣхать въ Петербургъ? Сестра Катя будетъ рада видѣть тебя.

— Нѣтъ, я не люблю городовъ. Мнѣ и здѣсь скучно.

Слезы навернулись на глазахъ Анюты.

— Я это вижу, и потому не прошу тебя остаться, сказала она; но позволь мнѣ на лѣто пріѣхать къ тебѣ. Я все тотъ-же Валентинъ, все также люблю тебя, хотя ты во мнѣ и сомнѣваешься.

Онъ взялъ ея руку и поцѣловалъ ее довольно холодно.

— Не вѣришь? сказала она, уступая противъ воли желанію сказать ему нѣсколько ласковыхъ словъ на прощаніи.

— Развѣ мы дѣти? возразилъ Валентинъ не безъ ироніи. Мы должны умѣть все цѣнить по достоинству.

Что-то поднялось изъ глубины души его, когда онъ произнесъ эти слова; но онъ не далъ воли этому движенію и продолжалъ сидѣть подлѣ нея холодно и спокойно. Онъ увѣрялъ себя, что всякій порывъ и излія-

одна глупость и что слова ничего не значатъ. Мужъ Анюты возвратился, позавтракали, и экипажъ Валентина былъ готовъ. Онъ простился съ сестрою, которая горько плакала, пожалъ руку Антону и сказалъ обоимъ имъ:

— Не пеняйте на меня, если я смутилъ ваше счастіе : это случилось помимо воли моей.

— Валентинъ! воскликнула Анюта, бросаясь ему на шею съ такою горестію и слезами, что Антонъ испугался, звалъ ее по имени, и умолялъ не предаваться печали.

— Береги себя, не убивай себя! повторялъ онъ ей.

Эти слова заставили Валентина мгновенно проглотить готовыя хлынуть слезы ; онъ отдалъ сестру зятю и выбѣжалъ изъ дому, не сказавъ ей ни слова нѣжности, ни слова примиренія, послѣ того внутренняго разрыва, который совершился между ними. Сѣвъ въ карету, Валентинъ погрузился въ думу и силился подавить мучительное чувство, захватившее его сердце, увѣряя себя, что съ нимъ не случилось ничего необыкновеннаго, что все должно быть такъ, и все въ порядкѣ вещей. Что касается до Анюты, то она еще яснѣе поняла все въ минуту прощанія, но объясниться было поздно, да и къ чему бы повело ее объясненіе? Она, въ свою очередь, втайнѣ стала упрекать брата за его странности, холодность, молчаніе, неувѣренность въ ней, но тогда же извинила его словомъ : «онъ несчастливъ!»

Валентинъ въ пустомъ, большомъ домѣ, гдѣ провелъ онъ свое дѣтство; мрачно бродитъ онъ цѣлые часы по широкимъ заламъ, запустѣлымъ гостинымъ, глядитъ

безъ цѣли на старинные портреты, развѣшанные симметрично, вдоль высокихъ стѣнъ парадной гостиной, и какъ призраки, вызванные изъ могилъ, глядятъ на него суровыя лица прадѣдовъ изъ-за позолоченныхъ, почернѣлыхъ рамъ своихъ. Не дивятся ли ужъ они безсилію внука, или не обвиняютъ ли его за безплодно растерянныя по стезямъ мірскимъ силы? Что сдѣлалъ онъ? Куда, къ какой цѣли стремился? Въ чемъ прошла первая половина жизни, самая богатая, цвѣтущая, полная свѣжести? Сколько надеждъ было положено на его голову, когда она еще лежала въ колыбели, сколько любви было излито на него матерью!... Мать! Куда скрылась она? Зачѣмъ не дожила она до этого тяжкаго для него дня? Сладко было бы положить ей свою усталую голову на эту грудь, его вскормившую; отрадно было бы занять у ней теплоты и жизни, потому что и теплота и жизнь отлегѣли далеко отъ него. Нѣтъ у него ничего больше, ни вѣры въ себя, ни любви къ другимъ, ни силы для дѣятельности. Какъ рано утомился онъ! Но зачѣмъ призывать мать? не лучше ли спать ей въ могилѣ, чѣмъ видѣть взлелѣянное сю дитя, дитя ея сердца, скитающимся какъ призракъ, безплодно тяготящимъ землю, не зная, куда примкнуть, что начать, куда направить умъ! Развѣ не разовьетъ онъ въ себѣ другія потребности и стремленія, другой интересъ? Гдѣ искать ему дѣятельности, да и есть ли она? А еслибъ и была — есть ли у него рѣшимость, чтобы начать новое поприще? Во многомъ обманулся онъ, во многомъ былъ обманутъ, и для того ли лелѣяли, заботились объ немъ, чтобы все погибло такъ рано! При этой мысли милыя тѣни прошли

передъ нимъ, явился незабвенный образъ, вѣчно милый, вѣчно ясный, образъ его матери. Вотъ она стоитъ передъ нимъ, бѣлокурая и блѣдная, съ нѣжнымъ взоромъ и ласковымъ голосомъ, съ умиряющей улыбкой, и подлѣ нея меньшая дочь ея, живой портретъ ея, любимая сестра его; но онъ не останавливаетъ на ней своего взора, — и видѣнія, вызванныя его воображеніемъ, проходятъ и изчезаютъ. Вспоминаетъ онъ первые годы юности; какъ быстро миновала она! И вотъ первая, страстная, безумная любовь! — къ кому?

Но развѣ онъ, затворникъ въ кругу семейства, видѣлъ иную жизнь и иныхъ людей? Ему ли было понять таинственное смѣшеніе добра и зла, которое живетъ въ душѣ людей, толпящихся на широкой дорогѣ жизни! И этотъ старикъ, теперь сидящій около его въ большихъ креслахъ и глядящій своими большими простодушными глазами на его молчаливую тоску, развѣ онъ съ своимъ младенческимъ сердцемъ и юношескими подъ сѣдыми волосами понятіями, развѣ онъ, не знакомый съ страстью и ея заблужденіями, могъ руководить своего воспитанника на поприщѣ свѣта?! А самъ онъ былъ не въ силахъ идти, да и теперь еще не отдаетъ себѣ полнаго отчета въ томъ, что произошло съ нимъ; ему мѣшаютъ образы, безпрестанно возникающіе передъ нимъ. Зенеида! Съ тайной болью сердца, съ грустнымъ сочувствіемъ, съ безконечной жалостію, силится онъ отогнать отъ себя самое воспоминаніе о ней, а чувство къ ней живетъ еще въ его сердцѣ, полное обаяющей, непостижимой прелести. Онъ чувствуетъ, что погибнетъ она, и тогда пойметъ, что утратила въ лицѣ его, и

горько оплакиваетъ Валентинъ ея гибельное заблужденіе, и мысль эта вливаетъ, безъ его вѣдома, какую-то горькую отраду въ душу его. А онъ, ея мужъ? Не было у него умѣряющей стороны для этого человѣка; домашній деспотъ, ловкій искатель знатности, денегъ, онъ достигнетъ всего этого и за нимъ останется общее уваженіе. Кровь Валентина кипѣла при этой мысли, и безумное желаніе уничтожить Армалева врывалось и шевелило очерствѣлое сердце. Много думалъ онъ о себѣ, всѣ событія жизни своей онъ старался осмыслить себѣ, и вращаясь между знакомыми образами, произносилъ имъ приговоръ, но не умѣлъ обсудить себя самаго, не произносилъ приговора самому себѣ. Не умѣлъ Валентинъ, оглянувшись на себя, во многомъ, если не во всемъ, обвинить себя, не умѣлъ сознать, что не другіе, а онъ самъ былъ первою виною всего случившагося, и лишенъ былъ послѣдняго утѣшенія—раскаяться въ своемъ непониманіи. Онъ твердилъ себѣ въ утѣшеніе слово древности, слово скорби, слово отчаянія, слово безустанно провожающее всѣхъ до могилы: fatum! Слово это, съ начала и до конца вѣковъ, вѣчно юное, вѣчно страшное,—оно дожило и до насъ, людей возмужалыхъ, быть можетъ, въ исторіи человѣчества, и до сихъ поръ преслѣдуетъ наше бѣдное, жалкое племя. Заключавшись для древнихъ во внѣшности, fatum выросъ теперь и сталъ неотразимѣе и страшнѣе; онъ поселился въ насъ самихъ и черезъ насъ самихъ управляетъ, не только управляетъ—создаетъ обстоятельства. Валентинъ не сознавалъ его въ себѣ, и поникнувъ головою, твердилъ только, что суждено было ему испытать всѣ треволненія

жизни. Ни разу не спросилъ онъ у себя: развѣ жизнь сердца вся жизнь мущины? не спросилъ: зачѣмъ безъ пользы до сихъ поръ тяготилъ онъ землю, положивъ всѣ интересы жизни въ исключительныхъ привязанностяхъ? Тѣсный кругъ! Онъ распался теперь, и герой нашъ безсильно блуждалъ въ пустынѣ безъ путеводной звѣзды на своемъ узкомъ горизонтѣ! Кумиръ семьи съ колыбели, онъ не умѣлъ позднѣе найти другое поприще, и не понялъ, что любовь женщины — поэзія жизни, а что проза ея есть безпрестанное стремленіе къ цѣли, на пользу общую.

Ипполитъ Андреевичъ былъ вѣчнымъ товарищемъ Валентина въ той уединенной, однообразной жизни, которую вели они въ Михайловскомъ. Старикъ замѣтно хилѣлъ, но цѣлое утро по-прежнему сидѣлъ за газетами и цѣлый длинный зимній вечеръ проводилъ въ широкихъ вольтеровскихъ креслахъ противъ Валентина, порою дремля, порою обмѣниваясь съ нимъ разговорами о своей любимицѣ Анютѣ. Онъ много говорилъ о ней, и не ему бы сообщилъ Валентинъ тотъ внутренній разрывъ, которой разъединилъ его съ сестрою въ послѣднее время. Однако безконечные разговоры о ней наполняли душу Валентина давно незнакомымъ ему ощущеніемъ умиленія; далеко былъ онъ отъ нея, и теперь издали, въ воспоминаніи, звучалъ ему ея гармоническій голосъ, блисталъ привѣтливый взоръ. Мало-по-малу, борясь съ собою, враждуя съ собою, порою ненавидя свою слабость (такъ называлъ онъ пробуждающееся чувство къ

ней) Валентинъ поддался наконецъ истинѣ, и его исполинская требовательность и его безусловный эгоисмъ предстали ему во всей ихъ громадности. Онъ понялъ наконецъ, послѣ долгихъ размышленій, что требовалъ отъ нея невозможнаго, понялъ, что возмутился, какъ избалованное дитя, негодовалъ, какъ ревнивецъ, и заключался въ себѣ съ гордою самоувѣренностію, напрасно казнилъ ее своею холодностію, едва ли не презрѣніемъ! Онъ понялъ теперь, что въ послѣднее свиданіе съ нею, безграничное самолюбіе владѣло имъ и привело его къ себялюбію. Такое сознаніе было ему горько, но было спасительно: онъ прилѣпился опять къ прежней дружбѣ, связывавшей его съ нею, и не ставя ее, какъ прежде, превыше всѣхъ женщинъ, сознался, что она безконечно добра и любяща. Съ этимъ вмѣстѣ отказался онъ отъ идеальной, не могущей осуществиться на дѣлѣ мысли, что можно жить чужою жизнію, но не имѣлъ силы создать вокругъ себя новую жизнь, если не привязанностей (онъ ненавидѣлъ и слово это), то, по-крайней-мѣрѣ, дѣятельности. Между тѣмъ дни шли за днями, и онъ, не замѣтно для себя самаго, принялся за чтеніе и за хозяйство, но безъ любви и безъ сочувствія. Библіотека не была уже покрыта слоемъ пыли; по цѣлымъ часамъ сидѣлъ онъ за книгами, но читалъ безпорядочно и принимался то за одну, то за другую отрасль науки. Иногда увлекали его историческія изысканія, потомъ онъ бросалъ ихъ и принимался за естественныя науки. Умъ его не былъ пріученъ къ труду и послѣдовательности и капризъ владѣлъ имъ неограниченно, толкая его то въ одну, то въ другую сторону. За все принимался онъ ревностно, но

скоро остывалъ жаръ этотъ и прихоть его перелетала на другіе предметы. Отъ чего происходило это? Не отъ того ли, что не было цѣли, что не было серьёзнаго интереса ни къ чему, внѣ жизни сердца?

Наступила весна. Ипполитъ Андреевичъ, какъ всѣ старики, любилъ повторенія и больше жилъ въ прошедшемъ, чѣмъ въ настоящемъ; разговоры его, не отличавшіеся никогда разнообразіемъ, сдѣлались еще тѣснѣе и ограничивались расказами о прошедшемъ, толками о политикѣ съ исключительной точки зрѣнія, да въ безпрестанныхъ хлопотахъ о томъ, когда пріѣдетъ Анюта и гдѣ будетъ жить она. Онъ устроивалъ ея комнаты и оживалъ при мысли, что увидитъ милую дочь свою и будетъ нянчить ея ребенка; онъ безпрестанно выходилъ на воздухъ и управлялъ постройками новаго балкона на ея половинѣ. Частыя его посѣщенія сырыхъ нетопленныхъ комнатъ, долгое стояніе на одномъ мѣстѣ, на сырой землѣ и тающемъ снѣгу, были ему гибельны. Пятнадцать послѣднихъ лѣтъ его жизни у Огинскихъ, посвященныхъ имъ однимъ, окончились мыслію и занятіями объ нихъ; бѣдный старикъ сильно простудился, не вынесъ болѣзни и угасъ на рукахъ Валентина, безъ страданій, почти безъ борьбы. Послѣднія слова его были кротки, какъ вся жизнь его, хотя въ нихъ и звучала глубокая скорбь о томъ, что онъ оставляетъ своего питомца одинокимъ и печальнымъ. Смерть его поразила Валентина и въ полу-излѣчившемся сердцѣ пробудила опять едва заснувшую скорбь. Боясь ея обезсиливающаго вліянія, онъ рѣшился оставить на нѣкоторое время то мѣсто, гдѣ провелъ безмятежные дни своего дѣтства, гдѣ окру-

жало его такое множество лицъ, его любившихъ, и гдѣ теперь остался онъ одинъ, какъ обломокъ прошедшаго, какъ сторожъ усопшихъ, какъ живой памятникъ всего, что было ему близко и мило. Зала, библіотека, пустое кресло старика, самыя книги, которыя, бывало, онъ такъ заботливо собиралъ, навѣвали на Валентина изнуряющее уныніе. Смерть Ипполита Андреевича могла сильно огорчить и Анюту, и Валентинъ рѣшился, по мѣрѣ силъ своихъ, облегчить для нея ударъ этотъ — поѣхать къ ней и привезти ее съ собою въ деревню; но въ этотъ разъ, онъ уже не ѣхалъ къ ней съ безумнымъ желаніемъ завладѣть ею для себя одного, а только съ намѣреніемъ взять себѣ ту часть привязанности, которую сама она захочетъ отдать ему и примириться съ ней искренно, просить ее забыть его мимолетное отъ нея отчужденіе. Судьба рѣшила иначе.

Валентинъ отправился въ путь и на полъ-дорогѣ, мѣняя лошадей, услышалъ случайно свое имя, произнесенное почтмейстеромъ, съ особымъ выраженіемъ, похожимъ на восклицаніе. Валентинъ не обратилъ вниманія на это маловажное обстоятельство, но почтмейстеръ вошелъ къ нему.

— По вашей подорожной значится, что вы отставной титулярный совѣтникъ Огинскій, сказалъ онъ, глядя въ глаза Валентину. Позвольте узнать, нѣтъ ли у васъ имѣнія въ С* губерніи, Б* уѣзда.

— Да, есть, отвѣчалъ Валентинъ; но почему это такъ интересуетъ васъ?

— Изволите ли видѣть — нынче чуть свѣтъ проѣхала къ

вамъ эстафета изъ Одессы ; какъ я сталъ прописывать вашу подорожную , имя ваше кинулось мнѣ въ глаза. «Ужъ не къ нему ли эстафета изъ Одессы ?» подумалъ я , ну и пришолъ спросить. Именно вышло къ вамъ.

Сердце Валентина сжалось страшнымъ предчувствіемъ. Изъ Одессы? повторилъ онъ. Лошадей, ради Бога, лошадей ! прибавилъ онъ, вставая.

Съ этой минуты Валентинъ не ѣхалъ , а летѣлъ на почтовыхъ ; карета его сломалась — онъ бросилъ ее на дорогѣ и продолжалъ путь на перекладныхъ , не медля ни минуты , не останавливаясь ни гдѣ , платя щедро и безпощадно загоняя лошадей.

Онъ былъ подъ вліяніемъ паническаго страха , овладѣвшаго совершенно его нервной организаціей ; онъ немогъ разсуждать ; образъ, въ ту минуту больше всего въ мірѣ любимой сестры , той сестры , которую онъ, семь мѣсяцовъ назадъ , покинулъ холодно въ припадкѣ какого-то безумія, овладѣлъ нераздѣльно его сердцемъ. Въ грязи и пыли , не спавъ нѣсколько ночей , совершенно растерянный, съ ужасомъ въ душѣ, съ предчувствіемъ въ сердцѣ , прискакалъ Валентинъ къ ея дому и выпрыгнулъ изъ телѣги. Онъ вбѣжалъ наверхъ и дернулъ звонокъ ; слуга отворилъ ему дверь — онъ сшибъ его почти съ ногъ , бросивъ ему мимоходомъ имя сестры, и не дожидаясь отвѣта, побѣжалъ въ залу и гостиную, но тутъ на порогѣ окаменѣлъ, и шатаясь, прислонился къ стѣнѣ. Къ нему на встрѣчу шелъ зять его, Антонъ Даншинъ, блѣдный, исхудалый, тѣнь самого себя. Валентину бросилось въ глаза его черное платье , об-

шитое плёрезами, и все сказало ему. Съ рыданіемъ женщины, хотѣлъ Антонъ броситься къ Валентину, но не успѣлъ подойти къ нему: — Валентинъ, будто сраженный громомъ, упалъ безъ чувствъ на полъ.

Черезъ нѣсколько времени Валентинъ узналъ всѣ подробности своего новаго несчастія: сестра его умерла въ слѣдствіе родовъ, и еще прежде смерти, по ея просьбѣ, къ нему была послана эстафета съ извѣстіемъ о ея болѣзни. Мать и ребенокъ были похоронены вмѣстѣ, въ самый день его пріѣзда въ Одессу. Послѣднія слова Анюты были — просьба брату и мужу любить другъ друга; была еще записка къ Валентину — два, три слова любви и нѣжности, написанныя умирающею рукою. Валентинъ долго носилъ ее на сердцѣ въ золотомъ медальонѣ.

Черезъ два мѣсяца, оправившись отъ тяжкой болѣзни, Валентинъ сѣлъ на пароходъ, отплывавшій во Францію. Опершись на перила палубы, стоялъ онъ блѣдный, исхудалый, и еслибъ могъ онъ еще чувствовать въ эту минуту, то сказалъ бы какъ Чайльдъ-Гарольдъ:

And non J'm in the World alone
Upon the wide, wide sea:
But why should J for others groan,
When none will Sigh for me (*)!

(*) Теперь я одинокъ въ цѣломъ свѣтѣ
На широкомъ, широкомъ морѣ;
Но зачѣмъ буду я скорбѣть о другихъ,
Когда никто не вздыхаетъ обо мнѣ!

Но Валентинъ былъ уничтоженъ и машинально глядѣлъ, какъ мало-по-малу берега скрывались отъ его взоровъ, утопая въ туманѣ и превращаясь въ тонкую, черную, едва замѣтную линію. Скоро и она слилась съ далекимъ горизонтомъ. Не кого было ему любить, не стоило труда ненавидѣть, мучительно вспоминать, невозможно надѣяться—оставалось одно: добровольнымъ изгнанникомъ влачить жалкое, безполезное существованіе подъ чуждымъ ему небомъ, гдѣ для него не было прошедшаго и не могло быть будущаго.

Конецъ второй части.

ВЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАМѢЧЕНЫ СЛѢДУЮЩІЯ ОПЕЧАТКИ.

Напечатано:	*Должно читать:*
На стр. 66 жиань	жизнь
— 119 и 120 —Отъ чего? спросила Таня. —По моему осень имѣетъ, и пр.	—Отъ чего? спросила Таня. По моему осень имѣетъ, и пр·
— 130 Софью	Катю
— 163 вышлє и а комнаты	вышла изъ комнаты
— And non J	And now J
— Я все тотъ же,	Я все таже,

ТРИ ПОРЫ ЖИЗНИ.

ТРИ ПОРЫ ЖИЗНИ,

РОМАНЪ

Евгенiи Туръ.

Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ,
Ничѣмъ заняться не умѣлъ.

Пушкинъ.

Кто чувствовалъ, того тревожитъ
Призракъ невозвратимыхъ дней,
Того змiя воспоминанiй
. . . . . грызетъ.

Пушкинъ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

МОСКВА.
ВЪ ТИПОГРАФIИ В. ГОТЬЕ.
1854

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи, до выпуска изъ типографіи, представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, Октября 30 дня, 1853 года.

Цензоръ Д. Ст. Сов. и Кав. И. Снегиревъ.

ТРИ ПОРЫ ЖИЗНИ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ГЛАВА I.

Княгиня Границкая занимала весь бельэтажъ одного большаго дома, на Англійской набережной. Убранство комнатъ ея было довольно странно, и , конечно , бросилось бы всякому въ глаза. Это была какая-то смѣсь роскоши съ недостаточностью, и хотя мебель была почти вся новаго фасона, но, казалось, набрана случайно. Такъ напримѣръ, подлѣ кушетки, обитой густымъ бархатомъ, и такого же роскошнаго кресла, вышедшихъ, безъ сомнѣнія, изъ самаго модпаго магазина, стояли диваны и кресла, обитыя не совсѣмъ новымъ пунцовымъ штофомъ. Около затѣйливаго рѣзнаго столика , который можно было счесть за произведеніе не ремесла, а искусства, помѣщалась грубо сдѣланная лакированная этажерка , полускрытая, впрочемъ, за полинялою оконною занавѣской. Таковы были гостиныя, и кабинетъ соотвѣтствовалъ имъ. Все убранство этого уголка говорило о безпорядочности или безвкусіи хозяйки, хотя высокія этажерки и были застав-

лены множествомъ дорогихъ бездѣлушекъ и фарфоровыхъ вещей. У большаго дивана, занимавшаго одну изъ стѣнъ кабинета, былъ накрытъ столъ; смятая скатерть и богатый, но уже разрозненный чайный сервизъ не манили взора тою свѣжестью и чистотой, которыя такъ возбуждаютъ аппетитъ. Было уже около двѣнадцати часовъ, а въ комнатѣ еще никого не было; но вотъ раздался звонокъ, и на звукъ его тотчасъ послышались шаги въ корридорѣ. Черезъ нѣсколько времени, дверь въ кабинетъ отворилась, и довольно нарядно одѣтая горничная вошла, положила на кушетку двѣ подушки въ наволочкахъ, обшитыхъ кружевами, и тотчасъ вышла вонъ. Черезъ нѣсколько минутъ она явилась опять, нагруженная какъ мулъ: уставила бархатную шансельерку, придвинула столъ къ кушеткѣ, и поставила на него бронзоваго слона, который несъ паланкинъ на спинѣ своей. Въ этомъ паланкинѣ висѣли прелестные золотые часики, почти микроскопическіе, украшенные букетами цвѣтовъ, сдѣланныхъ изъ дорогихъ разноцвѣтныхъ камней. Приготовивъ все, она опять выбѣжала, принесла серебреный колокольчикъ, книгу, шитье по канвѣ, и сказавъ вслухъ: Кажется все тутъ, отворила дверь въ корридоръ и произнесла громко и отрывисто:

— Александра Петровна! Александра Петровна!

— Что тебѣ? откликнулся звонкій, молодой голосъ.

— Княжна одѣта, а самоваръ не принесли еще; надо скорѣе приготовить чай.

Бѣлая, длинная ручка отдернула занавѣсь двери, и дѣвушка лѣтъ двадцати шести вошла въ комнату. Она была не полна и не худощава, высока ростомъ, и на первый

взглядъ не хороша собою. Черты лица ея были не совсѣмъ правильны, нѣсколько рѣзки, а продолговатый профиль казался еще длиннѣе отъ орлинаго носа; черные густые волосы были гладко зачесаны назадъ, и черное, уже не новое, но ловко сшитое платье обрисовывало ея стройную талію. Голову она держала прямо и высоко: было что-то гордое и недоступное въ ея осанкѣ, а въ выраженіи глазъ и бровей, близко сдвинутыхъ, нѣчто строгое, но не лишенное величавой граціи.

— Гдѣ же самоваръ, Дуня? спросила она у горничной.

— А кто его знаетъ, гдѣ онъ? отвѣчала Дуня.

— Я ужъ не разъ говорила Палагеѣ Игнатьевнѣ, что этотъ лѣнивецъ Ѳедька ничего не дѣлаетъ. Вели подать самоваръ.

— Нѣтъ, ужъ сами прикажите; мнѣ нѣкогда, да меня и не послушаютъ.

Александра Петровна подошла къ дивану и дернула звонокъ.

Прошло нѣсколько минутъ, никто не являлся; она опять позвонила, но тщетно. Она уже хотѣла идти сама, когда въ дверяхъ явился слуга лѣтъ двадцати, въ сѣромъ истасканномъ фракѣ.

— Ѳедя, самовара нѣтъ, сказала она. Какъ это ты до сихъ поръ ничего не приготовилъ?

— А вотъ принесу, отвѣчалъ онъ лѣниво.

— Княжна сейчасъ выдетъ. Да что жъ ты не одѣтъ? Ты знаешь, что княжна приказываетъ тебѣ быть въ ливреѣ. Поди, одѣнься.

— Ужъ что нибудь одно, либо одѣваться, либо самоваръ тащить.

— Ступай скорѣй, одѣнься и принеси самоваръ. Да гдѣ Василій?

— Извѣстное дѣло, угнали куда нибудь.

Слуга вышелъ. Она вынула шитье изъ стоявшей въ углу плетеной соломенной корзинки и принялась за него очень прилежно. Черезъ нѣсколько времени, горничная вошла опять съ турецкою шалью въ рукахъ, а за нею дѣвушка также лѣтъ двадцати шести, худая, тонкая, съ тонкими чертами лица, очень хорошенькая когда-то, но теперь совершенно увядшая. На ней былъ утренній богатый пеньюаръ и черное бархатное пардессю, обшитое широкими кружевами. На головѣ, сверхъ прозрачныхъ бѣлокурыхъ буклей, была накинута черная кружевная косыночка. Это была княжна.

— Bonjour, Alexandrine, сказала она, медленно входя въ комнату.

— Bonjour, Annette, отвѣчала Александра Петровна.

— Поправь подушку, покрой мнѣ ноги шалью, сказала княжна, обращаясь къ горничной. Еслибъ ты знала, Alexandrine, какъ я смертельно устала. Скажи маменькѣ, что я встала, продолжала она, обращаясь къ горничной.

— За то, тебѣ было весело, сказала Александра Петровна.

— Что за веселье! Множество гостей, духота, жаръ, какъ на всѣхъ раутахъ. Тѣже лица, тѣже наряды. Вообрази себѣ, что эти глупые Ивановы разрядились въ пухъ: на одной изъ нихъ, на старшей, былъ восхитительный уборъ; на другой, шарфъ изъ point de Paris,

а меньшая перещеголяла всѣхъ. Ея воланы поразительно широки, а узоры—просто чудо! Я говорила M^lle Floге, что ужъ конечно можно найти что нибудь получше тѣхъ, которые она продала мнѣ на той недѣлѣ.

— Однако и твои очень хороши, и ужасно дороги.

— Полно, ихъ едва можно надѣть за-просто.

— Ты шутишь, Анюта? Твои воланы стоятъ пятьсотъ рублей.

— Да какія кружева можно купить на пятьсотъ рублей! Вообрази себѣ мое удивленіе. Какъ ты думаешь, у кого Иванова купила свои воланы? У той же M^lle Floге! Какъ тебѣ это кажется? Она приноситъ къ намъ то, что у нея остается на рукахъ, но это не пройдетъ ей даромъ. А вотъ и маменька. Здравствуйте, маменька, сказала княжна, не подымая головы съ подушки.

— Здравствуй, душа моя, сказала женщина лѣтъ сорока восьми, высокая, полная, сохранившая остатки прежней холодной, но величавой красоты. Она нагнулась, поцѣловала дочь въ голову, а потомъ разцѣловала ее въ щеки и глаза. Ну, какъ ты провела ночь?

— Вовсе не спала; какая-то тоска напала на меня.

— Что жъ ты не прислала за мной?

— Признаться, я хотѣла послать за вами, да столикъ стоялъ далеко отъ постели, такъ надо было встать, чтобъ позвонить.

— Какая, однако, твоя Дуняша не аккуратная! Какъ не придвинуть столика! Я ей скажу, что невозможно такъ....

— Перестаньте, maman, бѣда не велика; я привыкла къ Дуняшѣ.

— Однако....

— А что же чаю? Лина, дай мнѣ чаю, сказала княжна томно, прерывая мать.

— Сейчасъ принесутъ самоваръ.

— Первый часъ, замѣтила княжна тихо.

— Лина, душа моя, ты бы позаботилась объ Анютиномъ чаѣ. Какъ это можно, неужели она должна дожидаться?

— Я говорила, княгиня.

— Такъ поди поскорѣе, прикажи, мой другъ.

— Я позвоню, отвѣчала спокойно Лина и опять дернула звонокъ, тотчасъ раздавшійся въ корридорѣ.

— Лина, Лина, пощади, сказала княжна тихо, зажимая себѣ уши и опускаясь на подушки.

— Лина, ты не обращаешь вниманія на ея нервы; она, бѣдная, и такъ безпрестанно страдаетъ.

— Ничего, maman, ничего, не идти же Линѣ самой за самоваромъ.

Въ эту минуту, Ѳедоръ, во французской ливреѣ, внесъ серебреный самоваръ.

— Ѳедоръ, прошу впередъ быть аккуратнѣе, сказала княгиня. Какъ будто ты своего дѣла не знаешь?

Ѳедоръ, повидимому, не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на слова госпожи и, поставивъ самоваръ на мѣсто, сталъ спокойно у дверей, и потомъ разнесъ чай. Разговоръ прекратился; княжна медленно пила чай, а мать не спускала глазъ съ дочери. Въ это время въ комнату вошелъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, въ новомъ черномъ фракѣ и бѣломъ галстукѣ; не говоря ни слова, онъ

остановился у дверей и заложилъ руки назадъ, по обыкновенію всѣхъ старыхъ служителей.

— Что тебѣ, Кондратій ? спросила княгиня.

— Да , что , матушка , ваше сіятельство , пришелъ васъ пообезпокоить.

— Что тебѣ надо ?

— Полна прихожая народу : отъ мебельщика прикащикъ пришелъ, что намедни продалъ барышнѣ кушетку, да ламповщикъ пришелъ, ему за новыя лампы не заплачено , да за починку старыхъ , почитай за полгода счетецъ будетъ; да съ Невскаго пришелъ прикащикъ отъ золотыхъ дѣлъ мастера.

— Какой прикащикъ ? Мы не покупали золотыхъ вещей.

— Счетъ принесъ, говоритъ, князинька прислалъ его сюда.

— Сколько разъ я тебѣ говорила , сказала княгиня съ досадой , чтобы ты такъ не называлъ князя? Это глупо.

— Простите великодушно, ваше сіятельство, привычка , ну ее ! на рукахъ нянчилъ , махонькому лошадокъ вырѣзывалъ, домики карточные...

— Хорошо , прервала княгиня дворецкаго. Какой же это счетъ отъ ювелира ?

— Если угодно , я сейчасъ спрошу.

Старикъ вышелъ.

— Это опять дурачества Жоржа, сказала княжна, обращаясь къ матери. Это невыносимо! Онъ всегда одолжаетъ насъ сюрпризами такого рода. Вы должны серьозно поговорить съ нимъ.

— Что я стану говорить? возразила княгиня, вздыхая; скажи ему сама. Ты имѣешь больше вліянія на него, чѣмъ я.

Дворецкій воротился и подалъ счетъ во сто цѣлковыхъ.

— Какъ это пріятно! сказала княжна, подымъ голову съ подушки и просматривая счетъ.

— Съ гостинаго двора пришелъ купецъ, продолжалъ Кондратій; духовъ и мыла забрали у него Дуняша для княжны, Василій для князинь.... для князя. Да еще пришелъ....

— Ну, хорошо. Скажи, чтобъ подождали.

— Да я ужъ говорилъ, матушка, ваше сіятельство, да они мошенники говорятъ, что ждали, ждали, и ждать перестали; что, де-скать, не приходится имъ за своими же деньгами обивать чужіе пороги, что этакъ честные господа не дѣлаютъ, а еще князья! ну какіе, говорятъ, это князь....

— Онъ говоритъ глупости, сказала тихо княжна своей матери; заставьте его замолчать.

— Что ты мнѣ пустяки пересказываешь! Все это вздоръ, я не хочу этого вздору слушать! закричала княгиня.

— Оно, конечно, вздоръ, ваше сіятельство, да. ..

— Ламповщику заплати, ну и мебельщику, а другіе подождутъ.

— Денегъ пожалуйте.

— Да вѣдь я тебѣ дала, недѣлю назадъ, четыреста цѣлковыхъ.

— Всѣ израсходованы.

— Какъ это? Не можетъ быть!

— Да извольте сами посмотрѣть.

Дворецкій вытащилъ изъ кармана огромный листъ бумаги и почтительно подалъ его.

Пока княгиня читала, онъ продолжалъ болтать, неумолкая.

— Выдано Пелагеѣ Игнатьевнѣ на мѣсячную провизію; отдано за починку саней и кареты; выдано жалованья княжнѣ; князь изволилъ взять сперва три цѣлковыхъ, а потомъ пять, да вчера десять, да нынче два.

— Зачѣмъ Жоржъ беретъ деньги у дворецкаго! сказала княжна по-французски.

— Вѣрно у него нѣтъ денегъ, отвѣчала княгиня.

— Это не извиненіе; я съ нимъ поговорю рѣшительно.

— Какъ хочешь; бѣдный Жоржъ ужъ и такъ во всѣмъ себѣ отказываетъ. Каково ему, въ его лѣта, съ его именемъ, съ его состояніемъ....

— Которое скоро будетъ продано съ публичнаго торга, сказала княжна.

— Богъ милостивъ, возразила княгиня, вздыхая.

— Распорядитесь однако, сказала княжна холодно; ювелиру надо заплатить.

— У меня всего триста цѣлковыхъ въ шкатулкѣ, сказала княгиня.

Княжна задумалась и потомъ произнесла, обращаясь къ управителю:

— Я сейчасъ выдамъ тебѣ триста цѣлковыхъ; заплати ювелиру, также мебельщику за мою кушетку; остальные отдай, кому нужнѣе, а другіе подождутъ.

— Оно такъ, да они не хотятъ, наглые такіе! говорятъ, что....

— Пусть подождутъ, возразила княжна твердо и спокойно; скажи имъ, что черезъ мѣсяцъ, много черезъ два, у меня непремѣнно будутъ деньги. Лина, милый другъ, вели принести мнѣ мой несессеръ изъ спальней.

Лина вышла.

— Чрезъ два мѣсяца мы всё заплатимъ непремѣнно, продолжала княжна, обращаясь къ управителю; скажи имъ, что я даю мое слово.

— Я прежде новаго года не получу денегъ, замѣтила княгиня дочери, а теперь октябрь въ началѣ.

— Дядя пріѣдетъ, возразила княжна тихо и по-французски.

— А если онъ останется еще въ чужихъ краяхъ?

— Едвали: въ послѣднемъ письмѣ онъ пишетъ, что скоро будетъ. По моему разсчету, онъ уже долженъ бы пріѣхать.

— Да, однако его еще нѣтъ.

— Шт.... сказала княжна, заслышавъ шаги Лины. Она отперла несессеръ и отдала деньги Кондратію.

— Принеси росписку, сказала она, и опустила голову на подушки, будто изнемогая послѣ труднаго подвига.

— Ваше сіятельство, мамзель Флора пришла, сказала Дуняша, вбѣгая.

— А! приведи ее сюда, отвѣчала княжна.

Ловко одѣтая, миловидная француженка въ букляхъ

подъ бархатною шляпкой, влетѣла въ комнату съ картонами въ обѣихъ рукахъ. Послѣ первыхъ привѣтствій, она открыла картоны и разостлала передъ княжной цѣлую груду кружевъ, косынокъ, шитья и лентъ.

— Хороши вы, M^lle^ Flore, сказала княжна, небрежно разсматривая наряды и кружева; вы продали Ивановымъ удивительное вязанье, а мнѣ сбыли оставшіяся у васъ тряпки.

— O Dieu! воскликнула француженка. Я продала! Скажите лучше, что меня обобрали, обобрали, c'est le mot. Ces dames не выпускали меня изъ дому безъ...

— Но за чѣмъ же вы пошли къ нимъ прежде, чѣмъ къ намъ?

— Я! pur hasard! Я шла по Невскому и встрѣтила ихъ; онѣ приказали мнѣ зайти тотчасъ. Que vouez-vous?...

— То-то и есть!

— Клянусь, этого впередъ не будетъ! Regardez-moi ça! сказала M^lle^ Flore, разстилая пышную кружевную перелину на бархатѣ кресла. Comme ça vous habille! Quel effet! Effet prodigieux! И какъ пристанетъ къ вамъ это fanchon, при вашихъ прелестныхъ волосахъ, продолжала она, взявъ черную косыняку и подчося ее къ локонамъ княжны; ce noir corbeau avec ce blond cendré! Это будетъ восхитительно!

— А что стоитъ пелерина и fanchon?

— Une misère. Посмотрите эту ткань, этотъ узоръ,

эти цвѣты en relief, ce travail de fée.... Вглядитесь въ роскошь рисунка, и скажите сами.

Княжна улыбнулась.

— Я вижу по предисловію, что вы захотите за эту пелерину всѣ богатства Востока.

— Я? О Боже! Нисколько! все это стоитъ бездѣлицу, я отдамъ это даромъ. Эта пелерина куплена по окказіи и стоитъ мнѣ самой триста рублей; я отдамъ ее, съ fanchon въ придачу, за триста пятьдесятъ цѣлковыхъ, только потому, клянусь вамъ, что мнѣ нужны деньги сію минуту.

— Это ужасно! Лина, посмотри, сказала княжна; не правда ли, что это страшно дорого?

Лина взглянула хладнокровно на кружева и отвѣчала, что дѣйствительно они были очень дороги, и что триста рублей — большія деньги.

— Mademoiselle plaisante? возразила француженка. Недѣлю назадъ, я продала такую пелерину княгинѣ Валевской и графинѣ Печориной. Eh bien! Ces dames благодарили меня и говорили, что всѣ замѣтили ихъ обнову.

— Хотите двѣсти ?

— Невозможно, княжна; взгляните сами, какой рисунокъ, какая свѣжесть! Конечно, я могу en imposer aux autres, но вамъ ! вамъ ! Развѣ это возможно, съ вашимъ вкусомъ, съ вашими понятіями о туалетѣ ! Je connais mon monde, princesse !

— Я не могу дать дороже.

— Tenez, для васъ, для себя, для моей репутаціи, потому что на вашихъ плечахъ эта пелерина сдѣлаетъ мнѣ честь, я отдамъ ее за триста рублей, только попрошу васъ

не говорить никому, что я вамъ уступила ее за безцѣнокъ. Gardez-moi le secret.

Долго длился разговоръ. Ловкая француженка умѣла забавлять и льстить.

— Я слышала, прибавила она, что на дняхъ у княгини Соловецкой будетъ вечеръ, а у баронессы Штейнгажъ раутъ. Вы вѣрно будете тамъ? Какъ поѣдите вы безъ перелины? C'est la grande mode, et je vous fais mon compliment d'avance: перелина будетъ замѣчена.

Княжна колебалась и наконецъ отложила въ сторону перелину, фашонъ, берту, ленты, и спросила объ итогѣ. Онъ простирался до четырехъ сотъ цѣлковыхъ, изъ которыхъ M^lle^ Flore не уступила ни копейки. Княжна заплатила половину, обѣщая отдать скоро остальную сумму, и приказала Дуняшѣ убрать купленные наряды. Княгиня восхищалась кружевами и, вторя M^lle^ Flore, признавала ихъ необходимыми для всякой порядочной женщины. Наконецъ, француженка простилась и ушла. Княгиня сказала дочери:

— Ты слышала, что сказала Флора? У баронессы раутъ.

— Такъ что жъ?

— Мы еще не получили приглашенія.

— Такъ получимъ завтра.

— Врядъ ли; будетъ поздно.

— Можетъ быть и вовсе не получимъ, сказала княжна тихо, хотя едва замѣтный румянецъ начиналъ играть на щекахъ ея. Вы забываете, что у баронессы наблюдается очередь; она зоветъ не всѣхъ знакомыхъ вдругъ, а поперемѣнно.

— На вечера — да, но не на рауты.

— Вѣроятно, завтра будетъ вечеръ; впрочемъ, надо спросить у Жоржа.

— Конечно, только это странно.

— Вы, maman, странны. Какая причина баронессѣ не звать насъ? Развѣ мы хуже ея? Или наша фамилія....

— Ахъ, Анюта, знаю я это все, да твой отецъ не любилъ большаго свѣта, не поддерживалъ въ немъ своего значенія, даже не служилъ, и если у меня еще остались кое-какія связи, то это только потому, что я сама о нихъ заботилась. Вотъ и Армалевы, хотя родня, однако на той недѣлѣ не звали насъ къ себѣ вечеръ.

— Maman, прервала ее княжна сухо; посмотрите въ окно: кажется, Жоржъ пріѣхалъ.

— Нѣтъ, тебѣ показалось, никого нѣтъ.

— А мнѣ послышался скрипъ саней; да не пора ли послать въ пансіонъ за Сережей.

— Да, я сейчасъ пошлю.

Княгиня хотѣла идти, но Лина остановила ее и пошла сама.

— Я вамъ удивляюсь, сказала княжна матери, глядя на нее холодно и сухо; вы всегда говорите при постороннихъ о самыхъ непріятныхъ семейныхъ дѣлахъ.

— Что такое?

— Лина Минская вамъ дочь или сестра?

— Она у насъ почти воспитывалась, сказала озадаченная и смущенная княгиня.

— Совсѣмъ нѣтъ; правда, когда вы взяли ее отъ Армалевыхъ, ей было осьмнадцать лѣтъ, и она продолжала

учиться со мной, но это нисколько не сблизило насъ. Вы говорите при ней о нашемъ положеніи въ обществѣ; вы думаете, мнѣ легко слушать то, въ чемъя и себѣ не люблю признаваться. Вы думаете, мнѣ легко не быть вездѣ и всегда первою, благодаря тому, что отецъ мой не служилъ, не поддерживалъ связей; Дѣлайте, какъ я, молчите, когда говорятъ о раутѣ у баронессы, о вечерѣ у графини, объ обѣдѣ у В*, о концертѣ у К*. Если балъ на восемьсотъ человѣкъ, если раутъ на весь городъ, будьте спокойны, насъ не обойдутъ, насъ позовутъ; но тамъ, гдѣ весело, гдѣ бывать лестно, гдѣ мало званыхъ, туда мы съ вами ужъ не попадемъ!

Княжна говорила, не возвышая голоса, хотя ѣдкая насмѣшка пробивалась въ каждомъ звукѣ его; глаза ея горѣли и блистали, какъ у кошки, когда она, оскалясь на своего закоренѣлаго врага, собаку, готовится прыгнуть на нее.

— Чтожъ ты такъ разсердилась? Ты не любишь выѣзжать и всѣмъ твердишь это. Недѣлю назадъ, ты отказала Петровымъ.

— А что прикажете дѣлать? Говорить, что мнѣ хочется ѣхать, да меня не зовутъ, меня, княжну Границкую? А къ Петровымъ я ѣздить часто не хочу и не буду; я втораго круга не терплю, хотя у себя иногда и принимаю его. Вотъ и Жоржъ не умѣетъ держать себя. Онъ совершенно погрязъ, Богъ вѣсть, въ какомъ кругу, и вмѣсто того, чтобы помогать намъ, онъ срамитъ насъ вездѣ. Согласитесь, что въ нашемъ

разговоръ нѣтъ ничего особенно пріятнаго. А! Вотъ и Жоржъ.

Жоржъ, старшій сынъ княгини, вошелъ въ комнату. Онъ былъ видный мужчина, черноволосый, широкоплечій и ужъ слишкомъ развязный; говорилъ онъ громко и скоро; видно было, что онъ имѣлъ притязаніе на непринужденность обращенія, которая выражалась грубыми пріемами и бойкостію дурнаго тона. Глупая самоувѣренность проявлялась въ каждомъ его движеніи, въ каждой фразѣ, даже въ походкѣ. Поздоровавшись съ матерью и сестрой, онъ бросился въ кресла, развалился въ нихъ, и положивъ ногу на ногу, болталъ одною ногой.

— Ну, Жоржъ, что новаго?

— Да ничего; завтракалъ съ пріятелями; чудный поваръ у Сенъ-Жоржа! Хотѣлъ ѣхать съ визитами, да отложилъ. Ухъ! усталъ и наѣлся.

— Что это, Жоржъ, какъ ты грубъ! сказала княжна.

— Я терпѣть не могу свѣтскихъ тонкостей. Почему же порядочный человѣкъ не можетъ сказать, что онъ объѣлся, особенно, когда завтракъ стоилъ того.

— Ты не слыхалъ, что̀ завтра у баронессы: вечеръ или раутъ? спросила княгиня у сына.

— Не знаю, право, я уже сто лѣтъ не былъ у всѣхъ этихъ недотрогъ. Мнѣ тамъ тоска смертельная.

— Напрасно, Жоржъ, это....

— Я хотѣла говорить съ тобой, сказала княжна брату, прерывая мать.

— Очень радъ. Я и самъ хотѣлъ говорить съ тобой.

— Что тебѣ надо?

— Мнѣ надо денегъ, сказалъ онъ развязно.

— А у меня нѣтъ ихъ, возразила она спокойно.

— Чтожъ дѣлать! Надо достать.

— Слушай, Жоржъ, сказала княжна серьозно; сегодня мы заплатили за тебя ювелиру; заплатили за вещи, забранныя въ лавкахъ твоимъ камердинеромъ; заплатили, недѣлю назадъ, въ кондитерскія. Скажи, сколько разъ я просила тебя не брать въ долгъ, и что за вещи бралъ ты у ювелира?

Молодой человѣкъ заболталъ ногой шибче прежняго, засмѣялся и сказалъ шутя:

— Молодость беретъ свое, чтожъ дѣлать?

— Однако быть кругомъ въ долгу, оставаться должнымъ пріятелямъ, портному, сапожнику, извощику, и такъ далѣе, это уже изъ рукъ вонъ. Куда это поведетъ тебя?

— Я и самъ не знаю, сказалъ онъ; знаю одно, что твои нравоученія мнѣ наскучили. И какъ у тебя еще достаетъ духу упрекать меня....

— Maman, сколько вы дали ему денегъ за прошлый мѣсяцъ? спросила княжна у матери.

— Полно считать, Анюта, вѣдь ихъ ужъ нѣтъ! возразилъ Жоржъ, перемѣняя тонъ и говоря ласковѣе.

— Какъ хочешь! сказала сестра, опустивъ голову на подушку, и закрыла глаза.

— Анюта, сказалъ Жоржъ черезъ минуту, взявъ ее за руку; будь мила, дай денегъ. Крайняя нужда!

— Проси у матери, отвѣчала она; у меня нѣтъ денегъ.

— Маменька, дайте денегъ !

— Ахъ, другъ мой, еслибъ они были, развѣ бы я стала ждать, чтобы ты просилъ ихъ. У меня осталось всего триста рублей, и я должна выдавать ихъ на расходъ по хозяйству. Ты думаешь, мнѣ легко видѣть васъ въ нуждѣ; я одна знаю, какъ это мучительно.

Жоржъ взглянулъ на сестру, и видя, что она лежитъ съ закрытыми глазами, сдѣлалъ знакъ матери, которая тотчасъ вышла изъ комнаты.

— Анюта, сказалъ онъ, полно сердиться. Да что это въ самомъ дѣлѣ такое, продолжалъ онъ рѣшительнѣе, видя, что сестра не обращаетъ на него никакого вниманія, развѣ я твои деньги прошу? Я хочу имѣть свои деньги. Отецъ, слава Богу, оставилъ мнѣ состояніе.

— Въ долгу, возразила княжна; по смерти его оказалось, что долгу было больше, чѣмъ имѣнія; не хочешь ли взять его? Я откажусь отъ своей части и буду жить съ маменькой. Увѣряю тебя, что я только этого и желаю.

— Ну, полно, полно, я прошу прощенія; посмотри, я стою на колѣнахъ, сестра, хорошенькая моя Анюта, посмотри на меня. Войди въ мое положеніе! Вчера я остался долженъ Борису Зонгейму; не могу же я не заплатить карточнаго долга : это повредитъ мнѣ , репутація моя пострадаетъ.

— Да она и такъ чиста! замѣтила княжна. Развѣ ты не извѣстенъ во всемъ городѣ за повѣсу и мота? Помнишь исторію прошлой зимы?

— Опять! сказалъ онъ съ досадой.

— Да, повторяю тебѣ: не ходи ко мнѣ за деньгами, проси денегъ у маменьки.

— Ты, кажется, продолжаешь смѣяться надо мной? Развѣ у маменьки есть деньги, развѣ ты дала ей?

— Если бы не я, вы давно лишились бы всего. Сережа когда нибудь будетъ мнѣ благодаренъ.

— Такъ ты рѣшительно не хочешь дать денегъ?

— Куда ты дѣвалъ тѣ сорокъ цѣлковыхъ, которые забралъ у дворецкаго.

— Старый мошенникъ! пробормоталъ Жоржъ, стиснувъ зубы, и потомъ сказалъ вслухъ:

— Я заплатилъ ихъ моему извощику.

— Неправда, лжешь! Три дня тому назадъ, я заплатила твоему извощику.

— Ну да, правда! Что дѣлать! Былъ обѣдъ по подпискѣ, меня пригласили: нельзя же было отказаться? Что тебѣ стоитъ дать мнѣ денегъ, я прошу тебя.

— Слушай, Жоржъ, сказала княжна, подымаясь съ подушки и садясь на кушеткѣ; я тебѣ дамъ денегъ, только съ условіемъ.

— Приказывай: ты знаешь, я всегда готовъ исполнять твою волю.

— Твой дядя скоро пріѣдетъ; онъ наша единственная надежда, наше спасеніе. Если мы въ теченіе этой зимы не уплатимъ въ банкъ двадцати тысячъ за имѣніе, то оно бу-

детъ продано съ публичнаго торга. Не мѣшай мнѣ ни въ чемъ, я все поправлю. Пойми, что въ этомъ твоя собственная польза. Я не знаю дяди, но маменька говоритъ, что онъ добръ и мягокъ, а что онъ богатъ, мы давно это знаемъ. Я тебя не оставлю, если когда нибудь буду дружна съ дядей; ты одинъ не съумѣешь ничего сдѣлать; не мѣшай же мнѣ ни въ чемъ, веди себя скромнѣе, и главное — слушайся меня.

— Хорошо, хорошо. Вотъ сестра, такъ сестра! А дядя молодъ?

— Да, ему теперь лѣтъ тридцать пять.

— Пожалуй, еще женится.

— Еще не женился, а здѣсь, у насъ, не женится. Я готова поручиться.

— Въ самомъ дѣлѣ? сказалъ Жоржъ, смѣясь. Я знаю, что ты дѣвка не промахъ!

— Жоржъ! Жоржъ! Какія выраженія! Мнѣ за тебя стыдно.

— Не сердись, полно; мы здѣсь одни. Ну, а деньги?

Она встала, вышла и возвратилась тотчасъ съ пачкой ассигнацій въ рукахъ. Онъ взялъ ихъ, не считая сунулъ въ карманъ, поцѣловалъ у ней руку, повернулся на одной ногѣ, и стуча каблуками, вышелъ изъ комнаты.

— Василій! Василій! кричалъ онъ въ залѣ.

Княжна, не взглянувъ на него, легла опять на кушетку, а между тѣмъ Василій уже явился на зовъ своего господина, который скорѣе бросилъ, чѣмъ далъ ему пятидесятирублевую ассигнацію, говоря:

— Ложу въ балетъ, и спеси ее Эммѣ Львовнѣ, да закажи ужинъ у Сен-Жоржа на четыре куверта.

Прошло нѣсколько дней послѣ описанныхъ происшествій; въ семействѣ Грапицкихъ ничто не измѣнилось: Лина по-прежнему безъустанно работала, княжна лежала, мать смотрѣла ей въ глаза, а Жоржъ пропадалъ изъ дому, неизвѣстно куда. Однажды, часу въ первомъ утра, Кондратій вбѣжалъ стремительно въ комнату; лице его было такъ встревожено, что и княжна подняла на него вопросительно свои сѣрые, большіе глаза.

— Ваше сіятельство, ваше сіятельство! кричалъ Кондратій внѣ себя; гляньте-ка въ окно, Ѳедька говоритъ, что пароходъ-то съ Любекскими пассажирами!

Княгиня вскочила съ мѣста.

— Братецъ! воскликнула она съ чувствомъ, и хотѣла бѣжать изъ комнаты.

— Куда вы, куда? сказала ей дочь; погодите, быть можетъ, онъ и не пріѣхалъ. Поди, узнай, Кондратій, а вы одѣньтесь,—нельзя же вамъ идти безъ шляпы и манто.

— А ты? спросила княгиня.

— Нѣтъ, я не выхожу, маменька, я не совсѣмъ здорова,— скажите это дядѣ, если онъ спроситъ. Когда Жоржъ воротится изъ департамента, я пришлю его тотчасъ и также пошлю за Сережей въ пансіонъ.

Не дожидаясь возвращенія Кондратія, княгиня поспѣшно одѣлась и ушла. Княжна, кликнувъ Дуняшу, ушла къ себѣ, а Лина, до тѣхъ поръ сидѣвшая

спокойно на диванъ, встала съ нѣкоторымъ волненіемъ, прошлась по комнатѣ и подошла къ окну. Пестрая толпа народа толкалась у перилъ набережной и зѣвала на причалившій пароходъ. Палуба его была покрыта пассажирами, которые горѣли нетерпѣніемъ скорѣе сойти на землю. У небольшой доски, перекинутой съ парохода на набережную, стояли двое полицейскихъ, и разсматривая паспорты, пропускали путешественниковъ по-одиначкѣ; разрозненныя семьи сходились вновь, составляли суетливыя группы и спѣшили — кто въ таможню, кто въ дома и гостинницы. Нѣкоторые находили на набережной давно ожидавшихъ ихъ родственниковъ или друзей, и съ радостными восклицаніями заключали ихъ въ свои объятія. Въ этой волнующейся толпѣ, Лина пыталась отыскать глазами княгиню или Кондратія, но всѣ ея усилія были напрасны; она отошла отъ окна, опять прошлась по комнатѣ, провела рукою по лбу и какъ-бы опомнившись, застыдилась самой себя и сѣла за работу. Княжна, одѣтая просто, но со вкусомъ, съ буклями, пышно взбитыми и, какъ прозрачное облако, лежавшими по блѣднымъ щекамъ, вошла въ комнату. Глаза ея приняли томное и задумчивое выраженіе, и когда, проходя мимо зеркала, она бросила на него косвенный взглядъ, то, казалось, осталась довольна общимъ видомъ своей особы. Она улеглась на свою кушетку и молчала нѣсколько минутъ.

— Пріѣхалъ онъ, или нѣтъ, произнесла она наконецъ: но, признаюсь, меня томитъ ожиданіе.

— Ты очень давно не видала его? сказала Лина, единственно для того, чтобы сказать что-нибудь.

— Вовсе не видала ; онъ уѣхалъ изъ Одессы за границу; маменька любитъ его и часто говорила намъ, что онъ былъ всегда примѣрный братъ. Впрочемъ ты должна была часто видать его у Армалевой, прежде ея втораго замужества.

— Я ? конечно, но тогда я была еще ребенокъ и потому едва его помню.

— Однако не совсѣмъ ребенокъ, замѣтила княжна.

— Мнѣ было четырнадцать или пятнадцать лѣтъ; тогда я больше думала о томъ, какъ-бы убѣжать отъ Елены Филипповны, какъ-бы покататься на лодкѣ, и его черты едва сохранились въ моей памяти.

— Онъ былъ очень хорошъ собою ?

— Да, онъ былъ молодъ и красивъ, женщины любили его безъ памяти.

— И обманывали.

— Не всѣ, сказала Лина съ внезапною грустью.

— О комъ говоришь ты ? спросила княжна съ любопытствомъ.

Въ это время въ залѣ раздались голоса и шумъ шаговъ; обѣ дѣвушки невольно вздрогнули.

— Анюта, Анюта ! послышался въ дверяхъ взволнованный голосъ княгини: — дядя пріѣхалъ, дядя здѣсь !

Княжна встала тихо и медленно, и посрединѣ комнаты встрѣтилась съ высокимъ, блѣднымъ Огинскимъ, одѣтымъ въ дорожное пальто. Черты его сохранили прежнюю прелесть, и увядшее, но все еще прекрасное лицо носило слѣды глубокой грусти и крайней усталости.

— Вотъ моя Анюта, сказала княгиня.

— Анюта! Какъ давно не слыхалъ я этого имени, сказалъ Огинскій съ чувствомъ, и взявъ племянницу за руку, обнялъ ее. Потомъ пристально поглядѣлъ на нее и, обращаясь къ сестрѣ, продолжалъ: да, у нея *ея* волосы, *ея* станъ.

— *Мнѣ* всегда также казалось. Милая, бѣдная сестра! сказала княгиня и заплакала; потомъ поцѣловала брата, усадила его подлѣ себя, и продолжала сквозь слезъ: удѣли Анютѣ хотя часть той привязанности, которую ты имѣлъ къ покойной сестрѣ.

Огинскій молчалъ, онъ былъ глубоко тронутъ, и сжалъ руку племянницы. Она сидѣла, потупивъ глаза; всѣ молчали.

— Хотите чаю, дядюшка? сказала наконецъ княжна.

— Я отвыкъ отъ чаю, дайте позавтракать.

Княжна вышла.

— Ну, а другія твои дѣти? спросилъ Огинскій у сестры.

— Меньшій въ пансіонѣ, я ужъ послала за нимъ, а старшій служитъ и вѣроятно придетъ сейчасъ изъ департамента. Разскажи мнѣ, гдѣ ты былъ, какъ проводилъ время за границей? Ты писалъ такъ рѣдко.

— Нечего было писать. Сперва, я долго велъ бродячую жизнь, объѣхалъ всю Европу, былъ на востокѣ и въ Африкѣ, потомъ поселился въ окрестностяхъ Парижа, и прожилъ тамъ около шести лѣтъ. Пришелъ однакожъ день, я почувствовалъ страшное одиночество — тутъ Огинскій провелъ рукою по лбу - и вспомнилъ наконецъ,

что у меня есть родина, есть семья, есть знакомыя мѣста, — мѣста, гдѣ протекло мое дѣтство и юность. Мнѣ страстно захотѣлось увидѣть опять все это, обнять тебя, и вотъ — я пріѣхалъ.

— На-долго?

— Самъ не знаю, какъ придется.

Вошла княжна, слуга несъ за ней завтракъ; она сама придвинула столикъ и поставила приборъ.

— Не безпокойтесь, не безпокойтесь для меня, сказалъ ей Огинскій.

— Ты говоришь ей *вы*, не грѣшно ли это? замѣтила княгиня, — будто она тебѣ чужая.

Огинскій смутился и сказалъ ласково сестрѣ: мнѣ какъ-то совѣстно говорить ей *ты*: я не зналъ ея ребенкомъ, и познакомился теперь съ дѣвушкой уже совершенныхъ лѣтъ.

— Вотъ видите ли, что значитъ жить одному, проговорила княжна тихо и вкрадчиво; вы меня не знаете, а я знаю васъ, какъ будто жила съ вами; вы забыли всѣхъ, а васъ здѣсь помнили, не хочу сказать — любили, это была бы неправда.

— Почему же? спросилъ Огинскій, улыбаясь.

— А потому, что маменька обожала васъ, и мы не могли иногда не упрекнуть васъ въ эгоизмѣ, — въ отношеніи къ ней, разумѣется.

— Анюта! сказала княгиня съ укоризной, останавливая дочь и почерпая въ присутствіи брата что-то похожее на самостоятельность.

— Что же дѣлать, маменька? это правда, правда прежде всего.

— Оставь ее, она очень мила, сказалъ Огинскій сестрѣ, и обратясь къ племянницѣ, продолжалъ полушутя, полу-серьозно: такъ вы меня обвиняли и не любили, разумѣется, какъ можно нелюбить тѣхъ, кого мы совсѣмъ не знаемъ?

— Я не говорю этого, но скажите сами, могли ли мы не обвинять васъ? Вы забыли, что у васъ была сестра, и отправились на край свѣта, не удостоивъ ея прощальнымъ письмомъ. Два года пропадали вы безъ вѣсти на востокѣ, потомъ едва-ли въ годъ разъ писали ей въ отвѣтъ на ея безпрестанныя письма. Много слезъ вы стоили маменькѣ, и надо быть ангеломъ доброты, какъ она, чтобы простить вамъ это, да еще десять лѣтъ ждать васъ, какъ она ждала.

— Совершенный обвинительный актъ и по всѣмъ правиламъ, сказалъ Огинскій серьозно, и потомъ прибавилъ мягче: воображая свиданіе съ вами, я не могъ вообразить, что съ перваго шагу мы можемъ не сойтись во мнѣніяхъ.

— Воображая свиданіе, воображали-ль вы меня? вы едва знали о моемъ существованіи, признайтесь же, сказала княжна, улыбаясь добродушно и ласково.

— Правда, отвѣчалъ Огинскій.

— Но взгляните на маменьку, она не опомнится отъ радости, что видитъ васъ, и простите дочери невольно высказанное чувство, которое росло съ ней вмѣстѣ. Поймите, что надо было нетерпѣливо ждать васъ, чтобы такъ жарко почувствовать ваше долгое отсутствіе, ваше долгое молчаніе, ваше забвеніе всего и всѣхъ. Когда мы узнаемъ другъ друга короче, мы, быть можетъ,

многое простимъ другъ другу. Вы простите слова мои, а я прощу вамъ ваше равнодушіе къ моей матери. Быть можетъ, вы не уѣдете опять, не простясь, и главное— не пропадете безъ вѣсти.

— Да, быть можетъ, сказалъ Огинскій, однако я ни за что не ручаюсь: моя личная свобода мнѣ дороже всего.

— Даже любви, родственной привязанности? спросила она.

— Незнаю, можетъ быть, у всякаго своя жизнь....

Лина невольно подняла глаза съ работы и устремила ихъ на Огинскаго; до-сихъ-поръ она сидѣла въ углу, никѣмъ не замѣченная. Ея упорно проницательный взглядъ привлекъ взоры Огинскаго, глаза ихъ встрѣтились, она покраснѣла и опустила взоры на работу.

— Кто эта дѣвушка? спросилъ тихо Огинскій у сестры. — Мнѣ кажется, что я когда-то видалъ ее, въ ея чертахъ есть что-то знакомое.

— Да, ты долженъ былъ видать ее, сказала княгиня, избѣгая произношенія собственныхъ именъ. Это Лина Минская.

Огинскій быстро всталъ, будто тайная пружина подняла его. Онъ протянулъ обѣ руки Линѣ и крѣпко сжалъ руку ея въ своихъ рукахъ, потомъ поцѣловалъ ее.

— Вы, вы тотъ милый ребенокъ, та дѣвочка, съ которой я болталъ и игралъ по цѣлымъ вечерамъ? возможно ли? говорилъ онъ живо. Ну, скажите, какъ вы жили, что дѣлали?

— Я уже восемь лѣтъ живу у княгини, и нашла пріютъ въ ея домѣ.

Огинскій взглянулъ на сестру очень нѣжно, и преодолѣвъ внутреннее смущеніе, спросилъ Лину въ полголоса:

— А Танечка? гдѣ она?

— Танечка живетъ постоянно въ Кіевѣ.

— Монахиня? воскликнулъ Огинской.

— Почти, но она не постриглась. Вся жизнь ея посвящена больнымъ и бѣднымъ, и молитвѣ.

— Она живетъ одна?

— Совершенно одна; она даже меня не взяла съ собою, даже не позволила мнѣ пріѣхать повидаться.

— Пишетъ къ вамъ?

— Очень рѣдко, и то если представится случай попросить за кого-нибудь или отрекомендовать бѣднаго, странствующаго за подаяніемъ для церкви инока.

Разговоръ шелъ въ полголоса, княжна и княгиня были въ сторонѣ. Черезъ нѣсколько минутъ Огинскій оставилъ Лину и сѣлъ подлѣ сестры; онъ былъ разстроенъ и скоро ушелъ въ приготовленную для него комнату, жалуясь на усталость.

Когда княгиня, проводивъ брата, возвратилась къ дочери, которую застала одну, она сказала ей съ безпокойствомъ:

— Помилуй, Анюта, въ умѣ ли ты! можно ли такъ принять дядю?

— Я васъ не понимаю, отвѣчала княжна холодно.

— Помилуй, холодна какъ ледъ, едва поцѣловала его.

— Я не могу съ восторгомъ бросаться на шею къ человѣку, котораго незнаю.

— Ну, а потомъ зачѣмъ сказала ему столько непріятнаго ?

— Чтожъ, я сказала правду.

— Правда не всегда у мѣста.

— За правду людей уважаютъ , маменька , не забывайте этого.

— Можетъ быть, но не любятъ.

— Любовь останется на будущее. Сперва надо внушить уваженіе. Вашъ братъ очень уменъ , maman , онъ многое понимаетъ, но кажется , характеръ его....

— Доброты онъ былъ всегда неописанной , она-то и повредила ему.

— Мнѣ кажется, онъ капризенъ и раздражителенъ.

— Съ чего ты взяла это ?

— Замѣтили вы или нѣтъ , что онъ , какъ всѣ одинокіе, или измученные люди, имѣетъ пунктъ сумасшествія? Въ немъ развилась идея о личной независимости ; знаете ли, какъ зовутъ это на простомъ языкѣ ?

— И непонимаю совсѣмъ, что ты хочешь сказать.

— Это называется : *не тронь меня*, но еще не значитъ : *я тебя трогать не буду*.

— Я незнаю всѣхъ этихъ тонкостей, въ наше время ихъ не было. Богъ васъ знаетъ, какія вещи вы нынѣ выдумали. Я скажу одно : эй, не серди дядю , а старайся заслужить любовь его, — это будетъ лучше.

— Будьте спокойны, дайте мнѣ время узнать его покороче. Нынче я сдѣлала рѣшительный шагъ — сознаюсь

въ моей дерзости, но я его понспытала ; увидимъ, что будетъ дальше.

— Не было бы худа.

— Положитесь на меня ; меня удивило одно : что за прошлое между нимъ и Линой ? Вы видѣли, какъ онъ измѣнился въ лицѣ, когда узналъ ее; ужели это потому только, что она жила у Воротынской ?

— Лина была и осталась дружна съ Татьяной Михалевской.

— Такъ что-жъ такое ?

— Ужъ этого я сказать тебѣ не могу на-вѣрное. Я не была въ Москвѣ, но слухъ носился, будто Татьяна была страстно влюблена въ него ; иные говорили, что онъ любилъ ее и Елецкую, а другіе, что и разрывъ его съ Елецкой произошелъ за Татьяну. Я ничего не знаю достовѣрно, но Лина должна знать все это.

— Тѣмъ хуже : Лина ничего никому не скажетъ, а менѣе всѣхъ вамъ и мнѣ.

— Почему же ?

— Что это, маменька, живете, живете вы на свѣтѣ и ничего не видите. Между Линой и мной не существуетъ ни малѣйшей взаимности, откровенности между нами никогда не было. Васъ она, можетъ быть, любитъ, но и вамъ ничего не довѣритъ, отчасти потому, что знаетъ, что вы все разскажете мнѣ.

— А я думала, что вы дружны.

Княжна пожала плечами и сказала :

— Ну, васъ не мудрено провести, но оставимъ это.

Гдѣ Жоржъ? ради Бога попросите его лучше вести себя при дядѣ, а то онъ погубитъ и себя, и насъ. За Сережу я не боюсь, онъ ему понравится.

Въ первый разъ въ жизни княжна высказывала, если не всѣ мысли свои, то большую часть ихъ. Княгиня была совершенно счастлива и соглашалась со всѣми мнѣніями дочери, если же и противорѣчила ей, то, казалось, только для того, чтобы еще сильнѣе убѣдиться ея доводами. Всѣ хозяйственныя распоряженія окончательно перешли съ этого дня въ руки княжны, и она объявила, что постарается, для спокойствія дяди, учредить въ домѣ нѣкоторый порядокъ,—дѣло не совсѣмъ легкое, потому что всѣ слуги княгини отличались лѣностію, распущенностію и пьянствомъ.

ГЛАВА II.

Чрезъ нѣсколько дней послѣ пріѣзда Огинскаго, семейство Границкихъ узнало, что онъ хотѣлъ провести зиму въ Петербургѣ, а весною ѣхать въ Михайловское. Живя у сестры, Огинскій избѣгалъ общества; достаточно было одного посторонняго лица, особенно если оно принадлежало къ высшему кругу, чтобы заставить его уйдти изъ гостинной; казалось, онъ питалъ къ этому классу общества особенную недовѣрчивость и непріязнь. Княжна, замѣтивъ это, перестала выѣзжать и почти никого не принимала. Жоржъ еще въ первый день пріѣзда поспѣлъ къ обѣду и былъ представленъ дядѣ, но взаимное впечатлѣніе, вынесенное обоими изъ этого свиданія, было не слишкомъ благопріятно. Племянникъ не понравился дядѣ, а дядя показался племяннику чудакомъ, только совсѣмъ незабавнымъ. Не смотря однако на это впечатлѣніе, Жоржъ оказался не безполезнымъ въ семейномъ кругу, составившемся около Огинскаго; часто, возвращаясь

съ обѣда, или изъ театра, Жоржъ разсказывалъ городскія вѣсти, сплетни и пересуды, и его болтовня развлекала всѣхъ, даже и Огинскаго. Княжна, всегда одинаково настроенная, не молчаливая и не говорливая, не скучная и не веселая, во всемъ существѣ своемъ, повидимому, проникнутая тѣмъ спокойствіемъ, которое нравится и привлекаетъ наиболѣе людей нравственно больныхъ или убитыхъ, пріучила, мало-по-малу, дядю сидѣть подлѣ себя. Онъ привыкъ перелистывать книгу, привыкъ задумываться, привыкъ бродить въ комнатѣ княжны. Наблюдателю легко было догадаться, что Огинскій не могъ или не умѣлъ ни чѣмъ заняться, часто скучалъ и вообще находился въ состояніи апатіи. Трудно сказать, замѣчала ли это княжна или, замѣчая, не могла вывести его изъ такого состоянія. Какъ бы то ни было, она рѣдко оставляла его одного, а черезъ мѣсяцъ послѣ его пріѣзда была достаточно близка съ нимъ, чтобы, не дожидаясь его у себя, приходить въ его кабинетъ и проводить съ нимъ утро до завтрака. Иногда она умѣла заставить его разсказать себѣ нѣкоторые случаи изъ его путешествій, и слушала съ участіемъ, вставляя свое замѣчаніе или возгласъ удивленія; иногда говорила она и о себѣ, о своемъ прошедшемъ, и о будущемъ, посвященномъ одной семьѣ. Эта обоюдная близость не шла однако дальше. Княгиня, послѣ первыхъ минутъ свиданія съ братомъ, когда связь родства и крови заговорила такъ громко въ обоихъ, осталась въ прежнихъ отношеніяхъ къ брату, была съ нимъ ласкова и внимательна, но въ сущности не имѣла ничего съ нимъ общаго. Сережа нравился дядѣ и могъ-бы занять его, но онъ былъ въ пан-

сіонѣ и являлся домой только въ воскресенье. Это былъ живой, бойкой, умный мальчикъ, но и въ немъ просвѣчивали уже слѣды наклонностей всего семейства: чванство, суетность, желаніе блеснуть передъ всѣми мнимымъ богатствомъ, или, что еще хуже, способность безсовѣстно лгать дома, разсказывая свои успѣхи, и умѣть уже хвастать передъ товарищами, что онъ наслѣдникъ дяди богача. Любимецъ княгини, Сережа боялся одной сестры и велъ себя при ней очень скромно, что особенно нравилось Огинскому. Что касается до Лины, то послѣ своего перваго разговора съ Огинскимъ, она осталась въ-сторонѣ и по-прежнему, съ утра до поздняго вечера, сидѣла, не разгибаясь, за работой, вышивая то подушки по канвѣ, то мантильи по тюлю, и раза три въ недѣлю исчезала по-утру, чтобы давать уроки музыки. Дни текли за днями, однообразно и уныло, и одна княжна медленно, незамѣтно подвигалась впередъ и дѣлалась центромъ маленькаго міра, гдѣ въ особѣ дяди возникъ для нея важный интересъ и прояснялось будущее. Между тѣмъ послѣдній срокъ, назначенный ею кредиторамъ, наступилъ и они начинали тревожить ее своими неотвязными требованіями. Въ первый разъ въ жизни княжна не знала, на что рѣшиться и какъ приступить къ дядѣ. По этому поводу было много семейныхъ совѣщаній, но всѣ мѣры, предложенныя княжнѣ, были ею отвергнуты. Безсонная ночь и собственныя усилія навели ее однако на благую мысль, и однажды утромъ, вмѣсто того, чтобъ идти по своему обыкновенію къ дядѣ, она вошла въ комнату Лины. Увидя княжну у себя, Лина удивилась и сказала:

— Такъ рано, и встала! Что съ тобой?

— Не спалось, отвѣчала княжна, и потомъ небрежно, томно опустившись на кресло, замѣтила, что оно не слишкомъ мягко, и что пора бы перемѣнить вообще всю мебель Лины. Дѣйствительно, старомодная и безпокойная софа, два плетеныхъ стула, простой шкафъ для платья и двѣ полки съ книгами, задернутыя зеленымъ коленкоромъ, наконецъ единственное кресло, въ которомъ теперь покоились изнѣженные члены княжны, — не могли назваться приличной мебелью. Лина, въ продолженіи восьми-лѣтней жизни своей у княгини, никогда не слыхавшая ничего подобнаго, взглянула вопросительно на княжну.

— Чему жъ ты удивляешься? сказала княжна, будто я говорю пустяки. Посмотри сама, на что похожъ этотъ диванъ.

— Ты не въ первый разъ въ моей комнатѣ; бывало, года два назадъ, ты сиживала здѣсь по цѣлымъ часамъ и никогда не замѣчала, что моя комната плохо убрана. Отъ чего-жъ нынче?

— Да такъ. Случается глядѣть цѣлый годъ на что-нибудь и ничего не замѣтить, а потомъ вдругъ все бросится въ глаза. Впрочемъ я уже давно была у тебя.

— Я не люблю роскоши, сказала Лина, мнѣ и такъ хорошо.

— Ты называешь это роскошью? сказала княжна, указывая презрительнымъ движеніемъ руки на ветхую мебель.

— Если это не роскошь, то больше чѣмъ необходимое, отвѣчала Лина. Благодаря твоей матери, я ни въ

чемъ не нуждаюсь, и требованія большаго съ моей стороны были-бы неблагодарностью.

— Можетъ быть, но долгъ нашъ устроить тебя.

— Пустяки, у васъ у самихъ никогда нѣтъ денегъ.

— Правда, сказала княжна, вздыхая; я не знаю, что дѣлать, и нынче всю ночь не спала; всякую минуту я боюсь непріятной исторіи.

Лина молчала.

— Купцы придутъ опять просить денегъ, потомъ подадутъ, пожалуй, жалобу на насъ. Это срамъ.

— Твоя мать скоро должна получить оброкъ, сказала Лина.

— Его не хватитъ на уплату долговъ и на прожитокъ; къ тому же заимодавцы не хотятъ ждать больше, а до новаго года еще цѣлый мѣсяцъ. Я совершенно незнаю, что дѣлать.

— Будто? спросила Лина серьозно. — У тебя умъ чисто практическій, и не разъ ты выходила изъ запутаннаго дѣла очень счастливо.

— Ахъ, Лина, нужда всему научитъ; ты думаешь, мнѣ не тяжело это? Я желала бы жить, какъ ты, спокойно, регулярно. Лучше читать, работать и учиться, продолжала она задумчиво, перелистывая лежавшую на столѣ книгу, чѣмъ хлопотать, мучиться съ братомъ, мотомъ и игрокомъ, съ матерью, лишенною всякаго характера и воли. Ужели это легко?

— Ты сама во многомъ виновата, сказала Лина.

— Въ чемъ же? спросила княжна съ совершенно непритворнымъ удивленіемъ.

— Ты сама много тратишь.

— Я ? я ? проговорила княжна. — Гдѣ же ты видѣла, когда ?

— Ты много тратишь на туалетъ.

— Лина, ты съ ума сошла, я одѣта только-что прилично, когда выѣзжаю въ свѣтъ.

— Какъ , платья въ двѣсти цѣлковыхъ, воланы въ триста, шарфъ въ пятьсотъ ты называешь только приличнымъ туалетомъ?

— А какъ же иначе ? Развѣ ты воображаешь, что выѣзжая, можно быть одѣтой хуже всѣхъ?

— Зачѣмъ хуже всѣхъ? я этого не говорю, я хотѣла сказать только, что не нужно тянуться за всѣми.

— Ты, Лина, незнаешь свѣта; неужели мнѣ одѣваться какъ какой-нибудь мѣщанкѣ? Надо мною всѣ стали бы смѣяться.

— У Воротынской я всѣхъ видала, сказала Лина, и знаю, что многія одѣты просто, а приняты отлично, другія же въ брилліантахъ и кружевахъ, а сидятъ въ углу, и никѣмъ не замѣчены.

— Видѣть и быть въ свѣтѣ — разница. Но оставимъ это; мнѣ грустно, что ты нападаешь на меня, а я любила тебя съ дѣтства, да и теперь люблю; а ты, любишь ли ты меня ?

— Я слишкомъ обязана твоей матери, сказала Лина, чтобы быть къ тебѣ равнодушной, хотя ты сама знаешь, что дружны мы съ тобою никогда не были.

— Стало быть, ты совсѣмъ не любишь меня? спросила княжна печально.

— Я говорю, повторила Лина, что слишкомъ обязана твоей матери, чтобы не принимать участія въ вашемъ положеніи.

Княжна только и ждала этихъ словъ.

— Докажи мнѣ, сказала она рѣшительно, время пришло.

— Что тебѣ надо? спросила Лина не безъ волненія и нѣкотораго испуга.

— Войди въ наше положеніе, не будь чужая въ домѣ, гдѣ тебя любятъ. Если мы незаплатимъ долговъ, векселя подадутъ ко взысканію, а наше имѣніе за просрочку и безъ того поступитъ въ продажу съ публичнаго торгу. Я нынче смотрѣла счеты: наши долги равны цѣнности имѣнія.

— Возможно-ли? сказала Лина съ ужасомъ.

— Да, это ужасная правда. Спаси насъ!

— Я! сказала Лина, но какъ?

— Ужели ты не догадываешься?

Лина перемѣнилась въ лицѣ; очевидно, ей было тяжело и неловко.

— Нѣтъ, сказала она, послѣ краткаго молчанія.

— Это однакожъ очень просто. Поговори съ дядей.

— Я! но по какому праву? я чужая ему и едва съ нимъ знакома!

— Онъ зналъ тебя дѣвочкой, онъ любилъ тебя; не дальше, какъ вчера, онъ съ участіемъ о тебѣ распрашивалъ. Ты, кажется, была дружна съ женщиной, которую онъ любилъ.

— Почему же ты не хочешь говорить сама? Это было бы проще и лучше, сказала Лина, избѣгая прямаго отвѣта.

— Не могу, не могу рѣшиться просить у него де-

негъ; онъ только-что пріѣхалъ, я только-что сошлась съ нимъ — и уже просить.... Нѣтъ, нѣтъ, не могу!

— А я могу? спросила Лина.

— Конечно, ты будешь просить не для себя, а для женщины, бывшей тебѣ вмѣсто матери, давшей тебѣ, вспомни это, пристанище, котораго ты не имѣла, и возможность окончить воспитаніе. Впрочемъ, ты и не проси денегъ, скажи ему только, въ какомъ положеніи находятся дѣла наши.

Лина молчала.

— Лина, вѣдь это бездѣлица, не болѣе какъ услуга; но я клянусь тебѣ, что никогда не забуду ея, и сочту за доказательство самой искренней дружбы. Ужели ты откажешь мнѣ?

— Порученіе твое мнѣ тяжелѣ всего на свѣтѣ, сказала Лина, но я не въ правѣ отказаться отъ его исполненія; я обязана твоей матери, и потому должна сдѣлать для нея все, что отъ меня зависитъ.

— Такъ ты согласна?

— Да, сказала Лина.

— Смотри же, сдѣлай это ловко, заведи разговоръ издали, и будто болтая, скажи правду.

Лина вспыхнула.

— Никогда, воскликнула она съ жаромъ, никогда! Я скажу ему просто все, или вовсе ничего не буду говорить. За кого ты принимаешь меня? Мало того, что даешь мнѣ тяжелое и крайне щекотливое порученіе, ты еще воображаешь, что я буду хитрить и лукавить?

— Дѣлай, какъ знаешь, сказала княжна и прибавила, улыбаясь: какая ты экзальтированная! Подумаешь, что

навести человѣка богатаго, дядю-милліонера, на мысль о уплатѣ долговъ единственной сестры—дѣло нечистое и предосудительное. Куда же ему и тратить деньги, если не на насъ.

— Однако, возразила Лина, еслибы въ твоемъ положеніи я рѣшилась просить денегъ, я попросила бы ихъ сама и прямо.

— Все преувеличенія и экзальтація! возразила княжна, скрывая свою досаду.

— Правила! отвѣчала Лина.

— Пожалуй, мнѣ все равно, лишь бы ты исполнила мою просьбу. Такъ когда же?

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, отвѣчала Лина такимъ тономъ, какимъ говорятъ обыкновенно: уфъ! складывая съ плечъ тяжелую ношу.

— Благодарю тебя и надѣюсь на одну тебя, сказала княжна, цѣлуя Лину и выходя изъ комнаты. Лина долго думала; звонъ колокольчика въ гостиной, гдѣ вѣроятно спрашивали чай, вывелъ ее изъ задумчивости. Она пошла въ гостиную, желая улучить свободную минуту, чтобы поговорить съ Огинскимъ; но это было невозможно: Огинскій не приходилъ до обѣда, а послѣ обѣда онъ сѣлъ около племянницы и углубился въ чтеніе нѣмецкой книги. Увлекшись чтеніемъ одной страницы, онъ обратился къ княжнѣ и сказалъ ей:

— Послушай эту страницу, удивительно хорошо написано.—А, да я забылъ, что ты не знаешь по-нѣмецки. Я переведу.

Съ книгой въ рукахъ онъ сталъ переводить, но

слова не приходили ему на умъ и онъ пріостановился; Лина, въ первый разъ обратившись къ нему, помогла ему, и сдѣлала это такъ удачно и легко, что онъ не могъ не сказать ей нѣсколько комплиментовъ.

— Вы еще не знаете, какая она ученая, сказала княжна: вообразите, она недавно и одна-одинехонька выучилась по итальянски.

— Неужели? спросилъ Огинскій: у васъ удивительное терпѣніе. Впрочемъ, сколько я могъ замѣтить, вы любите занятія, я никогда не видалъ васъ безъ работы.

— Чтожъ тутъ удивительнаго! сказала Лина съ улыбкою.

— Конечно ничего, но это большое счастіе.

— Это счастіе зависитъ отъ насъ.

— Нисколько, возразилъ Огинскій; иному наскучило читать, наскучило учиться, все наскучило, осталась одна усталость.

— Пустяки, не усталость, а привычка къ праздности.

— Какъ рѣшительно! сказалъ онъ съ досадой и принялся за книгу, не желая продолжать разговора.

— Да вотъ, и я ничего не дѣлаю, замѣтила княжна, желая смягчить отвѣтъ Лины, не понравившійся Огинскому.

— Совершенная правда, отвѣчалъ онъ насмѣшливо, не отрывая глазъ отъ книги. Ты можешь сказать, что никогда ничего не дѣлаешь, если не называть занятіемъ твою постоянную привычку лежать.

— Ты, кажется, забываешь, сказала княгиня, доселѣ

прилежно занимавшаяся тамбурной работой, — что моя Анюта всегда страдаетъ разстройствомъ нервовъ. Погляди, на ней, особенно нынче, лица нѣтъ.

— Въ сэмомъ дѣлѣ, ты что-то блѣдна, сказалъ онъ, взглянувъ на нее: ты нехорошо себя чувствуешь?

— Не слишкомъ, но это ничего, пройдетъ.

— Ну, ужъ, если мы говоримъ *не слишкомъ*, сказала княгиня, это значитъ мы *совсѣмъ* больны.

— Ну, пусть и такъ; да будьте же покойны, маменька, пора вамъ привыкнуть.

Княгиня вздохнула на всю гостиную и вздохъ ея былъ на разные тоны съ тремя паузами.

— Что же вы не пошлете за докторомъ? спросилъ Огинскій.

— Что докторъ? Онъ говоритъ, что самое лучшее лекарство спокойствіе духа, а безъ него ни капли, ни порошки ничего не помогутъ.

— Но, кажется, племянница не нуждается въ этомъ.

— Въ чемъ это? въ спокойствіи? Въ томъ-то наша и бѣда.

— Маменька! сказала княжна съ укоромъ.

— Чтожъ? это правда, душа моя. Жоржъ пропадетъ изъ дому съ пріятелями — съ кѣмъ этого не бываетъ въ молодости? — безпокоишься. Случится ему пошалить, разумѣется непредосудительно, — безпокоишься. Сережу не переведутъ въ классъ, — безпокоишься! Да и мало ли еще чего: о другомъ я ужъ и не говорю.

— О братьяхъ нечего такъ тревожиться, сказалъ Огинскій, ну а другаго, о чемъ ты не сказала, я не знаю и слѣдственно судить не могу.

— Да нечего и знать, дядюшка, сказала княжна такимъ тономъ, который долженъ былъ возбудить любопытство, тѣмъ болѣе, что томность взоровъ и печальное выраженіе лица дополняли значеніе словъ.

Огинскій взглянулъ на нее и, не сказавъ ни слова, принялся читать; княгиня вздохнула опять, а Лина, окинувъ взоромъ мать и дочь, вышла въ залу, гдѣ долго ходила взадъ и впередъ; мысли ея были тревожны, брови сжимались порою и строгое выраженіе глазъ казалось еще строже. При наступленіи вечера Огинскій вышелъ изъ гостиной и проходилъ черезъ залу; она посмотрѣла ему вслѣдъ, потомъ вдругъ принявъ рѣшительное намѣреніе, сказала тихо вслѣдъ ему:

— Валентинъ Михайловичъ!

Онъ не слыхалъ, она повторила. Онъ тотчасъ воротился и подошелъ къ ней.

— Могу ли я завтра видѣть васъ на-единѣ? сказала Лина.

— Когда вамъ угодно, отвѣчалъ онъ съ удивленіемъ.

— Завтра въ восемь часовъ утра я буду въ гостиной; въ это время княгиня и дочь ея еще спятъ.

— Я буду, сказалъ онъ и ушелъ, пожавъ ей руку.

Лина вошла въ кабинетъ княжны.

— Ну, что? воскликнула княгиня.

— Что? спросила княжна тише и медленнѣе, но съ затаеннымъ мучительнымъ безпокойствомъ.

— Завтра въ восемь часовъ онъ будетъ говорить со мною, сказала Лина.

— Цѣлая ночь! произнесла княгиня, вздыхая.

— Ахъ, маменька, какъ все это наскучило, сказала княжна, подымаясь съ кушетки Уходя къ себѣ, она шепнула Линѣ: благодарю тебя, душа моя.

На другой день утромъ, Лина проснулась очень рано и не безъ внутренняго волненія дожидалась условленнаго часа. Когда она вошла въ гостиную, Огинскій былъ уже тамъ, сидѣлъ на диванѣ, и ждалъ ее. Увидѣвъ ее, онъ всталъ, придвинулъ ей кресло и ожидалъ, покуда она сядетъ, чтобы сѣсть подлѣ нея. Страшно было имъ обоимъ сойтись, будто на тайное свиданіе, и оба они были неспокойны

Многое изъ прошедшаго проснулось въ душѣ Огинскаго при видѣ Лины, а Лина была совершенно смущена, не совсѣмъ отдавая себѣ отчета, почему именно. Долго Огинскій въ дѣвическихъ мечтахъ ея былъ чѣмъ-то въ родѣ идеала; но когда она теперь увидѣла его послѣ столькихъ лѣтъ отсутствія, онъ казался ей инымъ, чѣмъ она его воображала, инымъ, чѣмъ когда-то, въ первую пору своей юности, знавала его. Онъ однако привлекалъ къ себѣ ея мысли, ей хотѣлось узнать его ближе, и судьба его казалась для нея загадочною и возбуждающею участіе. Теперь, сойдясь съ нимъ наединѣ, она не знала, какъ начать говорить и едва не забыла труднаго порученія, возложеннаго на нее себялюбіемъ подруги.

— Вы желали говорить со мной, я васъ слушаю, сказалъ Огинскій, первый, прерывая молчаніе; — не стану увѣрять васъ въ моемъ участіи, я сказалъ бы — въ дружбѣ, еслибы имѣлъ на это малѣйшее право. Но вы знаете прошедшее, оно вамъ порукой будущаго; названная сестра Тани не можетъ быть мнѣ чужою.

— Благодарю васъ, отвѣчала Лина, но я пришла говорить не о себѣ; такой поступокъ съ моей стороны не имѣлъ бы оправданія. Къ тому же, я ни въ чемъ не нуждаюсь; я покойна, слѣдственно счастлива. Извините меня, если я покажусь вамъ назойливой, не пеняйте на меня. Я вынуждена сказать вамъ, что дѣла сестры вашей въ крайнемъ разстройствѣ, и если вы не поможете ей, она лишится всего своего состоянія.

— Что вы говорите! воскликнулъ Огинскій: возможно ли это? У ней было большое состояніе! Какъ же это случилось?

— Этого я объяснить вамъ не умѣю, расходы ли выше средствъ, или плохое управленіе — довели ее до крайности.

— Странно, сказалъ Огинскій, размышляя; но почему же вы пришли мнѣ сказать объ этомъ, а не она?

— Не знаю; быть можетъ, она не рѣшилась говорить съ вами и, тотчасъ по вашемъ пріѣздѣ, обременять васъ просьбами, а я, видя ея крайность и грозящее ей несчастіе, рѣшилась все сказать вамъ. Кажется, черезъ мѣсяцъ, если она не уплатитъ денегъ, имѣніе ея поступитъ въ продажу.

— Все это крайне удивляетъ меня. Я поговорю съ сестрой. Но, скажите, вы давно здѣсь, мнѣ кажется, что Жоржъ долженъ быть одной изъ главныхъ причинъ такого положенія.

— Не знаю.

— Какъ, вы не хотите говорить со мною откро-

венно? Я знаю сестру, она добра, но никогда не имѣла характера; сперва ею управляла тетка, а теперь должны управлять дѣти. Анюта дѣвушка, слѣдственно не можетъ много тратить, да и куда?—она не выѣзжаетъ. Домъ сестры устроенъ не слишкомъ роскошно; на что же она могла разориться?

— Быть можетъ, отъ безпорядка, сказала Лина, вынужденная сказать что-нибудь.

— Конечно, но этого недостаточно; чтобы разориться, къ безпорядку надо прибавить мотовство. А кто здѣсь можетъ мотать, если не Жоржъ? Анюта женщина такая семейная. Теперь я понимаю, отъ чего ея разстройство, вѣчно усталый видъ. Бѣдная Анюта! я ужь и потому начинаю любить ее, что ея кротость, безотвѣтность, тихая грусть, даже талія и волосы напоминаютъ мнѣ покойную сестру мою, которой она носитъ имя.

Лина молчала, она была въ затруднительномъ положеніи; характеръ Анюты она понимала совершенно иначе, согласиться съ Огинскимъ не могла, а противорѣчить ее хотѣла. Для чего, по какому праву она, ему чужая, едва съ нимъ знакомая, станетъ отдалять его отъ послѣднихъ связей, уцѣлѣвшихъ для него въ жизни, станетъ разрушать послѣднія обольщенія, не будучи въ состояніи замѣнить ихъ ни чѣмъ? А онъ столько терпѣлъ въ прошедшей жизни. Линѣ стало вдругъ очень грустно. Она взглянула на него: эти увядшія черты, это блѣдное лицо, этотъ высокій, какъ изъ мрамора изваянный лобъ, были такъ плѣнительны... И жалость предательски закралась въ ея сердце.

— О чемъ вы думаете? спросилъ ее Огинскій. Она не могла сказать ему: зачѣмъ вы столько страдали? зачѣмъ не любилъ васъ никто? Но на этой мысли она печально остановилась, и невольно, не расчитавъ, сказала ему: о Танѣ.

«Таня любила его», думала она, «а онъ не умѣлъ, не могъ полюбить ее; ужели все въ жизни этого человѣка будетъ одна ошибка?» Угадалъ ли Огинскій мысли ея, или напалъ на нихъ по тайному, необъяснимому сочувствію, или имя Тани, такъ внезапно и неосторожно произнесенное Линой, зашевелило многое въ душѣ его, — кто знаетъ? — только лице его вдругъ измѣнилось, сдѣлалось мрачно, и притомъ приняло оттѣнокъ раздражительности.

— Да, сказалъ онъ послѣ долгаго молчанія, судьба зло смѣется иногда надъ людьми. Люди встрѣчаются не въ пору, любятъ не въ пору, сначала непонимаютъ другъ друга, а когда поймутъ, то выходитъ на повѣрку, что лучше было бы имъ всегда оставаться въ блаженномъ невѣдѣніи. Озлобляется тотъ, кто, противъ желанія имѣлъ несчастіе внушить любовь, а его жалость, еслибъ онъ и испыталъ ее посреди своего озлобленія, еще больше оскорбитъ больное сердце. Скажите, кто по-вашему болѣе достоинъ участія, тотъ-ли, кто любилъ одинъ, кто страдалъ одинъ, или тотъ, кто видѣлъ родникъ любви чистой и дѣвственной и, палимый зноемъ, не могъ утолить въ немъ жгучей жажды?

— Не знаю, сказала Лина; тотъ и другой равно были бы мнѣ близки, равно милы.

Онъ взялъ ея руку и сказалъ:

— Благодарю васъ.

— За что? спросила она, смутившись.

— За ваше доброе слово, оно было мнѣ пріятно и подѣйствовало на меня благотворно. Бываютъ минуты, и я стыжусь ихъ, когда мнѣ жадно хочется найти участіе, дружбу. Видно, я слишкомъ долго жилъ одинъ, видно, натура человѣка сильнѣе несчастій жизни, сильнѣе его собственной воли; она, порою, настоятельно требуетъ дани: люди дѣлаются необходимыми человѣку. Я не вѣрю совершенной мизантропіи.

— И слава Богу, сказала Лина горячо.

— Не смотря однако на это убѣжденіе, лучше жить одному, чѣмъ опять обмануться.

— Не знаю, не думаю; впрочемъ характеры людскіе и пониманіе ихъ различны. Ужели нельзя забыть прошедшаго?

— Невозможно, отвѣчалъ онъ и задумался.

— Заняться серьозно? сказала она тихо.

— Чѣмъ? спросилъ онъ и продолжалъ: —знаете ли, кто можетъ заниматься серьозно? Тотъ, у кого впереди и цѣль, и интересъ, и слѣдственно счастіе. А у кого все это въ прошедшемъ, что тому дѣлать? Нельзя, говорю я вамъ, отвратить взоровъ отъ прошедшаго, что же будетъ? человѣкъ умретъ заживо, окаменѣетъ, какъ сфинксъ въ пустынѣ, и для всѣхъ живущихъ будетъ представлять собою сухую, невозбуждающую вниманія загадку. Что можетъ воскресить его или оживить?

— А помните греческій миѳъ, сказала Лина живо, не дастъ ли онъ отвѣта на ваше сомнѣніе?

— На Галатею сошелъ огонь съ неба; этотъ огонь означаетъ, по моему, не одну любовь. Чѣмъ бы человѣкъ ни воодушевился, лишь бы источникъ его одушевленія былъ благороденъ — это огонь неба. Огинскій засмѣялся и потомъ принужденно-шутя сказалъ Линѣ:

— Положимъ такъ. Но что такое сама Галатея? это молодость и красота до своего пробужденія къ жизни. Такое сравненіе нейдетъ къ нашему разговору, да и я не правъ, увлекшись имъ. Вы дитя передо мною и мнѣ стыдно, что я завелъ васъ на безплодную почву пустыни. — Въ это время колокольчикъ зазвонилъ въ спальнѣ княжны; Лина встала; она была рада, что разговоръ ея съ Огинскимъ прерывался этимъ случаемъ; если въ началѣ она и увлеклась имъ, то послѣднія фразы Огинскаго тяготили ее и не нравились ей. Она страдала, слушая его, а его горькая улыбка, и что-то неуловимое въ выраженіи лица и тонѣ голоса непріятно на нее подѣйствовали.

— Попросите сюда сестру, сказалъ ей вслѣдъ Огинскій.

Лина встрѣтилась съ княжной.

— Ну что? спросила она ее тревожно.

— Онъ удивился, и просилъ меня послать къ нему княгиню.

— Нѣтъ! нѣтъ! не надо, я сама скажу ей.

— Онъ дожидается.

— Пусть подождетъ; ну, что онъ сказалъ тебѣ?

— Ничего особеннаго, кромѣ того, что самъ желаетъ говорить съ сестрою.

— Такъ о чемъ же ты такъ долго говорила съ нимъ ?

— Гдѣ же долго ?

— Разскажи все подробнѣе и скорѣе, сказала княжна.

Лина принуждена была разсказать ей слово-въ-слово все, что относилось до дѣлъ княгини; она не скрыла даже мнѣнія Огинскаго о племянникѣ, хотя и не сказала ни слова о томъ, какъ думалъ онъ о самой княжнѣ. Когда Лина кончила свой краткій разсказъ, княжна оставила ее, говоря:

— Я иду къ нему; скажи маменькѣ, чтобы она не входила въ мой кабинетъ, — я хочу быть съ нимъ одна; а ты, Лина, не безпокойся, — теперь ты въ сторонѣ, я сама все улажу.

Огинскій все сидѣлъ на томъ же стулѣ и увидѣлъ княжну тогда только, когда она стояла уже передъ нимъ съ томно-грустною улыбкой на губахъ.

— Что вы такъ задумчивы ? проговорила она простодушно.

— А ! это ты ! здравствуй ! Какъ провела ночь ? что твое здоровье ? спросилъ онъ съ бо́льшимъ участіемъ, чѣмъ прежде.

— Не слишкомъ хорошо, отвѣчала она, усаживаясь подлѣ него. Вы спрашивали маменьку, она еще не одѣта; если вамъ нужно что-нибудь, скажите мнѣ, я буду очень рада, если могу услужить вамъ.

— Едвали, дитя мое, сказалъ онъ; я думаю, что ты умѣешь только огорчаться и вѣроятно ничего не смыслишь въ дѣлахъ.

— Въ дѣлахъ! повторила она съ простодушнымъ удивленіемъ, въ дѣлахъ! въ какихъ дѣлахъ?

— Да хотя бы въ вашихъ.

— Въ нашихъ? воскликнула она, что вы говорите?

— Мнѣ извѣстно, что дѣла твоей матери запутаны и я хотѣлъ поговорить съ нею объ этомъ.

— Но кто же сказалъ вамъ? Зачѣмъ было тревожить васъ? Это непростительно!

— Ты, кажется, думаешь, сказалъ Огинскій съ выраженіемъ доброты, что я совершенный эгоистъ: ты, еще въ первое свиданіе, если память не измѣняетъ мнѣ, сказала мнѣ что-то подобное. Не правда ли?

— Можетъ быть, но теперь конечно не хотѣла сказать и тѣни чего-нибудь подобнаго. Ужели вы думаете, что, видя васъ каждой день, я еще не знаю васъ? Самому невнимательному человѣку ваша постоянная грусть бросилась бы въ глаза,—могла ли она мнѣ не запасть глубоко на сердце? А теперь, кто-то пришелъ смущать васъ еще чужими дѣлами.

— Дѣла сестры мнѣ не чужія, сказалъ онъ просто.

— Конечно, но вы ли должны поправлять наши промахи, проступки, наше неумѣніе управлять имѣніемъ и скажу ли,—это больно, но это правда,—наше безразсудство?!

— Конечно я, я одинъ. Еслибъ я не могъ помогать другимъ, то зачѣмъ бы мнѣ и жить. Но скажи мнѣ, если знаешь, какъ это случилось съ вами?

— Знаю ли я? Мнѣ ли не знать, когда вотъ уже два года, какъ я постоянно больна отъ всего этого. Но мнѣ

тяжело говорить, я должна обвинять людей близкихъ и милыхъ.

— Но я не могу помочь, не зная, въ чемъ зло, сказалъ Огинскій, — незная, за что взяться.

— Какъ вы добры! маменька говорила правду, что вы безпримѣрно добры. Слушайте же, я скажу вамъ все, что знаю, о чемъ такъ давно горюю. Наши дѣла еще при отцѣ шли очень плохо; онъ былъ страстный лошадиный охотникъ, завелъ конскіе заводы, и не занимаясь дѣлами, проводилъ все свое время на скачкахъ и въ клубѣ. Пока тетушка была жива, она занималась хозяйствомъ, послѣ нея, можно сказать, никто не занимался имъ. Маменька добрѣйшее созданіе, но она обожаетъ сына и слова его законъ для нея. Жоржъ добръ, но безразсуденъ, постоянно увлекается, влюбляется, играетъ въ карты, словомъ, онъ весь въ долгу. Между тѣмъ въ домѣ безпорядокъ, въ имѣніяхъ также, управители насъ обкрадываютъ, доходы уменьшаются, а расходы каждой годъ возрастаютъ. Въ послѣднее время, видя неминуемую гибель, я взяла на себя управленіе домомъ, но что могу я сдѣлать одна противъ всѣхъ?

— Ты занимаешься хозяйствомъ? Это какъ-то трудно представить себѣ.

— Почему же? развѣ вы меня считаете пустою женщиною?

— Совсѣмъ нѣтъ; но при своемъ кроткомъ характерѣ, можешь ли ты сладить съ кѣмъ-нибудь и особенно съ братомъ, который избалованъ и опрометчивъ?

— Я умѣю уговорить его, но часто должна уступать. Я плачу не надъ собою, а надъ ними; что съ ними будетъ?

— Полно, не печалься, Анюта, мы все уладимъ. Уговоримъ твою мать и брата быть впередъ осторожнѣе, а теперь я заплачу всѣ долги.

— Еслибъ вы знали, чего мнѣ это стоило!

— Если не зналъ, то ясно вижу теперь: надо вглядѣться въ черты твои, чтобы прочесть въ нихъ усталость и болѣзненную озабоченность.

— Однако вы не видали всего этого прежде; я рада, что научилась скрывать мою печаль; свѣтъ не долженъ знать ничего. Даже вы, братъ моей матери, проживъ съ нами полтора мѣсяца, не могли ничего замѣтить. Я довольна собою.

— Надѣюсь, что твоя жизнь перемѣнится, ты выйдешь замужъ.

— Никогда.

— Отъ чего же? Жизнь совершеннолѣтней дѣвушки не слишкомъ привлекательна и становится невыносимою, когда приходятъ зрѣлыя лѣта. Другія привязанности необходимы для дѣвушки.

— Можетъ быть, но дѣло въ томъ, что я необходима моему семейству, особенно меньшому брату; мое прямое назначеніе мнѣ уже указано, и я ни за что не откажусь отъ него. Иногда, мнѣ тяжело и грустно, но мысль, что безъ меня Сережу не воспитаютъ какъ должно, поддерживаетъ меня. Къ тому же въ лицѣ его, я увѣрена, я найду подпору для моей старости, а въ немъ цѣль моей жизни. Нѣтъ, я довольна судьбою.

— Ты отличная женщина, Анюта, сказалъ Огинскій, теперь я узналъ тебя вполнѣ.

Княжна обняла его съ чувствомъ.

Разговоръ этотъ, какъ и должно было ожидать, сблизилъ еще болѣе дядю и племянницу. Первые дни послѣ этого сближенія были употреблены на разсмотрѣніе долговъ княгини. Странно казалось Огинскому, что каждый день открывали какой-нибудь новый счетъ, новый долгъ, по которому слѣдовало уплатить деньги. Кромѣ большихъ суммъ, оказывались и такія, которыя были смѣшны по своей незначительности. Такіе долги были записаны на клочкахъ бумаги, иногда просто со словъ княгини или Жоржа. Огинскій не говорилъ ни слова, будто не замѣчалъ такого безпорядка, но за то неумолимая княжна не щадила никого. Она молча собирала свѣдѣнія, записки, счеты, вписывала ихъ въ книгу и подводила итоги, которые оказались значительнѣе, чѣмъ она воображала. Огинскій молчалъ и только просилъ ее не тревожиться, говоря, что долги сестры не могутъ разстроить его огромнаго состоянія, что живя одинъ, и притомъ очень скромно, онъ имѣетъ большую сумму денегъ въ своемъ распоряженіи. Не смотря на такое утѣшительное увѣреніе, княжна не переставала тревожиться, и здоровье ея не мало потерпѣло отъ всѣхъ этихъ волненій; по-крайней-мѣрѣ, она часто говорила, что нервы ея разстроены. По мѣрѣ того, какъ расло участіе Огинскаго къ княжнѣ, положеніе ея въ домѣ сдѣлалось еще значительнѣе. Уваженіе всего дома, раболѣпная любовь матери, разсчитанное почтеніе и ласки брата, нисколько не удивили ея. Она уже не боролась съ братомъ и не просила его; она повелѣвала и оказывала ему покровительство съ сознаніемъ собственнаго достоинства и превосходства.

Однажды вечеромъ Огинскій сидѣлъ возлѣ княжны, когда Лина вошла въ комнату и стала дѣлать чай. Онъ придвинулся къ ней и сказалъ:

— Какія у васъ хорошенькія ручки!

Этотъ комплиментъ, сказанный такъ добродушно и просто, былъ похожъ на ласку; Лина удивилась, покраснѣла немного и сказала съ застѣнчивостью:

— Вы, кажется, хотите посмѣяться надо мною.

— Нисколько, отвѣчалъ онъ; я давно замѣтилъ, что у васъ маленькія и прекрасныя ручки. Развѣ вы думаете, что я слѣпъ и глухъ? Я многое замѣчаю.

— Что же еще, дядюшка? спросила княжна.

— Какая любопытная! отвѣчалъ онъ, улыбаясь. Кажется, не тебѣ, а Александрѣ Петровнѣ слѣдовало бы сдѣлать этотъ вопросъ; но она, или слишкомъ сосредоточена въ себѣ, или слишкомъ горда, чтобы интересоваться мнѣніемъ другихъ о себѣ. Вы, вѣроятно, не заботитесь ни о чьемъ мнѣніи? продолжалъ онъ, обратившись къ Линѣ.

— Не слишкомъ, отвѣчала Лина мягко и шутливо. Впрочемъ, мнѣ кажется, я держу себя такъ далеко отъ всѣхъ, что дѣлаюсь вовсе незамѣтною.

— Смиреніе паче гордости! сказала княжна.

— О нѣтъ, совсѣмъ не то! воскликнула Лина.

— Такъ объяснитесь, удостойте насъ своей откровенности, хоть разъ въ жизни, сказалъ Огинскій.

— Надо внушать участіе, чтобы имѣть право на вниманіе, отвѣчала Лина серьознѣе; судьба такъ поставила

меня съ младенчества, что я живу вездѣ одна и не могу внушить его никому. У меня нѣтъ ни семьи, ни друзей. ..

— А мы ? спросила княжна съ укоризной.

— Ты не поняла меня; говоря о семьѣ и друзьяхъ, я не хотѣла сказать, что я совершенно лишена привязанностей и покровительства. Я никогда не забуду, чѣмъ обязана твоей матери. Валентинъ Михайловичъ знаетъ, что въ томъ модномъ пансіонѣ, въ который отдала меня Елена Филипповна, насъ учили всему понемногу. Княгиня позволила мнѣ окончить мое воспитаніе съ тобою и тѣмъ обезпечила мою будущность. Я не изъ тѣхъ людей, которые , пользуясь благодѣяніемъ , стыдятся признаться въ немъ. Напротивъ, я всѣмъ и каждому говорю съ удовольствіемъ , сколько я обязана твоей матери.

— Какая ты странная, Лина ! сказала княжна. — Какъ будто я упрекнула тебя въ чемъ-нибудь, между тѣмъ, какъ я только замѣтила, что у тебя есть друзья и семья.

Лина покраснѣла, помолчала , потомъ сказала грустно:

— Никто не въ состояніи замѣнить намъ матери и сестеръ....

— Правда, сказалъ Огинскій, и задумался. — Вы помните свою мать и сестру? спросилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Нѣтъ. Мнѣ было два года, когда отецъ и мать мои оба умерли въ одинъ день отъ холеры; меня взяла

моя тетка, очень бѣдная и обремененная семействомъ. Потомъ Елена Филипповна помѣстила меня въ пансіонъ.

— А потомъ ? спросилъ Огинскій.

Лина смѣшалась, но скоро оправилась и сказала не совсѣмъ твердо:

— Зенеида Львовна, вышедъ замужъ вторично, взяла меня изъ пансіона и увезла съ собою въ Петербургъ; княгиня часто видала меня въ ихъ домѣ, и когда мое положеніе сдѣлалось невыносимымъ, она предложила мнѣ переѣхать къ ней. Армалевы согласились, и съ тѣхъ поръ, я не оставляла дома княгини. — Въ эту минуту кто-то позвалъ княжну, и она вышла. Огинскій, оставшись наединѣ съ Линой, прошелся по комнатѣ, куря потухшую папироску, притворилъ дверь и, подойдя къ Линѣ, рѣшился спросить у нея не безъ внутренняго волненія:

— Отъ чего вамъ было не хорошо у Армалевыхъ ? Она такая добрая, по-крайней-мѣрѣ, я зналъ ее такою.

— Какъ я рада, воскликнула Лина, что вы такъ говорите о ней ! Я боялась, что и отъ васъ услышу недоброе слово о ней. Она добра, какъ немногія, и при этомъ несчастлива, очень несчастлива ! Еслибъ вы были, какъ я, свидѣтелемъ ея нравственнаго паденія, вы пожалѣли бы ее. Ея воля, ея правила, ея мнѣнія, все умерло. Осталась машина, осталось задавленное, запуганное дитя.

Слушая Лину, Огинскій не скрывалъ своего волненія и, предавшись любопытству и мучительному воспоминанію, спросилъ горячо:

— Отъ чего же ?

— Неужели вы не знаете Армалева? Правда, вы были молоды, и онъ также, но онъ и тогда былъ человѣкомъ практическимъ, жесткимъ и себялюбивымъ. Жизнь вполнѣ развила въ немъ всѣ его природныя наклонности. Онъ честолюбивъ по натурѣ и сдѣлался неумолимъ для достиженія цѣли; онъ былъ бѣденъ и вынесъ не мало униженій отъ недостатка средствъ; теперь онъ богатъ и сдѣлался алченъ и ненасытенъ, хотя и живетъ роскошно изъ тщеславія. Онъ былъ жестокъ, а теперь сталъ жестокъ и безчувственъ ко всему, что не относится къ его личнымъ выгодамъ. Жена вполнѣ покорилась ему, все отдала ему, и хоть одѣвается въ кружева и бархатъ, но не имѣетъ ни гроша въ своемъ распоряженіи. Мало того, прибавила Лина: надобно видѣть, что онъ сдѣлалъ изъ нея нравственно!

— Говорите, это меня очень трогаетъ, сказалъ Огинскій.

— Трудно разсказать это, но довольно взглянуть на нее, чтобы понять, что значитъ не имѣть характера. Все сглаживается подъ чужимъ вліяніемъ, и если останется что-нибудь, то развѣ мучительное чувство, не дающее ни минуты покоя, безпрестанно возмущающееся противъ поступковъ, сдѣланныхъ по приказанію. Повѣрите ли, что добрая, нѣжная Зенеида Львовна бывала жестокою съ слезами на глазахъ. Она жалка, говорю я вамъ. Я не могу вспомнить о ней безъ внутренняго содроганія. Какая жизнь! какая жизнь! Однажды она, на колѣнахъ, со слезами просила его оставить съ нею ея единственнаго ребенка.

— И что же?

— Онъ отдалъ въ пансіонъ единственную дочь, говоря, что дома такое воспитаніе обходится дорого.— Лина улыбнулась, но щеки ея пылали и руки дрожали; она хотѣла налить чай и пролила его на скатерть.

— Вы обожглись? сказалъ Огинскій.

— Ничего, ничего. Я рада, что мнѣ довелось гововорить съ вами; я любила, я должна была любить эту женщину: до замужества она была очень добра ко мнѣ и къ Танѣ. Вотъ уже пять лѣтъ, какъ я почти не вижу ея и никогда не говорю о ней.

— Отъ чего же?

— Ее слишкомъ осуждаютъ, всѣ говорятъ: сама виновата! Но никто не подумаетъ, что она едвали могла дѣйствовать иначе. Мнѣ тяжко говорить съ людьми, осуждающими тѣхъ, кого я любила.

— Правда, сказалъ Огинскій, и помолчавъ, спросилъ: вы, однако, бываете у ней?

— Никогда. Ея мужъ ненавидитъ меня, какъ я ненавижу его. Нашъ разрывъ произошелъ частію за Елену Филипповну; бѣдная старуха жестоко поплатилась за свое вмѣшательство въ судьбу племянницы. Армалевъ былъ такъ крутъ съ нею, что она принуждена была оставить домъ его, чему онъ былъ очень радъ. Старуха мѣшала ему; къ тому же, онъ говорилъ, что она не довольно comme il faut для его знатнаго круга.

— Въ Москвѣ она жила въ большомъ кругу, и хотя была нѣсколько смѣшна, но все же хорошо воспитана.

— Здѣсь не то, что въ Москвѣ. Это разница.

Оба они замолчали.

— Армалевы часто бываютъ у сестры?

— Очень рѣдко, сказала Лина. Армалевы въ большомъ кругу, а княгиня.... княгиня принимаетъ рѣдко.

— И ѣздитъ еще рѣже, сказалъ Огинскій.

— Да, она перестала ѣздить въ свѣтъ, особенно со времени вашего пріѣзда.

— Да что ей дѣлать тамъ? у Анюты есть семейство; свѣтскій блескъ не можетъ ей нравиться, а свѣтская пустота должна возбуждать въ ней отвращеніе.

Лина молчала. Она не могла согласиться съ этимъ мнѣніемъ и внутренно дивилась, что Огинскій, испытавшій такъ много, могъ остаться такимъ недальновиднымъ и неопытнымъ.

— Вы дружны съ Анютой? спросилъ онъ.

— Нѣтъ, сказала Лина. Я не дружусь ни съ кѣмъ; я любила Таню, любила горячо, страстно, но она не позволила мнѣ жить съ собою. Это очень оскорбило и огорчило меня; я привязалась къ Зенеидѣ Львовнѣ и тогда-то мнѣ пришлось вынести многое. Лучше знать, что тѣ, кого мы любимъ, дѣйствительно умерли, чѣмъ видѣть ихъ умершими за-живо.

— И то и другое ужасно, сказалъ Огинскій; передъ вами счастливый смертный, испытавшій и то, и другое.

Она взглянула на него и, видя, что лице его измѣнилось, протянула ему руку.

— Виновата, сказала Лина съ чувствомъ, я тронула старую, но еще живую рану.

— Нѣтъ, сказалъ онъ грустно; что прошло, того не воротишь, а будущаго нѣтъ для меня.

— Не говорите такъ, возразила Лина съ жаромъ; вамъ тридцать семь лѣтъ, кажется?

— Измѣряйте жизнь жизнью, а не годами. Будущаго нѣтъ, потому что я самъ живое прошедшее; я живу имъ однимъ и въ немъ одномъ.

— Опять, сказала Лина горячо, опять! Это болѣзнь вашей души, это болѣзнь ума. Живые не могутъ довольствоваться призраками, имъ нужна дѣйствительность, имъ надо оторваться отъ видѣній прошлаго. Поменьше чувствительности, побольше энергіи, Огинскій! внесите интересъ и цѣль въ жизнь свою.

— Вы правы, но возможно-ли это? Я иногда пытался составить въ умѣ планъ своей будущей жизни, а это уже прогрессъ, и не умѣлъ ни на чемъ остановиться. Радъ бы опять привязаться къ жизни въ лицѣ какой-нибудь женщины, но какой? Мнѣ часто приходитъ на умъ, что было бы хорошо увезти Анюту въ деревню и поселиться въ семейномъ кругу, въ томъ самомъ домѣ, гдѣ я провелъ лучшіе годы моей жизни, мое дѣтство. Но Анюта молода, неужели для себя я долженъ сгубить ея молодость въ глуши? Чтобы сдѣлать это, надобно быть совершеннымъ эгоистомъ.

— Что такое? спросила княжна, входя въ комнату. О чемъ говорите вы съ такимъ одушевленіемъ?

— Мы говоримъ о томъ, чтобы увезти тебя въ деревню, сказалъ Огинскій, смотря ей прямо въ глаза.

— Съ вами я поѣду всюду, отвѣчала она весело;

только мнѣ хотѣлось бы пріѣзжать сюда для этого шалуна, прибавила она, показывая на Сережу, котораго держала за руку.

— Ты говоришь серьозно? спросилъ Огинскій; ты не пожалѣла бы о городѣ, о знакомыхъ?

— О чемъ жалѣть мнѣ? Я не люблю всего этого. Я никуда не ѣзжу, никого не принимаю. Деревня, семья—это моя сфера.

— Такъ поѣдемъ со мною.

— Поѣдемъ весною.

— Мнѣ хотѣлось бы ѣхать раньше.

— Пожалуй. Докторъ мой не позволяетъ мнѣ выѣзжать по морозамъ, но можно будетъ выбрать дни потеплѣе.

— Это невозможно. И какъ я глупъ, что предлагаю тебѣ, больной и хилой, такое путешествіе! Вѣдь Михайловское ровно за тысячу четыреста верстъ отсюда. Но я такъ обрадовался твоему согласію, что забылъ все это.

— Мы поговоримъ объ этомъ послѣ, сказала княжна. А теперь прощайте!

— Куда вы?

— У меня разболѣлась голова; я пойду гулять.

Когда Огинскій возвратился съ прогулки, онъ нашелъ Лину за работой, и садясь подлѣ нея, спросилъ ее:

— А вы поѣхали бы весной съ нами?

— Конечно, отвѣчала Лина, я люблю деревню лѣтомъ, хотя, признаюсь, снѣга не пугали бы меня зимою. Впрочемъ, я завишу отъ другихъ.

— Не говорите этого, возразилъ Огинскій горячо; мнѣ какъ-то больно слышать это. Молодость и воля въ моихъ глазахъ одно и тоже.

— Я не привыкла къ этому.

— Такъ привыкнете. Хотите, мы заключимъ договоръ. Я буду пріучать васъ больше пользоваться жизнію, а вы отучите меня отъ мысли о прошедшемъ.

— Отъ всей души была бы рада отучать васъ отъ грусти, сказала Лина съ одушевленіемъ.

— Грусть моя дорога мнѣ; отучите меня только отъ томящихъ сомнѣній недовѣрчивости и раздражительности, и я буду обязанъ вамъ, а вы....

— Нѣтъ, сказала Лина, я сдѣлаю для васъ, что могу; но сама я не имѣю права на ваше участіе: вы еще не знаете меня, чѣмъ же я могла заслужить его ?

— Я долго думалъ о васъ теперь: вы отличная женщина, вы оправдали всѣ надежды, которыя подавали въ дѣтствѣ. Но скажите, куда дѣвалась ваша рѣзвость, ваша живость?

— Угасла въ несчастіи многихъ мнѣ близкихъ, угасла въ собственномъ моемъ одиночествѣ и заботахъ. Скажу просто: жизнь съѣла мою рѣзвость и безпечную веселость.

— Не возвратится ли она опять ? Въ Михайловскомъ, на югѣ, небо не такъ сѣро, воздухъ не такъ тяжелъ. Тамъ, посреди лѣсовъ и полей, быть можетъ, вы разцвѣтете снова ?

— Быть можетъ, повторила она, задумчиво перебирая пряди шерстей. Онъ глядѣлъ на нее пристально; ея

блѣдное лице, задумчивое, важное, ея длинные глянцовитые волосы, рѣзко отдѣлявшіеся отъ бѣлаго высокаго лба, опущенныя рѣсницы, бѣлыя, маленькія ручки, сложенныя на черномъ платьѣ, все въ ней казалось ему привлекательнымъ. Въ первый разъ онъ замѣтилъ, что въ Линѣ есть и грація, и своего рода красота, красота выраженія, красота души и ума, что если черты ея и не безукоризненно правильны, то на нихъ лежитъ печать какой-то неумолимой, чарующей прелести. Они молчали. Взоръ Огинскаго былъ прикованъ къ ней.

Лина смутилась, а онъ задумался.

ГЛАВА III.

Съ этого дня Огинскій чаще садился возлѣ Лины, больше говорилъ съ нею, и хотя они не всегда были однихъ мнѣній и много спорили, но и самые споры ихъ, казалось, были ему пріятны. Съ возрастающимъ вниманіемъ онъ вглядывался въ эту дѣвушку. Ему нравилась гордость, свѣтившаяся въ глазахъ ея, даже рѣзкость ея мнѣній, порою приговоръ, которымъ она, не задумавшись, казнила его вѣчную лѣнь и праздность. Мало-по-малу, самъ того не замѣчая, Огинскій отдавался настоящему и новый интересъ овладѣвалъ его душой. Это не могло укрыться отъ княжны; ея зоркіе глаза вдругъ пронзительно охватывали ихъ обоихъ, но не смущали Лины. Ея строгая честность не боялась отношеній съ Огинскимъ, которыя были только коротки и дружественны. Иногда княжна садилась подлѣ нихъ и принимала участіе въ ихъ разговорѣ. Огинскій многаго не говорилъ при ней, быть можетъ, потому, что сим-

патія, которую онъ чувствовалъ къ Линѣ, по-мимо его воли и сознанія, увлекала его, когда онъ былъ съ нею наединѣ.

Прошло два мѣсяца. Княжна оставалась съ Огинскимъ въ тѣхъ же дружескихъ отношеніяхъ, но дальше не могла идти, за неимѣніемъ внутренняго міра. Сердце Огинскаго требовало болѣе того, что она могла дать ему, и потому, оставаясь ея нѣжнымъ родственникомъ, онъ никогда не говорилъ съ ней о себѣ, не повѣрялъ ей ни своихъ мыслей, ни чувствъ. Чрезвычайно умная во всемъ, что касается до дѣйствительной, практической жизни, княжна была не въ состояніи вполнѣ понять Огинскаго, и вести съ нимъ серьозный разговоръ по-мимо житейскихъ интересовъ.

Княжна читала очень мало, и потому не могла принимать участіе въ разговорахъ Лины съ Огинскимъ, когда дѣло шло о вновь-вышедшей книгѣ, или о геніальныхъ творцахъ великихъ произведеній. Едва ли знала она по наслышкѣ о Шекспирѣ и Гёте; она ограничивалась чтеніемъ французскихъ бельлетристовъ. Умъ, образованіе, сердце Огинскаго не могли найти пищи въ ея обществѣ, и Лина была именно одною изъ тѣхъ женщинъ, которыя должны были ему нравиться. Съ нѣкоторыхъ поръ Лина была менѣе горда и менѣе недоступна; замѣтно было, что въ глубинѣ души ея происходитъ нѣчто, измѣняющее характеръ ея. Она рѣже оставалась одна, и не уходила въ свою комнату послѣ вечерняго чаю.

Однажды, когда вся семья сидѣла за круглымъ сто-

ломъ въ гостиной, слуга вошелъ въ комнату и сказалъ, обращаясь къ Линѣ:

— Юрій Ѳедоровичъ Ливадинъ пришелъ, — прикажете просить?

Лина вскочила и съ словомъ: пріѣхалъ, поспѣшно вышла въ залу.

— Кто это? спросилъ Огинскій у сестры.

— Это ея старый знакомый; онъ былъ посланъ съ порученіемъ въ М* губернію. Онъ бываетъ каждый день у Лины и очень привязанъ къ ней.

— Вы хотите сказать — влюбленъ, маменька? проговорила княжна также тихо, какъ всегда.

— Этого я не знаю, душа моя.

— А я знаю навѣрное, — и повѣрьте, что Лина была бы давно за нимъ замужемъ, еслибъ не его совершенная бѣдность. Признаюсь, на ея мѣстѣ, я не могла бы устоять при видѣ такой искренней страсти.

Княжна украдкой взглянула на Огинскаго, онъ сидѣлъ неподвижно и задумчиво, и въ его глазахъ нельзя было прочесть его чувствованій. Княжна продолжала:

— Я очень люблю Лину, хотя она съ своей стороны, быть можетъ, не столько любитъ меня; и должно признаться, что рѣдко можно найдти женщину умнѣе и образованнѣе ея; объ ней можно сказать по справедливости, что она выше толпы, но гордость и самолюбіе губятъ ее.

— Я не замѣтилъ въ ней этого, сказалъ Огинскій спокойно.

— Еще рано, вы мало ее знаете. Но вглядитесь въ нее, я могу при васъ говорить откровенно, я вижу, что

вы начинаете любить ее, какъ мы всѣ здѣсь любимъ ее; самолюбіе и гордость, быть можетъ, ея единственные недостатки. Нельзя не пожалѣть Ливадина, потому что онъ преданъ ей всей душою, а она, принимая эту преданность, платитъ ему за нее совершеннымъ равнодушіемъ.

— Что же ей дѣлать, если она не любитъ его, т. е. не влюблена въ него? сказала княгиня; нельзя же ей заставить себя влюбиться въ него. Но она благодарна ему и дружна съ нимъ.

— Кто дастъ, маменька, дружбу въ-замѣнъ любви? Если женщина видитъ, что мущина влюбленъ въ нее, скажите, хорошо ли она дѣлаетъ, держа его около себя, какъ на привязи? Не значитъ ли это — позволить его страсти развиваться? И для чего? чтобы тѣшить собственное самолюбіе! Это возмутительно.

— Отъ чего же ты не сказала ей этого? спросилъ Огинскій.

— Сказать? Да развѣ она умѣетъ слушать правду? Она умѣетъ говорить ее другимъ, но конечно никогда не проститъ тому, кто вздумалъ бы говорить правду ей.

Въ это время Лина вошла въ комнату; за ней шелъ высокой, худощавый мущина; бѣлокурые волосы его были гладко причесаны. Его видъ, вся его особа носила на себѣ печать такой нищеты, что казалось, будто онъ и бѣдно обутъ, и бѣдно одѣтъ, и даже бѣдно сложенъ. Маленькіе глаза его блестѣли и бѣгали, а носъ длинный какъ у бекаса, слишкомъ выдавался впередъ.

— Здравствуйте, Юрій, Ѳедоровичъ! давно ли воротились? спросила княгиня.

— Только вчера, а сегодня тотчасъ поспѣшилъ къ вамъ, отвѣчалъ онъ застѣнчиво.

— Познакомьтесь — братъ мой Огинскій!

Юрій Ѳедоровичъ пробормоталъ что-то и неловко поклонился Огинскому. Лина казалась довольною и была веселѣе обыкновеннаго; Огинскій замѣчалъ за нею, и слѣдилъ за ея движеніями и словами. Ливадинъ говорилъ мало и отвѣчалъ почти только односложными словами на вопросы княгини, княжны и Лины. Иногда наступало продолжительное молчаніе. Лина не могла долго выдержать такого принужденнаго состоянія и сѣла за пяльцы, стоявшіе въ углу комнаты; Юрій Ѳедоровичъ тотчасъ сѣлъ возлѣ нея, и длинный разговоръ въ полголоса завязался между ними. Огинскій ушелъ къ себѣ, княжна и мать отправились за нимъ; Лина и Ливадинъ остались одни.

— Ахъ, Александра Петровна, сказалъ онъ, еслибы вы знали, какъ я счастливъ, что вижу васъ!

— Я сама рада, милый Ливадинъ, сказала она; и я сначала скучала безъ васъ; безъ васъ я оставалась совершенно одинокою, не съ кѣмъ было слова сказать по-душѣ.

— А потомъ привыкли?

— О нѣтъ, потомъ пріѣхалъ Огинскій. Еслибъ вы знали, какъ онъ добръ и образованъ и сколько книгъ у него! Жаль только, что мнѣ некогда теперь читать.

— Неужели вы все время проводите за работой? Я надѣюсь скоро получить награжденіе, и тогда....

— Ну, хорошо, хорошо, сказала Лина, мы увидимъ. Я

говорила вамъ объ Огинскомъ, — я съ нимъ сблизилась и очень дорожу его дружбой.

— У него и лице хорошо, сказалъ Ливадинъ.

— Да. Я увѣрена, что вы сойдетесь съ нимъ.

— Со всѣми, Александра Петровна, со всѣми, кого вы любите и кто вамъ нравится.

— Я это знала, дайте вашу руку.

Ливадинъ подалъ ей руку, она пожала ее, а онъ ея руку поцѣловалъ. Въ это время Огинскій вошелъ за забытою газетой, и взявъ ее, вышелъ опять.

Когда поздно вечеромъ Ливадинъ ушелъ отъ Лины, она поспѣшила уйдти къ себѣ и никого не видала. На другой день, когда она шила въ пяльцахъ, Огинскій сѣлъ подлѣ нея и молчалъ. Она взглянула на него разъ, другой, и третій — и наконецъ засмѣялась.

— Что за лице у васъ ! сказала она.

Это замѣчаніе было непріятно Огинскому. — Не знаю, сказалъ онъ холодно, что возбуждаетъ въ васъ веселость въ эту минуту, но желалъ бы узнать.

Она посмотрѣла на него, удивилась, задумалась и потомъ покачала головой.

— Что значитъ это значительное движеніе ? спросилъ онъ ее.

— Привычка жить вѣчно одному и не терпѣть шутки, а здѣсь вы пожалуй возьмете не менѣе пріятную привычку.

— Какую это ?

— Жить безъ противорѣчій, даже безъ возраженій.

— Съ своей больной головы, да на здоровую! замѣтилъ Огинскій.

— Какъ такъ? спросила Лина.

— Да такъ; вы обвиняете меня въ излишнемъ самолюбіи, тогда какъ я могу обвинить васъ въ томъ-же.

— Обвиняйте, я слушаю.

— Хорошо. Зачѣмъ вы никогда не говорили со мною о Ливадинѣ?

— Это статья самолюбія, сказала Лина, смѣясь.

— Нѣтъ, лучше скажите скрытности, а не самолюбія.

— А что стала бы я говорить о немъ? Что можно сказать объ немъ любопытнаго? Онъ дуренъ собою, не забавенъ въ обществѣ, не ловокъ, словомъ — онъ не можетъ быть ни для кого интереснымъ. Для меня — это другое дѣло; я знаю многія его качества, доброту души, преданность, достойное всякаго уваженія трудолюбіе; онъ привязанъ ко мнѣ и ...

— То есть влюбленъ? сказалъ Огинскій.

— Это его дѣло, его тайна, сказала Лина сурово, и ни вы, ни я не имѣемъ права говорить о тѣхъ чувствахъ, которыхъ онъ не высказывалъ.

— Да, но вы ихъ знаете и держите его на привязи около себя, будто на-показъ, будто говоря: смотрите, какъ меня любятъ! Это ли не гигантское, хуже, безжалостное самолюбіе!

Лина взглянула на него съ удивленіемъ и грустію.

— Неужели это ваша мысль? спросила она горячо. Стыдно въ ваши лѣта до такой степени позволять другимъ имѣть на себя вліяніе.

— За кого-же вы меня принимаете? спросилъ Огинскій съ сердцемъ.

— Я? За человѣка милаго и добраго, но безхарактернаго и педальновиднаго.

— Благодарю васъ за мнѣніе; но за чѣмъ золотить пилюлю, къ чему эти комплименты въ началѣ вашей фразы?

— Вы сносите же ихъ отъ другихъ, сказала Лина: почему же не снести вамъ ихъ отъ меня?

— Говорите прямо, сказалъ Огинскій, я не мастеръ отгадывать загадокъ.

— Я всегда говорю прямо и не задумаюсь сказать правду. Вашъ племянникъ, напримѣръ, никогда не противорѣчитъ вамъ и не мало хвалитъ васъ въ глаза.

— Онъ любятъ меня, а онъ очень добрый малый и многимъ обязанъ мнѣ.

— Это не обязываетъ его льстить вамъ съ утра до вечера.

— Любовь и лесть одно и то-же по вашему? Поздравляю васъ! у васъ нѣтъ сердца.

Лина взглянула на него и молчала; сердце ея сильно билось, кровь приливала къ головѣ.

— Дай Богъ, сказала она наконецъ, послѣ минутной борьбы съ собою, чтобы всѣ имѣли такое же сердце, какъ я. Но пора кончить; все это ни къ чему не послужитъ; да и въ самомъ дѣлѣ, какое право имѣемъ мы высказывать другъ другу горькія истины?

— Ты думаете, что мы слишкомъ равнодушны другъ

къ другу, чтобы отказаться отъ этого? Быть можетъ, вы, но я.... я.... привыкъ еще дѣвочку любить васъ, а теперь начиналъ уважать васъ.

— Что же могло уничтожить эти два чувства? спросила Лина съ замирающимъ сердцемъ.

— Поколебать, а не уничтожить. Ваша скрытность очень непріятно поразила меня, ваше самолюбіе, непозволяющее мнѣ ни тѣни замѣчанія, оскорбляетъ меня.

— Чтожъ дѣлать? Я не считаю нужнымъ разувѣрять васъ. Поймите, что Ливадинъ такое лице, о которомъ говорить нечего,—надо знать, какъ я его знаю, чтобы оцѣнить его. Привязавшись однажды, этотъ человѣкъ никогда не перемѣнится.

— Какъ я? спросилъ ее Огинскій неожиданно и необдуманно.

Но Лина совершенно просто приняла этотъ вопросъ и сказала спокойно:

— Можетъ быть.

Послѣ этого она шила упорно и не прибавила ни слова.

Огинскій всталъ, прошелся по комнатѣ, потомъ опять сѣлъ подлѣ нея и протянулъ ей руку.

— Вы сердитесь; если я оскорбилъ васъ, простите меня, сказалъ онъ.

Выраженіе лица Лины было такъ грустно, когда она подняла голову съ работы, что Огинскій поцѣловалъ руку ея съ чувствомъ.

— Я не самолюбива, какъ вы утверждаете, сказала она ему печально, и вы убѣдитесь въ этомъ позднѣе;

не это печалитъ меня, а то, что вы легко можете перемѣнять свое мнѣніе о людяхъ,—вотъ что грустно.

— О нѣтъ! нѣтъ! сказалъ Огинскій, но я раздражителенъ, вы должны простить мнѣ это, я много вынесъ и отъ того сталъ такимъ.

— Знаю, понимаю, сказала Лина горячо: раздражительность есть необходимое слѣдствіе продолжительныхъ страданій души, и я желала бы....

— Чего? скажите, я все готовъ сдѣлать для васъ.

— О нѣтъ! мнѣ ничего не нужно. Я, какъ бы сказать.... я.... Но я боюсь опять оскорбить васъ.

— Говорите, минута желчи прошла; я слушаю.

— Я боюсь, сказала Лина серьёзно, что вы не выдержите здѣсь своего положенія и незамѣтно сдѣлаетесь деспотомъ.

Огинскій захохоталъ совершенно искренно.

— Вы шутите, возразилъ онъ, я отъ роду не имѣлъ наклонности къ такой роли.

— Знаю, но видъ поклоненія губилъ и не такихъ людей какъ вы,

— Что хотите вы сказать?

— Такихъ, которые сильнѣе васъ.

— О, мой милый ментеръ, какъ вы заблуждаетесь! сказалъ Огинскій, продолжая смѣяться; но все равно, я лучше хочу слушать ваши наставленія, чѣмъ видѣть холодно-гордое лице ваше. Говорите мнѣ всегда то, что считаете правдой, и позвольте мнѣ дѣлать то-же самое.

Она улыбнулась очень ласково и пожала его руку. Когда семейство Границкихъ вошло въ комнату, княжна не безъ удивленія посмотрѣла на веселое лице Лины и довольное лице Огинскаго.

— Маменька, говорила она матери въ тотъ же самый день, такъ жить нельзя. Вашъ братъ скучаетъ, и отъ скуки все сидитъ съ Линой. Кто знаетъ, что можетъ случиться. Ему надо бы разсѣянія и для этого мнѣ хотѣлось бы пригласить къ намъ кого-нибудь,—но кого?

Продолжительное прѣніе произошло по этому поводу; ни одно изъ лицъ, которыя называла княгиня, не нравилось дочери; наконецъ она рѣшила выборъ и на другой день объявила Огинскому, что у нихъ будутъ вечеромъ два семейства, съ которыми они всѣ давно дружны.

— Это люди почтенные, люди семейные, говорила княжна, и давно желали познакомиться съ вами. Я долго отговаривалась болѣзнію, но теперь принуждена уступить ихъ просьбамъ. — Неохотно согласился Огинскій на новое знакомство. Жоржъ, вопреки своему обыкновенію гранить мостовую съ утра до вечера, какъ выражался, говоря объ немъ, старый дворецкій, былъ также дома. Два ожидаемыя семейства прибыли. Это были Липинскіе, отецъ и дочь, и Свистунова, старая дѣвица, съ молодой сестрой и братомъ, сослуживцемъ Жоржа. Липинскій былъ человѣкъ около пятидесяти лѣтъ, весьма худощавый, живой, съ тонкимъ носомъ и плутовской верхней губой, выдавшейся впередъ насмѣшливо и нагло. Дочь его была хорошенькая брюнетка, съ живыми и бойкими глазками и свѣжимъ цвѣтомъ лица. Старшая

Свиступова была уже не молода, но не носила чепца; ея большая коса и широкая плешь вмѣсто пробора составляли всю ея особенность. Меньшая сестра ея, дѣвушка лѣтъ двадцати-шести, слыла все еще за ребенка и сохранила всѣ пріемы пятнадцати-лѣтней пансіонерки. Братъ служилъ въ какомъ-то департаментѣ. Эти новые знакомые показались Огинскому людьми весьма добродушными и вовсе безъ претензій. Черезъ часъ времени, проведшій въ бесѣдѣ, Липинскій говорилъ съ Огинскимъ такъ развязно, какъ будто-бы зналъ его съ дѣтства.

— Да, я говорю и утверждаю, разсуждалъ онъ, что жить въ деревнѣ есть долгъ всякаго порядочнаго человѣка, и потому не могу не похвалить Валентина Михайловича, который принялъ такое намѣреніе. Пора было вамъ воротиться, извините мою откровенность и прямоту: не за границей мѣсто такого значительнаго владѣльца, какъ вы.

— Это правда, сказалъ Огинскій.

— Однако нельзя-же всѣмъ жить въ деревнѣ, возразила старшая Свиступова; вотъ и я хотѣла бы ѣхать, но возможно ли это? Братецъ служитъ, а Любинька въ такихъ лѣтахъ, что ей пора повеселиться. Не правда ли, Любинька?

— Какъ вамъ угодно, сестрица, мнѣ вездѣ хорошо съ вами, сказала Любинька.

— Глупенькая! сказала Свиступова съ самымъ сладкимъ выраженіемъ въ голосѣ; потомъ она обратилась къ княгинѣ и разсказала ей подробно, какъ Любинька къ ней привязана и какъ безпрекословно ей повинуется.

— Но я понимаю свою обязанность въ отношеніи къ ней

прибавила она, я ей вмѣсто матери, и никакъ не запру ея въ деревнѣ: это было-бы преступленіе.

— Напрасно, сказалъ Липинскій. Я свою Варю такъ воспиталъ, что она всегда готова жить въ деревнѣ. Сколько благодѣяній можно разсыпать тамъ вокругъ себя, сколько пользы сдѣлать добрымъ крестьянамъ! Позвольте мнѣ сказать, что я уважаю васъ, прибавилъ онъ, обращаясь къ княжнѣ, уважаю ваши мысли объ этомъ предметѣ, давно мнѣ извѣстныя. Не правда ли, княжна ѣдетъ съ вами и поможетъ вамъ въ вашихъ заботахъ по управленію?

Эти послѣднія слова относились къ Огинскому, который отвѣчалъ утвердительно. Княжна не сказала ни слова на лестное объ ней мнѣніе Липинскаго и только улыбнулась.

Между тѣмъ Жоржъ сидѣлъ развалившись на козеткѣ, и положивъ ногу на ногу, качалъ ногою и говорилъ небрежно и бойко съ двумя дѣвушками:

— Такъ вотъ какъ, Варвара Сергѣевна, увѣряю васъ, меня ничто не заставитъ оставить Петербургъ. Помилуйте, что стану я дѣлать въ деревнѣ? Съ моимъ состояніемъ, положеніемъ въ свѣтѣ, это была бы непростительная глупость. Служить, сдѣлать карьеру—дѣло другое: всякій обязанъ служить.

— Конечно, отвѣчала Любинька Свистунова, карьера для молодаго человѣка вещь важная. Вотъ и братецъ говоритъ то-же, онъ хочетъ быть непремѣнно генераломъ, и сестрица говоритъ, что будетъ, непремѣнно будетъ.

— Вы, кажется, сбирались на Кавказъ? сказала Ва-

ренька Липинская, обращаясь съ худо скрытой насмѣшкой къ Жоржу.

— Какъ, на Кавказъ? воскликнула Свиступова. Кажется, — да я вѣрно знаю, мы еще говорили съ сестрицей объ этомъ, и очень жалѣли объ васъ, — вы сбирались въ Алжиръ на охоту за львами!

— Вотъ какъ! стало быть и въ Алжиръ и на Кавказъ! подхватила Варенька.

— Это я шутилъ, сказалъ Жоржъ. Что касается до Кавказа, то посудите сами, могу ли я ѣхать туда. Я единственный наслѣдникъ дяди, онъ передаетъ мнѣ все свое состояніе вмѣстѣ съ именемъ, а это налагаетъ на меня нѣкотораго рода обязанности....

— Ѣздить въ оперу и гулять по Невскому? прервала Варенька, смѣясь.

— Въ оперу! Да еслибъ и такъ, я не вижу въ этомъ ничего смѣшнаго. Віардо, Рубини! кто можетъ покинуть ихъ хладнокровно! Я уже не говорю о Фанни-Эльслеръ, это восторгъ, не женщина! Я недавно абонировался въ трехъ театрахъ: въ оперѣ, въ балетѣ и во французскомъ, и не пропускаю ни одного представленія, даже иногда случается бывать въ одинъ вечеръ въ двухъ театрахъ, право. Одинъ актъ здѣсь, другой тамъ.

— Видно денегъ много, Жоржъ? сказалъ молодой Свистуновъ, кандидатъ въ генералы, по мнѣнію обѣихъ сестрицъ. — Какой пиръ задалъ онъ намъ вчера, продолжалъ онъ, обращаясь къ дѣвушкамъ. По правдѣ сказать, знатный пиръ!

— Мнѣ дядя ни въ чемъ не отказываетъ, отвѣчалъ Жоржъ спокойно и съ достоинствомъ.

— А если онъ женится? сказала ему почти шопотомъ Варенька.

— Кто? онъ? Невозможно. Впрочемъ, что-жъ, у меня свое состояніе. Деньги, деньги важная вещь въ жизни.

— Что это, Жоржъ, сказала княжна, подходя къ брату, ты ли это говоришь?

— А что-жъ по твоему, спросилъ онъ развязно и весело, и взявъ конецъ ея бархатной мантильи, обшитой кружевами, прибавилъ, смѣясь:

— А это, не деньги?

— Я считаю непростительной прихотью истратить для себя малѣйшую бездѣлицу, и отъ того всякую вещь ношу долго и бережливо, но это подарокъ мамаши; она любитъ, чтобы я одѣта была прилично.

— Да и не возможно иначе, сказала старшая Свистунова, державшая княжну за руку. Я всегда твержу Любинькѣ: будь одѣта по модѣ и будешь замѣчена въ обществѣ,—я, можно сказать, ничего для нея не жалѣю.

— Да, сестрица всегда говоритъ, чтобъ я одѣвалась по модѣ; отъ того всѣ мои платья отъ M^me^ Delmare. Вообразите себѣ, что въ послѣдній разъ фасонъ моего платья стоилъ дороже, чѣмъ самое платье.

— Что-жъ дѣлать? За то ты стройна въ немъ, какъ.... какъ. .. Свистунова должна была остановиться, за неимѣніемъ сравненія, и вдругъ, обратясь къ княжнѣ, сказала ей шопотомъ: Не правда-ли, у нея совершенно аристократическая фигурка! Любинька, chère amie, поправь свой поясъ.

Долго длился разговоръ въ этомъ родѣ и пере-

ходя отъ предмета къ предмету, давалъ Жоржу волю хвастать и чваниться, чему онъ предался съ упоеніемъ, лишь только сестра его отошла къ большому столу. Варенька Липинская обращалась съ нимъ насмѣшливо, но вмѣстѣ и кокетливо, а Любинька благосклонно. Что касается до Лины, то она, посидѣвъ нѣсколько времени молча, ушла въ свою комнату и не возвращалась даже къ ужину. Ужинъ былъ приготовленъ и поданъ съ такой роскошью, какъ будто Границкіе угощали цѣлый городъ.

На другой день утромъ, княжна выговаривала брату за неумѣренную болтливость; онъ смѣялся, шутилъ, изрѣдка цѣловалъ ея руку, потомъ вышелъ изъ комнаты, но тотчасъ же воротился, говоря небрежно:

— Дай мнѣ денегъ.

— Какъ ? сказала она съ негодованіемъ, ужели ты все истратилъ ? Дядя недавно подарилъ тебѣ порядочную сумму.

— Деньги какъ вода текутъ сквозь пальцы. Впрочемъ дядины деньги, не твои, и тебѣ не приходится ихъ считать.

— Можетъ быть, возразила она спокойно, своихъ у меня нѣтъ для тебя. Но ты ужъ слишкомъ неблагоразуменъ въ своихъ тратахъ; это навлечетъ на тебя гнѣвъ дяди, и мы все потеряемъ.

— Какъ-бы не такъ! сказалъ Жоржъ; дядя у тебя въ рукахъ, попроси. Что это, въ самомъ дѣлѣ, такое, ты все себѣ, да себѣ !

— Я ! сказала она, ахъ ты неблагодарное созданіе !

Да еслибъ не я, ты давно ходилъ бы пѣшкомъ по улицамъ. Знаешь ли, сколько ума, терпѣнія, ловкости надо мнѣ, чтобы безпрестанно заслонять тебя собою и не дать ему возможности увидѣть, что ты такое?

— Кому это?

— Дядѣ.

— Вотъ хорошо, да что-же во мнѣ необыкновеннаго? Я такой-же,какъ и всѣ.

Споръ былъ жарокъ; Жоржъ упрекалъ, требовалъ, и грозился самъ идти къ дядѣ, но видя, что сестра не боится угрозъ его, и что онъ ничего не получитъ отъ нея, если будетъ ссориться, сдался и прибѣгнулъ къ своему обыкновенному способу. Онъ смягчился, сдѣлался покорнымъ и ласковымъ, и ставъ на колѣни, цѣловалъ полу-шутя, полу-серьозно ея руки.

— Ну полно, ну хорошо, говорилъ онъ; знаю, впередъ не буду; войди въ мое положеніе, не доводи меня до крайности, будетъ хуже.

Въ эту минуту Огинскій вошелъ въ комнату, и улыбнулся при видѣ такой семейной картины.

— Подите сюда, сказала ему княжна, помогите мнѣ порядкомъ пожурить этого вѣтреника.

Жоржъ испугался и дернулъ сестру за платье, но она продолжала спокойно:

— Вотъ уже часъ, какъ я читаю ему правоученіе, но это такая горячая голова, что я никакъ не могу урезонить.

— Въ чемъ дѣло? спросилъ Огинскій, садясь.

— Обыкновенно въ чемъ,— въ глупостяхъ. Вчера

одинъ изъ его пріятелей проигралъ въ карты значительную сумму. Одинъ сынъ у отца, состоянія ни какого,— что-жъ вы думаете?—Жоржъ отдалъ ему взаймы всѣ свои деньги и теперь сидитъ безъ гроша.

— Это безразсудно, Жоржъ, сказалъ Огинскій, начавшій привыкать къ наставительному тону, не должно поощрять гибельной страсти къ игрѣ.

Жоржъ такъ былъ пораженъ находчивостью сестры, что цѣлую минуту стоялъ какъ окаменѣлый; впрочемъ, онъ поспѣшилъ оправиться и сказалъ:

— Самъ знаю, что поступилъ опрометчиво,—что-жъ дѣлать, виноватъ, не достало духу отказать пріятелю.

— Будь остороженъ впередъ, а это я беру на себя.

—Какой вы баловникъ! сказала княжна; я не могу надивиться вашей добротѣ, вашему великодушію. Она улыбнулась, потомъ протянула уходящему брату руку свою и сказала: побывай у Вари.—Добрый малый, продолжала она, обращаясь къ дядѣ, когда Жоржъ изчезъ за дверью; пожалуй онъ не слишкомъ уменъ, но за то рѣдкое сердце. Я однако не хочу допустить васъ платить за него и отдамъ брату тѣ деньги, которыя вы недавно подарили мнѣ.

— Не надо, я не хочу этого, сказалъ Огинскій настойчиво.

— Выслушайте меня—я говорю серьёзно: Жоржъ добръ, но не разсчетливъ, ему не надо давать много денегъ: опять какой-нибудь мотъ—пріятель выпроситъ ихъ у него.

— Это правда, замѣтилъ Огинскій, какая ты разсу-

дительная. Возми денегъ, сколько надо, и давай ихъ брату, когда нужно. Не надо пріучать молодежь тратить безъ толку и разсчету.

Когда Огинскій увидѣлъ Лину, онъ спросилъ у нея, почему она не осталась въ обществѣ въ прошедшій вечеръ?

— Я не люблю Свистуновыхъ, сказала Лина, объ онѣ ужасно глупы и пусты, мнѣ скучно съ ними.

— А Липинскіе? Отецъ человѣкъ умный.

— Можетъ быть, сказала Лина, но вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно хитрый и лукавый.

— Я не замѣтилъ.

— Мало ли чего вы не замѣчаете! Онъ долго говорилъ съ вами объ улучшеніи крестьянскаго быта, — это очень похвально, потому что у него теперь наберется душъ до тысячи, только жаль, что онъ купилъ ихъ на чужія деньги.

— Какъ такъ?

— Очень просто. Онъ управлялъ имѣніями знатныхъ господъ и нажился. Я удивляюсь одному, какъ это княгиня не выбрала для своего короткаго знакомства болѣе порядочныхъ людей; она могла бы легко сдѣлать это, у ней довольно и связей и родства.

— Я не зналъ, что вы такая аристократка, сказалъ Огинскій насмѣшливо.

— Порядочными людьми я называю людей достойныхъ уваженія, — знатны ли они, или нѣтъ, это все равно.

— Мнѣ странно васъ слушать; отъ чего вы вездѣ

отыскиваете дурную сторону? Въ ваши лѣта это не естественно.

— Что-жъ дѣлать, если хорошее въ *этихъ людяхъ* отыскать не умѣю; что-жъ дѣлать, если я такъ создана, что все вижу и угадываю. Но прощайте, мнѣ некогда.

— Куда вы?

— Со двора.

— Это не отвѣтъ.

— И не вопросъ; надо — и я ѣду.

— Одна?

— Одна.

— Какъ-же это?

— Очень просто; — неужели мнѣ надо гувернантку? Впрочемъ меня дожидается и проводитъ Ливадинъ.

Огинскій ничего не отвѣчалъ; но ему не понравился тонъ Лины. Въ три мѣсяца своего пребыванія у сестры онъ безсознательно привыкъ давать всѣмъ совѣты, у него спрашивали его мнѣнія даже въ бездѣлицахъ, и его слово было закономъ для всѣхъ. Онъ сѣлъ у окна; княжна застала его въ глубокой задумчивости, которой объяснить себѣ не умѣла.

— Куда это ѣздитъ такъ часто Александра Петровна? сказалъ ей Огинскій равнодушно.

Княжна быстро окинула его взглядомъ и отвѣчала, смѣясь:

— Экзальтація! Сколько разъ мы просили ее не давать уроковъ, и никакъ не могли уговорить: она набра-

лась какихъ-то странныхъ правилъ. Врочемъ нынче воскресенье, слѣдственно она пошла не на урокъ. Спросить у нея, куда она ѣздитъ всякой день, мы не рѣшаемся — она очень своевольна и раздражительна. Что-же касается до ея понятій о независимости и самостоятельности, то они доходятъ до нелѣпости и прямо противоположны всѣмъ принятымъ мнѣніямъ объ этомъ предметѣ: она никого не хочетъ слушать.

— Посторонкихъ такъ, я понимаю это, — но близкихъ своихъ?

— Кто ея близкіе? Мы? — но вотъ восемь лѣтъ, какъ она у насъ, и никогда не позволила никому ни одного замѣчанія. Я думаю, она не любитъ насъ, а ужъ маменька ли не была добра къ ней!

— Она отзывалась о сестрѣ съ большой благодарностью и чувствомъ.

— Конечно. Но она и не могла отзываться иначе, хотя гордость грызетъ Лину и она не можетъ простить никому, и тѣмъ болѣе намъ, что родилась не въ знатности и не въ богатствѣ. Чтобы достигнуть этихъ двухъ преимуществъ, она можетъ рѣшиться на многое.

Огинскій молчалъ; сердце его говорило за Лину, а умъ, склонный къ подозрѣнію, колебался — и слова княжны запали въ его душу.

— Правда, что въ ея мнѣніяхъ я замѣтилъ недостатокъ снисходительности.

— Объ этомъ я не говорю уже; вѣрите ли, что она никогда ни о комъ не скажетъ добраго слова. Много разъ я принуждена была вступать съ ней въ споръ, и

если сказать правду, эти-то споры и отдалили насъ другъ отъ друга.

Къ обѣду Лина возвратилась печальная и задумчивая; она сѣла къ пяльцамъ и прилежно вышивала, не поднимая головы.

Огинскій ходилъ взадъ и впередъ, онъ молчалъ и иногда глядѣлъ на Лину. Грустное выраженіе лица ея не скрылось отъ него; онъ сѣлъ подлѣ нея, взоры ихъ встрѣтились.

— Гдѣ вы были? опять спросилъ онъ ее невольно: что васъ опечалило?

— Что это? любопытство, или участіе? спросила она.

— И то, и другое, отвѣчалъ онъ.

Въ это время въ комнату вбѣжалъ Сережа.

— Меня зовутъ въ Павловское, позвольте мнѣ ѣхать, говорилъ онъ Огинскому.

— Спроси у матери.

— Она не знаетъ, и велѣла спросить у Анюты.

— Это я послала его къ вамъ, сказала княжна, входя въ комнату. Какъ вы думаете, можно отпустить его?

— Да что тамъ такое?

— Обѣдъ и катанье у матери его товарища. Она прекрасная женщина и очень любитъ Сережу. Жоржъ поѣдетъ съ нимъ. Вы позволяете?

— Почему же нѣтъ! Не все учиться, надо и отдохнуть, сказалъ Огинскій.

— Ну, ступай, прибавила княжна Сережѣ, дядя позволяетъ, благодари же его.

Мальчикъ бросился на шею Огинскому, потомъ выбѣжалъ изъ комнаты; сестра ушла съ нимъ.

— Чему вы улыбаетесь? спросилъ Огинскій у Лины.

— Вашему добродушію, отвѣчала она полушутя, полусерьёзно. — Скоро въ этомъ домѣ княжна не будетъ обѣдать, не спросивъ у васъ позволенія.

— Странно, что ихъ привязанность ко мнѣ кажется вамъ неумѣстною.

— Не привязанность удивляетъ меня, но мнѣ противна аффектація.

Въ это время ихъ позвали обѣдать.

Жизнь семейства Границкихъ начала измѣняться; Липинскіе бывали каждый день, Свистуновы очень часто. Первые особенно старались понравиться Огинскому, который любилъ разсуждать съ отцемъ, и шутить съ дочерью, считая ее ребенкомъ; познакомившись короче, онъ часто, когда ей хотѣлось ѣхать въ театръ, а отецъ не соглашался взять ложи, дарилъ билетъ княжнѣ, съ тѣмъ, чтобы она передала его Варенькѣ. Вообще онъ былъ къ ней добръ и баловалъ ее какъ ребенка; это вниманіе поселило несбыточную надежду въ умѣ Липинскаго; онъ серьозно сталъ задумываться и безпрестанно говорилъ Огинскому о своихъ познаніяхъ по части агрономіи, въ чемъ Огинскій признавалъ себя совершенно несвѣдущимъ.

— Позвольте замѣтить вамъ, говорилъ Липинскій, что это непростительно. — Сколько у васъ тысячъ душъ?

— Право не знаю, кажется шесть.

Липинскій покатился со смѣху и замѣтилъ при этомъ, что дѣйствительно у Валентина Михайловича рѣдкая душа, потому что презрѣніе къ богатству есть самое высокое качество. Чрезъ нѣсколько времени княжна замѣтила дядѣ, что Липинскій *изъ дружбы*, быть можетъ, и согласится управлять его имѣніями, что было бы очень хорошо, потому что самъ онъ знаетъ, до какой степени собственныя его свѣдѣнія въ этомъ дѣлѣ недостаточны. Въ такомъ случаѣ, отправляясь въ деревню въ маѣ, они могли бы взять съ собою Липинскихъ. Огинскій сказалъ, что онъ подумаетъ, и княжна не стала настаивать. Между тѣмъ, все это, избранное княжной общество окружало Огинскаго, спорило съ нимъ, развлекало его, и незамѣтно втянуло въ болѣе близкія отношенія. Трудно описать то смѣшеніе лести и независимости, подобострастія и противорѣчій, которыя обнаруживалъ Липинскій въ отношеніи къ Огинскому. Казалось, этотъ хитрый и ловкой человѣкъ спорилъ съ Огинскимъ каждый вечеръ для того только, чтобы дать возможность своему противнику оспорить себя, или порицалъ его мнѣнія и понятія, чтобы потомъ больше имѣть права хвалить его въ глаза. Липинскій вполнѣ понялъ характеръ Огинскаго, видѣлъ его, такъ сказать, насквозь; Огинскій считалъ его только добрымъ, почтеннымъ отцомъ семейства. Мнѣніе Лины о не совсѣмъ строгой честности Липинскаго было побѣдоносно опровергнуто княжной, которая привела несомнѣнныя доказательства въ пользу своего почтеннаго друга, и только грустно удивлялась дерзости людской клеветы, осмѣлив-

шейся очернить такого честнаго человѣка. Ея любимое выраженіе, при отзывѣ о Липинскомъ, было: Прекрасной души человѣкъ!

И Огинскій мало-по-малу привыкъ глядѣть на него съ этой же точки. Но если княжна отзывалась такъ о Липинскомъ, то и онъ съ своей стороны говорилъ княгинѣ при всякомъ удобномъ случаѣ:

— Благословилъ васъ Богъ дочерью! и прибавлялъ обращаясь къ Огинскому:

— Высокой души женщина!

Это была круговая порука. Но самое замѣчательное здѣсь заключалось въ томъ, что всѣ знали, цѣнили, понимали другъ друга, всѣ мѣтили въ цѣль и достигали ея дружно, только Огинскій не видалъ ничего, да княгиня очень мало, хотя она и знала, какъ дѣти ея разсчитываютъ на состояніе брата, что казалось ей впрочемъ очень естественнымъ. По ослѣпленію, свойственному всѣмъ матерямъ, считая княжну перломъ семейства, чѣмъ-то въ родѣ генія, она весьма простодушно вѣрила восклицанію Липинскаго: высокой души женщина! Часто совершенно чистосердечно она говорила брату:

— Моя Анюта сокровище, всѣ любятъ ее, да и какъ не любить!

Иногда въ минуту материнскаго восторга, она говорила дочери:

— Да, Богъ умомъ не обидѣлъ тебя! Нечего грѣшить. Я счастливая мать!

Если это случалось при Огинскомъ, то княжна скромно принимала похвалу и цѣловала мать, пригова-

ривая: Вы говорите это потому, что слишкомъ любите меня. – Если же княгиня повторяла это дочери наединѣ, то она отвѣчала ей довольно сухо.

— Полноте твердить все одно и тоже. Я и сама знаю, что безъ меня вы ничего бы сдѣлать не съумѣли!

По-мѣрѣ-того, какъ Огинскій больше входилъ въ кругъ княжны и ввѣрялся ей, Лина удалялась отъ него, и это дѣлалось тѣмъ легче, что она часто выѣзжала изъ дому, а когда и оставалась дома, то предавалась работѣ безъ отдыха, и на ея пяльцахъ быстро возникали и смѣнялись цѣлыя подушки, шарфы, мантильи и воротнички. Не смотря однако на это отчужденіе и, по-видимому, равнодушіе, Лина сдѣлалась грустна и раздражительна. Она была изъ того рода натуръ, которыя готовы вступить въ открытую борьбу, лишь бы интересы стоили того, чтобъ истощать въ борьбѣ за нихъ свои силы. — Но что былъ Огинскій въ отношеніи къ ней? Старый знакомый — и только. При сестрѣ и ея дѣтяхъ, окружавшихъ его, она не могла имѣть значенія. Къ тому-же, еслибъ она и была соединена съ нимъ тѣсными узами близкаго родства или любви, она не умѣла бы тратить силъ на мелочи, сердце и волю на мелкіе дрязги. Она могла бы или удалиться, или разомъ показать ему всю низость людей, его окружавшихъ, и вырвавъ его, уѣхать съ нимъ далеко отъ всѣхъ интригъ и сѣтей, ему разставленныхъ. Лина чувствовала однако, что рано или поздно глаза Огинскаго раскроются, и заранѣе жалѣла о немъ. Мысль, что онъ не замѣчаетъ ея отчужденія, стало быть ни мало не любитъ ея, была ей крайне прискорбна и тяжела, и порою Линѣ казалось, что она равнодушна

къ Огинскому, а если не можетъ присутствовать въ семейныхъ бесѣдахъ, когда всѣ рабски передъ нимъ преклоняются, то потому только, что душа ея возмущается при видѣ всякой людской низости. Въ этомъ была часть правды; она дѣйтвительно не могла вынести такого зрѣлища, но къ этому чувству присоединялось болѣе личное чувство, болѣе чувствительное для нея страданіе — страданіе раждающейся и имъ не раздѣляемой склонности. Въ этомъ она еще не совсѣмъ признавалась себѣ, хотя взволнованная душа ея постоянно тосковала.

— Скажите мнѣ, сказала однажды Лина Ливадину, какъ такой добрый и умный человѣкъ, т. е. Огинскій, можетъ быть обманутъ на столько, что принимаетъ привязанность желаніе вымапить у него какъ можно болѣе денегъ. Я не могу спокойно видѣть этой компаніи на акціяхъ, составившейся для того, чтобы обобрать его.

Ливадинъ молчалъ, замолчала и Лина.

— Онъ слишкомъ добръ и честенъ, сказалъ наконецъ Ливадинъ, и потому не можетъ предполагать въ людяхъ такихъ разсчетовъ и низости.

— Онъ не дитя, не мало онъ жилъ на свѣтѣ, сказала Лина; ему тридцать пять лѣтъ. Онъ столько испыталъ въ жизни.

— Но развѣ его обирали, или разсчитывали на его богатство?

— Нѣтъ, никогда, онъ имѣлъ дѣло съ людьми богатыми.

— Вотъ видите ли; къ тому-же умъ слово не-

опредѣленное. Можно быть человѣкомъ умнымъ, но умнымъ не практически, а это въ жизни все равно, что и совсѣмъ не имѣть ума, право такъ, и наоборотъ. У меня былъ пріятель, который нажилъ состояніе тѣмъ, что заводилъ фабрики; чтожь, вы думаете? ей Богу правда, — онъ только отлично считалъ на счетахъ и между тѣмъ всегда вѣрно зналъ, гдѣ возьметъ барыши.

— Я часто удивляюсь вамъ, Юрій Ѳедоровичъ, сказала Лина; вы иногда вдругъ объясните мнѣ то, чего я никакъ, при всемъ усиліи, не могла понять.

— Да, у меня есть здравый смыслъ и очень сильный, сказалъ Ливадинъ, но за то Богъ ума мнѣ не далъ.

— Вотъ вздоръ какой! замѣтила Лина.

— Не смѣйтесь, я знаю это, глубоко это чувствую, и вамъ всегда готовъ открыть всю мысль мою. Вѣдь вы меня не за умъ любите?

— Я очень люблю васъ, отвѣчала Лина.

— Вотъ видите ли. Это сознаніе недостатка ума, особенно недостатка образованія, и производитъ то, что въ обращеніи со всѣми другими я совершенно теряюсь, просто не могу слова сказать, только съ вами и говорю. Отъ того-то я безъ васъ, словно безъ души своей.

Лина не сказала въ отвѣтъ на это ни слова, Ливадинъ также замолчалъ.

— Я, признаться, радъ, что вы съ нимъ не поладили, сказалъ опять Ливадинъ; можетъ быть, вы не поѣдете теперь въ деревню.

— Я и такъ не поѣду, сказала Лина; могли ли вы думать, что я поѣду?

— Но я остаюсь во всякомъ случаѣ, сказалъ онъ, и могъ-бы замѣнить васъ.

— Знаю, но это было бы не хорошо съ моей стороны; мой долгъ велитъ мнѣ остаться.

— Вы будто жалѣете? спросилъ Ливадинъ.

Лина помолчала, потомъ сказала невольно:

— Мнѣ жаль его.

— Кого это?

— Огинскаго. Что съ нимъ станется?

— Да ничего, возразилъ Ливадинъ; повѣрьте, что онъ ничего не увидитъ, а если и увидитъ, то, кто знаетъ?—свыкнется.

— Какъ это возможно! сказала Лина.

— Повѣрьте, отвѣчалъ Ливадинъ, онъ усталъ, ему хочется отдохнуть, и безъ борьбы, спокойно, провести остатокъ жизни.

— Онъ не старъ, онъ молодъ еще.

— Все равно—онъ усталъ не работавъ, онъ вѣроятно изжилъ сердце, растратилъ его, и едва-ли способенъ теперь жить иначе.

— Стало-быть, онъ достоинъ одной жалости, а не уваженія! воскликнула Лина съ жаромъ: нѣтъ! нѣтъ!

Щеки Лины горѣли, она боролась съ какимъ-то внутреннимъ чувствомъ и не замѣтила, что глаза Ливадина были прикованы къ ней съ выраженіемъ грустнаго удивленія и тоскливаго сомнѣнія.

Цѣлое утро Лина была грустна, и по отъѣздѣ Ли-

вадина сдѣлалась еще грустнѣе. Въ этотъ день обѣдъ былъ шумный и веселый; но Лина была печальна и лице ея не гармонировало съ окружавшими ее явленіями. Огинскій спросилъ у нея, отъ чего она невесела; она отвѣчала, что это зависитъ отъ серьезнаго характера ея, и попытка Огинскаго сблизиться теперь съ нею осталась безъ успѣха.

Послѣ обѣда княжна принялась за кофе, которое варила всегда сама, съ большими затѣями, и разливала изъ серебрянаго кофейника съ камфоркой. Наливъ чашки, она спросила о Линѣ; слуга объявилъ, что Александра Петровна выѣхала со двора съ Ливадинымъ.

Княжна улыбнулась, а Огинскій спросилъ не безъ замѣшательства: Куда это она поѣхала?

— Богъ знаетъ, отвѣчала княжна, она не маленькая, сама знаетъ, что дѣлаетъ. Но это слишкомъ самостоятельное и презирающее приличія поведеніе ея и было, кажется, первою причиной разрыва ея съ Армалевымъ; онъ не хотѣлъ позволить подобныхъ поступковъ, и они разссорились. Впрочемъ, Лина недѣлаетъ ничего дурнаго; однакожъ, какъ бы то ни было — Ливадинъ еще не женихъ ея.

— Да и въ такомъ случаѣ выѣзжать съ нимъ было бы не совсѣмъ прилично, проговорилъ Липинскій, обѣдавшій у княгини.

Но княгиня вставила здѣсь нѣсколько словъ въ защиту Лины, говоря, что она очень разсудительна.

— Это правда, сказала княжна довольно рѣшительно, она не говорлива, не вспыльчива, — но за то и холодна,

какъ ледъ. Что касается до употребленія денегъ, то въ этомъ отношеніи она ужасно не благоразумна. Знаете ли сколько она тратитъ въ годъ?

— Это любопытно, сказалъ Липинскій.

— Мы ей денегъ не платимъ, замѣтила княгиня.

— Да, конечно, прервала княжна: Лина никогда не хотѣла взять отъ насъ даже бездѣлицу деньгами, но маменька дѣлаетъ ей много подарковъ, и ея туалетъ и всѣ ея прихоти ей ничего не стоятъ; кромѣ того, она даетъ уроки музыки и англійскаго языка, отъ чего навѣрное получаетъ до пяти-сотъ рублей серебромъ въ зиму, а между тѣмъ, повѣрите ли вы такому неумѣнью жить? — она вся въ долгу.

— Неужели? воскликнула Варенька Липинская.

— Право такъ; она должна Ливадину, — должна Михалевской, своей пріятельницѣ. Куда она тратитъ свои деньги, для меня непостижимо.

— Значитъ, она, живя въ домѣ, гдѣ ни въ чемъ не нуждается, издерживаетъ на себя гораздо болѣе пяти-сотъ рублей серебромъ. Признаюсь, еслибъ моя дочь захотѣла тратить такія суммы на тряпки, я принялъ бы противъ этого очень строгія мѣры, сказалъ Липинскій, прихлебывая кофе. — Умѣренность великая добродѣтель. Я перестадъ бы уважать себя, еслибъ позволилъ себѣ излишество въ чемъ-нибудь, — роскошь губитъ человѣка.

Во все продолженіе этого разговора Огинскій не произнесъ ни слова. Когда всѣ разъѣхались, онъ сѣлъ у окна и часто посматривалъ на улицу; ждалъ ли онъ Лину или просто скучалъ отъ праздности, — этого и самъ онъ не рѣшилъ бы удовлетворительно. Наружность

его давно потеряла прежнюю способность къ выразительности, и измятыя преждевременными морщинами черты лица приняли выраженіе задумчивой усталости, и отъ этого все происходившее въ душѣ его оставалось непроницаемымъ даже для рысьихъ глазъ княжны, поглядывавшей на него украдкою. Она попыталась говорить съ нимъ, но онъ отвѣчалъ односложно, и погружался въ размышленіе, котораго она не рѣшалась нарушить, боясь показаться докучливою; — она не возобновляла съ нимъ разговора о Линѣ въ теченіе нѣсколькихъ дней и только упоминала о ней вскользь, надѣясь, что брошенныя ею, какъ бы не нарочно, сѣмена пустятъ корень, и безъ особенныхъ ея усилій принесутъ плодъ, хотя и не скоро.

Лина возвратилась домой очень поздно и была еще грустнѣе, говорила менѣе обыкновеннаго, и на вопросъ княгини: Куда она отлучалась? отвѣчала кратко: Мнѣ было необходимо навѣстить знакомую.

На другой день, раньше обыкновеннаго, Огинскій сидѣлъ уже у пяльцевъ Лины; она вышивала очень прилежно.

— Что заставляетъ васъ шить цѣлый день, не разгибаясь? сказалъ онъ ей. — Возможно ли такъ трудиться для какой-нибудь новой прихоти?

Она быстро взглянула на него.

— Кто вамъ сказалъ, что я прихотлива?

— Я такъ полагаю. Иначе какое назначеніе этой подушки? или вышиваете вы ее для кого-нибудь, вамъ милаго и дорогаго?

Она улыбнулась.

— Это на продажу.

— Вамъ нужны деньги?

— Да, очень.

— Вы ихъ любите?

— Кто ихъ не любитъ? Деньги вещь великая!

— Жаль слышать это отъ васъ, сказалъ Огинскій не безъ грустной досады.

— Отъ чего же? спросила Лина; вы довольно пожили на свѣтѣ, можете понять, что значатъ деньги, и удивительно, что вы сердитесь, когда вамъ говорятъ такую истину, всѣми признанную. Мало ли чего не было бы у иного, еслибъ онъ не имѣлъ денегъ. — Хотите купить мою подушку?

— Охотно.

— Что дадите? Въ магазинѣ мнѣ предлагаютъ за нее двадцать цѣлковыхъ.

— Въ томъ, гдѣ вы были вчера?

— Я вчера не была въ магазинѣ.

Онъ посмотрѣлъ на нее, а она на него; глаза ихъ встрѣтились.

— Вы не заставите меня сказать того, чего я не хочу, проговорила Лина, улыбаясь безъ веселости.

— Очень знаю, сказалъ онъ, и потому не спрашиваю.

— Не спрашиваете, а намѣкаете; но я не отвѣчаю, потому что не хочу подчиняться вамъ, какъ всѣ другіе, съ тѣмъ, чтобы чрезъ это незамѣтно пріобрѣсть вліи-

ніе на васъ и потомъ дѣлать изъ васъ все что угодно.

— Послѣ всѣхъ опытовъ моей жизни это было бы очень трудно. Я уже не мальчикъ.

— Что за дѣло, — опыты не для всѣхъ спасительны; есть люди, которые обжигались и которые, не смотря на то, что обжигаются, вѣроятно до старости будутъ дѣлать то-же. Опытъ не научитъ ихъ ничему. — Иначе, и вы видѣли бы многое.

— Что, однако?

— Многое, говорю я вамъ, а больше говорить не хочу и не буду.

— Какъ хотите, сказалъ Огинскій холодно.

Онъ курилъ папироску, и дымъ отъ нея летѣлъ прямо на Лину и ея работу.

— Вы мнѣ мѣшаете, сказала она просто: — я шью по бѣлому полю, вы закоптите его.

— Что-жъ если я положилъ пріобрѣсть подушку для себя? сказалъ онъ мягче прежняго.

— Все таки я не вижу причины, почему вы хотите испортить ее, прежде чѣмъ она будетъ готова; развѣ предположить опять капризъ богача и прихоть избалованнаго человѣка. Впрочемъ и то сказать, какъ всему этому не развиться въ обществѣ Липинскихъ, Свистуновыхъ и имъ подобныхъ людей.

— Вы меня не уважаете! сказалъ Огинскій, вставая и уходя изъ комнаты.

— Я! воскликнула вдругъ Лина, такимъ голосомъ, что онъ невольно остановился и обернулся къ ней. —

Простите меня, если я говорила рѣзко, клянусь вамъ, что это произошло отъ участія, привязанности, и уваженія къ вамъ. Я не могу оставаться спокойною, видя какъ стараются сдѣлать изъ васъ безсмысленнаго, мелкаго домашняго тирана, съ условіемъ однако овладѣть вами въ свою очередь, и заставить васъ еще заплатить за право приказывать. Простите меня, если я говорю очень рѣзко, — я не умѣю говорить иначе, а особенно, когда возмущена до глубины души. Еслибъ характеръ мой былъ мягче, я сама, да и другіе, привязанные ко мнѣ, были бы счастливѣе — а теперь я невольно оскорбляю ихъ, а самой мнѣ не легко, какъ не легко!

Глаза Лины заблистали непрошенными слезами; она была въ томъ рѣдкомъ расположеніи лицъ, привыкшихъ къ одиночеству, когда они готовы высказать всю душу до самыхъ глубокихъ изгибовъ ея.

— Много видѣла я въ дѣтствѣ, юности и зрѣлыхъ лѣтахъ, продолжала Лина: привыкла разбирать людей и самое себя — и все это не на радость.

— Отъ чего же? Ужъ будто всѣ такъ дурны?

— Грустно, Валентинъ Михайловичъ, что я говорю грустно, — невыносимо, ужасно любить и въ то-же время видѣть всѣ недостатки любимаго человѣка, котораго хотѣлъ бы только обожать и чьимъ качествамъ хотѣлъ бы вѣчно удивляться, преклоняясь передъ ними. — Лина остановилась, испугавшись собственныхъ словъ, и поспѣшно прибавила:

— Вотъ, хотя бы Ливадинъ — добрый, честный, совершенно преданный мнѣ человѣкъ, но я вижу очень ясно,

что будущность его незавидная. Онъ не талантливъ, карьеры не сдѣлаетъ, далеко не пойдетъ. Его участь быть вѣчнымъ труженикомъ, и безъ надежды на вознагражденіе. Надо бы помириться уже давно съ этимъ, а я не могу и — грустно.

Огинскій вспомнилъ, что княжна говорила о честолюбіи Лины; видя въ ея словахъ подтвержденіе этого мнѣнія, онъ вообразилъ себѣ, что Лина отвергаетъ любовь Ливадина потому только, что не можетъ примириться съ его смиренной долей. Это желаніе извѣстности, эта суетность поразила его; онъ взглянулъ на нее сухо и холодно сказалъ ей:

— Такъ вы не цѣните чувства безъ блестящихъ качествъ?

— Не то что не цѣню, но оно не удовлетворяетъ меня. Въ любимомъ человѣкѣ мнѣ бы хотѣлось найти всѣ высокія стремленія, вмѣстѣ съ силой и способностію осуществить ихъ на дѣлѣ.

— Чтобы хвалиться тѣмъ, кого мы любимъ, выставлять его на показъ!

— О нѣтъ! но гордиться имъ, и не передъ другими, а передъ самой собою.

— Полноте, ужъ если гордиться, такъ передъ другими.

Огинскій произнесъ слова эти съ такимъ оттѣнкомъ презрѣнія, что Лина вспыхнула и сказала сухо въ свою очередь:

— Мы не понимаемъ другъ друга.

— Не мудрено, когда понимать-то, можетъ быть, нечего, прибавилъ Огинскій и замолчалъ.

Послѣ этого разговора прошло болѣе недѣли, въ продолженіи которой Лина почти не бывала дома, а когда и бывала, то сидѣла въ своей комнатѣ, и вышивала уже тамъ. — Однажды по-утру Огинскій вошелъ съ залу и засталъ Лину и княгиню; онѣ стояли у стола, раскалывали выпяленную подушку и приготовлялись разгладить ее горячимъ утюгомъ.

— Посмотри, какая прелесть! сказала княгиня брату.

— Давно видѣлъ, отвѣчалъ онъ. — Знаешь ли чья это подушка?

— Лина говоритъ, что продаетъ ее.

— Да, а я купилъ; вы помните, что обѣщали? прибавилъ онъ, обращаясь къ Линѣ.

— Помню, возьмите, произнесла она грустно. Огинскій замѣтилъ, что она похудѣла и побѣднѣла въ теченіе послѣдней недѣли.

— За сколько ты продала ее? спросила княгиня Лину? Бери дороже; я видѣла вчера на Невскомъ точно такую подушку, за нее просили пятьдесятъ цѣлковыхъ.

— Да, а магазинъ платитъ только двадцать за работу, сказала Лина.

— Неужели? А сколько времени вы шили ее? спросилъ Огинскій.

— Цѣлый мѣсяцъ.

— Не можетъ быть, Лина, замѣтила княгиня; это египетская работа — все petit point; ты вѣрно шила по ночамъ, потому-что днемъ ты никогда не бываешь дома. — Цѣлый мѣсяцъ!... Вотъ, подумаешь, жить работой!

Это рѣшительно невозможно. Сколько тутъ пошло шерсти?

На десять цѣлковыхъ, — остается десять за работу.

— Платите себѣ сами, сказалъ Огинскій, и не жалѣйте денегъ.

Съ этими словами онъ подалъ ей бумажникъ; развернувъ его, она увидѣла большую пачку ассигнацій; при видѣ такой суммы она задумалась, и съ грустью отсчитавъ двадцать рублей серебромъ, отдала бумажникъ Огинскому.

— Только-то? сказалъ онъ, ну такъ я считаю расчетъ не конченнымъ и остаюсь у васъ въ долгу.

— Нѣтъ, сказала Лина, это обыкновенная цѣна.

Черезъ нѣсколько дней Огинскій улучилъ свободную минуту и подалъ Линѣ свертокъ.

— Мой долгъ, сказалъ онъ не безъ нѣжности въ голосѣ.

Она развернула бумагу и смутилась. Видно было, что она не знала, что дѣлать.

— Берите, сказалъ онъ тѣмъ ласковымъ тономъ, которымъ говорятъ ребенку, когда дарятъ ему игрушку.

Это была матерія для платья, розовое полосатое пуде-суа. Лина колебалась нѣсколько минутъ, мяла матерію въ рукахъ и наконецъ, съ чувствомъ пожавъ руку Огинскаго, не спускавшаго съ нея глазъ, сказала тихо:

— Благодарю васъ; вы не знаете, какое вы сдѣлали мнѣ удовольствіе. Еслибъ вы только знали, какое будетъ счастіе....

Она вдругъ остановилась и замолчала; Огинскій счи-

талъ ее серьезнѣе, но опять слова княжны повѣяли на него ядовитымъ дыханіемъ.

« Она все на свѣтѣ отдастъ за нарядъ, думалъ онъ; женщины всѣ — одна какъ другая, исключенія рѣдки. Какая мелочность !»

Онъ вышелъ изъ комнаты и понесъ княжнѣ точно такое-же платье; она приняла подарокъ безъ удовольствія, упрекая Огинскаго, что онъ тратитъ свои деньги такъ напрасно. — «Какая разница !» подумалъ онъ съ болью сердца. Цѣлый день онъ былъ холоденъ къ Линѣ, хотя она, по-видимому, была довольнѣе и, казалось, только теперь забыла непріятный разговоръ, происходившій между ими недѣлю назадъ. Огинскій рѣшительно не зналъ, что думать о ней: чувство безсознательно влекло его къ ней, а намеки княжны, подтвержденные собственными наблюденіями, отталкивали его отъ нея, и его подозрительность, которую онъ называлъ разсудкомъ, твердила ему, что Лина сребролюбива, честолюбива и хитра. Не могъ онъ понять и отношеній ея къ Ливадину ; онъ ревновалъ ее, самъ не отдавая себѣ отчета, и вообще тратилъ свое свободное время (а какъ много было его !) на мелочной анализъ всякаго слова, взгляда, поступка Лины. Вообще Огинскій дожилъ до той грустной поры въ жизни незанятаго и безсемейнаго человѣка, когда онъ начинаетъ мельчать все больше и больше, и потерявъ порывы и жаръ юности, начинаетъ размышлять надъ тонкостями чувства, и не умѣетъ уже любить просто и истинно. Грустное состояніе всякаго человѣка, жившаго однимъ сердцемъ и изжившаго его наконецъ вовсе ! Не имѣя одного важна-

го интереса въ жизни, на которомъ бы могъ сосредоточить всѣ силы души своей, Огинскій замѣнялъ его отсутствіе тысячею мелкихъ интересовъ, которые должны были завести его въ непроходимый лабиринтъ заблужденій и ложнаго пониманія людей, ихъ свойствъ и характеровъ. Даже любовь его къ сестрѣ и дѣтямъ отзывалась тѣмъ-же желаніемъ найти хотя какое-нибудь занятіе. Онъ входилъ въ воспитаніе Сережи, заботился о княжнѣ и читалъ порою нравоученія Жоржу, которыя тотъ слушалъ съ почтеніемъ и благодарилъ за нихъ съ признательностію. Также точно, и въ отношеніи къ Линѣ, Огинскій увѣрялъ себя, что онъ изучаетъ ее, хотя въ самомъ дѣлѣ нѣчто большее, чѣмъ любопытство, приковывали къ ней не только его вниманіе, но и его чувства. Выходила-ли она со двора, — онъ слѣдилъ за нею глазами и былъ безпокоенъ до-тѣхъ-поръ, пока она не возвращалась; если она долго оставалась въ своей комнатѣ, онъ ждалъ довольно нетерпѣливо появленія ея въ гостиную, хотя ему случалось вовсе не говорить съ нею въ-продолженіи цѣлаго вечера. Нѣсколько разъ онъ пытался узнать, куда она выѣзжаетъ, но Лина отвѣчала, что у ней много дѣла; что она имѣетъ, какъ извѣстно Огинскому, уроки, заказныя рукодѣлья, что она живетъ работой и не хочетъ никому быть слишкомъ обязанною. Не мало удивляло Огинскаго и то, что, не смотря на большія издержки, которыя Лина дѣлала, по словамъ княжны, онъ никогда не видалъ ея въ цвѣтномъ платьѣ. Она постоянно носила черное шелковое платье, отлично сшитое и ловко надѣтое, но уже не новое. Однажды онъ даже спросилъ у племян-

пицы: «на что тратитъ деньги свои Александра Петровна? онъ никогда не видалъ ее нарядною». Княжна замѣтила, что она не знаетъ ничего достовѣрно ; но что какіе-нибудь четыреста или пятьсотъ цѣлковыхъ не Богъ знаетъ какой капиталъ, и при недостаткѣ порядка и расчетливости незамѣтно растратятся. «Впрочемъ , прибавила она, я часто видала, какъ Лина накупаетъ наряды, но почему она не носитъ ихъ, этого я сказать не могу».

Недѣли черезъ двѣ послѣ того, какъ Огинскій подарилъ по платью княжнѣ и Линѣ , онъ замѣтилъ имъ смѣясь, что не видѣлъ своихъ подарковъ ни на той, ни на другой, и потому долженъ заключить, что они пришлись имъ не по вкусу. Княжна отвѣчала (и это была одна изъ ея любимыхъ аффектацій), что подарокъ очень хорошъ, а что она не сдѣлала изъ него никакого употребленія, такъ проситъ дядю извинить ее, такъ какъ она давно уже отказалась отъ свѣтлыхъ и роскошныхъ матерій, и любитъ только платья простыя и темныя. Лина, напротивъ, на шутку Огинскаго отвѣчала съ смущеніемъ, что намѣрена беречь такое прекрасное платье, и потому не хочетъ носить его.

— Ужъ не ко дню ли свадьбы ? замѣтила княжна лукаво. Ты себѣ заготовляешь приданое ; недѣлю назадъ я видѣла, принесли тебѣ оборки и манишки съ Невскаго, а на тебѣ я не видала ихъ.

— Почему-же и не такъ ? сказала Лина, переходя быстро отъ замѣшательства къ досадѣ.

Огинскій замѣтилъ это и приписалъ обнаруженное ею чувство досады сознанію , что ее отгадали. Такая разсчитанная предусмотрительность, такая скупость и

бережливость показались ему непріятными въ дѣвушкѣ ея лѣтъ, и онъ опять пересталъ говорить откровенно съ Линой и уже не позволялъ себѣ съ нею ни шутокъ, ни короткости.

Эти безпрестанно колеблющіяся отношенія, казалось, были, не въ тягость Огинскому; они даже занимали его безсознательно, и своимъ разнообразіемъ возбуждали притупившіяся его чувства; но они были чрезъ мѣру тягостны для Лины, которая признавалась себѣ, что она не была равнодушна къ капризному, но привлекательному для нея Огинскому. Еслибъ кто внимательно вглядѣлся въ того и другую, то понялъ бы, что между ими была тайная симпатія, произшедшая изъ чистаго контраста характеровъ, и если она не перешла еще въ любовь, то конечно причиною этого была подозрительность Огинскаго и гордость Лины. Къ тому-же Огинскій былъ слишкомъ богатъ и знатенъ, и ему слѣдовало сдѣлать первый шагъ, и не одинъ шагъ, для того, чтобы сблизиться съ Линой. Правда, онъ до-сихъ-поръ сдѣлалъ ихъ уже нѣсколько, но они не имѣли никакого результата, потому что послѣ каждаго онъ отступалъ въ ту-же минуту, пугаясь своей дерзости. Странное, необъяснимое противорѣчіе сказывалось во всѣхъ поступкахъ Огинскаго: онъ былъ уже слишкомъ довѣрчивъ въ сношеніяхъ съ семьею сестры, и уже слишкомъ подозрителенъ и остороженъ съ тѣми, кто не говорилъ много о своей честности и благородствѣ, кто не увѣрялъ его безпрестанно въ своей привязанности, не льстилъ такъ нагло, какъ княжна и ея общество. Не смотря однако на эти задатки или сѣмена испорченно-

сти, Огинскій вполнѣ еще сохранилъ характеристическія черты своей молодости: несравненную доброту, чувствительность, и какую-то поэтическую задумчивость, сообщавшую ему привлекательную для женщинъ таинственность.

Такъ прошло нѣсколько времени. — Лина не сдѣлала ни шагу, не сказала ни слова, не бросила ни взгляда, чтобы сблизиться опять съ Огинскимъ, и это гордое поведеніе ея, а болѣе всего безпрестанные выѣзды раздражали Огинскаго: онъ продолжалъ показывать ей то же самое холодное равнодушіе. Однажды утромъ, особенно недовольный ею, сидѣлъ онъ у себя въ кабинетѣ, какъ вдругъ растворилась дверь, и Лина вошла къ нему. Она была встревожена, съ глазами, красными и опухшими отъ слезъ. Первымъ движеніемъ Огинскаго, въ которомъ сказалось его доброе сердце и даже его привязанность къ ней, было идти ей на встрѣчу. Онъ взялъ ее за руку, просилъ сѣсть и сказать ему правду, всю правду, что такое съ ней, и не можетъ ли онъ помочь ей.

— О да, да, сказала Лина; я рѣшилась придти къ вамъ именно поэтому. Мнѣ нужны деньги — дайте мнѣ взаймы.

Эти слова обдали Огинскаго холодомъ; однакожъ онъ тотчасъ-же сказалъ, хотя и холодно, что готовъ къ ея услугамъ.

— Я долго боролась съ необходимостію, съ крайностію, сказала Лина. Я не имѣю силы отказать старухѣ въ ея прихотяхъ: онѣ уже послѣднія

— О комъ говорите вы? спросилъ удивленный Огинскій.

— О женщинѣ, которая сдѣлала вамъ много зла, объ Еленѣ Филипповнѣ. Она живетъ одна, и хотя уже не имѣетъ никакого состоянія, но не можетъ еще понять этого и осталась до поздней старости прихотливымъ ребенкомъ. Армалевы платятъ ей слишкомъ незначительную сумму; вотъ уже восемь мѣсяцевъ, какъ она очень больна, и ей не долго остается жить.

— Возможно ли? воскликнулъ Огинскій: я не воображалъ, чтобы вы могли быть такъ къ ней привязаны! Вы никогда не говорили мнѣ объ ней.

— Что стала бы я говорить? Я обязана ей многимъ, когда мы обѣ жили у Армалевыхъ, старушка всегда вступалась за меня; но мы оставили домъ ихъ, сперва я, послѣ и она. Меня пріютила у себя княгиня. Я старалась быть полезною Еленѣ Филипповнѣ, и мало-помалу, видя себя единственной опорою больной и несчастной старухи, единственнымъ ея утѣшеніемъ, привязалась къ ней еще больше. Видно, всегда суждено намъ любить тѣхъ, о комъ мы заботимся, для кого трудимся. Теперь силъ моихъ не достаетъ; старуха очень плоха и терпитъ нужду, — она много задолжала. Вы богаты, сдѣлайте для нея что-нибудь; по-крайней-мѣрѣ, послѣднія минуты ея будутъ спокойны; я-же, съ своей стороны, даю вамъ слово уплатить этотъ долгъ въ самомъ непродолжительномъ времени.

— Не грѣшно-ли вамъ? сказалъ Огинскій, поспѣшно отпирая бюро, и подалъ Линѣ пачку ассигнацій.

— Я не забуду , никогда не забуду этого благодѣянія вашего, сказала Лина, взявъ руку его.—Не даромъ мое сердце лежало къ вамъ, не смотря на ваше высокомѣріе и холодность въ отношеніи ко мнѣ.

И не дожидаясь отвѣта его, Лина вышла поспѣшно, надѣла шляпку и ушла со двора.

ГЛАВА IV.

Въ одной изъ отдаленныхъ частей города, огромный шести-этажный домъ, наполненный разнообразными жильцами, мрачно глядѣлъ на узкую улицу, лежащую вдоль канала. По его большой каменной лѣстницѣ, не переводя духу, вбѣжала Лина на пятой этажъ и позвонила у двери. Ей отворила наша старая знакомая Анфиса Ильинишна.

— Что вы это, барышня, такъ поздно? Барыня ужъ разъ двадцать о васъ спрашивала.

— Что она? Какъ себя чувствуетъ?

— Плохо, матушка, очень плохо. Вчера вечеромъ ее схватило такое удушье, что я перепугалась. Послала за докторомъ, онъ ночью не поѣхалъ, а былъ нынче утромъ и прописалъ лѣкарство, а денегъ ни копейки. Слава Богу, нынче ранехонько утромъ пріѣхалъ Юрій Ѳедоровичъ и оставилъ денегъ. Теперь ей получше будетъ. — Да вотъ еще бѣда, приказала къ обѣду цыпленка из-

жарить и компотъ изъ апельсиновъ, а я боюсь деньги-то тратить — дорого, а они послѣднія.

— Какъ-же, неужели вы ей сказали?

— Сохрани Боже, уморить ее что-ли? Все купила, скрѣпя сердце. Вотъ, матушка, подумаешь, племянница, не дай ей Богъ ни дна, ни покрышки! бросила старуху тетку....

— Ну, теперь скажите слава Богу, прервала ее Лина, у насъ все есть. Глядите, сколько денегъ, берите-ка ихъ, да не жалѣйте для нея; всѣ ея капризы исполнить можно — заплатите деньги.

— Царица небесная! воскликнула Анфиса Ильинишна, всплеснувъ руками; откуда это?

— Послѣ скажу, теперь некогда, сказала Лина и отправилась во внутреннія комнаты, все еще слыша возгласы и благословенія старой служанки.

Она прошла маленькую столовую, бѣдную и совершенно лишенную всякаго комфорта, занавѣсовъ на окнахъ и даже шторъ. Только буфетъ простаго дерева, стоявшій въ углу, да круглый столъ въ серединѣ, да пять или шесть плетеныхъ стульевъ составляли меблировку. Далѣе была маленькая гостиная, съ мебелью, обитою полинялою шерстяною матеріею и съ шторами на окнахъ. Двери ея были настежъ отворены въ спальню, убранную очень порядочно и даже кокетливо. Высокая кровать краснаго дерева стояла въ углу; кисейный пологъ, подложенный розовымъ гиркалемъ, осѣнялъ ее, шторы были тоже розовыя, а гардины изъ цвѣтнаго ситцу. Въ углу на этажеркѣ стояло множество доро-

гихъ бездѣлушекъ, свидѣтельствовавшихъ о прежней роскоши, а на стѣнахъ висѣли портреты родственниковъ хозяйки. Нѣсколько покойныхъ креселъ и диванъ оканчивали убранство этой комнаты.

Въ длинныхъ креслахъ, вся обложенная подушками въ батистовыхъ наволочкахъ, лежала Елена Филипповна, сгорбленная и сморщенная. Одѣта она была въ шелковое неглиже, чрезвычайно затѣйливо убранное бантами; щегольской чепецъ ея, множество колецъ на пальцахъ, румяны на впалыхъ щекахъ и тщательно завитые выкрашенные волосы, свидѣтельствовали о ея прежней постоянной страсти къ нарядамъ. Увидѣвъ Лину, она протянула ей руки, закашлялась, и около десяти минутъ не могла произнести ни слова. Лина поцѣловала ея худую морщинистую руку, и поставивъ на столъ картонъ, который принесла съ собою, подала старушкѣ ея питье. Когда она успокоилась и могла говорить, то начала жаловаться на то, что Лина, видно, совсѣмъ забыла ее, если стала приходить къ ней такъ поздно.

Лина открыла картонъ и неотвѣчая ни слова вынула изъ него множество чепчиковъ, манишекъ и шитья, говоря:

— А вотъ, поглядите, отъ чего я опоздала. Вотъ это новомодный воротничекъ broderie anglaise, только-что появилось; а вотъ чепчики и рукавчики — вы просили меня недѣлю назадъ купить ихъ вамъ. Я нынче весь Невскій обѣгала: это самые новые фасоны.

— Старуха принялась все разсматривать съ видимымъ удовольствіемъ и тотчасъ спросила зеркало. Лина побѣжала за нимъ, и долго держала его передъ стару-

хою, которая примѣривала передъ нимъ всѣ чепцы, принесенные Линой. Потомъ повертѣла въ рукахъ всѣ воротнички и манжеты, и медленно отводя ихъ отъ себя рукою, сказала съ тяжелымъ вздохомъ: — Дорого, вѣрно дорого?

— Бездѣлица, возразила Лина, я покупала ихъ не въ магазинѣ, а у швеи — это вдвое дешевле.

— А если у швеи, сказала старуха съ одушевленіемъ, то это не можетъ быть модное. Ужъ если не въ магазинѣ, такъ дрянь!

— Будьте спокойны, возразила Лина, я беру у той швеи, которая все поставляетъ къ M^me^ Д**.

— Будто? сказала старуха, качая головою. Да есть-ли у насъ деньги? Анфиса, а Анфиса!

— Деньги есть, сказала Лина.

— А ты почему знаешь? спросила старуха, удивившись.

— Мнѣ Анфиса Ильинишна говорила, сказала Лина.

— Анфиса вошла въ комнату и объявила, что она за прошлой мѣсяцъ сдѣлала много экономіи и потому барыня можетъ покупать, что ей вздумается.

— Вотъ ты какая капризная, сказала ей Елена Филипповна съ досадой; а намедни я хотѣла въ карты играть съ сосѣдками, такъ говорила: не играйте, денегъ нѣтъ. Ну, да добро, въ другой разъ не подступайся ко мнѣ, не послушаю. — Такъ можно купить это?

— Можно, можно, матушка, покупайте, тѣшьтесь на здоровье!

— Куда ужъ мнѣ тѣшиться! сказала Елена Филип-

повна, кашляя: мнѣ необходимое надо, такъ вотъ я и спрашиваю.

Она опять принялась за шитье, лежавшее передъ ней, долго выбирала, разсматривала, сравнивала и наконецъ отложила въ сторону половину принесенныхъ Линою нарядовъ. Лина глядѣла на нее молча, и было много грусти, смѣшанной съ сожалѣніемъ, въ выраженіи лица ея. — Ну, возми это, снеси назадъ, сказала наконецъ Елена Филипповна, разставаясь печально съ половиною нарядовъ.

— Примите это въ подарокъ отъ меня, сказала Лина.

— Нѣтъ, нѣтъ, Лина, нѣтъ! я не хочу. У тебя не много денегъ, ты не можешь дѣлать такіе подарки. Я не хочу быть тебѣ въ тягость.

— Я купила все это на сбереженныя деньги, говорила Лина, убѣждая старуху; не забудьте, что я получаю большое жалованье, у меня, право, много денегъ, тратить мнѣ ихъ не куда.

Старушка, выслушавъ это, отказывалась слабѣе, наконецъ уступила просьбамъ Лины и поцѣловала ее; потомъ еще разъ пересмотрѣла наряды и бережно сама уложила ихъ въ картонъ. Лина усѣлась около нея, распрашивала ее о домашнихъ обстоятельствахъ, и слушала жалобы старухи, особенно не довольной кухаркою и тѣмъ, что она готовитъ ей однообразно и скудно. Лина утѣшала ее и обѣщалась впередъ сама закупать и завтракъ и обѣдъ.

— Скучно мнѣ очень, говорила старуха, и ѣсть-то не хочется, все одно, да одно, — тебя нѣтъ.

— Я занята поутру, вы знаете.

— Знаю, знаю. Вечеромъ, если тебя и Ливадина нѣтъ, я и въ карты не играю. Намедни пришли сосѣдки, Анфиса говоритъ: не играйте, денегъ нѣтъ. Ужъ такая неспосная! Вотъ онѣ посидѣли, да и ушли. Ужъ очень скучно мнѣ было, Анфиса и привела мнѣ дочку нашей жилицы, той, что надъ нами. Премилый ребенокъ, позабавилъ меня, да поди, сладь съ Анфисой! Приказывала ей непремѣнно купить мнѣ конфектъ, хотѣлось угостить дитя, что жъ ты думаешь? не купила. Ужъ ты, Лина, принеси мнѣ.

— Непремѣнно.

— Ну, а у васъ что новаго?

— Да ничего, все по-старому. Сбираются въ деревню.

— И ты ѣдешь? спросила старуха съ ужасомъ, и не позволяя Линѣ отвѣчать, продолжала: нѣтъ, ужъ нѣтъ, Лина, ты не ѣзди, не оставляй меня одну! я съ тоски пропаду безъ тебя, не доживу, быть можетъ, до твоего возвращенія.

— Я останусь, сказала Лина, будьте покойны!

— Спасибо, милая, ты одна осталась у меня; вотъ Зенеида Львовна едва-ли одинъ разъ въ двѣ недѣли бываетъ, да и то на минуту, ну да Богъ съ ней, что объ ней говорить, только горе, да слезы. Не уѣдешь? обѣщай мнѣ.

— Ни за что васъ не оставлю. Только гдѣ-же мнѣ жить? Вы не любите, чтобы ночевали у васъ въ гостиной, а въ спальнѣ мѣста нѣтъ.

— У насъ наверху отдаются комнаты внаймы, сказала Елена Филипповна, мы спросимъ оцѣнъ. У тебя вѣдь есть деньги?

— Есть, сказала Лина, не совсѣмъ спокойно.

— А давно ты видѣла Юрія Ѳедоровича? Вотъ бы, Лина, выйдти тебѣ за него за-мужъ, да поселиться около меня, — не со мною, у меня квартира тѣсна, да и я привыкла ужъ жить одна, — а въ одномъ домѣ, наверху или внизу. Онъ не богатъ, будетъ продолжать давать уроки, въ чемъ и ты поможешь ему, — оно прожить и можно; а если мало, я помогу: у меня есть мои проценты съ капитала.

Лина едва удержалась отъ улыбки.

— Ужъ больно задумчивъ сталъ Юрій Ѳедоровичъ, продолжала старуха: сгубила ты его Лина, право! Вотъ и Анфиса говоритъ то-же. Анфиса, а Анфиса!

— Не зовите ее, сказала Лина, терзаясь тѣмъ, что старуха, впавъ въ совершенное дѣтство, повѣряла своей горничной все, не только касающееся до себя, но и до другихъ.

— Отъ чего не позвать? Она любитъ тебя, право любитъ, продолжала старуха. Еще намедни, стоя здѣсь, все о тебѣ говорила, что ты и добра-то, и лучше-то тебя никого нѣтъ и что ко мнѣ ты почтительна какъ родная дочь. Ну, это хотя и не совсѣмъ такъ — кто противъ родной дочери! — однако, я отдаю тебѣ справедливость, ты добра ко мнѣ. Долго мы говорили, даже поспорили съ Анфисой; она устала, мочи нѣтъ стоять, вотъ я и говорю ей: присядь, присядь, Анфиса, ноги-то твои

ужъ не молодые, гдѣ тебѣ все стоять, да стоять! — Надо быть доброю къ слугамъ, такъ-ли, Лина?

Лина отвѣчала утвердительно.

— А третьяго дня приходила къ Анфисѣ Маша, горничная Зенеиды Львовны, такъ вотъ ужъ поразсказала, какое житье-то ихъ тамъ! Говорятъ, Леонъ-то Ивановичъ крутъ сталъ со всѣми; иногда въ домѣ подниметъ такой гамъ, такой крикъ; голосъ-то у него здоровенный, какъ закричитъ, точно домъ валится, свѣта преставленіе, говоритъ Маша! А если что за столомъ не понравится, кулакомъ въ блюдо или тарелку пополамъ, да и раскричится на жену: она, видишь, не смотритъ, ничего по хозяйству не знаетъ! А она, сердечная, такъ и задрожитъ, такъ и поблѣднѣетъ, какъ скоро услышитъ его голосъ. Мнѣ и сердиться на нее не слѣдуетъ; точно, она была мнѣ вмѣсто дочери, ну, а теперь одной умирать приходится.

— Меня вы ни за что не считаете? сказала Лина довольно спокойно; видно было, что подобные разговоры не новость ей и повторяются очень часто.

— Я люблю тебя, и вчера еще это все Анфисѣ объясняла, — но все же ты не дочь мнѣ, не родная племянница; какъ можно! ты не моего рода, не моей крови....

— Вотъ, опять! сказала Анфиса, входя въ комнату и накрывая на столъ; иная и родная дочь да не такая покорная и заботливая. Не гнѣвите Бога-то, право. Ну, хотите чайку, у насъ славной чай; а послѣ чаю ужинъ сейчасъ подамъ.

— А какой?

— Бульйонная кашка, жаркое, компотъ.

— Ну, давай.

Лина сдѣлала чай, но старушка только отвѣдала его и спросила ужинъ. Ужинъ принесли.

— Что это ? сказала она съ недовольнымъ видомъ, посматривая на мэленькаго цыпленка и одинъ апельсинъ, осыпанный сахаромъ, который Анфиса назвала пышнымъ именемъ компота.—Да развѣ это ужинъ ? продолжала старуха; да у меня могъ быть Юрій Ѳедоровичъ, да и Лину хочется попотчивать, а тутъ одному ѣсть нечего ! Я не хочу впередъ и слушать о такомъ скряжничествѣ; хотя я живу одна, и не по-прежнему, однако я хочу, чтобы у меня все было, какъ въ порядочномъ домѣ.

Анфиса не отвѣчала ни слова на упреки и приказанія госпожи своей, разсердившейся не на шутку; у взволнованной старухи сдѣлался новый припадокъ кашля и удушья. Лина послала за докторомъ и до поздней ночи просидѣла у изголовья больной, почему и принуждена была почевать у нея.

Когда, на другой день, около восьми часовъ утра, она отворила дверь залы въ домѣ княгини, Огинскій вышелъ къ ней на встрѣчу.

— Я ждалъ васъ, сказалъ онъ; вы провели безсонную ночь ?

— Нѣтъ, сказала Лина тронутая заботливою нѣжностію, съ которою онъ встрѣчалъ ее, я долго засидѣлась у нея и вечеромъ боялась возвращаться одна.

— Что вы мнѣ не сказали? Я самъ пришелъ бы за

вами, я васъ ждалъ до двухъ часовъ ночи. Такія безпокойства, волненія, безсонныя ночи разстроятъ въконецъ здоровье ваше.

Лина слушала съ невольнымъ сердечнымъ трепетомъ полныя нѣжности слова его; она не могла даже благодарить его; но лице ея говорило лучше всякихъ словъ. Онъ взялъ ее за руку, посадилъ въ кресла и просилъ разсказать подробно все то, чего онъ не успѣлъ узнать вчера. Лина многое сказала ему, но далеко не все; онъ впрочемъ угадалъ, съ какимъ великодушіемъ и мужествомъ эта дѣвушка боролась съ нуждою, и день и ночь работала для доставленія всего необходимаго прежней своей покровительницѣ, и даже для удовлетворенія всѣхъ ея прихотей, чтобъ только успокоить ее. Лина была одна изъ тѣхъ женщинъ, которыя не знаютъ границъ въ преданности, и разъ взявъ на себя что-нибудь, доводятъ идею долга до крайности, наслаждаясь въ душѣ своими пожертвованіями. Этой черты ея характера Огинскій еще не зналъ, но онъ уже оцѣнилъ ея доброе сердце и вполнѣ вѣрилъ словамъ ея. Еслибъ Лина въ эту минуту краснорѣчивѣе говорила о себѣ самой, онъ бы конечно весь отдался ей съ настоящаго дня; но она очень мало и очень неохотно отвѣчала на вопросы Огинскаго, касавшіеся до нея самой и до того, чего ей стоило содержать Елену Филипповну. Огинскій просилъ ее не думать о будущемъ, говоря, что онъ съ радостію возьметъ на себя матеріальныя издержки въ ея добромъ дѣлѣ; Лина была тронута его предложеніемъ и съ чувствомъ пожала ему руку, не говоря ни слова. Сердце ея было такъ полно какого-то новаго

упоительнаго чувства, что ей хотѣлось быть одной; ссылаясь на усталость она ушла къ себѣ, и обильныя, но чуждыя печали, слезы оросили лице ея. Сосредоточенность Лины и ея обыкновеніе скрывать отъ всѣхъ, даже и отъ Огинскаго, чувства, волновавшія ее, нисколько не могли подвинуть впередъ склонности Огинскаго къ ней; онъ не умѣлъ замѣтить ея страстнаго волненія и въ глубинѣ души своей упрекалъ ее въ холодности, когда она обливалась въ своей комнатѣ сладкими слезами любви и затаенной, но упояющей надежды,—надежды на взаимность чувства.

Въ тотъ-же день вечеромъ, Огинскій говорилъ Линѣ, хотя и не съ прежнею нѣжностью въ голосѣ, но все же съ ласкою и участіемъ, что въ наступающее лѣто она можетъ успокоиться отъ трудовъ и заботъ своихъ. Лина опечалилась, улыбка слетѣла съ лица ея и она отвѣчала грустно, что старуха не захочетъ отпустить ее, да и сама она не можетъ рѣшиться оставить больную.

— Мой долгъ ходить за нею; я не должна, не могу забыть, что она дала мнѣ воспитаніе и спасла меня отъ нищеты,—теперь моя очередь, говорила Лина.

Всѣ возраженія Огинскаго были напрасны, его просьбы—онъ въ первый разъ просилъ ее—были безполезны: Лина твердила одно, что не можетъ оставить Елены Филипповны. Огинскому не понравилась такая настойчивость; онъ приписалъ ее совершенному равнодушію Лины къ себѣ и сдѣлался задумчивъ. Между тѣмъ дни летѣли и княжна просила дядю назначить день

отъѣзда, надѣясь, что это обстоятельство избавитъ ее отъ Лины; Огинскій отвѣчалъ уклончиво; онъ сказалъ только, что можно начать собираться. — Будто по мановенію волшебнаго жезла, все пришло въ движеніе въ домѣ княгини, и черезъ нѣсколько дней княжна объявила дядѣ, что все готово къ отъѣзду, и она можетъ оставить Петербургъ, хоть завтра. Но Огинскій медлилъ, говоря, что его собственныя дѣла еще не кончены, и холодно смотрѣлъ на приготовленія къ отъѣзду, а Лина, въ продолженіи всего этого времени едва появлявшаяся дома, увидѣвъ ихъ, насилу могла скрыть печаль свою. Положеніе Елены Филипповны становилось все хуже, и Лина проводила дни и ночи у ея постели; она похудѣла и поблѣднѣла, глаза ея потеряли блескъ, а характеръ часть своей твердости. Иногда глаза ея были красны отъ слезъ. Однакожъ она и въ тѣ рѣдкія минуты, когда могла бы говорить съ Огинскимъ, избѣгала его, какъбы рѣшась оставить на его произволъ взаимныя ихъ отношенія и ни однимъ словомъ не привлекать его къ себѣ. Ливадинъ не приходилъ вовсе въ домъ княгини, но былъ безотлучно съ Линой у постели больной.

Однажды утромъ, Лина, выходя со двора, встрѣтилась въ дверяхъ съ Огинскимъ; онъ остановилъ ее.

— Вы спѣшите? сказалъ онъ. Я уже совсѣмъ не вижу васъ.

— Что-же дѣлать? Ей все хуже и хуже.

— Два слова! сказалъ онъ съ нѣкоторой рѣшительностію въ голосѣ; скажите мнѣ правду: грустно ли вамъ будетъ остаться здѣсь?

Она взглянула на него, измѣнилась въ лицѣ и сказала тихо:

— Конечно.

— Я долго думалъ о васъ во всѣ эти дни; я зналъ васъ ребенкомъ въ лучшіе годы жизни моей; вы—звѣно, привязывающее меня къ прошедшему и дѣлающее мнѣ настоящее сноснѣе.

Линѣ было грустно,—не такихъ словъ ждала она, они показались ей холодны; однакожъ она не сдѣлала никакого движенія, не сказала ни слова и скрыла свое чувство. Онъ продолжалъ:

— Я буду очень скучать безъ васъ; я не вижу, зачѣмъ осуждать себя на скучное, далекое путешествіе. Я останусь.

Лина молчала.

— Что-же вы молчите? спросилъ онъ; вамъ все равно?

— Я думаю, сказала Лина съ замираніемъ сердца, что это намѣреніе ваше будетъ непріятно вашему семейству.

Она не знала, что сказать еще, и замолчала, боясь измѣнить себѣ.

— Рѣчь не о моемъ семействѣ,—оно такъ любитъ меня, что ему вездѣ хорошо со мною,—рѣчь идетъ о васъ. Я найму дачу для себя и сестры, мы пріищемъ другую для Елены Филипповны; вѣдь она можетъ переѣхать?

— Докторъ говорилъ вчера, что деревенскій воздухъ

могъ бы быть полезенъ ей; но я не знаю, могу ли, должна ли....

— Какіе пустяки.... Я говорю вамъ, что я хочу этого, сказалъ Огинскій рѣзко. Тонъ его не понравился Линѣ; она не разсудила, что въ немъ было больше привычки говорить такъ съ племянниками, чѣмъ дѣйствительнаго желанія повелѣвать.

— Это будетъ не возможно, отвѣчала Лина, тѣмъ болѣе, что Елена Филипповна не согласится.

— Я прошу васъ, сказалъ Огинскій настойчиво.

Это слово опять примирило съ нимъ Лину. Она въ тотъ-же день говорила съ больной, но послѣдняя ни за что на свѣтѣ не соглашалась ѣхать на дачу. Лина сказала это Огинскому; Огинскій рѣшился тоже не нанимать дачи, и объявилъ сестрѣ и племянницѣ, что не можетъ еще ѣхать въ деревню и проведетъ, вѣроятно, все лѣто въ городѣ. Княжна удивилась и испугалась, но не показала даже и виду неудовольствія.

— Я охотно останусь здѣсь съ вами, сказала она; я понимаю, почему, собравшись, вы не имѣете духу ѣхать. Вамъ тяжело опять жить въ домѣ, гдѣ вы провели столько лѣтъ съ семьей, отъ которой кромѣ маменьки никого не осталось....

Говоря это, она приняла такое грустное выраженіе, что дядя пожалъ ей дружески руку и молча ушелъ къ себѣ. Оставшись одна, княжна порѣшила, что нельзя терять времени и надо еще болѣе сблизиться съ Липинскими, которые могли бы помочь ей бороться съ

этой интригантkой, какъ называла она Лину, еслибъ ея подозрѣнія оказались имѣющими какое-нибудь основаніе. Все возможно, думала княжна, и не мѣшаетъ быть осторожною; онъ что-то часто говоритъ съ ней въ послѣднее время и остался въ городѣ. Зачѣмъ остался онъ!?

Всякое утро, встрѣчая Лину, Огинскій спрашивалъ, какова старушка, и входилъ въ подробности ея положенія. Огинскій не могъ имѣть привязанности къ Еленѣ Филипповнѣ, и Лина была увѣрена, что этой заботливостью онъ хотѣлъ высказать свое возрастающее къ ней самой чувство. Эта увѣренность подѣйствовала на нее благотворно; ея гордость смирилась, обращеніе стало откровеннѣе, и хотя она никогда не переступала простыхъ предѣловъ дружбы, однакожъ сдѣлалась веселѣе и иногда шутила и смѣялась. Эта веселость, такъ свойственная молодости, замѣнивъ обыкновенную ея холодность и суровость, придала блеску ея уму. —Такъ какъ Еленѣ Филипповнѣ было лучше, то Лина по-прежнему шила въ пяльцахъ; но часто игла оставалась неподвижной въ рукахъ ея, и она, крутя шерсть и играя ножницами, охотно разговаривала, если Огинскій садился возлѣ нея, и въ этихъ разговорахъ не замѣчала даже теченія времени; такъ однажды, когда дворецкій, входя въ комнату, провозгласилъ: Кушанье подано! она невольно воскликнула: Какъ поздно! ужели такъ поздно!?

— Что вамъ за дѣло, рано или поздно? сказалъ Огинскій, смѣясь. —Посмотрите, старикъ Кондратій глядитъ на васъ во всѣ глаза и улыбается.

— Вотъ хорошо! сказала Лина, да онъ всегда улы-

бается, его лице уже такъ создано. Знаете ли, однажды вашъ племянникъ не въ шутку разсердился и закричалъ на него за подобный смѣхъ. Бѣдный старикъ обезумѣлъ и остолбенѣлъ, а между тѣмъ улыбка не слетѣла съ губъ его, какъ будто замерла на нихъ.

— Это однако не хорошо со стороны Жоржа, сказалъ Огинскій: неприлично ему бранить старика.

Лина молчала.

— Вы, кажется, терпѣть не можете моего племянника, замѣтилъ Огинскій, и не упускаете случая разсказать объ немъ что-нибудь не совсѣмъ похвальное.

Лина вспыхнула.

— Его любить не за что, и я, конечно, не люблю его, и готова сказать это ему самому, а не только вамъ; но разсказывать что-нибудь съ цѣлью — не въ моихъ привычкахъ и правилахъ.

— Ну, полноте, не сердитесь, сказалъ Огинскій, я пошутилъ. Ужели нельзя пошутить съ вами?

— Такъ нельзя, сказала Лина, укалывая полотно на пяльцахъ.

— Не приказываете, не буду, сказалъ онъ весело: ну, пойдемте.

— Дэйте уколоть. Все утро потеряла я нынче, такъ и быть, завтра дошью.

— Какъ это мило! потеряли утро, потому что говорили со мною.

— Ничего не вышила, ничего! повторила Лина съ

такимъ жалобнымъ и наивнымъ выраженіемъ въ голосѣ, что это напомнило Огинскому ея дѣтскія выходки въ Спасскомъ.

— Вы были и тогда уже очень милы, сказалъ онъ, отвѣчая собственной мысли.

— Гдѣ это? спросила она съ удивленіемъ.

— Въ Спасскомъ.

— Какъ это вамъ пришлось вспомнить Спасское, и какъ залетѣла туда мысль ваша?

— Слушая васъ, глядя на васъ!

Они вошли въ залу, гдѣ вся семья княгини, стоя за стульями передъ столомъ, ожидала Огинскаго.

— Что же ты не садишься, сестра? сказалъ онъ.

— Я тебя ждала, отвѣчала княгиня.

— Я пришелъ бы и послѣ, сказалъ онъ, занимая свое обыкновенное мѣсто между племянницей и сестрою.

Это странное уваженіе, обнаруживаемое предъ Огинскимъ по нѣскольку разъ въ день, въ самыхъ ничтожныхъ, по разнообразныхъ формахъ, уже не удивляло и не поражало его, отъ того-ли, что онъ привыкъ къ нему, или считалъ простымъ изъявленіемъ дружбы. Но Лина не могла привыкнуть къ подобнымъ зрѣлищамъ, и каждый день, все больше и больше, съ чувствомъ, похожимъ на отвращеніе, отдалялась отъ семейства княгини. По странному устройству характера, Лина въ продолженіи всего этого обѣда противорѣчила Огинскому очень рѣзко, не щадила его нисколько и осыпала насмѣшками. Онъ смѣялся и старался отвѣчать ей тѣмъ же; но не такъ приняла это княгиня и дочь ея. Онѣ

нѣсколько разъ переглянулись. Княгиня думала: «какія вольности! Лина съ ума сошла!» а княжна пришла къ заключенію, что видно Лина слишкомъ увѣрена въ своемъ вліяніи на Огинскаго. Послѣ обѣда княжна взяла дядю за руку и увела въ свою комнату, а Лина ушла по обыкновенію къ Еленѣ Филипповнѣ, гдѣ проводила всѣ вечера и нерѣдко часть ночи.

На другой день Огинскій всталъ какъ можно раньше, однакожъ, выйдя въ гостиную, засталъ уже Лину за работой. Но она была серьёзнѣе и молчаливѣе прежняго.

— Полноте шить, сказалъ ей Огинскій нетерпѣливо; нагнули голову, считаете по узору и не слышите, что я говорю, едва отвѣчаете.

— Слышу, право слышу и отвѣчать буду, если только отвѣтъ вамъ нуженъ.

— Развѣ я могу говорить за себя и за васъ? Я не былъ болтуномъ и съ-молоду, а теперь и подавно не могу быть такимъ на старости лѣтъ.

Она улыбнулась, но продолжала шить.

— Или вамъ платятъ за каждый крестикъ?

— Конечно платятъ, отвѣчала она серьёзно. Развѣ вы забыли, что безъ работы я не имѣю средствъ существовать?

Огинскій вспомнилъ грустную дѣйствительность, среди которой находилась Лина, бѣдная и обремененная долгомъ. Онъ посмотрѣлъ на нее очень пристально и сказалъ голосомъ, измѣнившимся отъ внутренняго волненія:

— Будьте же покойны; старуха ни въ чемъ не будетъ нуждаться, я даю вамъ слово.

Лина подняла голову.

— Послушайте меня, сказала она твердо, никогда не говорите этого мнѣ. Это меня огорчаетъ. Въ жизни выше всего долгъ, обязанности.

— Но когда я....

— Но если я буду брать отъ васъ деньги, гдѣ же будетъ исполненіе моего долга? Бѣдныхъ очень много, отдайте имъ свой избытокъ, а я обязана трудиться для Елены Филипповны, пока у меня есть руки, есть голова. Правда, я еще не больше десяти дней назадъ взяла у васъ денегъ для нея, но только потому, что она умирала, а моихъ силъ не доставало работать больше. Я ночи просиживала за пяльцами, но не могла выработать нужной мнѣ суммы, Валентинъ Михайловичъ, и вотъ почему рѣшилась попросить у васъ денегъ. Не забывайте этого!

Еще въ первый разъ Лина говорила о своихъ трудахъ и горькой крайности. Огинскій былъ тронутъ и протянулъ ей руку; но она не видала этого движенія; пылавшая голова ея была наклонена, и она шила съ замѣтно дрожавшими руками. Мало-по-малу, лице ея сдѣлалось блѣдно, потомъ, румянецъ опять вспыхнулъ на немъ, и выраженіе грусти разлилось по чертамъ его.

— Лице ваше поминутно измѣняется, сказалъ Огинскій, о чемъ вы думаете?

— О многомъ.

— О чемъ же именно?

— Какъ вамъ сказать? мысль быстра — она обнимаетъ въ одну минуту огромное пространство времени. Я думала о себѣ, объ этой старухѣ, о васъ и о многихъ намъ близкихъ.... Но мы не довольно еще знаемъ другъ друга, чтобы могли повѣрять другъ другу все, что думаемъ.

— Вы мнѣ не довѣряете?

— Я? О нѣтъ! но не довольно знаю васъ, чтобы все высказывать.

— Вотъ вы какія! возразилъ онъ съ жаромъ и особенно нѣжно; а мнѣ кажется, напротивъ, что я все больше и больше люблю и уважаю васъ.

Глаза Лины блеснули, она хотѣла сказать что-то,— но княжна вошла въ комнату и поздоровавшись съ дядей, протянула Линѣ руку.

— Давно ты за работой? — кажется давно; сколько вышила со вчерашняго дня? А, цѣлый букетъ!

— Спѣшу, сказала Лина.

— И, полно, душа моя, возразила княжна, ласково шутя, сознайся, что это аффектація. И давно ли ты сдѣлалась такою трудолюбивою? Помнишь то время, когда, бывало, маменька проситъ-проситъ тебя заняться съ Сережей и повторить съ нимъ уроки? Бывало, посидишь полъ-часа, да и бросишь.

— Кто молодъ не бывалъ! сказалъ Огинскій.

— Въ томъ-то и дѣло. Лина знаетъ, что я говорю это, не съ намѣреніемъ упрекнуть ее, а просто вспоминаю по сочетанію идей, видя, какъ она теперь изнуряетъ себя работой.

— Не заботься же столько о моемъ здоровьѣ, сказала Лина не безъ иронiи, едва впрочемъ замѣтной: увѣряю тебя, оно очень хорошо.

— Очень вѣрю; но съ тѣхъ поръ, какъ я узнала, — и Богъ знаетъ, почему ты скрывала это! — что ты проводишь безсонныя ночи у Елены Филипповны, и ходишь къ ней въ дождь и грязь пѣшкомъ, я не удивлюсь, если ты и занеможешь. Посмотри на себя — ты пожелтѣла, похудѣла, у тебя уже явились морщины около глазъ: — у другихъ дѣвушекъ въ двадцать семь лѣтъ ихъ нѣтъ еще.

— Я не желаю нравиться никому однимъ лицемъ, сказала Лина спокойно, понимая, что княжна хотѣла уколоть ее и заставить Огинскаго замѣтить, что она уже не молода. Княжна засмѣялась очень простодушно, и смѣхъ ея звучалъ, какъ звучитъ смѣхъ дитяти.

— Это правда, что твой Ливадинъ идеалистъ и для него лишняя морщина не бѣда. Говорятъ, онъ не отходитъ отъ Елены Филипповны: не отъ того ли и ты проводишь тамъ всѣ вечера? Ну, не сердись — я шучу. Въ какомъ небѣ, однако, вы витали вчера, въ седьмомъ или восьмомъ?

— Я очень уважаю Ливадина, сказала Лина холодно, и не понимаю, чѣмъ онъ подалъ тебѣ поводъ смѣяться надъ собою. Ливадина *всѣ* должны уважать; онъ трудится день и ночь, поддерживаетъ свое семейство, и сама я многимъ ему обязана.

— Никто и не говоритъ противъ него, сказала княжна, совершенно кротко; извини меня, если моя невинная шутка оскорбила твое къ нему чувство.

Это послѣднее слово разсердило Лину окончательно. Чувствуя, что Огинскій глядѣлъ на нее, она покраснѣла. Казалось, онъ ждалъ отвѣта ея съ нетерпѣніемъ, — но она молчала и шила. Княжна принялась разливать чай.

— Отъ чего вы разсердились? шепнулъ Огинскій Линѣ; я ужь не въ первый разъ замѣчаю, что вы легко обижаетесь. Она не имѣла намѣренія сказать вамъ непріятное.

Лина молчала.

— Вы привязаны къ Ливадину? спросилъ онъ опять.

— Очень, сказала Лина кротко, съ худо скрытой досадой, которая овладѣла ею, при видѣ, что Огинскій ничего не понимаетъ, заступаясь за княжну.

— Все равно, отвѣчалъ онъ наставительнымъ тономъ, сердиться не за что; всѣ ему отдаютъ справедливость, но нельзя же видѣть въ немъ совершенство, идеалъ. — Сердиться, значитъ не понимать шутки.

— Я не люблю шутокъ, произнесла она рѣзко.

— Это капризъ, или..... или.....

— Что? спросила Лина быстро.

— Болѣе нѣжное чувство, въ которомъ дѣвушки не любятъ признаваться.

— Въ обоихъ случаяхъ я права, сказала Лина; — я ужъ не ребенокъ и могу имѣть свои привычки, которыя вамъ угодно было назвать капризомъ. Если-же во мнѣ оскорбили то, что вы назвали, такъ деликатно,

болѣе нѣжнымъ чувствомъ, то оскорбившіе это чувство все таки виноваты.

Въ эту самую минуту слуга вошелъ въ комнату и подалъ Линѣ записку. Она прочла ее и поспѣшно встала.

— Куда вы? спросилъ ее Огинскій.

— Къ Еленѣ Филипповнѣ,—ей хуже. За мной пришелъ Ливадинъ.

— Вы ѣдете съ нимъ ?

— Да,—старушка прислала его за мной.

Огинскій молчалъ,—Лина хотѣла выйти, онъ остановилъ ее.

— Зачѣмъ Ливадинъ не вошелъ сюда?

— Я не знаю; быть можетъ, онъ не считаетъ приличнымъ прійти къ княгинѣ такъ рано.

— Но прилично-ли ему приходить такъ рано къ вамъ? Подумали ли вы, что встрѣчая васъ всегда съ нимъ, и утромъ и поздно ночью, объ васъ могутъ судить дурно.

— Мнѣ все равно, сказала Лина; пусть посторонніе думаютъ, что хотятъ, а близкіе *должны* знать меня.

— Все это такъ, но право вамъ лучше ѣхать въ каретѣ княгини; я велю заложить ее.

— Нѣтъ, я никогда не беру кареты княгини.

— Но это приличнѣе, право приличнѣе !

— Какой тонъ педагога ! сказала Лина. Знаете ли, если вамъ такъ хочется исправлять кого-нибудь, начните съ себя.

— Развѣ я кажусь вамъ такимъ несноснымъ? спросилъ у ней Огинскій серьёзно.

— Нѣтъ, сказала Лина, смягчаясь, но совѣтъ дѣло самое щекотливое; онъ неоцѣненъ, когда его просятъ, и несносенъ, когда съ нимъ навязываются. Впрочемъ я не виню васъ—васъ пріучили давать совѣты и повелѣвать, но я горда, независима и не люблю совѣтовъ. Поставленная въ жизни одиноко, безъ семьи, безъ отца и матери, я купила грустное право независимости цѣною одиночества цѣлой жизни. Я берегу мою независимость, потому и хочу покориться добровольно, хочу имѣть счастіе—самой отказаться отъ моей свободы.

— Для кого?

— Нужно ли спрашивать? сказала она; разумѣется, для того, кого я полюблю. Но прощайте, я спѣшу.

Огинскій ждалъ ее вечеромъ, но она не возвратилась.

Пришедши къ старухѣ, Лина нашла ее въ-забытьи; она громко стонала и ея тяжелое дыханіе было похоже на хрипѣніе умирающаго. Это почти безнадежное положеніе больной поразило Лину. Она сѣла у постели, а подлѣ нея безмолвно помѣстился Ливадинъ. Анфиса Ильинишна плакала, подгорюнившись, у окна. На вопросъ Лины, былъ ли докторъ, Анфиса Ильинишна отвѣчала, что еще вчера вечеромъ ходила къ нему, что онъ обѣщался быть и не бывалъ до сихъ поръ.

— Что-жъ это значитъ? спросила Лина.

— А Богъ вѣсть, матушка, кто его знаетъ! Мы ему ужъ больно много должны; быть можетъ, онъ потому и не ѣдетъ.

— Не можетъ быть! воскликнула Лина.

— Какъ же; мы за всю зиму не платили, а недѣлю назадъ, когда я ему сказала, что Богъ наградитъ его за доброе дѣло, онъ пріостановился, такъ-то странно взглянулъ на меня, и сталъ разспрашивать о Зенеидѣ Львовнѣ, замѣтилъ, будто не нарочно, что она очень богата, и вѣроятно не броситъ тетки.

— За чѣмъ-же вы говорили ему такимъ образомъ? сказала Лина, вѣдь я вамъ принесла полторы тысячи.

— Матушка барышня, мнѣ что-ли нужны ваши деньги? Помилуйте, я ужъ въ могилу гляжу, да и съ молоду-то въ маковой росинкѣ была неповинна.

— Знаю, сказала Лина, прерывая старую горничную, которой причитаньямъ конца не предвидѣлось; я просто спрашиваю у васъ, куда вы истратили деньги. Надо же мнѣ знать, сколько ихъ осталось и распорядиться.

— Вся недолга, матушка, вотъ счетецъ.

— Побойтесь Бога, куда мнѣ теперь счеты разсматривать! Надо думать, что дѣлать, — говорите скорѣй, но безъ подробностей.

— Триста рублей отдано въ лавочку — ужъ намъ тамъ больше и не вѣрили; двѣсти пятьдесятъ въ аптеку, гдѣ намъ по знакомству, да по рекомендаціи Юлія Ѳедоровича, въ долгъ вѣрили; двѣсти пятьдесятъ заплачено за квартиру — за прошлую треть года, да хозяинъ требовалъ впередъ, за цѣлые шесть мѣсяцовъ, — старуха, говоритъ, бездѣтная, умретъ, потомъ и деньги пропадутъ пожалуй, — дала впередъ цѣлыхъ двѣсти пятьдесятъ рублей, какъ по условію сказано; ну, считайте сами,

вотъ уже... уже... тысяча пятьдесятъ; на сто рублей сами вы купили всякаго тряпья, прости Господи, чтобы ее, нашу голубушку, потѣшить: что же оставалось-то? Триста пятьдесятъ рублей! а тому уже три недѣли почитай будетъ—рублей сто истрачено. Нельзя же остаться при пустыхъ рукахъ.

— Что слѣдуетъ доктору?

— Да за пятьдесятъ визитовъ,—у меня все въ аккуратности записано.

Лина задумалась.

— Я поѣду и привезу моего хорошаго знакомаго, очень опытнаго медика, сказалъ Ливадинъ, а послѣ какъ-нибудь мы заплатимъ вашему; теперь у меня такой суммы нѣтъ. Вѣдь это пятьсотъ рублей!

— Да она съ другимъ-то докторомъ и слова не скажетъ, право, да еще разсердится. Она только въ Осипа Осиповича и вѣрустъ.

— Она теперь въ-забытьи, сказалъ Ливадинъ.

— Что это, батюшка? опомнится, Богъ милостивъ,— опомнится и спроситъ Осипа Осиповича. Богъ прости ему интересанской его нравъ, деньгу любитъ онъ, а знаетъ ея комплекцію.

— Съѣздите къ нему, скажите, что я заплачу ему— попросите только пріѣхать.

— Непремѣнно; только теперь его дома нѣтъ—повремените до вечера.

— Боюсь я, не стало бы ей хуже.

— Не безпокойтесь-же, Александра Петровна, болѣзнь хроническая.

— Да хотѣла я вамъ, матушка барышня, сказать, чтобы вы были поосторожнѣе. Наша голубушка-то не совсѣмъ покойна, часто стала о деньгахъ поговаривать: откуда, говоритъ, то, откуда это, когда три недѣли назадъ ничего, бывало, не добьюсь?

— Да что такое то или это?

— Обыкновенно что! ея любимые блюда подаю ей, хотя она и не много кушаетъ, а такъ чтобы потѣшить. На бѣду нашу, къ ней повадилась сосѣдка ходить и разсказываетъ ей, что припасы больно дорого стоятъ.

— Шт..... сказалъ Ливадинъ, она повернула голову, —не пришла ли въ себя!

Лина нагнулась къ больной, но она лежала неподвижно съ закрытыми глазами.

— Что-же вы ей сказали?

— Извѣстно, лгала на удачу. То говорю купила, а это Юрій Ѳедоровичъ принесъ. Она благородная такая, сами знаете, въ богатствѣ взросла, —строго-на-строго заказывала мнѣ ничего не принимать отъ Юрія Ѳедоровича: это, говоритъ, намъ не пристало, онъ человѣкъ не богатый, трудами живетъ. Вы, батюшка, не обижайтесь, прибавила Анфиса, обращаясь къ Ливадину.

— Вы бы сказали, что Зенеида Львовна прислала.

— А отъ нея-то, матушка, и подавно не приметъ! Къ слову, хотѣла я спросить у васъ, не послать ли за ней? Елена-то Филипповна плоха очень.

— Да, конечно, сходите, пока мы оба здѣсь.

Анфиса Ильинишна отправилась тихонько, а Лина придвинулась къ кровати старушки и шопотомъ гово-

рила съ Ливадинымъ; мало-по-малу, сама того не замѣчая, она возвысила голосъ.

— Поймите, что мнѣ больше чѣмъ тяжело опять просить денегъ у Огинскаго, говорила она съ раскраснѣвшимися щеками. — Я не хочу брать у него денегъ, какъ всѣ тѣ, которые окружаютъ его.

— Но вѣдь это не для себя!

— Еще бы! сказала она; я скорѣе соглашусь умереть съ голоду, чѣмъ попросить у него денегъ для себя.

— А говорите, что дружны съ нимъ!

— Дружба дружбой, а деньги деньгами. Это всегда было мое правило.

Оба они задумались; Ливадинъ перебиралъ въ умѣ всѣхъ своихъ знакомыхъ, соображая, нельзя ли у кого-нибудь изъ нихъ занять порядочную сумму; но всѣ они, какъ онъ самъ, были не богаты и жили день за день трудами своими, а многіе были еще обременены и семействомъ. Лина думала, что она должна большую сумму Ливадину, и что еслибъ онъ могъ, то давно нашелъ бы денегъ, безъ ея о томъ просьбы.

— Бѣда наша въ томъ, сказалъ наконецъ Ливадинъ, что теперь лѣто, и всѣ мои ученики и ученицы разъѣхались, — а то я попросилъ бы денегъ впередъ. Какъ ни думайте, теперь взять ихъ негдѣ, кромѣ Зенеиды Львовны.

— Никогда! воскликнула Лина съ жаромъ. — Я избавлю себя и Елену Филипповну отъ послѣдняго оскорбленія, а ихъ отъ новой низости: они откажутъ. Я рѣшилась;

когда-нибудь я заплачу Огинскому, хотя бы то было цѣною трудовъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ.

— Успокойтесь; я не смѣлъ совѣтовать, но теперь скажу прямо: это наше единственное спасеніе. Мы заплатимъ ему, Александра Петровна, заплатимъ, моя добрая, моя милая Александра Петровна, не печальтесь, не безпокойтесь.

Лина взглянула на Ливадина съ величайшей нѣжностію, но не сказала ни слова.

— Пусть она умретъ какъ жила, не зная нужды и заботъ! продолжала Лина, помолчавъ немного; поѣзжайте сей-часъ къ Огинскому, скажите ему...или нѣтъ,— дайте мнѣ карандашъ, я напишу ему два слова.

— Если онъ человѣкъ благородный, то пойметъ васъ, сказалъ Ливадинъ, вырывая листокъ изъ записной своей книжки.

— Я не сомнѣваюсь въ немъ, но мнѣ противно все его окружающее.—Впрочемъ, неумѣстная гордость отказываться теперь поэтому только отъ его пособій; лучше, если истратитъ онъ деньги на больную старуху, чѣмъ на карты и долги племянника, на кружева и шитье княжны, и на роскошь ихъ дома.

Она сложила записку, отдала ее Ливадину; Ливадинъ поспѣшно вышелъ. По уходѣ его она осталась одна у постели больной. Глубокое молчаніе царствовало въ комнатѣ; старушка лежала лицемъ къ стѣнѣ и уже давно не хрипѣла; однако страшные звуки, похожіе на трудное дыханіе или на вздохи, скоро заставили Лину встать и заглянуть ей въ лице, которое было обращено

къ стѣнѣ. Услышавъ движеніе Лины, Елена Филипповна обернулась къ ней и чуть слышно прошептала:

— Лина, а Лина, это ты?

— Что вамъ угодно? сказала обрадованная Лина. Вы проснулись?

— Помоги мнѣ привстать.

Лина поддержала ее, и едва скрыла навернувшіяся на глазахъ слезы, при видѣ лица больной. Это лице было мертвенно-жёлто, морщины глубоко прорѣзывали его, и сухая кожа обтягивала носъ и лежала складками на впалыхъ щекахъ. Некрашенные въ продолженіи нѣсколькихъ дней волосы выбились изъ-подъ ночнаго красиваго чепчика, и, то сѣдыми, то красноватыми, полуполинявшими прядями спускались по щекамъ.

— Я очень плоха, Лина! произнесла она чуть внятно.

— Богъ милостивъ... скоро прійдетъ докторъ.... вамъ будетъ лучше.

— Онъ давно не былъ.

— Мы послали, сей-часъ пріѣдетъ.

— Пора, пора мнѣ отдохнуть!

— Усните, сказала Лина.

Старуха силилась улыбнуться, но не могла. Горькія, обильныя слезы вдругъ оросили лице ея и она прошептала:

— Засну совсѣмъ.

Потомъ, положивъ исхудалую руку свою на голову наклонившейся къ ней Лины, она сказала громче и тверже прежняго:

— Благословляю тебя, дочь моя... дочь моя!...

Въ первой разъ въ жизни старуха называла такъ Лину. Голова ея упала отъ изнеможенія на подушку, но она вскорѣ сказала, хотя съ усиліемъ, однакожъ очень громко:

— Священника !

Съ этимъ словомъ, ей сдѣлалось дурно. Лина была одна, но не потерялась, увидя передъ собою Елену Филипповну безъ всякаго признака жизни. Она начала оттирать ее и черезъ нѣсколько времени привела въ чувство.

— Послала? спросила старуха.

— Не безпокойтесь, сію минуту придетъ. — Чего вы испугались? опасности нѣтъ, это только слабость.

Погруженная въ какую-то апатію, Елена Филипповна не слыхала словъ Лины и лежала неподвижно. Ливадинъ воротился съ большимъ пакетомъ денегъ; Лина послала его за священникомъ. Священникъ вскорѣ явился. Вся въ слезахъ, Лина подошла къ старухѣ, взяла ее за руку, и сказала тихо и нѣжно:

— Вы хотѣли видѣть священника, — онъ здѣсь.

Умирающая вздрогнула, поднялась сама собою и безъ чужой помощи сѣла на постели. Оглянувшись кругомъ и увидѣвъ стоявшаго въ дверяхъ священника, она ужаснулась и упала на подушки. Лина не ожидала, чтобы видъ священника произвелъ на нее такое страшное впечатлѣніе, и сдѣлала ему знакъ выйдти въ другую комнату. Черезъ нѣсколько минутъ, Елена Филипповна, будто собравшись съ силами, сказала, заливаясь слезами:

— Я готова, позови его.

Долго говорилъ священникъ съ умирающею; казалось, утѣшительныя слова его нѣсколько успокоили и примирили Елену Филипповну съ мыслію о близкой смерти; она отложила однако исполненіе послѣдняго долга до утра слѣдующаго дня, говоря, что хочетъ приготовиться къ этому надлежащимъ образомъ.

Когда священникъ ушелъ, Елена Филипповна спросила-было зеркало; но вдругъ, испугавшись, сказала: не надо! я страшна, неправда ли?

— Нѣтъ, сказала Лина, въ смущеніи отъ мысли, что если Елена Филипповна взглянетъ на себя въ зеркало, то не вынесетъ собственнаго вида: —нѣтъ, но вы блѣдны и похудѣли немного.

Старуха молчала.

— Анфиса! сказала она, спустя немного времени, дай мнѣ чепецъ, тотъ, что Лина мнѣ подарила, да новую кофту, сшитую Линой и ея же одѣяло. Хочу умереть во всемъ твоемъ, продолжала она, обращаясь къ Линѣ, потому, что здѣсь все твое.

Тонъ этихъ словъ отзывался особенной нѣжностію и умиленіемъ. Лина плакала.

— Полно, сказала ей старуха, не разстрой меня совсѣмъ; ты видишь, я ужъ и такъ.... Я не благодарю, но чувствую.... чувствую.... теперь поди—я одѣнусь.

— Анфиса, прошептала она, подбери мнѣ волосы, да нарумянь меня.

Черезъ нѣсколько времени Елена Филипповна леч. III. 7

жала въ полномъ нарядѣ на щегольской постели; только страшно было видѣть потухавшіе глаза ея и искусственный румянецъ щекъ, едва прикрывавшій смертельную ихъ блѣдность. Исхудалыя руки, покрытыя кольцами, были сложены крестомъ.

— Я готова, сказала она входящей Линѣ, только должна еще исполнить одинъ долгъ, долгъ общежитія, а потомъ.... она хотѣла махнуть рукой, но рука ея, безжизненная, едва обтянутая кожей, упала и легла вдоль ея тѣла.

— Пошли за Огинскимъ, прибавила она съ усиліемъ.

Лина остолбенѣла и не вѣрила своему слуху.

— Пошли за Огинскимъ! повторила старуха, видя изумленіе Лины: я все знаю, все слышала. Богъ не допустилъ меня умереть неблагодарной.

Смущенная и опечаленная Лина, опасаясь раздражить больную противорѣчіемъ и вопросами, вышла изъ комнаты и написала тотчасъ къ Огинскому.

Глубокое молчаніе царствовало въ комнатѣ больной; она лежала, закрывъ глаза, и не шевелилась. Анфиса Ильинишна, не могши удержать своихъ рыданій, вышла въ сосѣдній покой; Ливадинъ шопотомъ утѣшалъ Лину и сѣлъ подѣ нея.

Такъ прошло болѣе часу. Шумъ въ передней вывелъ Лину изъ глубокой задумчивости, въ которую она была погружена; она вышла и, встрѣтивъ Огинскаго, ввела его въ комнату. Огинскій былъ блѣденъ и разстроенъ.

Елена Филипповна, услышавъ шаги входящихъ, подняла глаза, остановила ихъ на немъ и силилась про-

тянуть ему руку. Онъ поцѣловалъ ее молча, и не могши пересилить внутренняго волненія, вынужденъ былъ сѣсть.

— Благодарю васъ! сказала ему старуха съ видимымъ усиліемъ надъ собою. — Я все знаю. Простите меня, если я когда-нибудь сдѣлала вамъ зло; я не хотѣла, но должна была поступать такъ, какъ поступала; я не виновата, но прошу у васъ прощенія, потому что обѣщала духовному отцу примириться со всѣми. Надѣюсь, что за это Богъ проститъ мои прегрѣшенія. Благодарю васъ за помощь.... она остановилась и погодя не много, выговорила не безъ свѣтскаго достоинства: за милостыню !...

Горечью переполнено было слово это; оно ускорило останавливавшееся біеніе ея сердца. Смерть не уничтожала мелочности характера старухи: униженная, думая возвыситься этимъ, она напротивъ унижала себя еще болѣе и съ какой-то раздирающей ироніей не жалѣла выраженій для обозначенія того, что она считала конечнымъ для себя уничиженіемъ. Она замолчала, — никто не смѣлъ прервать нити ея мыслей, — но потомъ, погодя немного, продолжала спокойнѣе:

— Лина, отъ тебя мнѣ принять не стыдно, я считаю тебя дочерью. Если будешь богата, заплати Огинскому *нашъ* долгъ; если-же нѣтъ, Богъ ему заплатитъ. Лина ! Богъ да благословитъ тебя, за все, за все !

Сказавъ это, она опять умолкла, но черезъ нѣсколько времени взглянула вновь на Огинскаго и сказала:

— Я не любила васъ, но зла не желала вамъ никогда; вы меня прощаете ?

Онъ взялъ ея руку и молча поцѣловалъ; онъ не могъ говорить.

Въ это время въ дверяхъ показалась маленькая, худенькая и уже не молодая женщина; она была чрезвычайно нарядно одѣта, и вела за руку дѣвочку лѣтъ десяти. Огинскій обернулся, и скорѣе сердце, чѣмъ глаза сказали ему, что эта женщина – Зенеида. Она тоже съ одного взгляда узнала его, поблѣднѣла какъ полотно, задрожала всѣмъ тѣломъ и оперлась на стулъ, который покачнулся отъ неожиданнаго бремени. Лина взяла ее за руку и подвела къ умирающей. Зенеида упала на колѣна, спрятала голову свою въ постель больной, и глухія ея рыданія заглушили слова старухи. Она судорожно цѣловала руки и ноги ея. Огинскій около минуты стоялъ неподвижно и глядѣлъ на нее, потомъ какъ бы вдругъ опомнившись, вышелъ изъ комнаты.

На другой день Елена Филипповна умерла.

ГЛАВА V.

Когда послѣ всѣхъ этихъ происшествій Лина встрѣтилась съ Огинскимъ, онъ больше чѣмъ дружески привѣтствовалъ ее, и при первыхъ словахъ, которыми она хотѣла высказать свою благодарность, просилъ ее молчать и вѣрить, что нѣтъ просьбы, въ которой бы онъ могъ отказать ей.

Послѣ смерти Елены Филипповны, Лина была совершенно свободна и цѣлые вечера проводила дома. Ливадинъ, привыкшій не оставлять ея въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль, сталъ приходить каждый вечеръ въ домъ княгини. Это былъ очень странный человѣкъ и объяснить совершенно его характеръ было бы трудно. Знакомство его съ Линой началось за нѣсколько лѣтъ назадъ, когда онъ въ качествѣ учителя русской словесности давалъ уроки ей и княжнѣ. Ливадина нельзя было назвать человѣкомъ вполнѣ образованнымъ, онъ учился кой-

чему и кое-какъ, не потому, что не имѣлъ способностей или желанія учиться, а потому, что не имѣлъ къ тому способовъ. Онъ былъ изъ того жалкаго класса общества, который, потерявъ свое богатство, но помня о когда-то существовавшихъ помѣстьяхъ, прежнемъ барствѣ и будто бы древнемъ имени, не можетъ рѣшиться помириться съ своимъ настоящимъ положеніемъ и считаетъ униженіемъ отдавать дѣтей въ училище съ мѣщанами, да ремесленниками. Въ слѣдствіе этого принципа, Ливадинъ росъ безъ призору и учился урывками, такъ что когда, для поддержанія существованія матери своей, ему пришлось выбирать родъ службы, или какую-бы то ни было должность, онъ едва выдержалъ, да и то послѣ неимовѣрныхъ трудовъ и стараній, экзаменъ свой и получилъ дипломъ на званіе учителя. Съ помощію уцѣлѣвшихъ протекцій, онъ наконецъ добился незначительнаго мѣста на службѣ, да двухъ, трехъ уроковъ; скоро его кроткое обращеніе съ дѣтьми, трудолюбіе и аккуратность снискали ему любовь и уваженіе родителей. Изъ одного дома слухъ о его качествахъ переходилъ въ другой, и скоро Ливадинъ имѣлъ уроковъ больше, чѣмъ сколько ему было нужно. Не смотря однако на недостаточность образованія, онъ давно отказался отъ всѣхъ нелѣпыхъ предразсудковъ, которыми была заражена мать его; онъ старался читать, чего не понималъ умомъ, то угадывалъ сердцемъ, изъ чего не могъ сдѣлать выводовъ, то чувствовалъ. Мать, зараженная привычками барства, праздности, пустаго чванства, хотя и была всѣмъ обязана сыну, однако не могла переносить хладнокровно своего положенія и отравляла минуты его отдыха своими

причитаньями. Сперва онъ доказывалъ ей всю ложность взгляда ея на вещи, потомъ утомился и слушалъ молча, не только ея жалобы, но и упреки. Характеръ Ливадина не могъ равняться его сердцу, которое было чисто, нѣжно, и неподкупно, — онъ былъ слабъ, и домашняя борьба утомила его. Быть можетъ, эта усталость, соединенная съ убѣжденіемъ, что онъ ничего не знаетъ, и былъ бы другой человѣкъ, еслибъ учился основательно, придавала его наружности ту робость и внушающую сожалѣніе осанку, которыя бросались всѣмъ въ глаза при первомъ знакомствѣ. Давая уроки Линѣ, онъ сильно привязался къ ней, позднѣе сошелся ближе и наконецъ ей одной высказалъ свое положеніе. Сначала Лина жалѣла его, и только позднѣе научилась уважать его. Узнавъ его геройское труженичество, его безустанную дѣятельность, его усилія доставить довольство и спокойствіе семейству, отъ котораго не видѣлъ ни благодарности, ни нѣжности, Лина научилась цѣнить вполнѣ не только его сердце, но и его постоянство въ трудѣ.

Когда сама Лина принуждена была работать, чтобы поддержать Елену Филипповну, она рѣшилась обратиться къ Ливадину съ просьбой доставить ей уроки. Ливадинъ исполнилъ просьбу ея съ величайшимъ удовольствіемъ. Это повело ихъ къ большей взаимной откровенности. Тогда Ливадинъ явился въ блескѣ предъ глазами удивленной Лины; онъ работалъ за двоихъ, работалъ день и ночь, успѣвалъ заработывать вдвое противъ обыкновеннаго и, не отнимая ни копейки отъ той суммы, которую обыкновенно назначалъ на содержаніе

своей семьи, могъ давать порядочное количество денегъ Линѣ, или лучше сказать Еленѣ Филиповнѣ, и въ такомъ случаѣ приходилъ къ Линѣ съ сіяющимъ лицомъ и предлагалъ свое пожертвованіе съ простотою дитяти. Лина поняла, что слово благодарности, или неумѣстная деликатность могутъ только оскорбить такое сердце, какъ его, и умѣла принять его преданность также великодушно, какъ она была ей предложена. Она платила за нее чувствомъ глубокаго уваженія, дружбы, преданности, и только мысль, что онъ питалъ къ ней не простую дружбу, но чувство болѣе нѣжное, порой смущала ее и сильно тревожила. Но какъ онъ ни одного раза не намекнулъ ей о любви своей, то она льстила себя несбыточной надеждой, что любовь его угаснетъ и перейдетъ въ болѣе спокойное чувство. Таковы были взаимныя отношенія ихъ, когда пріѣхалъ Огинскій.

Каждый вечеръ, Ливадинъ, приходя въ домъ княгини, находилъ Огинскаго съ Линой; но не смотря на эти частыя свиданія, они остались чуждыми другъ другу. Лина, казалось, понимала, что эти два человѣка, показывавшіе привязанность къ ней, не могутъ найдти точки соприкосновенія въ своихъ характерахъ, мнѣніяхъ или привычкахъ; однако-жъ должна была довольствоваться лишь сознаніемъ, что одинъ изъ нихъ совершенно преданъ ей, а другой показываетъ чрезвычайное участіе. Когда Ливадинъ приходилъ вечеромъ, общій разговоръ, завязывавшійся, благодаря Линѣ, едва-едва тянулся между ними и скоро, не смотря на ея старанія поддержать его, прекращался. Ливадинъ молчалъ, Огинскій задумывался, потомъ вставалъ, уходилъ и не возвращался.

Лина не могла не замѣтить этого, но не сообщала своихъ замѣчаній Ливадину, Ливадинъ же былъ такъ скроменъ, что никогда не говорилъ о томъ, чего у него не спрашивали, или о чемъ ему не давали повода говорить. Внутренно онъ всегда былъ очень доволенъ отсутствіемъ Огинскаго, подвигалъ ближе стулъ свой къ рабочему столику Лины и начиналъ — не разговоръ, а тотъ неуловимый и необъяснимый обмѣнъ чувствъ, который производится всѣмъ и ни чѣмъ особенно. Надо ли было дѣлать узоръ — онъ принимался за карандашъ и до тѣхъ поръ не оставлять его, пока въ точности не исполнялъ желанія Лины въ самыхъ малѣйшихъ подробностяхъ. Шила ли она пристально и была молчалива — онъ готовъ былъ сидѣть молча цѣлые часы, не рѣшаясь прерывать думы ея, и слѣдилъ съ упоеніемъ за всякимъ ея движеніемъ. Хотѣла ли она говорить — онъ пересказывалъ ей всѣ занятія утра, упоминалъ спокойно, съ простотою, о трудахъ своихъ, изрѣдка повѣрялъ свои далекія надежды на будущее, гдѣ устройство матери и сестры играло главную роль, и гдѣ Лина, какъ легко могла понять, сама занимала то мѣсто, о которомъ не смѣютъ намекнуть, не смѣютъ думать и даже признаваться себѣ, но которое постоянно живетъ въ думахъ трудящагося. Иногда, находя, что Лина печальна, онъ старался отгадать, о чемъ могла она печалиться, и до тѣхъ поръ не былъ спокоенъ, пока не изобрѣталъ разговора, который могъ бы разсѣять ее. Казалось, что и самый капризъ ея могъ навѣять на него одно желаніе: — желаніе угодить ей, во что бы то ни стало. Она все это видѣла, цѣнила, и въ ея обращеніи съ нимъ обна-

руживался всегда оттѣнокъ нѣжной благодарности; она была къ нему всегда равно ласкова, равно внимательна и только съ нимъ рѣзкость ея характера пропадала совершенно. — Никакъ нельзя было сказать того же объ отношеніяхъ Лины съ Огинскимъ; читатель видѣлъ, какъ они были до сихъ поръ разнообразны, шатки, измѣнчивы; послѣ смерти Елены Филипповны, эти отношенія стали конечно ближе и нѣжнѣе, но Лина не отступала отъ своего правила не поддаваться ни въ чемъ Огинскому и, сквозь ея невольную къ нему нѣжность, просвѣчивала гордость ея твердой, самостоятельной, рѣзкой натуры. Отъ того ли, или отъ подозрительности и нерѣшительности (онъ боялся инстинктивно довѣрять себѣ и своимъ чувствамъ), онъ самъ никогда не высказывался, его надо было угадывать. Лина могла бы сдѣлать это, но не хотѣла. Гибкости не было ни въ ея умѣ, ни въ ея правилахъ, которыя были непреклонно тверды и неподкупны. Она знала, что ея положеніе въ обществѣ таково, что ее долженъ угадывать Огинскій, а не она его; къ тому-же онъ былъ окруженъ цѣлымъ семействомъ угодниковъ и цѣлымъ кружкомъ подобострастныхъ лицъ, а Лина вмѣняла себѣ въ наслажденіе рѣзко отличаться отъ нихъ.

Однажды, видя Лину задумчивѣе обыкновеннаго, Огинскій спросилъ у ней:

— Ужели вы любили эту старуху? вы такъ грустите о ней!

— Любила, сказала Лина; къ тому же у ней никого, кромѣ меня, не было.

— Это для меня непонятно; покойница была ужасно суетна и страшная эгоистка.

— Можетъ быть, но не мнѣ судить ее. Я была ей обязана и не могла забыть этого, равно какъ и того, въ какой мѣрѣ она была всѣми оставлена.

— Ваша любовь была, стало быть, одно сожалѣніе?

— Не знаю; я не люблю безпрестанно себя анализировать.

— Также какъ и говорить о своихъ чувствахъ.

— Я, однако, не скрытна, замѣтила Лина; но зачѣмъ говорить безъ нужды?

— Это значитъ жить въ одиночествѣ, хотя и посреди людей.

— Но развѣ мое назначеніе до сихъ поръ было иное? сказала Лина грустно.

— Вы можете выйдти замужъ. Развѣ вы объ этомъ не думали?

— Какъ не думать, сказала Лина просто, но у меня на это свои требованія, а сама я не въ состояніи, быть можетъ, осуществить, чего требую.

Огинскій быстро взглянулъ на нее; ему пришло въ голову, что она кокетничаетъ, и это подозрѣніе такъ непріятно его затронуло, что онъ въ ту-же минуту почувствовалъ къ ней холодность. Со времени своего разрыва съ Ельцовой онъ возненавидѣлъ женское кокетство. Впрочемъ пристальный и проницательный взглядъ его на Лину успокоилъ его. Она сидѣла, нагнувшись надъ работой, рѣсницы ея были опущены, лицо спокойно, хотя и грустно, а говорила она просто, безъ ужимокъ

и затѣй. Огинскій невольно залюбовался выраженіемъ лица ея и разсматривалъ едва ли не суровыя линіи сжатыхъ, но полныхъ губъ ея, въ которыхъ доброта преобладала надъ строгостію. Онъ находилъ лице Лины прекраснымъ. «И не знать цѣны себѣ»! подумалъ онъ и продолжалъ смотрѣть на нее. Этотъ упорно устремленный на нее взглядъ привлекъ ея собственный, глаза ихъ встрѣтились. Мгновенно жаркій румянецъ покрылъ ея блѣдныя щеки и она спросила его, усиливаясь придать словамъ своимъ шуточный тонъ:

— Что вы такъ глядите на меня? Ужели не видали до сихъ поръ?

— Никогда не видалъ васъ такою привлекательною, право такъ.

— Комплименты! сказала Лина, чувствуя, что говоритъ ложь.

— Нѣтъ, я никогда не умѣлъ говорить комплиментовъ, а учиться мнѣ поздно. — Но отъ чего понятія женщинъ такъ странны, инстинктъ ихъ такъ не утонченъ? неужели онѣ никогда не выучатся отличать голосъ правды отъ свѣтскаго привѣта? И вы также, съ вашимъ умомъ, не умѣете понять мысль мою.

Она молчала.

— Скажите, вы не поняли меня?

— Зачѣмъ вы придаете такое значеніе простому своему слову? Но положимъ, что я показалась вамъ не дурна; мало ли хорошенькихъ женщинъ на свѣтѣ, и что мнѣ до того, могу ли я или нѣтъ принадлежать къ числу ихъ?

— Вы будете увѣрять меня, что не желаете нравиться?

— Странное понятіе! сказала Лина; положимъ, что тщеславіе мое и было бы затронуто, и только! Какая мелочь!

— А чего-же хотѣлось бы вамъ?

— Ничего, право.

— Нѣтъ, у васъ была не высказанная мысль, приставалъ къ ней Огинскій.

— Пожалуй. Я думала, что желала бы нравиться тому, кого бы любила, не красотою моей, а склонностями; желала бы быть любимой за сердце, мнѣнія, правила.

— Онѣ есть у васъ?

Лина поглядѣла на него вопросительно и съ изумленіемъ.

— У женщинъ вашихъ лѣтъ еще не можетъ быть установившихся правилъ, сказалъ Огинскій.

— Въ двадцать шесть лѣтъ! Полноте! Двадцати-шести-лѣтнее дитя—это уже зависитъ или отъ недостатка ума, или отъ искаженности понятій. Что касается до меня, то вы мнѣ доказываете, что не знаете меня вовсе; признаюсь, я думала противное.

— Бѣда не велика, сказалъ Огинскій весело; передъ нами много времени, я постараюсь узнать васъ лучше, чѣмъ вы воображаете—я разберу всѣ ваши качества и недостатки,—берегитесь!

Онъ говорилъ, не смотря на шуточный тонъ, очень серьёзно. Она отвѣчала также:

— И не подумаю остерегаться; глядите прямо, я не желаю казаться лучше, чѣмъ какова на самомъ дѣлѣ. Онъ засмѣялся.

— Чему вы смѣетесь? спросила она серьёзно.

— Вашимъ манерамъ: вы сидите прямо, говорите твердо, смотрите гордо, будто королева на подданнаго!

— Не знаю, сказала она, вдругъ разсмѣявшись добродушно; я себя не вижу, но лучше хочу быть королевой, чѣмъ смиренной дѣвочкой, ожидающей милостиваго вниманія такого испанскаго гранда, какъ вы. Тонъ королевы долженъ быть полонъ достоинства, а я люблю его вездѣ и во всемъ.

— Вы правы, сказалъ онъ.

Такъ шли дни; цѣлыя утра проводили они вмѣстѣ, всякой, разговоръ сближалъ ихъ больше и больше и уже утро казалось имъ короткимъ, будто не умѣли они наговориться. Вечеромъ Ливадинъ приходилъ къ Линѣ, и смѣнялъ Огинскаго, который уходилъ въ кабинетъ племянницы и скучалъ тамъ больше чѣмъ прежде; самое общество Липинскихъ, Свистуновыхъ и другихъ имъ подобныхъ, потерявъ свою единственную сторону, которою оно могло возбуждать интересъ, сторону новизны, стало для Огинскаго еще скучнѣе. Возможность новой привязанности для дяди давно тревожила княжну, но теперь она ни днемъ ни ночью не могла отдѣлаться отъ неотвязной мысли, ее преслѣдовавшей. «*Что если*?» думала она, и это «*если*» поражало ее до глубины сердца. Она употребляла всѣ усилія, всѣ способности, чтобы занять дядю вечеромъ, но это очень рѣдко удавалось ей. Ея заботы

о братьяхъ, длинныя разсужденія о жизни вообще и о ея существованіи въ особенности, гдѣ надежда жить всегда съ нѣжно-любимымъ дядей играла не маловажное мѣсто, — все было истощено. Огинскій былъ по-прежнему ласковъ, по-прежнему вѣрилъ всѣмъ ея увѣреніямъ, говорилъ, что думаетъ о ея будущности, и счастливъ, что живетъ съ ней вмѣстѣ; успокоивалъ ее на счетъ братьевъ, говоря, что забота о судьбѣ ихъ — его дѣло, и однако, не смотря на всѣ эти дружески-нѣжныя слова его, княжна сознавала, что все это ничего незначитъ, и что ни она, ни ея общество не удовлетворяютъ дяди. Эта мысль грызла ее всякую минуту, а призвать на помощь ей было некого. Мать ? — но она была добра и слаба. Жоржа ? — но онъ проводилъ свое время частію на службѣ, которой не очень впрочемъ занимался, а частію въ обществѣ женщинъ, о которыхъ говорить было ему не совсѣмъ удобно при семействѣ и дядѣ. Липинскій былъ конечно уменъ, но не занималъ Огинскаго. Онъ могъ кстати похвалить княжну, и только. Дочь — хорошенькая дѣвочка, но заинтересовать ею дядю было дѣломъ несбыточнымъ, да и къ чему бы повело это ? Она давно старалась заставить его почаще разговаривать съ нею, въ надеждѣ, что разговоръ этотъ займетъ его, но попытки эти не всегда были успѣшны. Увлеченный Линою, Огинскій не могъ находить удовольствія въ обращеніи съ дѣвочкой; короткость его съ ней ограничивалась подаркомъ конфектъ и онъ продолжалъ баловать ее, какъ ребенка. Не смотря однако на то, постоянное вниманіе Огинскаго къ дочери все больше и больше разжигало самолюбіе отца, и онъ всякой день увѣрялъ

себя въ возможности сдѣлаться тестемъ Огинскаго и заранѣе тысяча плановъ вертѣлись въ головѣ заботливаго отца семейства. Княжна видѣла все это и не боялась Липинскаго; она позволяла ему хитрить, угождать Огинскому, хвалить дочь, заводя съ Огинскимъ безпрестанный разговоръ о ней. Словомъ, позволяла отцу расточать перлы краснорѣчія, а дочери дѣлать глазки и играть роль неопытной, невинной, граціозной пансіонерки. «Пусть ихъ стараются!» думала княжна, «пусть они занимаютъ его, а послѣ, когда они не будутъ мнѣ нужны, я осмѣю ихъ; они не опасны мнѣ!» Пока всѣ эти интриги, хотя и маленькія и совершенно невидимыя для неопытнаго глаза, завязывались на сценѣ большой гостиной, Ливадинъ сидѣлъ обыкновенно въ уголкѣ пріемной, подлѣ Лины.

— Вы ужъ никогда тамъ не бываете? спросилъ онъ у ней однажды, показывая на гостиную.

— Нѣтъ. Я никогда слишкомъ не любила всѣхъ ихъ, а теперь едва могу сносить; у всякаго изъ нихъ свой разсчетъ. Давно знала я, что въ княжнѣ мало добраго, но, признаюсь, не воображала, что разсчетъ на чужое богатство доведетъ ее до такихъ низостей. Объ Жоржѣ и говорить нечего, онъ всегда *подавалъ большія надежды*. О княгинѣ я не говорю: она очень добрая женщина, и я сохранила къ ней нѣкоторое чувство.

— Какое же вамъ до всего этого дѣло? Интрига, которую угадываешь, должна быть интересна для посторонняго зрителя.

— Васъ ли слышу я? — Для меня людская низость не можетъ имѣть интересной стороны!

— Э! Александра Петровна, не всѣ-то таковы, какъ вы, и не объ васъ я говорю; вы, можно сказать, чисты какъ горлица, и мудры, какъ змѣя.

— Полноте, сказала Лина смѣясь, вы стали говорить высокимъ слогомъ и напоминаете мнѣ одного юродиваго. У меня была пансіонская пріятельница, которая умирала отъ желанія выйти поскорѣе замужъ, ее звали Софьей, и потому онъ, къ крайней досадѣ ея, всегда отвѣчалъ этой фразой на всѣ ея вопросы.

— А вы спрашивали у него о будущемъ?

— Какъ же, Юрій Ѳедоровичъ; это была шалость юности; теперь бы я не стала дѣлать такія глупости.

— Что-жъ, развѣ ужъ слишкомъ состарѣлись?

— Нѣтъ, а стала разумнѣе. Наша судьба въ рукахъ нашихъ; Провидѣніе дало намъ волю, умъ, разумъ, — а эти три рычага многое измѣнятъ въ нашей жизни.

— Измѣнятъ многое — но не все, сказалъ Ливанинъ.

Онъ задумался.

— О чемъ вы думаете? спросила Лина.

— О васъ; вашъ ясный умъ, ваше здравое пониманіе жизни всегда удивляло меня; скажите, какъ можно жить шесть мѣсяцевъ въ одномъ домѣ съ вами и не понять, что тѣ люди, которыхъ вы не любите, дурные и не заслуживаютъ любви.

— Вы говорите объ Огинскомъ? — Не нападайте на него; онъ не такъ виноватъ, какъ вы думаете.

— Я не нападаю; я вижу, что вы привязаны къ нему, а кто вамъ милъ, тотъ и мнѣ....

— Милъ, скажете? Не кривите душой, мой другъ! Я давно хотѣла спросить у васъ, отъ чего вы не можете или не хотите сойтись съ нимъ ближе? Онъ уменъ, много видѣлъ, много знаетъ, а ужъ доброта его вамъ извѣстна. Елена Филипповна много горя внесла нѣкогда въ жизнь его: вы знаете, какъ онъ отплатилъ ей.

Лина говорила съ жаромъ. Ливадинъ былъ озадаченъ ея тономъ и сказалъ тихо:

— Я всегда отдавалъ справедливость всякому человѣку—но, признаюсь, рѣшительно не могу сочувствовать его непониманію людей и жизни. Какъ ни объясняйте это добротой его, все не объясните!

Лина задумалась, онъ продолжалъ:

— Воля ваша, я не нахожу, чѣмъ бы извинить его. Я человѣкъ простой—но гляжу на вещи также прямыми глазами. Возьмите хотя это: княгиня очень добра — а онъ любитъ ее меньше всѣхъ.

— Это ужъ привычка съ дѣтства—тогда онъ болѣе былъ друженъ съ меньшою сестрою своей. Впрочемъ, я знаю, что вы его не любите, сказала Лина.

— Напротивъ, онъ мнѣ нравится, — но я мало ему довѣряю. Я вполнѣ убѣжденъ, что онъ благороденъ, честенъ, добръ; но я не отдалъ бы за него съ полнымъ спокойствіемъ любимой молоденькой сестры. Самъ онъ конечно не способенъ составить несчастіе

женщины ; но не будетъ умѣть ни защитить ее, ни направить на пути жизни; пойдетъ она куда захочетъ, да еще и его поведетъ за собою — оба и заплутаются. Что это за вожатый ?

— Развѣ мужъ вожатый ?

— Конечно; не всѣ похожи на васъ, — вы самостоятельны — да и вамъ-то онъ не годился бы въ мужья. Чтобъ *вамъ* быть съ нимъ счастливою, надо держать его въ рукахъ , а вы не захотите управлять имъ. Что-жъ будетъ? Встрѣтится другая — да и захватитъ его волю, сердце, мнѣнія !

— Какіе пустяки! сказала Лина, смѣясь принужденно. Да и что это вамъ вздумалось говорить обо мнѣ ? Подумаешь, что мы....

Лина не договорила , Ливадинъ смутился и оба они покраснѣли; имъ было неловко въ первый разъ послѣ пяти-лѣтнихъ близкихъ отношеній. Лина первая оправилась и возобновила разговоръ, уже не касавшійся Огинскаго. Мнѣніе Ливадина объ Огинскомъ , отзывавшееся предостереженіемъ, которое онъ высказалъ быть можетъ безсознательно, не оставило слѣдовъ въ умѣ Лины; трудно было имѣть на нее вліяніе; она крѣпко держалась собственныхъ мнѣній , и еще съ дѣтства привыкла считать Огинскаго выше и лучше другихъ. И теперь было уже слишкомъ поздно измѣнять это мнѣніе; образъ его былъ уже облеченъ въ воображеніи Лины поэтической таинственностію и наполнялъ ее упоющимъ очарованіемъ. Она любила въ немъ все, и его стран-

ности, и самую его раздражительность, и извиняла ему въ глубинѣ души даже тѣ изъ его недостатковъ, которые клеймила рѣзкимъ словомъ, когда говорила съ нимъ. По мнѣнію ея, онъ достоинъ былъ глубокаго сожалѣнія за тотъ фатализмъ несчастія, который преслѣдовалъ его съ самой ранней юности; а глубокое сожалѣніе въ такой натурѣ, какъ натура Лины, быстро и неодолимо вовлекло ее давно уже въ волненія другаго, всесильнаго чувства—чувства любви. Однажды Лина, въ припадкѣ особенной нѣжности, высказала Огинскому часть своихъ о немъ мыслей; онъ отвѣчалъ ей, что ея сочувствіе къ его прошедшему дорого ему и благодѣтельно на него дѣйствуетъ, что теперь самъ онъ понимаетъ яснѣе и лучше, черезъ что̀ имѣлъ онъ силу пройти, не исказивъ и не уничтоживъ совершенно своего сердца и души. Долго говорили они смѣлѣе, откровеннѣе и полнѣе прежняго; этотъ разговоръ влилъ въ душу Лины упоительное сознаніе счастія и заставилъ Огинскаго всмотрѣться попристальнѣе въ то, что происходило въ собственномъ его сердцѣ.

На другой день послѣ этого разговора, Огинскій замѣтилъ Линѣ, что она блѣднѣе обыкновеннаго, и спросилъ у нея, не больна ли она?

Лина отвѣчала, улыбаясь его заботливости, что у ней очень болитъ голова.

— Отъ того, что не гуляете, сказалъ Огинскій съ жаромъ; все сидите нагнувшись. Болѣзнь Елены Филипповны измучила васъ, да не одна болѣзнь — а также трудъ не по силамъ.

— Все преувеличенія! сказала Лина; будто я одна работаю, всѣ трудятся, — однимъ богатымъ кажется это страннымъ.

— Пусть такъ, а нынче работать вы не будете, возразилъ онъ, прибирая шитье ея въ рабочій столикъ, запирая его, и кладя ключь въ карманъ. Лина сѣла въ кресло — голова ея горѣла, но не отъ боли горѣла она, а сердце то билось, то замирало. Въ первый еще разъ Огинскій такъ явно показывалъ свою о ней заботливость; это взволновало ее и испугало какъ-то сладостно. Утро пролетѣло, какъ одинъ мигъ; о чемъ не говорили они, чего не вспоминали, — не замѣшивая впрочемъ постороняго лица въ свои воспоминанія, — и дѣтство Лины, и ея шалости, и ея рѣзвости! Огинскій припоминалъ и замѣчалъ, что уже и тогда онъ любовался ею и надѣялся, что изъ нея выйдетъ женщина полная блеску, жизни, остроумія — а между тѣмъ она вотъ какая разумная — холодная! Лина защищалась горячо, и до ея бытія коснулся теперь вполнѣ магическій, воодушевляющій жезлъ — жезлъ любви! Блѣдно показалось ей все прошедшее, завѣса будущаго была закрыта, да и не манила она любопытныхъ взоровъ ея, — одно настоящее обливало ее ослѣпительнымъ блескомъ и поглощало безраздѣльно сердце ея. Огинскій былъ увлекателенъ, или казался ей такимъ, и самыя простыя слова его находили доступъ къ ея сердцу — да и въ голосѣ его звучало чувство, вызывающее, привлекающее. Нѣсколько разъ княжна входила въ комнату и оба они будто по обоюдному согласію умолкали. Она принуждена была уйдти и старалась успокоить себя мыслію, что вече-

ромъ изгладитъ изъ ума дяди то впечатлѣніе, которое могла утромъ произвесть на него Лина. Эти двѣ женщины, тайно боровшіяся другъ съ другомъ, были похожи на рудокоповъ, изъ которыхъ одинъ роетъ яму, чтобы достать золото, а другой въ тотъ же вечеръ засыпаетъ яму землею. Лина однако не подозрѣвала еще, въ какой степени развитія находится борьба, до какой степени всѣ мысли княжны были сосредоточены на одномъ пунктѣ — повредить ей, во что бы то ни стало. И въ этотъ день возгласъ дворецкаго: — кушанье поставлено! — прервалъ Лину и Огинскаго въ самомъ жару ихъ обоюдныхъ изліяній; но блѣдность и томность лица Лины подала ему блестящую мысль увезти ее гулять тотчасъ послѣ обѣда.

— Поѣдемте гулять, сказалъ онъ ей вставши изъ-за стола: — это излечитъ вашу головную боль.

— Куда ? спросила она просто.

— На острова; день чудесный, вечеромъ не будетъ сыро.

— Пожалуй, сказала она; попросите княгиню, она прикажетъ заложить свою вѣнскую коляску. Княжна, вѣроятно, также поѣдетъ съ вами.

Огинскій нахмурился.

— Я не съ ними хочу ѣхать — а только съ одними вами. Вѣдь вы ѣздите же съ Ливадинымъ !

Лина была озадачена этимъ предложеніемъ и не знала, что сказать, но наконецъ рѣшилась произнести:

— Я такое незначительное лице въ городѣ, что

нигдѣ не замѣтна, Ливадинъ также бѣдный учитель и не можетъ возбудить ничьего вниманія.

— Да и меня никто не знаетъ, возразилъ Огинскій; скажите, съ кѣмъ знакомъ я здѣсь?

— Я никогда не ѣздила съ Ливадинымъ на гулянья; на островахъ всегда толпа.

— Правда; такъ поѣдемте туда, гдѣ никого нѣтъ. Что же, хотите? Я прошу васъ.

Лина согласилась. Огинскій вышелъ, чтобы послать за наемной каретой. Но едва онъ изчезъ за дверью, какъ на нее нашла минута сильнаго раздумья—ей было страшно, неловко, и какъ-то не прилично казалось уѣхать съ Огинскимъ, между тѣмъ какъ съ Ливадинымъ она отправлялась гулять въ продолженіе многихъ лѣтъ. Не зная, на что рѣшиться,—Лина хотѣла уже идти и извиниться передъ Огинскимъ, какъ онъ весело вошелъ въ комнату и сказалъ ей живо:

— Скорѣе, надѣвайте шляпку! все готово; выходите на крыльцо, я тамъ буду ждать васъ.

Лина не имѣла силы отказаться, надѣла шляпку и вышла.

Спустя нѣсколько минутъ, княжна прошла въ залу, въ пріемную и наконецъ въ кабинетъ дяди—его нигдѣ не было. Она удивилась, мимоходомъ заглянула въ комнату Липы—и ея не было. Она позвонила и спросила у горничной:

— Гдѣ дядюшка?

Горничная не могла отвѣчать положительно, но спра-

вившись въ передней, доложила госпожѣ своей, что Валентинъ Михайловичъ уѣхали съ Александрой Петровной, а куда — неизвѣстно.

Княжна удивилась еще болѣе и разсердилась не на шутку; ея сѣрые глаза заблистали.

— Но въ чемъ же онъ уѣхалъ? И за чѣмъ, какъ смѣлъ Тимоѳей не сказать мнѣ, что онъ приказалъ закладывать экипажъ!?

— *Они* взяли наемную карету. Швейцаръ говоритъ, будто приказали ѣхать по петергофской дорогѣ, сказалъ княжнѣ вошедшій лакей.

— Хорошо, ступай, сказала княжна, и обратившись къ матери, сидѣвшей у окна, продолжала очень горячо:

— Вотъ и любуйтесь теперь, да пѣняйте на себя! сдѣлали изъ своего дому страннопріимное заведеніе — созвали воспитанницъ, приживалокъ, компаньонокъ! Ужъ не даромъ же Армалевъ выгналъ изъ своего дому эту интригантку!

— Ахъ, Анюта, да за что же ты такъ сердишься? Велика бѣда, что ему захотѣлось прогуляться съ ней! она забавляетъ его, — Богъ съ ними!

— Ахъ, Боже мой! воскликнула княжна, съ вами говорить не возможно!

Она ушла изъ комнаты и хотѣла хлопнуть дверью, однакожъ удержалась отъ такого неприличнаго изъявленія гнѣва. Княгиня, вздохнувъ три раза, поспѣшила за дочерью, надѣясь утишить ее и помириться съ нею.

Между тѣмъ Огинскій и Лина, отрѣшенные отъ всѣхъ въ уединеніи вмѣщавшаго ихъ экипажа, были полны страннаго чувства смущенія, не лишеннаго прелести, и мысли ихъ уносились далеко, хотя и думали они другъ о другѣ. Огинскому казалось, что онъ соединенъ какою-то таинственною связью съ этою женщиной, скромно и едва ли не робко сидящею возлѣ него; что ему было бы отрадно всегда беречь ее, заботиться о ней, и что ему хотѣлось бы, особенно въ эту минуту, увезти ее дальше—дальше, отъ всѣхъ окружающихъ. Лина.... но чувства Лины были такъ смутны, что ихъ и опредѣлить нельзя; ей было радостно и стыдно, отрадно и мучительно-безпокойно, хотя и въ этомъ мученіи было что-то упоительное. Она была не совсѣмъ довольна, что согласилась ѣхать съ Огинскимъ, а между тѣмъ ей хотѣлось ѣхать долго, ѣхать постоянно и вполнѣ предаться ощущенію нѣги и робости, наполнявшихъ ее. Долго они молчали; наконецъ Лина спросила тихо:

— Куда мы ѣдемъ?

— Въ Петергофъ.

— Ахъ, нѣтъ! нѣтъ! прошу васъ, не ѣздите такъ далеко; я не хочу, я не могу.

— Я въ вашей волѣ—приказывайте, сказалъ Огинскій.

Она успокоилась.

— Вы любите путешествовать? спросилъ онъ.

— Не знаю, какъ вамъ сказать; я не имѣла случая

поѣхать даже за сорокъ верстъ; но кто же не желалъ бы видѣть тѣ страны, о которыхъ столько писали и пишутъ.

— А мнѣ и это наскучило, отвѣчалъ онъ грустно на ея одушевленную рѣчь; я былъ вездѣ, былъ одинъ — и это одиночество вездѣ томило меня. Теперь мнѣ кажется, что я могъ бы насладиться путешествіемъ, еслибъ поѣхалъ съ кѣмъ-нибудь, кто мнѣ милъ и дорогъ. Молодой, живой восторгъ другаго напомнилъ бы мнѣ прежніе годы, когда я, полный надеждъ и силъ, поѣхалъ впервые за-границу съ сестрой моей. Доставить другому счастіе — значитъ быть счастливымъ? неправда ли?

— Конечно, сказала она; вы говорите о путешествіи, а я скажу тоже обо всемъ.

— Вы думаете, что можно удовлетвориться счастіемъ другаго?

— Безъ сомнѣнія! сказала Лина.

Онъ покачалъ сомнительно головою.

— Увѣряю васъ, сказала Лина съ одушевленіемъ. Знать, что я — все для другаго, что я душа его, цѣль его, благо его — да, это уже счастіе; это уже значитъ жить не безполезно, родиться для кого-нибудь, — это значитъ найти и понять свое назначеніе.

— Да, если мы страстно любимъ этого другаго, — а въ такомъ случаѣ оба счастливы.

— Нѣтъ, сказала Лина, я долго объ этомъ думала. Мнѣ всегда казалось, что можно удовлетвориться со-

знаніемъ, что отдавшись безъ любви человѣку, котораго мы уважаемъ, мы тѣмъ составили его счастіе, наполнивъ всю жизнь его сердца.

— Вы холодны! сказалъ Огинскій — да, холодны, если такъ думаете. Какъ, неужели въ дѣвическихъ мечтахъ своихъ вы представляли себѣ такой идеалъ счастія? Вѣдь это чертогъ, выстроенной изъ льдинъ, — блеститъ, но не грѣетъ.

— Всё-жъ лучше это, чѣмъ ничего. Лучше сдѣлаться идоломъ, путеводной звѣздой достойнаго человѣка, чѣмъ жить безполезно и умереть одиноко старою дѣвушкой. Эта доля, признаюсь откровенно, разумѣется, помимо свѣтскихъ понятій о старыхъ дѣвицахъ, всегда ужасала меня. Я долго думала, и убѣдилась, что уважаемая жена честнаго человѣка, любимая мать, окруженная дѣтьми, — достойнѣе сочувствія и почтенія, чѣмъ безплодно существующая старая дѣвица. Сухой эгоисмъ — непремѣнное слѣдствіе одиночества — пугаетъ меня.

— Неужели лучше этой будущности вы ничего не могли вообразить для себя? сказалъ Огинскій.

— Не могла, именно не могла, — разсудокъ не позволилъ, хотя, подъ часъ, фантазія и разыгрывалась, — только этому уже много времени. Помните, когда вы спрашивали меня, думала ли я о замужествѣ, я вамъ сказала, что у меня въ этомъ отношеніи большія требованія. Дѣйствительно, я не хочу середины. Или мужъ, котораго бы я уважала, не любя, или такой, котораго бы я любила страстно, восторженно, которому бы предалась вполнѣ до послѣдней моей мысли, до малѣйшаго чув-

ства. Я хотѣла бы, чтобы и онъ самъ точно также любилъ меня, и, думаю, отказалась бы отъ него, еслибъ онъ любилъ меня не совсѣмъ полно. Но я знаю, что я.... я.... словомъ, чѣмъ лучше я тысячи благородныхъ, умныхъ, добрыхъ женщинъ, которыхъ никто не любилъ такъ страстно? и что дастъ мнѣ право на такое высокое, неземное блаженство, на взаимную, страстную любовь? Все, или ничего, говорю я вамъ!!

Огинскій удивился; никогда Лина не говорила съ такимъ жаромъ, такъ краснорѣчиво, такъ откровенно.

« Какой жаръ! думалъ онъ, а кажется, иногда холодна, какъ ледъ. »

— Какъ же вы до-сихъ-поръ не за-мужемъ, спросилъ Огинскій, если никогда не надѣялись, не ждали взаимной любви?

— Я? сказала она со вздохомъ, Богъ знаетъ! Какъ-то страшно; обязанности жены очень важны въ глазахъ моихъ, онѣ такъ велики, такъ строги. Жаль было отдать мою молодость, мою свободу.

— Ужъ будто она такъ велика и вы ею такъ пользуетесь?

— Конечно, отвѣчала Лина веселѣе и совершенно успокоившись отъ своего волненія. Вотъ нынче, — вамъ, разумѣется, покажется это странно, можетъ быть, смѣшно, а оно такъ, — мнѣ смертельно хотѣлось поѣхать съ вами, мнѣ пріятно, мнѣ хорошо, я,.. да... я счастлива. Еслибъ я была за-мужемъ, я бы должна была лишить себя этого удовольствія.

— Такая короткость съ другимъ могла бы не нравиться моему мужу, а еслибъ по добротѣ своей онъ позволилъ, меня мучила бы мысль, что другіе осудятъ и меня, и его, что другіе могутъ смѣяться надъ нимъ. а я ни за что не позволила бы себѣ подать поводъ смѣяться надъ моимъ мужемъ и отдать имя его на поруганіе.

— Это тонкости придирчивой совѣсти, сказалъ Огинскій, и я удивляюсь, что вы — натура возвышенная и независимая, подчиняетесь пустому людскому мнѣнію.

— Не для себя, а для другаго. Быть можетъ, по этому-то я и не спѣшила; быть можетъ, я ждала впереди чего-то, ждала безсознательно, ждала, вопреки разсудку. Долгъ звучалъ мнѣ чѣмъ-то непреклоннымъ, чѣмъ-то непобѣдимымъ; переступить его, нарушить его я бы не рѣшилась,—ну, и до сихъ поръ не взяла его на себя.— Я никогда не говорила такъ откровенно; Богъ знаетъ, что со мной дѣлается нынче ?

Онъ взялъ ея руку и нѣжно поцѣловалъ ее.

— Будьте всегда таковы, васъ нельзя не любить, сказалъ онъ съ чувствомъ.

Въ это время они подъѣхали къ большому саду, расположенному на скатѣ горы, за которой виднѣлось море.

— Прикажите остановиться, сказала Лина, взглянувъ въ окно и пользуясь случаемъ прервать разговоръ, который производилъ на нее такое впечатлѣніе, что она

боялась, чтобъ не заплакать. — Эта дача мнѣ знакома, мѣстоположеніе чудесное.

Они вышли изъ экипажа и пошли объ руку по тѣнистой липовой аллеѣ. Лина оправилась и шла медленно, съ улыбкой на серьёзномъ лицѣ, съ радостію въ томныхъ глазахъ, еще недавно блиставшихъ влагой подавленныхъ слезъ. Иногда она останавливалась и срывала длинныя зеленыя вѣтки и простые весенніе цвѣты, и связывала ихъ въ огромный пучекъ. Казалось, она была очень довольна своимъ букетомъ, составленнымъ изъ самыхъ обыкновенныхъ растеній; Огинскій невольно улыбнулся ея неприхотливости.

— Вы воображаете, что это букетъ? сказалъ онъ ей.

— Смѣйтесь, отвѣчала Лина, но я люблю цвѣты.

— Развѣ это цвѣты?—это просто сѣно.

Она разсмѣялась шуткѣ его, и показывая ему одуванчикъ, кашку, анютины-глазки, защищала ихъ скромную красоту.

— Право все равно, говорила она; развѣ эти простые цвѣты чѣмъ-нибудь хуже тѣхъ, которые стоятъ такъ дорого?

— У всякаго свой вкусъ, отвѣчалъ Огинскій, и завидѣвъ ландыши на маленькой полянѣ, оставилъ руку Лины и побѣжалъ за ними. Когда онъ возвратился, его сапоги были измараны грязью болотистой почвы; она замѣтила тревожно, что онъ можетъ простудиться.

— За то вамъ ландыши! возразилъ онъ. Я хочу, чтобы вы привезли домой настоящіе, а не воображаемые цвѣты.

Она улыбнулась, взяла ихъ и приколола къ поясу своего чернаго платья.

Гуляя по дорожкамъ сада, они нечаяно встрѣтили деревянную бесѣдку, построенную на самомъ берегу моря и вошли въ нее. Рѣшетка, выкрашенная зеленою краской, составляла навѣсъ ея; она покрыта была густо вившейся по ней повиликой, перемѣшанной съ каприфоліями. Линѣ такъ понравилось это мѣсто, что она сѣла и заглядѣлась на далекій горизонтъ моря, заслушалась шума волнъ, роптавшихъ у ногъ ея. Гармоническій плескъ ихъ, неумолкающій говоръ; постоянно измѣняющійся, переливающійся и ни на минуту не достигающій опредѣленности цвѣтъ ихъ, полосы, бороздившія вдали поверхность моря, то какъ сталь блестящія, то голубыя, то изумрудныя,—приковали къ себѣ ея восхищенные взоры и погрузили ее въ сладкую глубокую думу.

Огинскій взялъ руку Лины, нѣжно сжалъ ее и, не выпуская изъ своихъ рукъ, тихо сказалъ ей.

— О чемъ такъ задумались?

— Думаю, сказала она, что одна изъ любимыхъ мечтъ моихъ, никогда, быть можетъ, не осуществится.

— Можно узнать? спросилъ онъ ласково.

— О, конечно! Я всегда желала провести лѣто на берегахъ моря.

— Только-то? сказалъ онъ весело: это такъ легко!

— Для богатыхъ — да, отвѣчала она; а знаете ли, что скоро четыре года, какъ я и Ливадинъ мечтаемъ

о поѣздкѣ въ Финляндію, и разумѣется не можемъ этого сдѣлать.

— Такъ я буду счастливѣе, сказалъ Огинскій. Вамъ нравится эта дача, я завтра найму ее и перевезу васъ всѣхъ сюда.

— Я не хочу, отвѣчала она рѣшительно.

— Что за капризъ! — отъ чего?

— Отъ того, что не имѣю права пользоваться вашимъ богатствомъ для удовлетворенія моихъ прихотей. Это не въ моихъ правилахъ.

— Какой педантизмъ? возразилъ Огинскій съ досадой.

— Называйте это, какъ хотите.

— Вы не можете, однакожъ, запретить мнѣ нанять эту дачу.

— Не могу, но даю вамъ слово, что не переѣду сюда съ семействомъ княгини. Не настаивайте; вы этимъ отнимете у меня послѣднее наслажденіе: говорить необдуманно и вслухъ все, что приходитъ мнѣ въ голову.

Огинскій надулся; она взглянула на него и протянувъ ему руку, сказала тихо и нѣжно, съ умиленіемъ въ голосѣ и взорахъ:

— Не сердитесь. Я не хочу видѣть васъ недовольнымъ; простите меня, если я опечалила васъ; я хотѣла бы, чтобъ вы знали, какъ я нынче счастлива.

— Чѣмъ? спросилъ онъ не безъ внутренней тревоги.

— Я такъ давно желала посидѣть у моря, послушать его, заглядѣться на него: вы доставили мнѣ это наслажденіе.

— О дитя мое, сказалъ онъ, какъ легко дается вамъ счастіе! — Скажите, какъ такая холодная, разумная дѣвушка, какъ вы, вдругъ дѣлается ребенкомъ, или мечтательной дѣвочкой?

— Не знаю, отвѣчала она. Я не избалована. Вотъ уже пять лѣтъ, какъ я не принадлежу себѣ и постоянно мучилась мыслію, что завтра, послѣ завтра, не будетъ у насъ денегъ. Лина замолчала, но вскорѣ прибавила съ улыбкою: мой будущій мужъ, вмѣсто приданаго, возьметъ со мною кучу долговъ.

— За такое сокровище, какъ вы, можно отдать все состояніе! воскликнулъ Огинскій.

Она вдругъ засмѣялась дѣтскимъ, звонкимъ, заливающимся смѣхомъ; этотъ смѣхъ былъ такъ прилипчивъ, что Огинскій, за минуту передъ тѣмъ увлекшійся нѣжностью, также засмѣялся, но наконецъ спросилъ, чему смѣются они оба?

— А вы чему? спросила она.

— Смѣюсь вашему смѣху, радуюсь вашей радости, сказалъ онъ выразительно.

— Видите ли, у меня была знакомая Француженка, которая писала впрочемъ неиначе, какъ по-русски. Всѣ ея письма начинались словами: *сокровище мое безцѣнное.* Съ тѣхъ поръ, я не могу слышать этихъ словъ безъ смѣха.

— Какъ это мило! сказалъ Огинскій, я говорю отъ души, а вы хохочете!

— Милый мой, милый Огинскій! сказала она вдругъ съ внезапною нѣжностью, — и вставши, облокотилась на перила и глядѣла въ даль.

Они долго молчали.

— Знаете ли, что въ вашемъ характерѣ есть нѣчто сходное съ характеромъ моей сестры Анюты. Она, какъ вы, быстро переходила, бывало, отъ дѣтскаго смѣха къ задумчивости и отъ невинной насмѣшливости къ нѣжности.

— О, какъ надо много любви, преданности, предусмотрительности, сказала Лина, чтобъ жить съ вами! Слово, шутка, иногда незначащій намекъ — отдаются въ васъ болѣзненно, шевеля тяжкое воспоминаніе.

— Да, дитя мое, это правда, я весь—рана прошедшаго; всякій, кто ни подойдетъ ко мнѣ, отступитъ съ ужасомъ.

— О нѣтъ! нѣтъ! воскликнула Лина съ увлеченіемъ, надо только понять васъ, надо любить васъ, и тогда можно легко васъ вылечить!

— Кто будетъ любить? Поздно.... уже поздно!...

— Призвать человѣка къ новому бытію, сказала Лина восторженно, дать ему новую жизнь, вмѣстѣ найти — заставить его найти интересъ и цѣль для жизни: это ли не счастіе?

— Попробуйте, сказалъ онъ робко.

Эти слова совершенно смутили Лину; она опом-

нилась, покраснѣла, и потупивъ взоры, сказала спокойнѣе и холоднѣе:

— Я готова сдѣлать все, зависящее отъ меня, чтобы доставить вамъ минуту спокойствія и забвенія! — Солнце заходило, послѣдніе лучи его зажгли заревомъ крайнюю на горизонтѣ полосу моря, зажгли они и часть неба. Зардѣвшись и соединившись въ обоюдномъ блескѣ, море и небо привѣтствовали садившееся свѣтило. Холодный морской вѣтеръ погналъ сильнѣе валы къ берегу; они катились одинъ за другимъ, не тихо плескали уже, а выли и бились о прибрежные камни, разсыпались бѣлоснѣжною пѣной, падали каскадами брызговъ и дробились въ мелкія блестящія дождевыя капли. Лина глядѣла на нихъ пристально, стояла неподвижно и жадно слушала ихъ завыванія.

— Такъ плещетъ и Средиземное море, сказалъ Огинскій; но оно плѣнительнѣе, голубой цвѣтъ его ярче, пѣна сребристѣе и брызги волнъ блещутъ чуднымъ свѣтомъ фосфора. Но я не любовался имъ такъ, какъ теперь любуюсь этимъ; тогда не было въ моей рукѣ руки родной и милой. (Онъ взялъ ее за руку). — Скажите, вѣдь вы ко мнѣ не совсѣмъ равнодушны, вы хотя немного привязаны ко мнѣ?

— Очень! сказала она, пожимая въ свою очередь руку его.

— Какъ холодна ваша рука! Вы озябли; гдѣ вашъ манто? Вы простудитесь; пойдемте.

— Еще минуту! сказала она; горизонтъ тухнетъ, дайте мнѣ насмотрѣться, — это такое наслажденіе! Кто

знаетъ, буду ли я когда-нибудь опять такъ счастлива! Надо ловить минуту счастія.

— Я привезу васъ сюда опять, милая моя Лина, сказалъ онъ, впервые называя ее по имени, а теперь пойдемте, прошу васъ.

Онъ взялъ ее за руку и она послушно пошла за нимъ, какъ идетъ дитя за балующимъ отцомъ.

Когда они сѣли въ карету, сильная дрожь овладѣла Линой. Огинскій напрасно искалъ ея манто — она забыла его дома; онъ хотѣлъ отдать ей свой плащъ, но она упорно отъ него отказывалась; онъ упрашивалъ, сердился — все было напрасно. Тогда, отпахнувъ одну изъ широкихъ полъ его, онъ самовольно набросилъ ее на плеча Лины. Его движеніе было такъ неожиданно, такъ полно заботливости и простоты, что Лина не могла и даже не имѣла мысли отказаться. Она закуталась въ половину предложеннаго плаща и, прислонивъ къ стѣнкамъ кареты свою усталую голову, впала въ сладкую, полную грезъ думу. Огинскій не спускалъ съ нея заботливонѣжныхъ взоровъ. Онъ закрылъ стекла, чтобы предохранить ее отъ холоднаго вечерняго вѣтра и находилъ давно позабытое чувство наслажденія въ этихъ попеченіяхъ; потомъ опять поглядѣлъ на нее и задумался. Она лежала въ уголкѣ съ полузакрытыми глазами и вскорѣ задремала. — Толчки отъ неслишкомъ гладкой дороги скоро сбили голову Лины, и она опустилась на плечо Огинскаго; онъ не шевелился, боясь потревожить легкой сонъ ея, и сладко было ему такое бремя. «На чьемъ плечѣ будешь ты покоиться въ теченіи долгой жизни

твоей, бѣдное дитя мое?» думалъ онъ съ умиленіемъ. «И будетъ ли другой лѣлѣять тебя также, какъ я!»

Они въѣхали въ городъ. Карета застучала по мостовой, это разбудило Лину. Увидѣвъ, въ какомъ положеніи дремала, она застыдилась отшатнулась и стала искать чего-то у ногъ своихъ.

— Не ищите, все цѣло;—вотъ онъ, сказалъ Огинскій, подавая ей огромный букетъ зелени. Я бережно привезъ ваше сѣно!

Она засмѣялась и оправилась отъ смущенія.

Когда они пріѣхали и вмѣстѣ вошли на лѣстницу, Лина хотѣла идти въ гостиную, но онъ остановилъ ее въ залѣ, крѣпко поцѣловалъ руку ея и ушелъ къ себѣ. Она прошла дальше, приготовляясь внутренно отвѣчать на всѣ вопросы; но гостиная была пуста, также какъ и кабинетъ княжны. Лина вошла въ свою комнату, не встрѣтивъ никого, очень довольная тѣмъ, что случай избавилъ ее отъ тягостнаго любопытства всей семьи.

ГЛАВА VI.

На другой день поутру, княжна, здороваясь съ Линой, сказала ей съ простодушною улыбкой: А ты вчера ѣздила гулять съ дядей? и получивъ въ отвѣтъ: да, мы были на дачѣ М**, заговорила о другомъ, какъ будто протекшая ночь не была для нея безсонною и мучительной ночью. Когда Огинскій вошелъ въ гостиную позднѣе обыкновеннаго, то и ему также просто выразила племянница крайнее свое сожалѣніе, что ея здоровье не позволяетъ ей выѣзжать иначе какъ днемъ, но что она понимаетъ, сколько можно найдти удовольствія и прелести въ вечернихъ прогулкахъ. Лина не ожидала такого невниманія къ своей прогулкѣ и была очень рада, что не возбудила ею ни толковъ, ни неудовольствія въ семьѣ. Не прошло и трехъ дней, какъ Огинскій опять предложилъ Линѣ ѣхать съ нимъ куда-нибудь и получилъ ея согласіе. Въ слѣдующее время онъ возобновлялъ очень часто свои поѣздки съ нею по окрестностямъ Петербурга. Оба они, свободные, не связанные обычаями,

налагаемыми свѣтомъ на тѣхъ, кто принадлежитъ къ нему; не связанные и семьею, которая бы могла тревожиться слѣдствіями такой близости отношеній — чувствовали, что слишкомъ много нашли другъ въ другѣ, чтобы изъ-за мелочныхъ причинъ отказываться отъ наслажденія гулять каждый день вмѣстѣ и узнавать другъ друга болѣе и болѣе. Но, между тѣмъ какъ они были заняты только собою и забыли все въ мірѣ, княжна заботилась о нихъ однихъ и разговоры ея съ матерью постоянно вращались около тѣснаго круга возможности любви и — сохрани Боже! — женитьбы дядиной.

«Тогда мы всѣ погибли!» твердила княжна съ убѣжденіемъ. Княгиня молчала; быть можетъ, въ глубинѣ души ея и поднималось чувство, похожее на истинную привязанность къ брату, но она не смѣла высказывать того, что думала. Дочь властвовала надъ ней, и ея слово такъ давно сдѣлалось закономъ для княгини, что мысль о противорѣчіи пугала ее. Однажды только, огорченная рѣзкимъ отзывомъ дочери о дядѣ, она рѣшилась сказать:

— Я не знаю, о чемъ ты такъ хлопочешь; я въ толкъ не возьму, и большой бѣды не вижу, если онъ женится. Конечно, партія не завидная, но чтожъ....

Княжна посмотрѣла на мать пристально и холодно сказала ей:

— Тогда пойдемъ по міру, вотъ и вся бѣда.

— Нѣтъ, сказала княгиня, я не могу забыть, какъ онъ выдавалъ меня замужъ, онъ отдѣлилъ меня отлично: зачѣмъ же теперь мы будемъ мѣшать ему? Лина добра, и она, вмѣстѣ съ нимъ, позаботится о насъ.

— Никогда! сказала княжна, задыхаясь отъ злости,

никогда, пока я жива, слышите ли, не допущу его до женитьбы. Лучше всего лишиться, лучше умереть! Какъ? чтобы она, моя компаньонка.... добро бы кто другой.... сдѣлалась хозяйкой, его женой.... и изъ милости давала мнѣ свой излишекъ..., ссужала меня своими нарядами и экипажами? Никогда!!. Княгиня съ замѣшательствомъ слушала прерывистыя слова дочери и ни слова не сказала въ отвѣтъ. Цѣлый день княжна обдумывала то одинъ, то другой планъ и наконецъ послала брата къ Липинскимъ, — просить ихъ вечеромъ на чашку чаю. Когда, пріѣхавъ по приглашенію, Липинскій спросилъ у ней, гдѣ ея дядя, она отвѣчала печально, что съ нѣкотораго времени онъ мало бываетъ дома. Задумчивость княжны, ея унылый и печальный видъ поразили Липинскаго. Онъ тотчасъ догадался, что тутъ есть тайна, и подвинувшись къ ней, спросилъ въ полголоса, что съ ней?

— Вы старый, испытанный другъ мой, отвѣчала ему княжна также тихо, и я не буду скрывать отъ васъ, сколько безпокойствъ и горя вынесла я въ послѣднее время. Дяди моего никогда нѣтъ дома; онъ пересталъ находить удовольствіе въ нашемъ обществѣ, или лучше, его удалили отъ насъ. Знаете ли гдѣ онъ? — Варенька, прибавила княжна вслухъ, обращаясь къ молодой дѣвушкѣ, разсматривавшей кипсэки на кругломъ столѣ: подите, дружечикъ, сдѣлайте намъ чай, — столъ накрытъ въ гостиной.

— Варенька вышла.

— Гдѣ же пропадаетъ Огинскій, спросилъ нетерпѣливо Липинскій, стараясь улыбнуться, — что однако не совсѣмъ удалось ему.

— Гдѣ можетъ быть мущина, когда онъ не въ семействѣ? ужъ разумѣется, съ женщиной! Поймите меня однако, вы знаете, что я не изъ тѣхъ племянницъ, которыя не желали бы женитьбы дяди изъ личныхъ выгодъ; я слишкомъ люблю его и конечно...

— Ахъ, княжна, произнесъ Липинскій съ сладкою миной и лакейской преданностью въ голосѣ, за кого вы меня принимаете? Я ли не оцѣнилъ васъ вполнѣ!...

— Отъ того я и хочу говорить съ вами откровенно, — мы понимаемъ другъ друга, сказала княжна. — Дѣло въ томъ, что я не могу и не захочу помѣшать дядѣ жениться на скромной, хорошо воспитанной дѣвушкѣ; но не могу не скорбѣть душой, видя, что онъ почти влюбленъ въ интригантку.

— Вы не говорите мнѣ, кто завладѣлъ его сердцемъ; неужели Александра Петровна ?

— Ктожъ, кромѣ ея ? только ей безстыдной, Христа ради въ нашемъ домѣ принятой компаньонкѣ и приживалкѣ, могла достаться такая презрѣнная роль ! Я хочу, во что бы то ни стало, открыть дядѣ глаза, но не знаю, какъ это сдѣлать. Отъ того-то я и рѣшилась посовѣтоваться съ вами.

Липинскій долго теръ рукою гладко выбритый подбородокъ и глядѣлъ на концы ярко вычищенныхъ сапоговъ.

— Трудновато! сказалъ онъ наконецъ, вздыхая.

— Ну, такъ онъ на ней женится !

— Надо подумать, отвѣчалъ Липинскій.

— Только, ради самаго Бога, не думайте долго! отвѣчала княжна нетерпѣливо. А то, неравно, въ одно

прекрасное утро получите приглашеніе на свадьбу для себя и для Вареньки. Ее ужъ вѣрно позовутъ одѣвать невѣсту, и она можетъ надѣяться увезти со свадьбы самый красивый корнетъ: за это я отвѣчаю.

Княжна засмѣялась съ жолчью. Липинскій не мигнулъ ни однимъ глазомъ и сохранилъ вполнѣ выраженіе совершеннаго спокойствія на своей физіономіи.

— Но какъ же вы допустили? спросилъ онъ.

— Теперь поздно говорить объ этомъ, сказала княжна цинически, надо дѣйствовать. Терять ни вамъ, ни мнѣ нечего, а выиграть можно очень много, особенно вамъ. Поймите это!

Липинскій перемѣнилъ разговоръ и уѣхалъ ранѣе обыкновеннаго.

Между тѣмъ Огинскій, предавшись совершенно сладкой привычкѣ, не оставлялъ Лину ни утромъ, ни вечеромъ; да и сама она, забывъ все на свѣтѣ, казалось, жила только тогда, когда была съ Огинскимъ. Незнакомое ей до тѣхъ поръ чувство сладостнаго, чарующаго упоенія, вполнѣ овладѣло ею, и въ тѣ рѣдкія минуты, когда она оставалась одна, глаза ея блистали и улыбка, полная безконечной доброты и нѣжности, придававшая мягкость строгой ея физіономіи, освѣщала какъ лучъ солнца все лице ея. Еслибъ, однако, кто вздумалъ наблюдать, какъ Лина и Огинскій встрѣчаются по-утру, то убѣдился бы, что, несмотря на обоюдную нѣжность ихъ и невольно много высказывавшіе взоры, они не признались еще другъ другу въ любви своей. Безсознательно медлилъ Огинскій, а Лина не только не искала

ышать, но даже избѣгала его признанія: она была слиш-
мъ счастлива и вдвойнѣ радовалась, что прежде чѣмъ онъ
жетъ ей, что любитъ ее, онъ вполнѣ ее узнаетъ. Не-
отря однако на овладѣвшее ими чувство, они не всегда
одились въ мнѣніяхъ, только Лина больше щадила
инскаго и невольно уступала ему. За то часто одинъ
щенный взоръ ея и холодность, мгновенно выражав-
яся въ лицѣ, когда ей что-нибудь сильно не нрави-
ь, больше имѣли вліянія на Огинскаго, чѣмъ ея жар-
выходки въ первое время ихъ сближенія. Слабый
актеръ Огинскаго не могъ вынести этого знака ея
довольствія или неодобренія, и вмѣсто, того, чтобы
казывать ей, что она ошибается, онъ, врагъ борьбы
что бы то ни было, обходилъ вопросъ, не
буждавшій ея сочувствія и старался тотчасъ на-
вить мысли ея на другіе предметы. Онъ успѣ-
лъ въ этомъ тотчасъ, потому, что она сама очень
палилась, когда не могла сочувствовать ему въ
ъ бы то ни было. Неудовольствіе Лины особенно
ло замѣтно, когда Огинскій поддавался безъ спору
кому вліянію, или сорилъ деньгами. — Странно было,
человѣкъ этотъ, не любившій роскоши, довольство-
шійся для себя одною, весьма просто убранною ком-
той, не имѣвшій ни привычекъ, ни вкусовъ къ какой
то ни было раззорительной прихоти, тратилъ огром-
я суммы на чужую роскошь, на чужія затѣи, на чу-
ю глупость, и былъ не далекъ отъ мысли, что все
составляетъ необходимость для извѣстнаго класса
дей. Княжна, Жоржъ, даже маленькій Сережа тащили
ьги изъ его кармана, будто онъ былъ бездонная кадка,

полная золота; ко всему этому присоединялись расхо
по дому княгини, которые дѣлались все значительнѣ
по мѣрѣ того, какъ Огинскій становился безпечнѣе
безъ отказа давалъ деньги по первому слову. Од
княгиня, хозяйка, не имѣвшая позволенія распоряжать
мать, не пользовавшаяся властію, женщина свѣтска
отказавшаяся отъ права выбирать знакомства, безгласна
ничтожная въ глазахъ короткихъ друзей дома, была
повинна въ этомъ нагломъ расхищеніи собственнос
безпечнаго родственника. Жоржъ, въ отсутствіи сестр
умѣлъ подвернуться такъ въ пору, что ему удавало
почти каждый день, съ цинизмомъ котораго Лина не мог
вынести, выпросить себѣ что-нибудь. То новый мунди
былъ ему необходимо нуженъ; то видѣлъ онъ чудна
рысака; то хотѣлось ему ѣхать на дачу и нуженъ бы
экипажъ, котораго не было, а въ чужомъ онъ ѣхать
хотѣлъ. Однажды безстыдство его дошло до того, ч
онъ признался Огинскому, будто бы потерялъ значител
ную сумму денегъ, ввѣренную ему матерью. Это бы
чистая ложь; но княгиня не смѣла, не могла, не хотѣ
обличить любимаго сына. Деньги Огинскаго лились пот
комъ и едва ли даже ласковое замѣчаніе сопровожда
новыя выдачи значительныхъ суммъ.

Однажды Лина, присутствуя при этихъ ежедневны
требованіяхъ, сказала Огинскому кротко:

— Скажите, вы лучше не умѣете тратить свои
денегъ? Неужели не умѣете?

Онъ посмотрѣлъ на нее и сказалъ ей:

— Неужели вы такъ скупы?

— Конечно скупа, если подъ словомъ скупость вы нимаете отвращеніе отъ расточительности. Тратьте ньги иначе, и я никогда не скажу ни слова, если даже раздадите все свое состояніе.

— Я понимаю, что вы хотите сказать; но укажите ѣ бѣдныхъ, другъ мой, и я тотчасъ помогу имъ.

— Я не сомнѣваюсь въ этомъ, сказала Лина съ илеміемъ, и потому такъ привязана къ вамъ! Я знаю ше прекрасное сердце, но бѣдныхъ нельзя указывать: олгъ такого богача, какъ вы, находить ихъ.

— Но развѣ помогать дѣтямъ сестры не есть долгъ?

— Самый первый, ближайшій, — но помогать, а не зволять имъ расточать ваши деньги на самыя пустыя рихоти.

— Во всякомъ состояніи есть *своя* необходимость, казалъ Огинскій; то, что для купца прихоть, для чело-ѣка съ именемъ — необходимость.

— Это не ваша мысль, сказала Лина суровѣе: можно и повторять чужія мнѣнія? Это говорила княжна третьяго-ня, когда она купила себѣ новую мёбель.

— Вы никого изъ нихъ не любите.

— Это слово не выражаетъ моего чувства къ нимъ: глубоко презираю ихъ!

Огинскій измѣнился въ лицѣ.

— Презираете женщину, которая приняла васъ въ домъ и была всегда добра къ вамъ.

— Я объ ней очень сожалѣю и даже люблю ее, а презираю дѣтей ея.

— Я люблю ихъ и не желаю слышать отъ васъ...

— Правды? сказала Лина, тѣмъ хуже.

— Деньги мои, возразилъ Огинскій; я могу отдавать ихъ, кому хочу, и никто, ни даже тѣ, къ которымъ глубоко привязанъ, не въ правѣ требовать у меня в нихъ отчета.

— Странно, сказала Лина. А что, вы сами выработали эти деньги? Зачѣмъ же вы ихъ расточаете? В объ этомъ не подумали?

— У всякаго свое мнѣніе, сказалъ Огинскій холодно

— Конечно, отвѣчала Лина также холодно.

На другой же день эта маленькая размолвка была за быта; въ Огинскомъ, рядомъ съ упрямствомъ, был столько истиннаго благородства, что онъ, не смотря н лесть окружающихъ его и на свою отъ того избалован ность, не долго сердился за правду, особенно, когд смутное чувство подсказывало ему, что Лина права. К тому же его нѣжность къ ней увеличивалась со дня н день и порою высказывалась такъ явно, что Лина жадн пила ту отраву любви и страсти, которая разливается по всему существу женщины съ сердцемъ.

— Вы часто браните меня, говорилъ онъ ей однажды. а я не могу одной минуты досадовать на васъ.

— А вы не подумали, что когда я не согласна съ вами, то невыразимо страдаю. Мнѣ больно видѣть недостатки въ томъ, кому хотѣла бы я удивляться, въ комъ желала бы видѣть совершенство.

— А я хочу любить васъ просто, сказалъ Огинскій,

не хочу видѣть въ лицѣ вашемъ осуждающаго друга, вѣчнаго цензора моихъ поступковъ.

— Но какъ же любить и не говорить правды? возразила Лина, научите меня! Неужели другъ долженъ быть льстецомъ!?

— Да и не вѣчно же осуждающимъ лицемъ. Я не люблю совѣтовъ.

— А когда же я даю ихъ? Вы сами вызываете меня на нихъ.

— Зачѣмъ въ эту минуту лице ваше серьёзно и брови сжаты? Можно ли такъ искажать то милое выраженіе, которое дано вамъ природой? — Помните ли первую прогулку нашу?

— Какъ не помнить, отвѣчала Лина съ улыбкою, полною любви.

— Знаете ли, что я думалъ, когда вы дремали? Я думалъ: кто будетъ покоить головку эту? кому достанется завидное счастіе беречь васъ, кому будетъ принадлежать сердце ваше? Гдѣ этотъ счастливецъ? какъ много жизнь можетъ дать ему, какъ улыбнется она ему и какъ продолжительна будетъ эта улыбка! Вы знаете, я не вѣрю въ долговѣчность любви, но въ долговѣчность *вашей* любви я вѣрю. Вы будете постоянны.

— Да, буду, сказала Лина съ убѣжденіемъ; полюбивъ, я полюблю сильно, съ сознаніемъ, съ жаромъ, съ полнымъ пониманіемъ и оцѣнкою качествъ и даже недостатковъ того, кого полюблю. Иначе я не понимаю любви.

— Это любовь разумная, сказалъ Огинскій, не будетъ ли она холодна?

— Нѣтъ! воскликнула Лина, нѣтъ! она полна преданности, нѣжна, беззавѣтна и долговѣчна, потому что разумна. Неужели вы не понимаете такой любви?

— Если ваша любовь такая, я понимаю и цѣню ее, потому что она ваша.

— Я бы хотѣла убѣдить васъ, а вы сказали что-то въ родѣ мадригала.

— Истинно говорю, что чувствую, милый другъ мой! До мадригаловъ ли, когда сердце такъ сильно бьется, что хочетъ выскочить изъ груди, когда оно опять съ упоеніемъ знакомится съ чувствомъ и жизнію. Я когда-то былъ счастливъ, но это было уже давно и я едва помню, а теперь обязанъ вамъ, однѣмъ вамъ, минутами истиннаго забвенія всего въ мірѣ, кромѣ....

Богъ вѣсть, что сказалъ бы Огинскій, котораго Лина слушала съ горѣвшими щеками и взорами, полными сладкихъ слезъ сердечнаго умиленія, еслибъ въ эту минуту рѣзвый Сережа не вбѣжалъ въ комнату. Бросившись на шею Огинскаго, онъ твердилъ, что у сестры его бриліантщикъ и принесъ часы такіе хорошенькіе, такіе миленькіе, такіе маленькіе, а Анюта не хочетъ покупать ихъ, хотя и обѣщала ему часы прежде. Онъ потащилъ Огинскаго за руку. Огинскій обернулся къ Линѣ и сказалъ ей:

— Я такъ счастливъ, у меня такъ легко на сердцѣ, что я хочу, чтобы настоящій день былъ памятенъ и этому шалуну; пойдемте, купите ему часы.

— Я? воскликнула Лина: — да я въ цѣлый годъ едва ли могу получить ту сумму, которая нужна за часы. Что стоятъ они?

— Не дорого, право не дорого,—только четыреста цѣлковыхъ, но за то съ цѣпочкой, сказалъ Сережа, прыгая.

— Это по-твоему не дорого, сказалъ Огинскій, выходя; а видишь ли, Лина говоритъ, что въ полъ-года работы....

Онъ исчезъ за дверью, читая нравоученіе племяннику. Лина сидѣла неподвижно; ярко рдѣли ея щеки и блестящіе глаза, полные благородной экзальтаціи, придавали прекрасное выраженіе всему лицу ея. О чемъ она думала?...

— Я дарю вамъ, Лина, сказалъ Огинскій, входя и подавая ей богатые часы на золотой цѣпочкѣ, украшенной узлами изъ рубиновъ. Я прошу васъ, для меня....

Лина надѣла цѣпочку на шею мальчика. Онъ бросился къ дядѣ и обнялъ его; но Огинскій не позволилъ ему цѣловать себя и, отбиваясь отъ него, говорилъ съ улыбкою:

— Благодари Лину,—это она подарила тебѣ часы, а не я.

Сережа сдѣлался вдругъ серьёзенъ, какъ англійскій лордъ, и подошедъ къ Линѣ, поклонился ей очень холодно и вышелъ.

— Мальчикъ чувствуетъ, что меня благодарить не

за что, сказала Лина, улыбаясь. Можно ли давать ему такое гибельное воспитаніе?

— Опять! сказалъ Огинскій.

— Чтожъ дѣлать! я такъ думаю, это мои правила. Скажите мнѣ, мой другъ, что сталось бы съ нами, еслибъ мы не преслѣдовали вездѣ и всегда однажды принятыхъ правилъ, особенно съ человѣкомъ, котораго.... которому.... который къ намъ близокъ, докончила она, прінскавъ наконецъ выраженіе.

Послѣднее слово, въ которомъ было столько недосказанной любви, самый тонъ Лины, нѣжный и ласковый, тронули Огинскаго.

— Нынче я не хочу ссориться и спорить съ вами, нынче....

Княжна вошла въ комнату.

— Что я слышу! сказала она съ притворнымъ негодованіемъ: — вы подарили Сережѣ чудесные часы! Я ему очень строго выговорила за то, что онъ осмѣлился безпокоить васъ.

— Какъ ты хорошо сдѣлала! замѣтила Лина спокойно и просто. Я сію минуту говорила Огинскому, что пріучать къ роскоши — значитъ губить ребенка.

Княжна смѣряла Лину острымъ, пронзительнымъ взглядомъ; взоры ихъ встрѣтились. Княжна поблѣднѣла отъ злости, но продолжала тихо, обращаясь къ одному дядѣ:

— Разумѣется, Сережу оправдываетъ то, что онъ не

у постороннаго, а у роднаго дяди просилъ бездѣлушку: — онъ привыкъ считать васъ отцомъ.

Княжна съ слезами чувствительности обняла при этомъ дядю и осталась съ нимъ и Линой. Было поздно. Пріѣхалъ Липинскій, и всѣ усѣлись вокругъ стола, гдѣ былъ поданъ чай. Черезъ нѣсколько времени слуга доложилъ Линѣ, что Ливадинъ дожидается въ пріемной; она вышла и просила его войти въ гостиную, но онъ отказался, говоря, что желаетъ переговорить съ ней наединѣ. Лина замѣтила, что онъ былъ встревоженъ, и провела его въ свою комнату.

— Что съ вами? сказала она ему, садясь и чувствуя, что сердце ея сильно бьется. Съ нѣкотораго времени она была такъ счастлива, что боялась всякаго извѣстія, всякаго измѣненія въ своемъ положеніи.

— Какъ давно я не видалъ васъ! сказалъ Ливадинъ, не отвѣчая на вопросъ ея. — Я приходилъ сюда очень часто въ послѣдніе дни, но васъ не было дома.

— Я ѣздила кататься, сказала Лина.

Онъ перемѣнился въ лицѣ и спросилъ тревожно:

— Съ кѣмъ?

Тонъ его вопроса былъ почему-то непріятенъ Линѣ; однако она преодолѣла себя и отвѣчала:

— Съ Огинскимъ.

— Теперь все понятно! воскликнулъ Ливадинъ: онъ любитъ васъ!

— Что съ вами? мой добрый Юрій Ѳедоровичъ, сказала Лина ласково, желая избѣжать тяжелой сцены.

— Онъ любитъ васъ, а семья его метитъ вамъ и чернитъ вашу репутацію! Выслушайте меня: вчера я былъ у Машковыхъ.... Андреяна и Натальи.... старуха мать была именинница.

— Въ самомъ дѣлѣ, а я совсѣмъ забыла!

— Я думалъ васъ встрѣтить тамъ, тѣмъ болѣе, что давно не видалъ васъ.

— Я всякой день выѣзжала и очень сожалѣю, что вы не заставали меня дома. Вамъ зайти бы утромъ.

— Утромъ вы заняты, — но не въ томъ рѣчь. У Машковыхъ было много знакомыхъ, собрались поздравить старушку. Слышу — защла рѣчь и объ васъ. Вы знаете, какъ васъ тамъ любили!

— Надѣюсь, и любятъ; я ни въ чемъ противъ нихъ не виновата, кромѣ развѣ того, что забыла поздравить.

— Ну, это не бѣда еще, а бѣда слухи, которые разнеслись объ васъ.

— Какіе слухи? сказала Лина, невольно краснѣя.

— Да ужъ я не знаю, какъ вамъ сказать, а сказать надо: кто же предупредитъ васъ, если не я? Я думаю, всѣ здѣшніе рады-радехоньки, когда дурно говорятъ объ васъ.

— Разумѣется; но въ чемъ дѣло?

— Изволите видѣть: Варвара Петровна разсказывала, будто ей хорошо извѣстно отъ друзей дома княжны, что вы.... будто вы.... вообразили, что Огинскій влюбленъ въ васъ, и завлекаете его всѣми способами. Всѣ его родные крайне недовольны этимъ и приняли намѣреніе

отказать вамъ отъ дому, но поостановились немного, отъ того, что Огинскій скучаетъ и занятъ вами, — ну, а какъ ему прискучитъ, такъ васъ и попросятъ выѣхать. Говорятъ, будто онъ ухаживаетъ за вами отъ нечего дѣлать, — но вы ему не партія, это всѣмъ извѣстно, — подурачится, да и броситъ. Васъ осыпали насмѣшками. Ужъ такъ-то больно было слушать. Наталья Николаевна, добрѣйшая старушка, заступилась за васъ, но куда! Другія, и особенно Варвара Петровна, хоромъ твердили, что.... ну, — разныя глупыя вѣсти, пересказывать не хочется, — и между прочимъ, что имъ достовѣрно извѣстно, что ваше поведеніе самое.... самое смѣлое, и всякой вечеръ Огинскій посадитъ васъ въ свою карету да и пропадетъ съ вами, неизвѣстно куда, до самой ночи.

Лина, лице которой безпрестанно мѣнялось въ продолженіи всего разсказа Ливадина, прервала его не совсѣмъ естественнымъ смѣхомъ.

— Въ этомъ послѣднемъ обвиненіи, сказала она, есть часть правды: я дѣйствительно, какъ уже сказала вамъ, ѣздила кататься съ Огинскимъ.

— Вдвоемъ! воскликнулъ Юрій Ѳедоровичъ невольно.

— Вдвоемъ, сказала Лина твердо, но съ смущеніемъ.

Ливадинъ былъ пораженъ и замолчалъ.

— Что-же вы молчите? сказала Лина горячо; развѣ это такое преступленіе, что вы можете только молчать, опустя голову!

— Конечно, не преступленіе, но крайняя неосторожность. Разсудите сами — Огинскій милліонеръ. Позволя

себѣ съ нимъ такую короткость, не даете ли вы права многимъ дурно о себѣ думать ?

— Почему же ?

— А потому, что деньги.... ну да что говорить объ этомъ! не могу объяснить вамъ, что могутъ объ васъ подумать посторонніе. Вѣдь, не женится же онъ на васъ?

Лина поблѣднѣла какъ снѣгъ.

— Оставимте разговоръ этотъ, сказала она дрожавшимъ голосомъ; я очень сожалѣю, что многіе думаютъ и говорятъ обо мнѣ такъ дурно, — не въ моей волѣ измѣнить ихъ мнѣніе, или заставить ихъ молчать. Я презираю молву, но вы, добрый другъ мой, вы не можете дурно думать обо мнѣ, — не правда ли ?

— Я ! конечно.... вы знаете.... уже давно.... я нейду въ примѣръ; но что подумаютъ родные Огинскаго ?

— Что хотятъ ! воскликнула Лина порывисто и гордо.

— Онъ самъ? спросилъ Ливадинъ.

— Кто ? Огинскій ! Онъ никогда дурно обо мнѣ не подумаетъ. *Теперь* онъ знаетъ меня, какъ вы меня знаете !

— Дай Богъ, сказалъ Ливадинъ съ глубокимъ вздохомъ, нисколько не убѣжденный словами Лины.

— Я спокойна, продолжала она: — въ глубинѣ души моей нѣтъ ни одной недостойной мысли; мало того — быть можетъ, я никогда не была такъ чиста душой, какъ теперь, и для меня довольно сознанія этого, а равно сознанія того, что лучшіе друзья мои, вы и *онъ*, читаете въ моемъ сердцѣ. Какъ бы неосторожны ни были мои поступки, они не могутъ показаться вамъ не-

чистыми; отъ того-то я и полагаюсь на васъ обоихъ больше, чѣмъ на себя. Я увѣрена въ васъ!

— Я не могу отвѣчать за другихъ; не знаю, какъ Огинскій, но я всегда былъ и останусь вамъ вполнѣ преданнымъ.

Она взяла его руку, пожала ее и воскликнула съ упоеніемъ:

— Ну, а за Огинскаго я порука!

Между тѣмъ какъ разговоръ этотъ глубоко ранилъ сердце Ливадина, открывъ ему большую часть истины относительно Лины, въ гостиной происходило нѣчто подобное Липинскій былъ разговорчивъ, необыкновенно веселъ, шутилъ и разсказывалъ забавные анекдоты, которые заставляли княжну улыбаться, Жоржа хохотать и смѣяться до упаду маленькаго Сережу. Самъ Огинскій не могъ удержаться, смѣялся вмѣстѣ съ другими, и тѣмъ вызывалъ Липинскаго на новые разсказы. Вдругъ Липинскій обернулся, и осмотрѣвъ всѣхъ окружающихъ, пріостановилъ разсказъ свой.

— Что вы? кого ищете? спросила княжна.

— Александру Петровну, сказалъ Липинскій; — она сей-часъ была здѣсь.

— И вышла — къ ней пришелъ всегдашній гость ея, Ливадинъ. Зачѣмъ вамъ ее?

— Хотѣлось и ее разсмѣшить, она всегда такая серьёзная. Кстати, скажите, Ливадинъ богатъ?

Княжна, казалось, изумилась и сказала:

— Нѣтъ; но что за странный вопросъ?

— А потому, что мнѣ сказывали за-вѣрное, будто Александра Петровна отказалась давать уроки, и знаете ли, почему?

— Вѣроятно потому, что ей деньги не нужны, замѣтилъ Огинскій холодно.

— Именно, возразилъ заботливый отецъ семейства, смѣясь очень добродушно. Мнѣ говорила мать одной ея прежней ученицы... помнишь, Варя?

— Какъ же папа, очень помню — да и Катенька сказывала мнѣ то-же самое: я хотѣла спросить у *нихъ*, прибавила она, щегольски показывая на княжну, да забыла.

— Что же говорила она? спросила княжна.

— Что у Александры Петровны женихъ, и женихъ не простой, а съ милліонами; что Александра Петровна не только отказывается отъ уроковъ, но даже и отъ прежнихъ незнатныхъ знакомствъ; что будто бы на дняхъ у ней спрашивали, будетъ ли она на именинахъ — у кого, бишь, Варя?

— У Машковыхъ.

— Да, у Машковыхъ, — они знаете ли не богаты, да и не большаго полету птицы, — и Александра Петровна гордо, прегордо отвѣчала, что кругъ Машковыхъ теперь не по ней, что она скоро будетъ знатною дамой.

— Это все пустяки и сплетни, сказала княжна.

— Можетъ быть, даже очень вѣроятно, отвѣчалъ Липинскій; пришлось къ слову, я и сказалъ.

— Однакожъ, знаете ли, княжна, подхватила Ва-

ренька: — я была у Машковыхъ, а Александры Петровны тамъ не было; а прежде она все тамъ да тамъ. Я спрашивала у дочерей: онѣ говорятъ, что она ужъ больно горда стала, и потомъ все такъ загадочно — я, признаюсь, ничего не поняла.

— Дитя! сказалъ Липинскій съ видомъ умиленія и прибавилъ: Да вы точно знаете, что Ливадинъ не богатъ?

— Точно знаю, возразила княжна съ притворною досадой.

— Ну, такъ, быть можетъ, она нашла жениха изъ купцовъ, или банкировъ.

— Вотъ прекрасно! воскликнула Варя, мнѣ Маша Благова сказала за-вѣрное, что Александра Петровна ей сама говорила и хвасталась, что скоро будетъ знатною дамой, что всегда желала этого и покажетъ всѣмъ, какъ должно жить!

— Можетъ быть, она желала... какъ не желать? сказала княжна: — она же честолюбива, и это единственной ея недостатокъ, — но я отвѣчаю вамъ, что все остальное вздоръ. Я знаю, что, кромѣ Ливадина, у ней жениховъ нѣтъ.

— Почему знать? сказала княгиня, быть можетъ она познакомилась....

— Съ принцемъ крови, что-ли, маменька? вставилъ свое словцо Жоржъ, захохотавъ на всю комнату. За Ливадина она не пойдетъ — это вѣрно!

— Отъ чего же, спросилъ Липинскій.

— Онъ не хорошъ собой, не богатъ, не знатенъ;

она не разъ говорила, что выйдетъ за-мужъ не иначе, какъ за богатаго, а за кого-нибудь не пойдетъ, лучше останется дѣвушкой.

— Остаться старой дѣвушкой не завидная участь, сказала княгиня.

— Это только слова, возразилъ Жоржъ; — ей не учиться ловить на уду жениховъ; не безпокойтесь, разъ не удалось, въ другой разъ поймаетъ.

— Это, Жоржъ, пустяки и при мнѣ ты не говори такъ; ты знаешь, я Лину люблю, замѣтила княжна кротко.

— Я говорю правду. Помнишь ротмистра Пѣшеханова? Обворожила, вскружила голову, совсѣмъ обошла его, а узнала, что мать не дастъ ему ничего, если онъ на ней женится, такъ и отказала, съ носомъ отправила.

— Не стыдно ли тебѣ, Жоржъ! сказала княжна.

— Чтожъ, не правда? возразилъ онъ: скажи, не правда?

— Я этого не скажу, а скажу, что кокетство еще не такое великое преступленіе.

— Извини, сестра, это ужъ не простое кокетство, а самый явный и наглый расчетъ. Посмотримъ, кто будетъ тотъ простофиля, котораго она поймаетъ!

— Дураковъ непочатой уголъ, говоритъ пословица, найдется и для нея, если она ужъ такая; — вы извините меня, княжна, сказалъ Липинскій.

— Пожалуйста замолчите, отвѣчала княжна; а ты, Жоржъ, никогда не любилъ ея.

— Да за что любить-то ее? отвѣчалъ онъ: — всегда дуется, всегда недовольна, вѣчно завидуетъ чужому богатству, чужой знатности, да еще пристаетъ съ нравоученіями. Знаемъ мы это! Нравоученія — пока денегъ нѣтъ, а какъ будутъ — укажетъ имъ дорогу получше нашего.

— Перестань! сказала княжна повелительно, видя, что Огинскій всталъ, чтобы поставить чашку свою, и стоитъ у стола, блѣдный, какъ смерть. Сѣмя подозрѣнія глубоко запало въ его душу, и хотя онъ не промолвилъ ни слова въ продолженіи всего разговора, но было замѣтно, что ни одно слово не ускользнуло отъ него и всякое изъ нихъ мѣтко поразило его въ самое сердце. Онъ остался однако цѣлый вечеръ въ семейномъ кружкѣ, скоро оправился и даже шутилъ болѣе обыкновеннаго, хотя шутки его были колки и желчны. Онъ часто обращался къ Варенькѣ Липинской, и глупая дѣвушка смѣялась на всю гостиную, показывая при этомъ два ряда бѣленькихъ зубковъ, которымъ Жоржъ съ своей стороны давно отдавалъ должную справедливость; но теперь она добивалась другаго вниманія, и Жоржъ былъ въ явной немилости у простосердечной и невинной дѣвушки.

Когда на другой день Огинскій встрѣтился съ Линой, онъ былъ необыкновенно мраченъ и задумчивъ. Сжимая ему руку, Лина замѣтила, что рука эта была

холодна, какъ ледъ, и едва отвѣчала на дружеское ея привѣтствіе.

— Больны вы? спросила она съ участіемъ.

— Да, я не очень здоровъ, не спалъ всю ночь.

— Послать бы за докторомъ!

— Какой вздоръ! отвѣчалъ онъ холодно, но сѣлъ, однако, подлѣ нея.

Разговоръ не вязался. Лина была оскорблена и огорчена его рѣзкимъ и сухимъ отвѣтомъ и досадовала на себя за высказанную ему заботливую нѣжность; Огинскій въ тысячный разъ, со вчерашняго вечера, какъ щепка, уносимая волной морской, колебался между двумя мнѣніями. «Клевета!» шептало ему сердце; «правда!» говорилъ подозрительный умъ. Не зналъ ли онъ Елецкую, Армалева, даже Воротынскую? она тоже обманула его. «Но Лина такъ чиста!» подсказывало сердце. И тѣ казались благородны, чисты, и тѣхъ любилъ онъ когда-то съ полною вѣрою. И чтожъ?

«Ничего не понимаю; Богъ знаетъ!» было послѣднее слово, послѣдній выводъ затмившагося разума.

— Что съ вами? спросила Лина невольно, послѣ долгаго тяжелаго молчанія, но спросивъ, раскаялась тотчасъ, и наклонившись къ работѣ, принялась шить съ лихорадочнымъ прилежаніемъ.

— Грустно! произнесъ наконецъ Огинскій, съ усталостію, единственнымъ плодомъ колебавшихся и съ быстротою молніи проносившихся въ умѣ его мыслей. Борьба утомляла его чрезвычайно, онъ ее ненавидѣлъ

и боялся, и вотъ волею-неволею былъ опять вовлеченъ въ нее.

— Богъ знаетъ, что съ вами? Оставишь васъ вечеромъ — вы веселы; встрѣтишь утромъ — вы мрачнѣе ночи. Я такого непостояннаго, капризнаго нрава не встрѣчала до сихъ поръ, сказала Лина.

— Въ самомъ дѣлѣ? спросилъ Огинскій живо — стало быть я вамъ очень наскучилъ, очень не нравлюсь?

«Если она скажетъ: да,» подумалъ онъ, «я повѣрю ея искренности и нерасчетливости», и ждалъ отвѣта ея съ волненіемъ, захватывающимъ человѣка, который, отказавшись отъ разсудка, предоставляетъ рѣшеніе важнаго вопроса случайности — послѣднему прибѣжищу слабыхъ.

— Въ васъ много загадочнаго, сказала Лина, а потому и поэтическаго; судите сами, надобдаетъ ли это женщинамъ. Только мнѣ жаль васъ — какъ это выразить, не жалостію, а какою-то болью сердца. Грустно, тяжело васъ видѣть.

— Какъ вы чувствительны! воскликнулъ Огинскій раздражительно и желчно.

— Огинскій! слушайте меня серьёзно, сказала Лина, вспыхнувъ: — прошло то время, когда вы могли то язвить меня, то показывать высокомѣрное равнодушіе, то участіе; время прошло, говорю я вамъ — теперь мы слишкомъ сблизились. Мы должны знать другъ друга хорошо, мы имѣли время на это, и не дальше

какъ вчера, мнѣ казалось, что мы поняли другъ друга. Вы меня знаете, вы должны знать меня, повторяю вамъ!

— Кто похвалится, что знаетъ женщину и разгадалъ ее вполнѣ! понялъ побужденія, заставляющія ее говорить и дѣйствовать!

— Первая половина вашей фразы пошла, сказала Лина, краснѣясь въ лицѣ, это избитое мѣсто; вторая мнѣ непонятна, или лучше — я не хочу понимать ее. Въ ней есть и подозрительность, и опасеніе. Она ко мнѣ не относится, не правда ли? скажите мнѣ! скажите же! Что вы молчите? Не мучьте меня! я спрашиваю, я имѣю право спрашивать! относится или нѣтъ?

— Не относится! сказалъ Огинскій, почти побѣжденный жаромъ и силой, съ которыми говорила она. Я не хочу, я не могу сказать того же объ васъ.

— Помните же это, Огинскій; не забудьте, что передъ вами я не скрывала ни чувствъ, ни мыслей, ни надеждъ. Поймите мою искренность, оцѣните ее. Я все прощу вамъ, Огинскій, но никогда не прощу подозрѣнія. Дайте руку.

Онъ взялъ руку ея, и жаркій, долгой, страстный поцѣлуй его произвелъ сладостное волненіе въ крови Лины. Она выдернула свою руку и потупила глаза. Долго сидѣли они молча; онъ страстно глядѣлъ на нее, потомъ впалъ въ прежнюю задумчивость и сказалъ тихо:

— Вы никогда не говорили мнѣ о ротмистрѣ Пѣшеханцовѣ.

— Кто говорилъ вамъ объ немъ?

— Жоржъ, мимоходомъ, кстати.

— Очень вѣрю; у него не достанетъ ума сказать что-нибудь изъ расчета. Пѣшеханцевъ былъ такой же глупый человѣкъ, какъ вашъ племянникъ, и вздумалъ за меня свататься, объявляя при этомъ, что маменька его никогда не согласится на бракъ его со мною, и что онъ потому рѣшился обвѣнчаться со мною тайно. Онъ прибавилъ, что я, вѣроятно, соглашусь, такъ какъ не имѣю ни имени, ни состоянія, и не упущу случая выгодно выйти за-мужъ, да и самъ онъ такъ влюбленъ, что сдѣлаетъ эту глупость — женится на мнѣ. Вы смѣетесь,— да, онъ такъ просто и сказалъ. Тогда я, смѣясь, сказала ему, чтобы онъ сперва попросилъ позволенія у своей маменьки. Я знала, что она не дастъ его. Это, конечно, была шалость, маленькое мщеніе, но надлежало быть такимъ глупцомъ, какъ онъ, чтобы не понять иронiи въ словахъ моихъ. Онъ поѣхалъ къ матери и возвратился ко мнѣ съ отказомъ ея и новымъ предложеніемъ обвѣнчаться тайно. Тогда, разумѣется, я на-отрѣзъ отказала ему, что и дало ему поводъ разсказывать послѣ всякой вздоръ обо мнѣ. Вотъ и все.

— И это *вся* правда?

— Огинскій! сказала Лина съ укоромъ.

Онъ опять схватилъ ее за руку.

— Огинскій! все счастіе наше зависитъ отъ вашей довѣренности ко мнѣ, — ужели я не имѣю ея?

— О да! да! воскликнулъ онъ подъ вліяніемъ минуты этой; но это была минута, — настало уединеніе — настало опять раздумье. Лина разъяснила ему самый ничтожный пунктъ изъ всѣхъ обвиненій, взведенныхъ на нее; о другихъ онъ спросить не могъ, да еслибъ и могъ, къ чему бы это повело его? Къ тому же, какъ трусъ, онъ боялся свѣта истины. Кто былъ виноватъ? Его ли родственники обманывали его? или она, Лина? или Липинскій? Ему было отраднѣе думать, что Липинскій, но зачѣмъ? для чего? гдѣ цѣль? Она ускользала отъ его понятія; развѣ онъ могъ думать о Варенькѣ, этой ничтожной дѣвочкѣ!

Прошло нѣсколько дней; Огинскій былъ утомленъ безпрестанною внутреннею тревогой, мученіемъ и разладомъ съ собою. Любовь влекла его къ Линѣ, подозрительность отталкивала отъ нея. Полу-слова, полунамеки княжны еще больше раздражали его, тѣмъ болѣе, что они были такъ тонки, что, развивая въ душѣ Огинскаго сомнѣніе, не давали ему ни одного положительнаго факта, за которой бы онъ могъ схватиться. Княжна говорила такъ осторожно, что самъ Огинскій не могъ бы сказать, чѣмъ и какъ она его тревожила. Это былъ то разсказъ о влюбленныхъ, близко подходившій къ настоящему его положенію, то, по-видимому, простое, но мѣткое при настоящемъ положеніи дѣлъ, размышленіе, то печальный видъ и сожалѣніе о тѣхъ,

кто обманывается, то разсказъ объ извѣстномъ богачѣ, который былъ вовлеченъ въ женитьбу безсовѣстною женщиной, желавшей пріобрѣсти одни деньги и его положеніе въ свѣтѣ и сдѣлавшейся изъ нѣжной и скромной невѣсты суетною и расточительною супругой. Иногда, хотя и рѣдко и мимолетно, казалось Огинскому, что племянница его хитра; тогда онъ глядѣлъ на нее пристально; но ея сѣрые глаза были такъ кротко простодушны, ея бѣлокурые волосы на блѣдномъ лицѣ придавали ей видъ невинности и молодости; спокойствіе движеній и позы говорили о внутреннемъ довольствѣ собою, а имя напоминало ему знакомый, издавна любимый образъ. Анюта — дочь его сестры, могла ли она быть такъ коварна? могла ли не любить его? И за что? Не онъ ли нѣжилъ, баловалъ ее, заботился о ней и о всемъ ея семействѣ! Нѣтъ, нѣтъ! говорилъ онъ самъ себѣ — и шелъ къ Линѣ. Но Лина, утомленная безпрестанными переходами отъ нѣжности къ суровости, отъ довѣренности къ сомнѣнію, глядѣла холодно и гордо. Она ждала, однако, его ласковаго слова, чтобы отдаться ему опять всей душой и простить ему мрачность его, томленіе и недовѣрчивость; было ли сказано слово это — она съ радостію и съ порывомъ любящей женщины опять сближалась съ нимъ. Но едва это случалось, какъ онъ, пугаясь, отдалялся вновь, и тогда они сидѣли другъ подлѣ друга скорѣе какъ враги, чѣмъ какъ любящіеся. Лина не могла ясно понять, въ чемъ онъ обвиняетъ ее, отъ чего не довѣряетъ ей, и ея догадки остановились на томъ, что онъ ревнуетъ ее къ Пѣшеханцову и Ливадину. Далѣе не шла мысль ея, да и эта

самая мысль была ей крайне непріятна; ей казалось, что онъ долженъ былъ знать ее довольно, чтобы понять, что, полюбивъ его, она полюбила его полно и безгранично. Иногда она думала, что разсказы княжны заставляютъ его опасаться ея гордаго, самостоятельнаго права; несмотря, однакожъ, на то, она не могла взять на себя иную роль, и утѣшала себя мыслію, что онъ самъ увидитъ въ послѣдствіи, какъ сильна любовь ея, что и эти черты ея характера уничтожатся и что она подчинится ему во всемъ съ радостію. Увѣрять въ чемъ-нибудь, предупреждать обвиненіе не было въ характерѣ Лины,—и она молчала, возмущенная и негодующая, что онъ не только не знаетъ ея, но даже не умѣетъ разгадать ее. Такое положеніе было не выносимо для обоихъ; прошла недѣля, а оно все длилось. Лина была оскорблена и не могла сносить долѣе его поведенія; въ ея ласковыхъ словахъ, когда онъ былъ нѣженъ съ нею, звучали слезы, а въ ея суровомъ молчаніи, когда онъ былъ брюзгливъ и мраченъ, выражалось глубокое, затаенное страданіе. Кризисъ былъ неизбѣженъ; они должны были объясниться вполнѣ - или въ беззавѣтномъ порывѣ нѣжности, или въ взрывѣ негодованія. Такъ и случилось.

Однажды Огинскій, казалось, былъ печальнѣе и угрюмѣе обыкновеннаго; выражавшее усталость блѣдное лицо его, томные взоры, устремленные неподвижно и какъ бы на одинъ предметъ въ теченіи цѣлаго часа—все это поразило Лину. Она спросила у себя, можетъ ли человѣкъ, любя искренно и зная, что онъ любимъ, предаваться такому мрачному раздумью? Совмѣстно ли

съ чувствомъ любви такое выраженіе страданія въ лицѣ, и слѣдовательно любитъ ли въ самомъ дѣлѣ Огинскій? Она задумалась и всѣ его поступки въ отношеніи къ ней пронеслись поочередно въ ея воспоминаніи, съ малѣйшими подробностями, и ни въ одномъ изъ нихъ она не нашла отрицанія на заданный себѣ вопросъ. Громче же всего этого говорило ей внутреннее, рѣдко обманывающее чувство, инстинктъ ея сердца. Онъ твердилъ ей, что она любима имъ, любима страстно, и эта увѣренность влила въ душу ея сладостное ощущеніе. Она взглянула на него, но въ его глазахъ по-прежнему было столько грусти, и въ улыбкѣ, которая порою появлялась на губахъ его, столько горечи, въ полуувядшихъ чертахъ лица столько страданія! И Линѣ невольно пришло на мысль, что не время ей теперь слушаться гордости, что пора ей расчесться съ нею навсегда, что довольно часто и рѣзко говорила она ему правду, что наступилъ срокъ дать волю сердцу, и долгъ ея теперь, быть можетъ, слѣдовать внушенію чувства и живительнымъ словомъ любви поднять упавшій духъ, влить отраду въ больное сердце того, кого любила она. При этой мысли глаза ея наполнились слезами, сердце забилось сильнѣе; но она взяла надъ собою волю и старалась успокоиться, боясь обнаружить предъ нимъ то волненіе, которое испытывала, чтобы не довершить тѣмъ его разстройства. Она проглотила слезы свои, уняла біеніе сердца, и лице ея приняло выраженіе одной доброты, которою она была такъ богата, и спокойной ясности, обыкновенной спутницы чистыхъ помышленій и безукоризненной совѣсти. Она подошла къ Огинскому

съ улыбкой на лицѣ, улыбкой кроткой, полной любви и нѣжности, и сѣла подлѣ него; но онъ не обратилъ на нее вниманія и все также пристально, также упорно глядѣлъ въ окно. Она положила руку на плечо его, онъ обернулся и какъ-то странно, почти гнѣвно взглянулъ на нее и сказалъ холодно:

— Что вамъ нужно?

— Мнѣ? Ничего, отвѣчала Лина кротко и тихо; но вы страдаете; я вижу это, могу ли не спросить у васъ: что съ вами другъ мой?

— Ничего особеннаго; развѣ вы меня не знаете? Что могу я сказать еще? Тяжело!

— Говорите, говорите, откройте душу вашу. Молчать, страдать одиноко, значитъ удвоивать страданіе; говорить съ тѣмъ, кто намъ дорогъ и кто любитъ насъ, единственное лекарство отъ скорби.

— Кто насъ любитъ, повторилъ Огинскій съ горечью, но кто любитъ насъ? Знаю ли я самъ, *кого* и *что* я люблю.

Лина не ожидала такого отвѣта; вопросъ, поставленный такимъ образомъ, лишалъ ее возможности отвѣчать; что могла сказать она? Развѣ они признались другъ другу въ любви и взаимности, хотя и не сомнѣвались въ ней и хотя намёкъ о взаимномъ чувствѣ часто появлялся на устахъ ихъ?

— Вы молчите, продолжалъ Огинскій въ припадкѣ раздражительности, теперь вы и сами видите, что намъ говорить нельзя.

— Дѣйствительно такъ, сказала Лина съ мгновенно проснувшейся въ ней гордостію; если ужъ вы дошли до того, что не знаете *кого* и *что* вы любите, то отвѣтъ можетъ быть одинъ: вы никого не умѣете и не можете любить.

— Можно ли любить и невѣрить? продолжалъ Огинскій, не обращая вниманія на слова Лины. Гдѣ истина? Я не могу больше бороться съ собою и съ гнетущими меня сомнѣніями.

— Но какой истины ищете вы? спросила Лина съ нѣжнѣйшимъ участіемъ, не воображая вовсе, чтобъ онъ могъ подозрѣвать ее въ нечистыхъ намѣреніяхъ, и что именно въ эту минуту онъ думалъ о ней, о ней одной.

— Но какія это сомнѣнія, къ кому они относятся, откуда вышли они? продолжала она. — Боже мой! Были минуты, Огинскій, когда мы понимали другъ друга; ужели они прошли и никогда не воротятся? Я васъ спрашиваю!

— Почему знаю я, что были онѣ и какъ пришли, что это обманъ или мечта? Чему могу я вѣрить? Умъ мой теряется въ лабиринтѣ противорѣчій, я не умѣю различить хитрости отъ простодушія, правды отъ лжи, смиренія отъ притворства.

Послѣднія слова Огинскаго навели Лину на очень естественную мысль, что онъ наконецъ понялъ свое положеніе въ семьѣ сестры, что повязка спала съ глазъ его и онъ намекаетъ ему на княжну въ особенности. «А я полагала, что онъ ревнуетъ меня, недовѣряетъ

мнѣ»! подумала Лина, и тихо, щадя его, съ особенной деликатностью сказала ему:

— Еслибъ и такъ, къ чему же слишкомъ мучиться? Надо признаться себѣ, что вы ошиблись, и искать другаго угла, гдѣ можно жить спокойнѣе. Неужели, проживши на свѣтѣ столько лѣтъ, вы не знаете, что золото большой соблазнъ и не всякой устоитъ противъ его притягивающаго свойства.

— Такъ вы понимаете это! воскликнулъ Огинскій съ такимъ раздражающимъ выраженіемъ въ голосѣ, что Лина невольно содрогнулась.

— Развѣ я не предупреждала васъ, что ваша семья унижается передъ вами ради милліоновъ вашихъ? Вы не хотѣли слушать меня, а теперь, когда...

— А! сказалъ Огинскій, теперь я понимаю, о чемъ говорите вы! Вы говорите о моей племянницѣ. Вы думаете, что она любитъ не меня, а деньги мои, изъ собственной выгоды окружаетъ меня попеченіями и любовью? Не правда ли?

— Да, я такъ думаю, сказала Лина тихо; но если этотъ предметъ столь-сильно трогаетъ и волнуетъ васъ, перестанемъ говорить объ немъ. Забудьте это и удалитесь отсюда.

— Хорошо, сказалъ Огинскій, по-видимому, спокойнѣе, хотя яркій румянецъ, быстро смѣнявшійся на лицѣ его блѣдными пятнами, свидѣтельствовалъ о его волненіи и страданіи: — но тогда, что будетъ со мною? Если моя родная племянница, дочь сестры моей, которая мнѣ

многимъ обязана, глупо расчитываетъ на одно мое состояніе, кому могу я ввѣриться, кому отдаться? Что остается для меня въ будущемъ?

Лина молчала, ей было безсознательно страшно и нестерпимо тяжело.

— Любовь! продолжалъ Огинскій, любовь въ мои лѣта — это женитьба. А женитьба не есть ли часто спекуляція для многихъ женщинъ.... для многихъ.... для всѣхъ!

Лина поблѣднѣла; ни кровинки не было въ лицѣ ея; губы ея дрожали; она начинала понимать и не вѣрила собственнымъ ушамъ.

Огинскій умолкъ, но она поднялась съ мѣста своего и сказала порывисто.

— Вы слишкомъ много, или слишкомъ мало сказали мнѣ; продолжайте, я хочу этого, я требую. — Сердце Огинскаго было слишкомъ переполнено страданіемъ, онъ былъ слишкомъ раздраженъ и взволнованъ, и высказаться было ему необходимо.

— Да, продолжалъ онъ, кто скажетъ мнѣ, что женщина любитъ меня искренно, помимо моего положенія и богатства, что это положеніе и богатство не входятъ, быть можетъ (я допускаю и это) безсознательно, въ любовь ея? И вы, которая теперь стоите передо мною, вы, бѣдная дѣвушка, принятая въ домъ сестры моей и враждующая всегда съ дѣтьми ея, кто скажетъ мнѣ, что слова ваши искренны, что вы, говорящая такъ много о деньгахъ, не любите ихъ сами?

— Я! сказала Лина такъ глухо, что Огинскій взглянулъ на нее наконецъ. Онъ былъ пораженъ ея блѣдностію. Мысль, что Лина поблѣднѣла потому, что онъ угадалъ ее, какъ молнія сверкнула въ умѣ его и сообщила мрачный видъ всему прошлому любви ихъ и уничтожила ея остатки, которые противъ воли его крѣпко владѣли его сердцемъ и упорно боролись съ его подозрѣніями.

— Да, вы! продолжалъ онъ съ холоднымъ, отчаяннымъ порывомъ. Кто поручится мнѣ за вашу искренность, за ваше простодушіе, за вашу привязанность? Деньги, все деньги! вездѣ! всюду! все можно купить! Блаженъ тотъ, кто вѣритъ, что ему отдались, да, отдались, за груду золота, но это-то и называютъ куплей люди дальновидные. Я проклинаю тотъ часъ, когда увидѣлъ васъ, повѣрилъ вамъ!

Лина вся дрожала; она оперлась на стулъ машинально; хотѣла говорить — и не могла; хотѣла идти — ноги ея подкашивались. Она задыхалась, въ глазахъ ея потемнѣло; но сильная воля ея превозмогла это сражающее потрясеніе; громкій вздохъ, будто вопль разтерзанной души, вырвался изъ сжатыхъ, стиснутыхъ, побѣлѣвшихъ губъ ея; она крѣпко прижала руку къ сердцу, приказывая ему молчать и не биться, — и, повинуясь силѣ воли, сердце какъ бы замерло въ груди ея.

— Богъ съ вами, Огинскій! произнесла она едва слышно и пошла къ двери медленно, но твердо. Онъ бросился за ней стремительно и схватилъ ее за руку.

— Куда вы? закричалъ онъ порывисто и повелительно, отвѣчайте! отвѣчайте же мнѣ!

Но Лина уклонилась отъ него, и указывая ему на дверь, сказала глухо, задыхаясь:

— Гдѣ вы, тамъ меня не будетъ. Идите, или пустите меня!

Онъ отступилъ отъ нея, она вышла.

Черезъ два часа, Огинскій, совершенно уничтоженный объясненіемъ съ Линой, одумался и раскаялся; онъ невольно опять увлекся своимъ къ ней чувствомъ.

Онъ отворилъ дверь кабинета, гдѣ сидѣлъ до тѣхъ поръ, погруженный въ снѣдающую думу, и бросился въ комнату Лины. Онъ горѣлъ желаніемъ у ногъ ея оплакать свое безуміе, вымолить прощеніе, и за оскорбленіе, нанесенное той, которую (онъ чувствовалъ это) любитъ со всею страстію молодости, просить какъ милости, чтобы она согласилась соединить судьбу свою съ его судьбою. Какъ теперь ненавидѣлъ онъ тѣхъ, кто сталъ между нимъ и ею! кто посѣялъ, развилъ въ немъ недостойныя подозрѣнія! Образъ Лины, облеченный невыразимою прелестію, высокимъ благородствомъ и ореоломъ чистѣйшей любви, рисовался передъ нимъ. Онъ далъ себѣ клятву посвятить ей всю жизнь, лелѣять ее, любить и за минуту оскорбленія заплатить заботами и попеченіями цѣлой жизни. Дверь Лининой комнаты была затворена; онъ съ силою отворилъ ее, почти вбѣжалъ туда и остался неподвижно на мѣстѣ. Она была пуста; на полу валялись бумаги и лоскутья; ящики комодовъ были выдвинуты, шкафы отворены; въ нихъ висѣли еще одкако какія-то платья,

и часть приведеннаго въ безпорядокъ бѣлья лежала на столѣ. Все говорило о поспѣшномъ бѣгствѣ хозяйки. Долго стоялъ Огинскій на одномъ мѣстѣ, потомъ опомнился и бросился къ сестрѣ; но она не знала, гдѣ Лина и что съ ней. Огинскій схватилъ шляпу и побѣжалъ къ Ливадину; но его не было дома, а мать его сказала ему, что сынъ ея вышелъ неизвѣстно куда и воротится только вечеромъ. Огинскій возвратился къ себѣ и заперся въ своемъ кабинетѣ до вечера; потомъ опять отправился къ Ливадину, но и теперь узналъ только то, что сынъ просилъ мать письмомъ не безпокоиться объ немъ, если не увидитъ его нѣсколько времени. Много разъ перечелъ Огинскій эту записку, и на другой же день ревностно принялся отыскивать Лину,—но все было напрасно, и онъ впалъ въ мрачное отчаяніе. Такъ прошла недѣля, прошла другая. Въ началѣ третьей Огинскій получилъ по городской почтѣ слѣдующее письмо.

ПИСЬМО ЛИНЫ КЪ ОГИНСКОМУ.

—

Я любила васъ. Можете понять, что этими словами я хочу сказать вамъ, что все между нами кончено. Когда вы получите письмо мое, я буду за-мужемъ; моя судьба будетъ рѣшена.—Я сама отказалась отъ васъ, отказалась, и разстерзанное сердце мое свидѣтельствуетъ о моемъ несчастіи. Я не могла сдѣлать иначе, я должна

была такъ сдѣлать. Мы сошлись поздно; это сознаю я теперь съ какимъ-то холоднымъ отчаяніемъ. Слезы не туманятъ глазъ моихъ; мнѣ кажется, что все во мнѣ умерло. Я хотѣла бы плакать надъ собой и надъ вами, и не могу, не могу! Ахъ, Огинскій, какъ нѣжно, какъ пламенно, какъ глубоко любила я васъ! Съ самаго перваго дня вашего пріѣзда въ домъ княгини, сперва горячее чувство участія къ вамъ охватило все сердце мое и противъ воли моей высказывалось во всемъ. Я любовалась вами, но и негодовала на васъ, когда сѣтями лести и низкопоклонства вовлекли васъ въ несвойственную вамъ роль; слово моего негодованія, иногда, и какъ часто, язвило васъ, и вы не поняли, ослѣпленный и самолюбивый, что и въ этомъ словѣ звучала любовь, одна любовь моя! Не долго однако длилось все это: болѣзнь Елены Филипповны насъ сблизила. Какъ было мнѣ сладко сознавать, что вамъ обязана я, съ какимъ упоеніемъ гордости глядѣла я на васъ, когда, отданные одному чувству добра и состраданія, вы помогли и потомъ безмолвно произнесли прощеніе умиравшей старухѣ! Въ эту минуту я все вспомнила: разсказы Тани о васъ, вашу доброту, невинность первыхъ лѣтъ вашихъ, ваши свѣтлые очи, привлекательныя черты, вашу восторженную вѣру во все хорошее. И вотъ – образъ, начертанный огненными словами Тани, возникалъ передо мною, но уже не одѣтый туманомъ фантазіи! Передо мной были вы, тотъ-же, что и прежде; но только трогательнѣе и еще достойнѣе любви были вы. Печать прошлыхъ несчастій, заклеймивъ лице ваше вѣчной задумчивостію и блѣдностію, сдѣлала васъ плѣнительнѣе; вашъ

характеръ, выработавшій въ себѣ подозрительность, казался мнѣ еще замапчивѣе; я видѣла ясно, что въ сущности вы были еще довѣрчивы и что семья ваша пользовалась этимъ качествомъ вашего сердца. Съ сихъ поръ, я даже перестала за васъ мучиться и поняла, что разъ пріобрѣтя вашу довѣренность, съ вами можно идти смѣло рука объ руку по пути жизни. Излѣчить раны вашего сердца, сдѣлаться вашей подругой, вашей женой, вашей сестрой и другомъ, казалось мнѣ высшимъ блаженствомъ. Я была твердо увѣрена, что все доброе, все благородное, все высокое души вашей, освободившись отъ тенетъ гнетущаго васъ прошедшаго, проснется съ силою и поведетъ васъ и избранную вами женщину, по тому пути добра и пользы, котораго вы всегда, быть можетъ, безсознательно, искали, по которомъ тосковали такъ долго. У васъ бы стало порыва, а у меня силы, чтобы поддержать его. Не было мечты высокой и прекрасной,—говорю это смѣло передъ создавшимъ меня Богомъ, передъ Творцемъ безсмертной души моей,—не было подвига, не было труда, который бы не нашелъ тогда горячаго отголоска въ сердцѣ моемъ! Вы сказали, что я желала богатства вашего, Огинскій. Да, я желала его, желала жадно, страстно, необузданно. Я была увѣрена, что, возрожденные къ новой жизни, вашей ко мнѣ любовію, вдохновленные ею, вы совершили бы неслыханные подвиги человѣколюбія. Я гордилась вами заранѣе. О мой другъ, мой другъ! какъ могла быть высока и прекрасна наша будущность! Мысль о васъ такъ сроднилась, срослась съ моимъ сердцемъ, что я не могу еще отогнать ее отъ себя. Съ вашей

нѣжной душею, съ вашимъ женски-чувствительнымъ сердцемъ, съ вашими человѣчными понятіями—вы были созданы на одну только дѣятельность. То не была дѣятельность сановника, или воина, не труды ученаго, не слава писателя; но слава, труды, служба на поприщѣ человѣколюбія. Богъ далъ вамъ не нужные для васъ груды золота и одарилъ васъ нѣжною сострадательною душей; вамъ предстояло одно: расгратить, и богатство, и душу на пользу себѣ подобныхъ, спасать ихъ отъ гибели, порока, невѣжества и безпощадной нищеты. Тридцать пять лѣтъ скитались вы по землѣ, ища исхода для томившей васъ души и не находили его: вотъ онъ, исходъ! Я нашла его для васъ, не силою моего женскаго, слабаго пониманія, но силою безпредѣльной любви моей. Мнѣ казалось, что вамъ надо только указать цѣль, отгадать ее для васъ—и она была бы достигнута! Въ моей гордости я мечтала, что, полюбя меня безпредѣльно, вы соединитесь со мною всѣми чувствами души и сердца, что наши надежды, стремленія, сольются въ одно, и что тогда, силой одного сочувствія и тѣми залогами добра, которые были вложены въ васъ Провидѣніемъ съ ранней молодости, вы сами поймете свое назначеніе; что брошенное въ васъ сѣмя разовьется и возрастетъ подъ благотворнымъ дыханіемъ любви нашей, и стремленіе на пользу общую будетъ священною скрѣпой нашего счастія. Мнѣ казалось, что таинственнымъ путемъ прошедшихъ бѣдствій Богъ привелъ васъ ко мнѣ и позволилъ мнѣ, полюбивъ васъ, показать вамъ ваше спасеніе, ваше призваніе, съ рожденія вамъ предназначенное. Чего не казалось мнѣ!... Быть можетъ, ужъ слиш-

комъ много гордости и высокой вѣры было положено мною въ любовь мою. Имена Монтіоновъ, Бецкихъ и Говардовъ просились на языкъ мой, а вы стояли выше, еще выше! и я наказана, жестоко, горько, безпощадно! Поймите меня, Огинскій! Я прощаю, давно простила вамъ ваши слова, такъ рѣзко мнѣ высказанныя,—простила ваши подозрѣнія на честь и честность мою, и не это разлучило насъ. Разлучило насъ то, что я не умѣю, не могу забывать; жизнь мою отдала бы я тотчасъ, чтобы позабыть, и не могу, не могу! Я ушла, я бѣжала, потому что боялась себя, боялась васъ, боялась своей собственной слабости. Вы могли побѣдить мое рѣшеніе силой своей мольбы и раскаянія; но я знаю себя, знаю, что послѣ, быть можетъ, въ самую сладкую минуту изліяній любви, ядъ словъ и подозрѣній вашихъ, однажды всосавшись въ сердце мое, вдругъ отравилъ бы все мое счастіе—и кто знаетъ?—быть можетъ, уничтожилъ бы любовь мою, влилъ бы во все существо мое ту отравляющую всякую радость и счастіе желчь, которую разлука одна въ состояніи уменьшить, если не уничтожить. Я плачу надъ собой, я плачу надъ вами; душа моя, высказываясь, наполняетъ мое сердце такимъ тоскливымъ сожалѣніемъ о моемъ и вашемъ потерянномъ счастіи, что глаза мои обрѣли потерянныя слезы. Я плачу горько. Если вы до сихъ поръ не знали вашей бѣдной Лины, той, которую вы называли нѣжнымъ именемъ своего дитяти,—поймите ее теперь и знайте, что ваше счастіе было ей несравненно дороже собственнаго, что она умерла для васъ съ горестнымъ сознаніемъ, что она одна была ваше спасеніе, ваша

будущность, ваше благо. О, простите меня, молю васъ, простите меня за то, что моя гордость и сознаніе моей правоты выше любви моей, что чувство моего собственнаго, жестоко униженнаго и оскорбленнаго достоинства, не можетъ снести укора и подозрѣнія въ низости, сребролюбіи, коварствѣ; — укора! и кѣмъ высказаннаго? вами Огинскій, вами, который стоялъ такъ недосягаемо высоко въ умѣ моемъ, въ моемъ сердцѣ. Я вамъ казалась холодною, когда благородная экзальтація кипѣла во мнѣ. Не столько, говорю я вамъ, мечтала я о собственномъ счастіи, какъ о вашемъ, и столько же о вашемъ счастіи, какъ о благѣ всего васъ окружающаго, и о вашемъ прекрасномъ будущемъ на пользу человѣчества. Вижу теперь, что все было слишкомъ прекрасно, чтобы осуществиться, — это былъ недосягаемый идеалъ! Мнѣ тяжело. Опять холодное страданіе захватываетъ мое дыханіе. Прощайте. Вы можете, вы должны идти одинъ по тому пути, который я мечтала совершить вмѣстѣ съ вами: это мой завѣтъ, моя послѣдняя просьба, во имя нашей прошедшей безгрѣшной любви. Вы исполните ее, Огинскій. Имѣйте мужество, какъ я, отказаться отъ всякаго земнаго счастія, и окружите себя семьей бѣдныхъ, безпомощныхъ и несчастныхъ. Они утѣшатъ васъ. Что касается до меня, то, разбивъ въ прахъ мое сердце, разбивъ его безпощадно, я отдаюсь вполнѣ безстрастному, холодному разуму. Я буду преданною женой того, который столько лѣтъ одинъ лелѣялъ и любилъ меня и замѣнялъ мнѣ семью, — котораго я уважаю, не любя. Я посвящу ему всю жизнь мою, никому не нужную, раздѣлю труды его и заботы, и быть мо-

жетъ, въ томъ найду примиреніе съ жизнію. Мнѣ не жаль себя; убитая въ лучшемъ цвѣтѣ любви, я могу только, не требуя ничего на свою долю, сдѣлать счастіе другаго. Долгъ будетъ руководствовать меня и доведетъ, я надѣюсь, безукоризненно и не безполезно до конца жизни. Да будетъ такъ и для васъ! Посвятите себя счастію другихъ, и вы найдете благое и высокое утѣшеніе, спокойствіе и отдыхъ послѣ бури жизни.

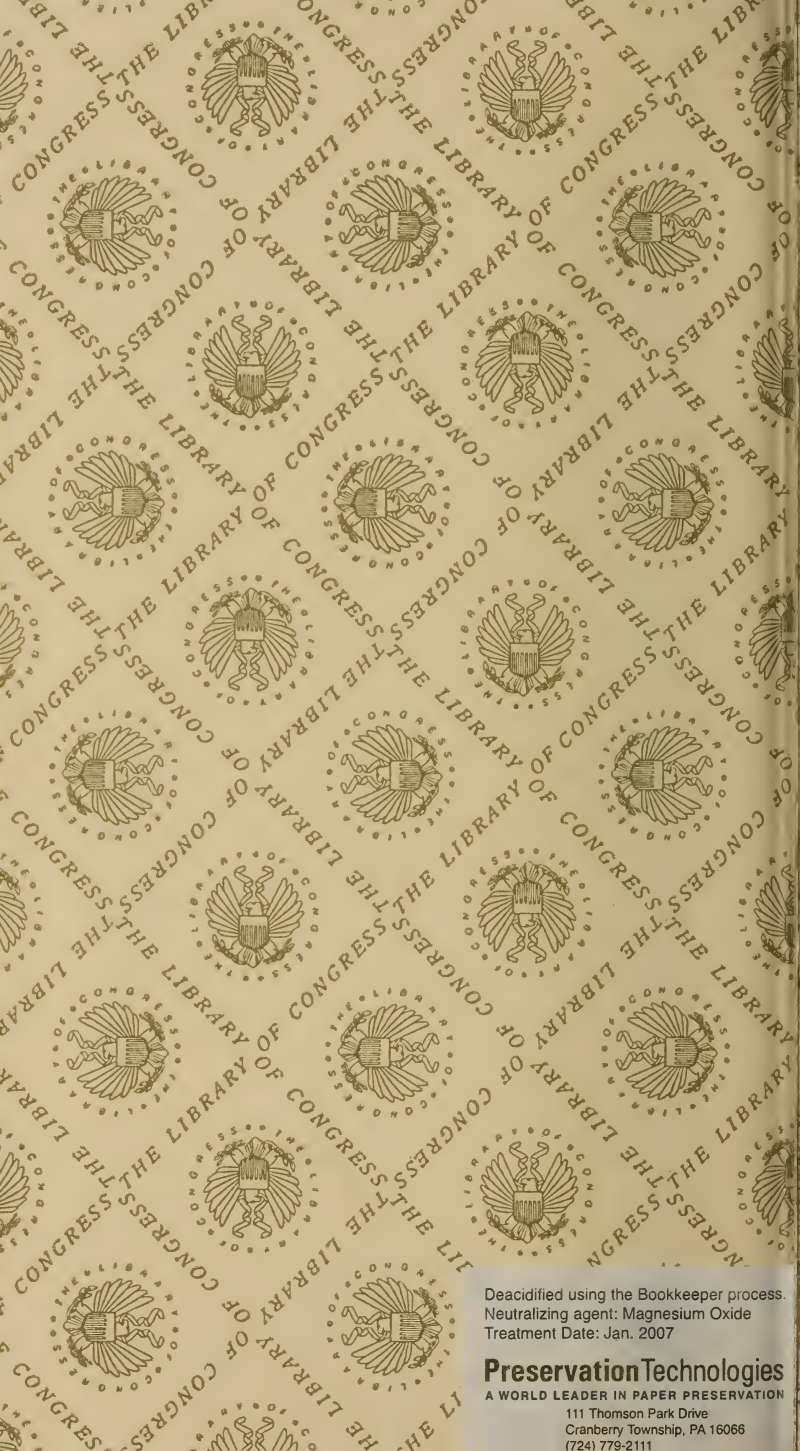
Въ тотъ же день Огинскій позвалъ сестру свою и подарилъ ей значительную сумму, простился съ ней, не желая видѣть никого изъ дѣтей ея. Онъ поселился сперва въ деревнѣ, потомъ въ Москвѣ и былъ извѣстенъ, какъ недоступный мизантропъ, дѣлавшій впрочемъ много добра и сорившій деньгами, при вѣсти о несчастіи кого бы то ни было. Онъ однако никогда не хотѣлъ видѣть тѣхъ, кому благодѣтельствовалъ, да и вообще дѣлалъ благодѣянія безъ разбора; отказа никому не было, развѣ тогда только, когда не было денегъ, и потому носились слухи, что его часто обманывали. Потерявъ Лину, Огинскій потерялъ жизнь души и сердца и доживалъ вѣкъ свой печальный, убитый, одинокой.

Конецъ.

ВЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ ЗАМѢЧЕНЫ СЛѢДУЮЩІЯ ОПЕЧАТКИ.

	Напечатано:	*Должно читать:*
На стр. 18	вечеръ	на вечеръ
— 34	и др. Елецкую	Ельцову
— 42	перемѣнились	перемѣнилась
— 140	То говорю купила	То, говорю, купила,
— 153	оставлять	оставлялъ
— —	одна изъ любимыхъ мечтъ монхъ	одна, самая любимая мечта моя,
— 176	Какой педантизмъ?	Какой педантисмъ!

H 2 88



Deacidified using the Bookkeeper process.
Neutralizing agent: Magnesium Oxide
Treatment Date: Jan. 2007

PreservationTechnologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION
111 Thomson Park Drive
Cranberry Township, PA 16066
(724) 779-2111